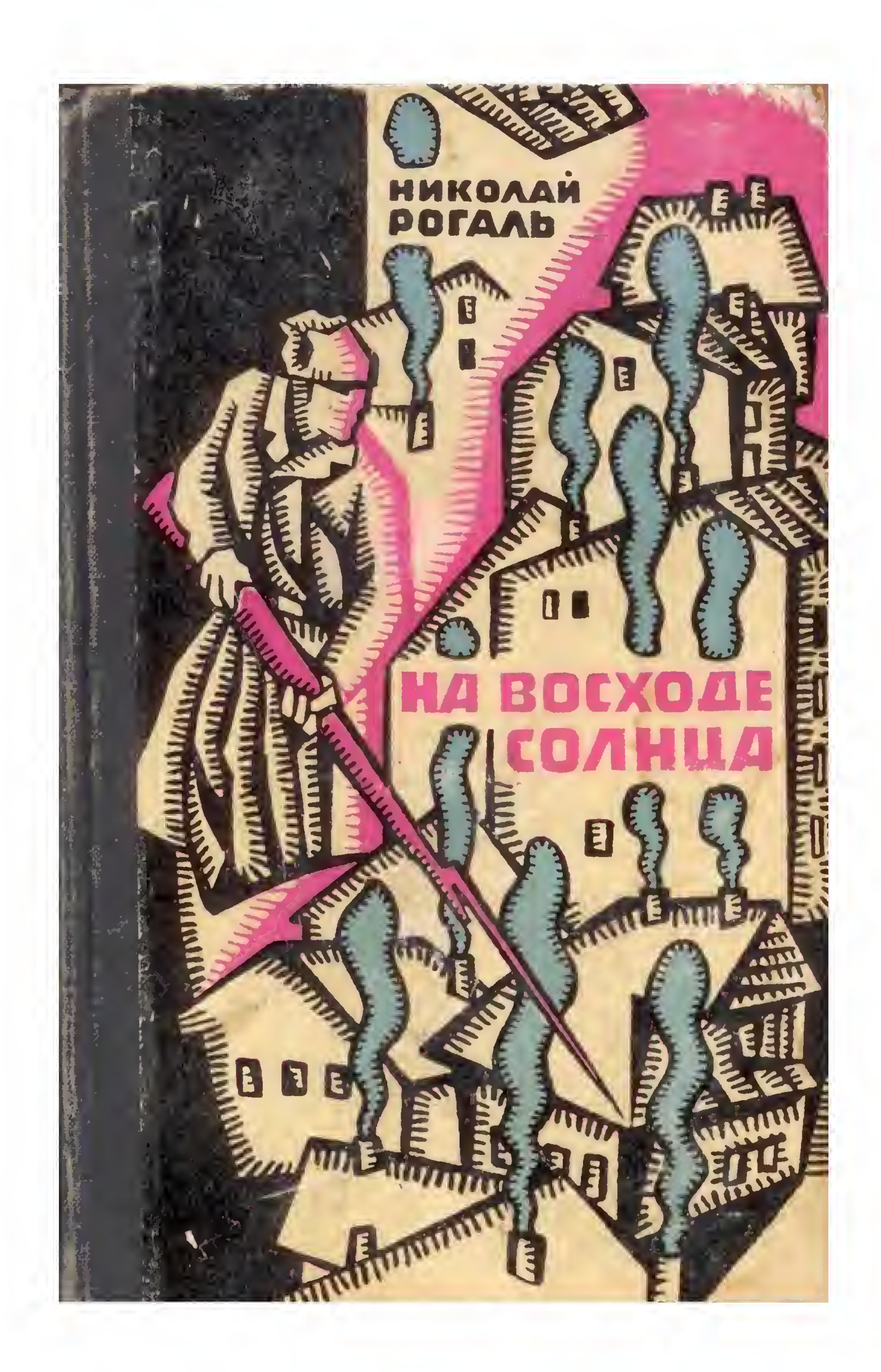
prose_history

Николай
Митрофанович
Рогаль

На восходе солнца

Роман переносит читателя в 1918 год, делает его свидетелем бурных революционных событий на Дальнем Востоке в период перехода власти в руки большевистских Советов. Широк охват жизни в романе. Читатель знакомится с различными социальными слоями тогдашнего общества, проникает в самую кухню контрреволюционных заговоров, познает суровую силу трудового народа, рожденную в борьбе. В центре повествования находятся большевики-ленинцы Савчук, Логунов, а также юный Саша Левченко, выходец из богатой семьи, сумевший найти дорогу в революцию.


НИКОЛАЙ
РОГАЛЬ
НА ВОСХОДЕ
СОЛНЦА

НИКОЛАЙ
РОГАЛЬ

НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА

РОМАН

Издательство
„СОВЕТСКАЯ РОССИЯ"
Москва—1969

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ru
ru

Tiger

doc2fb, FB Editor v2.3
2010-08-25
Сканирование, распознавание, вычитка - Tiger
1608F055-64D4-4D1D-9A12-A04542D3DBCD
2

На восходе солнца
Издательство «Советская Россия»
Москва
1969

Редактор Л. И. Парфенов Художник А. А. Мануйлов Художественный редактор Э. А. Розен Технический редактор Н. Е. Боярская Корректор В. Л. Данилова Сдано в набор 4.2.69 г. Подп. к печ. 28.5.69 г. Форм, бум. 84x108 1/32. Физ. печ. л. 16,5. Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 28,71. Изд. инд. ЛХ-466. А07713. Тираж 50 000 экз. Цена 1 руб. в переплете. Бум. № 2. Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15. Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 110.

НИКОЛАЙ РОГАЛЬ
НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА

ОТНЫНЕ НАСТУПАЕТ НОВАЯ ПОЛОСА В ИСТОРИИ РОССИИ, И ДАННАЯ, ТРЕТЬЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОЛЖНА В СВОЕМ КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ПРИВЕСТИ К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА.
Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 2.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В декабре тысяча девятьсот семнадцатого года поезда ходили редко. Сборный поезд № 507, составленный большей частью из старых двухосных вагонов, емкость которых со времени русско-японской войны определялась известным выражением «сорок человек, восемь лошадей», с трудом пробивался по Амурской дороге.

Кто только не ехал тогда в переполненных донельзя вагонах, грязных, прокуренных, с устоявшимся запахом табака, давно не мытого человеческого тела, тухлой рыбы и карболки: солдаты с фронта, моряки с Балтики, бойкие амурские крестьянки, молчаливые забайкальцы, потревоженные революцией купцы, переодетые царские офицеры. Одни спешили домой, другие пробирались поближе к границе.

Поезд медленно полз между сопок. Ветер выдувал снег из желтых дубняков и заносил выемки. Пронзительно визжали колеса.

Паровоз, охая, втаскивал состав на подъем и потом долго и тревожно гудел, не в силах сдержать напор вагонов, идущих под уклон: тормоза не держали. Да и не было в то время исправных тормозов.

Одного подъема паровоз не взял. Он натужно попыхтел, изрыгая черно-ржавый дым, но тщетно: поезд остановился в выемке, скрипя, откатился немного назад и стал уже окончательно.

Из смежных вагонов спрыгнули на снег матрос Логунов и солдат Приходько. Оба поглядели по сторонам, но никаких строений вблизи не обнаружили: стояли среди перегона.

Они сошлись у паровоза, окинули один другого дружелюбным взглядом.

— Стоим, а?

Пожилой усатый машинист, услышав голоса, свесился из будки.

Приходько позвенел котелком.

— Гаврила, будь другом. Отпусти кипяточку.

— Кипятку нет.

— Жалко?

— Не в том дело. Дрова кончились.

Логунов протяжно свистнул.

— Надолго стали?

Машинист с тоской поглядел на небо, на припорошенные снежком рельсы впереди. Сказал с досадой и раздражением:

— А вот резервный паровоз придет. Может, к вечеру, а то и завтра.
С обеих сторон к железнодорожному полотну подступал не тронутый еще лес: белоствольные березы, осинник небольшими рощицами, по увалам — дубняк с неопавшей сухой листвой, одиночные липы и клены. Неширокая просека впереди, на закруглении, казалось, вовсе сходила на нет, и обе стены леса там сомкнулись, преградив поезду путь.

— Чудно! — воскликнул Приходько. — В лесу стоим — и без дров. Тьфу...

— А ведь верно, браток! — поддержал Логунов.
Через минуту они стучались в двери теплушек:
— Эй, у кого пилы, топоры — выходи!
Перебрасываясь шутками, смеясь, люди протаптывали в снегу тропу от паровоза к ближней рощице. В морозной тишине далеко разносились их голоса.
Вспорхнул и перелетел подальше житель этих мест — пестро-серый поползень. Усевшись удобно на дереве, он оглянулся, затем деловито застучал клювом по шершавой ребристой коре. Из дупла черной березы, заметно возвышавшейся над другими деревьями, высунулась кругловатая мордочка летяги и тут же спряталась. Подошедший Приходько стукнул обухом топора по стволу; дерево до самой вершины протестующе загудело. С нижних ветвей на солдата посыпался иней.
Приходько скинул шинель, поплевал на руки. Размахнувшись, он сразу вогнал топор на полчетверти в мерзлый ствол застонавшего дерева. Полетела щепа.
Дерево, зашумев вершиной, мягко ухнуло, зарылось в снег.
— Э-ге-ге! Гляди-ка — зверь!
Летяга, еще до того как падающее дерево коснулось земли, оттолкнулась от него, косым обрезком паруса пронеслась над головами людей, ухватилась цепкими лапами за гладкую кору соседней березы и мигом взобралась к вершине. Там зверек сжался в комочек, прильнул дрожащим от ужаса телом к шатким, колеблющимся ветвям, хотел затаиться и переждать. Но уже человек двадцать, рассыпавшись цепью, увязая по колени в снегу, крича и улюлюкая, окружили дерево.
— Шест надо. Шестом сковырнем ее в два счета, — суетясь, предложил кто-то.
Несколько человек кинулось рубить подходящий для этого осинник. Остальные топтались вокруг дерева, возбужденно переговариваясь.
Летяга, улучив момент, бесшумно спланировала в сторону открытой поляны, где не было людей. Все сразу кинулись ей наперерез. Тогда зверек на лету изменил направление и дотянулся до чащи, вырвавшись благодаря этому маневру из опасного окружения. Среди деревьев еще два-три раза мелькнуло его распластанное дымчато-серое тело и пропало, не оставив даже следа на снегу.
— Ушла-таки. Ну, молодец! — громко и одобрительно сказал Савчук — высокий, могучего сложения человек в офицерской шинели без погон. Он только что подошел, видел все со стороны. — Теперь не догнать.
Матрос, помахивая топором, обрубал сучья.
— Эй, работнички! За простой денег не платим, — весело скалясь, крикнул он.
Завизжала пила. Дружный перестук топоров откликнулся эхом в чаще.
— Вот эта чурочка по мне. В самый раз, — сказал Савчук, когда пильщики откряжевали толстую комлевую часть поваленного дерева.
Он приподнял кряж за один конец, поставил его на попа, чуть нагнулся и ловким слитным движением рук и всего напружинившегося корпуса легко вскинул чурку себе на плечо. Твердо зашагал по тропе к паровозу. Встречные сторонились, уступали дорогу.
Повеселевший машинист суетился возле паровоза, что-то подвинчивал, подкручивал. Его помощник и кочегар грузили заготовленный швырок на тендер.
Часть пассажиров осталась в вагонах, шипя и шушукаясь.
Логунов мимоходом распахнул одну дверь, вгляделся:

— А, бела кость! На дармовщину проехать метите, господа почтенные?
Повернулся и пошел прочь. За спиной у него явственно прозвучало:
— Хамье!
Матрос одним прыжком вернулся к дверям.
— Кто гавкнул?
Молчание. Острые ненавидящие взгляды.
— У, сучье племя! — Логунов с силой захлопнул ржавую дверь и пошел в лес за очередной ношей.
К вечеру паровоз поднял пары, и поезд тронулся.
Сопки за окном вагона сменились унылыми кочковатыми марями с блеклой травой поверх снега, худосочными березняками и редкими дубовыми рощами. Мелькали станции: Тихонькая, Ин, Волочаевка — глухие, безвестные места.
Случайная остановка встряхнула людей, перемешала, сгруппировала наново: два лагеря оказались в поезде, как и во всей стране. Но вряд ли кто знал тогда, что пути пассажиров еще не раз скрестятся, и кровь ляжет между ними, и не один сложит голову в этом далеком краю.

2

Утром следующего дня Василий Приходько, Игнат Коваль, Саша Левченко — на фронте они составляли один пулеметный расчет — и прапорщик Савчук, возвращавшийся вместе с ними домой, стояли у выхода с перрона хабаровского вокзала. Ждали замешкавшегося Логунова.
Мимо них текла толпа пассажиров с чемоданами, баулами, мешками.
Молодой щеголеватый хорунжий Варсонофий Тебеньков, встречавший двух приезжих в штатском, узнав Приходько, весело поздоровался:
— Здорово, Василий! Домой?
— Так точно, домой, — сказал Приходько.
— Кланяйся нашим, если увидишь. В поселок заглянешь, надеюсь?
— Видать, придется. — Приходько был доволен, что встретил земляка.
Коваль с мрачным неудовольствием разглядывал сияющие погоны хорунжего.
— Однако они тут спокойно живут, а?..
Савчук нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Он думал о матери, с которой скоро встретится.
Много их, молодых и сильных парней, отправилось с этого вокзала на войну, а кто вернулся? Сколько пережито за эти годы, сколько передумано!
Но как хорошо вернуться домой!
Савчук разглядывал знакомое деревянное здание вокзала с трехскатной крышей, облупившейся краской на стенах и замерзшими окнами; и станционный колокол, возвестивший гулким ударом возвращение Савчука в родной город; и торопливых пассажиров, совершенно равнодушных к этому событию, занятых лишь собственными делами.
— Ну вот и матрос! — сказал он с облегчением.
Логунов бережно вел под руку молодую женщину с грудным ребенком на руках. Поддерживая ее за локоть, он другой рукой волочил чемодан, баул и свой матросский сундучишко.
— Понимаете, расхворалась гражданка... И знакомых никого нет.
Савчук побежал за извозчиком. Он застал последнего, но и тот уже был занят. Плотный пожилой мужчина и форменном железнодорожном пальто, откинув потертую полость, усаживался в санки.
Савчук ухватился за вожжи.
— Гражданин, надо свезти больную. Не будете ли вы так любезны?
— А мне, собственно, какое дело? — равнодушно сказал седок. — Пустите повод! — и сделал знак извозчику, чтобы тот трогал.
Савчука обдало жаром.
— Ты кто — че-ло-век?.. А ну, выметайсь!
Должно быть, выражение его лица в эту минуту было страшным: седок, не прекословя больше, выскочил из саней.

Больную усадили в санки, закрыли ей ноги медвежьей полостью. Логунов уложил вещи, поставил рядом свой сундучок.
— Если позволите, — провожу.
Застоявшиеся лошади с места пошли шибкой рысью.
Проехав по Муравьев-Амурской, они свернули на одну из боковых улиц и остановились у запертых ворот. За забором виднелась крыша одноэтажного флигеля, макушки двух елей перед ним и голые ветви березок.
Где-то в глубине двора лаяла собака. На стук никто не вышел. Логунов перемахнул забор и сам открыл калитку.
Больная попыталась встать, но тут же беспомощно опустилась на сиденье.
— Разрешите!
Логунов поднял ее на руки и отнес на крыльцо, потом он бегом вернулся за ребенком и вещами.
— Расхворалась дамочка-то. Надо полагать, родственница ваша, — сочувственно сказал извозчик. — Вы заварите покруче липовый цвет — хворь как рукой снимет.
Дверь в квартиру открыли ключом, который Логунов долго искал в сумочке среди мелких женских вещей. В прихожей на них приятно пахнуло домашним теплом.
— Сестра, наверно, в гимназии. А тетя где-нибудь на уроке или пошла в гости, — говорила больная, снимая жакет. — Вы только, пожалуйста, не глядите. Впрочем, можете выйти пока в соседнюю комнату.
Логунов, созерцавший стену перед собой, густо покраснел и выскочил в дверь.
Вторая комната была попросторнее. Вдоль стен в ней стояли массивные книжные шкафы. Книги в шкафах тоже были солидные, толстые, в красивых тисненых переплетах. В простенке между двумя окнами висели литографии, напротив — отличная копия с картины Айвазовского «Черное море». Логунов долго стоял перед нею, смотрел и дивился. Картина, ее сюжет как-то сблизили его с обитателями дома, видно, люди, жившие здесь, понимали прелесть мятущейся стихии, любили ширь и простор, что так понятны моряку.
В спальне заплакал ребенок. Послышался зовущий голос женщины:
— Господи, да помогите же мне!
Логунов вернулся в спальню, подал женщине в кровать ребенка, и она, отвернувшись, стала кормить его грудью.
— Почему вы не разденетесь? Снимите шинель.
Затем Логунов, страшно конфузясь, неловкими грубыми руками укладывал ребенка, менял ему грязные пеленки на чистые, испачкав при этом руки и стесняясь спросить, где умывальник, искал градусник.
— Просто не представляю, как бы я добралась домой без вашей помощи. Ужасное положение, не правда ли? — говорила больная. — И я даже не знаю, как вас зовут.
— Федор Петрович, — сказал Логунов.
— А меня — Вера Павловна... Ельнева. Это моя девичья фамилия.
Вере Павловне было года двадцать три, но сейчас, в постели, она выглядела почти подростком. Щеки ее горели лихорадочным румянцем.
Пускаясь в путь из столицы, Вера Павловна и не подозревала, насколько он окажется долгим и невероятно трудным. В Москве она не смогла достать билет на прямой поезд. Каждая пересадка влекла за собой новые мытарства и мучения. Уже недалеко от дома, на Амурской дороге, из-за неисправности отцепили вагон, в котором она ехала. Устроиться в других вагонах не было возможности. Вера Павловна провела не один день на маленькой станции, пока ей вновь удалось сесть в поезд.
Все эти дни Вера Павловна страшно боялась простудить ребенка, кутала его в свое пальто и в конце концов простудилась сама.
В возникшей при посадке сутолоке ей, вероятно, так и не удалось бы пробраться в вагон, если бы не энергичная поддержка Анфисы Петровны — жены местного стрелочника. Увидев Веру Павловну плачущей над ребенком в холодном вокзальном помещении, Анфиса Петровна тотчас же увела ее в свою тесную каморку, набитую до отказа домашним скарбом и ребятишками, отогрела, обласкала, обнадежила.
Вера Павловна с благодарностью думала об этой женщине, принявшей в ней такое горячее участие. Впрочем, в дороге ей не раз доводилось встречать сочувствие и поддержку со

стороны совершенно незнакомых простых людей, к жизни которых она теперь пригляделась.
Как ни покажется на первый взгляд странным, но именно на этом долгом и трудном пути растаяло и исчезло то чувство холодного отчаяния и безнадежности, с каким она покидала столицу, навсегда похоронив там свои прежние представления о счастье, как о покойной, сытой жизни хорошо обеспеченного человека.
Добравшись после всех злоключений домой, очутившись в теплой и мягкой постели, Вера Павловна испытывала теперь несказанное облегчение. В то же время как-то сразу упали в ней невероятное напряжение сил и внутренняя собранность, которые до сих пор позволяли держаться на ногах. Видимо, болезнь, развиваясь, достигла такой стадии, когда житейские заботы уже не волнуют больного, все защитные силы организма которого сосредоточились на борьбе со смертельным недугом.
Вера Павловна впала в забытье.
Стараясь не потревожить больную, Логунов на цыпочках вышел в соседнюю комнату.
Он тоже задремал в кресле и не слышал, как пришли хозяева. Разбудил его топот ног.
Перед ним стояла девочка лет шести в светлом платьице с косичками и бесстрашно спрашивала:
— Вы кто — вор?
— Нет, матрос, — сказал Логунов, мигая глазами и еще не будучи в силах понять причину ее внезапного появления.
Девочка захлопала в ладоши:
— Мама, мама! У нас матрос — настоящий!
— Ну что ты выдумываешь. Какой матрос? — сказал ворчливый женский голос за дверью, и в комнату вкатилась полная, круглая, как мяч, хозяйка дома.
Увидев Логунова, она испуганно попятилась.
— Позвольте! Как вы сюда попали, сударь? Кто вы такой?
Логунов поспешил объяснить свое появление в квартире:
— Прибыл... с Верой Павловной...
— Как? Разве Вера приехала?
Он показал глазами на дверь в спальню, и хозяйка поспешила туда, шурша на ходу платьем.
Тотчас донесся ее встревоженный возглас:
— Боже, да она больна! Даша! Даша!
В гостиную стремительно вошла девушка, очень похожая на Веру Павловну.
— Что, Вера приехала? — спросила она и, не ожидая ответа, тоже скрылась за дверью.
«Сестра, — подумал Логунов, — а та, значит, тетка».
Тетка — ее звали Олимпиада Клавдиевна — охала, вздыхала, но дело кипело у нее в руках: мигом появились таз, лед, полотенце.
Даша побежала за врачом.
Про Логунова забыли. Только девочка, вернувшись к нему, допытывалась:
— Вы верно матрос? Всамделишный?
Улучив минуту, Логунов стал одеваться.
Но в это время с улицы явился бодрый бритый старик в пальто с бобровым воротником.
Поставив в угол трость, он разделся, потер озябшие руки.
— Ну-с, молодой человек! Показывайте, где больная, — сказал он, приняв, видимо, Логунова за родственника.
Когда Логунов вновь вернулся в прихожую, там была Даша, раскрасневшаяся от ходьбы и мороза. Она умоляющими глазами посмотрела на Логунова.
— Нет, нет! Вы не уходите. Сестра очень плоха. Вы хоть расскажите, как ехали. Мы же ничего не знаем. Столько ужасных слухов. Пожалуйста, останьтесь.
Врач долго осматривал больную, а выйдя в гостиную, объявил напрямик:
— Плохо. Двусторонняя пневмония. Удивляюсь, как ваша сестра добралась сюда с вокзала.
— Это ее господин матрос привез, — сообщила Даша.
Врач внимательно посмотрел на Логунова.
— Похвально, молодой человек. Рыцарский поступок, да-с. — И он принялся подробно наставлять Олимпиаду Клавдиевну, как надо ухаживать за больной. Он даже ввернул в подходящий момент какую-то шутку, улыбнулся хорошей улыбкой мудрого и все

понимающего человека. — Вот что, матушка! Сделайте горчичное обертывание. А лучше поставьте банки. Аспирин, конечно. Покой. В больницу — не советую: холод у нас адский... Нынче все мировыми проблемами заняты, о дровах позаботиться некому... Я, конечно, зайду.
— Да, пожалуйста, Марк Осипович. Буду весьма обязана, — сказала Олимпиада Клавдиевна.
Марк Осипович присел к столу и стал писать рецепты.
— Балтиец? — спросил он потом у Логунова.
— Так точно. Комендор с «Решительного»,
— Зимний брали?
— Не довелось.
— Гм!.. А я полагал, что там все матросы участвовали. Против десяти министров-капиталистов...
Обедали поздно. Девочка, не дождавшись, уснула. За стол сели втроем.
— Боже, до чего я измучилась! — жаловалась Олимпиада Клавдиевна. — И надо случиться такому несчастью. Ужасное время...
Больная металась. Даша, слыша ее стоны, хмурилась. Логунов сидел как раз напротив и видел малейшее движение ее лица.
— Вам, может, вина подать, Федор Петрович? — спросила Даша. — Есть красное.
— Ну что ты, милочка, — вмешалась тетка. — Матросы пьют водку. Не правда ли?
— Да, конечно, — подтвердил Логунов. — Порцию дают водкой.
Даша принесла бутылку кагора и принялась разливать вино в крохотные рюмочки.
Олимпиада Клавдиевна наставительно заметила:
— Ты, милочка, видно, полагаешь, что мужчины цыплята. Подала бы стакан.
И тут же принялась рассказывать городские новости.
— Знаешь, милочка, — Олимпиада Клавдиевна обращалась к Даше, нисколько не стесняясь Логунова, как человека, который уйдет и уж больше не встретится, — приехал Мавлютин. Вот уж принесла нелегкая!
Лицо Даши сразу омрачилось.
— Вера знает? — спросила она.
— Вероятно. Они ехали в одном поезде.
Обе встревоженно посмотрели друг на друга.
— Кто это — Мавлютин? — спросил Логунов.
Ему не ответили. Он сразу почувствовал бестактность своего вопроса и смутился. «Надо было мне сразу уйти», — сердясь на себя, подумал он.
Олимпиада Клавдиевна ушла к больной и задержалась. Даша попросила Логунова рассказать о дороге, о столице. Логунов мало-помалу разговорился. Он рассказывал о суровом Питере первых дней революции, ночных патрулях, голоде, саботаже. Рассказывал о фронте, без прикрас — страшное. Люди страдали, он сам выносил эту боль и находил нужные слова. Ему был присущ талант рассказчика. Даша смотрела на него широко открытыми глазами.
— Здешние газеты все исказили, — сказала она, выслушав внимательно Логунова. И то, как она отнеслась к его словам, ее замечание о газете (уж Логунову было доподлинно известно, как они перевирают факты) сразу расположило его к ней. Оба почувствовали себя легко и свободно, без той стеснительности и связанности, какая бывает при встрече людей мало знакомых, тем более людей разного круга.
Но вернулась тетка — и возникшая было в их разговоре близость исчезла.
Олимпиада Клавдиевна тоже принялась выспрашивать:
— Правда, что комиссары младенцев пытают? А конину в Петрограде едят?
Логунов прикусил губы. Когда же он рассказал о том, как в пути кончились дрова и пассажирам самим пришлось заняться заготовкой топлива, Олимпиада Клавдиевна всплеснула руками:
— Боже! До чего довели Россию большевики!
Логунов помрачнел, стиснул в руке стакан, стукнул по столу.
— Между прочим, я тоже — большевик.
Олимпиада Клавдиевна нимало не смутилась.

— Что ж, везде встречаются порядочные люди, — заметила она. — Говорят, сыпняк в дороге есть?
— Да, гуляет.
— А скажите, — встревожилась она, — вошь в вагон может заползти?
— Куда же от нее денешься, — не без злорадного удовольствия ответил Логунов. — Они там по стенкам табунами ходят.
Олимпиада Клавдиевна так откровенно посмотрела на его бушлат, что Логунов заторопился и стал прощаться. Даша вышла проводить его.
— Вы, конечно, зайдете к нам повидать Веру? — спросила она.
— Если буду в городе, — ответил он уклончиво.
— Не понравилось вам у нас, — вздохнула Даша и неожиданно тоном заговорщика сообщила: — А вы, знаете, стакан разбили.
— Неужели? — испугался Логунов.
— Ей-богу! Дно так и отвалилось. Да вы не беспокойтесь, стакан я убрала. Говорят, посуду бьют к счастью.
И она засмеялась звонко и весело.
3
Саша Левченко семнадцатилетним восторженным гимназистом бежал из родительского дома на войну. За два года на фронте он хлебнул горя полной мерой: пуля в грудь навылет, отравление хлором, сыпной тиф — все перенес, не сломился. С фронта он привез усы, нежные, чуть пробившиеся.
Помня крутой характер отца, Саша с вокзала домой не пошел, а завернул сперва к приятелю-гимназисту — выяснить обстановку. Отцу после бегства из дому он не писал ни разу, про домашние дела изредка узнавал стороной — из переписки с друзьями.
Приятель уверял, что все обстоит как нельзя лучше: старик за последний год здорово сдал, можно явиться без опаски — простит. Саша все-таки отправил приятеля на разведку, а сам присел у окна.
Был солнечный морозный день. Дым из труб низко стлался над заснеженными крышами. Деревянные домики в беспорядке разбежались по склону, будто спешили скорее подняться в гору. В распадке между двумя холмами виднелась излучина Амура; чернели дальние заросли тальника. У горизонта синей громадой вставал горный хребет Хехцир.
Знакомый вид тревожил и будил воспоминания.
Вернулся приятель.
— Можешь идти. Отец и сестра дома.
— А мать? — спросил Саша, и сердце у него забилось тревожно и быстро.
— Разве ты не знаешь? Ее похоронили весной...
Саша опустился на стул, закрыл лицо руками и так просидел дотемна...
Дома его никто не встретил. Из столовой доносились голоса. Саша прошел прямо в свою комнату. Было темно, но все здесь казалось ему таким знакомым, будто он недавно вышел отсюда. Помедлив чуть, он включил свет.
Его этажерка с книгами была на прежнем месте. Те же самые стулья стояли возле стола. Но на одном из них висел офицерский китель. Из-под кровати выглядывал угол чемодана. На столе разбросан бритвенный прибор.
Кто-то чужой жил в его комнате.
Сашу это неприятно кольнуло. Он поспешил выйти обратно.
— Кто тут? — раздался позади знакомый, мало изменившийся голос сестры.
Саша нарочито медленно обернулся.
— Вот и я, Соня! — громко и радостно сказал он.
Сестра стояла в дверях ярко освещенной комнаты. Она испуганно оглянулась, притворила дверь и, обняв, крепко поцеловала его.
— Я знала, что вернешься. Папу позвать?
— Зови, — сказал он и вздохнул.
Соня еще раз прижалась к нему и выпорхнула из коридора.
Отец вошел грузной походкой, такой же большой и крепкий, каким его помнил Саша.
— Ага, вернулся! — тоже знакомым хрипловатым баском сказал он и поцеловал сына в лоб. Отошел на шаг и внимательно посмотрел на него.

— Был ранен?
— Да, в грудь.
— Так. Достукался.
Саша переступил с ноги на ногу. Былого страха перед отцом он не испытывал, но было тягостно.
— Демобилизован, конечно?
— Сам ушел.
— Вот как! Туда сам — и обратно. Ты что же теперь — с большевиками? — Вопрос прозвучал резко и неприязненно.
— Не знаю. Мне война осточертела, — ответил Саша.
Отец посмотрел на него еще раз и сказал уже другим тоном:
— Мать-то — не дождалась. Умерла. — Чуть помедлив, деловито распорядился: — Белье сжечь в печке. Прими ванну, Соня приготовит, что надо. Комнату твою занял полковник Мавлютин. Поместишься пока в моем кабинете. Покончишь с туалетом — приходи за стол.
И ушел, только половицы под ногами скрипнули.
— Саша, милый, как все хорошо обошлось! — радовалась Соня, не спуская с брата влюбленных глаз.
Когда Саша уезжал, Соня была еще девочкой-подростком, нескладной и застенчивой; сейчас это была хорошо сложенная девушка с горделивой посадкой головы, с мелкими, но правильными чертами лица; большие карие глаза, выражение которых непрерывно менялось, придавали ему особую живость и прелесть.
— Да ты, Соня, красавицей стала, — сказал Саша, любуясь сестрой и проникаясь ее радостным настроением. — От женихов, поди, отбою нет?
— Я каждому говорю: просите моей руки у отца, — засмеялась она. — Боятся.
За столом, кроме своих, было еще человек шесть.
— Сын, — коротко представил Сашу гостям Алексей Никитич Левченко.
— Очень приятно познакомиться, — отозвался сидящий с краю хмурый длиннолицый человек и назвал себя: — Сотник Кауров.
Саша сразу узнал в нем одного из тех двух «штатских», которых утром встречал на вокзале Варсонофий Тебеньков. Вторым был полковник Мавлютин — невысокий желчный человек с калмыцким лицом и колючим взглядом недобрых темных глаз. Это его Алексей Никитич поместил в Сашиной комнате.
Среди гостей находились также благодушный толстяк — начальник почтово-телеграфной конторы Сташевский, элегантный, рано облысевший лесозаводчик Бурмин, елейно-постный, похожий ликом на древнюю икону, владелец торговой фирмы Чукин и розовощекий здоровяк Судаков — служащий из Управления железной дороги.
— Идти против законов общественного развития — это безумие! Капитализм в России далеко не исчерпал своих возможностей, — громким, бодрым голосом говорил Судаков. — Я уверяю вас, господа: большевики долго не продержатся. Смешно, что о них приходится говорить всерьез.
— Нет, не смешно, — резко возразил Мавлютин. — Большевикам нельзя отказать в последовательности: вслед за рабочим контролем над производством они переходят к национализации банков. И, надо думать, на этом не остановятся.
— Грабеж! — крикнул Бурмин.
— Согласен с вами, — Мавлютин чуть наклонил голову, показав аккуратно расчесанный пробор. — Но ведь реальность факта от этого не исчезает. Вопрос о собственности, господа, — основной вопрос, выдвинутый нашим временем. Вот что следует понять деловым людям.
— Кстати, господа, — улыбаясь и заранее предвкушая эффект, перебил Сташевский. — Есть телеграмма со станции Кипарисово. Конфликт на стекольном заводе Пьянкова разрешился: завод национализирован местным совдепом.
— Пьянков напрасно довел до крайности, — сказал Бурмин, очень удрученный таким оборотом дела. — Это опасный прецедент.
— Разумеется, — поддакнул Чукин. — Ну, надбавил бы плату, повысил цену на товар. Дело в конце концов торговое.
Кауров вскочил, забегал по комнате.

— Не торговаться, — головы рубить. Вешать! Барон фон Ренненкампф отлично умел управляться со всем этим сбродом.
— Да, господа! Дело зашло слишком далеко, пора действовать, — резюмировал Мавлютин.
— Не останавливаясь, конечно, перед репрессиями.
Чукин позвенел ложечкой о стакан, сощурился, точно примеривался, мягко проворковал:
— Всеволод Арсеньевич, по законам физики действие производится силой. Не вижу ее. Был Лавр Георгиевич Корнилов — не получилось. Кто еще? Где наши Бонапарты?..
Мавлютин с интересом поглядел в его ожидающие прищуренные глаза, жестко усмехнулся:
— Силы, Матвей Гаврилович, бывают двух родов: внутренние и внешние. Сочетание их может дать поразительный эффект.
— Что вы имеете в виду? — без обиняков спросил Левченко.
— В первую очередь, разумеется, союзников. На худой конец — немцев. Все равно.
— Позвольте! — Судаков с изумлением уставился на полковника. — Ведь это измена делу демократии. Помощь союзных держав я еще могу принять. Конечно, в формах, ограждающих чувство национального достоинства... Но немцы?.. Немцы!
— А я, знаете, приветствовал бы самого черта, — лишь бы он забрал большевиков!
— Браво! — крикнул повеселевший Бурмин.
Чукин молитвенно сложил на животе руки.
— Бог милостлив. Сторона наша глухая, дальняя — авось пронесет. Керенского в Питере нет, а у нас Русанов, слава богу, сидит. По ухабам, господа, вскачь ехать не дюже-то тоже. Может, когда и попридержать надо — шажком, а?
Судаков старательно протирал платочком свое пенсне.
— Да, расхамились невероятно, — пожаловался он. — Утром на вокзале один перехватил извозчика. Да еще нагрубил.
Саше приятно было ощущать хрустящую свежесть белья. Давно он не испытывал такого блаженства. От усталости кружилась голова. Разговор шел мимо него. Возникло лишь чувство острой неприязни к Мавлютину. Все в нем не нравилось Саше: и неприятно-угловатое лицо со смуглой кожей, и чуть раскосые быстрые глаза, и манера говорить не глядя на собеседника.
«Ну, этот, видать, — собака», — думал Саша, посматривая на полковника.
Когда наконец гости стали расходиться, Саша проводил взглядом плоскую спину Мавлютина, скрывшегося в его комнате, и на вопрос сестры, как он находит дом и многое ли в нем переменилось, сердито ответил:
— Нет. Вот только комнату мою в конуру превратили.

4

Мать Савчука жила возле пристани. Старый дощатый барак прислонился одним боком к обрыву; летом во время дождей его заливали потоки мутной воды, зимой — насквозь пронизывал ветер.
В половодье река подступала к самому порогу, плескалась под низкими маленькими окнами. Если поднимался ветер посвежее, брызги оседали на стеклах: окна плакали.
Федосья Карповна жила в угловой каморке. Комната была крохотная — пять шагов в любую сторону. Но все в ней было так аккуратно расставлено, так пригнано, что она казалась гораздо вместительнее.
Весь передний угол занимала кадка с фикусом. Фикус уперся вершиной в провисший потолок и был на редкость густ и сочно-зелен. На стене висели семейные фотографии, в центре — портрет Савчука в полной форме с четырьмя солдатскими Георгиями на груди.
Федосья Карповна перебивалась тем, что мыла полы и стирала белье у состоятельных людей. В то утро она задержалась дома: нездоровилось.
Все чаще ее одолевали невеселые думы. Она снимала со стены портрет сына, подолгу разглядывала ослабевшими глазами каждую черточку на его лице и плакала над ним. Ей казалось, что она больше никогда не увидит его. Да и писем от сына давно не было. Кто знает, жив он, здоров ли? И как ей придется доживать свои последние дни? Ох уж эта война!
Мимо окна прошли трое военных. Дверь без стука отворилась.
Савчук — он вошел первым — сразу увидел мать. Федосья Карповна сидела у окна, склонившись над работой.

Не поднимая головы, она сказала:
— К Петровым надо в те двери.
«Не ждала», — подумал Савчук, чувствуя, как у него от волнения перехватывает горло.
— Или вы ко мне? — закончила Федосья Карповна и повернулась к вошедшим солдатам.
— К вам, — глухо сказал Савчук и, бросив чемодан, шагнул к ней, протягивая вперед руки.
Федосья Карповна встала. На ее лице появилось выражение полной растерянности. Охнув, она выронила клубок ниток, и он покатился на пол.
Савчук, наклонившись, обнял ее.
Она обхватила его голову руками, прижала к груди, замирая от счастья. Слезы радости катились по ее щекам.
— Не ждала, а? — спросил Савчук, когда мать наконец отстранилась, чтобы долгим, изучающим взглядом посмотреть на него.
Как он вырос, как возмужал ее сын, ее Ваня, ее единственная опора и поддержка! Все-таки ее молитва защитила его, уберегла. Разве она не самая счастливая из всех матерей?..
— Не ждала, — согласилась она и тут же поправилась: — Сегодня не ждала.
Приходько и Коваль смущенно топтались у порога.
— Знакомься, мама! Мои товарищи...
Федосья Карповна засуетилась, накрывая стол. Из сундука она достала единственную скатерть, сбегала к соседке за посудой. Подбросила дров в печку, долила чайник. Поглядывая на сына, чистила картошку.
Савчук с удовольствием щупал толстые листья фикуса.
— Давно ты завела такую прелесть?
— А помнишь, в день проводов отсадила у Петровых.
— Ну? — искренне удивился он и задумчиво поглядел на верхушку.
— Комнатные цветы — это, знаете, судьба, — звеня посудой, говорила Федосья Карповна.
— Живет цветок, — значит, и хозяин дышит. Ну, мой, слава богу, разросся.
— Разросся, мамаша, — смеялся Приходько. — Эва дуб какой вымахал!
— Все чепуха, суеверие, — возражал Коваль. — Снаряд одинаково крушит — и фикус и голову.
— Нет, не говорите...
Федосья Карповна качала головой: не верила. Разве могла она поверить?
Весть о приезде Савчука распространилась быстро. Первым прибежал грузчик Захаров. Прибежал прямо с работы: ватник у него был в муке.
— Ого! Да он и впрямь вернулся! — закричал он с порога. — С радостью вас, Федосья Карповна! Иван Павлович, почеломкаемся.
Голос у Захарова густой и гулкий, как из бочки. Грузчик вертел Савчука, как игрушку, хлопал ручищами по его широкой спине, оставляя на шерстяном кителе белые мучные следы.
— Хорош амурец! Ай, хорош... Я, признаться, сперва не поверил: думаю — брехня. Молодец, не сдал! — радостно гудел он. Потом спохватился, что наследил в комнате, схватил веник и сам стал подметать. — Это ничего, — извиняясь, говорил он Федосье Карповне. — Мука — не грязь, из нее хлеб пекут.
Через минуту он опять хлопал Савчука по плечу.
— Куда теперь, Иван Павлович? В канцелярию или обратно к нам — кули таскать?
— Да провались все канцелярии на свете! — вскричал Савчук; он весь сиял от полноты чувств и счастья.
Зашли и соседи Савчука — бывший его напарник по артели грузчиков Петров с женой Дарьей.
Петров — сухощавый человек с небольшими усиками, со светлыми дерзкими, немного выкаченными глазами; одет он в костюм-тройку из тонкого сукна, но в сапогах и с цепочкой от часов в жилетном кармане. Савчук, признаться, не ожидал увидеть его столь нарядным. Петров заметно важничал, стал говорлив и категоричен в суждениях.
Дарья — невысокая брюнетка, в накинутой на плечи белой вязаной шали. У нее удлиненное лицо, прямой нос, темные брови, под ними черные глаза с длинными ресницами; длинные косы сложены узлом на затылке и скреплены сзади затейливым гуттаперчевым гребнем.
Петров, как вошел, сунул Федосье Карповне две бутылки водки за сургучными печатями.

— Видала героя? Иди — целуй! Я тебе велю, — шумел он, подталкивая жену к улыбающемуся Савчуку.
— А что, и поцелую. От всей души поцелую, — сказала Дарья. Поправив спустившуюся с плеча шаль, она со спокойным и строгим выражением лица поцеловала Савчука в губы. — Иван Павлович, желаю вам счастья. Мать ваша совсем тут извелась, ожидаючи.
— Спасибо, — поблагодарил Савчук и неожиданно смутился.
Дарья же кинула шаль на сундук и принялась помогать Федосье Карповне. Она легко и свободно двигалась по комнате и, кажется, хорошо знала, где что лежит. Савчук догадался, что соседка часто бывала у матери.
Подходили новые гости. Расспрашивали о событиях в столице.
— Как революция? Юнкерья в Питере много набили?
— А верно говорят, что немцы Ленину гору золота дали? А он их обманул — золото в Россию увез?
Савчук бил тяжелой ладонью по столу:
— Вранье! Не верьте! Ленин — это знаете какой человек?.. Его — по тюрьмам, в ссылку, а он одно: быть России социалистической — без царя, без помещиков и буржуев. Он народу путь показал. Из-за этого и клевета...
Приходько поймал за руку Федосью Карповну, усадил возле себя.
— Будет вам бегать-то. Отдохните, — и размахивал перед нею вилкой с дряблым огурцом:
— Огурцы, мамаша, при засолке дубовым листом прокладывать надо. Дуб огурцу настоящую крепость дает.
Дарья жаловалась Савчуку:
— Революция, а цены снова поднялись. Дырок много, а вылезть некуда. Прости господи, жмыху бобовому рады. Давно ли им свиней кормили.
— Теперь — свобода, ты это цени, — вмешался Петров. — А жмых... жмыхом кабанов на сало откармливают, — значит, питательность в нем есть. Верно я говорю?
— Однако не жрешь. Лаешься.
— Да я тебе чего хошь достану. Только скажи. Я...
Дарья махнула рукой и отвернулась.
«Неладно что-то у них, — подумал Савчук. Петров своей развязностью и крикливостью все больше не нравился ему. — Вот ведь как переменился человек».
Жаловалась и Федосья Карповна. Все жаловались: с продовольствием стало трудно, товаров нет, с топливом беда, хотя до лесу рукой подать. На рынке все продают втридорога. Денег не напасешься. Как дальше жить рабочему человеку?
— Непорядок это. Почему так, а?
Шея Савчука багровела, он бросал злые слова:
— Господа буржуи и царские офицеры по Муравьевке под ручку гуляют. Шлюхи подолами вертят. Что, неправда?
— Верно!
— Ихняя легкая жизнь нам поперек горла.
— Нет, ты скажи: почему так?
— Совета в городе нет.
— Есть. Выбирали.
— Ну, значит, не тех выбрали. У вас до сих пор Русанов — комиссар Керенского — управляет. Срам!
— В Питере, товарищи, такого позора нет. Там Петроградский Совет всему хозяин. А буржуев — под пресс, — говорил Коваль и крутил рукой, как бы завинчивая воображаемый винт потуже.
Захаров допытывался у Приходько:
— Куда теперь, солдат?
— Домой, в деревню, — мягко улыбаясь, отвечал тот. — Я, дядя, свое отвоевал. Хозяйство поправлять надо. Без мужика во дворе, сами знаете... все не так.
— Женат?
— А как же! Трое ребят.
Грузчик с веселым удивлением поглядел на него.

— Да ну? Трое? Это когда же успел? — И поощрительно хлопнул солдата по коленке. — Действуй, брат. Действуй.
Приходько весело скалил белые ровные зубы:
— Соскучился... так что дело пойдет.
— Охальники! — качала головой Дарья.
Коваль, улучив минуту, поймал Захарова за пуговицу, подтянулся к нему, выспрашивал:
— Большевики в городе есть? Слыхать?
— Ну как не слыхать! Имеются.
— Это хорошо. Да еще народ с фронта подъедет. Наше дело такое — тянуть на подъем. Революция должна идти полным ходом, — говорил Коваль, с удовольствием поглядывая на могучего грузчика. Сам он был росту невидного, может быть, потому и тянулся к таким вот богатырям. — Главное, чтобы народ по-настоящему воспрянул. В народе бо-ольшая сила.
— Должна быть полная свобода личности, слышь! — шумел охмелевший Петров. — Вот я тебя, Ваня, познакомлю с одним человеком — он объяснит...
— Анархист, — рубанул Коваль, и тонкие губы его зло сжались.
— Действительно, наплодилось партий — не знаешь, кого слушать.
— Дело ясное: большевиков надо держаться. Одна партия у рабочих, — убежденно сказал Савчук. Для него это был вопрос решенный.
— Вы Ленина почитайте, он народную нужду до тонкости постиг, — поддержал фронтового товарища Коваль. — Ты вот чувствуешь, что жмет, да не догадываешься — где. А Ильич уже сказал. Благодаря ему и мы зрячими стали. Мировому капитализму это — нож острый. Не нравится, — и Коваль изобразил на своем лице такую испуганную мину, что все заулыбались. — И ведь чуют, бисовы дети, куда Россия теперь повернула. На все тормозные колодки жмут.
Солнце на закате заглянуло в окно, осветив разгоряченные спором лица. Листья фикуса плавали в табачном дыму. Федосья Карповна разводила руками:
— Прежде, бывало, выпьют — и дерутся, а теперь языки чешут. Мода такая, что ли?
Она все украдкой поглядывала на сына, ловила каждое его движение. И чем дольше мать наблюдала за ним, тем очевиднее становилось ей, что вряд ли скоро осуществятся ее мечты о тихом пристанище, домовитой невестке, внучатах.
Что-то новое, незнакомое и тревожащее ее появилось в облике Савчука. Она любовалась его простым и открытым лицом, радовалась, встречая прямой взгляд серых глаз, но не умела теперь прочесть всего, что они выражали. Не могла разгадать, откуда набегала на его лицо непонятная озабоченность и суровость. Только когда Савчук громко хохотал и его широченная грудь сотрясалась от смеха, Федосья Карповна узнавала прежнюю его беззаботность. Нет, не таким сын уходил на войну. И новая тревога закрадывалась в материнское сердце.
На дворе стемнело. Федосья Карповна зажгла лампу.

5

По солдатской привычке Савчук поднялся на заре. Федосьи Карповны уже не было: ушла хлопотать по хозяйству. В печурке, разгораясь, потрескивали дрова. Приходько и Коваль, спавшие на полу под одной шинелью, дружно храпели.
Савчук осторожно перешагнул через них и вышел во двор.
В городе топились печи, дым столбами поднимался вверх. Высоко в небе серебрились перистые облака, чуть подсвеченные снизу солнцем.
День обещал быть морозным и ясным.
Савчук без определенной цели медленно побрел по тропинке вдоль Амура. Здесь оп родился и вырос. На берегу был знаком каждый бугорок и каждый камень. На все это — на захламленный грязный берег, на обшарпанные стены жалких строений, на реку, покрытую торосами и снегом, — Савчук смотрел просветленным и радостным взглядом, позволяющим увидеть ту красоту, какой еще не было, которая только угадывалась в знакомых очертаниях города, в живописном расположении холмов. После пережитого на фронте хотелось верить, что жизнь дальше сложится хорошо и легко.
Савчук, как всякий здоровый человек, любил труд. В его представлении о счастье работе всегда отводилось видное место. Вот вскроется река, пойдут по Амуру буксиры с баржами. Весело зашумят на пристанях грузчики. Савчук играючи станет перебрасывать кули с

мукой, солью, катать по шатким прогибающимся сходням тяжелые бочки с рыбой. Не нужно будет ломать шапку перед подрядчиком. Никто не посмеет задеть твое человеческое достоинство.
Но тут Савчук вспомнил вчерашнего господина, не пожелавшего уступить извозчика больной. Мысли его приняли другое направление.
Дойдя до Нижнего базара, Савчук хотел повернуть домой. Но из ближнего переулка на набережную нестройной толпой высыпали грузчики. У двух-трех в руках были винтовки.
— Ребята, построиться бы надо, — нерешительно кричал кто-то сзади.
— Чего там, валяй!
Оживленно переговариваясь, они толпой спустились к реке. На льду все сгрудились в кучу. Кто-то, путаясь в списке, стал выкликать фамилии.
Савчук, скрутив папиросу, прислонился спиной к халке, вытащенной на берег и опрокинутой вверх днищем, и с интересом стал наблюдать за учением. Еще вчера Захаров говорил ему, что при Союзе грузчиков ведется запись в Красную гвардию.
Отряд помаршировал немного и вдруг пошел в атаку на берег. Пожилые люди и шустрые подростки, махая руками, бежали к Савчуку. Казалось, сразу всей оравой хотят навалиться на него. Но тут безусый паренек ломким, срывающимся тенорком крикнул:
— Шабаш, товарищи! Перекур.
Все обступили Савчука, взялись за кисеты. Пожилой грузчик в потрепанной стеганке стал жаловаться на одышку. Паренек постучал прикладом в днище халки.
— Вот здесь был пулемет. Мы его, значит, взяли, — сказал он, все еще затрудненно дыша от бега.
— А вы, молодой человек, знаете, что такое пулеметный огонь? — сдерживая улыбку, спросил Савчук. — От всех вас, как вы тут бежали, только мокрое место осталось бы. Ясно?
— Пугаешь, дядя?
— Чего пугать. Сам под огнем лежал, носом в грязь. Приходилось, — миролюбиво сказал Савчук. — Война, товарищи, такое ремесло: либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
— Как же его брать — пулемет?
— Головой пораскинуть надо. На пулемет артелью не ходят. Подавить пулеметную точку легко может группа охотников. Действовать следует скрытно, незаметно для противника. Бить лучше всего гранатой.
И Савчук показал, как надо подползать, прячась между торосами.
Грузчик, жаловавшийся на одышку, зашел с другой стороны, внимательно присмотрелся к нему.
— Что-то мне, парень, обличье твое знакомо. Не встречались?
— А мы, Гордей Федорович, перед войной в Троицком баржи вместе грузили.
— Тьфу! Да это же Иван Савчук! — воскликнул грузчик. — Тебя сразу не угадать.
Гордей Федорович Супрунов был одним из тех, под чьим руководством Савчук начинал многотрудную жизнь амурского грузчика. У него он учился, как в три приема кинуть себе на спину шестипудовый куль соли, чтобы при этом не повредить поясницу. Как идти потом по качающимся сходням, не сбиваясь с ритма, не глядя на стремительно бегущую внизу воду.
Они скрутили еще по папироске, прикурили от одной спички.
С берега прямо вниз по круче съехал Захаров.
— Видал, брат, нашу армию? — довольно спросил он, пожимая Савчуку руку. — Брался бы ты, Иван, командовать батальоном, а? Какого лешего нам еще искать, когда свой офицер есть!
— Не такие у меня планы, Яков Андреевич.
— Э, что там планы! Жизнь, брат, как быстрая река, сама вынесет на фарватер. Плыви да не робей, — говорил Захаров, не желая и слушать возражений Савчука. — Кроме тебя, командовать батальоном некому, — не спорь. Мы в Союзе уже посоветовались. Мандат дадим. Остальное — дело твое, сам командир. Я же вижу: имеется у тебя военная жилка.
— Оружие-то у вас хоть есть? — спросил Савчук.
— Так, слезы одни, — вздохнул Захаров.

Когда Савчук вернулся домой, Федосья Карповна хлопотала возле плиты: третий раз подогревала завтрак.
— Куда же ты, Ваня, запропал? Не евши-то с утра.
Приходько, счастливо улыбаясь, укладывал покупки в сундучок.
— Вот гостинцев ребятам купил. Побалую.
Коваль ходил в Управление железной дороги. Вернулся хмурый, раздосадованный.
— Сволочи, пострелять половину надо.
До войны Коваль работал на железной дороге машинистом. Резкий в движениях, угловатый, он отличался таким же характером, В шестнадцатом году его ни за что обругал начальник депо. Ковалю бы смолчать, но разве он мог? Через неделю его услали на фронт. Он уехал, глубоко затаив обиду, — с ней и возвратился.
— Тут, Иван Павлович, порядочки пока старые. Только что жандармов в форме не видать, — рассказывал он Савчуку, сердито двигая взлохмаченными бровями. — В управлении сидят саботажник на саботажнике. Розовые бантики нацепили. А сами думают, как бы им здесь полосу отчуждения от революции устроить. Помяни мое слово, придется кое-кого тряхнуть.
Решение Савчука — принять командование красногвардейским батальоном грузчиков — Коваль одобрил. Приходько же укоризненно покачал головой:
— Не надоела еще тебе эта музыка, Иван Павлович? Пора браться за настоящее дело. Хватит кровь проливать.
— Об этом нас, видно, не всегда спрашивают.
— Дело твое, конечно, — согласился Приходько. — Что касается меня — шабаш. Приду домой и винтовку заброшу на чердак. Или разберу на части — ребятам на игрушки.
— Гляди не промахнись, Василий Иванович, — сказал Коваль.
— Не бойся, не промахнусь. Лед, который по весне сломало, морозом снова не схватит. Мы возле речки живем — видим.
— Бережок, однако, у вас невысок.
Коваль, раздражение которого еще не улеглось, готов был сцепиться с Приходько. Но Савчук обнял обоих за плечи и примиряюще сказал:
— Еще недоставало, чтобы мы в последний час передрались.
Вечером он провожал обоих на вокзал. Перед посадкой в вагон Приходько долго тряс руку Савчука, растроганно говорил:
— Когда еще свидимся, а? Иван Павлович, приезжай! Картошки иль чего там надо — последним поделюсь.
Коваль порывисто пожал Савчуку руку, потом обнял и трижды ткнулся колючими усами в его щеку.
— Не поминай лихом, Иван Павлович!
Паровоз рванул пристывшие к рельсам вагоны. Убыстрял ход. Вот и последний вагон, стуча на стыках, пробежал мимо Савчука. На повороте прощально мигнул красный глаз сигнального фонаря.
А Савчук еще долго стоял на опустевшем перроне и думал, отчего это не может человек знать, как сложится дальше его жизнь, как знает, скажем, машинист ушедшего в ночь поезда все уклоны и подъемы на своем пути?

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Логунов пробыл в городе дня два, побывал в комитете большевиков, повидался с нужными людьми. Лишь на третьи сутки с попутной подводой он выехал на базу военной флотилии.
Шел снег. Река и сопки, окружающие базу, исчезли, потерялись в снегопаде. На голом бугре теснились красные кирпичные здания.
Нужно было разыскать прежнего сослуживца Николая Михайлова, избранного недавно матросами в Центральный комитет флотилии. Порасспросив встречных моряков, Логунов по переулку вышел к одноэтажной длинной казарме. У входа стоял часовой. Он остановил Логунова и вызвал дневального.
Михайлов обрадовался Логунову несказанно:
— Ба, Федор! Вот не ждал! Какими судьбами? Хоть бы телеграмму отбил, послали бы за тобой лошадь.

Михайлов был невелик ростом, худощав, подвижен. Курчавые непослушные волосы и карие, чуть раскосые глаза придавали ему мальчишески-озорной вид и очень молодили его.
— Первым долгом зачислим тебя к нам на довольствие, — торжественно объявил он, проводив Логунова в казарму. — У нас на флотилии, пока все положенные инстанции пройдешь, вконец отощать можно. Впрочем, кого как. Эсеров, например, начальство принимает с распростертыми объятиями... Ты как, собираешься отдохнуть с дороги?
Логунов развел руками, усмехнулся:
— До отдыха ли нам теперь, Николай. Всех наверх свистать надо.
— Верно, дружище! Очень рад, что мы опять вместе. Тут немало хороших ребят, надежных и крепких.
Обжигаясь горячим чаем, налитым в большие оловянные кружки, они наскоро рассказывали друг другу о событиях последних месяцев.
— Завидую я тебе, Федор, — признался Михайлов, ероша свои коротко подстриженные волосы. — Такие события прошли у тебя на глазах. Питер. Революция. Ленина, конечно, повидал?
— Нет, мне не довелось, — сказал Логунов и в который раз пожалел, что так получилось.
— В Смольном был.
— Это же главный штаб революции! — воскликнул Михайлов. — Вот везет людям!.. Впрочем, амурцев наших тоже не узнать. Таким, брат, свежим ветром подуло — любо-дорого, — продолжал он, весело поглядывая на Логунова. — Осенью тут меньшевики хотели арестовать большевистскую фракцию Совета. Ну мы, то есть организация наша, базовская, обратились к матросам: «Братишки, разве допустим!..» Вывели два монитора на Хабаровский рейд. Орудийные башни развернули. Боеготовность номер один... В городе — тишина. Полный порядок. Пальцем наших не тронули.
— Добро!
— К сожалению, понаехало сюда много разной шпаны. Кто от фронта по протекции прячется. Кому весь смысл жизни — ленточки да клеш. С офицерами — беда. До того воду мутят, тошно глядеть. Вот и сегодня предстоит один скучный разговор. — Михайлов задумался, сдвинул у переносья густые брови. — А что, Федор, если мы пройдемся по экипажам? Ты — свежий человек, с Балтики. Скажешь насчет общей обстановки. Погорячее, чтобы за душу брало. А наши ввернут по поводу задач на текущий момент. Здорово получится, честное слово! — Хлопнув себя по коленке, он решительно отодвинул в сторону недопитую кружку.
Пока они ходили по казармам, пока дежурные свистали в дудки, созывая матросов, и Логунов отвечал на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, — на улице распогодилось. Сквозь разорванные тучи проглянуло солнце. Свежевыпавший снег мягко похрустывал под ногами.
— Люблю я, Федор, здешнюю зиму. Ты погляди! Солнце, снег, мороз, — говорил Михайлов, когда они с группой представителей судовых комитетов шли в порт на совещание с командованием. — Взять бы ружье да по свежей пороше в лес! Тут верстах в трех вполне приличная охота. На островах. Подстрелишь косого, потом уж понукать тебя не придется.
Им надо было спуститься на дно оврага, по которому шла дорога в порт. Для спуска была устроена лестница. Но кто-то рядом протоптал уже тропу, крутую и скользкую. Михайлов по-мальчишески свистнул и первым ринулся вниз.
Совещание в Управлении порта было бурным. Накануне штаб флотилии отдал приказ об увольнении нескольких рабочих. Заводской комитет, поддержанный частью судовых комитетов, опротестовал это решение. Совещание должно было прийти к какому-то решению, приемлемому для обеих сторон.
Докладывал представитель штаба капитан 2-го ранга Лисанчанский, полный, чуть обрюзгший офицер. Был он в безукоризненно отутюженных брюках, гладко выбрит и надушен. Говорил медленно и невнятно, как бы пережевывая слова. Всем видом своим Лисанчанский показывал, что снизошел он до разговора с матросами только в силу необходимости.

Михайлов и пришедшие с ним матросы уселись обособленной тесной кучкой. Зачитывая донесения начальников цехов, капитан старался уловить, какое впечатление произведут на них эти документы. Но лица матросов оставались непроницаемо спокойными.
Уволенные рабочие — их было пятеро — тоже присутствовали на заседании. Они пришли прямо из цехов, в замасленных куртках. Лисанчанскому было крайне неприятно видеть, как молодой веснушчатый парень, сидевший ближе других к нему, ерзал грязными локтями по тонкому зеленому сукну стола.
Из уволенных рабочих капитан 2-го ранга знал только орудийного мастера латыша Спаре, который даже здесь не расставался со своей трубкой. Посасывая ее, он спокойно и чуть насмешливо смотрел на докладчика.
Паренек с веснушками негодовал и злился, слыша, какими разгильдяями и нарушителями дисциплины здесь пытаются представить их. Но Спаре каждый раз останавливал его еле приметным движением руки: не надо пока нарушать порядок, спокойнее, дружок. Парень ворочался на стуле, и выражение лица у него становилось все более возмущенным и злым.
Логунову латыш Спаре сразу понравился. Была в его осанке и манерах та обстоятельность, которая лучше слов характеризует человека, знающего дело, умеющего, когда надо, постоять за себя и за других. Смешными и вздорными показались Логунову обвинения, предъявленные мастеру Лисанчанским.
«Съесть хотят, дело ясное», — решил Логунов и вслед за Михайловым поглядел в окно. Отсюда, с горы, затон был виден как на ладони. Чернели внизу корабли. Темным узором вились между ними тропы. Изредка на льду показывался человек. В лозняке, на той стороне затона, горел костер. Рыжая струйка дыма тянулась от него по ветру. Возле костра на козлах двое рабочих ручной пилой распиливали бревна на доски. Дальше за кустами начинался Амур; однообразно белая снежная пелена скрадывала очертания берегов и не позволяла сейчас судить об истинных размерах речи. Об этом можно было только догадываться, глядя на чуть видный низкий и пустынный противоположный берег. Всмотревшись попристальнее, там еще можно было различить дымок паровоза. Правее по горизонту чуть обрисовывалась одинокая конусообразная сопка Июнь-Корань. Но это было уже совсем далеко — возле станции Волочаевка, что в сорока верстах от города.
— Итак, граждане, — закончил Лисанчанский, — эти люди уволены. Уволены за то, что не хотят работать на оборону республики.
— А вы какую республику имеете в виду? — встрепенувшись, громко спросил Михайлов. Все еще щурясь от солнца, бившего в окна, он повернулся к докладчику.
— Я, кажется, выразился достаточно ясно.
— Выходит, нет.
Лисанчанский пожал плечами. В его словах прорвалось нескрываемое раздражение.
— Все моряки, вся флотилия не покладая рук работают для достижения победы над врагом! — крикнул он. — А они, — тут капитан 2-го ранга, вытянув руку, указал на рабочих, — они митингуют! Они бездельничают! Что же, видно, морякам самим придется ремонтировать суда к навигации.
— Еще чего не хватало, спину за других гнуть! — заорал вскочивший с места баталер. — Братишки, куда мы идем, спрашиваю? Скоро рабочий сядет моряку на шею и поедет.
— Да на твоей шее ехать можно. Отъелся, — под общий смех заметил один из матросов.
— Однако, позвольте, на дворе — декабрь, а судоремонт еще не начат. Как вам это нравится?
— Я же говорю: домитингуемся. Всю флотилию придется ставить на прикол, — сказал Лисанчанский.
— Вы этого, видно, и добиваетесь.
— Измена это, — пробасил кто-то из дальнего угла.
— Изменник тот, кто вносит путаницу и беспорядок в нормальную деятельность кораблей! — крикнул Лисанчанский. Глаза его сердито засверкали. — При существующих условиях командование делает все возможное, чтобы сохранить боеспособность флотилии. Все возможное...
— Нет, вы объясните, почему дефектные ведомости не утверждены? — спросил Михайлов. — Судовые механики когда их сдали? Или в этом тоже рабочие виноваты?

Капитан 2-го ранга беспокойно заерзал на стуле. Он хотел ограничиться обсуждением узкого вопроса об увольнении пяти рабочих. Но на его беду это было только частью другого, более широкого и важного дела.
Если офицерский состав флотилии, кондуктора и баталеры, примкнувшие в большинстве к эсерам, делали вид, что ничего знать не желают о переменах в центре страны, то матросская масса все больше волновалась и выходила из повиновения. Многих на флотилии беспокоило то, что командование категорически отклоняло все требования о признании власти Совета Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичей Лениным. Рамки военной дисциплины еще удерживали моряков от прямого выступления, но положение командования было до крайности шатким и ненадежным. Оно не могло не считаться с настроением матросов, но в то же время упрямо гнуло свою линию.
Идя сегодня на совещание, капитан 2-го ранга думал, что это удобный случай показать твердость. Обсуждение же вопроса о судоремонте никак не входило в его намерения. Но теперь Лисанчанский понял, что от ответа ему не отвертеться.
— Ведомости рассмотрены и утверждены, — сказал он, вытирая платочком вспотевший лоб.
— Отчего же не передали их в завод? Почему задерживаете? — спросил Спаре, будто о его увольнении тут и речи не шло.
— Да, почему дефектные ведомости еще не переданы заводу? — вслед за мастером повторил Михайлов. Лисанчанский зло взглянул на него и коротко отрубил:
— При настоящем положении дел командование не считает возможным передать заводу ответственный заказ.
— Значит, корабли не ремонтировать? Так?
— Так хотят рабочие.
Спаре стукнул по столу ладонью и сказал негромко, но так, что всем было слышно:
— Неправда!
— Позвольте командованию самому решать вопросы, находящиеся в его компетенции.
— Разоружать флотилию не позволим!
И пошло... Вскипели все, как вода в котле. Крепкие узловатые матросские кулаки стучали по зеленому сукну стола. Говорили все разом, перебивая друг друга, не дослушивая, не успевая отвечать. Так распространяется пожар, когда много накопится горючего материала: вспыхнет в одном месте, займется; не успеешь потушить — пылает в другом углу; не добежишь туда — загорелось в третьем; и вдруг загудит, обоймет все пламенем, и уж тогда сколько угодно лей воду ведрами — не поможет.
Лисанчанский стоял, опершись на спинку стула, и красные пятна густо проступали на его лице. Он растерялся и не знал, как ему выбраться из трудного положения.
В момент общего взрыва страстей лишь два человека сохранили спокойствие — Спаре и Михайлов. Михайлов с вызовом глядел на капитана 2-го ранга, и Лисанчанский чувствовал, что его противник припас еще какой-то сильный, неожиданный ход.
Спаре стоял, чуть ссутулясь, широко расставив ноги, и посасывал трубку.
— Кричим, кричим, а все на холостой ход. Зачем? — сказал он, выждав паузу, и в его словах прозвучало искреннее удивление. — Господин офицер тут долго говорил, бумаги читал — все чепуха. Увольнение тоже чепуха. Туман... А вот, я вижу, поссорить матросов с рабочими господину офицеру хочется. Очень хочется. — Он припер Лисанчанского взглядом к стене и, будто заколачивая гвоздь, стукнул по столу кулаком. — Им драка между нами нужна. Слышите? Вот это — главное.
— Верно! Правильно говоришь, товарищ, — крикнул Логунов.
Михайлов тронул его за локоть, приглашая глянуть в окно.
Беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить происшедшую в затоне перемену. Всюду виднелись черные фигуры матросов, спешивших в порт. На узкой площадке перед заводом сгрудилось уже немало людей. Над главным входом кто-то прилаживал красное знамя.
— Видишь, видишь, — торжествующе говорил Михайлов. — Идут ведь, а? Позвали — и идут. Объединенное собрание моряков и рабочих.
Пройдя к столу, Михайлов плечом оттеснил Лисанчанского.
— Верно говорил здесь Ян Эрнестович, поссорить нас хотят. Господа офицеры спят и во сне видят, как бы натравить моряков на рабочих. Только ничего из этого не выйдет. Зря

стараетесь. Одна дума волнует теперь моряков и рабочих: почему вы не скажете прямо — признает командование власть Советов Народных Комиссаров или нет? Почему не выполняются декреты за подписью товарища Ленина? До каких пор в Хабаровске будет сидеть керенщик Русанов? Думаете, не знаем, как вы с ним шушукаетесь, — гневно говорил он, невольно переходя на те вопросы, которые были им обдуманы и подготовлены для выступления на митинге. — Впрочем, нам пора кончать, — неожиданно оборвал он. — Вот только... как все-таки будет с уволенными? Надо бы нам здесь дотолковаться. Я, собственно, вашу выгоду имею в виду, — повернулся он к Лисанчанскому. — Если это дело на собрание перенести, нехорошо ведь получится, а?
Капитану 2-го ранга волей-неволен приходилось отступать.
— Командование пересмотрит приказ, — процедил он, не разжимая рта.
— Вот и отлично! Ну, пошли, товарищи! Пошли.
Михайлов дружески перемигнулся со Спаре и. увлекая всех за собой, двинулся к выходу.
2
На ближайшее воскресенье комитет большевиков назначил вооруженную демонстрацию. Дня за три до этого рано поутру Савчук и Захаров отправились в Арсенальскую слободку. Знакомый Захарову слесарь Мирон Сергеевич Чагров обещал устроить встречу с человеком, при помощи которого они надеялись достать хотя бы десяток винтовок. По слухам, арсенальцы разработали целую систему утайки оружия, поступившего к ним на ремонт. Говорили, что железнодорожники разжились у них даже станковым пулеметом.
Чагров жил на краю слободки в покосившейся лачуге, готовой вот-вот свалиться в овраг. Его жилище отличалось от других домишек в слободке только тем, что во дворе сохранилось одинокое дерево, горестно воздевшее голые ветви к небу. По этой примете грузчики и нашли дом, не прибегая к расспросам.
Мирон Сергеевич мылся над тазом, собираясь на работу. Это был пожилой седоусый человек, плотного сложения, неторопливый, с хитринкой в глазах. Его жена Пелагея — худая болезненная женщина — сердито двигала чугуны на плите. Трое ребят сидели на кровати, укутав ноги рваным полушубком и глядели на родителей с тем выражением недоумения, которое возникает при внезапно разразившейся ссоре между взрослыми, причины которой необъяснимы для детского ума.
— Здравствуйте, хозяева! — прогудел Захаров, переступив порог, и снял шапку.
Савчук поздоровался, поискал глазами веник, чтобы обмести снег с обуви.
— Да ладно, проходите. Проходите сюда, — Чагров показал на свободное пространство перед печкой.
Пелагея молча пододвинула пришедшим табуретки, приставленные на ночь к кровати, чтобы дети ненароком не свалились с нее.
Мирон Сергеевич тер шею полотенцем, хмурясь, поглядывал на жену и в то же время незаметно присматривался к Савчуку. Кого это вздумал притащить с собою Захаров?
— Демьян Иванович вчера в город собирался. Не знаю, где будем теперь его ловить, — уклончиво сказал он, узнав о цели их прихода. — Ладно уж, провожу в цех. Мое ведь дело свести вас — большего не обещал.
Пелагея, прислушиваясь к разговору, очищала от кожуры дымящийся картофель. Ради экономии картофель варили с кожурой. Дети с голодным выражением глаз следили за руками матери.
Мирон Сергеевич завернул три вареные картофелины себе на обед. Одеваясь, он посоветовал жене сходить к лавочнику, занять муки в долг.
— Так вот и дадут, за твои прекрасные глаза, — отрезала Пелагея, не желая скрывать от пришедших своего недовольства. — Не пойду. Пропади вы все пропадом!
— Ну, дело твое. Получки, видно, не скоро дождемся. Говорят, в конторе денег нет, — примирительно заметил Мирон Сергеевич и взялся за шапку.
За окном зычно кричал арсенальский гудок.
— Беда с нашими недостатками, — скупо пожаловался Чагров, когда они пробирались тропинкой вдоль оврага к какой-то лазейке в заводской ограде. Идти мимо охраны по понятным причинам никому из них не хотелось. — Бьется народ как рыба об лед. Детишек, откровенно говоря, жалко.

—- Мастерили бы что-нибудь для продажи. Все-таки будет поддержка, — посоветовал Захаров. Чагров усмехнулся:
— Мастерят, конечно. Зажигалки. Безобидная вещь. Так? А как я понимаю — опасная. Хотят, чтобы рабочий класс на мелочи разменивался. А нам большие дела творить — революцию. Жизнь светлой стороной повернуть к человеку. Ежели только сегодняшним днем жить, дальше вчерашнего не уйдем. Вот ссорюсь с женой — не понимает. Да разве она одна?
Отодвинув доску в заборе, прибитую только на верхний гвоздь, он пропустил Савчука и Захарова на арсенальский двор.
Чагров оставил грузчиков в литейной — мрачном, закопченном помещении, где, врываясь в разбитые окна, гулял сквозняк, — а сам куда-то скрылся. Поодаль трое рабочих готовили форму для отливки. Савчук и Захаров, которым еще не доводилось наблюдать работу литейщиков, с интересом приглядывались к ним. Они не сразу заметили появление в цехе новых лиц.
Тот, что был постарше, задержался у входа и принялся читать вывешенные на стене объявления. Молодой прямо подошел к грузчикам и приветливо сказал:
— Здравствуйте! Я — Демьянов.
Есть люди, которые сразу располагают к себе. Демьянов принадлежал к их числу. Коренастый, ладно скроенный, он, видимо, обладал незаурядной физической силой. Волевые черты лица, высокий лоб, веселые выразительные глаза под густыми бровями говорили о силе нравственной. От всей фигуры Демьянова веяло уверенностью и энергией.
— Демьян Иванович, дело у нас, так сказать, деликатного свойства. Может, не место тут говорить, — дипломатично начал Захаров, косясь на спутника Демьянова.
— А.вы не стесняйтесь. Тут люди свои, — сказал Демьянов, тоже оглядываясь и тем самым давая понять, что именно своего спутника он и имеет в виду.
— Ну, значит, нечего наводить тень на божий день! — воскликнул Савчук и коротко изложил свою просьбу.
— Право, не знаю, как быть, — замялся Демьянов. — Мы, конечно, будем иметь в виду при случае. Что там у вас — много людей в батальоне? Анархисты, кажется, есть?
«Эге, ты не так прост, как кажешься», — с удовольствием подумал Савчук и сказал:
— Людей достаточно. Было бы чем вооружить. А анархистов вытурим, можете не беспокоиться.
— Демьян Иванович, ведь это боевая сила — грузчики! — волнуясь за исход дела, поспешил вставить Захаров. — Нам оружие, так мы...
— Знаю, знаю. Мы ведь вообще не отказываем, — сказал Демьянов и опять внимательно посмотрел на Савчука.
Савчук понял, что оружия им не дадут. Видимо, Демьянов опасается, что оно может попасть в руки анархистов.
Но тут спутник Демьянова сделал едва приметный знак, и Демьянов продолжал уже сговорчивее:
— Мы не отказываемся помочь. Просто у нас сейчас создалось трудное положение. Начальство ввело строгости. Приходится по-всякому изворачиваться. Если дадим десятка полтора винтовок — вас это устроит?
— Что ж, и то ладно, — сказал Савчук. Впрочем, на больше они и не рассчитывали.
Сразу сообразив причину щедрости Демьянова, Савчук стал повнимательнее приглядываться к его спутнику — невысокому человеку в черном пальто и меховой шапке. Он был худ, на лице заострились скулы.
Захаров начал уславливаться о способах переправки оружия. Из глубины цеха донесся короткий предупреждающий свист.
— Эх, не вовремя начальство пожаловало! — с досадой сказал Демьянов. — Придется, товарищи, перейти к нам в кузнечный.
Они прошли в соседний цех и там быстро обо всем договорились.
— А это что, паровой молот? Здорово, однако, стучит, — полюбопытствовал Савчук, разглядывая непонятное сооружение.
— А вам не приходилось разве видеть молот в действии? — спросил Демьянов, гордый тем, что в свои двадцать три года он легко управляется с громоздкой и сложной машиной.

— Нет. Наша работа под открытым небом, на сходнях. Подставляй плечо да береги поясницу, — засмеялся Савчук.
Спутник Демьянова снял пальто, внимательно осмотрел готовые поковки и занял место машиниста. Демьянов ревнивым глазом следил за ним. Из нагревательной печи принесли заготовку. Повинуясь точно рассчитанным движениям мастера, молот застучал, обжимая болванку, загибая края. Снопом брызнули искры.
Демьянов, ловко изгибаясь всем телом, ворочал клещами тяжелую поковку. А молот все выбивал и выбивал ритмическую дробь. Наконец прошелся по заготовке легким поглаживанием и замер. Демьянов бросил на пол еще рдеющую поковку.
— Нет, нас рано со счета скидывать! — весело говорил спутник Демьянова, вытирая платком вспотевший лоб. Надел пальто, закашлялся. — А молот у вас все-таки жидковат. Настоящую работу тут не сделаешь.
— Приходилось работать на больших заводах? — спросил Демьянов. Сам опытный кузнец, он сразу узнал настоящего мастера.
— Начинал в Питере, на Путиловском. Последние полтора года — у Форда, в Детройте... Ну, нам, кажется, по пути. Пошли, товарищи, — сказал он Захарову и Савчуку.
Кратчайшей дорогой вывел грузчиков к лазейке в заборе. Закашлялся вновь. Горько усмехаясь, заметил:
— Вот чахотку в Америке нажил. — Помедлил чуть и спросил: — Так как все-таки будем с анархистами?
— Да выгоним их к чертовой матери, чтобы они нам репутацию не портили, — сердито буркнул Савчук. — Там анархистов этих — кот наплакал.
— У нас в батальоне только грузчики, пролетарии. Выгоним — куда пойдут? — возразил Захаров. — Это дело обдумать надо, не с плеча рубить.
— Вот именно, не с плеча, — одобрительно заметил их спутник. — Многие честные люди не разобрались по-настоящему в обстановке. Поддались на удочку красивых фраз. Тут действительно следует бережно отнестись к каждому заблудившемуся рабочему. Вы правы, — он повернул голову, глянул блестящими карими глазами на Захарова, на Савчука, шедшего с другой стороны. Дружески посоветовал: — Главарей — выгнать, а прочим разъяснить: «анархия — мать беспорядка». Дисциплину надо подтягивать, товарищи. Без организованности, без крепкой дисциплины, как учит Ленин, нам не разрешить великих задач, поставленных в порядок дня революцией.
— Дисциплину мы подтянем, — пообещал Савчук. — Но дело не только в ней, есть вещи не менее важные.
— Да? А что именно?
— Тактической подготовки в батальонах нет. Если уж готовиться всерьез...
— Только всерьез, иначе не стоило начинать!
У собеседника была подкупающая манера слушать, и Савчук сам не заметил, как выложил соображения, возникшие у него при первом знакомстве с батальоном. Пройдя фронтовую школу, он лучше других видел недостатки в военном обучении красногвардейцев. Знал и тех, с кем предстояло помериться силами.
— А знаете, Иван Павлович, ваши замечания очень существенны. Нам действительно пора обратить внимание на специально военную сторону дела, — согласился он, выслушав Савчука. — Учить людей защищать свою народную власть — задача почетная, неотложная. Тут вам, военным, все карты в руки. Нельзя терять ни одного дня. Врагов у нас более чем достаточно. Без боя они не уступят. Теперь уже всем видно, что контрреволюционеры пытаются поскорее сорганизоваться. Первый период растерянности у них прошел. Они ищут способы сохранить и упрочить свою власть. Возможно, тут имеет место заговор общероссийского масштаба. История знает примеры, когда буржуазия использовала отсталые окраины как базу для контрреволюции. Но мы эти планы сорвем! — воскликнул он и спросил: — Кстати, сколько винтовок дает Демьянов?
— Да сущие пустяки — пятнадцать штук, — пожаловался Захаров.
— Гм! Не густо. Народ у вас хороший.
— Грузчики — богатыри! — Захаров выпятил грудь, прошелся козырем. — Гвардия пролетариата!

— Что ж, попытаемся вам помочь, — сказал их спутник, немного подумав. — Тут штаб Приамурского военного округа затеял переброску оружия казакам на Амур. Вандею поднимать хотят. Но мы еще посмотрим... Между прочим, в связи с этим делом открываются некоторые возможности. Я вам сообщу. Будьте здоровы!
Он приподнял немного шапку, затем свернул на другую улицу и сразу же затерялся в толпе.
— Толковый как будто человек! Кто это? — спросил Савчук.
— Нет, каков, а? — хохотал Захаров. — Все повыспросил и ушел. Ищи теперь, свищи, был да нету. Ха-ха! — Насмеявшись вдоволь, сказал: — Из большевистского комитета товарищ. Потапов по фамилии.
3
Под вечер в Союз грузчиков забежал парнишка — посыльный Потапова. Савчуку предлагалось явиться в окружное Интендантское управление и получить наряд на винтовки. Оружие рекомендовалось незамедлительно вывезти со склада.
Оценив характер предстоящей операции, Савчук взял сопровождающими с десяток наиболее расторопных бойцов. Чуть стемнело, когда они на четырех подводах прибыли в военный городок. Предъявив свои офицерские документы, Савчук поднялся на второй этаж Интендантского управления и спросил писаря. Ему указали на лысоватого человека в очках, копавшегося в бумагах. Перед столом толпились люди в романовских полушубках и шинелях.
— Очередь. Прошу очередь, господа. Не толкайтесь, — монотонно повторял писарь, выписывая требования, сверяя их с имевшейся у него разнарядкой, ставя штампы. Все совершалось старательно и страшно медленно.
— Черт знает, как копаетесь! Вы не можете поторопиться? — кипятился черноусый человек в казачьей папахе с желтым верхом. Ростом он лишь немного уступал Савчуку, был худощав и жилист. Суровый властный взгляд, каким он окинул писаря, показывал, что человек этот привык распоряжаться и не терпел возражений.
— В самом деле. Не разводите канители, писарь, — поддержали черноусого из очереди.
Кто-то от дверей с угрозой пробасил:
— Интендантская крыса! На фронте таких вот субчиков вешали на первом суку...
Однако писарь был не из тех, кто поддается пустой угрозе. Он как ни в чем не бывало продолжал скрипеть пером. Когда же шум становился уж очень громким, клал руки на стол и, невозмутимо глядя поверх очков, укоризненным тоном произносил только одно слово: «Господа!» — и терпеливо выжидал, пока шум сам собою не затихнет.
На короткое время в канцелярии показался озабоченный Кауров. Скользнув хмурым взглядом по лицам, он сказал, жуя папиросу:
— Склад откроют через час. Пожалуйста, без гаму. Прошу.
Савчук дождался своей очереди, сказал, как было условлено:
— Я от Якова Павловича.
Писарь лениво поднял на него глаза, порылся в разнарядках. К личности Савчука он не проявил никакого интереса.
— У вас с собой сколько человек?
— Двадцать, — на всякий случай прибавил Савчук.
Писарь не спеша выписал требование, подписался, поставил штамп в одном углу, в другом пришлепнул печать.
— Следующий!
У него был вид человека, совершенно безучастного ко всему, что не входит в круг его служебных обязанностей
На складе, расположенном в дальнем конце огромного двора Интендантского управления, служившего одновременно и учебным плацем, черноусый яростно спорил с Варсонофием Тебеньковым. Последний распоряжался отпуском оружия по выписанным в управлении нарядам.
— Мерзавцы! Прохвосты! Канцеляристы проклятые! — орал в бешенстве черноусый и тыкал Тебенькову в лицо бумажкой. — Это требование или что? Так какого вы дьявола! А?
— А я вам русским языком говорю: недействительно! — так же громко кричал Тебеньков,
— Почему?
— Нужного штампа нет.

— Как? Что? Разрешите? — Черноусый выхватил у Савчука его требование, сличил. — Ну совершенно одинаковы.
Обе бумажки перешли к Тебенькову.
— А вот нет, — поглядев, со злорадным удовольствием сказал Тебеньков. — У вас штамп «получено», а у господина прапорщика — «занаряжено». И в этом все дело. Сегодня выдаем только по нарядам особого назначения — «за-на-ря-же-но». Ясно? Придете в будущий понедельник.
— Послушайте, этот проклятый писарь по ошибке...
— Ничего не знаю. Канцелярия уже закрыта. Освободите помещение.
— Ну, знаете! Я этого так не оставлю. Я командующему буду жаловаться...
— Господа, право, у нас нет резону поднимать здесь гвалт, — рассудительно заметил Савчук.
— Нет, это просто чудовищно. У меня казаки ждут, понимаете. Из-за этого специально приехали в город. — Черноусый еще раз метнул злобный взгляд на Тебенькова и круто повернулся к Савчуку. — Р-разрешите прикур-рить!
Руки у него дрожали так, что он сломал подряд несколько спичек. Закурив, жадно вдохнул в себя дым.
— Пор-рядочек... — ругнулся он, когда сжег почти всю папиросу. На Тебенькова он больше не глядел, будто того здесь и не было. — А кто этот ваш магический Яков Павлович?
— Начальник штаба, — не моргнув глазом, ответил Савчук и полюбопытствовал в свою очередь: — Из какой станицы?
— Екатерино-Никольской. Есаул Макотинский, — сказал черноусый уже довольно миролюбиво. — Вот ведь при каких обстоятельствах пришлось познакомиться. Попал я в дурацкое положение, — невесело усмехнулся он. — Думал сегодня выехать из города, ночевать в Нижне-Спасской. У меня там сослуживец, фронтовой друг. С Мазурских озер вместе уходили.
— Из самсоновской армии, значит? — Савчук не без любопытства посмотрел на есаула. Солдаты и офицеры этой погибшей в первый месяц войны армии сражались с подлинным героизмом и попутали все планы германского верховного командования. Самсоновцев предали, бросили в наступление без поддержки, но солдатская молва говорила о них с уважением. Сражаясь в трясинах и болотах Восточной Пруссии, русские солдаты предопределили исход грандиозной битвы, развернувшейся в это же время далеко на западе, на полях Франции. Позднее это было названо «чудом на Марне».
— Да, были приданы 2-й армии, — подтвердил есаул и чуть наклонил голову. — Мы бы расколотили тогда фон Притвица вдребезги, если бы не этот копуша — фон Ренненкампф. Сукин сын, подвел под монастырь. Из моей сотни вернулись два офицера да шестеро казаков. Представляете, в какой переплет попали?
— Ну, один «фон» против другого не пойдет, узнали мы их достаточно, — заметил Савчук.
— В этом вы, пожалуй, правы, — согласился есаул. — Впрочем, коварства немцев по-настоящему мы еще не знаем. Да, да! Не знаем, — вновь загорячился он. — Вы помните историю с Троянским конем? Вот нам этого коня и подбросили. Взорвали Россию изнутри, подлецы.
«Эге! Видно, дрались мы с тобой четыре года на одном фронте, а теперь будем на разных. Разошлись наши пути-дороги», — подумал Савчук без тени симпатии к есаулу.
— Вот что, прапорщик. Дайте еще спичку, — попросил Макотинский. Закурил. Вернул Савчуку полупустой коробок и любезно предложил: — Доведется когда попасть в нашу станицу, прошу быть гостем.
— Спасибо. Представится случай, буду рад, — сказал Савчук, посматривая одним глазом на своих грузчиков. Под присмотром Захарова они с присущей им ловкостью таскали ящики.
Савчук курил, небрежно пуская кольца дыма.
Тебенькову понравилась сноровка людей Савчука. «Вот это солдаты!» — думал он. И еще хотелось досадить черноусому, показать, что он, хорунжий Тебеньков, властен распорядиться тут и без всяких бумажек.

— Гранат ящик не возьмете? — предложил он Савчуку, когда все ящики с упакованными в них винтовками были вынесены и уложены в сани. — Могу также добавить патронов.
— Что ж, не откажусь, — равнодушно ответил Савчук. — Распорядитесь, пожалуйста.
Есаул Макотинский скрипнул зубами и зло посмотрел на Тебенькова. Швырнув под ноги окурок, он зашагал к выходу.
Сани нагрузили так, что пришлось помогать лошадям тронуть их с места.
На улице Захаров, посмеиваясь, говорил Савчуку: — Там еще железнодорожники стояли, знакомые ребята. Ловко, а? — И, вспоминая писаря, долго еще качал головой, поражался:
— Ну, дока! Этот им канцелярию разведет — черт ногу сломит.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В воскресенье Мавлютин проснулся не в духе. Мутный зимний рассвет заползал в окна. Было тихо. Но вот в соседней комнате скрипнули половицы, послышалось сердитое кряхтенье хозяина. И будто этого только все ждали — в доме зашевелились, загомонили. Невольно подчиняясь общему движению, Мавлютин тоже встал с постели. Открыв форточку, он тщательно проделал гимнастические упражнения по известной системе Мюллера. Сон был прогнан, но дурное настроение осталось. Мавлютин долго не мог придумать, чем ему заняться: сел бриться — порезался, взял книгу — показалась скучной. В голове у него был какой-то сумбур. Далекие происшествия перемежались самым странным образом с событиями последних дней. Всплывали в памяти хитрые прищуренные глазки Чукина и его маслянистый, липкий взгляд; и затаенная холодная ярость Бурмина, скрытая под тонкой оболочкой снобизма; смешные претенциозные манеры Русанова — этого калифа на час, цепляющегося за призрачную, ускользающую из его рук власть над обширным краем. Припомнились составленные в штабе округа списки кадровых офицеров царской армии, устремившихся сюда, к границе, пробирающихся в поездах под чужой личиной, как сам Мавлютин, рассеянных теперь по городам и станицам, но готовых с оружием в руках пройти обратно через всю страну, как шли карательные экспедиции баронов Ренненкампфа и Меллер-Закомельского... А над всем этим было ощущение какой-то неотвратимо надвигающейся на него беды.
Припомнил Мавлютин и сцену ухода жены. Ее последние гневные слова, оскорбительные и хлесткие, как пощечина. Развал семьи в некотором роде развязал ему руки: в такое время легче было заботиться о самом себе. Но, с другой стороны, он не мог совсем отрешиться от дум о жене и ребенке. Были ли это остатки прежнего чувства к жене или заговорило в нем уязвленное самолюбие мужчины, покинутого женщиной, но мысли о ней были ему неприятны и сладостны в то же время. Мавлютину казалось, что его незаслуженно обидели и обделили.
Мысли роились, мелькали, как в калейдоскопе. Где-то в глубине сознания все время вертелась неотвязная, тревожащая дума о чем-то крайне неприятном и близком. В конце концов от этого у Мавлютина разболелась голова.
Тогда он вытащил из-под кровати чемодан и достал спрятанный в нем портфель. В портфеле хранилось все то, что Мавлютину удалось спасти из своего довольно значительного состояния: деньги в иностранной валюте и акции торгово-промышленных обществ, акционером которых он состоял. Придвинув к себе лист бумаги, он погрузился в какие-то сложные расчеты.
Алексей Никитич Левченко, после того как встал сын, тоже заперся в кабинете. Он сидел в прочном дубовом кресле и мрачно ерошил пятерней жесткие, непослушные волосы. Огромный стол был завален бумагами. Алексей Никитич к ним не прикасался. Его взор задержался на карте под стеклом. Синие жилки рек расползались на ней по зеленым долинам, стиснутым со всех сторон коричневыми хребтами. Редкие кружочки селений жались поближе к железной дороге. Дальше шли сплошные болота и лес. Лишь за водораздельным хребтом затерялся одинокий кружочек — прииск Незаметный. На нем была установлена электрическая драга, работало сот пять постоянных рабочих и примерно столько же старателей.
В сейфе, что стоял в углу кабинета, хранилась детальная карта прииска. Изломанная красная линия обегала на ней заштрихованные золотоносные участки, замыкая их в круг. Все, что лежало внутри круга, принадлежало золотопромышленному обществу, главной

владелицей которого считалась Юлия Борисовна Парицкая, а директором-распорядителем был Алексей Никитич Левченко — горный инженер, чье имя знавали и в Петрограде. Все, что лежало вне круга, со временем тоже могло попасть в него: разведки на золото велись непрерывно.

Летом к прииску почти невозможно было добраться. Годовой запас продовольствия и все необходимое снаряжение забрасывались на Незаметный зимой, когда замерзали болота и реки и устанавливался санный путь. Каждый третий воз обычно был гружен прессованным сеном или овсом. Все это уходило на корм лошадям в пути. Обратив внимание на большой расход кормов, Алексей Никитич минувшим летом распорядился поставить вдоль зимней трассы десятки стогов сена. Для этого нанимали косарей и посылали их в тайгу.

Теперь дорога была пробита. На столе лежала телеграмма чернинского станичного атамана Архипа Мартыновича Тебенькова, извещавшего об этом. Тебеньков из года в год брал у Левченко подряд на доставку грузов на прииск. В окрестных деревнях он нанимал крестьян-возчиков. Его амбары служили компании вместо перевалочных складов. Тебеньков недурно зарабатывал на выгодном подряде, а Левченко таким образом освобождался от излишних хлопот. Оба они были довольны друг другом. Прижимистый и расчетливый атаман без зазрения совести обирал своих возчиков, выплачивая им едва ли больше трети той суммы, которую сам получал по контракту от общества. Алексей Никитич знал об этом, возчики не раз жаловались ему, предлагали работать артелью, но он предпочел иметь дело с Тебеньковым. В конце концов каждый зарабатывает как может. И в этом году он намеревался возобновить контракт с Архипом Мартыновичем. Тот ждал ответа на телеграмму, чтобы сразу приступить к найму возчиков. Завтра сын Архипа Мартыновича — Варсонофий, хорунжий Уссурийского казачьего полка, придет к Левченко за ответом. Но что сказать ему? Какое решение принять? Завозить грузы на Незаметный или нет? Над этим Левченко и ломал голову. Что касается госпожи Парицкой, то ее интересовал только дивидент. Алексей Никитич и не подумал даже сообщить ей о возникших затруднениях.

Годовой запас стоил немалых денег. Время же было тревожное. Еще после провала корниловского наступления на Петроград Алексей Никитич перевел наличные капиталы общества в харбинское отделение Русско-Азиатского банка. Брать сейчас оттуда сотню тысяч рублей, необходимую для закупки снаряжения и продовольствия, казалось ему рискованным: а вдруг большевики реквизируют эти запасы или национализируют прииск.

С Незаметного тоже приходили неутешительные вести. Среди рабочих велась агитация. На одном из собраний, резолюцию которого на днях доставили в главную контору общества, были выдвинуты неслыханные до этого в золотой промышленности требования: введение с началом сезона восьмичасового рабочего дня, снабжение прииска доброкачественными продуктами и по нормальным ценам, установление рабочего контроля над деятельностью администрации. Последний пункт особенно сильно задел Алексея Никитича, привыкшего распоряжаться единовластно, ни с кем не считаясь. Он скомкал в кулаке резолюцию и, будто обжегшись, швырнул ее в мусорную корзину. Но мысль о неблагополучии на припеке не покидала его, словно ее гвоздем вбили в голову. «Никаких поблажек, никаких переговоров со смутьянами», — решил Левченко, когда несколько успокоился и обдумал положение. Тогда-то у него и возникла мысль: а не отказаться ли в этом году вовсе от завоза на Незаметный?

Но, с другой стороны, Алексей Никитич много труда вложил в прииск. Первый раз он прибыл туда с экспедицией, когда на сотни верст вокруг не было ни одного жилья. Это был громадный участок совершенно девственной тайги, «белое пятно» на географической карте. Немало разведочных шурфов было заложено там по его личным указаниям. Вместе с рабочими он рыл землю, спал с ними в шалаше и вместе радовался, если шурф оказывался удачным, и угощал всех водкой. А сколько изобретательности и труда понадобилось, чтобы доставить туда, к черту на кулички, разобранную на части, но все же невероятно громоздкую драгу, локомобиль, паровые котлы. Трех рабочих задавило насмерть при перевалке грузов через водораздельный хребет. По оплошности десятника, не измерившего заранее толщину льда, несколько ящиков с ценным оборудованием утопили в горной реке, и Алексей Никитич в лютый крещенский мороз заставил рабочих нырять посменно в ледяную воду, пока не были закреплены веревки и ящики не вытащили на берег. Кажется,

после купания кто-то умер от воспаления легких. Что ж, человеку не повезло. Левченко платил щедро, знал, что зазря люди рисковать не станут. Рабочий люд со всех сторон шел к нему. И прииск обстраивался. По соседству появились поселки старателей. Зазвучал над тайгою гудок первой в этих местах паровой машины. Все это Алексей Никитич ставил себе в заслугу. Он считал себя основателем прииска.

Отказаться теперь от завоза продовольствия — значило закрыть прииск. Гонимые угрозой голода, разбредутся кто куда рабочие. Опустеют дома. Многих жителей Незаметного Алексей Никитич знал лично, по-своему ценил и уважал. Он не отказывался, если кто из приискателей приглашал его на крестины или свадьбу, дарил молодоженам подарки, был у многих из них кумом. Их судьба не была для него совсем безразличной. На таких людей можно надеяться, они не подведут. А без них — прииск мертв. Ржавчина станет постепенно разъедать механизмы, домовый грибок источит стены строений. Во дворах и на отвалочных площадках пробьется из-под земли молодая зеленая поросль и скроет от глаз человека дело его рук. Попробуйте тогда возродить прииск. Какие усилия понадобятся, какие расходы. А убыток от прекращения добычи? Сколько драгоценного металла лежит там под неглубокими торфами? Собственно, Незаметный только начал вступать в пору своего расцвета. Уж Алексей Никитич знает это лучше других. Незаметный — настоящее «золотое дно». Закрыть такой прииск?! Левченко не мог без большой внутренней борьбы решиться на это. Но сколько он ни думал, выхода не видел.

Саша об этих тревогах отца и понятия не имел. Едва одевшись, он побежал во двор. Обошел все закоулки, заглянул во все углы.

Дом, где жила семья Левченко, — просторный двухэтажный каменный особняк с видом на Амур — принадлежал Парицкой. Сама владелица занимала верхний этаж, а нижний сдавала внаем Алексею Никитичу. Каждый этаж имел отдельный ход. Но существовала также и внутренняя лестница, по которой Левченко всегда мог пройти наверх к Парицкой. Обе семьи имели свои дворы с надворными постройками, и только небольшой сад с беседкой под двумя липами, расположенный на обращенной к реке стороне участка, был в совместном пользовании.

Саша открыл калитку и, увязая по колени в снегу, побрел к беседке. Тропинки теперь не было: зимой в сад никто не ходил. Когда была жива мать, дворник всегда расчищал дорожку. Врачи предписывали ей как можно больше бывать на воздухе. Саша рукавицей смахнул снег со скамьи.

Вот здесь часто сидела она и, наверно, думала о нем. Мать была существом тихим, почти незаметным в доме, где все подчинялось железной воле Алексея Никитича. Но она одна умела придать дому настоящий уют, была неизменно ласкова и внимательна к детям и влияла на их воспитание больше, чем отец — вечно занятый, суровый и недоступный. Саша любил мать, хотя много раз, как и все дети, огорчал ее своими шалостями и необдуманными поступками. Пожалуй, весть о смерти матери, пришедшая в час, когда он рисовал себе радостную встречу с ней, оказалась самым большим и тяжким горем в его жизни. Он и сейчас находился под впечатлением этого известия.

Все-таки ужасная вещь — смерть. Саша видел ее на войне. Но только здесь смерть предстала перед ним во всей своей трагической конкретности.

Во дворе конюх Василий прогуливал Нерона — статного гнедого жеребца с развитой грудью и точеными ногами. Жеребец отличался неукротимо злым нравом, за что и получил имя римского императора. Его бока и круп лоснились. Ходил он, насторожив ущи и всхрапывая. И все ловчился ухватить конюха зубами за локоть.

— Н-но, балуй! — прикрикивал Василий, дергая повод.

Нерон высоко вскидывал голову и пятился.

— Норовист? — спросил Саша, подходя и здороваясь с Василием.

Василий Ташлыков служил у Левченко с десяток лет и помнил Сашу еще мальчиком. До Сашиного побега на фронт отношения у них были самыми приятельскими. Маленькому Саше конюх казался человеком почти сказочной биографии. Василий и в самом деле многое испытал, бродя по свету в поисках лучшей доли. Рассказывал он о своих приключениях неохотно и скупо, но живое Сашино воображение само дорисовывало остальное. Василий был первым из взрослых, кто отнесся к Саше всерьез: он говорил с ним, как равный с равным, приучал его к посильному труду, зло высмеивал барчуков, которые

сами ничего не умеют делать. Не раз украдкой от матери Саша пробирался на конюшню к Василию, чистил скребком лошадь, задавал ей корм. Запах сена и полумрак конюшни казались ему более привлекательными, чем его теплая, хорошо проветренная солнечная комната. Саша без труда мог запрячь коня в сани, растопить печь или сложить костер, и сколько раз потом, на фронте, он с благодарностью вспоминал Василия, преподавшего ему эти трудовые уроки.
Василий приветливо улыбнулся Саше, сказал, кивком показывая на коня:
— Беда! Зверь.
— Ездока надо.
— Надо, — согласился Ташлыков. — Папаша-то твой отяжелел. Прежде, бывало, прямо с земли — и в седло. Вскочит — и полетел. Уж у него кони всегда звери. Себе под стать подбирал.
— Да, он коней любит.
— Любит, — с горечью сказал Василий. — Известно, конь — бессловесная тварь. Нешто к человеку так относятся?
«Не любят отца, — подумал Саша. — Не любят, а боятся».
Они два раза молча обошли двор. Саша попросил:
— Дай-ка повод я повожу.
— Гляди, сомнет.
Жеребец покорно поплелся за Сашей, подбирая на ходу клочки сена, разбросанные по двору.
— Вот видишь, идет, — торжествующе говорил Саша.
— Значит, кровь чует, — заключил Василий.
Саше было приятно слышать это.
Но радовался он преждевременно. Жеребец неожиданно рванул повод, вздыбился, опрокинул Сашу грудью и поскакал к воротам.
— Держи-и! — заорал Василий, спеша наперерез.
Жеребец ловко увернулся от него и побежал в обратном направлении. Саша, прихрамывая, поплелся за ним.
— К забору, к забору прижимай! — командовал Василий, тревожно оглядываясь на окна.
Откуда-то выскочили собаки и с лаем устремились за жеребцом. Поднялся шум, гвалт.
— Это что? — загремел вдруг с крыльца голос Левченко. — Мерзавцы! Прохвосты!..
Собаки мигом убрались со двора. Нерон, отбежав в дальний угол, заступил повод и тоже остановился, поводя боками. Тут его и схватил подоспевший Василий.
Левченко, как был в рубахе, без шапки, крупными шагами пересек двор. Жеребец попятился к самому забору.
— Ты что, подлец! Коня покалечить хочешь?
Привычно коротким тычком он хотел ударить конюха в подбородок. Но Василий, не выпуская повода, перехватил его руку и с неожиданной силой пригнул ее книзу.
— Воля ваша, а только я больше бить себя не позволю. Хватит, — твердо сказал он, не спуская с хозяина загоревшихся недобрым огнем глаз. — Не позволю! Слышь, хозяин, — не трожь. Ну! — крикнул он, делая шаг вперед и оглядываясь на лежащее неподалеку полено.
Алексей Никитич в изумлении отступил назад.
— Возьми расчет. И чтоб духу твоего тут не было.
— Воля ваша, — упрямо твердил Василий.
— Ну и убирайся к черту!
Левченко повернулся спиной к конюху. Но тут Саша, возмущенный до глубины души, бледный и дрожащий, бестрепетно заступил ему дорогу.
— Послушай, отец!
Он хотел говорить спокойно и твердо, но не мог. Алексей Никитич сверху вниз поглядел на сына. - Ну?
— Василий не виноват. Это я упустил коня.
— Все равно. Я сказал — расчет, так и будет
Василий молча посмотрел хозяину вслед, сплюнул и повел жеребца в конюшню. Через полчаса он прощался с Сашей и говорил, усмехаясь в черную бороду:

— Развоевался твой папаша не ко времени. Укоротят. Ей-богу, укоротят.

2

Завтрак прошел в угрюмом молчании. Саша ел, не поднимая глаз от тарелки. Алексей Никитич метал грозные взгляды, и Соня ни жива ни мертва ходила вокруг стола, предупреждая его желания. Мавлютин тоже был погружен в свои думы.

Часы медленно отзвонили десять. Все вдруг, хотя и с разными чувствами, вспомнили о демонстрации. Это и было то неприятное, о чем помнил и не хотел думать Мавлютин. От большевистской демонстрации он не ждал ничего хорошего, однако и его потянуло на улицу.

— Все-таки любопытно взглянуть, — процедил он сквозь зубы.

Алексей Никитич надел пальто, но потом сердитым движением сорвал его с плеч и облачился в полушубок. Мавлютин криво усмехнулся:

— Мимикрия?

— Природа не глупа, — коротко отрезал Левченко.

Против их ожидания на улице было людно. Чистая публика парочками фланировала по тротуару. Знакомые раскланивались друг с другом. Только на лицах была заметна плохо скрытая тревога.

— Вы знаете, Русанов демонстрацию не разрешил, — сказал лесозаводчик Бурмин, поклонившись Алексею Никитичу.

— А кто его послушает, — проворчал Левченко.

— Нет, в самом деле. Если солдаты не пойдут, — не посмеют же они нарушить приказ! — то прочих можно разогнать казаками. Уссурийцам только мигни.

— Ах, что вы! Неужели дойдет до стрельбы? — всполошилась супруга Бурмина, делая круглые глаза. — Я говорила: от этих людей всего можно ждать. О боже! Вышли, как на гулянье...

Она настойчиво потянула Бурмина за рукав. Лесозаводчик, однако, уперся. Кто-то сказал ему, что демонстрацию разгонят, и Бурмин хотел своими глазами увидеть это приятное ему зрелище. Впрочем, он поколебался в своей уверенности, когда заметил, как вырядился Алексей Никитич. Полушубок в воскресенье! На главной улице! Черт возьми, в самом деле лучше держаться поближе к дому.

Демонстрацию центр города встречал явно враждебно. Но она шла, надвигалась неотвратимо, как утро после долгой ночи. Вдали грянула музыка. И сразу все шеи — толстые раскормленные шеи с жировыми складками в тугих крахмальных воротничках, шеи склеротически-дряблые, обмотанные теплыми шарфами из мягкой шерсти, свежие молочно-белые шейки городских красавиц, укутанные в дорогие меха, — все они, как по команде, мгновенно вытянулись и повернулись в ту сторону. Словно ропот ветерка, пронеслось:

— Вот они... Идут!

Из боковой улицы горячим пламенем вырвался сноп алых стягов, сгруппированных в голове колонны. Грохнул барабан. Торжественно запели трубы. Демонстрация, как река, влилась на Муравьев-Амурскую и потекла, заполнив всю ширину улицы.

За знаменосцами шли моряки Амурской флотилии. Шли по-морскому, широким шагом. Над головами согласно колыхались штыки. Один из отрядов вел Логунов. Его высокий чистый тенор был слышен среди многих голосов:

Смело, това-а-арищи, в ногу-у,
Духом окрепне-ем в борьбе-е.
В царство свобо-о-оды доро-о-огу
Грудью проложи-им себе-е...

Черный матросский поток сменился серошинельным солдатским. Сдерживая коней, шагом проехали кавалеристы. Подпрыгивая на выбоинах, катились станковые пулеметы. Трехдюймовые пушки конной батареи черными жерлами смотрели на притихшую возле домов чистую публику.

Шли арсенальцы — смесь военных шинелей и рабочих курток. Демьянов оглядывался, как держат равнение, и улыбался, видя в первом ряду Мирона Сергеевича Чагрова, сосредоточенного, спокойного, крепко сжимающего ремень боевой винтовки. Шагали железнодорожники, полиграфы, коммунальники. Савчук вел вооруженный красногвардейский батальон грузчиков.
— Тверже шаг. Ать-два, левой!
Несли транспаранты:
«Вся власть Советам!»
«Да здравствует Совет. Народных Комиссаров и товарищ Ленин!»
«Требуем немедленного ареста агента Керенского — Русанова!»
Мавлютин смотрел на суровые, решительные лица рабочих и кусал губы в бессильной ярости. Он лучше других понимал, к чему в ближайшее время может привести развитие событий. Бежав от революции в Петрограде, он здесь вновь услышал ее грозную, твердую поступь. Было от чего прийти в отчаяние.
Алексей Никитич стоял рядом и смотрел на демонстрантов, как смотрят на разгорающийся в соседнем дворе пожар. Да еще при сильном ветре с той стороны. В глазах у него были и любопытство, и тревожное ожидание, некрытый страх.
«Вот оно — началось, — невесело подумал он. И тут же бесповоротно решил: — Никакого завоза на Незаметный. Пусть подыхают с голоду. Пусть...»
Из толпы вынырнул Сташевский. Сокрушенно покачал головой:
— Знаете, везде одно и то же. В Харбине Совет захватил власть. Ужасно, не правда ли?
— Не может быть, — усомнился Левченко. У него заныло под ложечкой, как только он вспомнил о вкладе в Русско-Азиатском банке.
— К сожалению, господа, все верно. Я сам читал телеграмму, — грустно подтвердил Сташевский. — Увы! Я становлюсь глашатаем только печальных вестей.
На площади возле собора начинался митинг.
— Что ж, подойдем ближе? Послушаем, — предложил Мавлютин.
— Благодарю. С меня довольно, — заявил Левченко.
Так они и глядели со стороны на подвижную, непрерывно колышущуюся толпу. Над площадью то воцарялась тишина, и тогда колыхание людского моря почти прекращалось; то вдруг взметывались вверх шапки, люди потрясали оружием, размахивали руками, и через несколько мгновений до Левченко и Мавлютина доносился глухой рокот и шум, как от морского прибоя. Люди на тротуарах жались поближе к своим домам.
Над городом поплыли величественные звуки «Интернационала».
Мавлютина окликнул Чукин. Купец был странно весел; глаза у него будто смазали маслом. Он представил полковнику маленького, по-европейски одетого японца.
— Всеволод Арсеньевич, знакомьтесь! Господин Хасимото Николай Кириллович — коммерсант из Осака.
Человек нашей, православной веры.
Японец быстро оглядел Мавлютина черными глазками в узких прорезях, и широкое лицо его еще более раздвинулось в улыбке. Сверкнули белые зубы.
— Очень счастлив познакомиться. Наслышан много о вас, — сказал он, весь сияя. — Не правда ли, сегодня отличный зимний день.
Говорил он по-русски превосходно, может быть, только излишне тщательно выговаривал слова.
— Если бы этот день не был омрачен, — вздохнул
Мавлютин, глядя на толпу, расходившуюся с митинга.
— О да! Я вас понимаю. И разделяю ваши чувства, господа, — сказал японец сразу погрустневшим голосом. — Я ведь русский по образованию. Учился на филологическом факультете в Петербурге. Чудесная пора — студенческие годы! Мои лучшие воспоминания связаны с Россией.
— А вот один из лидеров местных большевиков! — Чукин показал глазами на подходивших к ним Потапова, Савчука и Логунова.
Савчук, видно, рассказывал что-то веселое, озорное; Потапов, повернув голову, сбоку чуть вверх глядел на него и громко смеялся. Логунов шел на шаг впереди и тоже улыбался.
— Который, матрос? — живо обернувшись, спросил Мавлютин.

— Нет, штатский, — подсказал Хасимото. — Потапов Михаил Юрьевич. Был на каторге и в эмиграции. Очень знающий, дельный человек. — И, сняв шляпу, он почтительно поклонился Потапову. — Здравствуйте! Сегодня у вас большой успех.
— И вас это, кажется, огорчает? — быстро спросил Потапов.
— О, я только гость в вашей великой стране. Споры хозяев меня не касаются. — Хасимото улыбкой показал, что он понимает намек и вполне оценил избранную Потаповым форму шутки.
Потапов, проходя мимо, задержал свой взгляд на Мавлютине. На какую-то секунду взоры их скрестились. Мавлютин был уверен, что за это время Потапов успел раз и навсегда определить свое отношение к нему. Пока Потапов умными, пытливыми глазами смотрел на Мавлютина, у того вдруг вспыхнуло острое чувство личной ненависти к нему.
— Я бы расстрелял его собственной рукой, — сдавленным голосом сказал он, глядя вслед Потапову.
Хасимото быстро взглянул на полковника и отвел глаза.
— Прошу вас, господа, ко мне. Вчера из деревни калужонка привезли. Вспрыснем, а? — потирая руки от предстоящего удовольствия, предложил Чукин.
Японец вежливо отказался. Левченко тоже сослался на неотложные дела.
По дороге домой Алексей Никитич второй раз за этот день столкнулся с Василием Ташлыковым. Конюх был явно навеселе.
— А, наше вам, сорок одно с кисточкой! — развязно закричал он, снимая шапку и насмешливо кланяясь. — Значит, и вы, Лексей Никитич, так сказать, за новую власть. Вот и полушубочек надели, не побрезговали. — Он потрогал полу своей обтрепанной тужурки и предложил: — Сменяем, хозяин, а? Уж коли вам переодеваться, так в настоящую рвань. Я ведь придачи не прошу. Так на так. Только слышь, хозяин, — волчьи уши под овчиной не спрячешь. Н-нет, брат! Они — торчат! Ха-ха!
— Уйди, — глухо и угрожающе сказал Левченко. — Уйди, говорю.
— А ежели я не хочу? — куражился Василий. — Улица не твоя. Ежели я желаю с вами, хозяин, по душам поговорить — первый раз за столько лет. Да куда же вы, Лексей Никитич? Ау!
Левченко, сгорбив спину, быстро уходил прочь.
У самого дома на него налетела ватага восторженно оравших ребятишек. Алексей Никитич сердито цыкнул на них.
— Дяденька, не сердись. Революция! — закричал один из мальчишек.
— А ты не видишь, что это буржуй, — сказал второй.
Левченко с треском захлопнул калитку.
3
К Потапову недавно приехала семья: жена и сын. Временно он устроил их в доме доктора Марка Осиповича Твердякова. Теперь надо было подыскивать постоянную квартиру. Но для этого никак не выкраивалось свободное время. Жить же по-прежнему у Твердякова, хотя доктор и оказался милейшим, весьма обязательным человеком, было неудобно. В комнату приходилось ходить через помещение хозяев. Михаил Юрьевич всегда испытывал страшную неловкость, если задерживался до той поры, когда в хозяйских окнах гас свет.
Поднявшись на крыльцо, Михаил Юрьевич в нерешительности остановился перед дверью. Нет, положительно необходимо подыскать квартиру. Доктор — человек деликатный, не скажет. Но так дальше нельзя. Пора съезжать. И, решив окончательно, что на будущей неделе он постарается уладить свои квартирные дела, Михаил Юрьевич коротко позвонил.
Дверь отперла жена. Сонным голосом она спросила:
— Давно звонишь? Я задремала ожидаючи. Чаю хочешь?
— Не откажусь, конечно. Что Сережа, спит? — спросил он, снимая пальто и разыскивая в темноте крючок вешалки.
— Представь себе, мальчик целый день бегал по улицам. Где-то там видел тебя. Полон впечатлений от демонстрации.
Она принесла стакан теплого чая и два ломтика хлеба на тарелке.
— Больше ничего нет. Утром сбегаю пораньше в булочную. Может, чай подогреть?
— Нет, зачем... Да я и не голоден, — сказал Михаил Юрьевич. Но, глянув в ясные, любящие глаза жены, понял, что она сразу же разгадала его ложь. — Ничего, Наташа.

Ничего, родная, — продолжал он, привлекая ее к себе. — Самое трудное мы все-таки пережили.
Потапову казалось, что за годы разлуки Наталья Федоровна мало изменилась. Разве что взгляд стал строже, да появилась та легкая округлость форм, которая говорит, что женщине уже за тридцать. Ее пышные светлые волосы, обычно собранные в узел на затылке, сейчас были распущены и густой волной спадали на плечи. Над розовой мочкой уха висел знакомый завиток. Михаил Юрьевич, помнится, целовал его, еще когда они в первый раз сказали друг другу слова любви.
Было это в светлую петербургскую ночь. Они сидели на скамье возле Обводного канала. А на квартире Михаила Юрьевича поджидали жандармы. Из тюрьмы его выпустили только через два года. Он все-таки разыскал Наташу и с радостью убедился, что она все время ждала его. Через неделю они поженились.
Еще до того, как у них родился ребенок, Потапову пришлось перейти на нелегальное положение. Преследуемый жандармами, он часто переезжал из одного города в другой. Шли годы. Мальчик рос, не зная отца.
Однажды Наталье Федоровне сообщили, что предстоит процесс группы социал-демократов большевиков: судят Потапова. Процесс был открытый. Ей достали билет. Когда ввели подсудимых, она чуть не вскрикнула, узнав мужа среди людей, окруженных стражей с саблями наголо. Но нельзя было выдать жандармам его настоящее имя. Наталья Федоровна с подругой—курсисткой женских Бестужевских курсов — пробралась в первые ряды. Громко смеялась, когда сердце у нее разрывалось от боли. Он с досадой обернулся, узнал ее и тоже побледнел. Они повстречались глазами. Все в ней вдруг заликовало: «Любит! Любит по-прежнему...»
На второй день она привела с собой сына, мальчику шел пятый год. Михаил Юрьевич поблагодарил ее взглядом. Он делал вид, что разглядывает публику, но видел, понятно, только их. Удивительно, как много может сказать один человек другому, не прибегая к помощи слов.
Еще раз они пришли на заключительное заседание. После речи прокурора, потребовавшего смертной казни для Потапова и еще четырех обвиняемых, были последние слова подсудимых. Потапов произнес страстную и. смелую обличительную речь. Глубокая, непоколебимая вера в справедливость дела, за которое он боролся, чувствовалась в его словах. Наталья Федоровна была потрясена. Как безумная, она прижимала к себе ребенка, шептала: «Ты смотри! Слушай...»
Запомнилось ей также смятение председательствующего. Да еще чей-то довольный, торжествующий возглас: «Упекут на каторгу голубчика!»
В перерыв, пока судьи совещались о приговоре, — а сочинили они его скандально быстро, все потом говорили, что приговор был составлен заранее, — Наталья Федоровна слушала толки о возможной мере наказания. Слушала с внезапно обретенным спокойствием, хотя угроза смертной казни не миновала. Ведь это был не суд, а расправа палачей над своими жертвами. Именно так охарактеризовал роль суда Потапов.
Она стоически выслушала приговор: пожизненная каторга. Улыбнулась мужу ободряющей улыбкой, гордо подняла на руки сына.
Идя домой, спрашивала ребенка: «Ты запомнил, что он говорил?» Мальчик, недоумевая, глядел на нее: «А кто этот дядя?» — «Господи, да твой отец!» — вырвалось у нее. И она горько разрыдалась. Потом обнимала и успокаивала перепугавшегося мальчика. «Вырастешь большой, все поймешь...»
Снова тянулись месяцы... Нужда, болезни. Однажды пришел незнакомый человек и сказал Наталье Федоровне, что Михаил Юрьевич бежал с каторги. Подробностей он не знал никаких, но заверил ее, что все сошло благополучно. Жандармы потеряли его след. Потапова укрыли товарищи; уляжется тревога, и он переберется в более надежное место. В трудной, полной лишений и тревог жизни семьи революционера эта весть для Натальи Федоровны была светлым лучом, редкой радостью. Она знала, что Михаил Юрьевич, раз уж он вырвался на свободу, постарается избежать лап охранного отделения. Но куда его могут направить теперь?..
Позднее уже другой товарищ сообщил ей, что Михаил Юрьевич эмигрировал за границу. Она вздохнула с облегчением. Ведь в случае поимки Потапову грозила смертная казнь.

Наконец пришло письмо — из Америки. Вон куда занесла Михаила Юрьевича его судьба — судьба революционера-большевика. Что ж, теперь царским жандармам его не достать. Пусть он наконец отдохнет, наберется новых сил. И как хорошо, что минует его эта ужасная война.

Наталья Федоровна еще раз перечитала письмо. Из-за цензуры Потапов писал скупо, намеками, которые нелегко было разгадать. Однако она уловила, что он вовсе не был в восторге от американской жизни. Странно. Очень странно!..

Вскоре после Февральской революции Наталья Федоровна получила телеграмму. Потапов был уже во Владивостоке. Она прижала телеграмму к груди, чувствуя, как сильно забилось сердце. «Скоро! Скоро...» Как долго она ждала этого часа. Надо готовиться к встрече. Хорошо бы побелить комнату, достать цветы. «А сколько дней идет поезд от Владивостока?» Она еще раз пробежала телеграмму, вникая в смысл слов.

«Придется пожить здесь. Надо помочь местным товарищам», — писал Потапов после сообщения о своем возвращении в Россию.

Милый, он нисколько не переменился!

От Потапова теперь часто приходили письма, написанные мелким торопливым почерком. Короткие письма, где гораздо больше читаешь между строк. Он вошел в курс местной жизни, поглощен интересами партийной борьбы. Два или три раза Потапов присылал ей по пачке местных газет, из которых Наталья Федоровна поняла, что муж вряд ли скоро выберется оттуда. Так и оказалось.

Наталья Федоровна, не раздумывая, собралась и поехала с сыном через всю страну на Восток...

— Хорошо удалась демонстрация? Много было народу? — спрашивала она теперь, видя приподнятое настроение мужа и радуясь этому.

— Удачно получилось, сверх ожидания, — сказал он, снимая пиджак и вешая его на спинку стула. — Вечером собрался на пленарное заседание Совет в новом составе. Меньшевики и эсеры, видя, что они теперь в меньшинстве, не придумали ничего лучшего, как демонстративно хлопнуть дверью. Ушли. Но жест не произвел впечатления. «Скатертью дорога!» — кричали им вслед рабочие. Так что мы без особых помех разрешили организационные вопросы.

Михаил Юрьевич оптимистически оценивал обстановку. Победа Советов в крае — дело ближайшей недели, двух. Уже избраны делегаты на краевой съезд Советов во Владивостоке, Никольск-Уссурийске, Хабаровске, Свободном. Везде у большевиков подавляющее большинство. Меньшевистско-эсеровский исполком краевого Совета доживает последние дни, ему придется сложить своп полномочия.

— Собственно, сегодня в городе решилось все. Теперь надо готовиться к краевому съезду Советов, — сказал Михаил Юрьевич.

В горле у него запершило. Он осторожно кашлянул. Но от этого царапанье в горле только усилилось. Начался один из тех продолжительных приступов кашля, которых он так опасался.

Наталья Федоровна испуганными глазами глядела на мужа.

— Михаил, очень меня тревожит твое здоровье.

— Пустяки, обычная простуда.

Она с сомнением покачала головой.

— Боюсь, что дело серьезнее. Пей чай, во всяком случае он-то тебе не повредит.

Михаил Юрьевич сделал несколько глотков.

— Хорошо, схожу к врачу — посоветуюсь. Придется обратиться к нашему любезному Марку Осиповичу, — сказал он и поставил стакан обратно на стол. — Ложись-ка ты, Наташа. А я займусь одним проектом.

Наталье Федоровне хотелось сказать, что со дня ее приезда они ни разу как следует не поговорили, что она имеет право на большее внимание с его стороны. Но она давно привыкла умерять свои желания.

— Было бы куда полезнее для дела — сейчас лечь спать, — сказала она тоном решительного осуждения. Впрочем, ей тут же стало жаль его, она провела своей теплой мягкой ладонью по запавшей небритой щеке Михаила Юрьевича.

Мальчик, спавший на диване в докторской приемной, что-то забеспокоился, и Наталья Федоровна вышла к нему.
Михаил Юрьевич прикрутил немного фитиль лампы и так направил абажур, чтобы свет падал только на стол.
На дворе разыгрался ветер, завыл в печи. Где-то, будто выстрелы, громко хлопал незакрепленный ставень.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Зима выдалась суровая и снежная. С последних чисел ноября над городом один за другим проносились бураны. Улицы перемело сугробами, которых теперь никто не расчищал. Из-за снежных заносов на железной дороге не раз прерывалось движение. Сократился и без того ничтожный привоз в город из окрестных деревень. Цены на рынке взлетели неслыханно.
В разгар зимы обнаружилось, что город плохо обеспечен топливом. Деятели городской думы рассчитывали, видно, на доставку дров по железной дороге. Однако получать порожняк под погрузку становилось все труднее. Сотни искалеченных, пришедших окончательно в негодность вагонов заполняли тупики и пути на станциях и даже на маленьких разъездах.
Поглядывая на курившийся Хехцир, окутанный туманной дымкой, городской обыватель зябко поводил плечами и спешил укрыться в доме. Уже немало горожан разбирало заборы на топливо.
Чукин после воскресной демонстрации больше отсиживался дома, благо в квартире было тепло. Дровами он предусмотрительно запасся года на три вперед.
После того как Чукин похоронил жену, он жил один. Детей у него не было, родственники же либо отступились от него, либо он сам порвал с ними. Матвей Гаврилович не был скрягой, считался хлебосолом, но родственников не жаловал. Они, по его мнению, претендовали на то, что им заведомо не принадлежит. Он терпеть не мог своих наследников и рассчитывал всех их пережить. Проще иметь дело с чужими людьми: ты обманул или тебя обманут — жаловаться не будешь. На обмане мир держится.
Дом у Чукина просторный, комнат на пятнадцать, с небольшим залом посредине. Матвей Гаврилович сам занимал четыре комнаты на солнечной стороне, а остальные сдавал внаем чиновникам из казенной палаты. Из этого он извлекал двойную выгоду. Ведь иногда вовремя сказанное слово, даже намек уберегут от убытков или принесут барыш. А у Матвея Гавриловича на прибыльные дела нюх превосходный.
Хозяйство Чукина вела его кухарка, расторопная и немногословная женщина лет пятидесяти пяти. Изучив хозяйские привычки, она твердо поддерживала раз установленный порядок и этим немало привлекла симпатии Чукина.
Из кухни доносились дразнящие аппетит запахи. Матвей Гаврилович потянул носом, посмотрел на часы. «Ох, господи, не осуди чревоугодие наше», — подумал он, захлопывая серебряную луковицу часов и пряча их в жилетный карман. Затем, не глядя, протянул руку, взял со стола футляр с очками и начал просматривать только что доставленные газеты.
Владивостокская газета «Дальний восток» писала о продовольственном положении в крае. Прогноз был самый мрачный. Чукин, однако, прочел статью не без удовольствия. Он даже отметил два-три абзаца, особенно его заинтересовавшие.
«Приамурская жизнь» била тревогу в связи с первыми мероприятиями нового исполкома Хабаровского Совета. Газета пугала читателей последствиями необдуманного вторжения несведущих лиц в экономическую жизнь. «Рабочий контроль — это путы, веревки на руках и ногах владельцев. Как можно ждать в таких условиях нормальной работы предприятий? Разве справедливо винить хозяев в бездеятельности и саботаже, если им шагу не дают ступить». Чукин сочувственно покивал головой. На следующей странице его внимание привлекло описание поступка лесопромышленника Бурмина. Газета пышно именовала его «истинным благодетелем города, щедротами которого многие обыватели обережены от лютого холода в годину всеобщей смуты и великих испытаний...»
Склонный к более точному и сухому стилю, Чукин без труда представил себе действительный ход событий.

Прикинув цены на топливо, Бурмин распорядился продать на дрова огромные штабеля прекрасной строевой сосны, приплавленной минувшим летом к заводу для распиловки. Когда же со всего города к нему на биржу потянулись сотни людей с саночками, Бурмин на виду у толпы осенил себя крестным знамением и велел снимать старые покаты и даже рушить стены недостроенного мелочного цеха. «Порадеть надо людям, не звери ведь. Каждый должен выполнить свой общественный долг», — заявил он журналистам.
«Однако, огребет барыши, прах его побери!» — завистливо подумал Чукин.
Матвей Гаврилович и сам собирался утешиться не менее прибыльной операцией. Предвидя рост цен на хлеб, Чукин минувшим летом не поскупился на закупки. Его склады ломились от продовольствия. Расчетливый купец выжидал, пока иссякнут казенные запасы хлеба. Их могло хватить еще от силы на две-три недели. Рассчитывать на подвоз по железной дороге не приходилось. До навигации было далеко. К тому же теперь будут чиниться препятствия к завозу хлеба из Маньчжурии, от хлебного рынка которой во многим зависело продовольственное снабжение края. Чукин верил, что его терпение вознаградится сторицей. Однако события текущей недели сильно поколебали эту его уверенность. От рабочих собраний поступали требования, чтобы Совет в целях предотвращения голода и спекуляции хлебом реквизировал у частных владельцев наличные запасы продовольствия. Чукин чувствовал, как почва с головокружительной быстротой уходит из-под его ног. Он обливался холодным потом, думая о том, что случится с его фирмой, если рухнет такая ненадежная преграда, как власть комиссара уже не существующего в природе Временного правительства.
Зная по опыту, как быстро разгораются людские страсти, Чукин боялся, что какой-нибудь необдуманный поступок Русанова или потерявших голову думских деятелей может ускорить взрыв. Ему казалось, что создавшееся неустойчивое равновесие может тянуться и дальше, если умело балансировать и кое-чем поступиться. Ведь недалек уже, видно, час, думал он, когда новый режим изживет сам себя и жизнь снова войдет в покойное русло. Чукину хотелось на всякий случай застраховать себя. Когда во время демонстрации коммерсант Хасимото намекнул, что владельцам русских фирм следовало бы подумать о привлечении иностранных компаний в качестве соучастников в деле, Чукин сразу повеселел, оценив возможности такой комбинации. Взвесив на досуге все «за» и «против», Матвей Гаврилович решил обстоятельнее позондировать почву. Он ждал японца для деловых переговоров.
Хасимото пришел с изрядным опозданием. Он учтиво извинился, сославшись на неотложные дела. Но Чукин ему не поверил. «Цену себе набивает, бестия», — решил он, с приветливой улыбкой встречая гостя. Они Долго тискали друг другу руки.
— Вот, кстати, и пообедаем, Николай Кириллович, — говорил Чукин, принимая от японца пальто и шляпу. — Сижу один, как сурок в норе. Словом не с кем перемолвиться. Ох, времечко, не к ночи будь помянуто... Ну, садись, дорогой гостюшко! Угощу-ка я тебя калужатиной. Пальчики оближешь!
— Право, вы напрасно беспокоитесь, уважаемый Матвей Гаврилович, — стал отнекиваться Хасимото. — Я пришел проведать о вашем здоровье.
— Нет уж, Николай Кириллович! Никаких резонов не признаю. Соблаговолите к столу, — настаивал Чукин, беря коммерсанта за локоть и легонечко подталкивая его вперед.
Хасимото, перед тем как сесть, обернулся к красному углу и истово перекрестился на иконы.
Чукин налил по стопке водки себе и гостю.
— За ваше здоровье и чтобы дела наши были благополучны! — воскликнул он, подавая знак нести уху.
Хасимото ел с видимым аппетитом.
— Завидую вашему самообладанию, Матвей Гаврилович, — сказал он, когда они выпили еще по одной и закусили парной калужатиной с хреном. — При существующем положении дел легко потерять голову.
— Э, пустое. Умный человек при любой власти не пропадет, — беззаботно отмахнулся Чукин. — Я молчу, молчу, а свое схвачу. Еще калужатинки, Николай Кириллович.
Хасимото вытер салфеткой жирные губы.

— Очень приятное национальное блюдо, — вежливо сказал он — Но я уже сыт. Не будем лучше отвлекаться. — Он подождал, пока кухарка собрала тарелки и вышла. — Хабаровский Совет теперь следует считать окончательно большевистским. Вряд ли это будет способствовать развитию нормальной деловой деятельности. Работа по восстановлению прежнего состояния, видно, очень затянется.
— А не все ли равно, с кем торговать, — тем же бодрым тоном заметил Чукин. — Платили бы деньги.
— Вы заблуждаетесь относительно действительного положения дел, — перебил японец с вежливой улыбкой, выражающей одновременно сочувствие и сожаление. — Человек счастлив, пока не знает беды, случившейся в его отсутствие. Вот что дошло до моего слуха: завтра или послезавтра состоится решение и будет проведена реквизиция зерна и муки. Безвозмездная конфискация запасов продовольствия. — Хасимото давал понять Чукину, что ему отлично известны все обстоятельства, тревожащие последнего.
«Сукин сын, все уже он поразведал!» — ахнул Чукин, соображая, как бы все-таки половчее провести дело. Но Хасимото не дал ему собраться с мыслями.
— Насколько я понимаю, почти весь оборотный капитал вашей фирмы вложен в запасы муки? Не так ли? — участливым тоном спросил он. — Вряд ли у вас будет время, чтобы быстро справиться с реализацией.
«И это знает! О господи!» — поразился Матвей Гаврилович.
— Сущая правда, Николай Кириллович. Сущая правда, — изменившимся, сдавленным голосом признался он. — Верите, как перед богом. Все мое состояние. Если конфискуют, я — разорен. Погиб!.. «Ох зачем я, старый дурак, это ему говорю? Зачем?» — ужаснулся он, заметив, как сузились вдруг глаза японца, и понимая в то же время, что сказанного уже не воротишь. — Николай Кириллович, — продолжал он, поскольку пути для отступления не было, — если бы у меня были документы, что в товарищество на паях входит японская фирма... безвозмездного отчуждения товаров не должно быть. Так?
— Я удивляюсь меткости вашего указания на свое больное место, — заметил Хасимото. От него не укрылось мгновенное замешательство Чукина, и он верно его истолковал.
— Николай Кириллович, моя судьба в ваших руках. Фиктивные документы — и я спасен, — сказал Матвей Гаврилович, с надеждой и подозрением взирая на своего гостя. Он счел за лучшее отбросить дипломатию и идти к цели напрямик. — Разумеется, я плачу куртаж.
Хасимото в сомнении покачал головой.
— Местные власти вряд ли одобрят подобную финансовую операцию. Да и с нашим консулом возникнут затруднения. Есть ли расчет на выручку достаточных прибылей? — Он помолчал немного, обдумывая что-то. Спросил тихо, безразличным тоном: — А вы убеждены, что продовольственный кризис может разразиться?
— Господи, да стоит придержать хлеб еще месяц — и бери любую цену! — воскликнул Чукин. Так уж суждено ему было в этот вечер переходить от отчаяния к надежде и снова видеть перед собой разверзшуюся пропасть. — Еще в ножки кланяться станут. Хе-хе! Тоже попадем в благодетели, — усмехнулся он, вспомнив заметку о Бурмине.
— Я не хочу смотреть сложа руки на ваше бедствие, — сочувственно сказал Хасимото. — Однако фиктивных документов составить не могу, это наказуется по закону.
— Боже мой, да кто узнает! — вскричал Матвей Гаврилович. — Вы да я да наши денежки. С рук на руки.
Чукин не придавал значения ссылке Хасимото на закон. Кто законы не обходит? Да стоит посмотреть на его рожу, чтобы понять, что он за птица. «Ох, зря я ему разболтал. Поди, захочет веревки из меня вить. А я тебе не дамся, желтая образина», — со злобой подумал Чукин, встретив настороженный, изучающий взгляд осакского коммерсанта.
Хасимото с видимым интересом принялся рассматривать киот старинного образца и древние иконы, слабо освещенные снизу горящей лампадкой. Киот и иконы составляли предмет особой гордости Чукина. Он уверял, что другого такого набора во всей Сибири не сыскать. Но сейчас Матвею Гавриловичу было не до тщеславия.
— Какие же вы тогда предложите условия? — спросил он наконец.
— Эти иконы — большая редкость. Обнаруживается хороший вкус хозяина, — тоном знатока заметил Хасимото. Поглядел на Чукина пристальным взглядом, будто взвешивал,

выдержит ли он уготованный ему удар. — Я думаю так: смешанное общество получит покровительство Японии, если вы передадите нам половину акции.
— То есть как... половину? — ахнул Чукин. — Вы меня, видно, за сумасшедшего считаете?..
— Я очень сожалею, что не могу удовлетворить вас во всех отношениях. У нашей фирмы не будет интереса вмешиваться, — холодно возразил японец. — Вы также сохраните себе достаточно, — принялся он затем убеждать собеседника. — Если упустите этот случай, то больше его не встретите.
— А каков будет размер капитала, вкладываемого в дело японской стороной? — продолжал допытываться Чукин.
Хасимото соболезнующе улыбнулся: «Он глядит в гроб и еще упирается. Глупо. На свете многое делается наперекор желанию», — подумал он, привычно сохраняя улыбку на лице.
— Вы поступили мудро, обратившись ко мне, — продолжал он спокойно и рассудительно.
— Предусмотрительность есть мать безопасности. Мы гарантируем поддержку, но надо идти навстречу друг другу. Вы напрасно думаете, что я хочу получить пользу без труда.
Чукин подавленно молчал, словно не слышал или не понимал его слов. Он без всякого выражения смотрел на стену перед собой, и вид у него был такой, будто его неожиданно стукнули сзади по темени.
— Испытав всякие перипетии человеческой жизни, можно достигнуть последней цели, — философически заметил Хасимото в утешение приунывшему хозяину.
И тут Матвей Гаврилович взорвался.
— Разбойник! Среди бела дня грабишь! — закричал он вдруг, потрясенный циничным нахальством заморского коммерсанта. — Эх, Николай Кириллович, нехристь ты все-таки. Ведь я к тебе с чистым сердцем, как на духу. И тебе не совестно, а? Мою калужатину ел, водку пил... Сукин сын!..
— Простите, пожалуйста, я не все понимаю, — невозмутимо сказал Хасимото.
— Понимаешь! Все понимаешь... Разбойник!
— Что такое есть разбойник?
Чукин оторопело посмотрел на японца. Лоб купца, как мелким бисером, покрылся капельками пота.
— Ох, не дай боже попасть вам в руки! Слопаете, и косточек не останется, — сказал он, несколько успокоившись и пытаясь обернуть все происшедшее между ними в милую шутку. — Вот приснится такое ночью, пот прошибет, ей-богу. Ну, да что толковать. За спрос денег не берут. Не сговорились — разойдемся. Свет не клином сошелся. К американцам пойду.
— Я вам не советую делать это. Если человек не считается со своим положением, он всегда терпит неудачу. Могут быть разные неприятности, — просто сказал Хасимото и доглядел на Чукина таким откровенно-угрожающим взглядом, что тот сразу прикусил язык.
«Господи, спалит еще!» — Матвей Гаврилович поспешил переменить тему разговора.
— Так вы благоволите вашим почтенным ответом, — давая Чукину время подумать, с убийственной вежливостью сказал на прощанье Хасимото. И откланялся.
Весь взмокший, Матвей Гаврилович запер за ним дверь и лишь тогда вздохнул с облегчением.
«Фу, ровно он штаны с меня снял. Ну, нация...»

2

С возвращением Савчука шумно стало в доме Федосьи Карповны. Изменился весь привычный жизненный уклад. Теперь ей не было надобности искать работу у чужих людей. Но для женщины в доме всегда достаточно хлопот.
Савчук не был домоседом — уйдет с утра из дому и пропадает дотемна. Разве забежит когда дров наколоть. Эти проявления заботы с его стороны глубоко трогали Федосью Карповну. Она ходила с тряпкой по комнатенке, мыла и скребла некрашеные половицы или, взобравшись на табурет, перетирала листья фикуса и думала о разительных, невероятных переменах в окружающей жизни. Вошли они в ее дом вместе с большой радостью — возвращением сына, и все так тесно переплелось одно с другим, что Федосье Карповне трудно даже понять, в чем главная причина. Дождалась она своего счастья.

Днем ее никто не отвлекал от дум. Кроме соседки Дарьи, которая теперь зачастила к ней, в ранние часы редко кто заглядывал. Дарья жаловалась на свою неудачную жизнь. Муж втянулся в какие-то темные дела, не ночевал дома, либо возвращался пьяным, и тогда возникали скандалы. Петровы и прежде жили недружно.
Федосья Карповна от всей души жалела соседку, уговаривала ее потерпеть. Не может быть, чтобы человек не образумился. Ей в эти дни все люди представлялись хорошими, добрыми. Так за делом и разговорами тихо и незаметно проходил день.
Зато вечером в комнатку набивалось столько людей, что за всю войну тут не перебывало больше. Федосья Карповна не жаловалась, что гости выстуживают помещение. Она лежала возле печки, отвернувшись к стене и закрыв глаза, но не спала, как думали собравшиеся, а жадно слушала. Столько разных мыслей и воспоминаний пробуждалось у нее в эти часы!
— Мать, ты спишь? — спрашивал Савчук, когда спорщики особенно расходились. — Тсс!..
Он знаками призывал всех к тишине. А Федосья Карповна молчала и улыбалась про себя.
К Савчуку заходили не только молодые красногвардейцы, жаждавшие послушать бывалого командира. Частенько появлялись у них и старые, уважаемые грузчики. Они степенно рассуждали о делах своего союза, о революции. Федосья Карповна всех угадывала по голосам: вот заговорил Супрунов, а это возражает Захаров. Предложения одних она мысленно одобряла, с другими не соглашалась, — и никто не знал, что она имеет свое собственное мнение.
Впервые подала голос Федосья Карповна вот по какому поводу.
Как-то один из грузчиков сообщил, что можно по случаю приобрести инструменты для духового оркестра. Мысль о собственном оркестре увлекла молодежь. Но кто-то скептически заметил:
— А музыкантов тоже нанимать? На какие шиши?
— Свои найдутся.
Заспорили, стали называть тех, кто от случая к случаю поигрывал на каких-нибудь инструментах.
— Без капельмейстера, однако, не обойтись.
— Капельмейстера найдем.
— Яков Андреевич, есть у нас деньги? — спросил Савчук, живо представив себе, как его батальон под музыку выходит на главную улицу.
— Деньги?.. Есть, куры не клюют, — хмуро буркнул Захаров, зная, к чему тот клонит. — На оркестр, может, и наскребем. А другие расходы из каких источников?.. Нет, я не могу дать согласия.
— А ты, Гордей Федорович, как? «За» или «против»? — обратился Савчук к Супрунову. Он и Захаров были членами правления Союза грузчиков, и от их позиции зависело многое.
— Да, должно быть, обойдемся, пока без оркестра. Вот разбогатеем...
— Это когда же ты богатеть будешь, Гордей Федорович? Дождетесь вы его, ребята, как же, — неожиданно для всех вмешалась в разговор Федосья Карповна. Она приподнялась, опираясь на локоть; в глазах у нее прыгал веселый, задорный огонек. — Я сколько его помню, он все богатеет. Скоро пиджачок с плеч свалится. И дома у него богатство — пыль да пустые углы. Так ведь, Гордей Федорович?
— Да, вроде так. Одно у нас богатство, — усмехнулся Супрунов, обводя взглядом каморку Федосьи Карповны.
— А я вот что скажу, ребята: покупайте. В добрый час! С музыкой чем плохо? — продолжала она увлеченно. — Уж я духовую музыку как уважала, а слушать довелось — раз в год. Да и то на чужом пиру. Вы на нашу жизнь, ребята, не оглядывайтесь. Только и веселья, пока молоды.
Утром Федосья Карповна поднялась как обычно. Приготовила завтрак.
Савчук ел и с любопытством посматривал на мать.
— Здорово ты нам помогла. Спасибо, — сказал он, угадав ее мысли по чуть приметной улыбке.
— Ну, уж помогла... Три слова сказала, — смущенно отмахнулась Федосья Карповна и переменила разговор.
После ухода Савчука она кочергой перемешала угли в печке, прикрыла вьюшку. Хотела подмести пол, да вспомнила, что нет хлеба, и стала собираться в булочную.

Поднималась в гору она медленно; уже наверху ее догнала Дарья. Она тоже шла за хлебом.
— Здравствуй! Вот не знала, что ты пойдешь сейчас в лавку. Я бы уж попросила тебя, — сказала Федосья Карповна, останавливаясь, чтобы отдышаться немного после крутого подъема.
— А я стукнула в дверь, вас уже нету, — звонко, чуть нараспев ответила Дарья. — Иван Павлович опять чуть свет ушел?
— Такая у него забота, — сказала Федосья Карповна и искоса посмотрела на Дарью.
Та стояла с легким румянцем на щеках, веселая и сильная. Голова у нее была повязана новым цветастым платком, очень шедшим к лицу.
«Ой, бабонька! Что-то у тебя на уме. Ишь, вырядилась», — неприязненно подумала Федосья Карповна, нахмурилась и пошла тихонько дальше по дороге.
Дарья шагала сбоку, заглядывала ей в лицо и жаловалась на мужа.
— Опять дома не ночевал. Чужие мы, совсем чужие...
Булочная, где они обычно брали хлеб, оказалась закрытой. У запертых дверей выстроилась очередь.
— Что такое? Али хлеба нет? — встревожилась Дарья и потащила Федосью Карповну к центру города.
Но и там булочные были закрыты. Везде стояли громадные очереди. Женщины, потеряв терпение, начали неистово барабанить в окна и двери.
Хозяин булочной вышел к толпе и стал смеяться над голодными людьми...
— Что, приспичило? Плохо без хлебушка, а?..
— Чего зубы скалишь, образина! Куда хлеб девал?
— Нынче, граждане, свобода. Хочу — торгую, хочу — нет, — куражился торговец. — Может, я свиней хлебом откармливаю.
— Ах, свиней?.. Бей его, борова жирного! — возмущенно закричала Дарья, растолкала руками стоявших впереди и первая вцепилась в рыжую бороду торговца.
Гневная, разъяренная толпа сомкнулась вокруг него, как смыкается вода над брошенным в реку камнем. Замелькали кулаки, подхваченные хворостины.
Торговец завизжал на нестерпимо высокой ноте, захлебнулся криком. Когда он выскочил наконец из толпы, на нем не было ни пальто, ни шапки. Сильно припадая на одну ногу, он запетлял по улице.
Дарья лихо, по-мужски, свистнула ему вслед. Платок у нее сбился на одну сторону, волосы растрепались.
— Попомнит, дьявол, как свиней кормить! Тут у людей дети пухнут с голоду, — сказала она и стала приводить в порядок прическу.
— Да ты что, милая. Разве можно? — сказала Федосья Карповна, не любившая скандалов и драк. Она никак не ожидала такой прыти от своей соседки.
— А ему измываться над нами можно? Это ничего? — закричала Дарья, обращаясь уже не столько к Федосье Карповне, сколько к окружившим ее солдаткам.
— Да куда ж это власть смотрит, лихоманка ее затряси!
— А власть кушает всласть... Сытый голодного не разумеет.
Снизу по улице валила другая толпа, предводительствуемая не молодой уже женщиной в коротком рыжеватом пальто. Она вела с собой детишек — мальчика лет пяти и девочку годом постарше, уцепившуюся за ее юбку. Подойдя ближе, женщина призывно взмахнула рукой:
— Айда-те, граждане, в Продовольственную управу. Заявим протест.
— Управа, говорят, сама распорядилась так.
— Чтобы людей голодом морить? Ну-ну!
— В управе те же самые толстосумы сидят. Рука руку моет, и обе — грязные.
— Окна им поленьями выбить! — предложила Дарья, настраиваясь на еще более воинственный тон.
Кто-то звонко и весело крикнул:
— В Совет надо идти! Там разберутся.
Загудели, сплелись голоса. И вдруг шум разом унялся. Мерные сильные удары прозвучали над затихшей очередью. В дверь булочной стучались Захаров и трое красногвардейцев с винтовками.

В окне мелькнуло бледное, испуганное лицо хозяина.
— Чего вам, граждане?
— Открывай! Именем Совета рабочих и солдатских депутатов.
Толпа жарко дышала позади красногвардейцев.
— Товарищи, хлеб будут выдавать, — сказал Захаров и широко распахнул дверь булочной.
— Пройдите сюда несколько человек, понятыми будете.
Женщины вытолкнули вперед Дарью.
— Идемте и вы со мной, — сказала она Федосье Карповне, таща ее за руку по образовавшемуся проходу.
В задней комнате на полках лежали еще теплые буханки хлеба. Федосья Карповна потрогала булки пальцем, сурово глянула на юлившего глазами торговца. Она не верила тем, кто говорил, что торговцы намеренно прячут хлеб, чтобы создать панику и взвинтить цены. Теперь же сама убедилась в этом.
— Как же вы говорите, что хлеба нет? Это непорядочно. Гнусно! — возмущенно сказал старик понятой, обращаясь к хозяину. — Да, да, непорядочно! Простое чувство человечности побуждает меня сказать вам это. Извините меня, пожалуйста.
— Перед такой сволочью извиняться? — вскипела Дарья. — Да ему морду бить!
— Тихо, товарищи! Разберемся, — спокойно сказал Захаров и повернулся к владельцу булочной: — В чем дело? Почему не отпускаете хлеб?
— Господи, да я рад бы! Разве у меня душа не болит? Сердце кровью обливается на нужду глядя, — владелец булочной говорил ноющим голосом, быстро шмыгал безбровыми глазами по хмурым, суровым лицам. — К сожалению, я человек подневольный. Обязан подчиняться законным предписаниям. Вот, пожалуйста, — он трясущимися пальцами извлек из жилетного кармана сложенную вчетверо бумажку, расправил ее на своем животе, погладил рукой и протянул Захарову. — Извольте прочесть. Последнее распоряжение Продовольственной управы...
Захаров углубился в чтение документа. Читал он медленно, плохо разбирая машинописный текст из-за скверного оттиска.
— Как изволите видеть, по понедельникам, средам и пятницам отпуска продуктов населению велено не производить. Ввиду катастрофического положения с продовольствием в городе.
Хозяин юлил перед Захаровым и понятыми, плакался.
— Вы сами-то ели сегодня? — спросил Захаров, складывая бумагу и пряча ее в карман.
— Что-с? Ах, да! Ну, разумеется, завтракал. — Владелец булочной с недоумением поглядел на гневно сдвинувшихся людей, учтиво пояснил: — Я всегда по утрам кушаю.
— Очень приятно, — пробасил Захаров. — А вот им, видно, есть не хочется, — показал он на понятых и стоявших за ними покупателей. — Для них вы голодные дни придумали, вместо постных. Слышите, товарищи!
Толпа опять придвинулась и загудела.
— Позо-ор!
— Что же мы теперь можем предпринять, а? — растерянно спросил у Захарова старик понятой. — Имеется, так сказать, законное основание. Кхм...
— А плевать, — сказал Захаров. — Такого закона, чтобы людям без хлеба быть, мы признавать не желаем. Кому он нужен? Спекулянтам! Это нарочно панику сеют, будто хлеба в городе нет. По предложению фракции большевиков Совет решил: хлебом торговать бесперебойно и по прежней цене. Вот это закон. Так и будем действовать. — И он легонечко подтолкнул владельца булочной к прилавку. — Ну, поживее ворочайся, чего приуныл! Эко времени потеряно. Придется дотемна торговать.
Хозяин не стал перечить.
— Кому ржаной? Кому ситный? — через минуту привычно выкрикивал он, с непостижимой быстротой орудуя хлебным ножом и гирями.
Дарья поставила Федосью Карповну впереди себя, у самого прилавка.
— Берите хлеба побольше, я денег добавлю, если у вас мало, — зашептала она ей на ухо. — Да еще сахару надо взять, соли...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Идея создания Комитета спасения революции, как утверждал Судаков, принадлежала ему. За два дня, прошедших после того, как фракции меньшевиков и эсеров ушли из Совета, Судаков обегал всех знакомых. У него были обширные связи среди служащих областных учреждений — почты и телеграфа, казенной палаты и казначейства, акцизного управления, продовольственной комиссии. Объединенные недавно образованным Советом государственных и общественных служащих города Хабаровска, так называемым Согосом, эти люди в большинстве своем занимали враждебную позицию по отношению к Советам. Комитет спасения революции, в котором были представлены и местные тузы и местные социалисты, действовал открыто. Его деятели произносили громовые речи. Устраивались банкеты, делались заявления для печати. Согос проводил по учреждениям митинги и собрания, грозил всеобщей стачкой служащих в случае перехода власти в крае в руки Советов. Происходила окончательная размежевка сил перед решающим столкновением.
Мавлютин внимательно следил за развитием событий. Через Судакова и Сташевского он установил связь с Согосом и реакционно настроенным Союзом городских учителей. Бурмин и Чукин представляли Биржевой комитет. Другие незримые нити тянулись от него в штаб Приамурского военного округа и в канцелярию Русанова. Варсонофий Тебеньков поддерживал контакт с зажиточной верхушкой уссурийских казаков. Сам Мавлютин предпочитал пока, оставаться в тени, но все крепче прибирал к рукам нити широко задуманного контрреволюционного заговора.
Саша Левченко с удивлением обнаружил, что в доме у них постоянно толкутся какие-то незнакомые люди. Уходят одни, приходят другие. С некоторыми Мавлютин надолго запирался в комнате. Что гам происходило, догадаться было трудно. Да Саша и не пытался делать это. Только раз, сидя с книгой в кабинете отца, смежном с комнатой, где жил Мавлютин, Саша невольно стал свидетелем разговора, происходившего за стеной. Разговор шел на чисто военные темы и никаких подозрений у Саши не пробудил.
Алексей Никитич хмурился, но молчал. Это было вовсе удивительно, так как он всегда терпеть не мог толчею в доме.
Наверху у Парицкой тоже стало шумно. Там поселились американцы: журналист Джекобс, перебравшийся сюда из гостиницы, и полковник Перкинс из железнодорожной комиссии мистера Стивенса.
Перкинс был импозантный мужчина с военной выправкой, высокий, статный, с коротко подстриженными усами. Он родился в семье русского эмигранта, сумевшего какими-то путями пробиться за океаном к богатству, а вслед за тем переменившего русскую фамилию Петров на вполне американизированную — Перкинс. Дуглас Перкинс представлял второе поколение этой семьи и выглядел настоящим англосаксом.
Чарльз Джекобс — собственный корреспондент крупной нью-йоркской газеты — тоже сносно говорил по-русски. Он подчеркивал, что имел уже практику, находясь на театре военных действий во время русско-японской войны 1904-1905 годов.
Долговязый и горбоносый, он чем-то напоминал хищную птицу, был подвижен, даже стремителен, умел заразительно смеяться и, кажется, ни при каких обстоятельствах не терялся и не падал духом.
Почти каждый день к американцам, живущим наверху, приходили лощеный квадратный человек с наглым неприятным взглядом, пышнотелая дама с немецкой овчаркой на поводке и миловидная молодая девушка в коричневой шубке.
Толстяк — Фрэнк Марч — возглавлял представительство Американского Красного Креста. Дама с собакой была его женой, миссис Джулией. Девушку, мисс Хатчисон, они всюду представляли как свою племянницу. Она тоже свободно говорила по-русски и числилась секретарем местного отделения Ассоциации христианской молодежи.
Сашу с молодой американкой познакомила Катя Парицкая, произносившая теперь свое имя на иностранный манер: Китти. Встретились они у ворот, когда Саша с лыжами и лыжными палками под мышкой выходил со двора, чтобы отправиться на прогулку. Стесненный в доме, он теперь целыми днями бродил по зарослям на левом берегу реки.
— О, вы спортсмен! — воскликнула мисс Хатчисон, крепко, по-мужски, тряхнув ему руку и смело глядя на него зеленовато-синими глазами. — Мы будем друзьями, верно? Я люблю ходить на лыжах, но не знаю местности. Вы не станете возражать, если я когда-нибудь составлю вам компанию?

— Гляди, Саша. Я буду ревновать, — смеясь, сказала Катя.
Саша привык к одиночеству и, признаться, не был обрадован перспективой заполучить спутницу, хотя американка понравилась ему отсутствием жеманства. Рядом с Парицкой это достоинство особенно бросалось в глаза.
На другой день, когда он в обычный час спускался к реке, мисс Хатчисон уже поджидала его внизу. Она была в лыжном спортивном костюме и белой вязаной шапочке.
— Не ждали? — спросила она, близко заглядывая ему в глаза.
Идя по лыжне, она тараторила без умолку:
— Странные вы люди, русские. Все почему-то замкнутые. — Мисс Хатчисон свернула на целину и, равномерно взмахивая палками, старалась держаться рядом с Сашей. — Мне хочется понять ваш народ, полюбить вашу страну, — продолжала: она самым сердечным тоном. — Должно быть, летом здесь очень красиво. Амур такой широкий. Можно устать, пока перейдешь на другой берег. Я выросла на Миссисипи. Это великая американская река. Вы слышали о ней, конечно?
— Слыхал, — сказал Саша. — Помню, что в Миссисипи водятся аллигаторы.
— Фу! Противные твари!.. А в Амуре они есть?
— Нет, конечно.
Придерживаясь за кусты тальника, они поднялись на пологий и низкий левый берег. Как раз в этом месте ветер сдул с береговой кромки снег, обнажив желтый речной песок.
— Хо, здесь пляж? — удивилась мисс Хатчисон, снимая рукавичку и нагибаясь, чтобы зачерпнуть горсть песка.
Холодный песок быстро просеивался у нее между пальцев. Она снова зачерпнула горсточку, просеяла часть, остальное кинула на снег.
— Брр! Я, кажется, отморозила пальцы. — Она подула себе на руки, лукаво глянула поверх сложенных ладошек на Сашу. — Если бы вы были по-настоящему любезный кавалер, вы согрели бы мне руки.
— А вы потрите их снегом, — с наивной простотой посоветовал Саша.
Мисс Хатчисон не торопясь натянула рукавичку. Вдруг она громко расхохоталась.
— Представьте, что я придумала! Если сюда тайком привезти пару американских аллигаторов и пустить в реку? В Амуре они быстро размножатся и будут выползать на отмели греть свои кости на солнце. Это здорово оживит пейзаж.
— Не думаю, чтоб из этого что-нибудь получилось, — скептически заметил Саша. — Ваши аллигаторы подохнут в первую же осень от холода, если их до этого не перебьют палками наши мальчишки. Что ж, пойдем дальше, — предложил он.
Мисс Хатчисон продолжительное время держалась недалеко от него, идя по лыжне. Но затем у нее что-то случилось с лыжным креплением.
— Хелло! Не так быстро, мистер Левченко, — крикнула она.
Саша сообразил, что поступает не очень-то вежливо. Остановившись, он принялся ломать и стаскивать в кучу сухой хворост.
Когда мисс Хатчисон добралась сюда, на берегу проточки пылал жаркий костер.
— Можете греться, — галантно предложил Саша.
Искры шипя падали в снег. Поверх зарослей тальника, будто газовый шлейф, протянулась струйка голубоватого дыма.
— Милый мой мальчик! Если в другой раз вам вздумается бежать, не оставляйте беззащитных девушек в лесу. Джентльмены так не поступают.
Саша, вороша костер, пробурчал что-то невнятное.
— Должно быть, я веду себя несколько легкомысленно? Вы бог знает что можете обо мне подумать, — внимательно посмотрев на Сашу, сказала посерьезневшая мисс Хатчисон. Но тут же расхохоталась. — Если бы не было грехов, то что стал бы делать пастор?
— Занятно! — сказал Саша и тоже рассмеялся.
Они сидели по разные стороны костра, весело и непринужденно болтали о всякой всячине. Мисс Хатчисон держалась покровительственного тона, как старшая, но Саша уже не обращал на это внимания. Все девушки почему-то считают себя более знающими и опытными.
Глядя на разрумянившиеся щеки и веселые плутоватые глаза мисс Хатчисон, Саша спрашивал себя, что же побудило эту симпатичную девушку отправиться в чужую страну?

Нужда? Любопытство? Поиски приключений или расчет? Она, видно, была не из тех, кто легко поддается чужому влиянию. И за словом в карман не полезет. Чего же она ищет? Какие тайные мысли спрятаны под белой шапочкой?..
— Красивое выбрано место для города. Но эти жалкие домишки портят вид, — говорила тем временем мисс Хатчисон, обернувшись к виднеющимся вдали городским строениям. — Через двадцать-тридцать лет все изменится. Вот тут, — показала она, — будет завод Форда. Там — лесохимический завод Дюпон-Немюр. Рядом с этим собором — двадцатиэтажный банк Диллон Рид. Кино, дансинги... Представляете?
— Нет. Я вижу город другим, — сказал Саша. Нарисованная ею картина показалась ему чужой и неприятной. Было досадно, что кто-то собирается тут все переиначить по-своему.
Обратно шли по старой лыжне, почти не разговаривая.
Взобравшись у парка на гору, Саша долго стоял и глядел на дома, в окнах которых зажигались первые огоньки. На город спускался зимний вечер. Небо было синим над годовой, а ниже зеленело, и у самой кромки, над амурской поймой, протянулась неширокая бледно-оранжевая полоса.
Со снежной равнины тянуло холодом.
Дома у Мавлютина опять бубнили чьи-то голоса.
В кабинете Алексея Никитича сидели американцы и Бурмин. Джекобс, распахнув шкаф, бесцеремонно рылся в книгах. Перкинс восседал на изогнутой ручке хозяйского кресла и, болтая ногой, мягким, убеждающим тоном говорил о реорганизации лесного дела на Дальнем Востоке,
— Конъюнктура лесного рынка сейчас складывается исключительно благоприятно, — говорил он сидящему напротив него лесозаводчику. — Представьте, что весь северо-восток Франции, Фландрия — все эти многочисленные городки и поселки — теперь сплошные развалины. Все, что строилось там веками, сметено начисто артиллерийским ураганом. Но люди не могут жить без крыши над головой, мистер Бурмин. Европа после заключения мира будет способна поглотить миллионы стандартов леса. Деловые люди, мы с вами, обязаны это предвидеть. Война создала небывалый, колоссальный спрос.
— Спрос-то спрос, да нужен и запрос. Кто платить будет? Европа? Так у нее, извините, все штанишки в прорехах, — заметил более пессимистически настроенный Бурмин.
— О, все будет олл-райт! — сказал Джекобс, высовывая нос из-за дверцы книжного шкафа. — Америка даст Европе заем. Сделает рекламу: «Каждая семья солдата должна иметь свой дом!», «Вместо разбитых камней Европы — стройте удобные деревянные коттеджи из дешевого сибирского леса!» Это хороший бизнес. Потом Европа будет платить.
— Если прибыль окажется высокой, капиталы в Штатах найдутся, — подтвердил Перкинс. — В Сибири невероятное количество леса. Прекрасный лес. Его надо двинуть на лучшие рынки мира. Мы, американцы, займемся этим.
— Ну, лес на корню — еще не товар. Падает и гниет без всякой пользы. Пожары сколько леса губят, ужас просто. А попробуйте вытащить бревно из тайги к дороге, так оно влетит в копеечку. Знаете, во что обходятся здесь рабочие руки?
— Если ваши рабочие не согласятся работать дешево, мы их заменим китайскими кули. Эти уж не будут спорить. — Перкинс выудил из пачки две сигареты и жестом предложил Бурмину курить. — В лесном деле нужен размах. Мы построим дороги. Привезем американские паровозы, деррики. Придется почистить и оградить бонами сплавные реки. Но вложения капитала быстро окупятся, я могу это подтвердить точными расчетами, — продолжал Перкинс, пуская колечками дым и рассекая их потом решительным взмахом руки. — У нас имеется соглашение с правительством России, передающее американцам контроль над портом Владивосток.
Бурмин высоко поднял левую бровь.
— Соглашение с большевиками?
— Нет, что вы! С правительством мистера Керенского... Полковник Стивенс будет наводить в порту порядок.
— О, мистер Стивенс! Он стоит миллион долларов! — воскликнул Джекобс, усаживаясь с книгой на угол письменного стола. — Мистер Стивене имеет проект реорганизации железнодорожной системы Сибири и Урала. Президент Вильсон сказал ему: «О'кей!»

Мистер Морган и мистер Гувер дают кредит. Это настоящая солидная фирма. Больше, чем Панамский канал, который тоже построил мистер Стивене.
— А конкуренция лесовывозящих стран: Норвегии, Швеции? У них старые прочные связи на европейских рынках, знание клиентуры, опыт. Географическая близость, наконец, — не сдавался Бурмин.
Перкинс презрительно фыркнул.
— Вы же знаете, что, если дается заем, нетрудно оговорить и условия его использования. Почему наши доллары должны уплывать в карманы шведских промышленников, когда они могут целехонькими вернуться домой в Штаты, прихватив еще хорошие проценты? В Америке скопилось чертовски много денег, мистер Бурмин. Америка теперь — мировой банкир,
— Да, мистер Бурмин, это факт, который следует признать, — сказал Джекобс.
Саша, молча наблюдавший за тем, как американцы вдвоем дружно наседали на лесозаводчика Бурмина, с треском захлопнул книгу. Ну и денек выдался!
В прихожей послышались шаги Алексея Никитича.
— Всеволод Арсеньевич, есть новости! Идите сюда, — сказал Левченко, постучав к Мавлютину. — Ну, господа! Кажется, это начало конца... В Иркутске — бои с совдеповцами, офицерские части пустили в ход артиллерию. В Харбине китайские войска разоружают ополченские дружины. Консульский корпус предложил им разогнать Совет. Во всей полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги восстанавливается власть главноначальствующего генерала Хорвата.
Он бросил на стол пачку телеграмм.
— Что ж, этого следовало ожидать, — сказал Мавлютин. Прочитал еще раз телеграммы и ушел, еще более озабоченный, чем обычно.
Американцы о чем-то быстро переговорили между собой и тоже ушли.
Бурмин бегал по кабинету, довольно потирая руки.
— Знаешь, Алексей Никитич, я, пожалуй, промахнулся, продав лес на дрова. Можно было выручить валюту. Поторопился, черт возьми! — говорил он, потирая ладонью широкую лысину. — Тут из-за нашего сибирского кедрача державы скоро друг другу в волосы вцепятся, ей-богу. При такой ситуации не заработать — дураком быть.
— А ты не очень верь их посулам, — сказал Левченко, бывший с Бурминым на короткой ноге. — Мягко стелют, жестко будет спать.
— Боюсь, Алексей Никитич. И соблазнительно, а боюсь... Меня японец все обхаживает, от фирмы Судзуки, — признался лесозаводчик. — Черт его знает! Лесу, конечно, не жалко — пусть давятся. На наш век добра хватит. Они все пути на лесной рынок обрежут да низкими ценами нас и удушат. Очень просто. А с другой стороны, помимо них, видно, и дороги не будет. Вот и крутись, — он почесал у себя за ухом и с растерянным видом уставился на Алексея Никитича. Потом вдруг заторопился: — Ну, прощай пока!
Левченко молча постоял возле темного окна, глядя на узоры, разрисованные на стеклах морозом.
— Александр, хочешь поехать со мной на прииск? — вдруг обернувшись, спросил он. Была в его голосе неожиданная и непривычная теплота.
Саша помедлил, обдумывая ответ и желая подольше сохранить приятное ощущение близости с отцом.
— Разумеется, я поеду, отец. С удовольствием. Но мне кажется, что твои надежды не совсем обоснованы, — сказал он. — Что-то меняется в нашей жизни, отец. Что-то сломилось, и я не знаю, стоит ли цепляться за старое? Где правда? Где настоящая твердая почва? Я думаю, отец. Все время думаю...
Алексей Никитич опустил голову.
— Я тоже думаю, сынок, — тихо сказал он, садясь в кресло и жестом приглашая сына занять место напротив. — Тебе сколько теперь? Девятнадцать. В таком возрасте и я мечтал, загорался, искал. С годами приходят опыт и сознание, что жить лучше спокойно, раз заведенным порядком. Начинаешь предпочитать синицу журавлю в небе.
— А не есть ли это самообман, отец? Красивая иллюзия жизни?..
— Не думаю. Нет, — решительно сказал Алексей Никитич, тоже взволнованный этим неожиданным поворотом их беседы. — Именно в разном восприятии действительности

лежит водораздел между старшим и младшим поколениями. Извечная проблема отцов и детей...
Саша упрямо покачал головой:
— Нет, что-то тут не так, отец. Во всяком случае, дело не в возрастных особенностях. Ты ошибаешься.
— Что ж, вернемся к разговору... лет через двадцать, — грустно усмехаясь, предложил Алексей Никитич. Подавшись вперед, он положил свою тяжелую жилистую руку Саше на колено. — Чтобы не было между нами недомолвок, раз уж зашел такой разговор, я тебе, Александр, скажу: не личное тщеславие, нет, и не материальное соображения даже побуждают меня делать то, что я в душе не всегда... слышишь, не всегда разделяю. Обстоятельства таковы, что надо делать выбор. Я выбрал, — он сильно сжал пальцами Сашино колено и сказал просительным тоном: — Хочу, чтобы мы, избави боже, не оказались на разных сторонах баррикады!
Саша вздохнул и осторожно погладил своей трепетной горячей рукой жесткую и холодную руку отца.
— Знаешь, я наслушался тут недавно такого, что почувствовал себя... нет, понял, что они всех нас считают зулусами или готтентотами.
Алексей Никитич нахмурился оттого, что сын обошел стороной прямо поставленный вопрос о его позиции в разгорающейся политической борьбе.
— По меньшей мере странно спасать Россию, привлекая чужестранцев. Ты не находишь этого, отец?
Алексей Никитич чуть помедлил.
— Разумеется, я не закрываю глаза на корыстные побуждения, которыми могут руководствоваться отдельные представители союзных держав, нет, — сказал он, тщательно подбирая слова и с досадой ловя себя на том, что он слово в слово повторяет чьи-то чужие доводы. — Из двух зол приходится выбирать меньшее. Мы находимся в условиях, когда необходимо кое-чем сознательно поступиться. Так, за красивые глаза, нам помогать не будут. — Он взглянул на часы и решительно прервал разговор. — Пора спать. К поездке будь готов... дней через пять.
Алексей Никитич ушел. Было слышно, как он отдавал Соне, еще с вечера закрывшейся в своей комнате, распоряжения на завтра.
Постепенно все в доме стихло, кроме приглушенных голосов за стеной у Мавлютина. Кто-то тихо, будто крадучись, ходил в прихожей. Скрипели ворота.
Саша, взволнованный разговором, накинул пальто, вышел во двор. Спать ему не хотелось. Ночь была лунная и тихая. Город спал. Где-то далеко пропел петух. Тотчас и у них в сарае захлопали крылья, и горластый леггорн звонко выкрикнул свое «ку-ка-ре-ку», переполошив соседние курятники. И пошла из конца в конец петушиная перекличка.
Во дворе стояла чья-то пароконная упряжка с отпущенным у коренной чересседельником. Лошади, покрытые попонами, мирно жевали сено, брошенное им под ноги.
Хлопнула дверь. Затопали на крыльце.
— Счастливого пути. Да не задерживайтесь долго, — сказал Мавлютин, напутствуя отъезжающих.
— Будем к сроку, не беспокойся, — ответил Кауров, которого Саша тоже узнал по голосу. Скрипнула дверь, Мавлютин вернулся в дом.
— Как думаешь, Варсонофий, к утру поспеем? — спрашивал своего спутника Кауров, идя с ним через двор к лошадям.
— Да будто должны поспеть, — поглядев на звезды, отвечал тот. Когда он поднял голову, Саша угадал Варсонофия Тебенькова, переодевшегося почему-то в гражданское пальто.
— Куда вы собрались на ночь глядя? — спросил он, выдвигаясь из тени на светлое место.
— Фу, черт! Это ты, Саша? — спросил Тебеньков, подойдя ближе, видно недовольный тем, что их видели в этот час. — Да думаем проехаться за город, — неопределенно ответил он.
— Будь любезен, открой ворота.
Сняв с лошадей попоны, он свернул их и спрятал в сани.
Кауров подтянул чересседельник, сунул два пальца под хомут — не туго ли.
— Тронули, — сказал он, садясь в сани и не обращая внимания на Сашу, будто его тут и не было. — Погоняй живей! Припозднились мы с тобой, Варсонофий.

Два тулупа, брошенные в сани поверх сена, указывали, что Тебеньков и Кауров собрались не в ближний путь.
— Ну, счастливо оставаться, Саша! — крикнул Тебеньков, выезжая со двора и сразу пуская застоявшихся, продрогших коней шибкой рысью.
«Куда это они все-таки?» — подумал Саша, возвращаясь в дом.
2
Еще один человек проводил внимательным взглядом умчавшуюся упряжку — Демьянов. В этот час он возвращался из Арсенальской слободки, куда ходил за сменой белья. Завтра суббота, и Демьян Иванович собирался и баню. Хотя по работе ему теперь приходилось быть больше в городе, вещи свои со старой квартиры он не забирал. Одинокая старушка, в лачуге которой он занимал лучшую половину, как мать, заботилась о нем: штопала и чинила одежду, стирала и гладила бельишко. Провожая квартиранта по гудку в Арсенал, она не забывала сунуть ему в руки узелок с завтраком.
В последние недели Бюро большевиков много усилий прилагало к тому, чтобы сформировать на предприятиях отряды Красной гвардии и организовать военное обучение рабочих. Демьянова нагрузили так основательно, что пришлось оставить работу в Арсенале. Демьян Иванович свое кузнечное дело любил, знал его досконально и уход от парового молота считал явлением временным.
Пропустив подводу, Демьянов узнал лошадей. Днем он видел эту упряжку во дворе Интендантского управления. Кузнец из комендантской команды наскоро хотел приколотить полуоторванную переднюю подковку у пристяжной и чуть было не загнал ухналь в живое тело. Демьянов с детства испытывал слабость ко всему, что касалось лошадей. Он обругал незадачливого кузнеца и помог ему как следует справиться с делом. От кузнеца он узнал, что упряжка находится в распоряжении хорунжего Тебенькова.
«Значит, это он и покатил. Так, так. Интересно», — подумал Демьянов.
В ночной тишине снег громко поскрипывал под ногами. Нигде ни огонька. Демьянов представил себе, как в домах, мимо которых он торопливо шагал, разметавшись в кроватках, спят дети, как стерегут их покой прикорнувшие после дневных хлопот чуткие и во сне матери, и вдруг так живо ощутил свою личную ответственность за жизнь и счастье этих незнакомых ему людей, таким проникся теплым чувством к ним, что даже навернулась ему на глаза непрошеная слеза. А может, виною тому был покрепчавший мороз.
...В штабе Красной гвардии возле раскрытой дверцы топившейся железной печки сидели и тихо разговаривали Чагров, Савчук и Захаров. Еще человек семь красногвардейцев располагались на скамьях.
— Почему без света? — спросил Демьянов.
— Да керосин кончился. Тут где-то огарок свечи был, найти, что ли?
Демьянов тоже подсел к печке и с удовольствием протянул руки к огню.
— Круто забирает нынче зима.
— В декабре на стужу чего пенять. Ты вот на что погляди. Как тебе понравится? — Савчук взял у Чагрова шапку и протянул ее Демьянову. — Видишь, дырка. Это нынче вечером пробили. А шапка-то на голове была, понимаешь?
— Еще бы на полвершка ниже — и прямо в висок. Была бы мне, Демьян Иванович, путевка на тот свет, — невесело усмехаясь, сказал Чагров.
— Что? В тебя стреляли, Мирон? — Демьянов живо обернулся к Чагрову. — Кто это мог?
— Вот уж не знаю, — развел тот руками. Рдеющие угли отбрасывали красноватые блики, и Демьянову на миг показалось, что у Мирона Сергеевича лицо в крови. — Мне, брат, тогда не до выяснений было, — продолжал Чагров. — Я, как перышко, через забор да по двору запетлял. Квартал пролетел, будто на императорский приз бежал. У него, видно, терпежу не хватило дождаться, пока я ближе подойду. Темно, ну и промазал. Вдогонку еще раза два тюкнул, сукин сын. Кабы луна допрежь того взошла, он аккурат бы меня положил.
— Так вот как с нашим братом поступают. Стреляют из-за угла, — негодуя сказал Демьянов.
Савчук взял шапку, повертел в руках.
— Из нагана били. Офицерских рук дело, факт, — определил он. — Я бы эту сволочь поганую на месте порешил. До чего дошли, а?
— Это — цветочки, ягодки-то еще впереди, — сказал Захаров.

— Они так, по одному, сколько людей перебить могут.
— Ну, уж если мы начнем этаким же манером, еще неизвестно, кому хуже придется.
Яков Андреевич сходил за кочергой, помешал в печке, забросил обратно выпавшие на пол угли.
— Сдается мне, товарищи, не обойтись без пролития крови. Так, за здорово живешь, капиталисты от своих правов не отступят, — сказал он, задумчиво глядя на огонь. — Собственность, кто к ней привержен, это ведь страшное дело. Мало ли прежде из-за добра-наживы друг другу глотки резали.
— И черта в ней, в этой собственности, будь она проклята!
— Погоди, парень. Заведешь, к примеру, свой курятник — узнаешь.
— Ну, из-за курицы я другого человека за горло брать не стану.
— Ты не станешь, так тебя возьмут.
— А что, деньги-то останутся? — спросил лежавший на скамье красногвардеец. — Романовские, конечно, побоку. Керенки тоже. Значит, новые рубли чеканить надо, а?..
— Надо — так напечатают, — сказал Захаров, — Хоть бы на старости лет пожить хорошо.
— Поживем, — убежденно и тихо сказал Чагров. — Я в коммунизм каждой кровинкой верю, он мне как свет впереди. По-старому жить больше не могу, не буду. Пуля, которую в меня сегодня пустили, надо полагать, не последняя. А я все равно пойду! Хоть тысячу смертей впереди ставь, пойду!
Савчук шагал по комнате; по стене взад-вперед металась его большая тень.
Демьянов, отогревшись, позвал Савчука в другую комнату и рассказал о встреченной подводе.
— Ты кого-нибудь узнал? — хмуро спросил Иван Павлович.
— Хорунжий Тебеньков был. Да с ним еще кто-то, двое их было в санях, — сказал Демьянов.
— Тогда я догадываюсь, кто второй, — заметил Савчук после минутного раздумья. — Тут сотник появился — некто Кауров. А поехали они, надо думать, в станицу Чернинскую. У хорунжего папаша там в атаманах ходит.
— За подмогой к казакам, что ли?
— Да уж не просто на пельмени, будь покоен. Мы теперь вроде как кочета перед боем, — с усмешкой продолжал Савчук. — Стоим друг перед дружкой, а кто первый кинется, неизвестно... Казаки вполне могут неприятность учинить.
Демьянов подтверждающе мотнул головой.
— Знаешь, был у меня такой случай. Я на Амурской дороге тогда работал, на прокладке туннеля. В Облучье. Работа каторжная. Нам, кузнецам, тоже доставалось. Держали нас почти на казарменном положении. Строгости, полицейский надзор. А под носом у жандармов — большевики. Вот я с ними и вступил в контакт. Или они меня первые нашли, теперь трудно разобраться. Так или иначе, а узнал я настоящую правду. И мои кузнецы тоже. Мне поручено было агитировать помаленьку против царя, против войны. Я и казакам из охраны листовки подсовывал. Сходило до поры до времени, — усмехнулся Демьянов своим воспоминаниям.
— До поры до времени, — продолжал он, ловко свернув пальцами цигарку и прикурив от зажигалки. — Но вот нагрянули жандармы. И прямо ко мне. Должно быть, кто-то подсказал. Или я вообще был у них на примете. Нашли листовку. Уж обрадовались, будто по красненькой каждому дали. Фельдфебель норовил мне в зубы, но я так на него глянул, что он отступил. Загребли, конечно, раба божьего и погнали за пятьдесят верст в Пашковское станичное правление, к атаману — на суд и расправу.
Жара. Руки у меня связаны. Пот глаза заливает. День, как нарочно, душный. Парит, и хоть бы тебе дуновение ветерка. Как в котле. Комары надо мной тучей вьются, никакого спасения.
Конвоировали меня два казака — стариканы. Службисты, хоть картину с них пиши. Глаз с меня не спускали. Должно быть, жандарм аттестацию мне такую дал. «Побежишь, говорят, голова долой, без всяких шуток».
А мне зачем бежать? Куда? Я до этого почти всю Россию изъездил, нагляделся на людское горе.

Э, думаю, семь бед — один ответ! И пошел рассказывать казачкам про царскую власть, про войну и разные другие несправедливости. Говорю и думаю: «Ну, как врежет который плетью». Однако ничего. Только они дистанцию сократили, кони-то, слышу, над самым ухом у меня фыркают.
Так и пригнали меня в станицу, не проронив ни слова. Станичный атаман на меня кочетом. Стучит ногами, кулаками, сучит — на испуг брал. Допытывался, откуда листовка. «Подобрал, говорю, на путях, на курево. Не читал даже. С поезда, должно быть, бросил кто». Сказал — и уперся на этом, как он вокруг меня ни ходил. А казаки, заметь, молчат...
— К чему ты мне эту древнюю историю рассказываешь? — Савчук нетерпеливо забарабанил пальцами по столу.
— А к тому, Иван Павлович, уважаемый герой войны и командир Красной гвардии, что у казака уши тоже открыты. Все дело в том, что ему в эти уши напевать будут. Казак казаку рознь. А служба царская многим из них тоже боком выходит... Как думаешь, если нам собрать станичников, которые в городе на работу поустроились? Да кое-кому посоветовать съездить в рождественский праздник домой? Пусть казакам правду расскажут.
— Эге, дело! — оживившись, воскликнул Савчук.
И они тут же принялись составлять список знакомых казаков, из-за нужды подавшихся в город.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

К утру мороз покрепчал. Луна из-за сопок переместилась на ту часть неба, что простерлась над широкой поймой Амура, над укрытыми снегом островами, протоками, старицами. Прибрежные заросли черемушника отбрасывали на дорогу причудливые узорчатые тени. Дорога вилась по льду вдоль реки, обходя опасные быстрины.
Кауров, кутаясь в тулуп, глядел на убегающую назад дорогу, на темные клочки сена, раструшенного по ней.
— Нам бы в Корсакове теперь быть. Зря задержались. Зря, — сказал он, думая о том, сколько времени отнимет поездка и успеют ли они к сроку обратно.
— Ничего. В самый раз к чаю поспеем, — Варсонофий поглядел на бледнеющие уже звезды, пошевелил вожжами. — Завтра обедать будем у наших, дома. Не ждут...
В голосе у него прозвучали мечтательные нотки, не понравившиеся Каурову.
— Как казаков поднимать? Ты думал, Варсонофий? — спросил он, когда они в молчании проехали с добрую версту.
— А черт их знает! — Варсонофий повернулся в санях. — Думаешь, кому охота голову подставлять? На немца сперва, гляди, как шибко шли, а вот поостыли ведь. Нынче о мире только и толкуют.
— На немца? — Кауров подумал, сказал усмехаясь: — Пожалуй, это мысль. Ну, погоняй, Варсонофий. Погоняй.
Когда притомившиеся кони перешли на шаг, Тебеньков выпрыгнул из саней поразмять ноги.
— Мороз, черт его подери! Вот за хребтом выскочим на Уссури, он нам щеки пощиплет. Там с маньчжурской стороны всегда ветерок тянет. На, Степан Ермилович, держи вожжи.
— Да, пожалуй, и я пройдусь, — сказал Кауров, спуская ноги с саней и целясь половчее спрыгнуть.
Они шли рядом за санями, путаясь в полах длинных тяжелых тулупов.
— Иной раз едешь мимо фанзешки, а на тебя ханшином пахнет. С морозу выпить кто откажется? У купцов там чего только нет. Торговый народишко, — рассказывал Варсонофий. — Ну, случается, наши кто-нибудь втихаря пошарят. Да теперь многие зазорным это считают. Народ у нас все-таки чудной, ей-богу! Есть казаки — живут с китайцами душа в душу, соболевать вместе ходят, лопочут по-ихнему. У крестьян так и вовсе...
Кауров заинтересовался тем, как казаки-уссурийцы участвуют в пограничной службе.
— Проедет когда дозор для блезиру. А вообще стеречь границу чего? Не украдут, — рассмеялся Тебеньков. — Корчемная стража спиртоносов ловит, верно. Только попадаются больше дураки. Человек с умом на границе какие хошь дела обделает шито-крыто... Пробежим немного, а? — предложил он и крикнул на лошадей: — Н-но, пошли, родные!

Лошади потрусили рысцой. Варсонофий, подобрав полы тулупа, легко бежал в трех шагах за санями. Кауров начал отставать.
— Хватит. Придержи, Варсонофий, — взмолился он наконец, чувствуя, что дольше ему не выдержать такого темпа.
Тебеньков наддал шагу, чтобы ухватиться за вожжи. Но в этот миг лошади вдруг всхрапнули и понесли.
— Тпру! Тпру! — Варсонофий, нацелившись прыгнуть в сани, едва не сунулся носом в снег. Сбросив тулуп, он ринулся за убегающими санями.
Срезав угол на повороте дороги, он все-таки сумел повалиться в сани, больно ударившие его отводом на раскате. В лицо из-под копыт летели комья снега.
Натянув вожжи, Тебеньков сдержал бешеный бег коней, развернувшись, поехал навстречу далеко отставшему Каурову.
— Однако пробежка получилась знатная. Хоть рубаху отжимай, — досадуя и смеясь в то же время, сказал Варсонофий, когда запыхавшийся Кауров уселся позади него в санях на тулупе.
— Чего они шарахнулись?
— Не заметил. Должно быть, зверушка какая прыгнула. Ты, Степан Ермилович, тулуп надень, не гляди, что жарко. В таком виде быстро прохватит.
Варсонофий стегнул лошадей.
— Вот батя у меня однажды таким же манером отстал. Ну, наделал переполоху, — продолжал рассказывать он. — Кони примчались аж седые, в мыле. В санях банчки со спиртом гремят. Батя на ту сторону за товаром ездил.
Мать сразу в голос: убили!
Человек пятеро казаков коней заседлали, побегли дорогой — смотреть. Только в первую балку спустились, верстах в пяти от станции, — и такая перед ними картина: сидят в затишке под мосточком двое. Назвались рабочими с прииска. Сидят и к банчку по очереди прикладываются. Снегом закусывают.
«Вы чего, спрашивают, расселись?»
«Да вот, говорят, послал бог банчок спирту. Пробуем. Если закуска имеется, милости просим к нам в компанию».
«А, вас-то нам и надо, голубчиков! Сказывайте, куда девали тело убитого!»
«Да что вы, ребята, ошалели?»
«Молчать!»
Всыпали им малость сгоряча. Пригнали в станичное правление.
Отпираются.
«Банчок, говорят, верно, на дороге нашли. А человека — не видели. Хоть крест целовать».
Мытарили их, мытарили, — стоят на своем. Бить больше постеснялись. Заперли в холодную.
Как все разошлись, тут батя мой и нагрянул. Да прямо заявился в станичное правление. Он, как кони от него ушли, тропой ближней через пасеку подался. Заодно в омшаник заглянул. Кони, кроме дома, куда пойдут? Беспокойства на этот счет у него не было. А тут пакет ждали из округа.
Приходит он, значит, в правление. Никого. Только слышит за стеною гомон. Это те двое в холодной между собой переговариваются. Никак понять не могут, за что их посадили. Да и мороз, видно, донимать начал. Холодная при станичном правлении зимой не отапливалась. Соответствовала, значит, названию.
Батя отпер дверь, спрашивает:
«За какую-такую провинность, господа мазурики?»
«А ты, говорят, кто будешь?»
«Я, — отвечает он, — станичный атаман. И прошу не тыкать».
«Виноваты, говорят. Только войдите и вы, пожалуйста, в наше положение. Это же чистое самоуправство. Без всякой вины».
Обсказывают ему, как и что.
«Понятия, говорят, не имеем, кто и кого тут убил. Слыхом не слыхали. Совсем зря пристегнули нас к этому делу. А может, и убитого нет?»

«Как нет?! — батя аж вскипел. — Вы что на казаков поклеп возводите? Есть убитый, раз вас в холодную посадили. Признавайтесь, сукины сыны!»
Дело под вечер. Мать уж и слезы все повыплакала.
«Беги, просит, в правление, может, след какой объявился».
Открываю я дверь. Да так и прирос к полу, ей-богу! — Варсонофий коротко хохотнул. — Батя следствие наводит о самом себе. Ну, умора!.. Крестит нагайкой парня по плечам. Ногами топает. Кричит:
«Признавайся, кого убил? Засеку-у!»
Как все дело объяснилось, парни те с обидой к нему. Помню, у одного губа прыгала, совладать с собою не мог.
«За что били, господин атаман?»
А батя — человек карахтерный. Глазом не моргнул.
«Это вам впредь наука. Не шляйтесь, где не положено. Кроме того, с вас причитается за банчок спирта».
Они, конечно, артачиться. И пить не пили, только пригубили. И денег у них нет...
Но батя своим разве поступится?
«У меня, говорит, на берегу плавник лежит. С прошлого лета. Недели за две порежете на дрова — и с богом».
— Ну и что, порезали? — спросил Кауров. — Видать, колоритная фигура ваш старик.
— А куда же им деться? Две недели мантулили за одни харчи, — с усмешкой ответил Тебеньков, приподнялся и стал всматриваться в дорогу. — Если в Хоперский заезжать, тут как раз сверток.
— Гони прямо. Пошлем нарочного из Корсакова, — решил Кауров, зябко поеживаясь. Его и в самом деле начал пробирать холод.
Над высоким берегом поднималась светло-серая полоса рассветного неба.
Как и предсказывал Варсонофий, они вкатили во двор корсаковского атамана как раз в то время, когда хозяева садились за стол. Кроме своих, в доме был гость — высокий однорукий казак, оказавшийся жителем поселка Хоперского. Пока хозяин о чем-то шептался с женой, однорукий недоверчивым взглядом рассматривал Каурова.
Сотник, покосившись на его пустой, подвязанный рукав, спросил:
— Фронтовое, а?
Он старался придать своему голосу оттенок сочувствия. Но казак, недавно потерявший руку, остро реагировал на любое упоминание о своем увечье.
— А не все ли равно? Был человек, а теперь — обрубок, — злым голосом ответил он.
Варсонофий с хозяйским сынишкой вышли, чтобы задать корму лошадям.- Когда он вернулся, Кауров, удобно расположившись за столом, громко и без запинки говорил:
— Совдепы вооружают немецких военнопленных. Командуют всем офицеры германского генерального штаба. Они открыто угрожают расправиться с казачеством. Вы представляете, какая может произойти резня.
— Ох, не приведи господи! — Корсаковский атаман, запустив пальцы в редкую бороденку, таращил округлившиеся глаза, переводя их с одного собеседника на другого.
Но вот он прикрыл один глаз, а другим так явственно подмигнул Каурову, что тому стало ясно: атаман ни одному сказанному слову не верит и сам превосходно знает, как в действительности обстоят дела. Однако выдумку Каурова он одобряет и не прочь поддержать его.
— Тут такая кровопролития будет, ужас! Хоть бы еще казаки были дома. А то ведь обороняться кому — нестроевики да бабы с малыми детьми, — продолжал он, пытливо глядя на Каурова и уже догадываясь, к чему тот клонит.
Однорукий казак насмешливо смотрел на них, видимо хорошо понимая все то, что ими не договаривалось. Он молчал. Но в его молчании Кауров не мог не почувствовать самого упорного сопротивления тому, чего он здесь добивался,
— Надо, господа казаки, дружно подняться, как один человек, — говорил он, избегая встречаться взглядом с одноруким. — Разве уссурийцы допустят, чтобы наш заклятый враг... здесь, на казачьей земле...
— Не, нельзя. Оборони бог! — Атаман кивал головой, выражая полное согласие и готовность делать все, что прикажут.

За свою долгую службу он насмотрелся всякого и был достаточно осторожен, чтобы не задавать лишних вопросов и не высказывать вслух своего мнения.
Кауров наконец отважился глянуть в глаза однорукому.
— Я приехал, чтобы помочь вам организоваться против немцев и большевиков.
— Вот спасибо! А то мы пропали бы тут не за понюх табаку, — сказал однорукий таким откровенным насмешливым тоном, что не заметить этого было никак невозможно.
— Вы, собственно, чему смеетесь? — покусывая в досаде губы, спросил Кауров.
— Да, далеко вы забрались, чтобы с немцами бороться. Раз уж так страшно, сигали бы сразу... в Китай. Тут рукой подать...
— Ох, вы еще пожалеете! Горько пожалеете, господа, да поздно будет, — сказал Кауров, понимая, что здесь на испуг никого не возьмешь.
— А чего мне жалеть? Чего я такого хорошего видел в этой жизни, будь она трижды проклята! — раздраженно и резко возразил однорукий. — Да мне все так опостылело, что любую перемену приму. Думаете, сладко казаку, ежели он только своим горбом себя подпирает? Вам-то что — пиши знай приказы: справу давай, конем обзаводись... Детей моих кормить — заботы нету. А я вот... с одной рукой! Изворачивайся теперь.
— Ну, не злобись, Коренев. Не злобись. Кого теперь винить, раз так случилось. Не ты первый, не ты последний, — сказал Тебеньков, думая урезонить разошедшегося казака.
— Молчи! Отсиделся, теперь пищишь. Ерой! — однорукий так глянул на Варсонофия, что тот сразу осекся, не находя больше, что сказать.
— Ты, Антон, все-таки того, легче. Здесь благородные люди сидят, — заметил хозяин, понимая, что пора вмешаться и предотвратить ссору.
Но было уже поздно.
— Благородные? Скажи, пожалуйста! — зло усмехнулся Коренев. — Это значит — на чужой шее через грязь еду, сапожки чистые? Так?
Поднявшись из-за стола, он с грохотом отшвырнул табуретку.
— Вот вы на одну доску поставили немцев и большевиков. На каком таком основании, спрашивается? — сказал он, надвигаясь на Каурова и заставляя того тоже подняться и даже попятиться. — Вам не нравится, что большевики за мир? Так я этого мира еще больше хочу. Вся Россия кричит: долой войну! А вам не терпится еще один фронт устроить. Брата на брата поднять. Нет на это моего согласия и не будет. Что вам немец? Что вам Россия?.. Да я вас насквозь вижу, чем вы дышите. Вы хотите нас обмануть, а мы, выходит, поумнели. И дороги у нас теперь разные. Так что, ваше благородие, лучше нам на них не встречаться. Иначе — вот! — и он поднял свой единственный, крепко сжатый кулак.
Кауров отшатнулся. Он не считал себя человеком робкого десятка. Но было что-то в пылающем взгляде стоящего перед ним человека, что повергло его в трепет.
В эту минуту хозяин решительно втиснулся между ними. Он успокаивающе помотал перед глазами Коренева бороденкой и, мягко напирая на него округлым брюшком, ловко оттеснил его к двери.
— Иди, Антон. Иди. Проспись, — говорил он, делая вид, что все это произошло только по пьяной лавочке.
— Все вы тут — одного поля ягода, — буркнул Коренев, беспрепятственно позволяя надеть себе на голову шапку и накидывая полушубок прямо на плечи. В дверях он обернулся и громко сказал: — Не пойдут казаки против большевиков! Разве каких дураков найдете. Все равно не поможет, — и так хлопнул дверью, что стены закачались.
— Сволочь! Изменник! Таких надо лишать казачьего звания, предать позору, — запоздало кипятился Кауров, обращая теперь свой гнев на корсаковского атамана.
— И разве он один! Такого наслушаешься, избави бог, — атаман спокойно отпарировал наскок. Впрочем, он был доволен. Пусть этот сотник узнает, как ему, атаману, приходится тут изворачиваться. — Вот ведь не поверите. До войны был самый смиренный казак в поселке. Будто подменили его там. Что деется, господи боже мой!
Впечатление от стычки с одноруким было таким, что в станице Казакевичево — самом крупном казачьем поселении вблизи Хабаровска — Кауров решительно отклонил предложение станичного атамана выступить перед казаками с речью.

— Не затевайте широких сборов. Дела должны вершить старики, такова казачья традиция, — посоветовал он атаману, пригласившему их на обед. — Сколько сабель предполагаете выставить?
Атаман мялся, не желая связывать себя твердым обещанием.
Эта уклончивость страшно бесила Каурова. Пока смутно, но он уже начал догадываться, что дело не только в отсутствии должного служебного рвения у станичных и поселковых атаманов.
Огромное вечернее солнце садилось над маньчжурской равниной. В окнах поселка, расположенного на взгорье, плясали отраженные кроваво-красные лучи. Казалось, все дома в Казакевичево охвачены пламенем. Варсонофий подумал даже, уж не пожар ли они оставляют за собой.
— Будто горит, — сказал он, глядя с дороги на поселок.
— А черт с ним, пусть горит! — Кауров даже не повернул головы.
Погруженный в свои думы, он равнодушно глядел на утесы, поросшие дубняком, на гряды ледяных торосов, отмечавших быстрины, где после ледостава долго еще пенилась и бурлила река, не желая поддаваться морозам.
Совсем близко от дороги видны покрытые лесом сопки. Хребет Хехцир обрывался возле реки довольно высокими длинными мысами. В распадках и долинных участках леса преобладали коричневые и красно-бурые тона. Выделялись среди деревьев своей светло-серой корой тополи.
Огибая Хехцир, скованная льдом Уссури терялась на темнеющей впереди равнине. Вдали светились редкие огни поселков.
В первом из них они заночевали.
Утром Кауров с любопытством разглядывал китайское поселение, мимо которого близко пролегала дорога. Невысокая глинобитная стена с двумя воротами. За стеной теснился десяток фанз. Виднелись два-три строения побольше.
— Купеческие лавки, — пояснил Варсонофий. — Не гляди, что с виду неказисты. Товару тут тысяч на двести. Город недалеко, контрабандный товар спросом пользуется. Купцы бойко подторговывают. Да и контрабандисты зарабатывают неплохо. Обоюдный, выходит, интерес.
— Что у них тут — гарнизон? — спросил Кауров.
— Гарнизон? — Варсонофий фыркнул. Как это было принято среди зажиточных уссурийских казаков, о китайцах Тебеньков говорил в пренебрежительном тоне. — Живут два-три солдата. Летом в огороде ковыряются, им казенный харч будто не положу. А может, воруют чины, не знаю.
— Так, говоришь, бойко торгуют, а? И наличность, видать, имеется? — допытывался Кауров, захваченный какими-то своими соображениями.
— Есть, конечно. Тут с нашей стороны всегда кто-нибудь толчется. А товар сюда доставляют на халках по Сунгари. Должно быть, здесь харбинская фирма орудует. Батя сказывал, эти купцы начальника корчемной стражи подкупили. Фуговали товар через границу обозами. Только этот корчемный чин зарвался, сместили его. Взятку дать пожалел. Сунул бы порядочный куш, так небось обошлось. Возможно, что его сами купцы выдали. С другим, глядит, дешевле сторговались. Тут чего только не бывает, — рассказывал Варсонофий со спокойным равнодушием человека, давно привыкшего к таким вещам и не видящего в них ничего зазорного.
На Уссури, как и предсказывал Варсонофий, действительно потянуло ветром. Кауров поглубже нырнул в тулуп. Вскоре дорога свернула в сторону от реки. Как только путники стали удаляться от Уссури, направляясь к станице Чернявской, расположенной в стороне от границы, у линии железной дороги, ветер отстал, затерявшись где-то среди бесчисленных, похожих один на другой перелесков.
Из-под снега торчали стебли вейника, сухой полыни, высокого дудника, рыжие космы прошлогодней травы.
Кто не дивился, видя, как тут буйно прут из земли травы, густеют, поднимаются в рост человека! Ветер гонит по травяному морю зеленые волны. К осени трава блекнет, желтеет. Зимой снег примнет ее, запрячет до весны под холодным белым покровом. Но сойдет снег,

подсушит траву солнышко, и по ней огненным валом прокатится весенний пал. Глядишь, из-под пепла или старицы уже проглянула, радуя глаз, свежая зелень. И так из года в год.
Когда за деревьями близко просвистал паровоз и донесся шум поезда, бегущего по мосту, Варсонофий придержал коней, чтобы осмотреть и подправить сбившуюся сбрую.
Через сотню шагов с опушки открылся вид на станицу. За домами горбились четыре фермы железнодорожного моста. В стороне одиноко дымила труба бурминского лесопильного завода.
Варсонофий, привстав в санях, гикнул, свистнул, и кони понеслись вскачь по длинной извилистой улице, выходившей на небольшую площадь перед деревянной церквушкой.
Лошади сами свернули к просторному дому под железной крышей. Перед домом стояло несколько грушевых деревьев, позади тянулся довольно большой сливовый сад. С другой стороны к дому подступали многочисленные хозяйственные постройки — два крепких амбара, просторная конюшня, сарай, свинарник, огромный крытый сеновал. Прямо на улицу торцом выходило длинное бревенчатое строение с окнами — лавка, или магазин, как обычно называл свое торговое заведение сам Тебеньков.
За садом, ближе к реке, виднелась низкая крыша баньки, над нею поднимался голубоватый дымок.
«Вот кстати», — подумал Варсонофий, предпочитавший благоустроенным городским баням обычную деревенскую баньку, топившуюся по-черному, в которой можно было и попариться вволю и остудить себя холодным домашним квасом.
— Наши баню топят. Попаримся, Степан Ермилович! — весело сказал Варсонофий, придерживая лошадей.
Работник, узнав хозяйского сына, раскрывал ворота.
Соскочив с саней, Варсонофий кинул ему вожжи.
— Батя дома? — спросил он, заметив чье-то лицо, мелькнувшее в окне.
— Недавно в станичное правление ушел, — сказал работник, вводя коней во двор.
Варсонофий, молодцевато выпрямившись, зашагал к крыльцу.
— Идем, Степан Ермилович. Я тебя представлю да за батей побегу, — говорил он, чуть повернув назад голову.
2
Первым, кого увидел Варсонофий в канцелярии станичного атамана, был Василий Приходько. Он сидел сбоку стола на табуретке лицом к двери, положив руки со сцепленными пальцами на колени. Рядом с ним, но уже спиной к вошедшему Варсонофию, сидели еще три рослых человека, загородивших собой Архипа Мартыновича. Был только слышен его хрипловатый, осипший голос:
— Не от меня зависит решение вашей просьбы, господа крестьянские делегаты. Самолично распорядиться я не могу. Земля принадлежит войску. Нарезка производилась согласно высочайшего указа.
— Ну, высочайший, надо полагать, не обидится. Его самого, гляди, как подрезали, — под корень, — со смешком сказал один из делегатов.
Крестьянин-переселенец упорным трудом раскорчевывал себе три-пять десятин земли. Чаще он выбирал безлесную релку, чтобы по возможности обойтись без корчевки. Доходил с плугом до края зарослей и бессильно опускал руки. Целина! Черт ее распашет.
Самые удобные для пахоты земли в пойменной части Амура и Уссури царское правительство отвело казакам. Земли амурского и уссурийского казачьих войск тянулись вдоль границы на тысячи верст. Лишь незначительная часть этих угодий обрабатывалась самими казаками. Некоторое количество земель сдавалось в аренду крестьянам соседних деревень, обычно посаженным чиновниками Переселенческого отдела без особых раздумий о мужицких удобствах, или обрабатывалось исполу арендаторами — китайцами и корейцами. Благодаря такому землеустройству, казачья верхушка извлекала немалые выгоды из своего положения и стойко держалась за казачьи привилегии. Тем острее становился спор из-за земли между казаками и крестьянами.
Так было и в станице Чернинской, рядом с которой находилась крестьянская деревня Зоевка. Между зоевскими крестьянами и чернинскими казаками шел давний спор из-за так называемого «бугра» — громадного массива незатопляемой удобной земли, расположенного буквально возле околицы деревни Зоевки. Бугор, находящийся на другом

берегу реки, казаками совершенно не использовался. Собственные же наделы крестьян почти каждый год затопляла река во время летних наводнений. Сеять хлеб на пойменных землях, хотя они давали в удачный год неплохой урожай, было рискованно.
— Нам, Архип Мартынович, без той земли на бугру — жизни нету. Ведь как наводнение — все чисто топит. Сами знаете. Даже в избах вода поверх полу плещется. Чистая беда. А тут на бугру — земля подходящая: от воды высоко и к дому близко. Вам она совсем не с руки, на отшибе за рекой. Пустует земля. Хоть бы для виду кто распахал там клочок. — Приходько, высказывая все эти соображения, думал, что можно убедить Тебенькова и повлиять на решение вопроса в их пользу. Мало ли удобной земли у чернинских казаков и без этого злосчастного бугра, отхваченного при размежевке землемерами от зоевского земельного надела?
Архип Мартынович кивком головы поздоровался с сыном.
— Садись. Зараз я кончу с ними разговор, и пойдем. Не могу, господа делегаты. Не в моей власти, — продолжал он, исподлобья глядя на сидевших перед ним крестьян. — Если хотите, перешлю вашу просьбу в канцелярию войскового атамана. Как там решат, так и будет.
— Э, ворон ворону глаз не выклюет! — Один из делегатов безнадежно махнул рукой.
— Нам земля эта до зарезу нужна, жить без нее нельзя, — упрямо настаивал Приходько. — Надо по всей справедливости... Войдите вы в наше положение.
— А шо тут толковать? Запашемо весной цю землю, та все. Бо воны, як та собака на сене, ни соби ни людям, — резко сказал старший из делегатов.
— То есть так — запашем? Казачью землю? — В голосе Архипа Мартыновича прорвалось давно сдерживаемое раздражение. — Ты, паря, больно прыток. Гляди! За таки штучки по головке не гладят.
— Та мы не малы диты, шоб нас гладить. Як потребуется, то и сдачи дамо. Не злякаемся. — Крестьянин поднялся, а вслед за ним встали и остальные делегаты.
— Архип Мартынович, лучше бы нам полюбовно договориться. По-соседски, — сказал Приходько, упорно ища пути к соглашению.
Тебеньков поглядел на них снизу вверх, — вставать он не стал, подчеркивая этим свое хозяйское положение.
— Закон не позволяет. Закон, — ответил он, решительно отсекая возможность дальнейших переговоров.
— Закон новый — о земле. Ленин писал. Як прикинуть на наше життя, то по всей справедливости бугор треба присоединить до нашего надилу.
— Я большевистских выдумок не признаю! — Архип Мартынович тоже вскочил, брызнул слюной. — Закон! Тьфу!
— А ты не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Ишь развоевался. Это тебе не старый прижим. Поостерегся бы, — с мрачной угрозой сказал молчавший до сих пор четвертый делегат, судя по одежде бывший солдат, как и Приходько.
«Ну, теперь пойдет стучать-кричать, удержу не будет», — подумал Варсонофий, хорошо знавший неуемный характер отца.
У Архипа Мартыновича задергалась левая щека, что всегда служило признаком крайнего гнева. Но гром не грянул. Видимо, чернинский атаман уже усвоил ту простую истину, что в новой обстановке старорежимные привычки делу мало помогут.
— Идите, господа крестьянские делегаты. Идите. Ссориться нам ни к чему. Были мы соседями и останемся, — глухим сдавленным голосом выговорил он. — Вот сын из города приехал, тоже словом перемолвиться надо, — извиняющимся тоном добавил он, будто приезд Варсонофия что-то тут объяснял.
Варсонофий вышел на крыльцо вместе с Приходько.
— Устроился, Василий? Как жизнь?
— Тут устроишься...
— Ничего, наладится. Я поговорю с отцом.
Приходько с усмешкой поглядел на Варсонофия.
— Нет, видно, самим ладить надо. Самим, — убежденно повторил он. — Своя-то рубашка к телу ближе.

Он хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой и быстро сбежал по ступеням крыльца.
— Видал, как хохлы подняли тут головы? В городе что слышно нового? — спросил Архип Мартынович, запирая станичное правление на большой висячий замок.
Варсонофий знал, что отцу за пятьдесят. Но сейчас, глядя на него, он в который раз поражался тому, как мало влияют на него годы. Невысокий, поджарый с виду, с бритым широким лицом, на котором выдавались обтянутые смуглой кожей скулы, Архип Мартынович походил на строевого казака среднего возраста, втянувшегося в походную жизнь и способного дать сто очков вперед какому-нибудь желторотому казачишке, впервые севшему на собственного строевого коня. Такое впечатление усиливалось благодаря ладно пригнанному на нем форменному казачьему обмундированию и шашке, нацепленной ради того, чтобы придать больше официальности разговору с делегатами соседней деревни.
— Да отдали бы вы им этот бугор. Действительно, он у нас на отшибе. Кто поедет пахать за реку? — сказал Варсонофий, припоминая, что он сам был в том краю один-единственный раз, разыскивая отбившуюся от табуна кобылицу.
Архип Мартынович, придерживая рукой шашку, бойко простучал сапожками по ступеням крыльца.
— Тут принцип прежде всего. Казачьи привилегии надо отстоять, — возразил он, догоняя сына, чтобы идти с ним рядом. — Я им предлагаю землю в аренду брать — не желают. Дай им волю, — сегодня они бугор просят, а завтра, гляди, хохлы на одну доску с казаками станут. Не могу я позволить, понимаешь.
— Тебе, батя, видней. Я не настаиваю.
— А хоть бы и настаивал. Я, паря, всегда по-своему делаю, знать должен. Смени ногу, слышь, — строго заметил он, и Варсонофий тотчас же наладился под его шаг. — Давеча у меня с мужиками спор был из-за расценок на дрова. Тоже надбавки просят. Со всех сторон смотрят, чтоб урвать. А я из какого интересу хлопотать должен? Пятьсот кубов нынче ставлю железной дороге да товариществу Амурского пароходства.
Архип Мартынович одним глазом покосился на сына: произвел ли на него впечатление размах его подрядной деятельности? В последние годы Архип Мартынович быстро шел в гору — построил паровую мельницу, открыл лавку, торговал вином (больше, правда, разведенным контрабандным спиртом), брал подряды на поставку дров и перевозку грузов, во время хода осенней кеты выставлял на Уссури и Чернушке более десятка неводов, держал даже собственного мастера-засольщика, умевшего и икру засолить и копчености приготовить. Подумывал он и о том, чтобы откупить по случаю в городе подходящий участок, построить свой дом с магазином внизу, со складом и хорошим ледником, чтобы можно было в летнее время торговать свежей рыбой, доставленной в садках с Уссури. Широкие были у него планы.
— Пятьсот кубов? Ты, батя, однако, развернулся, — Варсонофий угадал тщеславную мысль отца.
— Не пятьсот, а всего считай — полторы тыщи, — поправил Архип Мартынович. — Полторы тыщи кубов в сезон, вот как мы шагнули. — Ударом сапога он отбросил с дороги мерзлый катыш. — Что, Алексей Никитич много нынче собирается грузов отправлять на Незаметный? Тоже ведь заработок верный.
— Кто его знает. Ему, видно, и хочется и колется. Деньги-то затратить надо нешуточные, — ответил Варсонофий.
— Скажи на милость, развелась эта зараза скрозь. Куда ни кинь — всюду клин. — Архип Мартынович со злобой сплюнул, провел ребром ладони по острому кадыку. — Мне новые порядки — вот так поперек горла встают. Хуже, чем кость! Не знаю, что дал бы, чтобы вернулась старая власть.
— Вернется, батя! Вернется, — с беззаботной легкостью воскликнул Варсонофий. — Уже недолго ждать.
Архип Мартынович, нахмурясь, поглядел на него.
— Ни черта ты не понимаешь, балбес!
Обидевшийся Варсонофий несколько поотстал.
Архип Мартынович, твердо печатая шаг, шел посреди улицы, высоко подняв голову и поглядывая по сторонам зоркими, все подмечающими глазами. Когда ветер завертывал

полу его шинели, на солнце сверкал желтый лампас. И Варсонофий опять невольно позавидовал отцовской самоуверенности и хватке.
Кауров, видимо, пришелся по душе Архипу Мартыновичу.
— Ну, слышал. Слышал. Доброе дело затевается, — поощряюще заметил он, отстегивая шашку и вешая ее на вбитый в стену крюк.
Пока хозяйка собирала на стол, Архип Мартынович выспрашивал Каурова о планах намечавшегося в городе переворота.
— Тут, паря, шибко много людей не соберешь, не рассчитывай, — предупредил он, довольно трезво оценивая настроение основной массы казаков. — Нынче каждому своя программа нужна. Такой программы, однако, чтобы и меня и Микишку устроила, — нет и быть не может. — Микишка был сосед Тебеньковых, многосемейный казак, вечно бившийся в нужде. — А раз нет, оно так и пойдет — кто в лес, кто по дрова. Значит, налетом брать надо. Налетел, шашку вон, размахнулся — голова с плеч. Потом уж разобраться, что переложить к себе в переметную суму, а что и вовсе зарыть. Как такая моя программа — подойдет?
Щуря хитроватые глаза, чернинский атаман пристально посмотрел на Каурова.
— Подойдет, подойдет, — сказал тот, впуская на лицо улыбку, как редкую гостью. «Вот старик, едреный корень!» — думал Кауров не без некоторого, впрочем, уважения.
Архип Мартынович не любил откладывать свои решения.
— Ты беги, Егоровна, покличь стариков. Пусть зараз же идут, — сказал он жене и назвал несколько фамилий. — Сама тут не мешай, разговор будет сурьезный. Проследи лучше, чтоб баньку как надо истопили. Им с дороги помыться следует. И мне белье приготовь. Да пусть овса зададут коням. — Сдвинув брови, он подумал немного. — Обе наши упряжки пойдут. Выедем завтра пораньше, на заре. Путь не ближний. — Перехватив тревожный взгляд жены, обращенный на сына, атаман усмехнулся. — Ничего не случится. Я тоже еду.
После бани и позднего обеда Варсонофий ушел к приятелю. Вместе они выпили полбутылки вина и отправились на посиделки. Слушали песни, лузгали семечки. Варсонофий захватил фунта два конфет и угощал девушек. Старинные казачьи песни, которые они пели, растрогали его почти до слез. Вспомнились детство, невинные ребячьи шалости.
Потом Варсонофий довольно долго простоял у соседских ворот с девушкой, которую вызвался проводить домой. Девушке неудобно было отказать ему, но она решительно не знала, как вести себя с офицером и атаманским сынком, односложно отвечала ему да посмеивалась. Еще некоторое время слышались голоса расходившихся с вечеринки парней и девушек. Затем тишина воцарилась в станице.
Варсонофий, неправильно истолковав смех девушки, слишком дал волю рукам. Девушка с силой оттолкнула его и захлопнула перед ним калитку.
— Послушай, я же не хотел тебя обидеть, — сказал обескураженный Варсонофий. — Вернись.
Ему ответили смехом.
Потревоженный разговорами, во дворе густо гавкнул тебеньковский пес, затем залаяли собаки на нижнем конце улицы. Через минуту лай доносился со всех сторон и так же неожиданно стих, как и начался.
Старики, собравшиеся у Архипа Мартыновича, еще сидели в горнице, поклевывая носами. Кауров сбросил китель, остался в брюках да в нижней рубахе. Почесывая волосатую грудь, он без любопытства, со скучающим выражением глядел на казаков.
— Немец — это, конечно, чепуха. Вот голытьбу следует вогнать в рамки, верно, — без обиняков говорил Архип Мартынович. — Нам, справным казакам, такое дело следует поддержать. Законную власть, значит. — Он глянул на вошедшего в комнату Варсонофия, молодцевато выпрямился: — Сына вот посылаю и сам иду, не хоронюсь! Поутру, казаки, с богом в дорогу, — и поднялся, давая знак расходиться.
3
Утром Варсонофий проснулся от легкого прикосновения чьей-то руки. Его осторожно гладили по голове, как гладят ребенка. Ощущение было волнующе знакомо: еще до того, как открыть глаза, он узнал мать.

Она сидела рядом на табурете и, наклонясь близко к нему, глядела на него тревожным взглядом. Свет из открытой двери падал на ее лицо.
— Ты чего, мать? Будто на войну провожаешь, — сказал он, заметив слезинку на ее щеке.
Она торопливо вытерла глаза кончиком платка, вздохнула.
— Сердце болит, не знаю чего. Тревожно. Ты бы поостерегся, сынок. Не лезь зря куда попало. Слышишь?
— Э, пустое! Страхи, мать, на себя нагоняешь, — беззаботно сказал он, потягиваясь в постели и с удовольствием ощущая свое сильное, здоровое и хорошо отдохнувшее тело. — Батя встал?
— На дворе коней ладит.
— Ну и мне вставать!
Она посмотрела на него еще раз и отошла. «Разве казаков удержишь?»
Варсонофий проводил мать взглядом. В том, как она шла, сгорбив плечи, как обернулась в дверях, большой черной тенью загородив свет, было столько скорбного, что даже у него шевельнулась вдруг мысль: «А не война ли это в самом деле? Черт его знает, как там в городе все обернется!»
Уже взявшись за край одеяла, он медлил, уступая желанию еще понежиться в теплой домашней постели. И столько воспоминаний, связанных с родным домом, запах которого он ощущал, сразу нахлынуло на него, что он даже не услышал, как со двора в горницу вошел отец.
— Варсонофий! — повелительно крикнул Архип Мартынович, пройдясь по скрипевшим половицам.
Варсонофий, будто ему не хватало этого окрика, как понукания лошади, боящейся прыгнуть с берега в холодный бурный поток, разом отбросил одеяло.
Завтракал он молча, слущая, как отец давал матери подробные наставления по хозяйству. Не знал Варсонофий, что больше не придется ему наслаждаться безмятежным покоем в родном доме, что жизнь закрутит, завертит его, как щепку, и выбросит в конце концов на чужой берег.
Прицепив наконец шашку, Архип Мартынович перекрестился на образа.
— Посидим по нашему казацкому обычаю, — предложил он.
В молчании протекла минута.
— Ну, Егоровна, жди! В скорости буду обратно. Товару привезу, должно быть, — бодро сказал Архип Мартынович.
Он не без расчета гнал в город две пароконные упряжки. Его не обескуражило и то, что в экспедицию в Чернинской собралось всего с десяток верховых да несколько подвод. Многие казаки, на которых они рассчитывали, за ночь, видно, передумали и не явились. Двое прислали сказать, что больны — маются животами.
— Лиха беда — начало, — утешающе заметил Архип Мартынович, когда Кауров хмуро пересчитал горстку людей, собравшихся во дворе станичного правления.
Солнце уже поднялось, и ждать дольше не имело смысла.
В других поселках было еще хуже: присоединялось по три-пять человек. Только в Казакевичево в отряде с грехом пополам набралась полусотня.
Кауров разбил отряд на два взвода, назначив взводными офицерами Варсонофия Тебенькова и казакевичевского атамана. Архипа Мартыновича он считал при себе начальником штаба.
Посовещавшись вчетвером, они решили пройти остальной путь в два перехода. Большой привал намечался в поселке Корсакове. Кауров послал туда нарочного с предписанием атаману собрать местных казаков к указанному часу. Туда же навстречу отряду должны были двинуться конники из более близкого к городу поселка Хоперского. Далее отряду предстояло действовать в зависимости от указаний полковника Мавлютина, который вышлет навстречу связных.
Кауров не сомневался, что дела в городе идут по заранее разработанному плану. План предусматривал, что в наступающий вечер командование округа в одном из залов города соберет якобы в целях переучета и подготовки к демобилизации весь офицерский состав. Участники заговора явятся с личным оружием, с гранатами в карманах шинелей. К этому времени со складов Интендантского управления доставят винтовки, пулеметы и патроны к

ним. Вооружившись, офицеры двинутся к Хабаровскому Совету и городскому Бюро большевиков; другие — в казармы, чтобы там профильтровать солдат и не допустить выступлений в поддержку Совета; третьи будут производить аресты по квартирам. Предполагалось в первый же час занять главные стратегические пункты — вокзал, банки, казначейство, почту и телеграф. Воинские части намечалось двинуть против рабочих отрядов Красной гвардии с целью их разоружения. К сопротивляющимся беспощадно применять оружие. На казаков Каурова возлагалось патрулирование города и оказание помощи в подавлении очагов сопротивления.
В общих чертах сотник познакомил с боевой задачей и своих помощников. Он особенно напирал на то, что нужно действовать решительно и смело. Тогда успех обеспечен.
— Дай бог! Дай бог, — сказал казакевичевский атаман и беспечно подмигнул Тебенькову.
— Заработаем, гляди, еще по кресту, Архип Мартынович. Старый-то конь борозды не портит.
— Бог-то бог, да и сам не будь плох. Надо нам угадать в самую тютельку. Вот задача, — ответил более осмотрительный и хитрый чернинский атаман. — Придем рано, нам же по шапке... Да и запаздывать не годится. Сообразить все следует, чтобы потом локти себе не грызть.
Они как следует закусили, выпили разведенного спирта, предложенного гостеприимным хозяином. Из Казакевичева выехали после полудня в самом отличном настроении.
Но уже в воздухе повеяло чем-то новым. Бывает, что, несмотря на чистое, безоблачное небо, ясно ощущаешь предстоящую перемену погоды. Именно такое ощущение возникло у Варсонофия Тебенькова, когда позади скрылись строения Казакевичева и отряд растянулся по извилистой лесной дороге.
Он не сразу понял, что именно пробудило у него тревогу. Наконец догадался: казаки перестали петь и смеяться. По мере приближения к городу трудности затеянного предприятия все больше вставали перед глазами. Двигаясь по дороге, казаки негромко переговаривались, но сразу замолкали, как только кто-нибудь из офицеров появлялся вблизи. А затем прекратились и эти разговоры.
В угрюмом молчании взводы двигались по верхней лесной дороге. Дорогу эту выбрали для того, чтобы передвижение отряда было скрытым.
Вспугнутая стая ворон кружилась над ними. Варсонофий посматривал на крикливых птиц и еле удерживал себя от желания пустить в стаю пулю из карабина. Затем его внимание привлекли следы на снегу. Через дорогу тянулся глубокий след, оставленный острыми копытцами кабарги. Видно, кабарожья стайка прошла тут не далее часа тому назад. «Вот бы подстрелить», — с азартом охотника подумал Варсонофий.
Обернувшись, чтобы посмотреть, не растянулся ли излишне взвод, Варсонофий заметил за кустарником несколько желтоверхих казачьих папах. «Ишь, ровно подсолнухи в цвету», — подумал он, не сразу сообразив, что казаки-то едут в направлении, противоположном движению отряда, показали затылки. Он поскакал назад, чтобы разобраться, что там происходит.
Группа казаков в самом деле повернула обратно.
— Куда? Что за самовольство? — Варсонофий, обскакав едущих шагом казаков, поставил своего коня поперек дороги.
— Куда? Домой. Не подходит нам эта музыка, — усмехаясь, сказал передний казак, однако натянул повод и остановился.
— Приказываю вернуться в строй! — строго распорядился Тебеньков. — Вы присягу давали, господа казаки.
— Кому? Царю Николаю? — сощурившись, спросил чернявый казак с сабельным шрамом через всю щеку. — Эй, ваше благородие, освободи дорогу.
Он махом пустил своего рослого серого коня, и тот грудью сшиб с дороги поджарого офицерского гнедого.
Вся группа двинулась дальше, увлекая за собой растерявшегося взводного.
— Казаки, подумайте о чести! Вас обманули, казаки, — взывал он.
В отчаянной решимости Варсонофий еще раз выскочил на дорогу.
— Стойте! — Он угрожающе схватился за кобуру нагана.

— Ну, хватит баловаться! — Чернявый батареец сильной рукой сдернул Варсонофия с седла и отобрал у него револьвер. — Пройдешься, ваше благородие, пешком с полверсты, возьмешь коня и эту игрушку. Счастливо оставаться!
Казаки, смеясь и оглядываясь на него, ускакали по дороге, уводя на поводу и лошадь Варсонофия.
Он в бессильной ярости погрозил им вслед кулаком.
Когда последний всадник скрылся за поворотом дороги, Варсонофий, весь красный от стыда и унижения, сутулясь, побрел в том же направлении.
Конь, привязанный к дубку, покосился на него карим глазом и фыркнул. Варсонофий огрел коня плетью, будто тот был в чем-то виноват.
Отряд он догнал уже на привале, в Корсакове.
Кауров, похлестывая по голенищу плетью, бегал взад и вперед по той самой горнице в доме корсаковского атамана, где они с Варсонофием завтракали в первый день поездки.
— Нет, каков мерзавец, а? Прохвост! — гневно восклицал он, каждый раз останавливаясь перед хозяйкой, невозмутимо глядевшей на беснующегося сотника.
— Уехал вчера с сынишкой по дрова и не вернулся. Чего там стряслось, не знаю, — бесстрастно, как заученный урок, повторяла она.
Архип Мартынович озабоченно хмурил брови.
— Скверное дело, парень. Сбежал корсаковский атаман. Этот ведь, не узнавши броду, не сунется в воду. Чего-то они тут прослышали, видать, — шепнул он Варсонофию.
Неясные слухи о неблагоприятном повороте событий роде взбудоражили отряд. В поселке у каждого нашлись знакомые. Некоторые корсаковцы только что вернулись из города, рассказывали о Красной гвардии, о матросских отрядах. Слухи относительно вооружения военнопленных немцев решительно опровергались. Один из лагерей военнопленных был рядом — на Красной Речке.
Казаки ходили из дома в дом, делясь сомнениями и тревогой. Наконец большая часть отряда собралась на плацу и потребовала к себе командира.
— Выходит, насчет немцев вранье, а? — строго спросил подошедшего сотника один из стариков.
— Возможно, что они не решились. Но нам следует предотвратить... — Кауров явно был в затруднительном положении.
Кто-то из молодых крикнул:
— Послать в город делегацию, узнать, как и что! Слыхали небось, что рассказывают жители, которые оттуда вернулись?
— Разъехаться по домам — и все! В городе, надо думать, без нас управятся.
— Верно!
Архип Мартынович выскочил вперед:
— Станичники, разве можно казаку нарушить приказ? Приказано идти в город — надо идти.
— Ну и шел бы себе... пешком. Так ведь две подводы гонишь, трофейщик, — крикнули ему.
Тебенькова, однако, дружно поддержали остальные подводчики.
Охрипнув от споров, решили ночевать на месте, а дальнейшие действия отряда сообразовать с вестями из города. Кауров скрепя сердце согласился. Что ему оставалось делать? В душе он проклинал теперь и Мавлютина, отправившего его в эту малополезную поездку, и Тебенькова вкупе с остальными осторожничающими атаманами.
Утром Кауров едва насчитал десяток человек. Он мрачно поглядел на них и махнул рукой:
— Поезжайте, казаки, по домам. Спасибо за службу!
Поразмыслив, Тебеньков и Кауров решили все же пробираться в город. Архип Мартынович с присущей ему энергией руководил сборами.
— Одежду форменную поскидать. На воз навалим чурбаков, будто ездили по дрова, — распоряжался он, быстро пристроив у кого-то из знакомых лишнюю поклажу и лошадей. — Замах был рублевый, да удар получился хреновый. Обскакали, выходит, нас. Ну, ничего, бывает. Чего-нибудь придумаем еще. Вот Алексею Никитичу будет подарок — воз дров, — говорил он, бодро вышагивая за санями, куда была впряжена та самая пара лошадей, на которой Кауров и Варсонофий выехали со двора Левченко.

Ехали по-прежнему верхней дорогой. В тихом морозном воздухе далеко разносился скрип полозьев. Спутники, погруженные в свои думы, почти не разговаривали.
Архип Мартынович размышлял о том, как он поведет переговоры с Левченко о доставке грузов на прииск. Прикидывая в уме цены на овес и плату возчикам, он соображал, нельзя ли, ссылаясь на обстоятельства, кое-что выторговать в свою пользу. Мозг его постоянно был занят такого рода подсчетами, соображениями, выкладками.
Кауров с досадой думал о своей неудаче и жалел, что не напился до чертиков. А не сделал он этого лишь потому, что его сильно тревожила мысль о судьбе заговора. Что, собственно, там произошло? Отложили выступление? Или большевики добрались до Мавлютина?.. В таком случае и ему, Каурову, надо вовремя скрыться.
Что касается Варсонофия, то мысли его подолгу ни на чем не задерживались. Он глазел по сторонам, пытался воспроизвести понравившийся опереточный мотив; застывшие губы, однако, плохо повиновались ему.
— Чего свистишь? Перестань, — оборвал наконец его упражнения Архип Мартынович.
Справа тянулись поросшие лесом холмы, постепенно повышающиеся, — предгорья Хехцира. Ближние сопки были видны отчетливо, различался даже лес на гребнях, а дальние, более высокие горы заволокло дымкой, и только их контуры слабо прочерчивались на мглистом сером небе.
«Погода будет меняться», — подумал Варсонофий и снова засвистел, пытаясь поймать ускользающий от него мотив.
Дорога вползла на узкую улочку поселка Хоперский, растянувшегося вдоль реки. У ворот третьего от околицы дома стоял однорукий Коренев и с усмешкой глядел на заторопившихся вдруг Каурова и Тебенькова.
— Эй, много войска набрали, Аники-воины? Ха-ха-ха!
Коренев давно так от души не смеялся, как сейчас.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Два съезда готовились в эти дни в Хабаровске: третий краевой съезд Советов Дальнего Востока и съезд представителей земских и городских самоуправлений.
Съезд Советов готовился широко, публично; ему предшествовали многочисленные собрания рабочих и солдат, митинги, сходки в деревнях, пленарные заседания местных Советов — и все они в один голос требовали покончить наконец с буржуазной властью в крае, осуществить на Дальнем Востоке декреты ленинского рабоче-крестьянского правительства, беспощадной рукой подавить контрреволюционеров, всюду поднимающих голову.
Съезд земских и городских деятелей собирался келейно и спешно. Устроители его не хотели даже дождаться приезда делегаций Владивостока, Благовещенска, Николаевска-на-Амуре — важнейших городов края.
В центре внимания обоих съездов стоял вопрос о власти. И если Советы, опираясь на мощную поддержку народных масс, выражая их волю, открыто и уверенно шли к решению судеб края, то организаторы земско-городской авантюры все расчеты строили на том, чтобы поставить население Дальнего Востока перед совершившимся фактом.
Потапов приходил в Совет рано, до того, как нахлынут посетители. Можно было спокойно разобраться в делах и наметить план действий на день. Михаил Юрьевич очень дорожил этими минутами. К тому же утром особенно ясна голова и свежи мысли.
Михаила Юрьевича уже поджидал его секретарь — Алеша Дронов, молодой парень из выпускников железнодорожного училища. Солдатская гимнастерка, туго перехваченная ремнем, синие брюки-галифе, начищенные сапоги — все ловко сидело на нем. Над высоким лбом вилась копна непокорных светлых волос.
Алеша приносил накопившиеся бумаги и пачку утренних газет. Пока Потапов знакомился с почтой, Алеша присаживался возле стола, клал рядом блокнот, карандаш и серыми внимательными глазами следил за выражением лица Михаила Юрьевича, стараясь угадать его отношение к тому или иному делу. Михаил Юрьевич часто советовался с ним, прежде чем что-то решить. Дронов дельно и немногословно излагал свою точку зрения. Для него Потапов был образцом революционера, который не знает сомнений и с первого взгляда

может разобраться в самых каверзных и запутанных вопросах. Алеша втайне завидовал Потапову и не подозревал даже, как нелегко приходится тому.
Сложной и трудной была жизнь Потапова в эти дни. Оказавшись в центре событий, до глубины всколыхнувших народные массы, он и его товарищи должны были незамедлительно давать ответ на те разнообразные вопросы, с которыми шли в Совет десятки и сотни людей. Все почему-то считали Михаила Юрьевича человеком знающим, опытным. А он сам впервые брался за такого рода дела и многого не знал, не представлял себе достаточно ясно, как развернутся события, скажем, через месяц-другой. Это «незнание» не освобождало его от обязанности искать в каждом случае такое решение, которое было бы связано с будущим, с перспективой движения вперед. Может, в том и состояла самая трудная часть его работы.
Каждый день приносил неожиданности: обнаруживалось вдруг, что в городе иссякают и без того скудные запасы муки, не было топлива, скарлатина косила детишек. Продовольственная управа, обязанная заботиться о снабжении города продуктами, палец о палец не ударила, чтобы доставить в Хабаровск уже погруженный в вагоны хлеб из Амурской области. Из-за холода в больницу нельзя было класть заболевших детей, а в городской думе беспомощно разводили руками. Кажется, чиновники всех учреждений действовали по принципу: «чем хуже, тем лучше». В этом их поддерживал комиссар Временного правительства Русанов.
Потапову приходилось вести нудные и утомительные переговоры с саботирующими чиновниками, уговаривать, требовать, угрожать. Затем надо было поспеть на собрание грузчиков, которые по своей инициативе уезжали в ближнюю к городу хехцирскую лесную дачу для заготовки дров. Оттуда ехать к железнодорожникам и договариваться о вагонах. Потом на солдатском митинге ожесточенно спорить с эсерами и меньшевиками по вопросам войны и мира. К нему приходили с жалобами на самоуправство администрации, рассказывали о том, как хозяева прячут товары, затягивают выплату заработной платы и ставят рабочих прямо-таки в безвыходное положение. Молодые учительницы из Имано-Хабаровского союза народных учителей, забежав в Совет, рассказывали об успехах революционной агитации на селе, восторгались молодежью и жаловались на стариков. Требовали литературы, новых пьес для драмкружков, новых песен. А на смену этим милым, застенчиво краснеющим девушкам с пылающими глазами и неукротимой энергией, глядишь, появится какой-нибудь заскорузлый сухарь из городской гимназии и начнет протестовать против вовлечения малолетних в политику. Да еще от имени своих коллег нагло грозит забастовкой.
В этих вот разговорах, в жалобах, в злых или одобрительных репликах на митингах, в вопросах, которые задавались с галерки в полутемных залах во время собраний, в горячих, взволнованных речах простых людей и их бесхитростных рассказах Потапов чувствовал биение настоящей жизни, видел тот компас, посредством которого можно было проверить правильность взятого курса. И так ли уж важно в конце концов, кто первым додумался до того или иного решения? Революция — есть творчество самих народных масс.
Михаил Юрьевич перевернул желтоватую газетную страницу. В центре полосы броским заголовком выделялась статья Судакова.
— Ага! Так, так, — заинтересованно сказал Потапов и забегал глазами по строчкам. — «Большевики требуют передачи власти на Дальнем Востоке в руки Советов. Но могут ли они удержать власть? Можно ли справиться с разрухой путем новых разрушений?» — К удивлению Алеши, Михаил Юрьевич дочитал статью до конца. — «Рушится последний оплот российской государственности. Неминуема полная катастрофа. Впереди мрак!»
— Со слезой пишут, а? Плачут по отходящему старому миру. — Потапов отбросил газету.
— Я не читаю таких статей и не буду читать, — сказал Алеша с чисто мальчишеским упрямством.
— А между тем это может быть даже полезным, — возразил Потапов.
Он посмотрел затем меньшевистский «Призыв» и эсеровскую «Волю народа». «Последний оплот государственности» фигурировал на всех страницах. Всюду те же мрачные предсказания.
Какая-то неясная, не оформившаяся еще мысль беспокоила Потапова. Он на минуту прикрыл глаза и погладил рукой висок. Алеша бросил на него быстрый, недоумевающий

взгляд и раскрыл папку с бумагами. Михаил Юрьевич жестом показал, чтобы он не спешил. «Что же из этого следует?» — думал он, имея в виду однообразие тона и мотивировок в сегодняшних газетах; обычно они лаяли на Советскую власть каждая на свой лад.
— Вот, Алеша, сговорились они между собой! Юнкера, меньшевики, эсеры. Весь синклит. Теперь попробуют нас за горло взять. А вот когда?.. Когда?..
Алеша хотя и не знал длинной цепи рассуждений Потапова, однако сообразил, что тот имел в виду. За эту быстроту соображения Потапов и ценил Дронова, поручая ему трудные и запутанные дела.
— Так можно узнать, Михаил Юрьевич. Непременно надо, — с готовностью откликнулся Алеша, для которого не существовало принципиальной разницы между понятиями «нужно» и «можно». — Сейчас я соображу, одну минутку, — продолжал он, смешно наморщив лоб и дергая себя левой рукой за мочку уха. — Завтра откроется съезд земств и городов. Там и отколют какой-нибудь номерок.
— Да, да. — Потапов подумал и согласился. — Относительно съезда земств проверь. Да надо выяснить: не затевается ли какой-нибудь сбор офицеров?
— Постойте, постойте, слышал я что-то, — сказал Алеша и начал быстро перелистывать свой блокнот. — Дано разрешение на проведение собрания по поводу предстоящей демобилизации.
— Это они нас демобилизовать хотят, — усмехнулся Михаил Юрьевич. Он быстро связал в одно и тон сегодняшних газет, и предстоящий съезд реакционно настроенных земских деятелей, и это так кстати подвернувшееся собрание офицеров гарнизона.
— Еще просили прислать представителя Бюро большевиков. Вас лично, если будете свободны, — продолжал Алеша.
— Вот как! — воскликнул Потапов. — Это очень важно, Алеша, что ты сообщил... Просят меня?.. А мы пошлем Савчука или Демьянова, — весело заключил он.

2

В то время как Алеша Дронов попытался связаться с Демьяновым, полковник Мавлютин направлялся в канцелярию Русанова.
Сделав нарочно небольшой крюк, он прошел мимо здания Совета, внимательным взглядом окинул подступы к нему, окна, подъезд. Ворота во двор были раскрыты настежь, и там стояла, понурив голову, запряженная в сани исполкомовская коняга. Никаких признаков тревоги он не заметил.
Мавлютин прежде не раз бывал у наместника царя на Дальнем Востоке и теперь с любопытством осмотрел кабинет Русанова, стараясь подметить происшедшие тут изменения.
Над столом, где прежде красовался портрет царствующего Романова, теперь помещалось более скромное изображение А. Ф. Керенского с выпяченной вперед грудью, узкими плечиками, в чужом, английском френче. Напряженное выражение глаз и поджатые тонкие губы придавали Керенскому вид человека, всерьез и навсегда обидевшегося. Подмену портретов легко заметить по видневшимся за рамкой темным полосам, которые выделялись на выцветшей стене.
В простенках между окнами нетронутыми висели портреты приамурских генерал-губернаторов. Галерею открывал сухощавый и энергичный граф Н. Н. Муравьев-Амурский. Русанов любил смотреть на портреты бывших правителей. Ему нравилась величавая осанка, приданная этим сановникам художниками, и он старался подражать ей. Себя Русанов считал их законным наследником и уже заказал модному живописцу свой портрет. Первый простенок справа оставался незанятым.
Комиссар Временного правительства по делам Дальнего Востока восседал в удобном кресле за широким полированным столом. Перед ним массивный письменный прибор, альбомы с видами края. По гладкой зеркальной поверхности стола, будто в свежий ветер по морю, неслась, надув паруса, легкая резная шхуна с полной оснасткой — прекрасный образец работы искусных косторезов Чукотки.
Двойные окна с приспущенными шторами не пропускали в кабинет уличного шума. Здесь можно было почувствовать себя хоть на миг полновластным правителем края, не зависящим от кипения народных страстей и партийных разногласий.

Хорошо вышколенный адъютант неслышно входил и выходил, мягко ступая по ворсистому ковру.
Мавлютин, правильно уловив дух кабинета и не считаясь с революционными установлениями, почтительно титуловал Русанова «вашим превосходительством».
— Ах, полковник, к чему это теперь! — расслабленным, уставшим голосом сказал правитель и погладил темно-русую бороду. — Так вы утверждаете, что готовы? — продолжал он, переходя к делу и придавая своему лицу приличествующее случаю выражение. — Рад слышать. Однако... Кхм!
— Разрешите доложить, ваше превосходительство! — Мавлютин поднялся, строгий и официальный.
— Садитесь, садитесь, — замахал на него руками Русанов. — Вы в общих чертах, полковник... Имеется риск, как вы думаете?
Мавлютин, все так же стоя, сжато охарактеризовал расстановку сил в городе, как она ему представлялась.
— Я власти, врученной мне законным образом, большевистским совдепам не отдам, — заявил Русанов и даже несколько приосанился.
— Браво, ваше превосходительство! Браво, — Мавлютин беззвучно хлопнул в ладоши, — Итак, выступим сегодня в ночь.
Русанов молча наклонил голову.
— Сегодня, полковник, сегодня, — сказал он самоотречение. — Вы правы: время не терпит. Не будем дожидаться всех приглашенных делегатов. Вечером я официально передам съезду земских и городских самоуправлений всю полноту власти в крае. И с богом, полковник. — Переложив бороду на стол, Русанов решительно махнул рукой. — Остальное вы уж с командующим военным округом...
— Я действую от имени и по поручению генерала Хокандакова, — сухо заметил Мавлютин и оглянулся на кресло позади себя.
— Да вы садитесь. Садитесь. Курить желаете? — и Русанов достал из ящика коробку папирос.
На некоторое время воцарилось молчание.
Мавлютин чиркнул спичкой, затянулся, выпустил тонкую, как змеиное жало, струйку дыма. Он понимал щекотливость положения Русанова и отдавал должное его умению сохранять респектабельность.
Русанов же думал о том, что он сейчас, собственно, предопределил свою судьбу как правителя края. Представлять дальше низвергнутое народом Временное правительство было бессмысленно и глупо. Требовалась более подходящая власть. В обход требований народных масс такой властью намеревались сделать Бюро земств и городов Дальнего Востока, которое предстояло формально утвердить на съезде (если можно назвать съездом восемь-десять реакционеров, представляющих буржуазные по составу городские думы, да земских служащих — эсеров). Это бюро, поддержанное офицерами, должно было распустить Красную гвардию, разгромить большевистские организации и не допустить перехода власти в руки Советов. Было заготовлено и отправлено в типографию и редакции газет соответствующее воззвание от имени съезда к населению Дальнего Востока. Русанов немало потрудился над тем, чтобы подготовить переворот. И все-таки было жаль, что все кончится таким образом.
Итак, обратно к русской словесности! В памяти всплыли строчки из «Бориса Годунова»:

> Нет, милости не чувствует народ:
> Твори добро — не скажет он спасибо,
> ………………………………………….
> Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

— Объективно для вас, ваше превосходительство, создалось исключительно трудное положение, — сочувственно сказал Мавлютин, догадываясь о направлении мыслей Русанова. — Вы не только подвергаетесь яростным нападкам слева — со стороны

большевистских совдепов. Вас также критикуют справа. Это гениальная мысль: отойти и предоставить силам, кои вы сейчас по долгу службы обязаны сдерживать, сразиться в единоборстве. Мы достаточно подготовлены, смею вас уверить. Собственно, России нужна диктатура, — доверительно сказал полковник, наклоняясь через стол к Русанову и пристально следя за выражением его лица. — С Александром Федоровичем, ваше превосходительство, история сыграла злую шутку.
— Гм!.. Да. — Русанов замялся. — Временное правительство, однако, признается союзными державами в качестве единственного законного правительства России, — продолжал он затем. — Функция внешнего представительства с него не снята и не может быть утрачена. Вы знаете, когда я вступил на палубу крейсера «Бруклин», адмирал Найт... — И, отвлекшись несколько от забот дня, Русанов принялся рассказывать о том, с какой подчеркнутой любезностью встретил его американский адмирал, как гремели над бухтой Золотой Рог залпы приветственного салюта и какой великолепный ответный банкет он, Русанов, дал во Владивостоке в честь прибытия командующего Тихоокеанской эскадрой США. — У американцев колоссальная заинтересованность в делах Дальнего Востока. Мы здесь в большой степени зависим от их благорасположения. Я разрешил открыть отделение Американского Красного Креста. Вместе с адмиралом Найтом мы учредили во Владивостоке Русско-Американский комитет.
— С довольно узкими полномочиями, насколько я понимаю? — спросил Мавлютин, заинтересовавшись рассказом.
— Напротив. С почти неограниченными возможностями, — возразил Русанов. — Американцы просили пошире открыть для них двери, и я не вижу причин, почему бы нам не сделать это. Мы приняли железнодорожную миссию Стивенса, получили заем... Я действовал строго в рамках общей политики Временного правительства. Надеюсь, мои преемники сумеют извлечь выгоду из начатого дела. Видит бог, не о собственной карьере пекусь... — вздохнул он и умолк.
Мысль о преемниках была неприятна ему. Воспоминание о встрече с адмиралом Найтом, которую Русанов считал до некоторой степени венцом своей карьеры, лишь сильнее расстроило его. В те дни его имя впервые проникло в мировую печать.
— История надлежащим образом оценит мудрость вашего превосходительства.
Мавлютин поднялся и выразительно посмотрел в пустой простенок.
Правитель края устало прикрыл глаза.
— Да поможет, вам бог, полковник, — разбитым, упавшим голосом сказал он.
Щелкнули каблуки.
Русанов, откинувшись на спинку высокого губернаторского кресла, грустно глядел на стену перед собой...
На съезд земских и городских деятелей Русанов явился застегнутым на все пуговицы парадного сюртука, с торжественным и мрачным выражением лица, будто пришел на похороны близкого родственника.
Невольно замедляя шаг, как если бы он поднимался на эшафот, правитель края прошествовал наверх по гулкой, плохо освещенной лестнице, крепко прижимая локтем портфель с бумагами.
В зале с великолепными окнами было пусто и тихо.
Русанов направился в буфет, где в данный момент сосредоточивались все наличные земские и городские силы. Собралось не более десяти человек.
Толковали о событиях в Иркутске и Харбине.
— Миндальничаем мы, господа. Вот вам и корень зла, — говорил Бурмин, поправляя перед зеркалом крахмальный воротничок. — В Америке, батенька, — там порядок. Судебная система без проволочек... Электрический стул.
— Что же вы прикажете, выписать это кресло, а? — не без вызова спросил худощавый земец в очках.
— Гм!.. Можно обойтись и домашними средствами: веревкой и нагайкой, — с нехорошей усмешкой сказал Бурмин и в это время уколол себе палец булавкой. — О черт! Господа, нет ли здесь йоду?
— Наш долг, господа, надлежащим образом направить события, — громко произнес Судаков, сидевший за столиком с бутылкой лимонада. — Именно мы, трудовая

интеллигенция, призваны сыграть в великой русской революции роль организующего государственного здорового ядра. Молодая, неокрепшая демократия России...
Русанов не стал слушать дальше и вслед за хабаровским городским головой, игравшим роль хозяина, вышел в смежную комнату.
— Что же мы тянем? — сказал он осипшим голосом.
— Еще минуту. Одну минуту, — городской голова поманил кого-то к себе пальцем. — Как прокламация, готова?
— Только что доставлена-с. Сию минуту, — сказал появившийся из-за дверей человек с начинающейся лысиной.
Вслед за ним вошел Сташевский с мокрыми еще оттисками. В комнате запахло типографской краской.
Земско-городские деятели гурьбой повалили сюда из буфета, заглядывали в текст воззвания.
— Вот теперь можно начинать, — сказал городской голова. — Господа, проходите в мой кабинет.
— Да уж не люстру зажигать в большом зале, — хихикнул Чукин и весело взмахнул над головой листом с воззванием. — Солнце на лето — зима на мороз. Вот он, наш зимний солнцеворот, господа!
Последним вошел и сел на свободное место у дверей высокий и плотный человек в косоворотке с коротко подстриженными усами, чем-то похожий на мастерового. Он огляделся, попросил у сидящих впереди текст воззвания и углубился в чтение. Брови у него сдвинулись.
Городской голова начал вступительную речь.
— Э-э, господа. Э-э-э... — бесконечно тянул он и трогал при этом себя за кадык, будто хотел пальцами протолкнуть застрявшее слово. — Полагаю, э-э... что данное собрание правомочно... сконструировать орган, способный... э-э-э... осуществить, направлять, содействовать...
В обычной речи он произносил слова без запинки. Русанов с удивлением поглядел на него, затем уставился на маленькую кучку людей перед собой. Бурмин слушал, чуть склонив набок голову. Чукин подался вперед и весело потирал руки. Судаков дожевывал бутерброд. Человек в косоворотке внимательно слушал, положив лист с воззванием себе на колени. Судя по всему, неприятностей не предвиделось. Русанов мысленно еще раз прорепетировал свою речь. Занятый ею, он уже не мог следить за тем, как городской голова продирался дальше сквозь частокол междометий.
— Значит, нет возражений? — уже четко и ясно закончил тот.
— Есть возражение у меня, — сказал человек в косоворотке.
Все головы сразу повернулись к нему. Русанов увидел несколько плешивых затылков и жирные складки на толстых шеях.
— Э-э-э... Возражение процедурного характера? — с нескрываемой надеждой спросил председатель.
— Нет, возражение по существу дела, — громко сказал, как отрубил, человек в косоворотке. — Я не считаю данное собрание правомочным что-либо решать или конструировать. Тем более решать вопрос о власти. Почему? На каком основании? Кого вы здесь представляете, господа? — Голос его гремел под высокими сводами комнаты. — Единственный правомочный орган — предстоящий краевой съезд Советов! Вы что же, народа боитесь?.. Знать, черны ваши замыслы. — Он взмахнул перед лицом Чукина зажатым в кулаке воззванием.
Матвей Гаврилович боком-боком поспешно отодвинулся от него.
— Большевик! — взвизгнул он, очутившись на сравнительно безопасном расстоянии.
— Да, большевик, — спокойно подтвердил человек в косоворотке. — И пятнать себя сговором с реакционерами не стану. Пусть этим меньшевики занимаются.
— Господа, что такое, я вас спрашиваю? Кто пригласил? — сказал свистящим шепотом Русанов, поглядев на председательствующего.
Тот только беспомощно развел руками.
— Никольск-Уссурийская дума прислала. Вот, пожалуйста!.. Послушайте, я вам э-э... слова не давал! — закричал он затем.

— Лишить его сло-ова! — гаркнул Бурмин и затопал ногами.
— Как бы не так! — не напрягая особенно голоса, сказал человек в косоворотке. — Знайте: народ признает только Советскую власть. Другой власти в России быть не может. А то, что вы тут затеяли, — это разжигание гражданской войны. Братоубийство!.. Я заявляю категорический протест и ухожу!
— Ну и скатертью дорога! — крикнул Чукин, когда за ним закрылась дверь.
Инцидент произвел на присутствующих гнетущее впечатление. Особенно на Русанова.
— «Сейчас, когда в стране... полное отсутствие власти, Учредительное собрание соберется неизвестно когда... Острота международных отношений...» — читал он без всякого подъема и воодушевления заранее заготовленную речь.
Земско-городские деятели тупо глазели на трибуну. Русанов, блуждая рассеянным взглядом по их встревоженным лицам, монотонно жаловался:
— При создавшихся условиях мое положение крайне тяжелое. Я, господа, больше не могу оставаться на вверенном мне посту, — выговорил он и, будто перешагнув через препятствие, неожиданно бодро закончил, сорвав столь же неожиданные редкие хлопки: — Как последний представитель Временного правительства на территории России, слагаю свои полномочия и передаю власть данному собранию.
Он выпростал бороду из-за трибуны и бережно понес ее поближе к выходу.
— Господа, а этот большевик не приведет сюда матросов и красноармейцев? — спросил кто-то из собравшихся, высказав общую тревогу.
Решили прений не открывать, а сразу приступить к выборам временного бюро, которому и вручить исполнительную власть. Договорились о созыве в январе — феврале более широкого съезда земских и городских деятелей в Благовещенске. Избранное бюро в случае осложнений должно было перебраться туда под надежную защиту казачьего атамана Гамова.
Русанов, не интересуясь последующим, незаметно ускользнул.
Из-за домов поднималась смеющаяся луна. В се бледном неверном свете видны были спешившие по всем направлениям группы вооруженных людей.
По всему городу заливались тревожным лаем собаки.
«Ну молодец полковник! Молодец», — подумал Русанов и бодро зашагал к дому.
3
А полковник Мавлютин. бледный, с дрожащей отвисшей челюстью, медленно поднимал обе руки вверх, с ужасом глядя на тупое рыло пулемета «максим», выставившееся из-за разбитой стеклянной двери на балкон. За клубами морозного пара — фигуры вооруженных людей. Донесся властный приказ Савчука:
— Ни с места, господа офицеры! Руки вверх!
Вслед за Мавлютиным подняли руки и те полтораста человек, что сошлись сегодня в гарнизонное собрание. В зале после беспорядочного шума, когда все сразу вскочили, хватаясь за оружие, наступила мертвая тишина.
Рядом с Мавлютиным распростерся поперек стола длинный худой юнкер, успевший выхватить из кармана гранату, но тут же опрокинутый короткой очередью в упор. Тело его еще вздрагивало и билось. Зажатая в костенеющих пальцах граната, леденя Мавлютину кровь, стучала о край стола.
Где-то внизу сорвался одинокий выстрел. Захлопали двери. Множество ног затопало по лестнице. Должно быть, обезоружив караул, красногвардейцы бежали наверх.
Дверь в зал с треском распахнулась.
По широкому проходу легко и твердо шагал арсенальский кузнец Демьянов. Был он в кожаной куртке, в заломленной чуть набок солдатской шапке, с маузером в деревянном футляре у пояса. За ним шел Логунов в бескозырке с развевающимися сзади ленточками, с наганом в руке. «Ну, смотрите вы у меня! Тихо!» — предупреждал его взгляд. Позади человек двадцать красногвардейцев, солдат и матросов с примкнутыми к винтовкам штыками, с недобрым огнем в глазах.
Демьянов вскочил на подмостки сцены.
— Именем революции, собрание закрывается, — сказал он. — Предлагаю сдать оружие!
Эти простые понятные слова сбросили оцепенение, охватившее зал. Несколько человек переглянулось, измеряя расстояние между собой и пулеметчиками на балконе.

— Тихо! Тихо! — крикнул Логунов, внимательно наблюдавший за офицерами.
Красногвардейцы и матросы направили винтовки в зал. У всех выходов стояли вооруженные бойцы.
Теперь всякое сопротивление становилось бессмысленным.
Демьянов, отодвинув Мавлютина, деловито распоряжался:
— Граждане, подходи по одному! Клади оружие! Приготовить документы!
Обезоруженных офицеров отводил в сторону. Одни стояли, понурив головы, другие злобно посматривали на красногвардейцев.
Мавлютина мутило от острого запаха крови, шедшего от стола. Руки у него дрожали, и не было сил держать их над головой.
— Да вы опустите руки, — сказал Демьянов, обратив наконец внимание на его состояние.
Савчук разжал пальцы убитого и вынул из них гранату.
— Еще момент — и он бы шарахнул. Наделал бы делов. Шустрый! — оживленно заговорил подошедший вслед за Савчуком молодой красногвардеец.
Личный обыск задержанных подходил к концу. Отобранное оружие — большей частью браунинги или офицерские наганы, гранаты-лимонки — кучкой лежало возле рампы.
Убитого юнкера унесли; стол застелили новой скатертью.
Красногвардейцы, стуча молотками, заколачивали фанерой разбитую дверь.
Офицеры поеживались — и от холода и от неопределенности своего положения. Некоторые сидели, подперев головы руками, крепко задумавшись.
— Господин комиссар, куда же нас теперь — в тюрьму? — спросил Демьянова пожилой капитан, видно примирившийся уже с неизбежностью.
— Почему в тюрьму? Господа, я протестую! — истерично закричал молодой подпоручик.
Демьянов с усмешкой посмотрел на него. Он знал, как эти люди отнеслись бы к нему и его товарищам, если бы они поменялись ролями.
— А почему бы вам и не пойти в тюрьму? — спросил он, щуря глаза. — Что вы за цацы такие?
В ответ долгое, угрюмое молчание.
— Ваше счастье, что это не прежняя власть, — продолжал Демьянов. — Советская власть не мстит людям за прошлое. Совет рабочих и солдатских депутатов предупреждает, однако, что впредь будет строго взыскивать за подстрекательство к мятежу. Без ведома Совета ни одна воинская часть не может быть выведена на улицу. Прошу запомнить и потом не пенять. А сейчас каждый из вас даст подписку, что это ему объявлено, — и можно по домам. Извините, так сказать, за беспокойство.
Когда Демьянов и Логунов вывели Мавлютина на Муравьев-Амурскую, по улице с песней шли моряки. Куда-то скакали конники. У ворот домов стояли кучками люди.
Город не спал.
Хабаровский Совет в эту ночь был похож на прифронтовой штаб. У здания — вооруженные солдаты, красногвардейцы, матросы. Звонки телефонов. Несмолкающий гул голосов.
Раскрытые настежь двери. Табачный дым.
С первого взгляда казалось, что здесь просто скопище случайно собравшихся людей.
Мавлютин даже усмехнулся: «Митинг...» Но, присмотревшись, к удивлению своему обнаружил, что вся эта кажущаяся толчея имеет характер определенно выраженного, целесообразного движения. Центром была небольшая группа людей, собравшихся возле стола.
С краю у телефона сидел Потапов.
— Ну как, Демьян Иванович? Справились? — спросил он у Демьянова, когда тот, оставив Мавлютина под охраной парнишки-красногвардейца, подошел к ним.
— Полный порядок! Вот трофей привез, — и он показал на Мавлютина.
— А! Это он организатором у них? — Потапов глянул на смотревшего зверем полковника и тут же обратился к Логунову: — Федор Петрович, бери матросов и ступай на телеграф.
Поставь охрану. Вызови своих телеграфистов, если нужно. За комиссара там пока учительница одна, поможешь. Ясно?
— Есть отправиться на телеграф! — Логунов побежал к выходу.
— А ты, Демьян Иванович, марш-марш в типографию. Видал эту штуку? — Потапов показал пробный оттиск заготовленного земцами контрреволюционного воззвания. —

Исполком решил не допускать распространения этого документа. Отпечатанные экземпляры воззвания конфисковать, набор рассыпать. Да предупреди редактора «Приамурской жизни», чтобы воззвание не печатал.
— За ним постоянный глаз нужен, — сказал Демьянов. — Печатают черт знает что...
— Вот это правильно, — согласился Потапов. Он поискал глазами и подозвал невысокого рябого солдата:
— Будешь цензором в типографии. Гляди в оба.
Солдат схватился за голову:
— Михаил Юрьевич, уволь! Понятия не имею об этой работе.
— Постой! Ведь я тебе, помню, рассказывал, как царская цензура вымарывала у нас из статей каждое слово, зовущее к свободе?
— Ну?
— А теперь следует делать все наоборот, — сказал Потапов, завершая этим короткий инструктаж.
— Тогда лучше такие газеты закрыть. У них все против Советской власти, — убежденно сказал солдат.
— Погоди, погоди! — Михаил Юрьевич поглядел на него, соображая, не выкинет ли он действительно какую-нибудь несуразность, — Ты не допускай призывов к вооруженной борьбе. А остальное, — он махнул рукой, — пусть печатают. Вообще, товарищ, рекомендую руководствоваться велением революционного долга. Как совесть подскажет.
И Потапов, чуть сутулясь, зашагал к дверям.
— Пойдемте со мной, полковник, — сказал он Мавлютину, проходя в другую комнату. Конвоир остался за дверью.
— Садитесь. Выходит, недооценили силы противника, полковник, а?
— Да, недооценили, — хмуро согласился Мавлютин. — Остолоп комендант не позаботился надлежащим образом проинструктировать караул.
— И вы серьезно думаете, что в этом причина вашей неудачи? — Потапов внимательно посмотрел на Мавлютина. — Да будь у вас самый распрекрасный комендант и самый бдительный караул, что изменилось бы?.. Вместо одного было бы десять убитых... Лишняя кровь. А результат в конечном счете один. Тут не столько вина ваша, полковник, сколько просчет всего вашего класса. Безнадежное дело нельзя успешно защищать.
— А! Вы уже философствуете? — кисло протянул Мавлютин.
— Да. У нас своя философия. Философия жизни. Мы вас одолели и в этой области, — сказал Потапов, изучающе глядя на сидевшего перед ним человека. — Во всех областях одолеем. Так что разумнее капитулировать.
— Агитируете?
Потапов отрицающе покачал головой.
— Нет. Я далек от того, чтобы вас агитировать. Политические убеждения — не перчатки, которые легко менять. Убеждают людей в конечном счете факты. Дайте нам время, и мы докажем неоспоримые преимущества нового, советского строя.
— Ну, знаете! — Мавлютин откинулся на спинку стула и хрипло рассмеялся. — По тем же самым соображениям в мире найдется достаточно людей, заинтересованных как раз в обратном:
— И вы один из них. Не так ли?
— Я этого не собираюсь отрицать.
— Что ж, по крайней мере откровенно. — Потапов опять посмотрел на Мавлютина. — Я хотел еще опросить, где вы прежде служили?
— Служил царю и отечеству верой-правдой и в меру способностей, — сказал Мавлютин с дерзким вызовом.
— А если поточнее?
— Для этого в соответствующем месте хранится послужной список. Там отмечены все передвижения по службе.
— Перестаньте крутить, — резко сказал Потапов. — Вы в корпусе жандармов служили?
— Никак нет, — голос Мавлютина дрогнул, что не укрылось от Потапова.
— Хорошо. Вашей биографией мы займемся позже. Сейчас нам нужны данные об организации, которую вы возглавляли.

— Помилуйте, какая организация?! Я вас не понимаю, — с деланным изумлением сказал Мавлютин.
Он лихорадочно пытался сообразить, что именно могло стать известным здесь, в Совете.
— От вашей искренности, полковник, зависит ваша собственная участь, — сказал Потапов и посмотрел на часы. — Во всяком случае, революция не станет руководствоваться мотивами мести. Но она не простит подлого удара из-за угла. Мы отпустили почти всех ваших людей. За исключением нескольких человек.
— Кого? — быстро спросил Мавлютин и сразу же по улыбке Потапова понял допущенный им промах.
— Вот вы и выдали себя, полковник! Если нет организации, то откуда у вас такая заинтересованность?
— У меня там были друзья, — пробормотал Мавлютин, чувствуя, что начинает увязать все больше и больше.
— О, разумеется! И кто-нибудь из них проговорится. Не так ли? — насмешливо заметил Потапов. — В конце концов мы тоже научились чему-то от вас.
Мавлютин промолчал. Ему не нравился этот допрос, и он не знал, чем все это может для него кончиться.
— Я вам больше ничего не скажу. Ничего! Я не обязан, — крикнул он сорвавшимся голосом и загородился рукой от света.
— Однако нервы у вас сдают, — усмехнулся Потапов. — Что ж, утешительного в сегодняшних событиях для вас нет. Сеяли ветер, пожнете бурю.
И он кликнул часового, намереваясь отправить с ним арестованного.
— Что вы намерены делать со мной? — глухим, хриплым голосом спросил Мавлютин, покосившись на парнишку-часового.
— Судить.
— То есть мне угрожает самосуд толпы?
— Революционный суд, который мы создаем.
— И тюрьма?
— Вас туда отведут, — коротко сказал Потапов.

4

В тюрьму Мавлютина вел тот же молоденький парнишка-красногвардеец, который стоял на часах у дверей. Разговора между арестованным и Потаповым он не слышал и относился к Мавлютину как к обычному задержанному, которых немало было в эту ночь. Он даже посочувствовал ему, когда они свернули на боковую улицу и навстречу потянул резкий леденящий ветер.
— Ну, дядя, продует нас! Беда.
Мавлютин молчал. Он думал о том, где и когда была допущена ошибка. Как могло получиться, что их тщательно законспирированная организация скандально провалилась? В конце концов он должен был сознаться себе, что имел довольно-таки превратное представление о силах противоположного лагеря.
Перспектива очутиться в тюремной камере страшила Мавлютина. Тем более, что могли обнаружиться такие новые обстоятельства, как его служба в охранке. Видно, неспроста Потапов задал вопрос о корпусе жандармов. А вдруг... Мавлютин знал, что политические заключенные никогда не прощали предательства. В его же биографии была и такая страница. Нет, в тюрьму ему садиться нельзя.
Конвоир не мог знать хода мыслей арестованного. Но по тому, как быстро озирался тот, когда они проходили мимо чьих-либо раскрытых ворот, он почуял неладное.
— Гляди, дядя! Побежишь — в спину ударю. Не уйдешь, — предупредил он, сокращая дистанцию между собой и арестованным.
— А куда мне бежать-то. Посижу день-другой — и выпустят. Разберутся, думаю, — подделываясь под народный говор, миролюбиво ответил тот.
— Разберутся, это уж точно. Не старое время, — сказал паренек.
Был предутренний час. Высоко в небе стояла луна, в ее белом свете все вокруг казалось застывшим и холодным: длинный ряд домов на окраинной улице, редкие заиндевевшие деревья, темная дорога, по которой они шли. Мороз давно загнал всех любопытствующих

обратно в дома. Патрули тоже держались ближе к центру, справедливо полагая, что на окраинах некому бунтовать против Советской власти.
Конвоир и арестованный шли через пустырь. Миновали еще одну застроенную редкими домами улочку. Впереди сквозь морозный туман замаячили фонари, установленные вдоль каменной тюремной ограды. Когда арестованный вдруг остановился, конвоир чуть не налетел на него сзади. Отпрянув, он взял ружье на изготовку.
— Ты что? Иди...
— Оз-зяб я... Закурить бы. Спичек у т-тебя нет? — странным, дрожащим голосом попросил арестованный.
— Зажигалка есть. Я кину тебе, погоди, — конвоир отвернул полу шубенки, полез правой рукой в карман.
И в этот момент Мавлютин кошкой кинулся на него. Оба они упали на снег, закружились в отчаянной борьбе. Били, пинали друг друга.
Парнишка-конвоир, уступавший Мавлютину в силе, все старания прилагал к тому, чтобы не выпустить из рук винтовку. Тогда Мавлютин всей тяжестью тела навалился на него и стал душить. Мальчишка начал заметно слабеть.
Уже теряя сознание, он изловчился и нажал спуск. Гулкий выстрел прокатился в тишине. Сразу откликнулись тревожные свистки охраны у тюрьмы.
Вырвав наконец винтовку у конвоира, Мавлютин, не думая о том, что привлечет внимание патрулей, три раза выстрелил в него в упор и побежал.
Переулками, дворами он пробирался ближе к центру города, понимая, что там легче будет затеряться, чем в поле на окраинах.
За ним шли по пятам. Видимо, из тюрьмы по телефону предупредили центральные посты. По смежной улице проскакали конники.
Наконец кольцо преследователей сомкнулось вокруг него. Его окликнули на перекрестке. Он юркнул во двор, побежал, что было сил. Было слышно, как преследователи совещались у ворот, не зная, куда он скрылся.
К счастью для Мавлютина, двор оказался проходным. Но у выхода на улицу он сам напоролся на встречный патруль. А сзади уже шли за ним красногвардейцы, осматривая постройки и закоулки.
Почти безотчетным движением Мавлютин вскинул винтовку на плечо и шагнул из ворот навстречу, патрулю.
— Ну что, не видали? Вот ведь ушел, наверно, — сказал он, предупреждая вопросы патрульных.
Он с трудом переводил дух после бега.
— Я от самой тюрьмы за ним гонюсь, — запинаясь проговорил он, понимая, что надо как-то объяснить это.
— А что там случилось?
— Да офицер бежал. Убил конвойного, сукин сын! В тюрьму его вели, — сказал Мавлютин, тревожно прислушиваясь к приближающимся со двора голосам. — Вы, ребята, осмотрите соседний двор. А я пробегу той стороной, — предложил он и побежал через улицу.
Прыгая через забор, он видел, как из ворот вышли люди и сразу устремились за ним.
Перебираясь через какие-то доски, кучей сваленные во дворе, Мавлютин обронил винтовку. У него не было времени остановиться, чтобы подобрать ее. Да и много ли помог бы ему последний патрон, оставшийся в магазинной коробке?
Отбиваясь от насевшей на него дворовой собаки, Мавлютин заметил в одном из окон флигелька пробивающийся сквозь ставень свет. Выбора у него не было. Он трижды стукнул в ставень и взбежал на крыльцо.
Кто-то открывал внутреннюю дверь.
— Ради бога, отоприте! Скорей! — шепотом сказал Мавлютин, слыша погоню в соседнем дворе.
— Кто здесь? — спросила женщина за дверью.
— Человек, нуждающийся в помощи. Поторопитесь!
Дверь чуть приоткрылась. Мавлютин с силой потянул ее и тут же затворил за собой.
Перед ним, держа свечу, стояла Вера Павловна, сильно похудевшая, еще не оправившаяся после болезни.

— Вы? Вы в моем доме? — говорила она, отступая перед ним и загораживая другой рукой вход в квартиру.
— Тсс! — Он умоляюще приложил палец к губам.
Вера Павловна никак не ожидала появления Мавлютина — своего бывшего мужа. Он навсегда, казалось, остался там — далеко. Что ему еще нужно от нее? Как он смел показаться ей на глаза? Вся ее гордость возмутилась.
— Я прошу вас оставить меня! — резко и громко сказала она.
Он схватил ее за руки, зашипел:
— Ты с ума сошла! За мной гонятся. Погаси свет! — и сам дунул на свечу.
— Что вы такое натворили? — спросила она.
— Это политика. Я все объясню. Я уйду, как только минет опасность, — быстро и умоляюще шептал он.
— Прошу вас, не впутывайте меня в свои грязные дела.
— Но меня убьют, ты понимаешь! Не будь так жестока.
Он стоял перед нею жалкий, дрожащий. Она брезгливо отодвинулась от него к самой двери.
Во дворе совсем близко послышались возбужденные погоней голоса:
— Может, он в доме спрятался?
— Спят, не видишь разве.
— А собака будто тут лаяла.
— Собак нынче по всему городу перебулгачили. — Голоса удалились.
— Я бы этого контрика сейчас на месте стукнул, — зло сказал кто-то у ворот.
— Н-да... матерый зверь!
Все стихло.
— Теперь ты видишь, что мне угрожало? — драматически спросил Мавлютин. — Но если ты желаешь моей смерти, я уйду.
Вера Павловна медленно отворила дверь в квартиру и сухо сказала:
— Пройдите в комнату.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

К утру все важнейшие учреждения Хабаровска были заняты отрядами красногвардейцев, моряков и революционных солдат; Бывший комиссар Временного правительства Русанов находился под домашним арестом. На квартире у него перед дверью в спальню сидел на стуле молоденький красногвардеец с винтовкой и боролся е дремотой.
Русанов долго не ложился. Когда Демьянов объявил ему постановление Совета о домашнем аресте, он сразу понял, что затея с передачей власти Бюро земств и городов провалилась, и сильно струхнул. Побледнев как мел, он не скрывал своего страха. Губы у него дрожали. Он торопливо начал объяснять, что не может нести ответственности за действия неофициальных лиц.
— Мне некогда, извините, — сухо сказал Демьянов.
— Чует кошка, чье мясо съела! — заметил один из рабочих.
Русанов молча проглотил эту пилюлю.
Размышляя о последствиях провала, он мрачнел, сопел и сердито отвечал на причитания жены: «Да перестань! И без тебя тошно». Будущее представлялось ему крайне неопределенным. А к чувству страха, испытываемого им, примешались ненависть и отчаяние. Так попеременно они и владели им.
Жена, наплакавшись вдоволь, уснула не раздеваясь. А бывший правитель края все ходил взад и вперед по спальне и чего-то ждал. Воображение рисовало ему сладостные картины неожиданного избавления. Представлялось это так: застучат на крыльце сапоги, грянет выстрел, откроется дверь, и приятный знакомый голос дежурного адъютанта скажет: «Слава богу, поспели вовремя! Вы свободны, господин комиссар!»
Но ни шагов, ни выстрелов не было слышно. Часовой в соседней комнате сидел тихо, ничем не обнаруживая себя. «А вдруг все переменилось? Часовой, возможно, уже сбежал», — с воскресающей надеждой подумал Русанов.
У него сладко заныло под ложечкой. Надо только выйти в соседнюю комнату и проверить справедливость такого предположения. Русанов оглянулся на спящую жену, приложив для чего-то палец к губам. Поколебавшись, он снял бурки и в одних теплых шерстяных носках,

неслышно ступая, подошел к двери. Заглянув в замочную скважину, он тотчас же отпрянул. Ему показалось, что часовой, по-прежнему сидевший перед дверью, угрожающе шевельнул ружьем. Потом он сообразил, что тот не мог видеть его в темной спальне, и снова прильнул глазом к замочной скважине.

С тайным любопытством и страхом вглядывался он в человека, стеснившего его передвижения в собственной квартире. Свет падал на часового сверху, и его глаза скрывались в тени. У него было широкое лицо, подбородок с ямочкой, чуть вздернутый нос — и все это вместе придавало ему вид самый простецкий. Сколько таких лиц прошло перед Русановым, не возбуждая в нем интереса или даже мимолетного желания узнать, чем жив и чего хочет такой человек! Люди проходили обезличенными, похожими друг на друга, как одинаково круглые нули в многозначной цифре, все значение которой определяется лишь стоящей впереди единицей.

Часовой мирно поклевывал носом. Время от времени он ожесточенно тер себе кулаками глаза, рассчитывая, что это поможет бороться со сном. Как ни покажется странным, но именно это открытое проявление человеческой слабости окончательно убедило Русанова, что тщетно ждать каких-либо новых перемен.

Русанов был человек представительный, склонный к полноте, и стоять согнувшись у замочной скважины ему было не только крайне утомительно, но и больно для самолюбия. В конце концов он рассердился на себя. «Господи, ведь я — государственный деятель! И меня довели до такого унижения... Все рушится на Руси. Все», — думал он, ковыляя от двери к постели.

Пружины под ним заскрипели, и жена проснулась.

— Ты не спишь? Который теперь час? — спросила она.

— Не знаю. Должно быть, утро, — грубо буркнул он. Потом, устыдившись, разыскал в темноте ее руку, прижался к ней лицом. — Я так боюсь. Так боюсь, — изменившимся голосом признался он. — Надо было нам сразу уехать в Харбин, к Хорвату, или к нашему послу в Пекин.

— Я говорила тебе, сколько раз говорила, — жена снова начала всхлипывать.

— Да замолчи ты, ради бога! Замолчи, — сердито прошипел он и оттолкнул ее руку.

Окна в спальне заметно посветлели. Над крышами домов серело небо; раннее утро пришло, как всегда, без спросу.

2

В служебном кабинете Русанова красногвардейцы снимали со стен портреты бывших генерал-губернаторов. Одна массивная рама сорвалась и с грохотом упала на пол, зазвенело разбитое стекло.

— Осторожнее, ребята. Не портить стены, — оглянувшись, сказал Савчук.

Он просматривал книги в русановском шкафу, выбрасывал на пол тяжелые тома Свода законов Российской империи.

Супрунов, опираясь на винтовку, с усмешкой наблюдал за тем, как эти красиво переплетенные книги падали к его ногам.

— Скажи на милость, фунта четыре будет, а? — удивился он, прикинув на руке вес одной из них. — Куда теперь эту рухлядь?

— Да свалите где-нибудь во дворе. В кладовую, что ли.

— Нет, Иван Павлович. В топку. Чтобы дымом по свету развеять.

Супрунов с охапкой книг вышел куда-то. Вернулся он повеселевший, с просветленным лицом.

— Ведь какое дело сделали, подумать только, — растроганно сказал он, садясь в кресло и ставя винтовку между колен. — Вот и царя нету. И дышится совсем по-другому, а?..

Савчук поглядел на него и вспомнил, как однажды, еще до войны, после погрузки баржи на одном из нижних плесов, усталые и голодные, стояли они вдвоем на высоком берегу Амура. Думали, куда им податься на зиму.

За рекой на луговой стороне пламенел долгий осенний закат. Причудливая игра красок, отражавшаяся в воде, заставила их на время позабыть все невзгоды. Поразительно, красивы закаты на Амуре! Но день отгорел, и сразу подул холодный низовый ветер.

«Эх, красавец Амур! Да жизнь наша каторжная!.. Разве есть на земле правда?» — с горечью воскликнул тогда Супрунов и заплакал, не стыдясь слез.

Жил он одиноко, без семьи. Приближалась старость.
«Дождался-таки правды, хоть на склоне лет», — с радостным волнением подумал Савчук и вышел проверить посты.
Когда он вернулся, красногвардейцев в кабинете уже не было. За столом сидел Демьянов и просматривал бумаги.
Чего только не пришлось ему делать в последние двенадцать часов: разоружать офицеров, разыскивать в типографии набор с текстом контрреволюционного воззвания, совещаться в исполкоме с товарищами и тут же снова мчаться куда-нибудь на вокзал или к винным складам. Пришлось даже собирать по квартирам столоначальников ключи от сейфов и запертых служебных столов, чтобы назначенные в учреждения комиссары могли начать знакомство с делами. Успевай поворачиваться, товарищ чрезвычайный комиссар по охране города!
И он поспевал куда надо. Ставил посты. Давал инструкции. Кого-то убеждал, кого-то ругал. Слал посыльных, когда телефонистки вдруг бросили работу, подбитые на забастовку подстрекателями из Согоса. К рассвету на телефонной станции распоряжались вызванные с базы флотилии моряки. Демьянов и не заметил, как пришло утро.
— А вы тут удобно устроились. По-губернаторски, — сказал он, увидев Савчука. — Знаешь, создана специальная комиссия по приемке дел от Русанова. Как он вчера перепугался! Белее стенки стал.
Савчук с ожесточением сплюнул.
— Бойтесь того, кто вас боится. Слышал такую пословицу?
— Ты прав, — согласился Демьянов. — Простить себе не могу, как это я обмишурился: отправил того полковника с одним конвоиром. Парень погиб. Вот надо идти к его матери. А этот гад как сквозь землю провалился. Утопили щуку, да зубы остались. И члены Бюро земского успели выехать.
— Надо было задержать, — сказал Савчук.
— Надо, надо. Откуда я мог предполагать! — Демьянов поморщился и махнул рукой. — А куда они денутся, в конце концов? От революции, брат, не спрячешься. В лес не убежишь, — сказал он и поочередно подергал запертые ящики. — Ключей у тебя нет, Иван Павлович? Неужели ящики ломать? Жаль портить хороший стол.
Демьянов внимательно осмотрел замки.
— Заставим самого Русанова прогуляться. Невелик барин. — И он принялся вертеть ручку телефона.
3
Утром было совещание по продовольственному вопросу. Комиссаром в городскую Продовольственную управу решили назначить старшину артели грузчиков Якова Андреевича Захарова. Ему поручили приступить к реквизиции запасов муки на купеческих складах. Надо было решительно пресечь спекуляцию хлебом.
Алеша Дронов, дописав протокол, предложил:
— Побегу-ка я в кочегарку за чаем. Позавтракаем, Михаил Юрьевич?
— Да, не мешает червячка заморить, — сказал Потапов и поглядел на разгорающуюся за окном зарю. — А знаешь, пожалуй, я схожу домой. Что, в самом деле, мы — каторжные?.. — засмеялся он и стал надевать пальто.
Михаил Юрьевич так и не осуществил намерение подыскать более удобную квартиру. Да и привык он к докторскому дому, порядки в котором оказались не так уж стеснительными. Сережа носился по всему дому, лазал на чердак, Марк Осипович, видно, любил детей, смотрел сквозь пальцы на шалости. Наталья Федоровна помогала доктору: вела запись больных, ассистировала при небольших операциях, делала перевязки. Года два назад она закончила курсы сестер милосердия, и это была ее первая практика.
Потапов был в том приподнятом, бодром состоянии, которое отличает людей, когда дело у них спорится.
— Гляди, Наташа, какое солнце восходит. Прелесть! — восклицал он, останавливаясь возле окна и вытирая руки краем полотенца, перекинутого через плечо.
Наталья Федоровна несла к столу кипящий самовар. Поставив его на поднос, она с улыбкой поглядела на мужа.
— Да посмотри же, посмотри... Не часто приходится наблюдать такую игру красок.

Солнце чуть поднялось над крышами. В чистом голубом небе плыло прозрачное, тающее в ярких лучах одинокое облачко.
Михаил Юрьевич коротко рассказал о событиях минувшей ночи.
— Обедать придешь? — спросила Наталья Федоровна.
— Ой, вряд ли. Я теперь человек ужасно занятой. Пропащий человек, — сказал он, смеясь одними глазами, — Вот не знаю, где взять десяток возов дров для пяти школ, имеющихся в городе. Чем не проблема для новой власти!
В прихожей Михаил Юрьевич увидел одевающегося Твердякова. Они поздоровались.
— Так когда вы ко мне в качестве пациента? Мы тут с вашей женой целый заговор составили, знаете? — сказал доктор, поднимая воротник пальто и вооружаясь тростью.
— После, доктор. После.
Они вместе вышли на улицу.
Твердяков направлялся в больницу. Путь туда он проделывал пешком при любой погоде. И настойчиво рекомендовал такой же моцион своим пациентам.
— Скажите, Марк Осипович, я вас не очень стесняю как квартирант? — спросил Потапов, поглядев на размашисто шагавшего доктора.
— Меня нет, а вот других, кажется, стеснили, — ответил тот с присущей ему грубоватой простотой. — Если не ошибаюсь, у нас государственный переворот, а?
— Совершенно верно, государственный переворот, — весело подтвердил Потапов.
Оба они осторожно приглядывались друг к другу. Твердяков в такт шагам постукивал тростью.
— А это надолго? — спросил он.
— Надолго. Смею вас уверить, доктор.
— Ну, поглядим. Поглядим. — Пройдя молча десяток шагов, Твердяков неожиданно остановился. — Надеюсь, сударь, вам известно, что готовится всеобщая стачка государственных служащих? Мне, например, предлагают перестать лечить людей. Заметьте, из соображений высшего гуманизма. Вас это не пугает?
— Представьте себе — нет!
Согос давно грозил всеобщей стачкой служащих, и новость, сообщенная доктором, не была неожиданной для Михаила Юрьевича.
— Не пугает в силу привычки обходиться подсобными домашними средствами? — спросил Твердяков, внимательно посмотрев на Потапова: «Что он, не понимает серьезности положения?»
— Не будем упрощать, милый Марк Осипович, — сказал Потапов. — Лучшая часть нашей интеллигенции кровными узами связана с народом и не пойдет против него. Как бы там ни изощрялись краснобаи софисты. Следовательно, всеобщей стачки быть не может.
Твердяков с любопытством поглядел на своего квартиранта.
— Гм! Мне такие аргументы почему-то не пришли в голову. Но под рукой оказалась палка...
— И что же ваш софист? — смеясь, спросил Потапов, живо представив себе разыгравшуюся в доме сцену.
Твердяков, хохоча, сказал:
— Ну, разумеется, был бит.
«Однако занятный старик! Оригинал», — подумал Потапов.
Когда Дронов с мрачным видом положил на стол решение Совета государственных и общественных служащих об объявлении в городе политической стачки, Михаил Юрьевич с неожиданной для секретаря веселостью сказал:
— А ты-то чего нос повесил, Алеша? Грозит Согос — эка невидаль! А мы отберем у них армию. Честное слово, отберем.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Когда Мавлютин с актерским апломбом порывался уйти навстречу смерти, как он говорил, Вера Павловна почти безотчетно открыла ему дверь своего дома. Только позднее она сообразила, что готовность идти он выразил лишь после того, как преследователи покинули двор. Следовательно, опять было лицемерие. Как всегда.

Они познакомились года три назад на балу в Офицерском собрании. Мавлютин, тогда еще подполковник и член какого-то военно-закупочного, комитета в Петрограде, приехал на Дальний Восток ревизовать местные интендантские управления. Здесь он задержался почти на полгода: ездил во Владивосток, где вел переговоры с американскими поставщиками военного снаряжения; посетил Токио. Ему нетрудно было вскружить голову мечтательной и жаждущей счастья молодой девушке. Они поженились.
Примерно через год Вера Павловна начала понимать, что сделала не совсем удачный выбор. Ей не приходилось жаловаться на невнимательность мужа или его супружескую неверность. Дело не в том. Попривыкнув к жене, Мавлютин, обычно скрытный и недоверчивый, при ней почти перестал таиться. Постепенно она начала узнавать о разных неблаговидных поступках: то о подозрительной сделке, где был сорван хороший куртаж, то о подлогах, когда заведомо недоброкачественные материалы принимались от поставщиков как первосортные — за взятку, конечно. С циничной откровенностью он сговаривался при ней с другими дельцами. Он вел операции в широких масштабах, хотел и ее втянуть во все эти сомнительные дела. Однажды, как она поняла из разговора, он предложил устранить человека, который знал слишком много и мог раскрыть их махинации. Через несколько дней тот погиб во время автомобильной катастрофы.
Она потребовала от Мавлютина объяснений. «Милая, все так живут. Все, — равнодушно зевая, сказал он. — Когда и наживаться, как не во время войны? Для тебя стараюсь, для наших детей».
И он принялся рассказывать ей о других своих сослуживцах, членах военных комитетов, приемщиках. Истории были одна грязнее другой. «Боже, в какой мир я попала! Как уберечься от этой грязи?» — думала потрясенная и подавленная Вера Павловна.
На этой почве и начались размолвки с мужем. Стяжательство Мавлютина между тем возрастало. Чем больше нищал народ, чем обильнее лилась кровь на фронте, тем разнузданнее и наглее вели себя люди, пристроившиеся к военному пирогу. Человек, которого Вера Павловна по девичьей неопытности считала честным, благородным и, разумеется, талантливым, на деле оказался полной противоположностью тому, что она о нем думала. Совместная жизнь становилась невозможной, немыслимой.
В довершение всего она узнала о связях Мавлютина с царской охранкой. Свою карьеру Мавлютин начинал в жандармерии, дослужившись до чина ротмистра. По каким-то соображениям он потом перешел в военное ведомство и необычайно быстро стал продвигаться по служебной лестнице. Знакомые глухо поговаривали, что не без участия Мавлютина в 1916 году была разгромлена социал-демократическая организация военного завода. Мавлютин сумел втереться в доверие к одному инженеру, соприкасавшемуся с организацией. На квартире у себя он вел архиреволюционные разговоры, подчеркивал свое недовольство существующими порядками и жаловался на отсутствие смелых и решительных людей, которые могли бы повторить подвиг Пестеля и Рылеева. После ареста инженера и других членов организации он не проявил никакого беспокойства и даже ни разу не вспомнил о них. Сопоставив все эти факты, Вера Павловна с ужасом убедилась, что слухи о его связях с охранкой имеют серьезное основание.
Воспитанная в небогатой интеллигентной семье, где всегда высоко ценили людей, беззаветно служивших народу, она с детских лет приучилась презирать жандармов и ненавидеть предательство. А тут обнаружилось, что ее собственный муж — полицейский провокатор. Это было страшным ударом для нее.
Вера Павловна, однако, не обладала решительным характером. Она одна мучительно и долго переживала семейную трагедию. С точки зрения окружавших ее людей, но было никакого повода для драмы. Но Вера Павловна твердо верила, что, кроме опостылевшего и ненавистного ей мира насилия, лжи и обмана, в котором она вращалась, есть где-то другой мир — мир настоящих человеческих отношений. Она не совсем ясно представляла, как найдет дорогу туда и найдет ли вообще, но у нее хватило мужества, чтобы искать. Рождение сына только укрепило ее в этом решении: она хотела воспитать его честным человеком.
И вот, когда, казалось, она уже выбралась на новую дорогу, на пороге ее дома снова встал Мавлютин.

Вера Павловна содрогнулась, когда в темной комнате услышала за спиной его шумное дыхание.
— Здесь диван. Можете лечь. И прошу, ради всего святого, оставьте меня в покое! — дрожащим голосом сказала она.
— Сама судьба привела меня к тебе. — Мавлютин, выставив вперед руки, осторожно шел по темной незнакомой комнате к стене, возле которой стоял диван. — Нам нужно серьезно поговорить, Вера. Твой уход — недоразумение. Я приехал сюда, чтобы найти тебя, объясниться. Из-за этого рисковал жизнью. Ты знаешь, как относятся теперь к офицерам.
— Не надо больше лгать.
— Клянусь!.. Неужели ты не понимаешь, что мне гораздо проще было уехать в Финляндию, в Швецию, чем тащиться сюда через всю Россию? Только ради тебя...
— Между нами все кончено, навсегда, — отрезала она и вышла, щелкнув с той стороны дверной задвижкой.
— Вера, ты, кажется, говорила с кем-то? Или мне во сне послышалось? — сонным голосом спросила Олимпиада Клавдиевна.
Вера Павловна негромко сказала:
— Спи, тетя. Это я к сыну вставала.
— А утро скоро, не знаешь? — Олимпиада Клавдиевна громко зевнула.
И опять в доме наступила тишина. Только часы мерно тикали в темноте.
— Да, ситуация, черт побери! — пробормотал Мавлютин и беззвучно рассмеялся.

Михайлов и Логунов шли по улице, когда Даша Ельнева показалась из калитки и. почти столкнулась с ними.
— Федор Петрович, наконец-то! Вы как в воду канули, — воскликнула она, радостно улыбаясь и протягивая ему руку в перчатке.
— Здравствуйте! — сказал Логунов, осторожно пожимая ей пальцы.
Сердце у него забилось. Откровенно говоря, он не случайно свернул на эту улицу. Но в этом Логунов не признался бы сейчас и самому себе.
— А ты молчишь, что у тебя знакомые есть! — Михайлов локтем толкнул Логунова в бок.
— Разрешите представиться, поскольку товарищ нас не знакомит. Вы в какую сторону направляетесь?.. Вот и нам туда же, — сказал он, предложив Даше руку.
Михайлов на каждом шагу сыпал шуточками, Даша смеялась. Логунов шел позади них и в эту минуту мучительно завидовал товарищу, его умению легко и просто вести разговор. «Вот такие и нравятся девушкам», — думал он.
Даша несколько раз оглядывалась на него, и это еще больше будило в нем чувство досады. Дойдя до угла, Даша остановилась.
— Так когда вы зайдете к нам, Федор Петрович? — спросила она, коротко глянув на Логунова, и потупила взор. Должно быть, она угадала его состояние, щеки у нее сразу зарделись.
— Зайду, как будет время, — сказал он угрюмо.
— Вера часто спрашивает про вас, Федор Петрович, — продолжала Даша, глядя куда-то мимо Логунова. — Она долго болела, лишь недавно поднялась. И тетя вас вспоминала, правда, правда, — заторопилась она, подумав, что Логунов не поверит этой непроизвольной лжи. — Правда, вспоминала, — повторила она упавшим голосом.
Будь Логунов более наблюдательным, он легко бы разгадал ее маленькую хитрость. Но Логунов все принимал за чистую монету, каждое со слово.
Теперь они шли рядом, а Михайлов молча шагал позади. Логунову хотелось взять Дашу под руку, как это делал Михайлов, но он почему-то робел и ограничился лишь тем, что раз или два поддержал ее за локоть на скользких местах.
— Скажите, вы сейчас очень заняты? — спросила Даша, адресуясь почему-то к Михайлову.
— Нет, мы не торопимся, — сказал тот. — Можем дрейфовать хоть до обеда.
— Тогда пойдемте к нам. Пойдемте, Федор Петрович, — просительным тоном сказала Даша и потянула Логунова за рукав. — И товарищ ваш пусть зайдет. Вера очень обрадуется. Вы же столько хорошего сделали для нас. Пойдемте.
— В самом деле, Федор. Почему не зайти, если просят, — поддержал Михайлов.

Теперь, когда Даша стояла рядом, Логунов понял, что все время ждал встречи с нею. Но мысль об Олимпиаде Клавдиевне останавливала его.
— Тетя сейчас уйдет, у нее урок в гимназии, — сказала Даша, угадав его мысли. — Дома только я и Вера. Мы будем пить чай со свежими булочками. Вы знаете, — она повернулась к Михайлову, — он у нас в прошлый раз стакан разбил. И боится, что тетя станет его пилить. А она только с виду строгая...
— Ага, стакан! — Михайлов круто повернул Логунова к калитке и подтолкнул в спину. — Иди, брат. Придется просить прощения.

У Ельневых в это время происходила очень бурная сцена.
— Нравится тебе или нет, а я останусь здесь. Буду жить сколько понадобится. Гляди не вздумай фортели выкидывать, — угрожающе говорил Мавлютин после неудачных попыток воздействовать на Веру Павловну просьбами или лестью.
Она категорически отказывалась его слушать.
— Вы не смеете. Оставьте мой дом!
— Как бы не так. Нашла дурака, — нагло ухмыльнулся он, думая, что надо задержаться тут дотемна.
— Тогда я позову соседей, — сказала Вера Павловна и пошла к двери.
Он грубо схватил ее за руку и отбросил назад.
— Чертова баба! Хочешь, чтобы я тебя побил, а? — в бешенстве зашипел он. — Сиди и не двигайся. Имей в виду, мне терять нечего.
В этот момент в комнате появилась разгневанная Олимпиада Клавдиевна. Она уже давно прислушивалась к ссоре, готовая прийти на помощь. Вера Павловна утром рассказала ей об обстоятельствах появления Мавлютина в их доме.
— Всеволод Арсеньевич, мне, старой женщине, стыдно за вас. Стыдно, да! Вы, офицер, угрожаете женщине. Ну, меня вы не запугаете, нет! — решительным тоном заявила она и храбро подступила к нему.
Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в это время не постучали в дверь.
— Даша вернулась, — сказала Олимпиада Клавдиевна. Она безошибочно угадывала племянницу по стуку.
Даша не знала, что в доме ночевал Мавлютин. Тетушка и Вера Павловна не сочли нужным сказать ей об этом. Но сейчас обе обрадовались ее приходу.
О Мавлютине этого нельзя было сказать.
— Я сам открою. Оставайтесь здесь, — сказал он и быстро вышел в прихожую.
В окошечко Мавлютин увидел матросов и сразу почувствовал слабость в коленях. «Это за мной пришли. За мной», — подумал он в панике.
Он заметался в поисках выхода. Ну конечно так. Мавлютин быстро нахлобучил шапку, сорвал с вешалки пальто, но второпях никак не мог попасть в рукава. Отодвинув засов входной двери, он беззвучно отпрянул в соседний чулан.
— Проходите, пожалуйста. Проходите, — говорила Даша.
В коридорчике зашаркали ногами.
Мавлютин стоял рядом в чулане и трясся как осиновый лист. Что, если кому-нибудь вздумается открыть эту дверь? Нет, кажется, пронесло!
Оба матроса прошли за Дашей прямо в дом. Теперь, пока они ищут его там, нельзя терять ни секунды. Он мигом выскочил на крыльцо и побежал через двор, волоча по снегу пальто.
Только на другой улице Мавлютин одумался. Почему он предположил, что матросы пришли за ним? Скорее случайное совпадение. А, все равно — назад не возвращаться!
Но куда идти?

А в доме разговор явно не клеился. Даша никак не могла понять причину внезапной холодности сестры. Она будто и не рада была приходу Логунова.
Олимпиада Клавдиевна с воинственным видом расхаживала по гостиной.
«Немудрено, что Федор трусит. Видать, задористая тетка», — поглядывая на нее, думал Михайлов. Как и Логунов, он видел, что они пришли не вовремя.
Даша в меру своих сил старалась поддерживать разговор.
— Я видела здесь флотский оркестр. Наверно, устраивается вечер? — спросила она.

— Похороны, — мрачно сказал Логунов.
— Какие похороны? — Олимпиада Клавдиевна остановилась перед ним.
— Сегодня ночью один офицер убил конвоира, ведшего его в тюрьму, и скрылся. Конвоиру семнадцати лет не было — мальчишка, — пояснил Михайлов.
Вера Павловна страшно побледнела.
— Убил? Он убил...
Олимпиада Клавдиевна поспешила к ней со стаканом.
— Вера, выпей воды. Хочешь, я брому накапаю?
Но Вера Павловна отстранила ее.
— Я знаю, кто убийца! Он здесь, в этом доме, — твердым, окрепшим голосом сказала она.
— Вера, что ты говоришь! Одумайся, — в ужасе вскричала Олимпиада Клавдиевна.
— Нет, я должна... Я перешагну через это, — все так же громко и твердо говорила Вера Павловна. — Он мой бывший муж — Мавлютин. Прибежал сюда ночью. За ним гнались. Я не знала, что он натворил. Задержите его.
Повинуясь ее взгляду, Михайлов кинулся в переднюю
Даша только теперь поняла все, всплеснула руками. Вот так новости!..
Олимпиада Клавдиевна была похожа на переполошившуюся наседку, выведшую утят и видящую, как ее питомцы вдруг пустились в плавание по бурной быстрой реке. Она ахала и вздыхала.
Михайлов вернулся.
— Он, видно, как мы пришли, сразу же улизнул. Гнаться бесполезно.
...Михайлов шел по улице и улыбался людям. Улыбнулся и Мавлютину, повстречав его на одном из перекрестков.
Мавлютин заметил, как невысокий матрос сказал что-то своему товарищу и при этом указал рукой на него. «Узнали», — с пробудившимся страхом подумал он.
А Михайлов говорил Логунову:
— Ты знаешь, какая это женщина? Нет, ты не знаешь!.. На твоих глазах человек второй раз на свет родился, а ты даже этого не заметил. Какую, брат, целину вспахала революция! Какие всходы будут! Вот так глядишь на человека, — он показал на уходящего Мавлютина, — и разве разберешь, кто он такой? Сложная, брат, штука — жизнь. Человека понять — это не траву скосить.
Мавлютин еще раз оглянулся на них и свернул в первый же проходной двор.
После второй встречи с моряками он некоторое время бродил по улицам, размышляя, у кого из знакомых легче укрыться. Идти к Левченко нельзя, к Бурмину или Чукину тоже. За их домами, несомненно, ведется наблюдение. Варсонофия Тебенькова нет в городе, и квартира у него заперта. В гостиницу не пойдешь. Ввалиться к кому-нибудь из местных обывателей? Мавлютин усмехнулся, представив себе, как его вежливо станут выпроваживать. Черт возьми, выходит, и податься некуда.
Он догнал неторопливо идущего куда-то Хасимото.
— О, здравствуйте! — сердечным тоном поздоровался японец и вопросительно посмотрел на него.
— Извините. С моей стороны будет неосторожностью стоять и разговаривать с вами, — хмуро сказал Мавлютин.
— Пустяки, — возразил японец. — Вас постигло разочарование. Но не следует отчаиваться. Счастье переменчиво, как говорит народная мудрость.
Судя по внешнему виду, Хасимото пребывал в отличнейшем настроении.
— Мне удалось бежать после ареста, — пояснил Мавлютин, оглядываясь.
— Это другое дело, — согласился коммерсант и достал свою визитную карточку. — Рад счастливому случаю помочь вам. Это рекомендация. — Вы видите дом с зеленой крышей? Там японское консульство. Идите смело, вас укроют. До свидания!..
2
Когда Ельневы остались одни, Олимпиада Клавдиевна против обыкновения не разразилась упреками. Она молча ходила по комнате, передвигала вещи, вздыхала. Гнев ее против Мавлютина еще не остыл. Если она не во всем одобряла поведение Веры Павловны, то в главном ее племянница была безусловно права. И как он втерся в доверие, такой подлец!

Даша восхищенными глазами глядела на сестру: такой она ее еще не знала. Очень удачно, что она позвала матросов. Бог знает, что тут могло произойти.
Ночь прошла тихо.
Утром Олимпиада Клавдиевна ушла в школу на занятия.
Даша только взялась за книгу, как услышала в передней громкие возгласы, звуки поцелуев. Заинтригованная, она помчалась в гостиную. Сквозь полуоткрытую дверь она увидела незнакомую пожилую женщину, снимавшую платок и шубенку.
— Насилу разыскала вас. Уж я ходила, ходила. Думала, адрес не тот, — говорила она немного хрипловатым голосом. — Как вы тут — живы-здоровы?.. Что-то ты исхудала, милая... Болела, а? Болезнь не красит. А малыш ничего? Ну, слава богу! Матери было бы дитя здорово — сама все стерпит.
— Даша, это Анфиса Петровна, стрелочница, что мне помогла, — сказала Вера Павловна, заметив сестру и поманив ее в прихожую.
Анфиса Петровна глянула на Дашу светлыми, ясными глазами.
— Похожи. Сразу можно сказать, что сестры.
Она вынимала из корзинки какие-то узелки, свертки.
— Это — мороженое молоко, на холод надо вынести. Здесь — яички... А где руки помыть? — И покончив со всем этим, сказала: — Теперь, Вера, показывай мне твоего сына. Каков молодец?
Анфиса Петровна сама развернула пеленки, потрогала щечки, ножки ребенка, подняла его на руки.
— Подрос!.. Парень крепкий, — веско сказала она. — Будет матери кормилец.
— Когда еще! — улыбаясь, польщенная ее похвалой, заметила Вера Павловна.
— А не заметишь, как подтянется. Особенно, если они друг за дружкой идут. Я, милая моя, семерых выходила, — с горделивой радостью сказала она. — Да ты ведь видала. Чем плохие парни? Сколько лет возле них, не разгибая спины. Пеленки, распашонки... Хоть дитя и криво, а все матери диво... Вот нынче мне говорят: поезжай, Анфиса Петровна, на краевой съезд — делегаткой. Свою Советскую власть ставить. У меня дети, разве я им худого пожелаю — поехала. Такое уж дело, что надо идти смело...
Даше Анфиса Петровна понравилась. В устах этой женщины самые обычные слова и понятия вдруг обретали глубокий смысл. Просто интересно было следить за тем, как она умела неожиданно повернуть разговор. Даша перебралась со своими учебниками на кухню и жадно прислушивалась к беседе.
— Ты что, егоза, не идет ученье на ум? Учись, учись, — заметила Анфиса Петровна, отвечая ей дружеской улыбкой. — Твое дело молодое, ты нас, баб, не слушай.
— Да какая же она баба, Вера наша? — Даша закрыла учебник и рассмеялась.
— Все одно баба, — сказала Анфиса Петровна. — Девкам этого не понять. Ветер у вас в голове.
— Ступай, Даша, к себе. Ты же ничего сегодня не приготовила, — вмешалась Вера Павловна.
Даша покорно собрала учебники. Но какой-то бесенок, видно, вселился в нее сегодня. Уходя, она крепко обняла сестру и зашептала ей на ухо:
— Знаешь, мне ужасно понравился твой Логунов! Ты только не сердись, пожалуйста.
Вера Павловна только руками развела.
Едва она успела напоить гостью чаем и приняться за мытье посуды, как в передней раздался звонок. Вернулась Олимпиада Клавдиевна.
— Ну, милая, столько новостей, — начала она и осеклась, заметив мывшую полы Анфису Петровну.
Подоткнув юбку, та ловко гнала перед собой тряпкой пенистую грязную воду.
— Здравствуйте! Поздно у вас, в городе, убираются. Как раз подоспела к этому делу, — сказала она, когда Вера Павловна представила ее хозяйке дома.
— Зачем же вы, право... Веруша, как ты могла допустить? — Олимпиада Клавдиевна была несколько смушена.
— Я за свою жизнь столько полов этих перемыла, что один лишний мне не повредит.
Анфиса Петровна быстро закончила начатую работу, Вера Павловна тем временем приводила в порядок вещи, передвигала вазочки, статуэтки.

— Представьте, у нас преждевременные каникулы. Учителя гимназии решили присоединиться к забастовке служащих, — говорила Олимпиада Клавдиевна, тоже вооружаясь тряпкой и принимаясь тереть стекла книжного шкафа.
— Зачем же вам бастовать? — Анфиса Петровна недоуменно посмотрела на хозяйку.
— Милая, я сама толком не знаю. Тут — политика, там — дети. И все это, оказывается, ужасно трудно совместить.
Олимпиада Клавдиевна удивилась, узнав, что Анфиса Петровна является делегаткой краевого съезда Советов.
— Вы, простая женщина... без специальных познаний? Как же вы можете разобраться во всех этих политических программах? У меня от них голова кругом идет.
— Наши понятия известные — нужда да горе. Маемся, маемся, без просвета впереди. — Анфиса Петровна подобрала распустившиеся волосы, вздохнула. — А уж как хочется, чтобы хоть дети по-человечески жить стали.
— Ах, дети, дети! Как часто мы ограничиваем себя ради них, — Олимпиада Клавдиевна старательно водила по стеклу тряпкой. На мгновение перед ее взором мелькнули русые и темные головки, серьезные детские лица с пытливыми глазами. — Милая, не позволяйте толкнуть Россию в пропасть.
— Да кто толкает, кто? — неожиданно раздраженным тоном спросила Вера Павловна.
— Ты сама прекрасно знаешь, — Олимпиада Клавдиевна покосилась на Анфису Петровну и, не договорив, оборвала фразу.
— А я теперь не уверена в этом. Нет! — резко возразила Вера Павловна.
Олимпиада Клавдиевна удивленно и строго посмотрела на племянницу.
— Странно, что у тебя вдруг обнаружились такие симпатии.
— Ничего нет странного. Я просто пытаюсь составить собственное мнение о происходящем.
Повыше переносицы у Веры Павловны появилась упрямая вертикальная складка; она спокойно выдержала взгляд тетушки.
— Ты, видно, хочешь прослыть в нашей среде белой вороной. Существуют все-таки твердо установившиеся понятия, взгляды... В конце концов политика — не женское дело, — сказала Олимпиада Клавдиевна.
— Почему не женское? Кому же устраивать жизнь, как не нашей сестре — женщине? Чай, тяготы первыми на ее плечи ложатся, — возразила Анфиса Петровна.
— Удел женщины — семья. Не станете же вы это отрицать.
— Семья. Да с семьей-то не на острове живешь — среди людей. А с людьми жить — заботы делить. Как же иначе? — Анфиса Петровна улыбнулась широкой, доброй улыбкой женщины, повидавшей разного на своем веку. — Нынче много развелось охотников учить, как жить надо. Иной хлопочет, хлопочет, не сразу поймешь, чего хочет. На словах — что на гуслях, а на деле — что на балалайке. По бабьему своему разумению я так полагаю: кроме большевиков, о простом человеке никто не позаботится. Большевиков и буду держаться. С этого меня никто не собьет.
Присев на стул и покачивая правой рукой, будто она у нее затекла, Анфиса Петровна рассказывала о жизни на их станции, людской нужде, горестях и надеждах. Была в ее суждениях та неумолимая логика фактов, перед которой не могла не спасовать Олимпиада Клавдиевна.
— Вот вы говорите: народу учиться сперва нужно. Верно! К свету всякая травинка тянется, человек — к знанию. — Анфиса Петровна усмехнулась. — Что ж, потянулись, а нас сразу по рукам — хлоп. Забастовка... Детишек, видишь, и тех учить отказались. Это правильно?
Олимпиада Клавдиевна почувствовала, что щеки у нее залились краской.
— Милая, не нужно упрощать! — с досадой и некоторым смущением сказала она.
Анфиса Петровна переглянулась с Верой Павловной, и обе рассмеялись.

3

Третий краевой съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Дальнего Востока открывался в тот же день вечером (двенадцатого декабря по старому стилю). Прибывали делегаты — представители Владивостокского, Никольск-Уссурийского, Спасского, Благовещенского, Зейского и других местных Советов. Ждали также несколько человек из Харбина, где контрреволюция по указке консульского корпуса уже приступила к

разоружению революционно настроенных ополченческих дружин. Всего к открытию съезда прибыло семьдесят два делегата. Часть товарищей, в том числе энергичный председатель Владивостокского Совета Константин Суханов, задержалась в связи с проведением Приморского областного земского собрания. Решался вопрос о том, за кем пойдет дальневосточное крестьянство.
С августа, когда проходил второй краевой съезд Советов, многое изменилось. Победа социалистической революции в центре и первые же декреты рабоче-крестьянского правительства в Петрограде, подписанные Лениным, — декрет о мире, о земле, о восьмичасовом рабочем дне — не оставляли камня на камне от злостных измышлений врагов Советской власти. Они отвечали самым сокровенным желаниям простых людей. «Вся власть Советам!» — в этом пламенном призыве партии большевиков были сконцентрированы надежды и чаяния народных масс. И эти же слова вызывали ненависть и страх у эксплуататоров не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Два мира вставали друг против друга — мир трудящихся, угнетенных вчера и ставших свободными сегодня, и мир обреченного с этого часа на гибель капитализма.
Не всем было дано видеть, как решительно и неуклонно склонялась стрелка на весах в пользу нового, только что народившегося общественного строя. Видные публицисты, писатели, знатоки социальных проблем, попы и философы пророчествовали, что Советская власть не продержится и двух недель, во всяком случае, просуществует не дольше месяца, что она есть исчадие ада и рухнет по гневу божьему, что ей надлежало бы родиться по меньшей мере лет сто спустя. Советскую власть предавали анафеме в церквах, поносили ее на страницах газет, уверяли, что с нею совершенно не нужно считаться.
А в то же время немецкие и австрийские рабочие и венгерские крестьяне, одетые в шинели, братались с русскими солдатами. Металлисты из Ланкастера, докеры Лондона, трамвайщики Чикаго, потомки парижских коммунаров из предместья Сен-Дени, моряки Сиднея и шанхайские кули слали Ленину письма и телеграммы, приветствовали русскую революцию и первое в мире государство трудящихся. Американский писатель Джон Рид по свежим впечатлениям русского Октября писал о «десяти днях, которые потрясли мир».
Показательным для изменившегося соотношения сил в крае был уже сам состав съезда, перед которым должен был выступить и отчитаться соглашательский краевой исполком. Более половины мест принадлежало большевикам. Именно их облекли высоким доверием пролетарии Дальнего Востока. К ним примыкали левые эсеры. Фракция же меньшевиков едва собрала девять мандатов, большей частью за счет представителей Благовещенского Совета. Там позиции правых эсеров и меньшевиков были пока прочными.
Обстановка в городе в момент открытия съезда была напряженной. Только накануне исполком Хабаровского Совета ликвидировал русановскую авантюру. Русанов и его секретарь эсер Гражденский находились под домашним арестом. В некоторых учреждениях и городских гимназиях началась политическая стачка служащих и учителей. Хабаровск по существу был лишен нормальной связи с центром. Очень запутанным и острым был продовольственный вопрос. Амурский продовольственный комитет, располагая значительными излишками хлеба, упорно препятствовал доставке его в Приморскую область. Завоз хлеба из Маньчжурии становился фактически невозможным из-за вмешательства империалистов, начавших осуществлять голодную блокаду Советской России. Предприятия простаивали ввиду нехватки топлива и сырья. Владельцы нарочно запутывали учет, снабжение, закрывали предприятия якобы из-за убыточности. Почти полностью была дезорганизована работа золотодобывающей промышленности. В рыбном деле ключевые позиции были захвачены иностранцами — японскими рыбопромышленниками. Они стремились прибрать к рукам и рыбалки на Нижнем Амуре. Английский капитал внедрялся в горное дело. Американцы монополизировали торговлю и снабжение сельскохозяйственными машинами и начали устанавливать свой контроль над железными дорогами. Ко всему этому добавлялись трудности, связанные с пограничным положением края, с демобилизацией запасных солдат из армии. Наплыв в край бегущих из центральных губерний царских офицеров, чиновников, буржуазных дельцов заметно активизировал местных контрреволюционеров.
Распространялись слухи о близком вмешательстве иностранцев в политическую жизнь края, об интервенции. Поведение консульского корпуса во Владивостоке, Харбине и

Иркутске нельзя было назвать иначе, как враждебным. Это соответствовало позиции, занятой послами великих держав в Петрограде. В Вашингтоне, Лондоне, Париже, Токио и Харбине плелись нити большого антисоветского заговора, в планах которого предусматривалась первоочередная оккупация русского Дальнего Востока и Сибири. Уже английская разведка направляла царского адмирала Колчака в Пекин, чтобы в подходящий момент он мог сразу появиться на сцене. Гучков, Путилов, Хорват — эти «столпы» рухнувшего царского режима — начали серию совещаний с дипломатами стран Антанты и Японии. Казачий есаул Семенов, будущий палач трудящихся Забайкалья, формировал на станциях Чжалайнор и Маньчжурия банды головорезов. Американские конгрессмены обхаживали сибирских кооператоров и областников, подбивая их на объявление автономии под вывеской «Дербер и К°».
Обстановка была сложной. Но не тревога и опасения, а твердая уверенность в победе революции характеризовала настроение подавляющей части делегатов съезда.
Это настроение Потапов почувствовал сразу, едва открыл дверь помещения, где собралась фракция большевиков. Заседание уже началось. Михаил Юрьевич взял стул и сел позади, высматривая, у кого бы узнать о принятых здесь решениях.
Рядом сидел пожилой плотный человек в кожаной тужурке, похожий на заводского механика или железнодорожного машиниста. Сложив большие рабочие руки на коленях, он внимательно слушал очередного оратора.
— Скажите, порядок съезда уже обсудили? — шепотом спросил Михаил Юрьевич.
— Да, — коротко ответил сосед, повернув к Потапову круглую лобастую голову.
Лицо у него было бритое, черные усы и небольшая узкая бородка аккуратно подстрижены. Из-под густых бровей глянули живые выразительные глаза. Потапову он смутно кого-то напоминал.
— Мы не встречались прежде?
— Возможно, возможно, — сказал сосед глуховатым баском. — А вы кто будете?
Михаил Юрьевич назвал себя.
— Рад познакомиться. Я — Мухин, — приветливо сказал человек в кожанке и протянул Михаилу Юрьевичу крепкую жилистую руку.
— Федор Никанорович! — обрадовался Потапов. Он много слышал об этом известном революционере-подпольщике, руководителе амурских большевиков.
— Совершенно верно — Федор Никанорович... Так в церкви нарекли, — с доброй усмешкой подтвердил Мухин. — А вы что же опоздали, товарищ дорогой?
— Опоздаешь тут! — Потапов с горечью махнул рукой. — Битых три часа проторчал на телеграфе, саботажников убеждал. А тут вкладчики осаждают банк и сберегательную кассу. Кто-то пустил слух, что ночью мы будем изымать из кредитных учреждений всю денежную наличность. Иначе говоря, грабить банк.
— Старые приемчики. Провокация. — Мухин покачал головой, брови у него почти сошлись над переносицей. — Меня вот так однажды в компанию фальшивомонетчиков зачислили. Без зазрения совести. И чуть не упекли на каторгу по вздорному обвинению. Знают, подлецы, на какой струне играть.
Они разговаривали негромко, но мешали сидящим впереди. Кто-то шикнул на них.
— Ну, послушаем, — Мухин сложил опять руки на коленях и сощурил глаза. Но уже через минуту снова повернулся к Потапову: — У меня к вам есть некоторые просьбы. Я уж воспользуюсь встречей, не обессудьте.
— Эй, «Камчатка»! У вас там отдельное совещание, да? — спросил председатель, строго блеснув глазами.
Это был Губельман — представитель областного комитета партии, подвижной чернобровый человек. Ни одной минуты он не сидел без дела: то пошепчется с кем-нибудь за столом, то настрочит записку или слушает выступление и в такт словам покачивает большой кудлатой головой, Видно, он тоже присматривался к людям, прощупывал настроение.
Повстречавшись глазами с Потаповым, он взглядом спросил: «Как дела?» — «В порядке», — также взглядом ответил Михаил Юрьевич.
— Ну, кажется, по всем вопросам договорились. Будем кончать, — посмотрев на часы, сказал председатель. — Держаться твердо, товарищи! Теперь соглашателям из краевого

исполкома некуда податься. — Он крутнул головой, пробежал быстрым взглядом по лицам. — Будем открывать съезд, товарищи!
Послышался шум отодвигаемых стульев.
— Да-а, вот так и решится проблема. Помните: «Из искры возгорится пламя...» — сказал Мухин, идя вместе с Потаповым к выходу из зала. — В газетах кричат о неминуемом крахе большевиков. А Советская власть в это время утверждается на берегах Тихого океана. Хорошо мы угадали родиться в такое время.

4

Тревожно было в городе в эту ночь. Кто-то ловко и умело пугал обывателя грозящими бедами. Слухи, шепотки ползли из дома в дом.
Возле городского банка волновалась толпа. Помимо вкладчиков, здесь немало зевак и разных подозрительных личностей.
Рабочие и солдаты, проходя мимо, с усмешкой посматривали на озябших старух и дородных лавочников.
Падал редкий снежок, мягко похрустывал под ногами.
— Граждане, расходитесь! Право, не о чем беспокоиться, — уговаривал публику невысокий человек в коротком осеннем пальто. — Вот разберемся с делами, и банк начнет нормально действовать. Никто ваших денег не тронет.
— Зачем же тогда комиссара поставили?
— А затем, чтобы народное добро зря не растаскивали, — терпеливо разъяснял человек в пальто. — Мы знаем, что вашими деньгами хотят заплатить саботажникам.
— Ло-ожь!
— Нет, это правда.
— Пусть скажет об этом сам комиссар.
— А я и есть комиссар, — сказал человек в пальто. Достал папиросу, повернулся спиной к ветру и чиркнул спичкой. Вспышка осветила на мгновение его худое лицо с запавшими щеками и большим сабельным шрамом наискосок через левую бровь к середине лба. — Я вам точно говорю. Бели угодно, можете сейчас выделить двух-трех человек. Пусть посмотрят документы, — продолжал он тем же спокойным, убеждающим тоном.
— В самом деле. Почему не принять предложение? — заколебался кто-то в очереди. — Я бы пошел.
— Вот-вот! Таких и ищут — доверчивых... Не верьте ему! Он за немецкие деньги совесть продал, — истерично закричала разодетая в меха женщина. Протолкавшись вперед, она оказалась лицом к лицу с комиссаром. — Вы только посмотрите на его рожу! У, разбойник!.. Вы посмотрите, — продолжала она высоким сварливым голосом, хватая комиссара за плечи и поворачивая его лицом к фонарю, горевшему над входом в банк. — Из какой шайки тебя сюда прислали, грабитель!
— Ну, дура! Дура-а, — сказал комиссар, сбросил с плеч ее руки и отступил на шаг. — Шрамом я царю обязан. Казак полоснул шашкой в тысяча девятьсот пятом году.
— Бог шельму метит! — с веселым злорадством крикнул подобравшийся вслед за женщиной верзила.
— Слышь, народ, у него, должно быть, ключи, — быстрой скороговоркой сказал кто-то.
Очередь сразу придвинулась и зашумела.
— Еремей, дай ему разок в ухо. Небось станет сговорчивее, — предложил тот же ехидный голос.
Налетевшим порывом ветра качнуло фонарь; по лицам столпившихся возле комиссара людей пробежала черная тень.
— Может, отдадите ключи по-хорошему? — глухим голосом спросил верзила.
Опять качнулся фонарь, тень метнулась, но уже в обратном направлении.
— По-хорошему я мог бы тебя сейчас уложить на месте. И следовало бы, — спокойно и тихо сказал комиссар, не обнаружив растерянности или страха. — Да вижу, чужим умом живешь. Ох, не доведут тебя до добра такие советчики. Посторонись-ка, парень! — И он с укором обратился к остальным: — Вы вот уши развесили, а вам такое напоют — закачаешься. Толкают на нехорошее дело.
— Нехорошее... Верно, — согласился голос из толпы. — У вас ведь охрана.

— А как же! — весело подтвердил комиссар. — Ей на такое безобразие спустя рукава нельзя смотреть. Есть воинский устав.
— Станете стрелять?..
— Будем защищать банк от громил. Имейте это в виду, — сказал комиссар и постучал в калитку.

Проводив вечером Анфису Петровну до здания, где открывался съезд, Вера Павловна и Даша долго ходили по улицам, прислушивались к разговорам.
Обеих поражало разное настроение людей. Одни — преимущественно люди с окраин — открыто высказывали свое удовлетворение. Молодежь из Арсенальской слободки, невзирая на мороз, пела песни и лихо отплясывала под гармошку. Зато чистая публика громко высказывала возмущение. Только усиленные красногвардейские патрули на улицах сдерживали готовые прорваться наружу страсти.
Наслушавшись всякого, сестры с чувством тревоги вернулись домой.
Дома оказался неожиданный гость — Сташевский.
— Политическая стачка служащих поставит большевиков в безвыходное положение. Не пройдет и месяца, как они запросят пардону, — говорил он, беспокойно озираясь по сторонам.
Всегда уверенный в себе, импозантный, Сташевский сейчас казался пришибленным. Видимо, он сам не очень верил тому, что предсказывал.
Олимпиада Клавдиевна состояла с ним в дальнем родстве, но не любила заважничавшего сверх меры начальника почтово-телеграфной конторы. Встречались они редко.
— Боже мой, где вы ходите так поздно? Я чего только не передумала, — воскликнула она, когда племянницы одна за другой вошли в столовую.
Сташевский поздоровался с ними снисходительным кивком головы.
— Тетя ваша совершенно права, выражая беспокойство. Сейчас можно ожидать любых эксцессов, — сказал он с важностью и положил себе в стакан еще один кусок сахару. — На глазах у нас человеческая личность превращается ни во что, — продолжал он, помешивая чай ложечкой и присматриваясь исподволь к сестрам, похорошевшим после прогулки по морозцу. — Человека могут оскорбить словами или действием, обобрать до нитки, лишить его имущества я самой жизни. Короче говоря, вас экспроприируют в интересах светлого будущего. Слуга покорный. Такая перспектива меня нисколько не привлекает.
— Ах, это ужасно! — сказала Олимпиада Клавдиевна. — В конце концов жизнь человеческая так коротка.
— Вот начнется террор, так ее еще укоротят, — с угрюмым видом изрек Сташевский.
— Ну, вы сегодня просто не в духе, я заметила сразу. — Олимпиада Клавдиевна не хотела принимать всерьез его мрачных предсказаний. — Вера, ты почему торопишься?.. Сколько раз говорю ей, чтобы не глотала горячий чай. Это вредно.
— Может быть. Но я так люблю, — сказала Вера Павловна. — Крепкий горячий чай — моя страсть.
— Конечно, ты уже в таком возрасте, когда со мной можно больше не считаться. Я этого ждала, ждала, — сказала Олимпиада Клавдиевна; все ее давние невысказанные обиды прорвались в смешном и нелепом упреке. — Вот современная молодежь, — продолжала она, обращаясь к Сташевскому. — Дома они глотают кипяток и политическую литературу, на улице готовы примкнуть к любой демонстрации, лишь бы под красным флагом. Их идеал — матрос.
— Гм... Да... — мычал Сташевский, глотая такой же горячий чай. — Позвольте, почему... матрос? — удивился он.
— Не меня об этом спрашивать.
Даша, опустив глаза к тарелке, чувствовала, что неудержимо краснеет.
— А ты что цветешь, как маков цвет? Погляди, Вера!.. Что с Дашей? — сказала Олимпиада Клавдиевна, внимательно посмотрев на смутившуюся до крайности племянницу.
Впрочем, неприятной темы больше не касались. Даша, допив чай, незаметно выскользнула из столовой. Ушла в детскую и Вера Павловна.
Сташевский не торопился уходить.

— Ах, какие все прыткие. Зажечь мировой пожар, создать то, что самой историей предопределено лет так, примерно, через сто. Так нет. Мы — азартные люди. Нам подай сейчас же социализм... — желчно говорил он. — Сказка о рыбаке и рыбке вечно следует за нами. А мы, зная ее мораль, все же творим без конца одни и те же ошибки. Спешим да людей смешим.
Олимпиада Клавдиевна недоумений посматривала на засидевшегося гостя. Не ради же этих рассуждений он пришел к ней.
— М-да! Вот так и живем... На краю разверзшейся пропасти, — продолжал жаловаться Сташевский, не зная, как приступить к делу. — Я ведь, Олимпиада Клавдиевна, пришел по-родственному, — решился он наконец, и заискивающая улыбочка появилась на его холеном, немного одутловатом лице. — Вы слышали об аресте Русанова и Граженского? Мне тоже грозит сия участь, — упавшим голосом сказал он и сложил крест-накрест руки на животе.
— Бог с вами, Станислав Робертович! Уж вы-то что плохого сделали? — воскликнула Олимпиада Клавдиевна.
— Предвижу и такой случай, — тоном примирившегося с неизбежным сказал Сташевский. — Как член стачечного комитета я должен заблаговременно принять меры. Да-с. Если я оставлю у вас на сохранение... Нет, не пугайтесь! Никаких бумаг, — он предупреждающе поднял палец, затем приложил его к губам, давая понять, что все останется между ними. — Столовое серебро, золотой браслет и кольца жены... еще кое-какая мелочь. Один маленький чемоданчик. О, благодарю! Я знал, что могу на вас рассчитывать. — Сташевский рассыпался в благодарностях, хотя Олимпиада Клавдиевна не успела и слова сказать.
— Станислав Робертович, я, право, не знаю... — она никак не могла придумать приличный предлог, чтобы отклонить эту странную просьбу.
— Фу, как гора у меня с плеч! — не слушая ее, повеселевшим голосом сказал Сташевский. — Значит, завтра жена занесет чемоданчик. Позвольте ручку, Олимпиада Клавдиевна! Вот так, — он изогнулся, чмокнул губами ее руку повыше запястья и поспешил откланяться.
Когда вернулась гостья, Олимпиада Клавдиевна так и не слышала. Сон сразу сморил ее, едва голова очутилась на подушке.
Дверь Анфисе Петровне открыла Вера Павловна. Она проводила ее в свою комнату, где на диване была приготовлена постель,
— Уж извините, пожалуйста! Только что кончилось собрание, — сказала Анфиса Петровна, расплетая косы.
Погасив свет, они не скоро еще смогли заснуть.
— Народу, народу сколько! — с наивным удивлением говорила Анфиса Петровна. Она со всеми подробностями стала рассказывать об открытии съезда, выборах президиума и о том, как меньшевики хотели без публики на закрытом заседании поставить вопрос об отношении съезда к заговорщику Русанову, а большевики не дали им это сделать, заявив, что от народа таить тут нечего, и как были избраны уполномоченные, чтобы принять ключи и дела от старой власти. Рассказывая об этом, она вдруг всхлипнула в темноте, сглотнула слезы и рассмеялась: — Дура я, дура! Радоваться надо, а я плачу...
На втором заседании съезд обсуждал отчет Дальневосточного краевого комитета Советов.
— Бородка Минина, а совесть глиняна, — коротко отозвалась Анфиса Петровна о докладчике. — Еще хотели, чтобы им благодарность вынесли.
— Но ведь работали же люди, старались, — сказала Олимпиада Клавдиевна, знавшая председателя краевого исполкома меньшевика Вакулина.
— Старались. Да для кого? От их стараний не счесть страданий.
Анфиса Петровна не стеснялась прямо высказывать свое мнение и умела облечь это в живую, образную форму.
Олимпиада Клавдиевна не без интереса приглядывалась к своей гостье. Ее поражало то, как легко и просто эта женщина вошла в их дом и сколько новых мыслей принесла она сюда. Невольно она сравнивала ее слова с тем, что здесь накануне говорил Сташевский, и не знала, кому из них следует больше верить. Сама она в известной мере разделяла опасения Сташевского.
Между обеими женщинами установились довольно сложные, но в основе дружеские отношения.

— Бастуете? Ох, ругать вас некому, — говорила напрямик Анфиса Петровна, когда хозяйка пожаловалась на скуку.
— Боже мой, не могу же я одна из всей гимназии идти заниматься. Кстати, ученики тоже примкнули к стачке, — оправдывалась Олимпиада Клавдиевна.
— Пороть их некому, сорванцов!
— Поймите, милая. Как от других оторваться? Нельзя. У нас ведь своя корпорация...
— Чего, чего? — Анфиса Петровна выслушала объяснение, покачала головой. — Уж действительно... Народ в одну сторону, а они поперек дороги! Вот в деревне учителя не чудят... учат детишек да еще спектакли представляют. Они за народом, как нитка за иглой.
— Милая, вы не представляете себе всей сложности положения интеллигенции, — защищалась Олимпиада Клавдиевна. — Под угрозу поставлено само существование культуры. Представьте, что в школьный комитет придет недоросль комиссар... Что ему Моцарт или Чайковский!
— А это кто? — с присущей ей непосредственностью спросила Анфиса Петровна. Она жадно впитывала новые понятия, старательно запоминала неизвестные ей имена.
— Как, вы не слышали о Чайковском?! — Олимпиада Клавдиевна всплеснула руками.
— Матушка, а где ж мне слышать? Как поднимешься с зарей, так и топчешься до первых петухов. За стряпней, шитьем да пеленками вся жизнь прошла, — сказала Анфиса Петровна, показав своя натруженные руки. — А летом огород, покос. Коровенку подоить, избу побелить — все женская работа.
— Да, да. Я понимаю... — Олимпиада Клавдиевна сочувственно кивнула головой.
— Только и радости, что песню споешь, когда дитя в люльке укачиваешь. — Строгое лицо Анфисы осветилось улыбкой. — Я песню душевную ой как люблю! И голос был. Уж муж, на что суровый, сурьезный мужчина, а запою — у него, верите, иной раз слезы в глазах. «Эх, говорит, Анфиса! Загубил я твою долю». Станем рядом, поглядим на деток. Какая у них жизнь?.. Вот разве революция выведет на дорогу.
— Учить надо непременно. Старайтесь изо всех сил, — посоветовала Олимпиада Клавдиевна.
Анфиса Петровна с доброй улыбкой матери поглядела на нее. Кажется, она лучше понимала Олимпиаду Клавдиевну, чем та ее...

5

Четырнадцатого декабря (двадцать седьмого по новому стилю) вечером съезд приступил к обсуждению главного пункта повестки дня — вопроса о текущем моменте и организации центральной власти.
В этот день был исключительный наплыв публики. В зале поставили дополнительно несколько рядов стульев, но их не хватило. Люди сидели на подоконниках, стояли в проходах.
Анфиса Петровна достала два пригласительных билета. Олимпиада Клавдиевна, однако, идти на съезд отказалась.
— Нет, нет! Что обо мне подумают...
— Ну тогда вы собирайтесь, девчата! Не пожалеете, — сказала Анфиса Петровна.
Даша от восторга захлопала в ладоши.
Пришли они пораньше.
Пока зал наполнялся, Даша с интересом рассматривала помещение. Все было просто и обыкновенно. На сцене стоял стол для президиума, покрытый синим сукном. На нем — графин с водой, два стакана. Тремя ровными стопками лежали бумаги.
На красном полотнище аршинными буквами призыв: «Вся власть Советам!»
Разговоры делегатов тоже показались Даше самыми обыкновенными. Она была несколько разочарована. Съезд представлялся ей событием чрезвычайно пышным и торжественным.
Прямо перед Дашей сидел адвокат Кондомиров — хорошо упитанный брюнет с холеной бородой. С ним шептался пожилой, плохо выбритый человек в темной тройке. У себя на коленях он держал портфель и все время щелкал замком, из чего Даша заключила, что он сильно нервничает.
— Постановка данного вопроса на обсуждение съезда преждевременна и с юридической стороны неправомерна — это отправной тезис. Я с ним согласен, — мягким воркующим голосом говорил Кондомиров, поглаживая воздух перед собой округлыми движениями

руки. — Передача всей полноты власти местным Советам — анахронизм... новое дробление Руси на уделы.
— Вот именно... анахронизм! — сосед Кондомирова снова щелкнул замком. — Ну, вы меня ободрили. А вот и наш дражайший председатель! — воскликнул он с заметной неприязнью.
Даша повернула голову и увидела идущего с озабоченным лицом высокого широкоплечего человека в темно-сером хорошо выглаженном костюме. Он скрылся за дверью на сцену.
«Так это Краснощеков», — подумала она и стала внимательнее наблюдать за теми, кто направлялся туда.
Недалеко у окна группа людей продолжала ранее начатый спор. Среди них обращал на себя внимание маленький стройный военный в зеленом френче, такой аккуратный, будто он только что сошел с учебного плаката. Засунув большой палец за борт френча, он с хмурым видом смотрел на жестикулирующего перед ним тоже невысокого брюнета с растрепанной шевелюрой и заметно обозначившимся брюшком.
— Ну и что, если мы в одной партии? — спросил военный, нетерпеливо барабаня пальцами.
— Или вы хотите связать мою совесть? — и он сделал движение, чтобы уйти.
— Постойте! — брюнет схватил его за рукав. — Зачем торопиться? Подождем, что скажет Учредительное собрание... — он понизил голос, и дальше Даша слышала одно монотонное бормотание.
— Ах, оставьте! — с досадой оборвал военный. — Коалиция с большевиками?.. Ну и прекрасно!
Тут в разговор вступил молчавший до этого высокий горбоносый человек с орлиным взглядом, чем-то напомнивший Даше портрет Багратиона.
— Что такое Учредительное собрание, мы еще посмотрим. А линию Ленина я тоже одобряю. Я за Советы, за то, чтобы немедленно брать власть! — громко и уверенно сказал он.
— Но вы забываете о пограничном положении края, — воскликнул брюнет, взмахнув обеими руками. — Как отнесутся к акту съезда иностранцы? Нам ведь у них хлеб просить.
— Да, что скажет княгиня Марья Алексевна? — иронически протянул горбоносый.
Даша вспомнила, что видела этого человека на вечере в Учительском доме. Он являлся одним из руководителей городского Бюро профессиональных союзов.
Молоденькие учительницы из школы при Народном доме, усевшись позади Ельневых, порицали городских учителей за участие в политической стачке. Они были в синих форменных платьях, с одинаковыми короткими прическами, начинавшими тогда входить в моду.
— Нет, в Имано-Хабаровском союзе другая обстановка! Сельский учитель ближе стоит к народу. Он сам знает нужду, — говорила бойкая веснушчатая девушка с льняными кудряшками.
— Как думаете, господа, прибавят нам с нового года жалованье? — спросила вторая. — Щепетнов обещал.
— Что Щепетнов. Как решит съезд.
— И решит. Вот увидите.
— А как е учебниками?.. Неужели по старой программе...
— Это определит школьный комитет.
Даша сперва слушала без особого внимания. Затем она сообразила, что тут решаются вопросы, которые и ее близко касаются. Постепенно она начинала входить в атмосферу съезда, в случайных репликах почувствовала скрытое напряжение, борьбу, прониклась, как и все, ожиданием чего-то важного, значительного, что должно произойти в ближайшее время.
Вдруг она услышала голос, который заставил ее затрепетать. Не поворачивая головы, еще не видя подошедшего человека, она догадалась, что это Логунов. На нем красная повязка дежурного, сбоку револьвер. На лице у него тоже выражение ожидания.
Логунов поздоровался с Верой Павловной, улыбнулся Даше. Она же, коротко взглянув на него, с серьезным выражением лица смотрела теперь прямо перед собой на бритый затылок Кондомирова, на пустую сцену.
Странное состояние было у нее в эту минуту. Нечто похожее испытывает пловец перед тем, как с прогретого солнцем берега прыгнет в чистую и прохладную глубь реки. Она манит к

себе, зовет отдаться ее течению, но что-то еще удерживает пловца, все нервы и мускулы которого напряжены для броска. Еще миг, и не будет возврата назад.
Логунова кто-то позвал, и Даша свободно перевела дух. «Да что это со мной происходит?» — подумала она со страхом и радостью.
Сзади одинокий голос нерешительно запел «Варшавянку».
Чей-то сильный чистый тенор мгновенно подхватил мотив:

В бой роковой мы встуии-и-ли с врага-ами...

Заглушая споры, песня, как лавина, захлестнула зал. Она давала выход напряженному ожиданию и сама как бы вновь родилась здесь.

Но мы подымем гордо и сме-ело
Знамя борьбы за рабочее де-ело,
Знамя великой борьбы всех наро-одов
За лучший мир, за святу-ую свобо-оду.

Даша почувствовала, как к горлу у нее подступил какой-то комок. Радостное возбуждение захватило и ее. Она с силой сжала пальцы сестры, ощутила ответное пожатие.
От дверей к столу президиума пронесли знамена рабочих организаций.
Зал гремел:

То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем...

Когда показались члены президиума, Даша захлопала в ладоши. Она не слышала слов председателя, не разобрала фамилии оратора, которому он первому предоставил слово. В ее ушах еще звучали слова песни, поразившие ее глубоким смыслом: «Смелей, друзья! Идем все вместе, рука с рукой, и мысль одна!»
«Как это хорошо! Как хорошо», — подумала она и оглянулась, ища Логунова.
Ее удивило отчужденное, враждебное выражение, с каким смотрели на сцену обе учительницы.
— Ты слушай, не вертись, пожалуйста, — сказала Вера Павловна и дернула Дашу за руку.
Даша растерянно посмотрела вперед и только сейчас заметила на трибуне того человека в тройке, который недавно шептался с Кондомировым.
Говорил он бойко, взмахивая рукой и выдерживая паузы.
— Прошлое дает очертания будущего, и необходимо дать контуры будущего для оправдания прошлого, — оратор посучил в воздухе пальцами, как бы ловя невидимую нить.
— Мы, марксисты, мыслим социалистический переворот только в мировом масштабе. В Западной Европе, может быть, имеются экономические предпосылки для социального переворота, но зато там еще не созрели предпосылки психологические. У нас же как раз наоборот...
Оратор, как жонглер, помахивал руками, будто перебрасывал словечки: «социальная революция», «террор», «социалистический эксперимент», «утопия».
В зале нарастал шум. Председатель посматривал в зал, на оратора, но пока не вмешивался.
Зато один из его заместителей — чернобородый широкоплечий человек — всем своим видом выражал готовность немедленно ринуться в бой.
— Как фамилия оратора? — спросила Даша у сестры.
— Разве ты не узнала? Это Вакулин.
— А тот, с черной бородой?

— Моисей Губельман, — сказала учительница с льняными кудряшками. — Вот он сейчас ему задаст.
Но следующим на трибуну поднялся не он, а Потапов.
— Меньшевики предлагают нам соглашение, если мы откажемся от утопических взглядов, — сказал он, выждав, пока уляжется шум. — Что же они считают утопией? Социалистическую революцию... Что разумеют под «экспериментом»? Декрет о мире. Но он нужен народу, как хлеб, как воздух, — это голос простых тружеников, протестующих против бессмысленной, бесчеловечной войны, затеянной ради прибылей господ капиталистов. Или декрет о рабочем контроле? О земле?.. Спросите любого рабочего, крестьянина, отдадут ли они эти завоевания революции? — гневно сказал Потапов. — Не отдадут ни за что! Мы ответим вам одно: большевики не боятся слов «социалистическая революция»!
— Верно-о!
Выступавшие делегаты говорили о требованиях рабочих собраний, крестьянских сходов, зачитывали резолюции митингов воинских частей. Все требовали передачи власти Советам и немедленного проведения в крае декретов Совета Народных Комиссаров — декретов Ленина.
Маленькая группка меньшевиков оказалась изолированной.
От нее на трибуну вышел Соломон Левитас. Хриплым, срывающимся голосом он стал зачитывать декларацию меньшевиков, полную злобных выпадов и нелепых обвинений по адресу большевиков.
Зал выслушал его до конца. Все понимали, что вопрос, собственно, уже решен. Понимал это, видно, и Левитас, потерявший на трибуне последний остаток выдержки.
— Я хочу сказать еще несколько слов от себя, — заявил он и начал браниться под шум и смех делегатов. Тогда он брякнул: — Большевики говорят, что они хотят завоевать социализм. Но зачем они это делают, когда мы социализма не хотим в настоящее время?
Даже единомышленник Левитаса Вакулин схватился за голову. Адвокат Кондомиров неодобрительно крякнул.
Зал хохотал.
— Вот уж доподлинно: язык мой — враг мой! И нечего валить с больной головы на здоровую, — тоже смеясь, сказал Потапов.
— Мне слово! Мне, — крикнула Анфиса Петровна и, не ожидая, пока председатель назовет ее фамилию, уверенная, что в слове ей не откажут, пошла к трибуне.
Зал сразу стих.
— Я, мать семерых детей, голосую за Советскую власть! За мир! И еще хочу передать земной поклон товарищу Ленину и сердечное спасибо ему, — сильным звучным голосом сказала она и низко поклонилась собранию.
Ей аплодировали до самозабвения, до боли в руках. Многие вскочили с места. Кто-то кричал:
— Вот русская женщина, а? Браво!
— Не оратор я. Извините...
Анфиса Петровна возвращалась на свое место, спокойно и строго глядя перед собой, сознавая, что самое важное и нужное в ее жизни сделано. Она согласно кивала головой, когда председатель стал зачитывать проект решения съезда, предлагаемый от имени фракции большевиков:
«Признавая Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов несокрушимым оплотом защиты завоеваний революции и борьбы против контрреволюционных попыток, 3-й краевой съезд Советов Дальнего Востока провозглашает единственным представителем центральной власти краевой комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Как таковой, Совет должен проводить неуклонно и немедленно в жизнь все декреты, постановления и распоряжения рабочего и крестьянского правительства в лице его Совета Народных Комиссаров, бороться имеющимися в его руках мерами с контрреволюцией, продовольственной, железнодорожной, почтово-телеграфной и финансовой разрухой и установить твердую власть, опирающуюся на широкие массы трудового народа. Все местные Советы, входящие в состав нашей краевой организации, объявляются правомочными органами центральной власти на местах».

Голосовали дружно. Только четыре голоса было подано против.
Губельман вскочил, поднял руку. Глаза у него увлажнились. Должно быть, припомнились ему и шествие каторжников в кандалах мимо их дома в Нерчинске, и многодетная нищая семья отца, и первые листовки, отпечатанные им в Чите по поручению старшего брата, известного деятеля большевистской партии Емельяна Ярославского, и первый арест, жизнь поднадзорного человека. Вспомнил Нерчинский завод, Кадаин и Горный Зерентуй в Забайкалье — страшные каторжные тюрьмы, сожравшие восемь лучших лет его жизни.
— Товарищи! — взволнованно сказал он. — Вот и свершилось. Поздравляю с установлением на Дальнем Востоке Советской власти!
Ему ответили троекратным «ура». Делегаты в гости обнимались, шумно выражали свою радость.
— Дожили... дожили, — говорила Анфиса Петровна, целуясь с Верой Павловной.
Михаил Юрьевич пожимал руки Калнину и Мухину. К ним подошел улыбающийся Михаил Чесноков — делегат от Свободненского Совета.
— Ну, тезка, давай и мы обнимемся! — сказал он Потапову.
— Жаль, что нет с нами Арнольда Яковлевича, — заметил Калнин.
И они заговорили о Нейбуте, недавно уехавшем в Петроград в качестве члена Учредительного собрания, прошедшего на выборах по списку № 5 большевиков.
В трудное лето 1917 года Арнольд Яковлевич Нейбут сплачивал партийную организацию Дальнего Востока. Он много сделал для большевизации Советов в крае и был одним из тех, кто деятельно готовил этот съезд, Потому и вспомнили его сейчас товарищи теплым, добрым словом.
...Был поздний час, но почти все остались смотреть концерт, подготовленный кружковцами Народного дома.
Домой сестры Ельневы возвращались на заре.
— Ох, и устроит нам тетя проборку, — сказала Вера Павловна. — Я тоже хороша. Бросила сына. Ушла.
— Да ведь не привязанная. Такое раз в жизни видишь, — возразила Анфиса Петровна.
Даша молча улыбнулась и поглядела на меркнущие редкие звезды.
Алело утреннее небо. Где-то над Тихим океаном зарождался новый день.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Гудок в Арсенале зычный. В утренней морозной тишине далеко разносится его могучий рев. По гудку в городе проверяли часы.

В Арсенальской слободке гудок поднимал на ноги, гнал из домов почти все взрослое мужское население. В кривых улочках, упирающихся в овраги, поскрипывал под ногами снег.

Арсенальцы жили скученно, тесно, не отгораживались друг от друга высокими заборами. Жизнь каждого протекала у всех на виду. Бывали, конечно, нелады между соседями: подерутся ребятишки, поссорятся женщины, не поделив нужду и горе. Но мужчины в слободке умели постоять друг за друга.

Изо дня в день, в дождь и пургу, ясным, погожим летним утром и холодной зимней ночью, когда с реки дует пронизывающий ледяной ветер, шли они к воротам завода, всегда чувствуя рядом плечо соседа. Дни бывали похожи один на другой: долгие часы изнуряющей работы, тяжелые думы о семьях, голодных, раздетых и разутых.

Теперь слободка шила новой, невиданной еще жизнью. Шире, свободнее расправились плечи мужчин. Когда они возвращались с работы, чаще звучали смех и веселая шутка. Вечерами в лачугах подолгу горел свет. И о чем только не говорили у огонька! Сколько надежд и чаяний пробудила весть о победе Октябрьской революции!

За тяжелыми створками арсенальских ворот во дворе фыркали кони снаряженного обоза. От заиндевевших конских морд валил густой белый пар. Негромко переговаривались возчики.

Груза в санях немного; сверху он прикрыт брезентом.

Часовой у ворот, обняв руками винтовку и косясь на проходивших во двор рабочих, читал накладную. Читал он медленно, напряженно всматриваясь в неясные буквы и беззвучно шевеля губами.

— Братцы, кто табаком богат? — спрашивал тем временем высокий старик возчик в брезентовом плаще.

— Допустим, я богат. Могу поделиться, — сказал подошедший Чагров, останавливаясь и доставая кисет. — Куда собрались в такую рань?

— Да вот... подымут ни свет ни заря. Проклятая жизнь! Еще бы одежа была справная. Так ведь шуба — на рыбьем меху... — возчик невесело рассмеялся, сбросил рукавицу и подставил Чагрову горсть. — На дворе, парень, зимой работа неласковая.
— Поезжа-ай! — часовой разрешающе махнул рукой.
Железные створки ворот раздвинулись шире. Послышался торопливый сипловатый голос старшего возчика:
— Трогай живее! С богом...
Мирон Сергеевич сыпанул возчику в горсть табаку и шагнул в сторону, освобождая дорогу. Передние сани уже выезжали за ворота.
— За табачок благодарствую, — простуженным голосом проговорил возчик и тряхнул вожжами.
Рослый, сильный битюг налег грудью на хомут. Но сани пристыли к земле — ни с места. Новый рывок. Затем конь всей тушей навалился на одну из оглобель, сани тяжело стронулись.
— Эй, друг! Папаша!.. Что везешь? — крикнул обеспокоенный Мирон Сергеевич. Догадка поразила его. — Сто-ой!
Брезент сдернули с саней. Под фонарем тускло заблестели уложенные рядком, похожие на кирпичи, чушки червонной меди, пластины баббита.
— Эге! Ловко...
Кто-то уже побежал за ворота, с бранью заворачивал назад выскочившую со двора головную подводу.
Вокруг саней сгрудились возмущенные рабочие. Лошади косились на людей, настораживали уши. Откуда-то вынырнул начальник охраны.
— В чем дело? По какому случаю сборище? Р-разойдись!..
— А вы что... потакаете воровству?..
— Позвольте... Как вы смеете?!
— Фа-акт. С поличным попались...
— Граждане, не волнуйтесь. Я... расследую. Одну минуту, — начальник охраны сбавил тон. Пошептавшись со старшим возчиком, он бодро выкрикнул: — Все в порядке, ребята! Разрешение на вывоз груза имеется. Прошу не мешать возчикам следовать по назначению. Часовой, пропустить подводы!
Но дюжие арсенальскпе парни крепко держали лошадей под уздцы.
— Вы объясните, пожалуйста, зачем вывозят металл?
— А вам, собственно, какое дело?
— Стало быть, дело есть, если спрашиваю. Мы — хозяева...
— Хозяева? Ха-ха!.. Вот турну тебя за ворота, — вспылил вдруг начальник охраны.
— Поберегись, дядя! Как бы самого не прокатили на тачке.
Теперь уже добрая половина рабочих утренней смены толпилась у ворот. Оживленно обсуждали происшествие.
— От чужого вора — засов на замок. А как уберечься от своего... охранника?
— Прогнать взашей! И на их место поставить Красную гвардию.
— Верно!
Кто-то из молодых парней настойчиво допытывался у Чагрова:
— Мирон Сергеевич, вот ты, как большевик, скажи: что теперь делать? Как быть с этим добром?
— Что делать? — Мирон Сергеевич ненадолго задумался, решительно проговорил: — Подводы пока вернем обратно на склад. Придется как следует разобраться в этом деле.
Начальник охраны петухом наскакивал на него:
— Ты кто такой? Кто тебе дал право тут командовать? За самоуправство знаешь... Вот прикажу арестовать...
— А мы вас сами сейчас заарестуем, — задорно выкрикнул кто-то за спиной Чагрова.
— Кто я такой? — Мирон Сергеевич расправил усы, со спокойной усмешкой посмотрел на кипятившегося начальника охраны. — Извольте. Я — рабочий Арсенала. Десять лет хожу через эту проходную... И хочу, чтобы наш Арсенал жил, трудился. Чтобы народное добро не раскрадывалось, а в дело шло.

— Почему же вы полагаете, что металл пойдет не в дело? Странная манера всех в чем-то подозревать, — внушительным басом заметил подоспевший инженер, начальник отдела снабжения. Он шагнул внутрь образовавшегося круга, водрузил на нос пенсне и с любопытством уставился на Чагрова. — Не посмотрев в святцы, сразу бух в колокол, а?.. Но я готов дать необходимые разъяснения. Пожалуйста... Итак, почему вывозим медь и баббит?.. Излишки, только излишки... Мы передаем их Амурской флотилии. У них из-за отсутствия цветного литья застопорился ремонт боевых кораблей. Баббит нужен для заливки подшипников, не мне вам, металлистам, это объяснять. Вопрос, разумеется, согласован с главным артиллерийским управлением. Телеграфно. Что-с?.. Довольно конфузное положение, да? Ну, это бывает, — инженер снисходительно улыбнулся, вполне доброжелательно поглядел на Чагрова. — Вы еще сомневаетесь? Вот телеграмма...
Телеграмма пошла по рукам.
— Откуда излишки? Чепуха! Быть того не может, — недоверчиво сказал Чагрову сухощавый медник. — Тут, брат, махинация...
Но многие уже заторопились в цехи. На морозе в худой одежонке долго не выстоишь.
За холодными стеклами инженерского пенсне — скрытая тревога. Пока Мирон Сергеевич размышлял, держа телеграмму, начальник снабжения рысцой протрусил к воротам и сам распахнул их настежь. В его чрезмерной торопливости было что-то вороватой, нечистое.
— Поезжайте, голубчики! Поезжайте! Поторапливайтесь... А вы, ребята, можете положиться на меня, на мою совесть, — ласково журчал он, мелкими шажками семеня вокруг возчиков и рабочих.
Чагров решительно шагнул к воротам, загородил выход.
— Прошу прощения, гражданин инженер. Поскольку у нас сомнение, будьте любезны вернуть подводы обратно на склад.
— Что-с? — пенсне блеснуло под фонарем, погасло, отступило в тень. — Это самоуправство. Да-с.
В затылок ему ударил злой выкрик:
— Выкормили змейку на свою шейку!
— Гони, ребята, подводы обратно на склад. А ты поглядывай тут у ворот. — Чагров указал на молодого рабочего.
На темной половине двора его догнал старик возчик, потянул за рукав.
— Слышь, товарищ! Инженеру не верь. Не верь, говорю, — шептал он, обдавая щеку Мирона Сергеевича теплым дыханием. — По документам груз значится для Амурской флотилии, а возим в город. Чукинскую мельницу знаешь? Позади нее цинковый склад. А оттуда, говорят, американцам.
— Что?.. Возили уже? — Мирон Сергеевич схватил старика за плечо, стиснул железные пальцы.
— Ты меня не цапай, — обиделся старик. — Виноваты, конечно. Да кто знал? Опять же платят нам хорошо, как за сверхурочную работу. Обещали продукты выдать. Ты уж не суди строго, слышь. Повинную голову меч не сечет, — вздохнув, сказал возчик.
— Ну-ну! — Чагров не сдержался, обругал возчика. — Тоже хорош гусь. Молчал, пока за руку не схватили. Тьфу!.. Уйди от греха, слышь...
Возчик обиженно шмыгнул носом и поотстал. Над заводским двором отрывисто, точно команда, — три коротких гудка...

Рабочее место Чагрова — у дальней стены, рядом с конторкой мастера. От шумного цеха конторка отделена невысокой перегородкой из фанеры и стекла. Сверху она покрыта листами железа. Постепенно туда навалили всякой дряни: обрезки металла, остатки разбитых ящиков, поломанный табурет.
Верстак Чагрова втиснулся в узкое пространство между конторкой и капитальной стеной. Из окна скупо падал косой свет. Было темновато, но удобно: не меняя положения головы, стоило только поднять глаза, Мирон Сергеевич мог отсюда обозревать весь цех.
За спиной у него в темном углу скрывалась совсем незаметная со стороны маленькая дверь. Через нее легко было выйти на глухую и заброшенную часть заводского двора. Дверь долгое время стояла заколоченной наглухо, так как сообщаться с другими цехами через нее было неудобно: приходилось делать изрядный крюк в обход главного корпуса.

Мирон Сергеевич сразу оценил возможность иметь под рукой запасной выход. Еще в начале своей конспиративной деятельности он сам отремонтировал дверной замок, снабдив кого надо ключами. Этим выходом часто пользовались, если нужно было передать листовки или незаметно вынести из цеха раздобытое для организации оружие. Большевистскую литературу Чагров обычно прятал среди хлама, на крыше конторки, справедливо полагая, что никакому охраннику не придет в голову сунуть туда свой нос. Теперь прятаться уже не было нужды. Но Мирон Сергеевич так привык к своему месту, что переменить его ни за что не согласился бы.

Прищурясь, он неторопливо размечал предварительно зачищенный кусок листовой стали — накануне мастер велел ему изготовить несколько новых шаблонов — и думал о той сложной обстановке, которая создалась в Арсенале. Видимо, не одного Чагрова одолевали такие мысли. Привычный размеренный шум работающего цеха сегодня был Нарушен. Поднимая глаза от тисков, Мирон Сергеевич видел, как рабочие сходились небольшими группами, разговаривали.

«Плохо дело. Надо собрать сегодня заводской комитет», — подумал Чагров, зажимая стальную пластину в тиски.

Через цех в конторку тяжелыми, грузными шагами проследовал цеховой мастер Яковлев. Против обыкновения он даже не взглянул на простаивающие станки и ничего не сказал. Из этого Чагров заключил, что мастер не на шутку чем-то расстроен.

Мастера Яковлева считали службистом, не любили. Кое-кто в цехе побаивался его и заискивал перед ним. Но старые рабочие уважали мастера за знание дела. Яковлеву шел шестой десяток; был он слегка седоват, массивен, громогласен и не сдержан на обидное слово.

— Ну что тебе, Чагров, надо? Что? — нетерпеливо спросил он у Мирона Сергеевича, когда тот, придумав предлог, зашел в конторку.

Чагров спокойно объяснил, что ему нужно опиливать шаблоны, но нет краски для поверочных плит.

— У меня тоже нет... Голландская сажа? А я что ее — рожу? — буркнул Яковлев. Затем спросил: — Дома печь березовыми дровами топишь? Так потруси дымоход. Смешаешь сажу с минеральным маслом — вот тебе и краска.

Мирон Сергеевич подосадовал, что не получается у него разговор с мастером по душам, как хотелось, и спросил еще что-то относительно подготовки шаблонов к закалке. Яковлев недоуменно и хмуро посмотрел на него и с обидной терпеливостью, как новичку, объяснил.

— Все?

— Все, — сказал Мирон Сергеевич.

— Ты мне, Чагров, очки не вкручивай. Не за этим приходил, — с грустной усмешкой заметил Яковлев.

— Не за этим, Герасим Федорович. Верно.

— Ну? — мастер вопрошающе уставился на Чагрова. Кончики усов у него, всегда приподнятые вверх, сегодня обвисли. В глазах тоска.

Мирон Сергеевич знал, что Яковлев вернулся с экстренного совещания у начальника Арсенала. Что же там случилось такое, что могло так расстроить мастера? Но спросить об этом прямо было неловко. И Чагров, указав жестом на взбудораженный цех, промолвил:

— Не ладится у нас сегодня работа. Беспокоится народ.

— Вижу, — Яковлев подтверждающе мотнул головой, вздохнул. — А что я могу поделать? Что? — Неловко переступив с ноги на ногу, он еще раз вздохнул и уже другим тоном, тихо, избегая взгляда Мирона Сергеевича, закончил: — Арсенал, Чагров, видно, закрыть придется.

— Закрыть Арсенал?.. Что вы, Герасим Федорович! Как можно? — Мирон Сергеевич потянулся за кисетом, но рука его все проскакивала мимо кармана.

— Да так уж пошло у нас все через пень-колоду. Доработались! На свалку пора! На свалку, — усталым голосом продолжал Яковлев и сел, по-стариковски сгорбив спину. — Завтра будет объявлено о первом увольнении.

Чагров достал наконец кисет, свернул папиросу.

— Много людей... увольняют?

— Порядочно. Половина из нашего цеха.

— Значит, списочек будете составлять?
— Об этом контора сама позаботилась. У них там свои соображения.
Большие узловатые руки мастера то сжимались в кулак, то разжимались. Мирон Сергеевич глядел на его потемневшие от металла и машинного масла пальцы и думал, что этот хмурый, одинокий человек, привыкший командовать и отделять себя от других, сейчас, пожалуй, как и он, Чагров, не желает, чтобы в цех пришли тишина и запустение. Захотелось сказать мастеру что-то хорошее, ободряющее.
— Ничего, Герасим Федорович! Не согласятся рабочие с таким решением администрации.
— Приказ остается приказом, Чагров. Порядки у нас военные, сам знаешь.
— Ну, порядки менять придется. Иной порядок во сто раз хуже беспорядка. Выбросить людей на улицу — дело нехитрое. А надо всех к месту поставить. Вот помогите нам, Герасим Федорович.
...Час спустя большевики Арсенала сходились в конторку литейного цеха.

2

Начальник Арсенала полковник Поморцев подписал приказ о свертывании работ в Арсенале и увольнении одной трети рабочих. В список увольняемых включили наиболее активных арсенальских большевиков. Утром в проходной охрана должна была отобрать у них пропуска.
Но события пошли совсем не так, как рассчитывала администрация. У ворот сразу же возник митинг. Выслушав ораторов-большевиков, рабочие смяли охрану, не посмевшую противиться им, и растеклись по цехам. Все уволенные также стали на свои рабочие места.
Поморцев был еще на квартире, когда дежурный подпоручик сообщил по телефону, что в канцелярии его ждет делегация рабочих.
— Гоните их в шею! — побагровев, выкрикнул Поморцев.
В голосе подпоручика слышалась растерянность.
— Невозможно, господин полковник... К чему излишне раздражать людей?
— Тогда скажите им, что меня сегодня не будет. Я занят, болен!.. Я, черт возьми, именины праздную!
Поморцев в сердцах швырнул на диван шашку с темляком.
— Поздравляю, полковник! Кажется, и тебя не минула чаша сия? — невесело усмехнувшись, сказал сидевший у окна Лисанчанский.
Опасаясь гнева матросов, капитан 2-го ранга на днях сбежал с базы Амурской флотилии и скрывался пока на квартире у Поморцева, жена которого приходилась ему дальней родственницей.
— Я их все-таки сломлю! Они у меня... попляшут, — кипятился полковник, широкими шагами меряя кабинет.
— И кончится тем, что тебя поднимут на штыки. Не вижу в этом никакой необходимости, да и геройства тоже, — холодно заметил Лисанчанский.
— Что же мне делать, по-твоему?
— Маневрировать, дорогой мой. Не забывай, что ты находишься в сфере действительного огня. Идти на таран можно, но только в подходящий момент.
Капитан потянулся за папиросами. Закурив, он молча наблюдал за тем, как у Поморцева постепенно менялось выражение лица: из решительного и злого оно становилось растерянным и вялым.
— В нашей тактике саботажа гораздо больше смысла, чем это кажется на первый взгляд. У нас монополия знаний. Это — громадное преимущество, — продолжал Лисанчанский, когда Поморцев плюхнулся на диван и с болезненной гримасой схватился за голову. — Управлять производством они неспособны. Абсолютно. В этом ахиллесова пята большевиков...
— Допустим. А дальше... дальше что?
— Когда яблоко созреет, оно само упадет на землю... К сожалению, нам не всегда хватает выдержки.
— И тогда мы бежим с поля боя, — язвительно заметил полковник. — В конце концов я махну на все рукой.
— Ну, знаешь! Кораблем управляет тот, у кого руль в руках, — Лисанчанский похрустел пальцами, наклонился вперед, заговорил убеждающе: — Лавируй. Если угодно, описывай

полную циркуляцию. Но держись за штурвал... Придется уходить — оставь руль в руках надежного человека. Иначе при такой штормовой погоде нам не дойти до спокойной гавани.
«Сам-то ты... удержался?» — со странной смесью злости и удовлетворения думал Поморцев, вспоминая, каким испуганным и жалким предстал на днях перед ним его родственник, когда ночью ему отперли дверь.
Принесли почту. Полковник, поднявшись, подошел к зеркалу, посмотрел пристально на себя, удивился своему нездоровому виду. Вздохнув, он тихо отошел к окну и выглянул из-за шторы на улицу.
— Дожили, черт возьми! В собственном доме — как в осаде.
Лисанчанский, посапывая носом, шелестел газетными страницами.
— Гм! В Амурской флотилии собираются приступить к ремонту судов. Рабочий контроль... Ага, вот нечто более интересное! Протесты за границей против аннулирования царских долгов. Заявление представителя государственного департамента Соединенных Штатов...
Несмотря на потрясения последних дней, Лисанчанский был настроен весьма оптимистически.
— Парижская коммуна продержалась семьдесят два дня... Для России я допускаю полгода. Ну, на худой конец — год...
— Не думаю, чтобы это продолжалось так долго, — сказал Поморцев и позвонил к себе в приемную. — Что, эти чумазые ушли?
— Никак нет. Ждут, — приглушенно ответили в трубке.
— Вы что, не можете спровадить их ко всем чертям? Я не желаю встречи. Вы меня поняли, подпоручик?
— Дело в том, полковник, что сейчас с вами говорит Чагров, слесарь механического цеха.
— О, черт! А где этот болван подпоручик? — Поморцев поперхнулся, поспешно отстранил трубку и поглядел на нее так, будто держал возле уха змею. — Чего вы, собственно хотите, Чагров?
— Нам нужно встретиться. Не будем играть в прятки.
Кто-то другой на том конце провода зло добавил:
— Скажи ему, Мирон, что если он не явится, так мы ввалимся к нему на квартиру. Придем оравой в пятьсот человек.
Поморцев поежился, растерянно посмотрел на Лисанчанского.
— Через полчаса я к вашим услугам, господа.

Служебный кабинет начальника Арсенала обставлен мебелью в английском стиле. В кабинете по обыкновению прохладно. Но у Поморцева от волнения потели ладони, и он с досадой комкал в руке носовой платок.
— Не вижу сейчас иного выхода, господа. Не вижу, — говорил он, откинув назад голову и в упор глядя на сидящего перед ним Чагрова светлыми, редко мигающими глазами. — Чтобы не закрывать предприятие совсем, мы должны максимально растянуть выполнение имеющихся у нас заказов военного ведомства. Уволить часть; рабочих, сократить расходы — это диктуется экономической целесообразностью. Вам, конечно, трудно понять.
— Нет, почему? Мы понимаем, — Мирон Сергеевич посмотрел на своих двух товарищей; они напряженно, злыми глазами следили за Поморцевым.
— Обстановка вынуждает нас идти на жертвы. Революция всегда связана с жертвами, господа, — продолжал полковник. — Увы! Я бессилен что-либо изменить.
— Для кого жертвы? — негромко спросил председатель заводского комитета токарь Алиференко.
Поморцев недовольно поморщился и промолчал.
— Раз необходимость, так почему Арсеналу не взять заказы со стороны? У железной дороги, например, — предложил Мирон Сергеевич. — Да мало ли работ подходящих. Стоит поискать. Я убежден, что дело можно повести по-иному.
Поморцев чиркнул спичкой, зажег папиросу.
— Гробы, что ли, делать в столярной мастерской?
— А хоть бы и гробы! Некоторые, видать, в них нуждаются, — вызывающе громко сказал солдат Горячкин, самый молодой из трех делегатов.

— Видите ли, не все так просто, как кажется с первого взгляда. — Поморцев осторожно выдохнул дымок, сбросил с папиросы пепел. — У нас оборудование приспособлено к выпуску военной продукции. Да и люди привыкли к такого рода работам. Из-за копеечной выгоды нельзя ломать установившийся технологический процесс.
— Вот уж неправду вы говорите!
— Я говорю то, что подсказывает мне мой многолетний опыт инженера.
— Попробуйте посоветоваться с рабочими. Они многое подскажут.
— Сомневаюсь, чтобы они могли видеть дальше своего станка.
— И напрасно сомневаетесь. Напрасно, — заметил Чагров.
— Извините, может, это было резко сказано, — поправился полковник. — Но я привык считаться с фактами.
— Превосходно! — воскликнул Алиференко. — Есть Советская власть — власть рабочих и крестьян. Совершенно новый факт...
— Гм!.. — Поморцев медленно загасил папиросу, положил окурок в пепельницу и отодвинул ее на край стола. — Это область политики. Не моя компетенция.
Алиференко бросил на него колкий, насмешливый взгляд.
— А это не политика, что вы хотите под шумок уволить арсенальских большевиков? Только шита она белыми нитками, ваша политика.
— Напрасно вы думаете, что увольнение связано с политическими мотивами, — сказал Поморцев; глаза его беспокойно забегали.
— Да ведь, знаете, как говорят: лиса все хвостом не покроет. По следу видно, что за зверь бегал.
— То есть вы хотите сказать, что я лгу? — повысил голос полковник.
— Не всякая песня до конца допевается, — с усмешкой ответил Чагров.
Он видел перед собой лысеющего человека с начальственной осанкой, выработанной за долгие годы общения с подчиненными. Человек этот пытался говорить с ними иронически-покровительственным тоном, но это ему плохо удавалось.
— Я буду откровенен с вами, — продолжал Поморцев. — Конечно, считаться с обстановкой надо. Не спорю. Но я не вижу связи между большевистским правительством в Петрограде и оперативными вопросами работы Арсенала. Управление производством не терпит вмешательства со стороны. Я не могу допустить анархии. Мои усилия направлены к тому, чтобы предотвратить, вы понимаете, — он многозначительно поднял палец кверху и опять посмотрел на Чагрова, — предотвратить полный паралич.
— И для этого вы приказали вывозить цветные металлы?
Поморцев достал портсигар, дрожащей рукой выудил папиросу.
— Первый раз слышу об этом, — сказал он.
— У нас имеется документ за вашей подписью.
— Что толковать! У него совесть в перчатках ходит, — возмущенно крикнул Горячкин.
— Как вы смеете говорить со мной в подобном тоне! Я не позволю! — Поморцев мигнул глазами, густо покраснел. Левая щека у него подергивалась нервным тиком, — Прекратим ненужный разговор. Вы свободны.
— Отмените свой приказ, начальник. Добром просим.
— Нет! — коротко отрубил Поморцев.
— Мы требуем этого, как рабочий контроль, — решительно поддержал Мирона Сергеевича Алиференко.
— Что-о? — Поморцев круто обернулся к нему, голос у него взвизгнул: — Какой контроль?.. Не допущу! — Он нажал кнопку звонка. — Немедленно двух солдат из охраны сюда. Для начала — марш на гауптвахту, господа рабочие контролеры!..
На некоторое время в кабинете установилась напряженная тишина. Затем вошли два красногвардейца, стали у дверей, стукнув прикладами.
Поморцев выпучил глаза:
— Что это значит?..
— Дело в том, начальник, что с сегодняшнего утра охрану Арсенала несет Красная гвардия, — спокойно пояснил Чагров. — А теперь продолжим наш разговор. Подумаем вместе, как выйти из трудного положения. Садитесь, начальник!..
И Мирон Сергеевич первым прочно уселся на стул.

3

Для Чагрова настали хлопотливые дни. Поднимался он за час до гудка. Жалея Пелагею, здоровье которой начало серьезно пошаливать, он до ухода на работу колол дрова, носил воду из колодца.

В свободное время Мирон Сергеевич тихонько присаживался на край кровати, потеплевшим взором глядел на видневшиеся из-под одеяла три детские головки. Старшему — Николеньке — недавно исполнилось десять лет; каждый из следующих за ним мальчиков был на два года моложе предыдущего.

Мирон Сергеевич любил повозиться с детьми. Он охотно рассказывал им разные истории из своей жизни, нарочно путая суровую действительность с красивым вымыслом. Но случалось и так, что ему приходилось подолгу задерживаться на сверхурочной работе, и тогда на протяжении недели он видел детей только спящими. Зато сколько обоюдной радости бывало в воскресенье!

В зимнее время, позавтракав, они вчетвером — «мужской компанией», как говаривал Мирон Сергеевич, — отправлялись с санками на крутой берег Амура. Под веселый ребячий визг санки вихрем мчались под гору, замедлял» бег далеко на льду. Мирон Сергеевич, приложив ладонь козырьком к глазам, всматривался в копошившуюся внизу шумную толпу ребятишек. По-молодому пружиня ногами, оп сбегал навстречу сыновьям до половины горы, подхватывал санки, весело вскрикивал: «А ну, садись... Эх, прокачу!»

Младшие — Миша и Павлик — с радостной готовностью валились в санки, потешно отдувались, кричали: «Н-но!» Щеки у них румянились, глаза блестели.

Николенька никогда не садился с младшими. Он с серьезным выражением лица подпрягался к отцу и вместе с ним тащил санки до самой вершины. «Настоящий помощник отцу», — одобрительно говорил кто-нибудь из случившихся рядом взрослых. Для мальчика это было лучшей наградой.

Сейчас Николенька спал, положив под щеку ладошку. Это был худенький мальчик с вьющимися светлыми волосами. На чуть приоткрытых губах у него блуждала улыбка. Длинные ресницы вздрагивали.

«Постричь надо ребят в воскресенье», — подумал Мирон Сергеевич, ощущая, как в груди у него разливается приятное чувство отцовской гордости.

Он осторожно прикрыл одеялом плечи сынишки и задумался. Каким-то будет наступающий 1918 год?

Пелагея тем временем готовила завтрак. Руки у нее всегда были заняты какой-нибудь работой: чистили, мыли, штопали. Вести хозяйство при такой семье и вечных нехватках — дело нелегкое.

— Ичиги у Николеньки развалились. Ты хоть бы посмотрел, Мирон! — сказала она, переставляя кастрюли и подбрасывая в печь дрова.

Мирон Сергеевич задумчиво повертел в руках прохудившуюся обувь сынишки. Сосчитал дыры в подошве. Проще было бы выбросить эти изношенные вконец ичиги и купить новые.

— Барышев Егор Андреевич ремень от трансмиссии принес, такие подошвы вышли — за два года не стопчут, — перетирая вымытую посуду, говорила Пелагея.

— Барышев? — Мирон Сергеевич удивленно поднял брови, нахмурился: «Значит и Егор Андреевич... поддался».

— Да ведь казна... Обеднеет она, что ли?

— А что казна?.. Что казна? — Мирон Сергеевич осуждающе покачал головой. — Казна теперь — не царская, народная. Всяк тащить начнет — добра не будет. Учиться тебе надо, Поля.

— Учи своих дружков. А я и без тебя грамотная.

Пелагея скрепила заколкой рассыпающиеся волосы и подала мужу завтрак.

— Ешь. Я потом с детьми чаю попью.

Препирались они часто, но жили дружно. Мирон Сергеевич прежде был домосед. Пелагея не раз хвалилась перед соседками своим мужем. Был он человек степенный, непьющий, мастер на все руки. Он и оконную раму приладит, и печь сложит, и хлеб, если нужно, замесит. Но теперь Чагров, что называется, от дому отбился. Вечно занят, спешит. Тянутся к нему люди от всей слободки, только успевай дверь открывать. Выстудят комнату за какой-нибудь час. Пелагея ворчала: «Хоть бы кто догадался полено дров с собой

принести», но в глубине души она гордилась мужем. Постепенно она стала проникаться его интересами, была в курсе дел Арсенала и нередко сама, как умела, объясняла соседкам происходящие события. Мирон Сергеевич заметил эти перемены в ней.
— Ох, трудно, Поля, — говорил он. — Ведь это махина — Арсенал. Сколько угля, металла разного, лесу идет. А где его брать — ума не приложу. Заказчиков нет, В конторе все позапутали, позатеряли — и концы в воду. И как вести себя с этими людьми — не враз догадаешься. Горьким быть — расплюют, сладким быть — проглотят.
К гудку Чагров по-прежнему приходил в свой цех. Час-другой он работал за верстаком, потом отправлялся в соседние литейный и кузнечный цехи, заглядывал в котельную, толковал с механиками и мастерами. К одиннадцати он приходил в контору, доставал из кармана потрепанную записную книжку. С ним спорили, ссылались на отсутствие нужных материалов. Не раз он уличал работников администрации в недобросовестности, в сознательном запутывании отчетности. В конце концов за день он многое успевал протолкнуть и продвинуть.
Алиференко, напротив, почти безвыходно сидел в конторе. В свое время ему удалось окончить высшее начальное училище, он много читал, изучал механику и математику, знал зачатки бухгалтерии. Теперь он с утра до ночи рылся в конторских книгах, выписывал что-то, рассматривал длинные колонки цифр, размашистым косым почерком писал свое мнение на бумагах, поступавших к начальнику Арсенала. С ним серьезно начали считаться после того, как он в получасовом разговоре вогнал в пот главного бухгалтера Арсенала — самоуверенного нагловатого человека, умевшего погреть руки на крупных заказах. Алиференко с фактами в руках доказал, что бухгалтер брал взятки сам и прикрывал незаконные махинации. Бухгалтера отстранили от работы, и это укрепило пошатнувшуюся дисциплину среди служащих.
Солдат Горячкин занимался ревизией складов. В три дня он успел выяснить фактическое наличие материалов, измучив за это время всех кладовщиков. Впрочем, сделать проверку было не так трудно: склады давно не пополнялись.
Горячкин был молод, отличался веселым нравом и смекалкой. Он ходил теперь с полевой сумкой на боку, в лихо сдвинутой набок солдатской шапке, из-под которой выбивались белокурые вьющиеся волосы. В полевой сумке у него постепенно накапливались данные о наличия нужных Арсеналу материалов на складах других организаций города. Как умудрялся Горячкин разузнать про это — оставалось тайной. У него завелись дружки даже среди заносчивых и недоступных писарей окружного интендантского управления.
Во второй половине дня все трое сходились в маленькой полутемной комнатке заводского комитета, расположенной в начале коридора, сразу у входа. Здесь в присутствии многочисленных посетителей они обсуждали дела, выслушивали советы и замечания, спорили и без конца курили. К концу дня дым тяжелым облаком повисал над столом.
— Нет, что вы ни говорите — башковитый у нас народ! Такое придумает — ну и ну! — восторгался Горячкин, слыша какое-нибудь особенно сногсшибательное предложение.
— Пустая бочка пуще гремит, — спокойно возражал Алиференко и камня на камне не оставлял от прожекта.
Но было много и дельных предложений. Литейщики настаивали на поочередной остановке вагранок, на предупредительном ремонте их. Долго и горячо спорили о том, можно ли наладить выжиг древесного угля в ближайшей к городу хехцирской лесной даче, чтобы возместить нехватку кокса; обсуждали положение с режущим инструментом. Разговор, начатый в заводском комитете, перебрасывался затем в цехи.
Мирона Сергеевича до глубины души трогала эта бескорыстная, искренняя забота рядовых рабочих о нуждах предприятия. Чагров постоянно чувствовал поддержку товарищей, и от этого он становился во много крат сильнее и зорче, был тверд, напорист и вынуждал начальника Арсенала отступать шаг за шагом, ломать свои тайные планы.
— На вагранке номер два может произойти авария. Надо немедленно остановить ее на ремонт, — предлагал Чагров.
— Месяц-другой она еще протянет. У меня сейчас нет ассигнований на такие расходы, — возражал Поморцев, хотя превосходно знал, что вагранка работает на полный износ.
Мирон Сергеевич упрямо настаивал на своем.

— Что ж, создадим техническую комиссию. Пусть ее возглавит главный инженер, — предлагал наконец начальник Арсенала. — Кого еще?
— Мастера Яковлева, а от литейщиков — начальника первой смены, — быстро нашел Чагров.
— Хорошо, договорились, — и Поморцев подписал приказ, рассчитывая, что комиссия провозится по меньшей мере неделю.
Но уже на другое утро Мирон Сергеевич принес акт осмотра вагранок.
— Я же говорил вам: нельзя откладывать. Вот, пожалуйста...
Только дома начальник Арсенала давал волю своему бешенству, бегал взад-вперед по кабинету, ругался площадной бранью. Потом в изнеможении валился на диван и хмуро жаловался Лисанчанскому:
— Меня запрягли, как ломовика в оглобли.
— Что ж, вези их под гору, — флегматично посоветовал капитан 2-го ранга.
— А ты представляешь, что такое, когда за тобой следят сотни глаз? Бр-р!.. У дверей моего кабинета сидит красногвардеец с пистолетом у пояса, и я не знаю, то ли он меня охраняет, то ли я у него под арестом? К сожалению, я связан в своих действиях.
— Могу тогда тебя обрадовать, — сказал Лисанчанский, поглядев для чего-то в окно. — Ни Уссурийская железная дорога, ни товарищество Амурского пароходства не подпишут предлагаемых вами контрактов. Для Арсенала, насколько я понимаю, потеря таких заказов равносильна экономической катастрофе. Не мытьем, так катаньем. Ха-ха!..
На следующий день начальник Арсенала, чисто выбритый, сияющий, сам пригласил членов заводского комитета.
— У меня, граждане, неприятное известие, — сообщил он отнюдь не печальным тоном. — Вопреки нашим надеждам, контракты с железной дорогой и пароходством подписать не удалось. Увы! Наши контрагенты не согласны. Теперь, надеюсь, вы видите, что я был прав, предлагая сократить объем работ.
Алиференко тревожно переглянулся с Мироном Сергеевичем.
— А в чем дело? Все как будто было договорено.
— Железная экономическая необходимость, — снисходительно и неопределенно пояснил Поморцев и предложил курить. Собеседники отказались. Тогда и он не стал зажигать папиросу и продолжал: — Калькуляция, расчет себестоимости и все такое прочее... Жаль, что вы смутно представляете себе это. Короче, им невыгодно сдавать заказ на сторону. Своя рубашка ближе к телу. Вообще ваша ошибка состоит в том, что вы предполагаете некую общность интересов. Кто-то протянет нам руку и вызволит из беды. И это в мире, где конкуренция движет всем! Ха-ха! По меньшей мере наивно...
— А не кажется вам, начальник, что теперь калькуляция другая нужна? — суровым тоном спросил Алиференко. — И чему вы, собственно, радуетесь?
— Я радуюсь? Да что вы! — Поморцев схватился за голову. — Боже! Опять политика! Политика... У меня от нее голова болит. В конце концов я не могу так работать. Я снимаю с себя ответственность.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В канун Нового года с утра небо заволокло тучами. Солнце показалось ненадолго и скрылось. В хехцирских горах шел снег, на город с амурской равнины надвигалась белесая мгла. Скоро на улицах закружились первые снежинки, затем снег повалил крупными хлопьями.
В это утро во Владивосток прибыл японский крейсер «Ивами», с вызывающей наглостью, без разрешения бросил якорь в бухте Золотой Рог на виду города, угрожая русской тихоокеанской твердыне пушками.
Демьянов докладывал Потапову о происшествиях в городе. Ходил он теперь в полувоенной форме: солдатской гимнастерке, брюках галифе, через плечо — наган с ремнем, с другого боку — потрепанная полевая сумка.
— Мы, к сожалению, опоздали. Грабители успели скрыться. В гостинице они назвали себя представителями милиции, пришли будто для обыска и проверки документов. Утром мои хлопцы вроде напали на след. Проследили двоих, похожих по описаниям. Один на углу Лисуновской улицы встретился с коммерсантом Хасимото, и оба пошли в японское

консульство. А другой, — тут Демьянов поднял глаза и выразительно посмотрел на Потапова, — другой прямехонько отправился в Американский Красный Крест... Там где теперь концы искать?
— А не ошиблись твои люди, Демьян Иванович?
— Возможно, что ошиблись, я допускаю, — согласился Демьянов.
Оба не были удивлены тем, что преступники укрылись у иностранцев. Еще за месяц до прихода «Ивами» на рейде Золотого Рога стоял американский крейсер «Бруклин». Адмирал Найт вместе с владивостокскими буржуа учредил Дальневосточный русско-американский комитет и грозил прекращением американских поставок России, открыто призывал к борьбе с революцией. Неделю назад консульский корпус во Владивостоке в протесте против реквизиции продовольственных товаров у иностранных фирм нагло подчеркивал, что «местный рынок почти полностью зависит от заграничных источников снабжения». Господа консулы писали: «Если не учтете это, то товары, уже направленные по Владивосток, в том числе такие нужные, как обувь, подошвенная кожа, сало, будут задержаны и не будут доставлены...»
В кабинете прохладно; Потапов зябко поеживался. Демьянов снял с вешалки пальто и накинул ему на плечи.
— Ты, брат, храбриться храбрись, да гляди не свались! Экое поднялось на дворе, — сказал он.
Снег валил все сильнее. Постепенно разыгрался ветер. Вьюга за окном злилась, скулила по-собачьи и скреблась по стеклу мохнатыми лапами.
Демьянов рассказывал о предстоящем вскоре в Имане Войсковом круге уссурийских казаков.
Без стука ввалились запорошенные снегом Алиференко и Чагров.
— Ну и метет! Едва добрались... Добрый день, Михаил Юрьевич! Наследили вам, не обессудь, — сказал Чагров, пожимая руку Потапову, а затем Демьянову. — Зазнался, Дмитрий Иванович... как комиссаром выбрали, в Арсенал носу не кажешь.
— Да еще какой комиссар, прими во внимание! Как она, твоя должность, именуется? — смеясь, спросил Алиференко, пододвигая стул поближе к столу и опасливо косясь на его тонкие резные ножки.
— Должность обыкновенная. Комиссар по борьбе с пьянством и охране города.
— Вот-вот... по борьбе с пьянством. Эх, мне бы такую должность!
Тут все четверо разразились неудержимым хохотом.
— Смех-то смехом, а мы к тебе, Михаил Юрьевич, по серьезному делу. У нас крупная неприятность, — сказал Чагров.
Алиференко тоже принял озабоченный вид.
— Контракты с вами не хотят подписывать? Знаю. — Михаил Юрьевич посмотрел на арсенальцев. — Железнодорожники помогут вам, а вы могли бы взяться за ремонт вагонов. Это и будет началом той товарищеской взаимопомощи рабочих коллективов, которая поможет нам быстрее выпутаться из затруднений.
— Видать, там тоже саботажники сидят, — заметил Алиференко.
— Сидят, сидят. Был бы омут, а черти сыщутся. — Потапов принялся расспрашивать арсенальцев об их планах по загрузке предприятия местными заказами.
— Хорошее дело затеяли, товарищи! — одобрительно говорил он. — Будете ремонтировать вагонные скаты, судовые механизмы, делать костыли, бочки. Все это необходимо позарез. В большом хозяйстве и гвоздик сгодится. Но я просил бы вас подумать, чем может Арсенал помочь деревне? Крестьянский инвентарь вконец износился. Сделать сотню-другую лемехов к плугам, изготовить зубья для борон, отлить шестеренки для конных приводов к молотилкам — как это было бы кстати.
— Михаил Юрьевич, а если мы скомплектуем бригады — кузнец, слесарь, столяр — да пошлем в ближайшие волости? — предложил Чагров.
— Превосходно! И то и другое... Бригады и лемеха к плугам, — весело заключил Потапов.
...Зимний день короток, за окном начало темнеть.
Ветер где-то порвал провода. Прекратилась подача тока. Алеша Дронов сбегал в дежурку, чтобы заправить лампу керосином.

Михаил Юрьевич думал об ушедших арсенальцах. За сложное и трудное дело приходится браться им. А разве менее сложна задача привести в порядок разоренное войной и хищничеством капиталистов народное хозяйство края?
На громадном пространстве Восточной России, от холодного Берингова пролива на севере до залива Посьет, у границы Кореи, хозяйничали иностранные фирмы: американские, английские, немецкие, японские, бельгийские, шведские... «Олаф и Свенсон», «Денни, Мотт и Диксон», «Маккормик», «Стандарт ойль», «Р. Мартенс и К°», «Кунст и Альберс», «Судзуки»... Наживались, богатели, жирели, грабя, хапая, хватая русское добро. Они уцепились за эту землю и готовы залить ее кровью, лишь бы не поступиться своими прибылями.
Не для того ли воровски бродят у наших берегов крейсеры «Ивами» и «Бруклин»?
Потапов вышел на улицу. И тотчас ветер подхватил его, завернул полы пальто, мягко подтолкнул в спину и повлек куда-то в белую слепящую мглу.
На улице творилось нечто невообразимое: ветер и снег кружились в такой дикой пляске, что у Михаила Юрьевича дух захватывало.
— Врешь, не возьмешь! — азартно кричал он в темноту, и высоко поднимая ноги, упрямо шагал через сугробы.
На одном из перекрестков ветер, переменив направление, неожиданно кинулся навстречу, да так свирепо, что Михаил Юрьевич остановился. Он раскашлялся, постоял у чьих-то ворот и тихо побрел дальше.
В доме Твердякова сквозь щели в ставнях пробивался свет. Во дворе за оградой было сравнительно тихо. Идя через двор к крыльцу, Михаил Юрьевич отдышался.
Дверь открыл ему доктор.
— Загуляли, батенька. Загуляли, — сказал он с улыбкой. — Сын не дождался — уснул.
Михаил Юрьевич прошел к себе в комнату. Топилась печь; тепло волнами шло от нее.
Он не стал зажигать свет, отворил дверцу печки и, пододвинув стул, присел возле нее.
Охватив руками колени, покачивался взад-вперед, как маятник, и глядел на огонь.
Дрова были сырые, горели плохо и дымно. Огонь мелкими желтыми языками робко лизал бурые поленья; кора на них корежилась, свертывалась в трубочки, пенилась и вдруг ярко вспыхивала, наполняя комнату шипением и треском.
Однообразный треск горящих поленьев навевал дремоту.
Пришла Наталья Федоровна. Ее голос слышен был за стеной. Что-то говорил Твердяков.
Наверно, о Сереже. Балует доктор мальчишку.
— Ты хорошо здесь устроился, — сказала вдруг Наталья Федоровна, щелкнув за спиной Потапова выключателем.
— Фу! Всю поэзию нарушила, — заметил он.
— Поэзия?.. Да. А вот я видела сегодня прозу. Грубую прозу жизни, — незнакомым ему голосом проговорила Наталья Федоровна.
Он зорко и с любопытством поглядел на нее.
Жена вышла, внесла шумящий самовар и, расставляя посуду, продолжала рассказывать:
— Ужас, что творится в этом приюте! Дети грязные, голодные, раздетые. Постельного белья нет. Антисанитария. Со стороны персонала совершенно непонятное равнодушие, хотя люди, кажется, неплохие. Заведующий — негодяй и подлец. Тупая, жирная морда. Клянет большевиков и, наверно, обкрадывает своих несчастных питомцев. У него совершенно свиные глазки, заплывшие жиром. Представляешь? Я поглядела на него и не решилась сказать, что я твоя жена. Он бы меня на пушечный выстрел к приюту не подпустил. Но теперь я оттуда ни за что не уйду! — сказала она.
— Ты, конечно, постараешься перевернуть там все вверх дном, — полуиронически, полуодобрительно заметил Михаил Юрьевич.
— Непременно. Я уже толковала об этом с женщинами.
— В таком случае предсказываю: неизбежен острый конфликт с заведующим.
— Этот мерзавец... он уже предлагал мне взятку, — дрожащим, от негодования голосом сказала Наталья Федоровна. — «Вы, говорит, мадам, не надрывайтесь. Я ваше рвение и так ценю. Подите к завхозу, и он выдаст вам к празднику паек из продуктов Американского Красного Креста». Так хотелось плюнуть ему в жирную физиономию.
Задумчиво пошумливал угасающий самовар. Наталья Федоровна убирала посуду.

Дрова в печке догорали ровно, осталась красноватая груда углей, из нее вырывались золотые искры, а поверх псе бегал, выискивая что-то, жадный синий огонек.

2

В этот день Алексея Никитича Левченко вызвали повесткой в Совет. Покряхтывая, жалуясь на непогоду и боль в пояснице, а на самом деле охваченный смутный беспокойством, пришел он к указанному часу в здание бывшей канцелярии приамурского генерал-губернатора.

Его тотчас пригласили в кабинет к Потапову. Оба с минуту испытующе смотрели друг на друга: Левченко — дичась, исподлобья, Михаил Юрьевич — открытым, дружелюбным взглядом.

— Решено открыть прииск Незаметный. Мы хотели бы просить вас возглавить его, — сказал Михаил Юрьевич.

Алексей Никитич поднял голову, сердито сверкнул глазами.

— Золотишко понадобилось?

— Разумеется, — подтвердил Потапов. — Но дело не только в золоте. Народ хочет, чтобы наша техническая интеллигенция служила ему. Служила честно. Это вопрос принципиальный. Его надо решать. Ваше сотрудничество для нас было бы особенно желательным и ценным. Дело перспективное. Со временем придется объединить разрозненные сейчас прииски, создать, скажем, краевой трест золотопромышленных предприятий. Технически переоборудовать прииски, усилить разведку, проложить дороги. Увлекательное дело... Я, разумеется, не тороплю вас с ответом.

— Гм!.. И вы рассчитываете выполнить эту программу, опираясь на лопату и обушок? — спросил Левченко.

— У нас будет техника.

Алексей Никитич пожал плечами и посмотрел на Потапова, как на безнадежно больного.

— В России едва начался технический прогресс, как вы безрассудно оборвали его своей никому не нужной революцией.

— Почему оборвали? Это сказки, которые могут распространять враги социализма. Притом злонамеренно, — возразил с живостью Михаил Юрьевич. — Капитализм создал современную технику, в этом вы правы. Но он же ставит пределы ей, исключая разве область военного дела. Технический прогресс буржуазия охотнее всего использует для массового убийства людей. Тогда как техника по своему назначению призвана облегчить жизнь людей. Революция разбила цепи, сковывающие науку. Она породит золотой век техники — век химии и электричества.

— Хорошо. Но не безграмотные же, голодные мужики сотворят ваш «золотой век», — усмехнулся Левченко. — Я ставил три ведра водки и заставлял их нырять в ледяную воду, чтобы достать утонувшие при аварии машинные части. Варварский способ. Но благодаря ему на Незаметном заработала первая драга. Прогресс всегда идет бок о бок с варварством. Не будем морализировать по этому

Потапов делал вид, что не замечает вызывающего тона Левченко.

— Народ тоже хочет быть сытым, образованным, хочет приобщиться к сокровищам культуры. И, конечно, не таким зверским способом, как вы предлагаете, — сказал он тем же ровным, спокойным голосом. — Вот почему мы и обращаемся к вам, специалистам в области техники и организации производства, — помогите нам. Помогите народу сделать жизнь более счастливой и более достойной человека!

— А я всегда скажу одно: нет! — сердито отрезал Левченко. — Я не верю в ваш социалистический эксперимент! Я привык работать при старых порядках, когда чувствуешь себя в деле хозяином. Наконец, мне лично это более выгодно. Я, как видите, откровенен с вами.

— Ценю вашу откровенность. Но были ли вы в самом деле хозяином, независимым от прихотей капризной бабы — владелицы прииска? Мне кажется, нет.

Левченко нетерпеливо заворочался на стуле. Он заранее настроился так, чтобы отвергнуть все, что предложат ему.

— Слова, слова... Пока я вижу только разрушения, кровь, общие бедствия.

— А кровь, пролитая царем на Дворцовой площади и берегах Лены, на сопках Маньчжурии и полях Галиции, — эта кровь не тревожит вашу совесть? — подавшись вперед, спросил

Михаил Юрьевич. — Общие бедствия?.. Совершенно верно. Но они — результат преступной политики правящих классов царской России. Только решительно порвав с нею, можно выйти из кризиса. Так зачем валить с больной головы на здоровую? Разруха!.. Рабочий класс напрягает все силы, чтобы преодолеть ее, наладить в стране нормальную жизнь, производство, товарооборот. Специалисты в это время открыто саботируют мероприятия Советской власти — и громче всех кричат о «разрушителях-большевиках». Да где же логика, господа интеллигенты? Наигранный пафос — ни тени порядочности, ни грана добросовестности...
Что-то мешало Левченко посмотреть прямо в глаза собеседнику. Алексей Никитич не соглашался с Потаповым, но в то же время слова этого человека тревожили его, поднимали в нем какие-то старые, забытые обиды.
Холодное солнце тускло просвечивало сквозь замерзшее окно. Сверху тонкой струйкой сыпался снег, должно быть, ветер сдувал его с крыши.
— Я никогда, слышите... никогда не соглашусь с вами! — с неожиданной запальчивостью выкрикнул Левченко.
— Мне жаль вас. Вы живете в такое интересное время и ничего не видите. К сожалению, слепого грамоте трудно учить, — с искренним огорчением заметил Потапов.
Он понимал, что разговор оказался безрезультатным.
Левченко грузно поднялся, бычась, сбоку поглядел на Потапова, отвесил молчаливый поклон.
Только на улице Алексею Никитичу пришли на ум те доводы, которые, как ему казалось, могли дать перевес в споре с Потаповым. И он продолжал мысленно этот спор с гораздо большим успехом для себя, чем прежде, пока не вошел во двор собственного дома и не увидел своего бывшего конюха Василия Ташлыкова. Он выводил из конюшни застоявшегося жеребца Нерона.
Василий был в коротком кавалерийском полушубке, в солдатской шапке. За спиной у него висел карабин.
Еще один солдат в шинели стоял посреди двора и держал в поводу двух коней: рослого дончака и серого орловского рысака, в котором Левченко без труда признал чукинского любимца.
Саша, идя через двор, нес на вытянутых перед собой руках черкесское седло с серебряными насечками и аккуратно сложенный конский потник. Отдал их Василию, что-то сказал, и оба засмеялись.
Не успел еще смех собственного сына отозваться последней болью у Алексея Никитича, как Василий, его товарищ и Саша двинулись к воротам.
Левченко, оказавшийся у них на пути, молча посторонился. Он не задал ни одного вопроса, не сказал ни слова. Стоял и мрачно глядел на них, почти ничего не видя.
Василий, проходя мимо с конем в поводу, как ни в чем не бывало поздоровался с ним. Левченко даже глазом не повел.
Саша, заметив отца, несколько поотстал. Закрыв ворота, он торопливо убежал в дом.
Алексею Никитичу казалось, что никогда еще никто не наносил ему такой кровной обиды. Пошатываясь, точно пьяный, взошел он на крыльцо, с силой захлопнул за собой дверь.
В кабинете он долго сидел с закрытыми глазами. Все рушилось, и он впервые почувствовал себя бессильным повлиять на события.

Соня сразу почувствовала настроение отца. В трудном положении оказалась она. Отец все чаще срывал на ней свою злость. Брат бурно протестовал против ее безропотной покорности и требовал, чтобы она была непримиримой и твердой. А Соне больше всего хотелось, чтобы в семье были и мир и покой.
Она сидела в своей маленькой комнатке с окном на реку и тревожно прислушивалась к шагам и покашливанию Алексея Никитича. С другой стороны, из Сашиной комнаты, доносилось скрипение стула.
«Ах, какая я несчастная! Была бы жива мама, разве бы так получилось? Ничего я не умею, — ни сладить, ни склеить», — горестно думала девушка, наивно объясняя нелады в семье своей неопытностью, не понимая, что причины куда более серьезны. Слезы туманили ей глаза.

Жила Соня, в сущности, одиноко. У нее не было близких подруг, кроме Кати Парицкой. Но склонности и вкусы последней она не могла разделять. Катя искала в жизни прежде всего развлечений. Ее представления о морали в нормах поведения в значительной мере исчерпывались фразой: «Я так хочу!» Взбалмошная, капризная и до крайности легкомысленная, подруга порою вызывала у Сони чувство открытого негодования, протеста. Они часто ссорились.

Когда-то Соня мечтала о настоящей большой дружбе с братом. Саша, будучи гимназистом, всегда посматривал на нее свысока, третируя, как глупую девчонку. У него были свои приятели, свои интересы. Потом он вздумал отправиться на фронт, уйти из дому тайком, так как не смел открыть свое намерение отцу и боялся слез матери. Из всей семьи Саша только ей доверил свою тайну. И она высоко ценила это доверие, ни словом не обмолвилась, пока шли розыски пропавшего Саши. Она страстно молилась за него и была невыразимо счастлива, когда он вернулся живым-здоровым.

Но странные сложились между ними отношения. Соня старалась создать брату необходимые удобства, комфорт, которого он был лишен так долго, стремилась угадать каждое его желание. Саша с благодарностью принимал ее заботы. В свою очередь, он не забывал о мелких знаках внимания: приносил шоколад, цветы. Но Соня видела также, что брата постоянно гнетут какие-то думы. Он становился все более раздражительным, угрюмым. Изменив прежние привычки, Саша то целыми днями безвыходно сидел в комнате и без конца курил, то, напротив, чуть свет отправлялся бродить без цели по окрестностям. Возвращался он в таких случаях поздно, бесконечно усталый и голодный, но все такой же мрачный. Соня как-то попыталась вызвать брата на откровенный разговор, чтобы узнать причину его дурного настроения. Саша взволнованно и горячо заговорил о вещах, в которых она так ничего толком и не поняла. Это рассердило его: он упрекнул сестру в черствости и равнодушии к людям. Соня заплакала. Повторные попытки объясниться также ни к чему не привели.

После смерти матери домашнее хозяйство целиком легло на плечи Сони. Алексей Никитич редко вмешивался в ее дела, определив только общую сумму ежемесячных расходов на стол и прочие надобности. В доме держали кухарку и конюха. Кроме того, со стороны приходили поломойка и прачка. После ухода Василия нового конюха еще не подыскали. Теперь Саша ежедневно по утрам сам колол дрова и носил их на кухню.

— Кажется, это единственное, что оправдывает мое пребывание в доме, — с грустной усмешкой сказал он как-то сестре.

Соня посмотрела на брата большими печальными глазами и ничего не ответила. В ее голове не укладывалась мысль о том, что родной дом может оказаться чужим. Почему? В силу каких причин?

Над этим она размышляла сейчас, сидя за вышивкой. Ее мало интересовало все происходящее за стенами их дома. Она довольствовалась тем, что усваивала и высказывала чужие банальные взгляды на события, не помышляя даже о том, чтобы составить свою собственную точку зрения.

В Сашиной комнате слышались голоса. Вероятно, к нему зашел кто-то из знакомых. Потом разговор за стеной оборвался, доносились только легкие и быстрые шаги брата. Внезапно Саша появился на пороге ее комнаты с газетой в руках, с расстегнутым воротом и пылающим взглядом.

— Ты представь только, что я сейчас узнал! Представь, — громко, негодующим голосом воскликнул он и шагнул в комнату, оставив дверь открытой. — Эти ограбления, эти убийства в гостинице «Париж», которые все тут приписывают милиции и Красной гвардии, они, оказываются, дело рук — кого бы ты думала? — господина Каурова и твоего любезного обожателя Варсонофия Тебенькова. А газеты кричат о злодействе красных. Нет, какая подлость! Какая низость! И оба они — свои люди в вашем доме... Убийца целует руки моей сестре и, вероятно, может рассчитывать на взаимность... Я уже что-то слышал о ваших отношениях. Что ж, продолжай! Он нисколько не хуже всех других в этом доме...

Скрестив на груди руки, Саша уничтожающе посмотрел на сестру.

Соня, готовая разрыдаться, глядела на него, ничего не понимая, чувствуя, что брат незаслуженно и больно оскорбляет ее.

— Саша, уверяю тебя: все ложь! Не верь! — Она приложила обе руки к груди.

— А мы тут все говорим о гуманности, культуре. Рассуждаем о судьбах России. Собираемся что-то спасать. Хороши, однако, спасители! — саркастически продолжал Саша. — И твой разлюбезный Варсонофий хорош! Ходит франтом: сапоги рантом. А внутри что — торичеллиева пустота. Как ты этого не видишь?

Соня удивленно посмотрела на него, рассердилась и, закрыв лицо руками, вдруг заплакала.

Саше стало совестно и больно. «Зачем я оскорбил ее?» — подумал он. Но злые, несправедливые слова продолжали срываться с языка.

— Ну зачем ты меня мучаешь? Зачем? — воскликнула Соня, со страдальческим выражением лица посмотрев на него. Слезы катились по ее щекам.

— Прости, сестренка! Извини меня, пожалуйста, — Спохватился Саша и стал нежно гладить ее руки. — Ты хорошая, чистая, только... слепая. Может, и лучше, что ты не замечаешь окружающей грязи. Но ведь рядом течет другая жизнь. Рядом ходят настоящие люди. По крайней мере они чисты в своих побуждениях. Эх, Соня, если бы ты знала... Как мне тошно и душно в этом доме!

— Вот как! Так за чем же дело стало? Я тебя не держу. Иди! — угрюмым, надтреснутым голосом сказал Алексей Никитич: привлеченный громким разговором, он уже несколько минут, никем не замеченный, с мрачным видом стоял в дверях.

— Отец, что ты говоришь! — вскричала Соня.

— Оставь, сестренка. Я уже не маленький. — Саша отстранил ее, шагнул вперед и тихо спросил: — Хочешь поторопить события, отец?

Спокойный тон вопроса удивительно отрезвляюще подействовал на Алексея Никитича. Он собирался грозно крикнуть сыну: «Вон!» — и тут же указать на дверь. Но, взглянув в решительные глаза Саши, Левченко поспешно отвернулся. Переступив в замешательстве с ноги на ногу, он ушел к себе в кабинет и надолго закрылся там.

Саша постоял возле окна, машинально водя пальцем по стеклу.

Мороз крепчал; окна затянуло тонкими ледяными узорами, похожими на листья папоротника.

На улице падал снег. Из-за него казалось, что мир, видимый из окна, кончался через две улицы.

Соня вытерла платочком глаза, посмотрела в зеркало.

— Так-то мы встречаем Новый год, — вздохнув, сказала она. — Ты пойдешь к Парицким? Звали.

— Никуда мне не хочется идти, — откровенно признался Саша. — Впрочем, если ты так желаешь... Только не суди меня строго: я сегодня напьюсь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В просторном особняке Парицкой, отгороженном от улицы высоким забором, поселились смятение и страх. Они растеклись по комнатам, и каждый из обитателей дома не раз ощущал на себе их леденящее дыхание.

Встреча Нового года, вопреки обычаю, проходила менее шумно и за закрытыми шторами окнами.

Гостей ждали к одиннадцати. Юлия Борисовна обещала приятный сюрприз — знакомство с петроградской знаменитостью.

Белели тонкие скатерти, сверкали хрусталь и серебро, искрилось вино в графинах. Весь громадный стол был заставлен яствами.

Хозяйка была одета в длинное темно-зеленое платье из тяжелого шелка, с буфами на плечах и высоким, наглухо застегнутым воротом.

Катя в соседней комнате осматривала себя в зеркало, вертелась перед ним так и этак, любовалась и новым платьем и собой.

Из кабинета через открытую дверь за нею с усмешкой наблюдал Джекобс — единственный мужчина, оставшийся в квартире после отъезда Перкинса во Владивосток для встречи с Колдуэллом — консулом Соединенных Штатов.

По случаю праздника журналист приоделся. На нем был щегольской коричневый костюм в полоску, жилет и галстук бабочкой.

Джекобс никогда не стеснял себя в отношениях с женщинами. Отчего не поволочиться и за хозяйской дочерью? Он поглядел опять на Катю, подивился ее плоской фигуре и усиленно задымил сигарой.
В передней послышались голоса. Пришли лесозаводчик Бурмин и его жена — черная, худощавая женщина в узком платье со шлейфом.
Юлия Борисовна кинулась к ней, клюнула носом в щеку, и обе затараторили без умолку.
Катя завела граммофон. Он пошипел, пошипел и рявкнул неимоверно густым басом: «Вдоль по Питерской!» Катя отпрянула, будто испугалась, и побежала по внутренней лестнице вниз за Соней Левченко.
Когда она вернулась, в квартире уже было полно гостей. Во всех комнатах жужжали голоса.
— Обожаю английский обычай: сходиться всем сразу, а уходить не докладываясь, — говорила Юлия Борисовна. И тут же повернулась к вошедшему Чукину. — Как живется, Матвей Гаврилович?
— Вашими молитвами, матушка. — Чукин тоненько засмеялся, подмигнул одним глазом пробегавшей мимо Кате, высунул для чего-то язык и продолжал неопределенно: — Живу... А где же ваша знаменитость? Хоть посмотреть.
— Будет, будет, — сказала Парицкая не совсем уверенно.
Чукин теперь чаще отдавался чувству мрачной безнадежности, взгляд у него стал бегающий, волчий. Хотелось услышать что-нибудь утешительное. Что скажет петербургский гость?
Неожиданно в гостиной появился незваный, но приятный всем гость — благовещенский золотопромышленник и пароходовладелец Зотов. Он ловко протиснул в дверь свое неимоверно расплывшееся тело, засиял улыбкой и лысиной.
Зотов приехал на несколько дней, чтобы ориентироваться в обстановке. Хотел прикинуть, как последние события отразятся на его торговых и посреднических операциях. В отличие от Чукина и Бурмина Зотов был настроен оптимистически.
— Ты так живи: сделал на грош, шуми на рубль. Люди шум любят, — поучал он Чукина, когда тот стал жаловаться на жизнь. — Кто такой капиталист? Благодетель народу своему. Вот соответственно и держись. Да привечай людей, которые за твои же деньги разводят турусы на колесах. Это расход оправданный.
Было видно, что революция по-настоящему еще не задела Зотова, только напугала. Семеня короткими ножками, он передвигался от одной группы к другой, слушал, присматривался, вертел головой.
Жена Бурмина скрипучим голосом тянула, закатывая вверх глаза:
— Государь-император... в Тобольске... дрова пилит... Да, да, да!.. Ужас!..
— А большевики в Бресте договариваются с немцами. С немцами, а?.. Совет Антанты никогда этого не потерпит, — вторил хриплым голосом ее супруг и жадно хватал толстыми пальцами воздух перед собой.
Мрачный Левченко с усталым лицом и воспаленными глазами неподвижно сидел на диване в кабинете и молча слушал рассуждения Судакова об Учредительном собрании и его исторической роли.
Чукин тоже слушал, приложив ладонь лодочкой к уху, согласно кивал головой.
— Да, да. Учредительное собрание... У меня сегодня серого рысака увели. Реквизировали для конного отряда Красной гвардии.
— На Дону — Каледин, в Оренбурге — Дутов... Собираются силы, а?
Джекобс, вступив в разговор, развивал тему о независимой Сибири. Он хвалил Джона Стивенса и его опыт по строительству Панамского канала. Рекомендовал следить за событиями в Омске.
Чукин блеснул глазами, захохотал:
— Лежит каравай — хватай, не зевай!
«Очи черные, очи жгучие...» — неслось из граммофонной трубы в гостиной.
Явился Варсонофий Тебеньков, щелкнул каблуками, раскланялся с мужчинами, поцеловал руки женщинам.
Саша, одетый в темно-синюю венгерку с черными шнурами, стоял у стены, глядел исподлобья. Варсонофий разлетелся к нему с протянутой рукой.
— Я вам руки не подам! — громко сказал Саша, пряча руку за спину.

Соня взглядом умоляла его не поднимать публичного скандала.
— Ах, молодые люди, вечно вы петушитесь! — с гримасой неудовольствия сказала Юлия Борисовна. — Катя, займи, пожалуйста, господина Левченко.
И противники разошлись в разные стороны. Варсонофий, пожав плечами, присоединился к кружку возле Джекобса. Катя, взяв Сашу под руку, направилась с ним по анфиладе комнат смотреть выставленные картины. Катя сообщила, что они приобрели несколько новых полотен.
Картины оказались малоинтересной мазней. Саша не разделял восторгов тех, кто превозносил «новое» направление в искусстве. Он равнодушно скользил взглядом по полотнам, нисколько не тронутый ни их мрачным колоритом, ни пестротой красок. Все было бесконечно далеко от натуры.
— Очень пикантно. Не правда ли? — спросила Катя, обеспокоенная его молчанием.
— Надо посмотреть при дневном освещении, — уклонился он и прошел в соседнюю комнату.
Здесь было несколько акварелей. На одной изображен осенний пейзаж: группа кленов с падающими багряными листьями, ветер, рваные клочковатые облака и высоко в небе потянувшийся к югу журавлиный клин. Картина вызывала определенное настроение, чувствовалась рука мастера.
— Это чья же кисть? — спросил Саша, тщетно пытаясь разобрать подпись.
— Вам нравится? — Катя скользнула по акварели равнодушным взглядом. — Мама купила по случаю, очень дешево. Вы знаете, ее многие хвалят. Надо будет подобрать раму посолиднев, — озабоченно заметила она.
Гости усаживались за стол.
— Возблагодарим господа-а и помянем год отошедший, како положено-о! — сиплым баском провозгласил находившийся среди них священник и пальцами мелким крестом осенил скатерть перед собой.
— Ах, отче! Да за что его поминать? Отошел — и пес с ним, — сказал Чукин. — Не дай бог в другой раз такое сальдо.
— Положено, сын мой. Положено, — пробасил батюшка и первым потянулся к графинчику.
Все благопристойно засмеялись, зазвенели рюмками. В эту минуту и вошел пожилой человек в дымчатых очках. Кивнул небрежно головой, приветствуя всех сразу, пробормотал:
— С наступающим, господа! — и сел рядом с Юлией Борисовной.
— Наш гость — петроградский профессор, светило науки, — торжественно сказала Парицкая. Она посмотрела на него тем же оценивающим взглядом, что и на стол до этого.
— Возьмите маринованных грибков, профессор. Это от Елисеева...
Алексей Никитич покосился на столичного гостя, осторожно осведомился:
— Не имел чести встречаться. Вы, собственно, в какой области работаете?
— Я — астролог, — сказало светило науки, с хрустом пожирая грибки и до обидного мало уделяя внимания людям, сидевшим за столом.
— Н-да... — Левченко засопел носом, еще раз взглянул на гостя, как смотрят на диковинного зверя, и, потеряв к нему всякий интерес, занялся едой.
— А чем же занимается астролог? — поинтересовалась жена Бурмина.
— Предсказанием судеб народов и государств, сударыня. На основе последних данных науки, — с важностью изрекло светило.
— Ах, как интересно! — воскликнула Катя.
Астролог сверкал нанизанными на пальцы массивными перстнями, блестел голым, начисто выбритым черепом.
— Господа, я только что закончил составление политического гороскопа 1918 года. Это причина моего опоздания, сударыня, — и он слегка поклонился хозяйке.
Послышались возгласы приятного удивления.
— Что же нас ждет в наступающем году? — спросил Бурмин.
— Шарлатанство! — сказал одновременно Алексей Никитич.
Астролог поверх очков строго посмотрел на него, пожевал губами.

— Видите ли, господа. Современная наука астрология зиждется на прочих основах физических знаний... — нудным голосом школьного педанта он заговорил о связи между появлением пятен на солнце и периодическим усилением электромагнитных возмущений в земной атмосфере. — Не влияет ли та же периодическая волна тепловой и электрической энергии на тонкий организм человека, на его нервную систему и мозговую деятельность? Не отражается ли биение солнечного пульса на пульсе общественной и политической жизни? — вопрошал астролог, задумчиво рассматривая сквозь дымчатые очки голые плечи Кати Парицкой. И, ссылаясь на ученого аббата Морэ, он утверждал, что это именно так. — Астрология, господа, способна указывать правительствам и рулевым государств опасные мели и пучины.

— Это не ново — философский плагиат... у древних египтян, — с презрением посмотрев на светило двадцатого века, заметил Левченко. — Попятный ход на сорок веков. Поздравляю, господа.

— Нет, батенька мой, я не согласен! Новейшая философия вполне допускает возможность такого экстравагантного толкования данных космогонии, — тотчас вступился за астролога просвещенный заводчик Бурмин. — Один факт, что астрология продержалась пять тысячелетий, говорит за себя. Имеется, следовательно, в ней рациональное зерно-о. Кто в наше время вздумал бы добывать огонь посредством трения?

— Чущь будет держаться, пока живут дураки, желающие ей верить, — отрубил Левченко, поглядел на астролога и добавил едко: — И шарлатаны, зарабатывающие на этом.

— Господа, пожалуйста, без личных выпадов. В конце концов свободная борьба мнений двигает прогресс. Наука начинается всегда с предположений, с гипотез, — примиряющим топом сказал Судаков. — Наш уважаемый коллега... Гм... профессор... дал оригинальное изложение взглядов противоположного нам философского направления. М-да!.. Он предпринял заслуживающую внимания попытку... гм! гм!.. попытку перебросить мостик через вековую пропасть, разделяющую искони идеализм и материализм.

— Все в руце божьей! Мир — его творение, — громыхнул несообразно объему комнаты подвыпивший священнослужитель.

— А я не отрицаю, батюшка, воли всевышнего. Не отрицаю, — сказал астролог. — Дело в том, чтобы уловить законы ее проявления... чрез изучение законов мироздания.

Стук ножей и вилок не мешал разговору. Астролог продолжал редко цедить слова, успевая в промежутках выпивать и закусывать.

— Годы минимума солнечной энергии совпадают с годами всемирных выставок. С усилением солнечной активности... человечеством овладевает лихорадка — рождаются обострения, возникают войны. Ветер безумия охватывает

«Какая несусветная чепуха!.. И это у нас именуется наукой? — с горечью и раздражением думал Алексей Никитич. Неожиданно для себя он взглянул на сидящих за столом хорошо знакомых людей с другой стороны и увидел их совсем не такими, какими они представлялись ему прежде. — Н-да... И я — инженер, человек, уважающий русскую науку, ученик Менделеева... Я сижу рядом с этим... профессором черт знает чего! — Левченко выругался про себя, вспомнил почему-то Потапова, усмехнулся. — Если бы он только знал...»

Ему стало стыдно за себя, стыдно за то, что он привел сюда своих детей. Он осторожно скосил глаза и посмотрел на другой конец стола. Саша насмешливо улыбался, глядя на астролога. Соня шепталась с соседями, и, видимо, активность солнечных пятен мало задевала ее. Зато жена Бурмина, вытягивая длинную шею, с молитвенным экстазом взирала на дымчатые очки.

Катя Парицкая со смелым любопытством глядела на астролога, вызывающе поводя плечиками, и с некоторым разочарованием думала о том, что и на солнце оказались пятна. Вот уж не замечала! Вероятно, этот господин для того и носит дымчатые очки.

Астролог взглянул на большие стенные часы, показывавшие без двух минут двенадцать, вскочил с живостью, какую трудно было предположить в нем, поднял палец, призывая к молчанию.

— Итак, господа. Сейчас пробьют часы. Магическая стрелка времени пойдет на новый круг. Я объявляю результаты моих вычислений, — непререкаемым тоном пророка произнес он. — Поскольку максимум солнечной активности уже позади... Политический гороскоп

ближайшего года таков: падение активности человеческих масс. Уклон народов к успокоению и миру во внутренних и внешних отношениях.
— Да будет так! — воскликнул Чукин и чокнулся с астрологом.
Все держали бокалы, ожидая боя часов.
Вдруг громкий хохот Саши нарушил торжественную тишину.
— Часы-то... остановились! Стоят, — восклицал он в веселом исступлении. — Новый год пришел... без нас. Не доложился... Поздравляю! — Он залпом выпил свой бокал и сразу налил еще. — Пейте, что же вы!
Мужчины с кислыми физиономиями вытаскивали часы, хлопали крышками.
— Говорила я тебе, Катя: проследи, чтоб завели часы, — строго выговаривала дочери Юлия Борисовна.
Гости разбились на группы. Лица раскраснелись, глаза заблестели, жесты стали свободнее.
— Скучно в нашем городе. Удивительно тоскливый пейзаж. Нет здесь культурных развлечениев, — жаловался девушкам Варсонофий Тебеньков, норовя под столом коснуться коленом ноги Кати Парицкой.
— Развлечений, — поправила Соня и улыбнулась, вспомнив, какую характеристику Тебенькову дал недавно Саша.
Алексей Никитич медленно потягивал вино из бокала. Да, многое теперь стало иным, и надо было как-то приспосабливаться к изменившейся обстановке. Он вспомнил предложение, сделанное ему Потаповым. Нет, ни за что! С другой стороны, он критически взглянул не только на Парицкую, но и на Бурмина — человека в общем неглупого. Что же говорить об остальных?
Вот Зотов — авантюрист, каких свет мало видывал. Он чувствует себя тут в своей компании. Хлещет водку, шумит. О чем это он шепчется с Чукиным?
«Погоди, придет и твой черед», — подумал он мстительно о Зотове. С преуспевающим амурским золотопромышленником у Алексея Никитича были старые счеты.
Саша, слегка покачиваясь, стоял за стулом Судакова и слушал разговор попа с астрологом. Что-то из сказанного показалось Саше обидным. Он запальчиво вмешался в разговор и сразу же наговорил дерзостей. Отрезвил его вопрос Судакова:
— Вы что же, молодой человек, скандала хотите?
— Н-нет. Извините меня, пожалуйста, — пробормотал
Саша и отошел.
Где-то за окном неожиданно хлопнул выстрел. Рассыпалась частой дробью стрельба. Запоздало бухнул вдогонку еще раз кто-то, и все стихло. Далекие выстрелы похожи на негромкие хлопки.
— Что это, господа? — спросила Парицкая.
— Шампанское на улице откупоривают, — бравируя спокойствием, сказал Тебеньков. Однако сам заметно побледнел.
Саша уже совсем трезвым взглядом зорко посмотрел на него.
Минут через двадцать пять проскакала куда-то пожарная команда. Тревожно и часто звонил колокол.
— Го-орит! — сказал Бурмин.
Кто-то вышел посмотреть.
— Да-алеко...
Звон посуды, смех, голоса отвлекли Сашу от его дум.
За столом теперь все говорили сразу, и отдельных голосов уже нельзя было понять. «Эх, деятели», — с брезгливой гримасой подумал Алексей Никитич.
Он вышел в кабинет покурить. Тотчас за ним отправился и Джекобс.
— В Штатах такой человек мог бы делать хороший бизнес, — закурив, сказал он об астрологе.
Алексей Никитич усмехнулся. Проследил, как растекался по углам табачный дым.
Джекобс осторожно стал расспрашивать о положении дел в золотодобывающей промышленности. Его интересовали условия добычи металла и возможности механизации приисков. Между прочим поинтересовался он и прииском Незаметным.
Алексей Никитич, когда Джекобс заговорил о Незаметном, насторожился. Он ревниво относился ко всему, что было связано с прииском.

— Вы хорошо знаете край, — говорил Джекобс. — Такие люди высоко ценятся...
Тут они посмотрели друг на друга, и Алексей Никитич понял, ради чего затеян этот разговор.
А Джекобс уже распространялся об американских методах добычи золота, о наличии в Штатах свободных капиталов, ждущих применения.
Левченко поднялся.
— Знаете, пока доберешься до настоящей жилы, приходится не раз бить шурфы впустую. Уж я горное дело досконально изучил, можете мне поверить, — сказал он и ушел к себе вниз, предоставив Джекобсу разгадывать смысл его слов.
С черного хода кто-то постучал. Юлия Борисовна вышла, тотчас вернулась и пальцем поманила Тебенькова.
В темном коридорчике, что вел на лестницу, стоял Кауров в низко надвинутой папахе. Он с трудом переводил дыхание, лицо у него кривилось.
— Черт! Застукали нас сегодня. Двоих, кажется, потеряли. Перестрелка была.
Варсонофий кивнул головой:
— Я слышал.
Кауров пошарил сзади рукой, негромко ругнулся:
— Тысяча чертей! Лез через забор... напоролся на гвоздь. Всю штанину распахал... Ты меня тут устрой на день-два. Сможешь?
В комнате, которую ему отвела хозяйка, Кауров стягивал сапог, морщился.
— Устроили фейерверк... Зарево на полнеба. Чертовски меня жажда мучит. Тащи сюда, Варсонофий, коньяку и побольше!
2
Горело недалеко от дома Савчука. Вверху над темным обрывом поднималось трепещущее бледное зарево. Кто-то под окнами суматошно кричал:
— По-ожа-ар!
Савчук лежал в постели, но еще не успел заснуть. Не зажигая света, он прямо на белье накинул шинель и выскочил во двор.
По черному небу летели золотые искры. На фоне разгорающегося пожара рельефно выделялись крыши ближних домов.
— Что горит?
— Скла-ад, — ответили с улицы, сразу наполнившейся бегущими людьми.
— Багры захватывай!.. Ведра-а...
Савчук грохнул кулаком в соседнюю дверь:
— Петров, живо! Склады спасать.
Ахнула позади Федосья Карповна.
Пока мать трясущимися руками зажигала лампу, Савчук успел натянуть брюки, обуться в валенки.
— Ты сапоги обуй. Сапоги. По головешкам придется ходить, — посоветовала Федосья Карповна.
Дарья выбежала одновременно с Савчуком, загремела в дверях ведрами.
— Моего дома нету. Как с вечера ушел, так и гуляет... Беда какая! Склад, а? — говорила она, поспешая за Савчуком, оступаясь на крутой и скользкой тропе.
Поднявшись на гору, они сразу увидели горящее строение. Огонь длинными желтыми языками лизал выходящую на улицу переднюю стену мучного лабаза. Он уже вскарабкался на тесовую крышу и быстро разбегался по той стороне ее, с которой ветром посдувало снег.
Возле огня суетились люди: подскакивали, плескали на стену водой из ведер, отходили, уступая место другим.
Метель к этому времени прекратилась, но ветер дул с прежней силой.
— Ой, бежим! — крикнула Дарья и бросилась вперед.
Савчук сразу понял, что склад отстоять не удастся. Огонь охватил как раз ту стену, в которой была прорублена единственная дверь. Толстые лиственничные бревна, высушенные солнцем и ветрами, успели разгореться так, что за десять шагов чувствовался нестерпимый жар.

Воду подносили ведрами с противоположной стороны улицы. Огонь, когда на него брызгали водой, шипел, сердито пофыркивал и тут же с веселым треском опять набрасывался на стену, будто насмехался над тщетными усилиями людей.
По толпе ходило страшное слово:
— Поджо-ог!
— Да у кого ж это руки поднялись?
Какая-то разбитная бабенка бегала от одной кучки зевак к другой, захлебываясь словами, торопливо рассказывала, как поджигатели придушили сторожа и облили стену керосином. Да на них в момент поджога наскочил милицейский патруль и будто всех перебил.
— Туда им и дорога, — сурово говорили в толпе.
Савчук допытывался:
— Муки в складе много?
— Да теперь, мил человек, все равно. В огонь за нею не кинешься.
— Надо вышибить дверь!
— Правильно! У забора лежат бревна-тонкомер. Для тарана сгодятся, — сказал кто-то за спиной Савчука.
Дверь, крепко прихваченная поперечным железным брусом, замкнутым на большой висячий: замок, загудела от тяжелых ударов.
— Ещ-ще р-раз! — командовал Савчук.
Дарья, бегавшей с ведрами через улицу, видела, как на фоне огненной стены выросла громадная фигура Савчука и тотчас исчезла в зияющем черном провале. Вслед за ним туда же кинулся невысокий человек в пальто. Но больше никто не посмел рискнуть.
— Да что же вы, люди!.. Сгорят они! — закричала Дарья.
— Куда тут? Видишь, полыхает, — беспомощно развел руками одни из мужчин.
В эту минуту Савчук выбежал из склада с мешком муки на плечах, свалил его у ног неподвижно стоящих людей.
— Ничего, дышать можно! — крикнул он бодрым голосом и тут же повернул обратно.
За ним кинулись человек двадцать.
Склад горел снаружи. Пока огонь не успел прогрызть толстые стены, внутри еще можно было дышать. Пятипудовые мешки с мукой были сложены штабелями в дальнем конце склада.
— Давай, давай! — Савчук возгласами подбодрял людей. — Ходи живей! Не робей!
Тяжелые мешки летали в руках, как мячики. Люди двигались только бегом. Они соревновались с огнем, вырывая у него добычу.
Огонь сперва как будто примерялся, заглядывал внутрь склада сквозь щели, не очень спешил, уверенный, что люди отступят. Потом он спохватился, усилил натиск. Потрескивающее пламя прорвалось на чердак, изнутри проскакивало на крышу, грызло стропила. Оно ползло по стенам, зло шипя на людей, дерзнувших вступить в единоборство с ним.
Дверь склада стала похожа на жерло раскаленной докрасна печи.
С запозданием прискакала пожарная команда. Струп из брандспойтов осадили, приглушили пламя над входом.
— Ага! Наша берет! — кричали люди, в исступлении качая воду ручными помпами. Но запас воды в бочках иссяк, и огонь с удвоенным рвением продолжал свое дело.
Дым повалил внутрь склада, словно радуясь возможности досадить смельчакам. Нечем стало дышать.
Огонь вызвал сильный приток воздуха, который, нагреваясь, с гудением устремлялся вверх, унося с собой искры и мелкие головешки. Пляшущие языки пламени приманивали ветер, сами порождали его и, радуясь поддержке, суматошно метались над крышей, поддразнивая суетящихся внизу людей.
А люди храбро проскакивали огненный круг, гасили руками пламя на одежде, наскоро обливались водой и, разогнавшись, опять исчезали в гудящем аду. В шуме огня почти не было слышно их голосов.
«Еще мешок... Еще», — не дыша, думал Савчук, чувствуя, как у него пересохло и першит в горле.

Внутри помещения дым оказался врагом еще более страшным, чем огонь. Он лез в горло, царапал, вызывал нестерпимый кашель, душил. Дым поедом ел глаза, ослеплял.
Савчук задыхался и кашлял. В розовых отблесках огня он видел суетящиеся фигуры людей с мешками на плечах. С большой сноровкой работал тот невысокий человек в пальто, который первым кинулся в огонь за Савчуком.
— Обливайтесь водой у входа! Слышите, — крикнул он, принимая на плечи мешок и шатаясь под его тяжестью.
Разбирали последний штабель.
Огонь словно ждал этой минуты. Жаркое пламя охватило внутренние стены склада. Рушилась на головы прогоревшая обшивка чердачного перекрытия. Черно-багровый дым вытеснил остатки воздуха, которым можно было дышать.
— Шаба-аш! Уходи все! — крикнул Савчук, чувствуя, как у него самого подкашиваются ноги.
С неимоверным напряжением сил вынес он последний мешок и рухнул ниц, уткнувшись лицом в снег, не чувствуя, что у него тлеет воротник и горит пола шинели.
Кто-то засыпал огонь снегом. Кто-то другой сказал:
— А один не вернулся. Должно быть, задохся в дыму.
Савчук, не спрашивая, кто не вернулся, не думая, что и сам он может остаться там, в огне, поднялся и, все еще пошатываясь, побрел навстречу гудящему пламени.
— Вы с ума сошли! — кто-то пытался остановить его, схватил за руку.
Савчук довернул к нему свое почти незрячее, безбровое, обожженное лицо:
— Там человек... Вы понимаете?
Огонь жег, обдавал нестерпимым жаром. Двигаться можно было только ощупью: из-за дыма ничего не было видно.
Чудом Савчук наткнулся на лежащего на полу человека, поднял его на руки. Чудом он разыскал проход в той сплошной огненной стене, в какую к этому времени превратился склад. В бешеном реве ликующего пламени, сквозь которое он все-таки прошел, Савчук различил сухой сильный треск и понял, что это рушатся стропила. В следующее мгновение что-то больно ударило его по голове, и он упал, прикрыв собою спасенного им человека.
Огонь злобно взвыл, забегал в ярости по стенам, обвалил внутрь склада прогоревшие балки потолочного перекрытия, взвился высоко в небо целой тучей летящих искр.
Огонь свирепствовал, угрожая переброситься на другие склады городской Продовольственной управы. Ветер, оправдывая расчеты поджигателей, перекидывал на соседние крыши злые шипящие языки пламени. Но люди стояли на страже. Они сразу же забрасывали пламя снегом, заливали водой, стягивали баграми вниз горящие тесины, затаптывали огонь ногами.
Огню не давали хода. И его буйная сила начала угасать. Языки пламени мельчали, корчились, опадали, змейками уползали куда-то вниз. Белый едкий дым стлался над обгорелыми черными остатками склада.
Люди деловито растаскивали баграми чадящие головешки. Безжалостно добивали своего врага...

Савчук лежал на кушетке в одном из соседних домов. Рядом, склонившись над ним, сидела Дарья. Она смазывала гусиным салом обожженные руки Савчука и глазами, полными слез, глядела на его почерневшее от копоти и дыма лицо.
— Иван Павлович, родной!.. Обгоре-ел как, — тихонько, нараспев, по-бабьи, причитала она.
— Ничего, отдышится! У него обморок от недостатка дыхания. Пройдет! До серебряной свадьбы с ним вполне доживете, — уверенным голосом успокаивал Дарью хозяин квартиры — шустрый веселый старичок. — А ну-ка, хозяюшка, подай нам флакончик нашатыря. Мы молодца сейчас взбодрим. Он у нас чихнет. Чихнет и вскочит.
Его жена, высокая женщина, порылась в шкафу и извлекла оттуда покрытый пылью плоский флакон. Обтерев пыль передником, она подала его мужу.
Старичок понюхал пробку, сморщился, приоткрыл флакон побольше и быстро поднес к носу Савчука. Савчук чихнул, открыл глаза. Чихнул еще раз и сел, спустив ноги на пол.

— Как по писаному. Будьте теперь здоровы! — весело сказал хозяин и рассмеялся. — Крепкая штука — аммиак! Держу на случай смертельно опасного заболевания. Как буду отходить, жена шарахнет этой дрянью по ноздрям — тут и смерть от меня прочь. Либо уж я отжил свое на белом свете. Одно из двух.
Савчук растерянно мигал, переводил покрасневшие воспаленные глаза со старика на Дарью, видимо, не мог сообразить, каким путем очутился здесь.
— А я так испугалась за вас, Иван Павлович! Аж сердце зашлось. Тук-тук — и замерло... будто рукой схватил кто, — взволнованно и радостно говорила Дарья, прижимая свои руки к груди, и счастливыми глазами смотрела на Савчука.
— Шутка сказать, экий жар был! Через улицу достигал. Ледок на окнах со стороны пожара обтаял, можете убедиться, — все тем же веселым тоном подхватил хозяин. — Счастливо прошли, молодой человек, через огонь и воду.
— Другие склады как... отстояли? — спросил Савчук, поднимаясь на ноги.
Ноги дрожали, подгибались под ним. Болела забинтованная голова. Явственно ощущалась саднящая боль в руках, на шее.
— Не допустили. Всем миром навалились на огонь, — хозяин поглядел в темное окно, прислонившись лбом к холодному запотевшему стеклу. — Головешки растаскивают. А могло быть и хуже — ветер...
Савчук неуверенными шагами ходил по комнате, разминал ноги.
— Спасибо за ласку и доброе слово! Пойду, — он накинул шинель, посмотрел с огорчением на обгоревшую полу.
— Шинеленку-то повредило изрядно. Добрый материалец — солдатское сукно, а против огня — нестоек, — говорил словоохотливый хозяин, провожая Савчука и Дарью. Мимоходом он сунул Дарье баночку с гусиным салом. — Чудесное средство. Не жалей, мажь. — И, посветив в темноту фонарем «летучая мышь», крикнул вдогонку: — Так не забудь, молодица, — на серебряную свадьбу зови!
«Серебряную свадьбу? — удивилась Дарья. — Ах, он меня за его жену принял. За жену», — догадалась она и почувствовала, как у нее сразу загорелись кончики ушей.
«А была бы я ему верной женой. Я бы его... ласкала... берегла, — думала она, поддерживая под руку спотыкающегося Савчука. — Он, глупый, не знает, не догадывается, как в сердце ко мне вошел с огнем вместе. Жарким пламенем бы сгорела ради него... Ах, жизнь моя непутевая... неудачная».
Образ Савчука, смело идущего через огонь, не сгибающегося перед бедой и опасностью, навсегда запечатлелся в ее памяти. Поняла она это в те немногие секунды, когда прежде других кинулась навстречу опаляющему жару, подхватила, оттащила обеспамятевшего Савчука прочь от страшного огня. Едва она сделала это, как на место, где недвижимо лежал он, с грохотом свалилось тяжелое бревно. Она успела выхватить Савчука, на какую-то долю секунды опередила смерть. И теперь она гордилась им, как мать гордится сыном.
Савчук на свежем воздухе постепенно приходил в себя.
Вскоре Иван Павлович заметил, как дрожит Дарьина рука, и понял, что она, поддерживая его, готова свалиться от треволнений и усталости. Он усмехнулся, обнял Дарью за плечи твердой рукой и сам повел ее по дороге, чувствуя, как доверчиво прильнула к нему женщина.
— Ну и наглотался я сегодня дыму! А ведь мог свалиться там. Свободно. Была бы мне крышка, — задумчиво сказал он и рассмеялся здоровым смехом сильного человека. — Как все-таки хорошо дышать свежим воздухом. Дышать, дышать... Знаете, пройдемся еще разок по улице...
Когда они спустились наконец вниз, Дарья заметила огонь в окне своей комнаты. «Наверно, опять вернулся вдрызг пьяный», — равнодушно подумала она о муже.
Савчук, прощаясь, крепко пожал ей руку:
— Спасибо, Дарья Тимофеевна!
— И вам спасибо, Иван Павлович! — с чувством сказала она, думая о том, что с этого дня для нее многое должно измениться. И вдруг спохватилась: — Ах, батюшки! А ведра? Ведра-то я позабыла.

Петров против ожидания был трезв. Он сидел с хмурым видом у занавешенного окна и чистил маузер, поспешно накрыл его полотенцем, как только звякнула дверная щеколда. Увидев жену, он усмехнулся и ничего не спросил.
Среди грузчиков Петров слыл человеком, на которого нельзя особенно полагаться. Слишком уж заметно норовил он устраиваться на работы, где полегче. Любил пить и жить за чужой счет. При случае умел пустить пыль в глаза, блеснуть острым словом. Революцию он встретил как человек, которому до чертиков надоело быть у других под началом. Из всех политических партий его сразу потянуло к анархистам. Нравились ему их звонкие, хлесткие слова, вольная, разнузданная жизнь, при которой не нужно задумываться о завтрашнем дне. Чего еще желать Петрову при его характере и наклонностях?
— Где ж гулял, муженек? Ради Нового года не мог домой прийти, как все люди? — моя руки под умывальником, спросила Дарья.
— Я тебя ведь не спрашиваю, где ты до утра ходишь, — огрызнулся Петров.
— За твоими дружками следы убирала.
— Что? Ты чего мелешь? — Петров зорко исподлобья посмотрел на жену.
— Дружков твоих не видала, говорю, на пожаре. Или они там раньше побывали?
Петров подозревал, что дело не обошлось без участия боевиков анархистского клуба. Но именно поэтому он счел нужным обидеться.
— Моих дружков понапрасну не хули. Они люди хорошие.
— Хо-орошие... когда спят.
— Да-арья! — Петров повысил голос.
— Нагляделась на них до тошноты. И чего тебя потянуло в такую компанию? Легкой жизни все ищешь? — не обращая внимания на угрожающий тон мужа, продолжала Дарья. — Ищи, ищи... да помни: чем поиграешь, тем и зашибешься...
— Ну, это не твоего ума дело. Ты мне не советчица.
— Не меня, так людей бы посовестился.
— А что мне люди?.. Каши в рот не покладут.
— Не в лесу живешь, мил человек, — среди народа, — наставительно заметила Дарья и с оттенком презрения посмотрела на мужа. — На улицу из-за тебя выйти стыдно.
— Я не убивец.
— На скользкой дорожке упасть нетрудно. Краденым небось промышляешь? Или, думаешь, я не вижу, не догадалась? Вон они — твои дружки! — Дарья метнулась в угол, схватила лежавший там отдельно от остальной одежды полушалок и швырнула его на стол перед мужем. Из свертка выкатились золотые серьги с цветным камнем и со стуком упали на пол. — Забери, не нужно мне краденого! Еще на улице с плеча сымут. Стыд какой!
Она стояла перед ним прямая, гордая, со сверкающими гневом глазами.
— Ну, ошалела!.. Дура-а, — со смесью раздражения и удивления сказал Петров и полез под стол за серьгами.
— И больше краденого в дом не смей носить. Или...
— Или? — Петров поднялся с полу, злыми глазами посмотрел на нее. — В милицию побежишь на мужа доносить, что ли?
— Пойду.
Он внимательно посмотрел в ее решительные глаза и понял: пойдет. В замешательстве отвернулся. «Ах, змея подколодная!.. Побить?.. Крик подымет».
— Так и знай: больше молчать не буду. И дружков твоих на порог не пущу, — решительным тоном продолжала Дарья.
Петров сорвался, закричал:
— Цыц, стерва! Я тебя... — и угрожающе схватился за скалку.
Но Дарья не отступила, не испугалась. Она подошла вплотную к мужу, пристально посмотрела в его бегающие глаза, выдохнула:
— А ну, ударь! Попробуй...
— Али защитника нашла? — Петров опустил глаза и положил скалку на стол.
— Может, и нашла, — неопределенно ответила Дарья; в голосе у нее пробилась неожиданная радостная нотка. Петров удивленно посмотрел на нее. Обиженно засопел носом, туго соображая, что же предпринять в таком положении.
Дарья, повернувшись к нему спиной, расплетала косы.

Савчук хотел идти в Союз грузчиков, но Федосья Карповна решительно воспротивилась этому. Он не стал спорить, остался. Сидел у стола, разглядывал свои руки, обмотанные чистыми белыми тряпками, и размышлял о событиях минувшей ночи.
Часов около десяти утра забежал Захаров.
— Ага, брат, опалился? Огонь шуток не любит, — как всегда, весело балагурил он, рассматривая подгоревшие брови Савчука. — Саднит?.. Ничего, до свадьбы заживет. Денек-другой дома посидишь, не беда. А то все в бегах. Федосья Карповна, поди, соскучилась, а?
— Да ведь не привяжешь, — вздохнула мать, подкладывая дрова в печурку.
— Не привяжешь. Верно. Куда такого молодца — не овца. Знаешь, он каких делов этой ночью натворил? Три тысячи пудов муки из огня выхватил. Три тысячи. Это, — Захаров быстро подсчитал в уме, — сто двадцать тысяч фунтов. Если по полфунта на душу с припеком — городу неделю хлебом питаться.
— Неужто поджог? — Федосья Карповна никак не могла поверить, настолько чудовищным казалось ей преступление.
— Поджог, поджог, — сказал Захаров, лицо его сразу потемнело, глаза строго смотрели из-под нависших густых бровей. — Подшибли двоих в перестрелке, да жаль — скончались. Не дознаться концов. А надо бы найти.
— В трибунал такую публику. — Савчук пристукнул по столу ладонью.
Захаров зачерпнул ковшом из кадки ледяной воды, мелкими глотками отпил половину, слил остальное в умывальник, тыльной стороной ладони вытер усы.
— А должно быть, мы выйдем из кризиса с хлебом, — сказал он. — Сорок вагонов погружено в Бочкарево, надо протолкнуть побыстрее. Да в Маньчжурии двести тысяч пудов на колесах. Закупили владивостокские товарищи. Проживем! И на семена выкроим.
Захаров как комиссар Продовольственной управы знал теперь хлебные дела досконально.
Федосья Карповна, сидя на табурете, чистила картошку, прислушивалась к разговору. Многое казалось ей удивительным. Давно знала она Якова Андреевича, не раз потчевала у себя за столом. Уважала его как человека, способного дать дельный совет. Но чтобы он вдруг начал ворочать такими делами, — об этом и не мыслилось даже. Поразительно, как все меняется на свете! И что за сила такая — революция?
Постучавшись, вошла Дарья. Быстро глянула на Савчука — и к Федосье Карповне с просьбой:
— Дозвольте ведрами вашими воспользоваться. Воды наносить.
Савчук покосился на нее веселыми глазами.
— Да, мама. Дарья Тимофеевна на пожаре так старалась, что ведра потеряла.
— Ведра потеряла, зато человека нашла, — с загадочной улыбкой ответила Дарья и, не стесняясь Захарова, смелым, долгим взглядом посмотрела на Савчука. Громыхнула ведрами в дверях и скрылась.
Захаров проводил ее понимающим взором, вздохнул.
— Покатился Петров под горку с анархистами... Не будет она с ним жить. Не такой характер.
Савчук, отвернувшись, задумчиво смотрел в окно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Кауров проснулся поздно, с головной болью. В соседней комнате били часы. Он лениво сосчитал удары: десять! Черт возьми, залежался! Но тотчас вспомнил, что спешить некуда. В широком зеркале на стене отражался уголок кровати, на которой он лежал, смятая подушка и на ней — его всклокоченная голова, заросшая щетиной трехдневной давности. Кауров пристально посмотрел на свое отражение.
Напрягая затуманенный коньяком мозг, он попытался восстановить в памяти события минувшей ночи: пламя, охватившее стену, выстрелы, поспешное бегство через чужие дворы и заборы. Вспомнил зарево, стоявшее в небе над районом базара. Беспокоило другое — жив или нет первый из отставших тогда раненых? Если жив — скверно: разболтает на допросах. За второго соучастника, раненного в ногу анархиста-боевика, сотник был спокоен: он сам выстрелил ему в лоб из маузера, убедившись, что тот не может спастись

бегством. Но первый, первый?.. И когда Хасимото заплатит ему? Деньги — скверно жить без них. Во всяком случае Кауров к этому не привык.
Его размышления прервал стук каблучков и шелест платья в соседней комнате. За дверью мелькнула фигурка Кати в цветном кимоно. Кауров оправил кое-как одеяло, кашлянул.
— Как почивалось? — спросила Катя, появляясь в дверном проеме, как в раме.
Сотник сладко потянулся; пружины под ним заскрипели.
— Ох, какие грешные сны снились. Чертовски приятные сны.
— А что именно? — с любопытствующей улыбочкой спросила она.
— Голые бабы в бане, — бухнул он и захохотал.
Катя состроила брезгливую гримаску.
— Фи!
Кауров потянулся к столику за папиросами.
— Вы меня, конечно, извините, за такой непрезентабельный вид?
— Может, вам бритву принести?
— Благодарю. Непременно.
Катя протопала каблучками, вернулась с бритвенным прибором.
— Побреетесь, приходите чай пить.
Кауров вспомнил про разодранные брюки, ругнулся про себя.
— А что ваш американец... встал?
— Стучит с утра на машинке.
Катя теребила заколку на груди.
— Буду очень обязан, если вы попросите его заглянуть на минутку ко мне.
Джекобс вошел с веселым возгласом:
— Хелло, мистер Кауров! Чем могу быть полезен?
Сотник без обиняков изложил ему суть дела, не указав, однако, причину, побудившую его лезть через забор. Джекобс окинул его внимательным взглядом.
— Роста мы приблизительно одинакового. О'кей!
В американских бриджах с яркими цветными подтяжками, в одних носках Кауров топтался перед зеркалом, водил сверху вниз по лицу бритвой, пробовал пальцем чистоту бритья.
Джекобс сидел, глубоко погрузившись в кресло, и молча наблюдал за тем, как сотник выбривал щеку, подпирая ее изнутри языком.
Когда Кауров натянул сапоги и стал застегивать китель, Джекобс спросил:
— Удачно встретили Новый год, мистер Кауров?
— Так себе. Могло быть лучше.
Кауров снова с беспокойством подумал о раненом соучастнике. Жив он или нет?
— Вчера был пожар, вы знаете? Говорят, охрана убила двух человек, — продолжал Джекобс равнодушным тоном постороннего человека.
— Вы уверены в этом?
— Абсолютно.
Перехватив быстрый взгляд сотника, Джекобс усмехнулся. Еще раз оценивающе посмотрев на Каурова, он приглашающим жестом указал на дверь.
— А теперь завтракать, мистер Кауров.
За столом сидели втроем: Катя, Джекобс и Кауров. Юлия Борисовна опять жаловалась на печень и лежала в постели. Пили чай с вареньем и английскими сухими галетами.
Катя подливала ароматный напиток в фарфоровые чашечки. Она без умолку тараторила и отдавала явное предпочтение американцу.
Кауров злился. «Черт бы побрал эти буржуйские привычки: лакать по утрам подогретую водичку! Подали бы хороший кусок отваренного мяса да бутылку коньяка», — думал он. Аппетит от этого разыгрывался еще больше. Он с жадностью голодного зверя набросился на галеты, хрустел, размалывал их зубами.
К вечеру Кауров все-таки напился. Засунув руки в карманы бриджей, глупо ухмыляясь, он бродил по комнатам. Вздумал поговорить с американцем и без стука вломился к нему. Катя Парицкая сидела на коленях у Джекобса и быстро, будто курица, клюющая зерна чумизы, целовала его.
— Виноват! — сказал Кауров, но не ушел, а с упорством пьяного двинулся вперед через комнату и плюхнулся на заскрипевший под ним диван.

Катя досадливо дернула плечиками, оправила платье.
— Приходите потом, Чарльз: сыграем в четыре руки. Я одна плохо разбираю ноты.
Джекобс подождал, пока она вышла, и, как ни в чем не бывало, без тени раздражения сказал:
— Есть занятная идея. Вы можете достать два-три немецких офицерских костюма?
— М-могу! — Кауров громко икнул. — Дайте чего-нибудь глотку промочить.
Журналист достал неполную флягу. Выпили по стаканчику.
— Как поживает мистер Мавлютин? — спросил Джекобс.
— Живет, — Кауров неопределенно махнул рукой. — Сидит в тени, паутину плетет, дураков ищет... Он, брат, тонкая шельма, Мавлютин. Он да Хасимото... Между прочим, не люблю японцев. Я в 1905 году ехал воевать с ними, да не поспел. Пришлось товарищей р-рабочих усмир-рять.
Выпитое вино все больше разбирало его. Кауров пьяно разоткровенничался.
— Я преданно служил царю. Служил Керенскому. Буду служить... хоть черту! Платили бы чистоганом... Мои убеждения? Я должен жить хорошо, это первое. На остальных — плевать! Второе. Когда-нибудь пущу себе пулю в лоб. Либо меня срежет из-за куста красный большевик. «Что наша жизнь — игра!» — фальшиво и громко затянул он, покачнулся, не удержался, потянул на себя скатерть. Фляга со стуком упала на пол, пробка от удара вылетела, и вино разлилось на ковер. — Эх, жаль! — сказал Кауров. — Вина пролитого жаль. — Приблизив к Джекобсу свои одичалые от пьянства, сумасшедшие глаза, он неожиданно предложил: — Хочешь, я тебя сейчас ножом пырну? Кишки по комнате разметаю, а?
Джекобс отшатнулся.
— Ну, не бойся!.. Я пошутил, — сказал Кауров почти трезвым голосом и захохотал. — Я желал, чтобы Катя стала моей любовницей. Но у тебя, кажется, свой расчетец, а? Не буду мешать.

День спустя в этой же комнате Джекобс прилаживал треногу фотоаппарата, примерялся, как повыгоднее использовать свет из окна.
— Еще минуту, уважаемые господа!.. Теперь попрошу поменяться местами. Так. Спокойно! Снимаю! — Нацелившись, он весело щелкнул затвором фотоаппарата. — Благодарю вас.
Кауров, чертыхаясь, стаскивал с себя узкий в плечах, пахнущий нафталином мундир немецкого полковника.
— Терпеть не могу нафталинную вонь, — говорил он, морща нос и с трудом удерживаясь от желания чихнуть.
— Виноват. Супружница моя засунула мундирчик в сундук. А у нас — моль. Только нафталином и спасаемся, — пояснил мужчина мрачноватого вида, сдирая с рукава красногвардейскую повязку и комкая ее толстыми, пухлыми пальцами.
Длинный и тощий юноша в форме немецкого лейтенанта осторожно, обеими руками снял с головы каску с шишаком и поставил ее перед собой на стол.
— Уберите эту бутафорию куда-нибудь, — проворчал четвертый из позировавших — юркий человечек с лисьей физиономией и бегающими бесцветными глазами, затянутый с ног до головы в черную кожу: кожаную тужурку, кожаные штаны, сапоги, кожаную фуражку.
Выждав, пока юноша-юнкер переставит каску со стола на подоконник, он деловито стал свертывать в трубочку листы военной карты, разложенные на столе. Перевязав сверток тесемочкой, он сунул его под мышку и весело сказал:
— А теперь, господа, не грех выпить!
Мрачный мужчина затолкал немецкие мундиры в саквояж, откликнулся:
— Возражений не имеется.
— Прошу, господа. Ваш гонорар, — Джекобс повернулся к ним, и в руках у него оказались припасенные заранее конверты.
Кауров молча сунул конверт в карман. Юноша покраснел и последовал его примеру.
— Виноват. Я чисто из идейных побуждений, — возразил мрачный мужчина, отстраняя руку дающего.

— Ах, господи! Ну зачем кочевряжиться? Бери, — сказал четвертый и, ловко ухватив за кончики оба оставшиеся конверта, с быстротой фокусника сунул их куда-то себе в одежду и заключил веселым возгласом: — Да не оскудеет ваша рука, достопочтенный мистер! Адью!
До вечера Джекобс был занят составлением корреспонденции. Курил. Бойко выстукивал на машинке.
В доме суматоха. Вернулся из Владивостока Перкинс. Пока он принимал ванну и брился после Дороги, а Катя Парицкая носилась взад-вперед по коридору, Джекобс, закрывшись в темном чулане, проявил снимки.
Перкинс постучался, когда он все закончил.
— Хелло, Дуглас! — приветствовал его Джекобс. — Что хорошего?
— О, куча новостей из Штатов!
Они уселись рядышком на диван. Перкинс принялся насвистывать какой-то новый джазовый мотив.
— Ну ладно. Выкладывайте. Начинайте в самого существенного — о войне, — нетерпеливо сказал Джекобс. — Как дела на Западном фронте? Скоро генерал Першинг нокаутирует фельдмаршала Гинденбурга? Эти боши все еще не хотят сдаваться?
— Боши в отличной форме. Генерал Першинг не очень торопится нажимать. Может, немцы двинутся на Петроград и покончат с большевиками вместо этих дурацких переговоров в Бресте. — Перкинс самодовольно похлопал себя по тугому колену. — Представьте себе, Чарли, — самое существенное в мировой политике теперь не война, а вопрос о мире.
— Черт меня побери, если я что-нибудь понимаю!
— Это все из-за декларации большевиков. Мир без аннексий и контрибуций, — пояснил Перкинс. — Они здорово взбудоражили мозги. Война не всем нравится, Чарли. Приходится с этим считаться. Парни в госдепартаменте должны были здорово поломать голову, чтобы придумать выход из дурацкого положения, в какое нас поставил Ленин. Декларация Вильсона... четырнадцать пунктов — читал?.. Говорим о мире, чтобы довести до конца войну и удушить Россию. Самое главное теперь — Россия. Будет ужасно, если русские сумеют договориться с немцами.
— А поглядите-ка на это, — сказал Джекобс, показывая фотографии.
— Гм... Недурно, недурно, — заметил Перкинс, беря из рук Джекобса влажный еще снимок и внимательно рассматривая его против настольной лампы. — Но что значит эта странная компания?
— О, эпизод... Тайное совещание офицеров германского генерального штаба с большевистскими комиссарами. Большевики вооружают военнопленных немцев. Документальное доказательство, а? — Джекобс громко захохотал. — Мой шеф одуреет от радости. Или я ни черта не смыслю в политике нашей газеты.
Перкинс повертел еще снимок перед глазами.
— Вы удачно подобрали типаж, Чарли. Война против большевиков — дело решенное, — продолжал он, положив снимки и возвращаясь к своему рассказу. — В Париже совещание представителей союзных держав решило ввести войска в Россию. Государственный департамент настаивает на этом. Придется привлечь Японию. У нее здесь имеются свободные войска. Мы сделаем японцам новые уступки в Китае в качестве платы за солдат, выставленных против России. — Перкинс подправил распушившиеся после мытья усы и быстро защелкал пальцами. — Сибирь, конечно, при любых комбинациях останется за Америкой. Герберт Гувер знал, что делает, когда так настойчиво добивался концессий у русских.
— Я бы все-таки не стал полагаться на японцев. У них тут свои интересы, — сказал Джекобс.
— О, японцы дают солдат, — значит, не стоит с ними ссориться! — Перкинс откинулся на спинку дивана. — Консульский корпус во Владивостоке решил закрыть маньчжурскую границу с Россией. Большевики закупили в Маньчжурии двести тысяч пудов пшеницы. Они ее не получат. Колдуэлл очень интересуется предстоящим Войсковым кругом уссурийских казаков.
— Вы, конечно, напомнили, что Калмыкова продвигают японцы?
— Разумеется. — Перкинс подтверждающе мотнул головой. — Мне дали понять, что это не должно нас беспокоить.

Джекобс окутался сигарным дымом. Значит, они там решили. Ну что ж. Надо быть дурнем, чтобы прохлопать удобный случай поправить собственные дела.
Вскоре их позвали ужинать.
Перкинс, поднявшись, молодцевато подкрутил усы.
В столовой под золотисто-желтым шелковым абажуром горела лампа. Прямо под нею сидела Катя Парицкая в вечернем платье с вырезом, открывающим почти до пояса гибкую худую спину.
Место справа было свободным, и Перкинс сразу нацелился на него. Но Юлия Борисовна указала стул возле себя.
— Пожалуйста сюда! — сказала она сладким голосом. — А это место нашего Чарли...
2
Неизвестно, каким путем, но Лисанчанский узнал, что его особой заинтересовался комиссар по охране города. Не ожидая ничего хорошего от встречи с ним, он решил убраться подобру-поздорову.
Сборы были недолги.
Когда Поморцев вернулся со службы, как всегда раздраженный, капитан 2-го ранга, тщательно выбритый, освеженный принятой ванной, румяный и здоровый, застегивал чехол своего чемодана.
— В Харбин, в Харбин! Довольно с меня Совдепии. Сыт по горло! — воскликнул он, внимательно посмотрев на расстроенного начальника Арсенала. — Есть данные, что генерал-лейтенант Хорват намерен провозгласить себя временным правителем России. Смелый шаг. И — чем черт не шутит! — вдруг он окажется новым Столыпиным?.. Борода у него позволяет. — Лисанчанский коротко хохотнул и, сразу же оборвав смех, продолжал пугающим шепотом, чтобы не услышала жена Поморцева: — Возможно, ночью чека придет за мной. Скажешь, что вернулся на флотилию. А я той порой на лошадке махну в Фуйюань. Шестьдесят верст и — уже за границей. Придется добираться до Харбина на перекладных. Ничего не попишешь. Поехал бы по железной дороге, да опасно — снимут. Я уже подрядил тут одного казачка в провожатые. Да и тебе спокойнее, если я вовремя скроюсь. Был и весь вышел — только и спросу.
— Что ж, счастливого пути! Пишите, как там в придворных сферах живется, — сказал Поморцев, и в нем шевельнулось что-то похожее на зависть.
Поморцев признался шурину, что он тоже озабочен складывающейся в Арсенале обстановкой. Однако будущее не представлялось ему безнадежным. Страсти политические, как кипяток, — вначале бурлят, обжигают неосторожных. Но если выждать — они поостынут, и все уляжется. Терпение. Терпение! Вот все, что нужно.
Лисанчанский слушал его рассуждения с мрачной усмешкой.
До прихода Поморцева у него сидел знакомый баталер, жаловался, что большевики забрали силу на флотилии. Маленькие заплывшие глазки его бегали по комнате, отмечая следы поспешных сборов. Лисанчанский видел в них запрятанный животный страх. На требование активизировать деятельность он отвечал уклончиво, вздыхал.
Уходить баталер не торопился, стоял в передней, мял шапку в руках и с тревогой смотрел на капитана.
— Ваше благородие, может, переждать, а? Ведь за такое по головке не погладят.
— Я же не прошу тебя выйти на площадь и кричать: «Долой Советы!» Действуй с умом. Приноравливайся к обстановке, — с раздражением заметил Лисанчанский.
— Так-то оно так, а... ответ мне держать, — отвечал осторожный баталер.
Оба напряженно смотрели друг другу в глаза, точно мерялись силой взглядов.
— Видишь, братец... Большевизм — явление временное, я тебе объяснял, — уже мягче заговорил Лисанчанский. — А заслуги твои командование оценит. Я позабочусь...
— Покорнейше благодарю, ваше благородие. — Баталер еще раз вздохнул, нахлобучил шапку и вышел, тихонечко прикрыв за собой дверь.
От беседы с ним у Лисанчанского остался неприятный осадок.
Баталер принес несколько писем. В них капитан тоже не нашел ничего утешительного. Власть на флотилии все крепче прибирал к рукам Центральный судовой комитет. Командующий флотилией капитан 1-го ранга Огильви без санкции комитета не решался отдать ни одного мало-мальски важного приказа. Он охотно говорил о своей лояльности к

Советской власти, в отношениях с подчиненными был снисходительно добродушен, а истинные свои чувства высказывал только дома да двум-трем ближайшим единомышленникам и то осторожным шепотком.
С другой стороны, группа молодых офицеров, ранее связанных с флагманским артиллеристом и редактором гектографированного журнала «Вестник Амурской флотилии» лейтенантом Панаевым, ревностно взялась за работы по восстановлению боевой мощи флотилии.
— Скверно! Среди офицерства начался раскол. Нет единодушия в нашей среде, — говорил Лисанчанский, пересказывая Поморцеву содержание полученной информации. — Но я не верю, — продолжал он, — решительно не верю, что им удастся восстановить боеспособность кораблей. О возрождении флотилии в целом и речи не может быть! Эта затянувшаяся война на Западе вытянула отсюда все, что еще годилось в дело. С большей части судов снято артиллерийское вооружение. Башенные лодки «Гроза», «Вьюга», «Вихрь», «Тайфун», «Ураган» — это мертвые стальные остовы. Дизели с них отправлены для установки на подводных лодках на Балтику и Черное море. На сормовках машины тоже разобраны. Четыре пятых посыльных судов флотилии переброшены на Дунай. Мы здесь безоружны, и слава богу! Сыщутся, наверно, умные люди, которые это учтут.
Говорил он с плохо скрытым злорадством.
— Без речной флотилии нельзя эффективно охранять дальневосточную границу. Река здесь — открытая дорога, ведущая в глубь края. Но совдеповцам это и в голову не придет! Воображаю этих новоявленных стратегов... — Лисанчанский брезгливо оттопырил нижнюю губу.
Они перешли в столовую, пообедали. Не торопясь пили черный кофе.
— Как я завидую тебе, Станислав! Ты снова вздохнешь полной грудью. В Харбине теперь интересное общество. Балы, журфиксы... Хорват, говорят, хлебосол, — высоким, пронзительным голосом говорила Лисанчанскому дебелая супруга Поморцева. — А мы — увы! — обречены страдать. Терпеть. Надеяться... Но сколько еще?.. Сколько?
Она закатила глазки к потолку, будто там был начертан ответ.
— До весны, кузина! Не дольше, чем до весны, — уверенным тоном сказал Лисанчанский; после обеда настроение у него заметно повысилось. — Ждите меня с вешней водой.
— О, я приготовлю цветы, чтобы встретить победителей.
— А пока налей мне еще чашечку кофе, если нетрудно, — попросил Лисанчанский.
В окна вползали синие зимние сумерки.
— Как подумаю, сколько мне быть на морозе, — озноб берет. Брр! — Лисанчанский поежился и посмотрел на часы.
— Где-то у меня был теплый шерстяной шарф! Он пригодится тебе, Станислав. Пойду поищу. — Хозяйка с неожиданной для ее тучной фигуры легкостью выскользнула из столовой.
Мужчины закурили. Перешли опять в кабинет.
— Я выдыхаюсь. Ты это можешь понять, — усталым голосом пожаловался Поморцев. — Хожу, как по горячим углям.
— Не понимаю, почему тогда тебе не покончить со всей этой канителью одним ударом?
— Что ты имеешь в виду?
— Скажем, хорошую аварию на силовой.
Они посмотрели друг другу в глаза.
— Вот уж на это я не пойду, — сказал Поморцев.
— Чепуха! Нет ничего проще, — воскликнул Лисанчанский. — У тебя, Конечно, имеется на примете подходящий парень из механиков или кочегаров? Ну из тех, кто от войны тут прятался.
Поморцев из-под опущенных ресниц посмотрел на капитана 2-го ранга.
— Допустим.
— Ему дается соответствующий инструктаж...
— И потом я вместе с ним иду в революционный трибунал?.. Благодарю покорно, милый родственничек! Уж лучше буду выращивать цветы... к весне. — Поморцев сердито фыркнул, забрался мизинцем себе в ухо и повертел там.

— Это, милый мой, примитив!.. Примитив, — Лисанчанский снисходительно улыбнулся, покачал головой. — Зачем тебе непременно самому инструктировать исполнителя? Напротив, он и подозревать не должен о твоем участии. Пусть им занимается твое доверенное лицо. Кто-нибудь из техников. А когда будет все подготовлено, ты берешь среднее звено, то есть техника, и заранее устраняешь... Допустим, советуешь ему проделать мой маршрут до Харбина. Или... — Лисанчанский выразительно посмотрел на Поморцева и быстрым жестом чиркнул себя ребром ладони по горлу. — Ну, не морщись! Не в бирюльки играем. После аварии проводишь лично следствие, обнаруживаешь виновника и собственноручно доставляешь в большевистскую чека. Честь тебе и хвала! — Лисанчанский рассмеялся. — Серьезно, подумай над этим планом. Игра стоит свеч.
Поморцев тужился улыбнуться, но вместо улыбки на лице у него появилась кислая гримаса.
— Сюжет для детективного романа...
Лисанчанский прошел к окну, выглянул во двор, но в наступившей темноте ничего не мог там разглядеть.
— Между прочим, сюжетец мне подсказан. Хасимото — умнейший японец! Рекомендую сойтись с ним поближе. Он охотно профинансирует расходы. Охотно.
Поморцев понял, что капитан 2-го ранга имел уже возможность убедиться в готовности японца нести материальные затраты.
Во дворе что-то стукнуло; коротко заржала лошадь, будто ей сразу зажали морду. Вошел невысокий смуглый казак с тяжелой оленьей дохой в руках. Стрельнул раскосыми плутоватыми глазами.
— Морозец! Вы, ваше благородие, насчет согревательного похлопочите.
— Пройди-ка, братец, на кухню, — сказал Поморцев.
— Покорнейше благодарю! — Казак снял рукавицы, положил их на стул рядом с дохой.
— Оружие у тебя есть? — вполголоса спросил Лисанчанский.
— Два карабина, по цинке патронов. Да вы не извольте беспокоиться — до смерти доживем! — Казак лихо тряхнул длинным чубом, прошел в раскрытую дверь.
Пока Лисанчанский одевался, Поморцев, заложив руки за спину, ходил по комнате.
— В эмиграцию, значит?..
— Какая же это эмиграция... Харбин!
Отвернувшись к стене, Лисанчанский передернул затвор браунинга, дослал патрон и сунул пистолет в верхний карман пальто. На лице у него появилось выражение злобной решимости.
— Ну, шутки в сторону! Начинается беспощадная гражданская война.

3

Поморцев провел беспокойную ночь. Мерещилась разная чертовщина. Только закроет глаза, как из темноты возникает строгое бритое лицо Алиференко. Не успеет он движением руки отогнать это видение, а из угла уж смотрят на него проницательные, насмешливые глаза Чагрова.
Еще затемно Поморцева разбудил гудок.
Без всякой радости он подумал, что вот люди собираются на работу в Арсенал, убеждены, что делают полезное, нужное дело. Почему же у него нет такой убежденности? Как они смеют думать, что жизнь в Арсенале может идти помимо него — начальника?
Самолюбие его было уязвлено. Что-то желчным комом ворочалось в груди, спазмы подступали к горлу.
За окнами опять прокричал гудок. В цехах зашелестели трансмиссии, завертелись станки. На какую-то минуту Поморцев почувствовал себя ничтожно маленьким и ненужным.
Полковник прошел в ванную. Подставил голову под кран с холодной водой.
Впрочем, все это ерунда! Какое ему дело до сюжетов японца Хасимото?
В конце улицы навстречу ему поднималось солнце.
Но день, видно, с самого начала складывался неудачно.
В приемной полковника поджидал Демьянов.
— Сколько времени собираюсь к вам, да все недосуг. Работы поднавалили — страх берет, — блеснув глазами, сказал он.
Поморцев ключом открыл дверь кабинета.

Демьянов прочно, как влитой, сидел на стуле. После ухода из Арсенала он отрастил небольшие черные усики, и это придавало ему вид воинственный и бравый. Да и весь он был как-то по-новому собран и подтянут.
— Вид у вас стал вполне интеллигентный, — заметил Поморцев.
Комиссар усмехнулся.
— Вы представьте, какая со мной на днях произошла история!.. — Пуская колечками дым, посмеиваясь, он рассказал, как содержатель тайного притончика сам зазвал его к себе с улицы, приняв за искателя ночных приключений. — Ах, если бы вы видели его рожу! Он прямо-таки волосы на себе рвал.
Поморцев вежливо улыбнулся, подумал: «Хитер, бестия! Хитер».
Но от сердца у него отлегло.
— Вы, как видно, в сорочке родились, товарищ комиссар.
— О нет! Это доподлинно известно... Сорочки не только на мне, на родителе, пожалуй, не было. — Демьянов пальцами погасил окурок, положил в пепельницу. — Дела в Арсенале начинают понемногу налаживаться, а?
— Да, нам удалось раздобыть кое-какие заказы, — сказал Поморцев.
— Лиха беда — начало, — Демьянов пристально посмотрел на начальника Арсенала. — Между прочим, жалею: не успел поговорить по душам с вашим родственником. Что он так поспешил с отъездом? Поссорились вы, что ли?
Поморцев вздрогнул. «Неужели Лисанчанский попался?»
— Гм, гм... Мы действительно несколько не сошлись во взглядах, — выдавил из себя полковник.
— Не сошлись и разошлись... Или разошлись потому, что сошлись? — Демьянов положил на колени полевую сумку, расстегнул ее. — А сколько получено за медь, вывезенную из Арсенала? Почему операция прошла вне обычного бухгалтерского учета?
Полковник отвел глаза в сторону.
— Меня тогда ввели в заблуждение. На виновников наложено взыскание.
— Это не меняет дела.
Поморцев провел холодной ладонью по влажному лбу. Он старался казаться спокойным. Но икра согнутой левой ноги тряслась под стулом, и он не мог остановить эту противную дрожь.
— Мы взяли Лисанчанского на берегу, как раз против вашей квартиры, — сообщил Демьянов. — Кстати, вы знакомы с полковником Мавлютиным?.. Встречались в Петрограде? Только?..
В половине одиннадцатого загудел арсенальский гудок. Гудел протяжно и долго низким, басовитым звуком.
Каждый, кто жил возле завода, знает, что такое гудок в неурочное время. Он врывается в дома, кричит об опасности. Кто, заслышав этот зов, не бросит все дела, не заторопится к проходной?
Демьянов взглянул на часы и поднялся.
— Собственно, мне нечего добавить. Как на духу перед вами, — тоже поднимаясь, сказал Поморцев.
— Ну, я не поп... Не мое дело грехи отпускать, — усмехнулся Демьянов. — Вот пойдем на собрание к рабочим. Что они скажут?..
— Ох, как это ужасно! Жить в атмосфере всеобщего недоверия... Вы представить не можете, как это гнетет... — Поморцев заломил пальцы, похрустел ими.
...Часа два спустя полковник Поморцев в расстегнутой шинели, не замечая холодного ветра, крупными шагами торопливо пересекал заводской двор.
В ушах еще звучало решение арсенальцев: «Общее собрание, считая начальника Арсенала лицом, не идущим в контакте с рабочими и демократией, постановило: отстранить его от занимаемой должности с прекращением выдачи ему за счет Арсенала жалования».
Поморцева догнал конторщик. Запыхавшись от бега, он сказал:
— А знаете, кто будет на вашем месте?.. Мастер Яковлев! Кто мог подумать...
— Мне это совершенно безразлично, — хмуро бросил Поморцев. С крыльца он поглядел на заводские корпуса. «Эх, дурак!.. Дурак... Не так надо было действовать».

Потапов утром выехал на базу Амурской флотилии. Он сидел в санях, свободно отпустив вожжи, смотрел, как убегает назад след полозьев и уходят постепенно за гребень горы невысокие деревянные строения городской окраины.
Дорога крутилась между голых кустов, всползала на увалы, стороной огибала сопку, поросшую редким желтолистым дубняком.
Ночью был туман, и деревья заиндевели. Когда взошло солнце, иней на них засиял тысячами алмазов.
Поездка была связана с обсуждавшимся в исполкоме вопросом об усилении обороны Дальнего Востока. Все тревожнее складывалась обстановка. Во Владивостоке рядом с японским военным кораблем «Ивами» бросил якорь английский крейсер «Суффолк». По приказу английского командования 25-й батальон Миддельсекского полка, расквартированный в Гонконге, заканчивал подготовку к переброске во Владивосток. В тихоокеанских портах Соединенных Штатов Америки — в Сиэтле, Портленде, Сан-Франциско — грузились военные транспорты, направляющиеся на Филиппины. В лагере Фремон, в Калифорнии, под начальством генерал-майора Грэвса тренировалась 8-я американская дивизия, которой по планам военного министра Ньютона Д. Бекера и начальника штаба армии США Нейтона С. Марча предстояло осуществить оккупацию русского Дальнего Востока. Бекер и Марч были озабочены подбором соответствующего офицерского состава; солдаты 8-й дивизии подвергались негласной проверке с целью устранения неблагонадежных. В свою очередь Япония значительно усилила гарнизоны, расположенные в Квантунской области, и была готова в любой момент захватить КВЖД и двинуть свои войска на территорию России.
Город скрылся из виду, но над пологим скатом загородившей его сопки виднелись еще ровные, прямые столбы дыма. Было морозно и тихо.
Дорога шла в гору. Потапов был в сапогах, и ноги у него начали зябнуть. Не выпуская вожжей из рук, он соскочил и зашагал сбоку саней. Идти было трудно, так как дорогу на открытом склоне перемело снегом. Пока Потапов добрался до пригорка, с которого открылся вид на базу, он порядком устал, зато согрелся.
Верстах в четырех от базы он догнал матроса, шагавшего с сундучком по дороге.
— Садись, товарищ!
Матрос поставил сундучок в передок и на ходу запрыгнул в сани. Был он немолод, должно быть призван в годы войны из запаса.
— А снегу тут поболе, чем в Благовещенске, — сказал он, бросив взгляд на Потапова.
— Вы с «Орочанина»? — спросил Михаил Юрьевич.
— Так точно, — подтвердил матрос. — Откомандирован для госпитального лечения. Закурить не найдется?
— Я некурящий.
— Жаль. Привычка, знаете.
Он прикрыл рот ладонью, подул в нее и стал осторожно снимать пальцами с кончиков рыжих усов обтаявшие льдинки.
— Что нового в Благовещенске?
— Да, знаете, хорошего мало, — сказал матрос, еще раз внимательно посмотрев на Потапова. — Там такую могут заварить кашу, что не скоро расхлебаешь. Золотопромышленники да богатое казачество. Пока эсеры нам зубы заговаривают, они петлю ладят. Спелись, якорь им в душу! — он сплюнул и мрачно выругался.
На спокойном крестьянском лице матроса, когда он заговорил о положении в Благовещенске, появилось выражение такой злобной решимости, что Потапов и без слов понял, насколько накалена там обстановка.
— Воронья на Амур слетелось много. Каркают. За шумом нашего голосу не всегда слышно. Товарищу Мухину не разорваться; — продолжал матрос, и левое веко у него задергалось.
— Больно много таких, что все думают да прикидываются, А что толку думать сложа руки?
Они въехали в поселок и поравнялись с кирпичной казармой, стоявшей в стороне от дороги, за овражком.
— Сто-оп! — Матрос потянул вожжи, остановил лошадь, забрал свой сундучок. — Спасибо, товарищ!

...Михайлова Потапов разыскал в затоне, где техническая комиссия осматривала башенные канонерские лодки «Шквал» и «Смерч». Комиссия была назначена командующим по настоянию Центрального судового комитета флотилии. Она должна была определить объем ремонтных работ и сроки их выполнения. До сих пор на флотилии не шли дальше разговоров о судоремонте. Чья-то рука умело тормозила попытки матросов сделать что-либо своими силами. На складах не находилось нужных материалов, запасных частей. Случалась нужда обработать втулку на токарном станке — станок оказывался занятым другой работой. Вместо дела велись нескончаемые дебаты.
Когда Потапов пришел в затон, комиссия как раз закончила осмотр трюмных помещений «Шквала» и собралась на верхней палубе, чтобы обменяться замечаниями перед тем, как покинуть корабль. Разговаривали двое: председатель комиссии — плотный пожилой человек в аккуратной шинели со свежими следами снятых погон, с надраенными до блеска пряжками и пуговицами — и старший помощник «Шквала» — высокий худощавый офицер, временно исполнявший обязанности командира корабля. Остальные обступили их и молча слушали.
— Вы что же, с полного хода на банку сели? — спрашивал председатель комиссии, сердито топорща свои моржовые усы.
— Нет, шли на малом. Камень на приглыбом месте оказался. Впрочем, снялись собственными силами. Отделались, как видите, только вмятиной, — отвечал старший помощник.
— Н-да... Неприятная история, — председатель комиссии пожевал губами, неодобрительно посмотрел на обиженного его придирками старшего помощника. — Вот последствия небрежности в несении службы! Торопитесь, молодые люди. Да-с, — он оглянулся на подошедшего Потапова, как бы приглашая и его быть свидетелем, раздельно и веско заключил: — Пазы и стыки прочеканить наново. Вмятину необходимо выправить.
— Есть! Полагаю, что это удастся сделать без съемки листа, — сказал старший помощник.
— Не думаю. По техническим правилам работы такого рода производятся в доке, — председатель комиссии покачал головой. — Отступлений я санкционировать не могу. Подводная часть, батенька мой.
— А если применим скобы и отжимные болты с нагревом? Я уверен в успехе.
По выражению лиц моряков Потапов видел, что симпатии большей части собравшихся на стороне старшего помощника.
— Выпучина небольшая. Я бы предложил правку при помощи прессов или домкратов с нагревом места вмятины, — поддержал старпома механик со «Смерча». — Была в позапрошлом году у нас такая же история.
— Чепуха! Прожекты... — председатель комиссии даже не взглянул на говоривших. — Меня, признаться, беспокоит не столько ваша вмятина, — спокойным, рассудительным тоном продолжал он. — Подозреваю худшее — утончение днищевых листов корпуса. Специфический вид износа для кораблей речного плаванья. И очень опасный.
— Для такого заключения нет оснований, — решительно возразил старший помощник и посмотрел на Михайлова, который стоял рядом, внимательно слушал их разговор, но ничем не обнаруживал своего отношения к предмету спора.
— Во всяком случае, без судоподъемных сооружений вам не обойтись. Ремонтировать будете монитор, а не детскую ванну. Понадобится длительный срок. Но что поделаешь? Может быть, к концу навигации... Я так и доложу командующему. — Председатель комиссии опять покосился на Потапова, стараясь угадать, что это еще за штатское начальство. — Дальнейший спор полагаю излишним. Между прочим, стоит ли нам сейчас приступать к осмотру «Смерча»? Скоро обед.
— Да, это теперь самое важное, — насмешливо сказал кто-то за его спиной.
На немедленном осмотре башенной лодки «Смерч» никто из членов комиссии не настаивал.
— Добро. В таком случае вы свободны, товарищи, — торопливо сказал председатель, по привычке поднял к виску два пальца и двинулся к трапу.
Михайлов проводил его взглядом, посмотрел затем на Потапова, и лицо у него озарилось улыбкой.
— Вот хорошо, что вы к нам приехали!

— А вы тут, я гляжу, не торопясь поспешаете, — усмехнулся Потапов.
— Верно. Работаем пока на холостом ходу. Прогреваем машину, Михаил Юрьевич. А все-таки навигацию начнем! Как, товарищи, начнем? — у Михайлова была митинговая привычка обращаться сразу ко всем.
Потапов подошел к старшему помощнику, который произвел на него хорошее впечатление.
— Насколько я понимаю, спор у вас тут шел о сроках и объеме работы?
— Если делать то, что мне навязывают, мы прокопаемся в затоне до осени. И без всякой нужды, — сказал старпом.
— Абсолютно необходимый ремонт велик?
— Нет, мелочи главным образом. Если не считать вмятину в корпусе. Переборка машины, конечно. Но с этим механики сами справятся.
— А утончение днищевых листов корпуса?
Старший помощник пожал плечами.
— Если мне завтра скажут, что у меня броневые плиты из прессованного картона, — я не удивлюсь. Странная тенденция у этой комиссии.
— Все зависит от установки. Если исходить из желания поставить корабли на прикол...
— Не думайте, пожалуйста, что все офицеры согласятся на подлость!
— Я этого не думаю, — серьезно сказал Потапов. — И очень рад, что вижу честного русского офицера. Вы можете рассчитывать на поддержку Совета.
— Благодарю за доверие, — старший помощник по-прежнему держался сухого, официального тона.
— В таком случае я попрошу вас составить небольшую докладную записку. Независимо от акта комиссии. Укажите потребность в материалах, рабочей силе. Какая помощь нужна со стороны. Это не очень затруднит вас?
— Будет исполнено!
— Кстати, посоветуйтесь с судовым комитетом, — продолжал Потапов. — Кто здесь председатель судового комитета?
— Я! — Богатырь матрос, потеснив плечом Логунова, стал рядом со старшим помощником, такой же рослый, но более широкий в плечах, кряжистый. Они так хорошо подходили друг к другу — подтянутый офицер с энергичным, волевым лицом и удалой сильный матрос с выразительными веселыми глазами, загорелый, обветренный. Потапов невольно залюбовался ими. Есть же люди на русской земле!
— Поддержите командира, товарищи! Надеюсь первыми встретить вас на Хабаровском рейде.
— Если их наш «Смерч» не опередит! — ревниво сказал механик соседнего корабля.
— В добрый час, товарищи! Всех просим, — Потапов сделал широкий приглашающий жест.
— Верно, ребята! Места на рейде хватит.
— На рейде хватит, да в мастерских затор. Из-за каждого пустяка неделю очередь ждешь.
— А нельзя сделать так, чтобы нам Арсенал помог? Скажем, в токарных работах или литье?..
Теперь, когда вокруг них собралось много матросов, разговор утратил официальный характер.
— Гляди, как потеплело днем-то, — удивлялся кто-то из молодых матросов. — Пригревает солнышко, а?
— А то оно будет ждать, пока ты с одного бока на другой повернешься.
— Мастерские у нас — узкое место. Такая горловина, что не проскочишь. Не в одном, так в другом зажмут. Хоть плачь, — жаловался механик со «Смерча». — Вы побеседуйте с товарищем Спаре. Вот бы кого начальником мастерских.
— Поставьте вопрос перед командующим.
Михайлов мотнул головой.
— Ладно. Они теперь не отвертятся. Скоро ждем товарища морского министра Кудряшова. Он сам бывший матрос и тут кому надо мозги вправит.
— Поди, товарищ Ленин его послал?
— А что?.. В самую пору. Кудряшов-то, по-старому если, так полный адмирал.

— Вот, братцы, фортуна! Из матросов да в такой чин! — воскликнул толстый рябоватый сигнальщик и громко цокнул языком.
Михайлов похлопал его по плечу, смеясь, сказал:
— Тебе бы, Афанасий, определиться к нему в вестовые.
— Да не могу я, братцы! Не могу. Мачтаб какой — страшно подумать, — рябой матрос стал отказываться с такой комической серьезностью, что многие схватились за животы. Смеялся и Потапов, смеялся старший помощник, не знавший сперва, как ему держаться с представителем местной власти. Кто-то посоветовал:
— Афоня, просись на должность флагманского кока.
— Нету такой.
— Жаль. Аккурат бы по твоему аппетиту.
Потапов спустился по трапу вниз. Старший помощник водил его по отсекам, объяснял назначение механизмов, систему управления кораблем. Чувствовалось, что человек по-настоящему любит и знает свой корабль.
— Конечно, мы переживаем серьезные трудности, я понимаю. Но флотилия на Амуре должна жить, — говорил он с волнующей убежденностью. — Безрассудно поступают те, кто обрекает такие прекрасные суда на консервацию. Это — гибель.
...Возвращался Потапов в приподнятом настроении. На центральном судовом комитете договорились, что ремонтные работы в первую очередь будут производиться на башенных канонерских лодках «Смерч» и «Шквал», а также на двух канонерках Сормовского завода — «Бурят» и «Монгол». Эти суда должны были выйти в плавание сразу же с открытием навигации. «Смерч» наметили послать в Николаевск-на-Амуре, а «Шквал» поставить на брандвахту возле устья Сунгари. Сормовские же канонерские лодки, к которым еще должна была присоединиться канонерка «Орочанин», поставленная на зимовку в Астраханском затоне возле Благовещенска, предназначались для патрульной службы на Амуре и Уссури. Таким образом на значительном расстоянии прикрывалась граница с Маньчжурией.
«Очень кстати едет к нам Кудряшов. Очень кстати», — думал Михаил Юрьевич, посматривая на низкое солнце, почти касавшееся снежной равнины за Амуром.
Розовел снег, освещенный косыми лучами, от деревьев через дорогу протянулись синие тени.
Поставив лошадь в исполкомовскую конюшню и подбросив сена, Михаил Юрьевич с черного хода прошел в здание Совета.
— Есть срочные депеши? — спросил он у дежурного и тут же у стола стал просматривать телеграммы. — Хорошо. Живем, брат!.. Что-о?.. Кудряшо-о-ва? — воскликнул вдруг он изменившимся голосом.
В депеше сообщалось:

> «Вчера на станции Даурия банда есаула Семенова сняла с поезда ехавшего из Петрограда во Владивосток товарища морского министра матроса Кудряшова и расстреляла его».

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Оправившись от болезни, Вера Павловна стала подумывать о том, чтобы устроиться на работу. Но оказалось, что это намерение не так-то легко осуществить. На каждое вакантное место находились десятки претендентов. Быть же тете обузой не хотелось. И она с раннего утра принималась за домашние дела: готовила пищу, мыла, чистила, скребла. В свободное время читала. Чтение было ее любимейшим занятием.
Олимпиада Клавдиевна, возвращаясь с уроков, тоже бралась за тряпку. Бойкая на язык, оживленно жестикулирующая, она легко двигалась по комнатам, переставляла с места на место многочисленные хрупкие вещички. Запас новостей, который она приносила, казался неистощимым. Все, о чем говорили в городе, самым причудливым образом перемешивалось в ее голове. Всему она умела придать особый оттенок, выразить свое отношение к событию если не словом, так интонацией, жестом. Знающая жизнь женщина, она с исключительным оптимизмом встречала невзгоды и любила жизнь такой, какая она есть.

— Знаешь, милочка, — говорила она Вере Павловне, — меня пригласили выступить в Народном доме. На концерте будут грузчики и еще какие-то мастеровые. Никто из наших не захотел идти. Я согласилась. Не съедят же меня там? Но уж их вкусам потрафлять не стану! Искусство нельзя профанировать. Исполню Шопена, Баха, Чайковского. Воображаю, как это будет принято... — И тут же без всякого перехода сообщила: — В Дарданеллах английские миноноски потопили крейсер «Бреслау». Наконец-то! А «Гебен» сам выбросился на берег. Когда все уляжется, можно будет опять поехать в Ялту. Хорошо бы попасть на виноградный сезон. Кстати, Леночке надо купить летнее пальто. Говорят, скоро в продаже никаких товаров не останется. Цены скачут — просто ужас!..
Несколькими днями позже, вернувшись с концерта, Олимпиада Клавдиевна рассказывала громко и удивленно:
— Что за люди! Как они слушали! Представь, я никогда не имела такой внимательной аудитории. Абсолютная тишина. В зале — только музыка... И провожали меня до самого дома... человек двадцать. Пусть мне не говорят о них дурного. — Вынув заколки, она распустила свои поседевшие, но все еще густые волосы. — Был там один молодой человек. Очень симпатичный. Обожает музыку. Я пригласила его заходить к нам.
Молодой человек не заставил себя ждать и пришел к Ельневым на другой день, перед обедом. Дверь ему открыла Вера Павловна.
— Вероятно, Олимпиады Клавдиевны нет дома? Но я подожду, — тоном старого знакомого сказал он и, не ожидая приглашения, двинулся в комнату. Там отрекомендовался: — Разгонов Леонид Павлович.
— Тетя мне говорила о вас. Прошу садиться, — Вера Павловна показала на кресло. — Вы любите музыку?
— О да... очень! — с живостью воскликнул он и огляделся. — А у вас есть инструмент? Как я когда-то мечтал, об этом. Но состояние моих родителей не позволяло подобных трат. Вы, конечно, разрешите мне воспользоваться случаем?
Открыв пианино, он взял несколько аккордов и заиграл что-то необычайно бравурное, стремительное. Точно горный поток, лавина звуков обрушилась вдруг на тишину, стоявшую в комнате. Проснулся и заплакал ребенок Веры Павловны.
— Простите, я не знал, — виновато сказал Разгонов, когда она вернулась из детской. Он с сожалением закрыл инструмент, пересел на диван. Через минуту рассказывал: — Мальчишка я был бойкий, учился хорошо, но шалил. Учитель у нас был строгий. Целую зиму боролись — кто кого?.. К весне меня из школы выгнали. Потом я, конечно, взялся за ум. Однако упущенного не воротишь. Чувствую пробелы в своем образовании. Тянусь поэтому к людям культурным. С кем поведешься, от того и наберешься.
Разгонов был крепко сколоченный человек лет двадцати тести, выше среднего роста, стройный, ловкий в движениях. Он был красив, знал это и любил порисоваться, при разговоре небрежно встряхивал курчавой головой. Голос у него чистый и звонкий.
— Я был максималистом, но теперь оформляю свой переход в партию большевиков, — продолжал рассказывать он. — В ходе революции эта партия выдвинулась на первый план. Нельзя игнорировать такое положение. Вообще я с детства за революцию.
Вероятно, он долго бы еще рассказывал о себе, это ему определенно доставляло удовольствие, но вернулась Даша, и не одна: с нею пришла Соня Левченко. Обе с пунцовыми щеками, веселые, с одеждой в снегу. Толкая друг друга, они с шумом ворвались в гостиную, увидели постороннего человека, присмирели, но не удержались, брызнули смехом и сразу оживили несколько натянутую обстановку. Разгонов тоже повеселел, начал сыпать остротами.
Вера Павловна ненадолго вышла, вернулась с сыном на руках. Леночка в белом платьице с алыми ленточками в косичках порхала между кресел, как мотылек. Разгонов поймал ее, усадил к себе на колени и быстро приручил доверчивую и общительную девочку.
— Зачем усы? Они колючие, — щебетала она и тянулась ручонкой к его лицу.
— А я вот тебя защеко-очу, — притворно грозил он девочке, посматривая в то же время то на Дашу, то на Соню веселыми, чуть затуманившимися глазами.
Идя сюда, Разгонов рассчитывал попасть в скучную и немножко чопорную обывательскую семью, окунуться в привычную атмосферу пересудов, попить чаю, сказать при случае несколько подходящих каламбуров и уйти. Все было известно заранее. И все оказалось не

таким, как он представлял. Собираясь поскучать здесь два-три часа (в городе у него не было знакомых, он только что приехал из Читы), Разгонов почувствовал интерес к дому Ельневых. Прежде всего, ему понравилась обстановка: книжные шкафы, белые занавеси, говорившие о любви к чистоте и уюту. Несколько реплик Веры Павловны и мимоходом высказанное ею замечание показались ему глубокими и занятными. А Даша и Соня внесли столько здорового веселья, свежести, чистоты, что Разгонов и думать позабыл об уходе. Он присматривался, сравнивал девушек между собой. От его взора не укрылось, что у Сони веки были чуточку больше нормального, разбухшими, как у человека, который часто и подолгу плачет. «Значит, на душе у нее какое-то горе», — подумал он.
К тому времени, когда вернулась Олимпиада Клавдиевна, Разгонов успел завладеть вниманием всех трех женщин. Каждой он сказал по нескольку комплиментов, а Соне пожал руку и сочувственно улыбнулся.
— У вас на душе тяжесть, я вижу. Но все проходит. Время — хороший лекарь, — шепнул он ей на ухо.
Соня пристально посмотрела на него и вздохнула. У нее действительно было ощущение тяжести, свалившейся на нее из-за ссоры отца с Сашей. И горько было слышать ей, что посторонние люди замечают это с первого взгляда. В то же время она подивилась проницательности Разгонова.
— Так вы недавно в нашем городе? Как вам понравился Хабаровск? — спросила Олимпиада Клавдиевна.
— Город показался мне скучным. Но это, видно, потому, что нет хороших знакомых. В свободное время я предоставлен самому себе.
— Ничего, привыкнете. И знакомства будут, — заметила хозяйка, доставая из буфета горку тарелок. — Вы, конечно, не откажетесь пообедать с нами?
Разгонов поблагодарил.
— Здесь хорошо летом. Вы сейчас представить не можете, как красит город река, — сказала Вера Павловна.
— Возможно, — поспешил согласиться Разгонов. — Города потому и строят возле рек.
— Видимо, не только из-за этого!
— А также в целях удобного пароходного сообщения, — таким же докторальным тоном продолжал Разгонов, не замечая, как переглянулись Даша и Вера Павловна.
Олимпиада Клавдиевна, разливая суп по тарелкам, говорила:
— В субботу бенефис Баратова. Может, ты, Вера, возьмешь билеты? Обещают интересную программу. Хотя, между нами говоря, живет он былой славой. Постарел, подурнел, голос пропил... что делать! Такова судьба каждого артиста. — Она вспомнила, что видела Баратова еще молодым и была даже влюблена в него, вздохнула, будто в зеркало на себя посмотрела. — Ох, какой он был обворожительный мужчина! Нынче что-то таких не встречаю. Даша, веди себя, пожалуйста, прилично за столом. У нас посторонний человек, — тут же строгим тоном добавила она, заметив, что Даша скатала хлебный шарик и намеревалась запустить им в Соню, чинно сидевшую рядом с Разгоновым с другой стороны стола.
— Ах, тетя!.. Право, я уже не маленькая, — Даша вспыхнула, обиженно подобрала губки.
Олимпиада Клавдиевна погрозила ей взглядом и обратилась к Разгонову:
— Вот нынешняя молодежь! Вы, Леонид Павлович, наверно, такой же суперечник? Без почтения к старшим, а?
— Революция низвергает авторитеты. Ничего не поделаешь, — сказал Разгонов. — Мы — люди своего времени.
— Революция, революция... просто разбаловались все сверх всякой меры. Теперь еще нам навяжут унизительную роль немецких данников.
— Нет, никогда! Похабного мира мы не допустим. — Разгонов закурил папиросу, попыхивал дымком, снисходительно посматривал на женщин. Говорил он уверенным тоном хорошо осведомленного человека. — Переговоры в Бресте — просто маневр. Неужели вы не понимаете?
Вера Павловна удивленно посмотрела на него.
— Конечно, я плохо разбираюсь в политике. Но люди так надеются, что будет мир. Война принесла всем столько горя. Неужели мало еще пролито крови?

— Да, ужасно, ужасно!.. — Олимпиада Клавдиевна затрясла головой. — Но, милочка, Россия должна держать свое слово...
— Мы заставили германский империализм саморазоблачиться. Теперь все видят, какой это зверь. — Разгонов поискал глазами пепельницу, не нашел, под скатертью скомкал окурок пальцами и незаметно сунул его в карман. — Таким образом, первая цель переговоров достигнута, — продолжал он, откинувшись на спинку стула и придав своему лицу выражение многозначительное и строгое. — Кюльман и Гофман сослужили службу революции.
— Вы знаете, мука-сеянка опять вздорожала, — Олимпиада Клавдиевна следовала своей манере внезапно менять тему разговора. — Ах, если бы я была правительством!.. — Вдруг она потянула носом и сказала с тревогой: — Пахнет горелой шерстью. Даша, сходи на кухню, посмотри... Ничего нет? Но ты слышишь: пахнет паленым? — Она еще раз потянула носом, подозрительно оглядела всех сидящих за столом. — Послушайте, молодой человек, куда вы дели окурок?
Разгонов, тоже почуявший запах паленой шерсти, схватился за карман. Сразу же нащупав тлеющий огонек, он вскочил и принялся яростно мять пальцами брючное сукно. Вид у него был смущенный и виноватый. Весь он залился краской.
— Вот черт!.. Я, кажется, уронил искру... на брюки. Какая неосторожность, — бормотал он, пряча глаза от устремленных на него женских взглядов.
Даша с весело заблестевшими глазами шепталась с Соней; обе вдруг звонко расхохотались.
— Перестаньте, бесстыдницы! — прикрикнула на них Олимпиада Клавдиевна. — Когда в доме мужчины, надо ставить на стол пепельницу. Который раз я тебе говорю, — строго выговаривала она племяннице.
Вера Павловна тактично продолжала разговор, отвлекая внимание от неприятного инцидента. Все были подчеркнуто любезны с Разгоновым. Но оставшуюся часть обеда он просидел как на иголках. Он понимал, что сам же поставил себя в смешное положение. Его самолюбие было уязвлено. С мрачным видом он помешивал в стакане серебряной ложечкой, слушал рассказ о соседке-учительнице, разошедшейся с мужем из-за несогласия в политических взглядах.
— Чепуха! При чем тут политика?.. Жены всегда от мужей бегали, — сказала Олимпиада Клавдиевна, раскалывая щипцами сахар. — А вы, Леонид Павлович, уже определились на службу?
— Да, в краевой военный комиссариат, — ответил Разгонов.
При первой же возможности он поспешил откланяться и уйти.
— Вера, тебя просил зайти Марк Осипович. Он обещает протекцию. Есть вакантное место воспитательницы в сиротском приюте, — вспомнила Олимпиада Клавдиевна, когда они вдвоем мыли на кухне посуду. — Конечно, если место не понравится, я не тороплю. Ради бога, не пойми превратно.
— Но это же чудесно!.. Ребятишки... — Вера Павловна взмахнула полотенцем.
— Говорят, там не очень чисто. Кажется, детишек обкрадывают. Представь, находятся подлецы!
Идти к доктору Твердякову в этот день было поздно, и Вера Павловна отложила визит до утра. Но мысль о предстоящей работе уже не покидала ее.
Приют находился недалеко от их дома, на той же улице. Из окна ее комнаты видна была часть глухой кирпичной стены и зеленая крыша, на которой белыми неровными пятнами лежал снег. Плотный и высокий приютский забор дополнительно укреплен тремя рядами колючей проволоки. Со двора на улицу долетали слабые голоса и детский плач. Обычно это мало кого трогало. Только когда из ворот выезжала простая телега со стоящим на ней некрашеным детским гробиком, кто-нибудь из соседей, снимая шапку, замечал: «Второй на этой неделе». — «Да, мрут детишки... Сироты!» — отвечали ему.
Вере Павловне и прежде приходилось слышать толки о приютских порядках. Она возмущалась, негодовала, но тут же забывала об этом. Никогда у нее не возникало желания проникнуть за приютский забор и попытаться самой сделать что-то для детишек. Теперь же она готова была обвинить себя в черствости и бездушии. Ей виделись будущие питомцы, маленькие, беззащитные, как ее собственный сын, — они тоже растут без отцов. Она

представила себе, как будет говорить с ними, отстаивать их интересы, — с этими мыслями и уснула.

2

На следующий день около одиннадцати утра она не без робости и волнения перешагнула через порожек узенькой калитки, прорубленной в приютском заборе. Двор поразил ее запущенностью; был он покрыт сугробами, из снега торчали какие-то палки, сучья. Посреди двора снегом замело брошенную как попало телегу. К хозяйственным постройкам протоптаны тропинки. Всюду следы вылитых помоев. Окна приютского здания, выходившие во двор, были заколочены досками, либо в них вместо стекол торчали листы грязной фанеры. В одном месте наружу выпячивалась подушка, цвет которой невозможно было определить из-за наросшего толстого слоя инея и снега; видно, осенью подушкой наскоро заткнули дыру да так и оставили на зиму.

Вера Павловна поглядела на эти следы кричащей бесхозяйственности, вздохнула и тихонько двинулась к той двери, куда сходились тропинки со двора. Навстречу ей выбежала девочка лет семи, худенькая, в коротком не по росту ситцевом платьице, в рваных башмаках и с непокрытой головой. Перегибаясь в одну сторону, она тащила огромное ведро с помоями, чертившее днищем след на снегу. Увидев перед собой незнакомую женщину, девочка испуганно посторонилась, ступив башмаками прямо в сугроб.

— Ты что же, милая, без чулок ходишь? Зима-а, — сказала Вера Павловна, ласково и строго посмотрев на девочку. — И пальто надевать надо.

Девочка, все еще держа ведро на весу, исподлобья взглянула на нее и чуть заметно пошевелила губами:

— У меня нет... чулков.

— Ах, боже мой! — Вера Павловна смешалась, посмотрела еще раз на ее тоненькие голые ножки, погрузившиеся в снег выше щиколоток, покраснела и вдруг ощутила острую жалость к этой девочке. — Дай сюда ведро. Дай!.. Я отнесу. А ты — беги в дом. Разве можно так? Ты же простудишься, — поспешно, прерывающимся голосом говорила она, перебросив сумочку из одной руки в другую и хватаясь за дужку ведра. — Господи, да беги же скорей!

Она почти вырвала ведро из рук оторопевшей девочки; помои плеснули через край и залили нижнюю часть полы пальто. Вера Павловна не заметила этого. Девочка же глянула на расплывающееся темное пятно, испуганно отпрянула и юркнула обратно в дверь.

Когда Вера Павловна вошла в полутемный и холодный коридор, сверху, с лестничного пролета, донесся тоненький голосок:

— Тетенька, поставь ведро возле дверей. Я заберу-у.

— Девочка, девочка, а где тут канцелярия? Ты проводи-ка меня, — сказала Вера Павловна, всматриваясь в расстилающийся перед нею полумрак и с трудом угадывая, где начинаются первые ступеньки. Но девочки и след простыл. Однако голос был услышан. Совсем рядом приоткрылась не замеченная ею прежде дверь, и из-за нее выглянули сразу две всклокоченные мальчишечьи головы — одна огненно-рыжая, ярко освещенная сзади падающим на нее солнечным лучом, другая — черная.

— Вам кого надо? — дискантом спросил обладатель рыжих кудрей.

— Я ищу старшую воспитательницу Потапову.

Обе головы переглянулись.

— По-та-по-ву?..

— Да, Наталью Федоровну. — Ельнева вспомнила имя, названное доктором Твердяковым.

— А-а, тетю Ната-ашу! — Черноголовый мальчик сдержанно улыбнулся и шагнул в коридор.

— Закройте двери, холявы! Холоду напустили, — детским баском крикнул кто-то из комнаты и грубо выругался.

Рыжая голова сразу исчезла вместе с солнечным лучом.

Черноголовый же мальчик остался в коридоре. Засунув руки в карманы, он выжидающе смотрел на незнакомую женщину.

— Мне нужно в канцелярию. Проводи меня, пожалуйста, — сказала Вера Павловна, испытывая перед ним странное чувство робости и неловкости. Глаза ее успели привыкнуть

к полумраку, и теперь она как следует рассмотрела мальчишку. На нем были штаны с заплатами на коленях, коротенькая куртка неопределенного цвета и потрепанные, непомерно большие ичижные головки с грязными брезентовыми голенищами. На смышленом чумазом лице со вздернутым носиком выделялись живые карие глаза. Держался он независимо, не робел и не стеснялся.
— Канцелярия — там, — мальчик показал рукой в конец коридора. — Да в ней никого нет, все пошли на американский склад. И тетя Наташа и наш заведующий.
— А склад далеко?
— Да нет. Обойти дом с другой стороны и — первые двери. А вы, тетя, кто будете? Тетя Наташа вам знакомая, да? Я сразу догадался, раз вы ее спрашиваете. Она — хорошая, — сказал мальчик и с готовностью предложил: — Хотите, провожу вас? Я только шапку надену... У них чего там нет на складе, — бойко продолжал он, появившись через мгновение в сдвинутой на одно ухо шапчонке-маломерке. — Только они нам ничего не дают. Ничегошеньки! Все на сторону отпускают. Другой раз тут целая очередь стоит. Правда, правда!.. Нам-то видно. А то, бывает, на подводах приедут... кулей как нагрузят, так лошадь еле везет.
— Кто же берет у них продукты? — спросила Вера Павловна.
— Известно кто. Из города — буржуи, — мальчик сплюнул в сторону. — Им и шеколады, и муки белой — сколько хочешь. А еще, слышь, молоко в банках с сахаром. Вот, говорят, вкусная штука! Хоть бы раз когда попробовать дали, жадобы! — Забежав вперед, он открыл дверь, зажмурился от яркого солнца. — Американец тут такой толстый, как бочка из-под кеты. Наверно шеколаду много жрет. А по-русски — ни бельмеса. Мы его главным жмотом прозвали. Он и в самом деле — жмот, — сказал мальчик необычайно серьезно и убежденно.
...В помещении склада держался смешанный стойкий запах, обычный для бакалейных лавок. Почти все пространство было заставлено ящиками, коробками, мешками, бочками. Из окна с открытым железным ставнем падал свет на длинный стол с весами и набором гирь. За столом на табурете, отодвинув гири локтем, сидел Марч, в шапке и добротном пальто с меховым воротником. Немного в стороне с почтительным выражением стоял заведующий складом — юркий горбоносый человек с тонкими длинными пальцами. Позади на полках были расставлены образцы товаров, имеющихся на складе. Над головой Марча, точно тиара, возвышалась пирамида из банок со сгущенным молоком с надписями на английском языке и изображением сытой рыжей коровы.
Марч походил на хозяйчика-бакалейщика. Он шумно дышал, цедил сквозь зубы редкие, невнятные слова.
Переводила мисс Хатчисон. Нарядно одетая, яркая, она казалась доброй феей, сошедшей на землю с одного из многочисленных рекламных плакатов.
— У нас свои порядки. Мы не можем действовать произвольно. Существует инструкция, утвержденная правительством Соединенных Штатов. Кто посмеет ее нарушить? От нас требуют исполнительности. Мы же простые служащие, — говорила она мягким, убеждающим тоном и быстро переводила взгляд с молчаливого и хмурого заведующего приютом на старшую воспитательницу.
Наталья Федоровна теребила пальцами край белой вязаной шали, заметно волновалась.
— Ну хорошо. Инструкция... Я все-таки не понимаю. Не могу понять... почему вы должны отказывать в помощи детям-сиротам и снабжать продуктами бог знает кого — во всяком случае не тех, кто действительно нуждается?
— Миссис забывает, что это — беженцы, — с улыбкой напомнила американка.
— Вот уж нашли о ком заботиться!
— Инструкция, миссис... Беженцам помощь оказывается в первую очередь. Потом уже прочим нуждающимся. Американскому Красному Кресту надо представить списки. Мы пошлем их на согласование.
— А тем временем спекулянты наживаются, продавая на черном рынке ваши продукты.
— Вероятно, наша система еще недостаточно совершенна, миссис. Со временем мы ее наладим. Во всяком случае, каждому, кто сумеет доказать, что он является беженцем, помощь будет оказана. Это предусмотрено инструкцией, миссис. Вам не следует

жаловаться. Ведь вы тоже приезжая?.. — и Хатчисон опять быстро скользнула взглядом по лицу Натальи Федоровны.
— Что?.. При чем тут я? — Наталья Федоровна не поняла сразу смысла последней фразы. Потом догадалась, покраснела, вспыхнула и вызывающе громко подтвердила: — Да, я приезжая. Только... не помещица, не купчиха, не миллионщица. Я не от революции бежала, я к мужу приехала.
— Господи, охота же вам на рожон лезть, — сказал молчавший до сих пор заведующий приютом — толстый мужчина с хитроватым лицом конского барышника. Он стоял в тени, посматривал исподлобья на Наталью Федоровну, но больше всего был озабочен тем, чтобы поймать взгляд Марча. В такие минуты он разводил руками, жестами и мимикой выражал категорическое несогласие со своей помощницей. Случайно оказавшись на посту заведующего приютом, он меньше всего думал о том, как улучшить положение подопечных детей, а все старания прилагал к тому, чтобы побольше урвать для себя. Свою должность он рассматривал как выпавший на его долю фарт. — Да ведь оно, если рассудить, и правильно, — говорил он, выдвинувшись вперед и сверля Потапову буравчиками глаз. — Возле одной печки весь свет не обогреешь. А кое-кому и тепло от нее и сытно. И неча тут скандалить, когда все можно в надлежащий порядок произвесть. Желают они зачислить вас на паек — соглашайтесь. Спасибо еще надо сказать.
— Как вы смеете предлагать мне это? — спросила Наталья Федоровна, и глаза ее гневно вспыхнули. — Я вас ненавижу, — шепотом добавила она и, брезгливо передернув плечами, сделала отстраняющий жест.
— Да ты не шебаршись, — хмуро бросил заведующий, отступая обратно в тень. — Вот идеалы развела, прости господи! Ваша-то песенка сладка, да коротка. Фьюить!.. и Митькой звали...
— Вы думаете? — Наталья Федоровна, сощурясь, посмотрела на него. — А я вам подам совет: уходите-ка подобру-поздорову. Хотя таких, как вы, надобно в тюрьму сажать, — и она повернулась опять к американцам. — Если ваш Красный Крест действительно ищет нуждающихся — так это приютские дети. Вы видели, в каких ужасных условиях они находятся. Они раздеты, босы и голодны.
— Поверьте, миссис, мне от всей души жаль ваших детишек! — сказала Хатчисон, посмотрела на Марча и по-английски что-то сказала ему.
Марч утвердительно кивнул головой.
— Мистер Марч не знал, что положение настолько плохо. Он подумает, что можно сделать, — перевела мисс Хатчисон. — Вы можете сейчас взять сгущенное молоко для маленьких.
— Йес, йес! — Марч повернулся вместе с табуретом, начал проворно переставлять банки с полки на стол. — Вот это можете забрать сейчас, — сказал он, когда вся пирамидка, возвышавшаяся над его головой, оказалась на столе.
Наталья Федоровна посмотрела на грязные желтые разводья, на плесень и паутину, обнаружившиеся на стене, когда убрали нарядную горку пестро окрашенных банок.
— Это на восемьдесят-то человек? — спросила она и сухо рассмеялась. — О, вы щедры, господа! Очень щедры... Прощайте! — и, высоко подняв свою гордую, красивую голову, пошла к выходу из подвала.
У самых дверей, в тени, никем не замеченная, стояла невольная свидетельница этой сцены — Вера Павловна. Она сделала шаг навстречу Наталье Федоровне и с мягкой улыбкой протянула ей обе руки сразу.
— Вы старшая воспитательница Потапова?
— Да, это я. Что вам угодно? — сухо спросила Наталья Федоровна, внимательно и недоверчиво посмотрев на нее.
— Меня к вам послал доктор Твердяков.
— А-а, Марк Осипович! — Наталья Федоровна подхватила Ельневу под руку и повлекла вверх по ступеням. — Пойдемте отсюда!.. Так вы хотите работать у нас? А вы знаете, как это трудно? Очень, очень... Должна заранее предупредить.
— Я знаю.
— Нет, вы не знаете. Вас что побудило искать работу?.. Материальные затруднения? — спрашивала она, идя по двору.
— Отчасти да. Но я также хочу быть полезной.

— У вас свои дети есть?
— Да, сын.
— А вы далеко живете?
— На этой же улице, через три дома.
— Это хорошо. Вы всегда сможете отлучиться, когда нужно.
Они вместе прошли в канцелярию. Там Наталья Федоровна задала Ельневой еще несколько вопросов.
— Если у вас хватит характера, вы справитесь, — сказала она в заключение и улыбнулась.
— Знаете, детей надо полюбить. Но что же теперь делать с вами? Оформить ваш прием должен заведующий. А он упрется. Это неизбежно при тех отношениях, какие сложились у меня с ним. Меня он тоже постарается выжить. Нет, сдаваться не будем! Пора почистить эти авгиевы конюшни, — сказала она после недолгого раздумья. — Буду требовать, чтобы к нам назначили ревизию. Тут масса злоупотреблений. Американцы тоже хороши! Форменное издевательство... устроить здесь свой склад и на глазах у голодных детей пичкать шоколадом обожравшихся барынек! Вы оставьте свой адрес.
...В тот же вечер Вера Павловна получила от нее записку.
«Все устроилось, — писала Наталья Федоровна. — Продовольственной управе дано распоряжение об отпуске нам продуктов. Заведующий отстранен. Его обязанности предложено исполнять мне. Завтра прошу приходить на работу». И после подписи размашистым почерком сделана приписка: «Из Петрограда получено сообщение: для детских приютов отправлены почтой двести пятьдесят тысяч рублей. Это поправит наши дела».
На другой день Вера Павловна встала рано. На улице падал снег, под ровной его пеленой исчезли все следы. Зеленая крыша приюта тоже стала белой и будто приблизилась.
Она покормила сына и, стоя перед зеркалом, принялась расчесывать волосы. Мысли были заняты предстоящей работой.
Олимпиада Клавдиевна готовила завтрак. По всей квартире распространился запах кипящего кофе.
Леночка и Даша спали в одной комнате. Леночка разметалась, сбросила с себя одеяло. Даша, напротив, укрылась с головой.
В комнате было свежо, и Вера Павловна, пройдя на цыпочках, подняла одеяло и укрыла спящую девочку. Под ногами скрипнула половица. Даша подняла голову, посмотрела на сестру, на спящую Леночку и улыбнулась.
— Ты уже уходишь? Как же я проспала! Знаешь, вчера дала слово вставать пораньше и помогать тебе, — сказала Даша, искренне огорченная тем, что не смогла выполнить свое намерение. — Я избаловалась на правах младшей. Но так нельзя, — повторила она, спуская с кровати босые ноги и осторожно пробуя пальцами холодный пол.
— Просто нужно раньше ложиться. Опять читала в постели? — с улыбкой спросила Вера Павловна.
— Ага!.. до третьих петухов. — Даша соскочила на пол, зашлепала босыми ногами.
— Тише! Леночку разбудишь.
— Иди, пожалуйста! Иди... Я сейчас оденусь. — Даша замахала руками; она очень любила сестру, но почему-то стеснялась ее.
Когда Вера Павловна вышла, Даша принялась натягивать чулки.
Леночка опять раскрылась. Даша поправила одеяло, осторожно коснулась губами разрумянившейся щечки девочки и побежала умываться.
Кофе пили втроем. Вера Павловна была уже одета, ей не терпелось поскорее уйти.
— Ты, Вера, пожалуйста, будь осторожнее, — говорила Олимпиада Клавдиевна. — Есть очень прилипчивые кожные болезни. Кроме того, насекомые... После обхода обязательно мой руки. Рекомендую завести халат больничного типа. Главное, домой не занеси чего-нибудь.
— Но детишек в приюте осматривает врач, — возразила Вера Павловна.
— Знаю я эти осмотры! Раз денег за визит не платят, все делается спустя рукава, — проворчала Олимпиада Клавдиевна.
— Там Марк Осипович, тетя. Он человек добросовестный, — поддержала сестру Даша.

— А ты не встревай! Молода еще, — и тетка заговорила о том, какие могут быть злоупотребления на приютской кухне и как их лучше всего выявить. Попутно она надавала Вере Павловне кучу других полезных, по ее мнению, советов.
— Тетя, ты просто прелесть! Вот тебе! Вот! — Даша в восторге чмокнула Олимпиаду Клавдиевну в щеку и умчалась одеваться, чтобы успеть проводить сестру.
Но, пока она одевалась, Вера Павловна ушла. Даша в досаде топнула ногой. Идти к подругам было рано.

Придя в приют, Вера Павловна не знала, чем заняться. Но когда она зашла в первую же комнату, посмотрела на неубранные кровати, на грязных, неумытых ребятишек и заплеванный пол, ей стало горько. Сняв пальто, она принялась за уборку. Ее сильные, ловкие руки быстро все перевернули в комнате; через какой-нибудь час все тут приняло другой вид. Ельнева повеселела. Рядом были другие такие же запущенные комнаты, и она устремилась туда. Однако одной провернуть такую массу работы было невозможно. Вера Павловна пошла к заведующей в канцелярию.
— Нам следует начать с наведения чистоты. Вымыть полы, стены, белье, ребятишек. Давайте оставим пока другие дела и все возьмемся за уборку, — предложила она.
— Согласна, — сказала Наталья Федоровна. Ей тоже казалось, что сейчас это самое важное. Старый заведующий еще не сдал ключи, а уж на нее навалилось столько дел — впору голову потерять.
Неожиданной удачей для них было появление в приюте Дарьи Петровой. Дарья случайно шла мимо приюта, занятая мыслью о том, что надо самой зарабатывать хлеб. Нелады в семье дошли сейчас до того предела, когда люди должны или уступить друг другу, или разойтись в разные стороны. Идти назад Дарья не могла. Слишком многое поднялось в ней. Пробудились иные мечты, возникли другие стремления. Как можно опять втиснуть это в тот тесный комнатный мирок, в котором она жила до сих пор?
И была еще одна причина, от которой у нее сладко замирало сердце, — Савчук. Она тщетно боролась с собой, чтобы скрыть свои чувства.
Размышляя о своем житье, Дарья заметила на воротах приюта белый листок, прибитый двумя гвоздиками. Из объявления она узнала, что здесь требуется уборщица, и зашла узнать условия; ее приняли на работу.
Весь персонал к ее приходу вооружился тряпками, самодельными швабрами, лопатами, ведрами. Дети старших возрастов стремглав носились по коридорам, младшие сидели взаперти в двух нижних комнатах и дружно ревели. Крик стоял такой, что Дарье сперва показалось, будто она вместо приюта попала в сумасшедший дом.
— А вы чего без дела стоите? Берите ведро. Надо принести воды, — крикнула Дарье Вера Павловна, внезапно появляясь в коридоре.
Дарья с готовностью схватила ведро, хотела спросить, где вода, но Веры Павловны уже не было. Подчиняясь общему темпу, Дарья побежала по лестнице в подвал, сообразив, что там вернее всего можно найти водопроводный кран.
Вскоре Дарья по-хозяйски управлялась с уборкой. Шуму стало меньше, а порядка заметно прибавилось. Воспитанники больше не бегали по коридорам — принимали участие в общей работе. Малышей перевели в чисто убранное помещение, накормили. Внизу налаживали стирку.
После обеда Вера Павловна знакомилась с детьми. Многие дичились. Она смотрела на их остроносые лица, на худые, как плети, ручонки, ловила порою робкие, застенчивые взгляды и думала о том, как трудно будет с ними. Среди детей была и та девочка, которая первой повстречалась ей во дворе. Она украдкой посматривала на воспитательницу, но стеснялась заговорить с ней.
— Как тебя зовут? — Ельнева погладила девочку по худенькому плечу, нащупала острые ключицы.
— Вера, — сказала девочка, не поднимая глаз. Верхние реснички у нее затрепетали, видно, очень хотелось посмотреть; щеки вспыхнули бледным румянцем.
— Значит, у нас с тобой одинаковое имя. Меня зовут Вера Павловна.
Вперед храбро протиснулся бутуз в синей рубашке, босой. Он поковырял пальцем в носу и спросил:

— Ты мне лошадь купишь? Настоящую.
— Я боюсь лошадей. Они лягаются, — сказала Вера Павловна. Ребята снисходительно заулыбались.
— Вот еще! Их надо кормить овсом и сахаром, — заметил мальчик постарше.
— Сахару детям не хватает. Зачем его зря переводить? А лошади едят траву. «Ой, что за глупости я говорю!» — ужаснулась Вера Павловна.
— Верно, едят, — хором согласились ребята. И посыпались вразнобой вопросы: — А почему?.. Почему сахару не хватает? А зачем американцы сахар большим дядям дают? Ого по скольку!..
— Потому, что они толстые, — сказал мальчик, который объяснял, чем кормят лошадей.
— Тетя, а бить нас будут? — спросил чей-то тоненький голосок. В комнате мгновенно установилась тишина. Карие, серые, голубые детские глаза выжидающе уставились на Веру Павловну.
— Нет, бить вас не будут, — сказала она, понимая уже, что здесь были коротки на расправу. — Вас били, да?
— Нас всегда били, — сказала Вера и серьезным не по-детски взглядом посмотрела в глаза воспитательнице.
«Боже мой! Боже мой, — думала Вера Павловна. — Такие крошки... Придется разделить их на несколько групп по возрасту. Заниматься с каждой группой отдельно. Читать вслух...» — Она задумалась над тем, как построить программу, с кем посоветоваться? Столько новых вопросов сразу встало перед ней!
Домой уходили все вместе — Потапова, Ельнева и Дарья.
Вера Павловна пригласила всех пить чай, но Дарья решительно отказалась. Наталья Федоровна согласилась зайти на минуту. Семья Ельневых ей понравилась, хотя Олимпиада Клавдиевна, узнав, чем занималась сегодня Вера Павловна, не переставала ворчать.
— Зачем ты берешься за грязную работу? Это вовсе не твое дело. Для этого имеются специальные люди, — строго выговаривала она племяннице. — Посмотри, во что превратилась юбка. Ужас!
— Но ведь дома я делаю эту же работу, и ты мне не мешаешь, — защищалась Вера Павловна.
— Дом есть дом. — Олимпиада Клавдиевна считала, что такого рода замечание не нуждается в пояснениях. — Подумай, ты сама уравняла себя с уборщицей! Нет, люди интеллигентного труда не должны так опускаться...
— Все приходится делать при некоторых обстоятельствах, — примирительно заметила Наталья Федоровна. — Поставьте себя на наше место, и вы...
— Я?.. А, пожалуй, вы правы, — сказала Олимпиада Клавдиевна и рассмеялась.
Даша зазвала сестру и Наталью Федоровну к себе в комнату и призналась, что она целый день мастерила по имеющейся выкройке чепчики для приютских детишек.
— Хороши, не правда ли? — и она высыпала на кровать ворох разноцветных чепчиков.
— Да. Только эти годны для грудных детей. А в приюте подростки, — сказала Наталья Федоровна.
Лицо у Даши вытянулось. Обе женщины расхохотались.
— Нет, не смейтесь! Нехорошо над этим смеяться, — крикнула Даша, вся зардевшись, и убежала на кухню.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Накануне со сборным поездом прибыло три вагона зерна из Завитой. Захарова о прибытии груза известили поздно; лишь к ночи он сумел собрать артель грузчиков. Вагоны поставили в тупичок довольно далеко от склада.
Прохор Денисович Игнатов побежал к дежурному по станции. Вернулся ни с чем: машинист маневрового паровоза в этот час мирно почивал у себя дома. Взять из депо другой паровоз дежурный не пожелал, ссылаясь на какую-то инструкцию. «Ждите утра», — флегматично посоветовал он.
— Ну что, ребята? В конторку — к артельщику? — спросил Игнатов, израсходовав весь запас ругательных слов в разговоре с дежурным по станции.
Грузчики недовольно зашумели.

— Давайте разгружать. Лишние сто сажен — не велика дорога, — сказал Савчук.
С вагонов сорвали пломбы. Прохор Денисович первым взвалил на плечи тяжелый мешок и, стараясь ступать по шпалам, зашагал в темноту. Иван Павлович двинулся за ним.
Проделав два-три раза путь до склада, Савчук почувствовал, что эта лишняя сотня сажен как следует отзовется на пояснице.
Возле вагонов во тьме — огоньки цигарок.
— Что, уже перекур? Приморились? — насмешливо спросил Савчук, подходя к сгрудившимся в кучку грузчикам.
— Погоди, Иван Павлович. Вот товарищ, что предлагает, послушай, — сказал Игнатов.
Грузчики расступились, и Савчук оказался лицом к лицу с невысоким железнодорожником.
— Здравствуйте! — сказал тот, поднимая фонарь и всматриваясь в лицо Савчука. — Я сейчас вагоны расцеплю... по одному на руках подкатите их поближе к складу.
Поставив фонарь, он нырнул под вагон, повозился немного в темноте и вылез обратно на бровку. Сказал деловито:
— Готово. Навались, ребята! — и сам плечом уперся в ребро вагона.
Общими усилиями вагон стронули с места, и он тяжело покатился по ржавым, засыпанным снегом рельсам.
Работа теперь пошла веселее.
Когда у склада появился Захаров с десятком ломовых подвод, небо над железнодорожными казармами начало светлеть.
Последние кули сгружали прямо в сани.
— Пошла амурская пшеничка. Ах, хороша, — довольно гудел Захаров, помогая укладывать тугие мешки. — Завтра, должно быть, поступит зерно из Бочкарево. Подойдут вагоны с КВЖД. Ничего, выкрутимся... будет что жевать, — продолжал он, ссужая грузчиков табаком из своего кисета. — Поеду сейчас на мельницу, Иван Павлович.
Грузчики молча и жадно курили, провожая взглядом подводы. Кладовщик уже закрывал склад на замок.
— Поди к вагонам, закрой двери. Наметет еще снегу, — сказал Игнатов, обращаясь к молодому пареньку в ватнике. Тот щурясь поглядел на поднявшееся чуть повыше забора солнце и недовольно возразил:
— И пусть, нам-то что.
— Беги, да пойдем по домам. Сегодня среда — значит, у нас военные занятия, — напомнил Игнатов. Паренек вскочил и побежал к вагонам.

Игнатов жил недалеко от товарного депо. Он снимал комнату в доме знакомого железнодорожника.
— Ты не был у меня, Иван Павлович? Пошли, чаю попьем, — предложил он Савчуку, когда они поравнялись с калиткой.
Квартирка у Прохора Денисовича маленькая — одна комнатушка и кухня, зато с отдельным входом. В комнате полутемно, потолки низкие, окна крохотные, тусклые, выходили они не на улицу, а в глухую кирпичную стену соседнего дома. Солнце лишь ненадолго заглядывало сюда.
— Живу, как король. Сарайчик свой имеется. Держу кур пяток и кабанчика. В нашем хозяйстве это подспорье. Вот с кормами плохо теперь, — рассказывал Прохор Денисович, поливая из кружки на руки Савчуку. — Детишек, как видишь, четверо. Жена болеет. Давно уже. Как ты чувствуешь себя сегодня, Маша? — спросил он, и нотки ласковой нежности зазвучали в его грубоватом, немного простуженном голосе.
— С вечера знобило. А кашель унялся, так поспала, — тихо сказала женщина, лежавшая под одеялом.
Савчук не сразу заметил ее. Потом он увидел изможденное, худое, но все еще прекрасное лицо с яркими большими глазами.
— Дуняшка дров принесла, печь растопила. Старшая дочь у меня — помо-ощница, — продолжала она, посмотрев с печальной улыбкой на Савчука. — Проша, ты подай человеку полотенце.
За окнами пронзительно свистел маневровый паровоз, слышались сигналы рожков, лязгало и грохотало железо.

— Беспокойно у нас. Да мы привыкли, — сказала женщина, угадав мысли Савчука.
Худенькая девочка лет двенадцати деловито хлопотала возле стола. Достала с полки эмалированные кружки, две вилки, нож. Принесла тарелку с куском заветревшего с боков сала и краюху ржаного хлеба.
Прохор Денисович резал сало тонкими ломтями, накладывал его на куски хлеба и потчевал детишек.
Высокий, широкоплечий, с шапкой курчавых каштановых волос и курчавой, аккуратно подстриженной бородкой, с голубыми смеющимися глазами и вечной добродушной улыбкой — он был олицетворением силы и красоты.
Савчук познакомился с Прохором Денисовичем вскоре после того, как принял батальон. Он искал людей, умеющих обращаться с пулеметом, и ему указали на этого голубоглазого богатыря. Выяснилось, что Игнатов бывалый солдат; пулеметчиком он стал еще в русско-японскую войну. На все вопросы Савчука он отвечал обдуманно и точно.
«За первого номера ходил? Значит, будешь начальником пулеметной команды, — заключил Савчук. — Вот только пулемета у нас нет».
Но вскоре нашелся и пулемет.
Каждую среду и субботу красногвардейцы-грузчики занимались военным делом. Савчук следил за тем, чтобы не было пропусков. Он сумел установить дисциплину в батальоне.
— Как пулеметчики настроены сегодня? — спросил Савчук, беря кружку с чаем.
— Да пулемет ребята знают. Неплохо знают, — сказал Игнатов и оглянулся на жену.
Она тяжко, надрывно кашляла. Лицо ее казалось вылепленным из воска.
«Не доживет до весны», — подумал Игнатов. Мысль эта была мучительной для него.
Сделав вид, что ему нужно взять что-то на полке, Прохор Денисович встал и зашагал взад-вперед по комнате. Ступал он осторожно, стараясь не скрипеть половицами.
На нем были высокие охотничьи сапоги, подвязанные под коленями ремешками. От сапог пахло дегтем, каблуки были сильно стоптаны.
— Косолап я, видно. Таким уж уродился, — сказал Игнатов, заметив взгляд Савчука. — Меня в армию не хотели брать из-за этого. Вот поднять бы на ноги ребят, — продолжал он без всякой паузы. И громко вздохнул.
— Похоронишь меня, Проша... женись, — сказала больная. — Легче тебе будет...
— Да что ты, Маша! Ты еще меня переживешь, — с деланой веселостью возразил Прохор Денисович. Он и не подозревал, как близок был на этот раз к истине.
«Да-а, королевское житье...» — подумал Савчук, присматриваясь к обстановке в доме.
Батальон грузчиков проходил ускоренный курс военного обучения. Изучали русскую трехлинейную винтовку. Савчук требовал, чтобы каждый красногвардеец умел разобрать и собрать винтовку с завязанными глазами.
— Ты, ее, как скрипку, по звуку должен чувствовать, — говорил он, демонстрируя такую сборку на ощупь. — Не садись за стол, пока оружие не вычищено. Винтовка — твоя верная подруга в бою. Ухаживай, люби ее — никогда не изменит.
Грузчики старательно затверживали названия частей: ствольная коробка, винт упора, ударник...
Савчук знакомил бойцов с гранатой, приемами штыкового боя, элементарными основами тактики пехоты. Красногвардейцы его батальона основательно попотели, бегая по буграм и оврагам.
В прошлую субботу батальон ходил на стрельбище. Было разрешено израсходовать по пять патронов на брата.
— За спуск не дергай, — говорил Савчук, наблюдая за действиями ближнего бойца. — Придержи дыхание и ровно нажимай, чтобы выстрел произошел неожиданно.
Результаты стрельбы первого взвода оказались ниже того, на что он рассчитывал. Дул боковой ветер, а многие бойцы не приняли во внимание снос. Взводный тоже забыл предупредить об этом.
— Послали пули за молоком. Молодцы! — ядовито похвалил Савчук и тут же разъяснил ошибку.
Другие взводы стреляли лучше. Домой возвращались с песней:

В день девятый января
Шли проведать мы царя...

Дела красногвардейского батальона занимали, пожалуй, главное место в теперешней жизни Савчука.

Посматривая с сочувствием на Прохора Денисовича, на его больную жену, он одновременно думал о предстоящем сегодня выходе в поле.
— Прохор Денисович, раз у тебя такое положение — бери освобождение недели на две, — предложил Савчук, когда хозяин без шапки вышел проводить его.
— Э-э, все равно! Я дров наколю, воды натаскаю. С остальным Дуняшка управится не хуже меня, — сказал Игнатов.
...Второй раз в этот день они встретились на левом берегу Амура среди занесенных снегом кустов тальника.
Савчук шагал напрямик к месту, где, по его предположению, должен был находиться батальон. Перед самым выходом в поле Ивана Павловича вызвали в краевой военный комиссариат. Пришлось ждать, пока окончится совещание и освободится нужный товарищ. Затем выяснилось, что Савчука звали совсем в другой отдел. Иван Павлович помчался в противоположный конец коридора, чтобы зря толкнуться в запертую дверь. После долгого ожидания он предстал наконец перед Разгоновым. Оказалось, что каптенармус батальона забыл подтвердить какую-то заявку,
— Вам что, делать нечего? Просили, значит, надо, — сказал Савчук и часто задышал.
Разгонов смерил его начальственным взглядом.
— Во-первых, делаю вам замечание. Вы не должны вступать в пререкания. Ясно? — заметил он тоном строгого выговора. — Во-вторых, я...
— А катись ты знаешь куда?! — вспылил Иван Павлович, задетый и этим тоном и еще больше заносчивым видом сидевшего перед ним чистенького и приглаженного штабного канцеляриста.
— То-ва-рищ Савчу-ук, без анархических выходок, пожалуйста!
Разгонов побледнел, поднялся из-за стола. В сущности, он не знал, что ему теперь предпринять. Он не ожидал, что Савчук столь бурно отреагирует на его замечание.
— Ладно. Можно без выходок... для первого знакомства, — с мрачной иронией согласился Савчук. Он тоже понимал, что здесь не место для спора. — Давайте я подпишу бумагу.
— В другой раз постараемся обойтись без недоразумений, — с обезоруживающей улыбкой заметил Разгонов. Он успел сообразить, что лучше не ссориться.
Негодуя на порядки в комиссариате, на хлыщей, которые пролезают всюду, чтобы портить настроение людям и губить живое дело, Савчук широкими шагами мерил снежную целину.
На снегу петли свежих заячьих следов. Савчук равнодушно посматривал на них, но сразу оживился, когда заметил рядом следы трех человек, прошедших срединой луга, где снег был не так глубок. Видно, они только что покинули открытое пространство.
«Ага, разведка. Прошли, а старицы не осмотрели...» — подумал Савчук и, изменив немного направление, зашагал к видневшимся невдалеке кустам.
Снег возле кустов был глубоким и рыхлым. Савчук двинулся в обход и тут неожиданно натолкнулся на искусно замаскировавшихся красногвардейцев. Они наблюдали за лугом.
Оказывается, Игнатов использовал эту неглубокую старицу с кустами ивняка по краям для засады. Савчуку достаточно было беглого взгляда, чтобы оценить все преимущества позиции.
Подав знак дозорным, чтобы они не докладывали о нем, Иван Павлович, придерживаясь рукой за куст, спрыгнул вниз.
Возле пулемета, присев на корточки, сидел красногвардеец в синем ватнике и шапке-ущанке. Савчук узнал китайца Ван Вэнь-шаня, недавно принятого в батальон. Игнатов что-то терпеливо объяснял ему, китаец кивал головой и восхищенно щелкал языком. Видно, стреляющая машина произвела на него сильное впечатление.
— Что, Ваня, пулемет изучить хочешь, а? — незаметно подойдя сзади, спросил Савчук.
— Просится, Иван Павлович. Уж очень просится, — сказал Игнатов.

Китаец при первых словах Савчука вскочил, сдернул с головы шапку.
— Моя не Ваня — Василий! Здравствуй, капитана! — сказал он и просительно улыбнулся.
— Моя пулемета надо. Ладно. Шибко скоро его стреляй. Ши-ибко хорошо.
— А зачем тебе это нужно? Да ты покройся, шапку надень, — дружелюбно сказал Савчук.
— Моя Красная гвардия, — с достоинством ответил китаец, напяливая шапку и становясь во фронт. В мгновение ока вид его изменился: уже не покорный проситель стоял перед Савчуком, а подтянутый, внутренне собранный боец. — Работай вместе, воюй тоже вместе. Правильно!.. Потом моя обратно Китай ходи. Даешь Советская власть! — Глаза китайца блеснули. Затем он серьезным, ожидающим взглядом уставился на Савчука.
— Молодец! Убедил. — Савчук почувствовал не просто симпатию, а глубокое уважение к этому человеку, который так просто и бесхитростно изложил перед ним программу своей жизни. — Вот что, Прохор Денисович, — Савчук повернулся к Игнатову. — Зачислишь Василия в свой расчет сверх комплекта. И чтобы он за первого номера у тебя работал. Понял?
— Спасибо! Моя хорошо работай, — благодарно сказал китаец.
— Давай, давай! Будем с тобой, Василий, мировую революцию двигать. Разведка тут не проходила, не видел? — спросил затем Савчук у Игнатова.
— Да уж не мне их было окликать, — засмеялся Прохор Денисович. — Вот вся рота подтянется, так я их с фланга чесану... Будь здоров!
— Н-да... — Савчук похлопал прутиком по голенищу. — Вороны эти разведчики, черт бы их побрал!
Выбираясь из старицы, он оглянулся: китаец опять присел на корточки возле пулемета.

2

Дарья сидела у стола, подперев щеку рукой. На ее полных, припухлых губах бродила неясная улыбка. И весело и грустно было ей в этот вечер.
Последнее время Дарью мучила мысль о неустройстве ее жизни. Мужа она никогда не любила, а теперь и презирала его, как человека, который катится под гору да еще радуется этому. Если раньше Дарья была равнодушна к поступкам Петрова, то сейчас она судила его, как самый строгий судья. Все в нем было противно ей и чуждо, — следовало лишь порвать последние нити, формально связывавшие их.
Может быть, ее решение окончательно разорвать с Петровым и не созрело бы так скоро, если бы не приезд Савчука. Савчук приглянулся Дарье давно, еще до призыва в армию. Его равнодушие задевало ее, вызывало желание расшевелить парня, понравиться ему. Разумеется, это не было тем сильным, горячим чувством, которое вспыхнуло в ней в ночь пожара. Но теперь Дарье казалось, что ее любовь к Савчуку началась еще с тех пор, как они поселились в одном бараке.
Не сказав еще ничего о своем чувстве, не зная, как он отнесется к такому признанию со стороны замужней женщины, боясь показаться назойливой или смешной, Дарья вечерами терпеливо дожидалась возвращения Савчука. Она прислушивалась к его шагам, старалась как бы невзначай встретиться с ним в коридорчике, разделявшем их комнаты.
Дома ли Иван Павлович? Окна у них, когда Дарья проходила мимо, были темны. А где же Федосья Карповна? Надо узнать, когда он вернется.
Она недолго боролась с собой. Найдя первый благовидный предлог, Дарья вышла в холодный коридор и с сильно бьющимся сердцем робко, чуть слышно два раза стукнула в соседнюю дверь. Тотчас же она хотела повернуть обратно, но из-за двери голос Савчука спросил:
— Кто там? Входите.
Дарья толкнула дверь и шагнула через порог.
— Одну секунду. Я свет зажгу. — Савчук шарил в темноте по столу, ища коробок спичек.
— Мне Федосью Карповну надо, я на минуту только. Здравствуйте, — будто не своим голосом сказала Дарья, каждое слово ей приходилось выталкивать сплои из мгновенно пересохшего горла. — Хотела квашню ставить, а дрожжи у меня кончились.
— Мать скоро вернется. Садитесь, Дарья Тимофеевна. Вот сюда, — и Савчук предложил ей стул. — Я набегался сегодня, да ночью еще работал. Хорошо, что вы меня разбудили. А дрожжи?.. Не знаю, есть ли они в доме или нет. Должно быть, имеются. Мать у меня человек запасливый. Поискать, а? — говоря это, Савчук с улыбкой смотрел на Дарью.

— Вы сегодня рано, Иван Павлович. Всегда приходите поздно, а сегодня — рано, — заметила Дарья, чтобы сказать что-нибудь.
— В дорогу надо собираться. Завтра еду.
— В дорогу? А я не слышала... Куда едете, Иван Павлович? — Сердце у Дарьи сразу упало.
— Тут недалеко, в волость. Посылают недели на две. — Савчук потянулся за пачкой папирос, но раздумал курить. Выражение лица Дарьи поразило его: на нем были и растерянность, и тревога, и любовь.
«Две недели!.. Бог знает, что может произойти за это время», — думала она, комкая пальцами край шерстяного платка, накинутого на плечи.
— Знаете, Дарья Тимофеевна, давно я хотел с вами поговорить.
— Ну?.. — Дарья так и подалась вся к нему.
— Нет, после когда-нибудь, — сказал Савчук и взял папиросу. — Сейчас мать придет...
— Боишься? — спросила Дарья, прищуривая глаза. — А я вот не боюсь, пришла... Я про любовь свою сама скажу. Милый мой, хороший! — Она встала, шагнула к нему. — Ну зачем нам таиться? Я ведь вижу, сердцем почувствовала, как ты ко мне тянешься. Ох, радость моя или горе! — и Дарья первая обняла Савчука и поцеловала в губы.
...Вернувшись вечером домой, Савчук не стал зажигать свет и прилег на кровать. Едва он смежил веки, как сон навалился на него. Но через полчаса он проснулся. И первой мыслью была мысль о Дарье. Он лежал с закрытыми глазами и думал о ней.
Когда Дарья вышла в коридор, Савчук каким-то внутренним чутьем догадался, что она постучит к ним. Стук был еле слышный. И он поторопился сказать «входите», боясь, что Дарья передумает и вернется к себе. Разыскивая в темноте спички, он имел достаточно времени, чтобы справиться со смущением. Но как не нужны оказались эти его ухищрения!
— Знаешь, Ваня, — она впервые так назвала его и повторила, вслушиваясь в каждый звук его имени: — Ваня, шел бы лучше ко мне! Дрожжи ведь мне не нужны... Совестно было, вот и соврала.
Дарья поправила волосы и пошла к двери.
— Ты кушать хочешь? Наверно, не ужинал? — спросила она у себя в комнате, сразу входя в роль хозяйки.
— Да, признаться не ужинал, — сказал Савчук.
Она пододвинула ему хлеб, бобовое масло, налитое в блюдце, вареный картофель, солонку с солью, чай в большой эмалированной кружке. Он с удовольствием ел это незатейливое угощение, пил чай, весело посматривал на Дарью.
Дарья мелкими глотками допила свой стакан, поглядела на Савчука, чуть откинув назад голову.
Савчук привлек ее к себе, и они опять поцеловались.
— Довольно. Знаю, что любишь, — сказала Дарья, поправила на плечах платок и, отойдя в другой конец комнаты, спокойно закончила: — А мужу я сегодня все расскажу. Я обманывать не стану.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В доме Левченко власть отца — главы семьи — всегда была непререкаемой. Не вмешиваясь в мелочи и не стесняя особенно свободу подраставших детей, Алексей Никитич сумел дать почувствовать каждому свою тяжелую руку. Он терпеть не мог, если кто-либо из домашних начинал противоречить ему. До сих пор Алексею Никитичу сравнительно легко удавалось держать дом в руках. Все — и дети, и прислуга, и даже посторонние люди, попадавшие в дом, — волей или неволей подчинялись раз установленному порядку. Все домашние в одно и то же время сходились в столовую завтракать, в один час обедали, ложились спать не позже полуночи.
Но теперь даже и это внешнее проявление дисциплины не соблюдалось. Было просто удивительно, как быстро распался, казалось, прочно слаженный семейный быт. Алексей Никитич на все махнул рукой. После недавней стычки с Сашей он закрылся у себя в кабинете и редко выходил оттуда. Он больше ни на кого не кричал, не повышал голоса, держался так, будто в доме осталась лишь его безгласная тень, и только мрачный взгляд исподлобья, которым Алексей Никитич вдруг окидывал собравшихся за столом

домочадцев, выдавал его мысли и чувства. От этого взгляда присутствующим становилось не по себе.
Саша нарочно задерживался вне дома, чтобы опоздать к обеду и не встречаться с отцом. В нем боролись два противоположных чувства: ожесточение и жалость — жалость к отцу, который, как он догадывался, становился все более и более одиноким. Было просто невыносимо сознавать, что они так быстро начали отдаляться друг от друга. Несмотря на то, что Саша шел наперекор воле отца, в нем жила сыновья привязанность и уважение к нему. Ему страстно хотелось найти убедительные, горячие слова, способные растопить лед в их отношениях. Не раз он готов был сделать шаг к примирению, но, повстречав холодный, испытующий взгляд отца, терялся и отступал. Он понимал, что мир мог быть восстановлен только ценою его отказа от сочувственного отношения к революционным переменам. А на это Саша пойти не мог. Он чаще стал задумываться над собственной жизнью, начал доискиваться причин людских несчастий. И чем дольше он размышлял, тем более справедливыми и необходимыми казались ему происходящие сейчас перемены. Грандиозность совершающихся событий захватывала, увлекала, радовала его. Это оказалось сильнее, чем родственные чувства и привязанности. Если внешне Саша еще вел прежний образ жизни, если он, уходя из дому, когда невыносимой становилась душная его обстановка, все-таки возвращался обратно, то было бы ошибочно заключить из этого, что он остался прежним мальчишкой-гимназистом, далеким от политики. Ему сейчас недоставало лишь хорошего толчка, чтобы решительно и бесповоротно порвать со старой жизнью. Внутренне к этому он был уже подготовлен.
Алексей Никитич, видимо, понимал душевное состояние сына. Сдержав себя однажды, подавив усилием воли вспышку безудержного гнева, он теперь избегал всего, что могло бы еще больше обострить отношения между ними. Трудно было ему ломать свой характер. Невозможно было самому сделать первый шаг навстречу. Но страх порвать последнюю нить, соединявшую их, останавливал его всякий раз, когда на язык просились гневные, оскорбительные для сына слова. И это было несомненным проявлением отцовской любви, скрытной, суровой, но крепкой. Заметив отсутствие сына за столом, Алексей Никитич в первый раз промолчал, во второй — сказал Соне, чтобы та впредь подавала ему обед в кабинет, а сама обедала бы с Александром (теперь Алексей Никитич уже не звал сына Сашей).
Соня, разумеется, догадалась, что отец боится окончательного разрыва с Сашей. Это и обрадовало и испугало ее; испугало потому, что она знала, насколько безудержен бывает в гневе отец. Нельзя без конца испытывать его терпение. И Соня теперь пользовалась каждым случаем, чтобы уговорить Сашу примириться с отцом. «Я не ссорился с ним», — отвечал Саша. «Он страдает, ты должен это понять», — настаивала она. «Мне тоже нелегко. Почему ты обо мне не хочешь подумать?» — сердясь, спрашивал брат. Кончались обычно такие разговоры слезами. Соня, уткнувшись лицом в подушку, плакала. Взволнованный и раздосадованный тягостной сценой, Саша сидел как на иголках и молчал, не зная, что сказать, чувствуя, что он-то меньше всего виноват. Эти постоянные стычки с сестрой удручали Сашу больше, чем его натянутые отношения с отцом.
Все складывалось так, что только вне родного дома Саша чувствовал себя вполне свободным и независимым. Его отлучки из дому становились все более продолжительными.
Не раз теперь в лыжных прогулках Сашу сопровождала мисс Хатчисон. Саша попривык к ее экстравагантности и обнаружил, что молодая американка, в сущности, довольно занятный человек. У нее был свой взгляд на события, на людей. Сашу поражали ее крайний практицизм и эгоистичность. Он не соглашался с нею, спорил. Она с улыбкой отвергала его доводы. В критический момент она умела ловко повернуть направление беседы, с серьезным видом высказывала какую-нибудь благоглупость, и Саша принимался весело хохотать. А мисс Хатчисон в это время так лукаво посматривала на него, что Левченко в конце концов начинал чувствовать себя одураченным. Однако трудно сердиться, когда плутовские глазки обстреливают тебя, а острый язычок колет и колет. Успевай отбиваться. И Саша охотно отдавался этой словесной игре.
Посторонние долго не замечали разлада в семье Левченко. В доме Алексея Никитича почти каждый день собирались люди, слетевшиеся со всей России, обиженные революцией; они

проклинали, грозили и, где-то в глубине души сознавая свое бессилие, стремились урвать от жизни побольше, пока можно. У всех у них были общие интересы, общая ненависть к новому государственному и социальному строю, одни и те же надежды на реставрацию власти буржуазии. Они тянулись друг к другу, хотя между ними и не было каких-либо глубоких человеческих привязанностей.

Занятые своими делишками, своими расчетами, гости Алексея Никитича с комфортом располагались в его просторной гостиной, не всегда замечали отсутствие среди них хозяина. Соня неукоснительно исполняла обязанности хозяйки: во время подавала чай, варила черный кофе, а если был подходящий час — ставила и крепкие напитки. Впрочем, Алексей Никитич, заслышав гул голосов, иногда тоже выходил в гостиную, здоровался с гостями и с мрачным удовольствием внимал прогнозам о скором падении Советской власти. Иногда кто-либо из гостей сам вламывался к нему в кабинет и там занимал его пустыми разговорами до тех пор, пока терпение хозяина не истощалось и он многозначительно не показывал надоевшему гостю на часы. Алексей Никитич в таких случаях не церемонился.

Чаще других наведывались к Левченко Судаков и Сташевский. Случалось, что они забегали по два раза в день; приходили порознь, но уходили всегда вместе, — вероятно, не успевали вдосталь наговориться. Из всех гостей, бывавших в доме, Саша особенно невзлюбил именно этих двух. Он и не скрывал своего неприязненного отношения к ним. Но Судаков и Сташевский его неприязни попросту не замечали. А Саша из-за этого злился на них еще больше.

Некоторое время его внимание привлекал адвокат Кондомиров. Он умел облекать свои мысли в такую неожиданно нарядную форму, что на первых порах это показалось очень любопытным. Создавалось впечатление, что имеешь дело с умным и оригинально мыслящим человеком. Но потом Саша понял, что Кондомиров такой же мелкий в суждениях, завистливый и озлобленный человек, как и прочие их знакомые.

Однажды, застав Сашу одного в гостиной, Кондомиров с улыбочкой на жирном лице спросил его:

— Ну-с, молодой человек, скажите откровенно, не надоели вам наши словопрения о свободе, правах человека и прочем, что нынче в чести и моде?

— Словопрения — да, надоели, — откровенно признался Саша.

— Гм!.. — Кондомиров искоса посмотрел на него, наклонил голову влево и чуть прижмурил правый глаз. — Однако вы, кажется, человек действия. Одобряю. Пора кончать со всей этой мерехлюндией. Нам нужен человек с ружьем, умеющий стрелять и убивать. Беда в том, что сейчас в толпе утрачено чувство страха. Страх — основа порядка. Я — адвокат, по профессии своей знаю это, не раз наблюдал эмоции преступников перед судом.

— Но вы же сами ратуете за равенство! — воскликнул озадаченный Саша.

Адвокат расхаживал по комнате, выставив вперед бородку, громко и внушительно говорил:

— Равенство перед законом я принимаю, это прогрессивный принцип. Но равенство социальное — нет, ни за что! Это тысяча шагов назад к варварству.

— Но почему? Почему? — допытывался Саша.

— Как же, помилуйте! — Плечи Кондомирова поднялись, а жирный затылок почти спрятался между ними. — Два десятка лет я ношу диплом Петербургского университета. Меня считают здесь лучшим юристом. Знаете, год назад американская фирма Маккормик предлагала мне должность юрисконсульта. Я отказался. Но это, согласитесь, — признание. Таков субъект номер один. А вот вам — субъект номер два. Вез меня сюда извозчик Иван, бородища — помело, ручищи — грабли. «А что, спрашивает, барин, правду бают, что земля вертится?» Это в двадцатом-то веке. Ну-с, поравняйте нас! До какой же степени я должен опуститься!

— А если поднять Ивана до вас? Ведь это можно сделать.

— До меня? Ха-ха-ха! — Кондомиров расхохотался; живот его колыхался от смеха, и золотая цепочка часов, спрятанных в жилетном кармане, тоже тихо покачивалась. — Ой, молодость, молодость! Все вам нипочем, все трын-трава! Легкость необычайная... Но это, извините, от недостатка ума! Да-с. Цивилизация, конечно, диффундирует и проникает в толщу народных масс... но медленно, черт возьми! Медленно... А все должно идти своим естественным порядком. Когда-нибудь, лет через триста, наступит благословенный век. Да

нас-то с вами не будет. Так зачем, спрашиваю, хлопотать? Помните, прекрасно сказано у Горация: «День текущий лови, меньше всего веря в грядущий день...» Античность, молодой человек! Мудрость! Пример нам, грешным... А, между прочим, где ваша сестрица? Я бы выпил стакан горячего чаю с ромом.
Но прежде чем появилась Соня, в гостиную ворвались Судаков и Сташевский, страшно возбужденные, растрепанные и в одежде своей и в мыслях. Судаков сразу плюхнулся на диван, поднял руку и сказал прерывающимся голосом:
— Господа, случилось страшное и непоправимое!.. Они разогнали Учредительное собрание.
Кондомиров ухватился рукой за свою бороду.
— Да, господа, с юридической точки зрения — акт безусловно неправомерный и будет иметь последствия самые значительные. Самые значительные, — повторил он. — Это будет воспринято как сигнал.
На следующий день Судаков и Сташевский принесли весть о готовящейся в городе демонстрации протеста. Меньшевистская газета «Призыв» и эсеровская «Воля народа» уверяли, что на улицу выйдут тысячи людей. Говорилось о брожении в воинских частях, каких-то беспорядках в Арсенале. Совет государственных и общественных служащих Хабаровска вновь создал стачечный комитет. Члены его развили бурную деятельность, бегали по учреждениям, призывали к политической стачке. Распространялись листовки. Судаков, выступая на митингах, надорвал голос, охрип. Он верил, что в назначенный час встанут горожане и двинутся за ним на улицу. Во всяком случае, Юлия Борисовна Парицкая заявила, что они с Катей примут участие в народной демонстрации, и велела к этому часу подать ей лошадь в санках. Один Чукин остался скептиком и циником к тому же.
— Не сумели оседлать, так некуда и скакать. А впрочем, валяйте, — сказал он. — Дай вам бог удачи, а мне — придачи.
Скептицизм Чукина имел основание. Буржуазная по своему составу городская дума первой выразила протест против роспуска Учредительного собрания. Хабаровский Совет ответил на это исключением из думы всех ее буржуазных членов и утвердил новый список гласных. Места бывших «отцов города» — купцов и домовладельцев — заняли представители профсоюзов.
Саша знал, что рабочие и солдаты встретили весть о роспуске Учредительного собрания с полным одобрением. Всюду шли митинги. На них принимались большевистские резолюции. На улицах же вообще мало говорили об этом событии. Имелись, видно, у людей другие, более им близкие и понятные интересы.
В день демонстрации с Амура подул свежий ветерок, подхватил сорванную кем-то с забора афишу, извещавшую демонстрантов о часе и месте сбора, и погнал ее колесом вдоль улицы, пока из какого-то двора с криком не налетели на нее мальчишки и тут же не разодрали афишу в клочья. Может, по этой причине в назначенный срок на указанном месте никого не оказалось. Лишь стороною по тротуару прошмыгнули человек двадцать организаторов, уткнувших носы в воротники, покачали сокрушенно головами и разбрелись.
Что касается Юлии Борисовны, то она действительно собиралась на демонстрацию и даже спросила конюха, пришедшего сказать, что лошади заложены: «Холодно ли на улице?» — «Стало быть, ветер поднялся. Так что морозно», — отвечал тот, похлопывая залатанными рукавицами. «Ну, тогда распрягай», — сказала хозяйка, повернулась и ушла обратно в спальню. Конюх пожал плечами: «Заводют же канитель. А для чего, спрашивается? Тьфу!»
Политическая стачка служащих все-таки началась. Прекратили работу банк, казначейство, Амурская казенная палата, Акцизное управление, Продовольственная управа. Бастовали главным образом высшие служащие. Но нормальная деятельность городских учреждений снова была нарушена.
Сташевский, пользуясь своим положением начальника почтово-телеграфной конторы, выдал служащим жалованье за три месяца вперед.
— Мы готовы бастовать до полной победы, — хвастливо говорил он Алексею Никитичу и довольно потирал руки. — Пришлось использовать деньги, поступившие для выплаты пенсий солдаткам. Не беда, почта теперь все равно не функционирует. Пусть бегут жаловаться в свой совдеп. Через неделю там взвоют, вот увидите.

Но к вечеру на телеграфных аппаратах работали моряки, вызванные с базы Амурской флотилии. Сташевского, прибежавшего заявить протест, не пустили в помещение. Саша, случайно оказавшийся в это время возле телеграфа, видел, как Сташевский, застегнутый на все пуговицы своей черной с серым отливом шинели, строгий и официальный, подходил сюда торопливой, чуть вихляющей походкой. У входа в здание его остановил матрос с винтовкой.
— Посторонних лиц на телеграф пускать не велено. Разобраться надо, чего тут саботажники натворили, — Спокойно объяснил часовой, покосившись на незнакомые знаки различия.
Сташевский попытался отстранить его и пройти в дверь, но часовой с решительным видом загородил вход винтовкой.
— Не прикасайтесь ко мне... Как вы смеете! Я начальник конторы! Или вы ослепли? — визгливо закричал Сташевский.
— Ты не шуми. — Матрос нахмурился и недобро взглянул на него. — Часовому начальник один — караульный. По воинскому уставу, понял? И отойди на дистанцию. — Он взял винтовку на руку.
Сташевский отпрянул с неожиданным для такого толстяка проворством. Рысцой он догнал Сашу.
— Вы слышали! Какой нахал, а!.. Я — постороннее лицо... — Он обиженно заморгал глазами и громко посморкался в пестрый клетчатый платок.
2
Неожиданно среди зимы наступила оттепель. Закапало с крыш, над карнизами повисли ледяные сосульки. Дни стояли солнечные, яркие. Во дворе на утоптанном грязном снегу прыгали воробьи.
Саша сидел у окна и смотрел на их веселую возню. Снова и снова обдумывал он свое положение.
Наконец у него открылись глаза: он увидел, что за люди окружают его в доме отца, понял их лицемерие, лживость, тупость, эгоизм. Саша теперь не испытывал к ним никаких других чувств, кроме презрения.
В конце концов Саша пришел к единственно возможному выводу: оставаться дольше в доме нельзя. Но как сказать об этом Соне? Как объяснить ей причины? Его привязанность к сестре была по-настоящему глубокой и сильной. Уж он-то понимал, насколько она одинока. А нанести ей еще удар, причинить боль — было выше его сил. И Саша все оттягивал решающий разговор с отцом.
В последние дни Саша стал особенно внимателен к сестре. В разговорах он избегал таких тем, которые могли бы напомнить о близящемся разрыве. Он уже не убегал из дому при первой возможности, а терпеливо дожидался, пока Соня освободится от хлопот по хозяйству. Вместе они бродили дотемна по улицам. Саша смешил сестру меткими замечаниями, острил по поводу общих знакомых: он был неистощимо весел. Соня подстраивалась под его настроение; она смеялась еще звонче, еще заразительнее. «Вот счастливая и беззаботная пара!» — сказал бы любой, глядя на них со стороны.
Но Саша ошибался, думая, что он хоть на время избавил сестру от тревог. На Соню он продолжал смотреть глазами старшего брата, всегда знавшего ее сообразительной, умной, но все-таки девчонкой; перед ним же была взрослая девушка, которой жизнь уже преподала первые суровые уроки. Соня нисколько не обманывалась относительно намерений брата; напротив, перемена в его отношении к ней явилась для нее новым подтверждением близости часа разлуки. Однако Соня была искренне благодарна брату за его попытку как-то скрасить последние дни. Ни разу при нем тень огорчения не мелькнула на ее лице: она научилась владеть своими чувствами.
И все же развязка наступила скорее, чем они думали.
Саша в той же позе сидел у окна, когда Соня с радостным возгласом ворвалась к нему в комнату.
— Вот я и управилась! День сегодня чудный. Пойдем в кинематограф!
Саша медленно повернул голову, посмотрел на сестру отсутствующим взглядом; сердце у Сони сжалось.
— Ты не болен, Саша? — спросила она с тревогой.

— Я? — он сухо рассмеялся. — Ничего ты не понимаешь, сестренка. А жаль... Во всяком случае, дело идет к концу. Я вижу это и очень рад.
— Вот чего я боялась, — тихо сказала Соня и опустилась на стул.
Саша с удивлением взглянул на нее. За простыми словами сестры скрывалось столько скрытой сердечной муки, что это пристыдило его. Она сидела перед ним, слегка закинув голову назад; ее волнистые, отливающие золотом волосы спадали на плечи, глаза с мольбою были устремлены на него. На ресницах у нее трепетали слезинки.
— Я боюсь за тебя и за отца боюсь. Боюсь за нашу семью, которая рушится у всех на глазах, — продолжала Соня. Голос ее выдавал глубокое волнение, как она ни старалась скрыть это.
— Ну, не только тот свет, что в окошке.
Саша понимал, что было бы лучше прекратить разговор, но теперь уже не мог: все, что он пережил и передумал за это время, все с новой силой поднялось в нем.
— А если и меня затянет проклятая тина, — ты не боишься?.. Сижу вот у окна, как птица в клетке. И дверь отворена настежь, а взмахнуть крылом — решимости нет. Разве не досадно, не горько это сознавать?
Саша не желал обострять отношения с сестрой, но ее безответная покорность и уступчивость отцу не на шутку раздражали его. Помимо воли у него сорвалось с языка несколько резких замечаний. Соня обиженно посмотрела на брата, покраснела и вдруг рассердилась.
— Перестань, пожалуйста, — с досадой, резко сказала она. — Я бы, может, тоже ушла, да куда?.. И характера у меня нет. Отца оставить я не могу и не оставлю... Ты меня до слез довел этими глупыми попреками.
Ее слова отрезвляюще подействовали на Сашу. «Ее-то я зачем обижаю?» — со смущением подумал он.
— Ты звала в кинематограф. Что ж, пойдем, — сказал он.
На улице гомонила толпа.
Было воскресенье.
Саша не без труда достал билеты, и они прошли в партер. Зал был полон, но сеанс почему-то не начинали. Наконец появился администратор.
— Уважаемая публика, приношу тысячу извинений! — сказал он. — Неисправен аппарат. Мы вызвали второго механика. Может, угодно пока послушать информацию о текущем моменте?
Двое билетеров внесли столик. Поставили графин с водой. Пододвинули к столу стулья. Из первого ряда поднялись и прошли к столу Сташевский, адвокат Кондомиров и худенькая женщина с целой копной рыжих волос.
Сташевский театральным жестом простер руку.
— Поскольку у нас имеется время, не угодно ли продискутировать вопрос о войне и мире? М-м... существуют разные точки зрения. Но мы будем руководствоваться священными интересами родины. Нет возражений?
— Есть! — крикнули с галерки, но в партере зашикали.
— Мы терпеливо выслушаем всех, — добродушно пообещал Сташевский и успокоительно помахал пухлой рукой.
Кондомиров вышел вперед, отвесил общий полупоклон.
— А все-таки, будет мир или нет? — опережая его, спросили с галерки.
— Не в этом вопрос, — адвокат привычным движением заложил руку за борт пиджака. — Вопрос в том — хотим мы похабного мира с немцами или нет? Большевики в Бресте...
Оратор призывал продолжать войну до победного конца, грозил России гибелью, если в Бресте будет подписан мир на условиях, выдвинутых немцами. Говорил он ровным, журчащим голосом.
— Нас обвиняют в разжигании страстей и чуть ли не в людоедстве. Что может быть превратнее такого истолкования призыва к патриотизму граждан? Это проявление естественного защитного рефлекса народа перед лицом опасности. — Кондомиров простер обе руки вперед, как бы взывая к справедливости. Потом он вытер вспотевший лоб батистовым платком, спрятал его в карман, вздохнул и уже другим, успокоенным тоном

заметил: — К счастью, времена каннибализма и человеческих жертвоприношений давно прошли.
— Совершенно верно, — громко подтвердил бас из середины зала. — В наше время индивидуальные человеческие жертвоприношения бессмысленны, теперь сразу миллионы людей посылают в механизированную бойню. Это и есть война, куда нас зовут ради прибылей господ капиталистов. Позор! И вы еще смеете именовать себя социалистами?..
Кондомиров не удостоил его ни ответом, ни взглядом.
— Я предлагаю... мы должны, — запальчиво крикнул он, и голос его сорвался. — Да, должны! Должны осудить переговоры в Бресте...
— Самого тебя судить надо, барин! — сердито возразила просто одетая женщина в третьем ряду.
— Решит-тельно осудить! — Адвокат воинственно рубанул рукой воздух перед собой. — Мы покажем, что есть еще люди, готовые честно исполнять свой долг. Есть! — Он всем корпусом качнулся вперед, будто его толкнули в спину, пожевал губами и закончил без всякого подъема, будничным голосом: — Предлагаю открыть запись добровольцев, готовых сражаться с тевтонами.
Медноволосая женщина пододвинула к себе листок бумаги и уставилась в зал округлыми, совиными глазами. Сташевский, забыв о своем обещании выслушать всех, деловито, как на аукционе, сказал:
— Итак, открыта запись добровольцев. Кто первый? — он поискал кого-то глазами в зале, не нашел, досадливо поморщился и спросил: — Неужели здесь нет патриотов?
Зал выжидательно молчал.
— Есть! Запишите меня, — вдруг крикнул с места Саша и, прежде чем Соня успела остановить его, пошел по проходу, провожаемый удивленными взглядами. Сташевский заулыбался навстречу. Кто-то зааплодировал, недружные хлопки покрыл пронзительный свист галерки.
— Ах, душка-а! Какой хра-абрый... — восхищенно сказала шикарно одетая дама.
— Дурак, а дураки, как известно, ничего не боятся, — под общий смех ответил бас.
Саша отчетливо расслышал реплику и покраснел.
— Я был на фронте. Ранен. Отравлен газами, — волнуясь, заговорил он. — Думал, что с меня хватит. Но я готов воевать, раз нужно. Вот я ставлю подпись. — Он лихо расчеркнулся на пустом листе бумаги, выпрямился, намеренно не замечая протянутой ему руки Сташевского. — Кто же следующий? Может, вы, господин Кондомиров? — и Саша с любезной улыбкой обернулся к адвокату. — Прошу вас, сударь...
— Я?.. Но почему я?.. У меня здесь неотложные дела, — Кондомиров недоумевающе пожал плечами.
— В самом деле, почему вы? — громко и с издевкой спросил Саша, обращаясь уже не к адвокату, а в зал. — Нам можно, а ему, видите ли, мама не велит. Его функция болтать, а нам — умирать.
— Вот подде-ел! — в восторге закричали на галерке и бурно захлопали, затопали ногами.
— Крой их, дружище! Валяй!
Саша со злорадным удовольствием читал растерянность и злобу на лицах тех, у кого он только что видел поощрение и поддержку.
— Итак, запись продолжается! Прошу, господа. Вот вы, я к вам обращаюсь, уважаемый председатель, — войдя в роль, звонким и чистым голосом объявил Саша, вызывающе поглядев на растерявшегося Сташевского. — Мы на все готовы ради, блага отчизны и собственного благополучия, конечно.
Галерка дружно смеялась.
— Ай да спектакль!
— Неужели здесь один я оказался простаком? — не без сарказма спросил Саша.
— Александр Алексеевич, одумайтесь! Неприлично так шутить, — сдавленным полушепотом проговорил Сташевский.
— Ага, шутить? — Саша окинул Сташевского негодующим взглядом. — Так это всего милая шутка? Вы слышите? — Продолжал он, обращаясь к людям на галерке. — Отчего же шутя не поиграть еще миллионом человеческих жизней? Этим господам дай волю, они мать родную продадут ради выгоды. — Саша рукой откинул назад спустившуюся прядь волос,

бросил в притихший зал страстные, выстраданные слова: — Нет, не надо войны! Дайте нам мир, которого требует Ленин!.. Здесь, наверно, есть фронтовики. Есть солдатские вдовы и сироты. А ну-ка спросите их: нужна им война за интересы международных банкиров или нет? Пусть поднимут руки, кто не хочет войны.
Саша увидел множество взметнувшихся кверху рун, множество смеющихся милых человеческих лиц. Он испытал в эту минуту такой душевный подъем, такую радость, какой давно не переживал.
— Отлично вы сказали. В самую точку, — проговорил подошедший к столу Потапов. Предупрежденный по телефону об эсеровском митинге в кинотеатре, он поспешил сюда. — Разве это не показательно, что здесь не нашлось ни одного человека, желающего поддержать оборонцев? — продолжал он, обернувшись лицом к залу, не давая Сташевскому возможности вмешаться. — Одним война не нужна. Некоторые хотят, чтобы за них воевали другие. Вот гак и получается. Вы говорите о патриотизме, — глянул он на Сташевского. — Ложь! Настоящий патриотизм в современных условиях в том, чтобы воспрепятствовать буржуазии убивать сотни тысяч людей ради прибылей ничтожной кучки капиталистов. Для этого рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки. И они не позволят увлечь себя обманными лозунгами. Вам эта война нужна? — показал он пальцем на сидевшего перед ним высокого, болезненного с виду мужчину. — Вам?.. Вам тоже нет? Так чего здесь людям головы морочат? — спросил он под общий смех всего зала. — Почему так хлопочут эти господа? Хотят втравить нас в непосильную нам сегодня войну с кайзеровской Германией. Штыками немецких солдат намереваются покончить с Советами в России. Ведь вы этого добиваетесь, да? — спросил Потапов, оборачиваясь к Сташевскому.
В эту минуту в зале погас свет.
Кто-то в темноте довольно грубо толкнул Сашу, над самым ухом прозвучал раздраженный голос администратора:
— Не стойте в проходе. Демонстрация картины началась.
Саша ощупью побрел к своему месту; как в тумане, слышал он голоса, реплики:
— Хоро-ош сынок у Алексея Никитича!
— А что, молодец!
Соня за руку потянула Сашу на свой ряд и, когда он уселся на стул, зашептала:
— Ты с ума сошел!..
— Наоборот, сестренка, — за ум взялся! — серьезно ответил Саша и нежно, успокаивающе погладил ее руку.
Вернулись они домой в обеденный час. В гостиной собрались завсегдатаи. Было нетрудно догадаться, что сегодня главной темой разговора являлся Сашин поступок: при появлении Саша все вдруг замолчали.
Алексея Никитича не было в гостиной, не было и Сташевского, хотя его пальто висело на вешалке в прихожей. Саша саркастически усмехнулся и, не здороваясь ни с кем, прошел к себе.
Соня накрывала стол, глотая слезы; лицо ее горело. Через растворенную дверь она слышала разговор в гостиной; все с поразительным единодушием осуждали ее брата. Там, в кино, она тоже не одобряла его выходки, но сейчас в ней заговорил дух протеста: Саша в тысячу раз лучше и честнее всех этих никчемных людей. По какому праву они смеют судить его? Кто сами они такие? Впервые в своем сознании она отделила брата от окружающих ее моралистов. Не стыд за Сашу, а нечто похожее на гордость шевельнулось в ее груди.
Саша читал или делал вид, что читает, когда Соня вошла в комнату. Никаких следов раскаяния или сожаления не увидела она на спокойном, задумчивом лице брата. Соня деликатно и мягко спросила:
— Тебе, может, неудобно быть сегодня в столовой? Я поставлю обеденный прибор в твоей комнате.
— Неудобно? — Саша с неожиданной для нее веселостью рассмеялся. — Правду говорить всегда удобно, сестренка. А на мнение этой публики мне в высшей степени наплевать.

Алексей Никитич вопрошающе уставился на сына; возможно, он ждал, что тот извинится перед Сташевским. Но Саша и бровью не повел — взял нож и вилку и занялся едой. Происшедшее нисколько не отразилось на его аппетите.

А Соня ждала, что гроза разразится с минуты на минуту.
К ее удивлению, обед благополучно дошел до конца. Гости вели себя благопристойно, хозяин отмалчивался. Разговор касался самых невинных предметов — погоды, охоты. Соня подала чай с коньяком; языки наконец развязались.
— Ну и номер вы откололи, молодой человек! Ай-я-яй! — с легким укором заметил Судаков, обращаясь к Саше и рассчитывая разрядить обстановку. — Занятный получился анекдот!
Саша повернулся к нему спиной. Судаков обиженно хрюкнул, заговорил о высокой политике, — в этой сфере он чувствовал себя гораздо увереннее.
«Нет, подальше... подальше от этих людей!» — думал Саша. Занятый своими мыслями, он почти не следил за общим разговором. Но вот до его сознания дошли слова Сташевского:
— Ярость толпы слепа, безрассудна, жестока. Она смирится только перед жестокостью силы. Нужен жандарм, господа!
Саша круто повернулся вместе со стулом.
— Почему же об этом вы не говорите открыто, на собраниях? — запальчиво и резко спросил он.
— Видите ли, — Сташевский замялся, покосился глазом на Алексея Никитича, — в политике приходится считаться с тем, что меры, направленные в конечном счете для народного блага, могут быть дурно истолкованы. Простым, неискушенным людям они покажутся... э-э... слишком узкими, эгоистичными. — Он покрутил пальцами в воздухе, будто сучил веревочку для повешения инакомыслящих. — Народ темен. Он легко поддается, если апеллируют не к его разуму, а к желудку. Мы своей агитацией должны парализовать грубые стороны человеческой природы. Нарисовать, так сказать, грядущие перспективы...
— То есть подсластить пилюлю. Вы это хотите сказать?
— Если угодно — да. Такова обязанность врача. Что делать, если больной отказывается от лекарства именно потому, что оно горькое.
— Это вы искренне?
— Вполне, — охотно подтвердил Сташевский и улыбнулся какой-то особенной, гадкой, подленькой улыбочкой.
— Значит, вы говорите не то, что думаете? Сознательно делаете это?
Лицо Саши от волнения покрылось красными пятнами; он сидел прямо на стуле и упорно глядел через стол на Сташевского.
— Ничего не попишешь, молодой человек, — лениво и равнодушно ответил тот, не замечая Сашиного состояния. Отпив из рюмки, он договорил: — Иначе что о нас люди скажут?
— Люди? — спросил Саша и медленно поднялся, комкая зажатый в руке край скатерти, не замечая, что посуда посыпалась на пол.
За столом мгновенно установилась тишина. Саша, однако, овладел собой, продолжал с уничтожающим сарказмом:
— Послушать вас — все вы прекрасные граждане, превосходные, замечательные люди. Я не согласен! Вы — никому не нужные, никчемные болтуны. Вы все ненавидите, презираете! Что вам высокие понятия, о которых вы так охотно говорите? Звук пустой! Вы даже друг друга стараетесь обмануть, надуть хотя бы в мелочах. Улыбаясь, вы прячете зависть и злобу. Считаете себя солью земли русской, тонким слоем носителей культуры. А сами — мертвы! Вы — грязная пена и мусор, носящиеся по воле ветра и волн, но воображаете себя деятелями истории. Ха-ха-ха! Какое самомнение! Эх вы, лакейские душонки! Подлость — единственное, на что вы еще способны.
— Послушайте, молодой человек, — перебил его Судаков. — Я уверен все же, что вы согласитесь со мной в одном и очень важном пункте.
— Нет, я с вами не соглашусь ни в чем, — резко оборвал Саша.
— Но я хотел бы... на правах знакомого.
— Я жалею, что знаком с вами!
— Ты замолчишь? Мальчишка! — сказал Левченко, угрожающе поднимаясь со стула.
— Прощайте! — Саша повернулся и быстрыми, твердыми шагами вышел из комнаты.
Алексей Никитич с треском отодвинул стул, ни на кого не глядя, пошел вслед за сыном.

— Александр, ты, конечно, понимаешь, что я больше не намерен терпеть это в своем доме? — суровым голосом сказал он.
— Ну конечно, — Саша горько улыбнулся. — Что ж, не буду больше обременять тебя. Я решил уйти, — это лучший для всех нас выход из положения.
Что-то дрогнуло в лице Алексея Никитича. Соня, стоявшая в дверях, в отчаянии заломила руки. Саша посмотрел на отца смело и с вызовом.
— Вот ты как — уходишь? — помолчав, с недоброй усмешкой сказал Левченко.
Спокойный тон сына и раздражал и одновременно действовал отрезвляюще на Алексея Никитича. Он почувствовал себя обиженным. Раздражение и обида взяли верх.
— Я тебя не гоню. Но если ты уйдешь, ноги твоей тут больше быть не должно! — твердым, решительным тоном заявил Алексей Никитич и повернулся к сыну спиной.
— Хорошо, — коротко ответил Саша и стал собираться.
Соня не посмела вступиться за брата. На что мог бы отважиться человек с сильным характером, то было недоступно ей. Нерешительность и мягкосердечие мешали ей заявить твердо о своем мнении. Она не стала в чем-либо упрекать Сашу, сама помогла собрать вещи. Саша успокаивал сестру, как мог. Соня слушала его с поникшей головой; отныне она останется в доме одна. Но разве не ее долг заботиться об отце? Об этом ее просила умирающая мать. Нужно безропотно исполнять свои обязанности. Каждый дом держится на женщине.
Саша застегнул шинель, подтянул ремень потуже; привычно, одной рукой прикинул вес солдатского ранца (брать чемодан он наотрез отказался). Обнял сестру, поцеловал ее в обе щеки.
— Не горюй, Соня! Живы будем — не помрем. Если мне что-нибудь понадобится, я дам тебе знать! — У порога он обернулся, скользнул взглядом по комнате, ободряюще помахал сестре рукой.
Соня прильнула к стеклу, следила за ним, пока он ровным, неторопливым шагом шел через двор. Потом она бросилась на кровать, уткнула лицо в подушки и разрыдалась, громко всхлипывая.
За окном не скоро догорела вечерняя заря. Сгустились сумерки, черная тьма заполнила комнату, а Соня все лежала.
Окна ее комнаты выходили в сад; сквозь черные голые ветви деревьев смотрели с вышины вечерние звезды.
За стеной слышались шаги Алексея Никитича.

3

Саша вышел за ворота отцовского дома и остановился. Как-то сложится теперь его жизнь? Ну что ж, он сам сжег за собой все мосты. Он тряхнул головой, как бы отгоняя прочь тревожащие его мысли, и бодро зашагал по улице, еще сам толком не зная, куда идти.
Не прошел Саша и полквартала, как кто-то быстрыми шагами догнал его, чья-то рука дружески опустилась на его плечо, и знакомый голос Савчука сказал:
— Здорово, Саша! Куда спешишь? — Иван Павлович умерил шаг и пошел в ногу с Сашей. — Да ты, брат, чем-то расстроен! Что случилось? С отцом не поладил?
Савчук оказал Саше важную услугу: он свел его с Демьяновым и посоветовал вступить в формировавшийся как раз отряд конной пограничной стражи. Они вместе прошли в здание милиции.
— Очень рад. Люди нам нужны, — сказал Демьянов, подходя к Саше и протягивая ему руку. — Раз Иван Павлович ручается, больше ничего не нужно. Вы в кавалерии служили? В пехоте? Но беда! Казаки вон природные конники, да половина из них контрабандисты. А в пограничной страже — это наихудший грех. Обращению с конем вас подучит Василий Ташлыков. Он мастак по этой части.
— Василия Максимовича я знаю, — сказал Саша.
— Тем лучше. Кстати, вы можете поместиться в комнате Ташлыкова — там свободная кровать, — заключил разговор Демьянов.
Василия Саша разыскал без труда, тот был дневальным. Трудно было признать в нем бывшего левченковского конюха: в фигуре его появились осанка, степенность; бороду он сбрил, оставив лишь густые усы, приобрел благодаря этому молодцеватость и казался моложе своих лет. Встретились они дружески. У Саши полегчало немного на душе.

Сменившись с дежурства, Ташлыков повел Сашу к себе на квартиру. Он прихватил котелок с едой. Дома у него был начатый полуштоф. Василий всячески показывал Саше, что рад ему, но в глубине души сам был смущен тем обстоятельством, что должен оказывать гостеприимство сыну своего бывшего хозяина. «Вот ведь как бывает на свете. И не подумаешь даже. Во сне не пригрезится», — рассуждал про себя Василий, отпирая дверь и пропуская Сашу вперед. Сбросив шинель, он сбегал за дровами, растопил печурку. Ладонью смахнул крошки со стола.

Саша присел на кровать и принялся разглядывать комнату. Колеблющийся свет свечного огарка еле озарял стены; было невозможно сейчас определить их цвет. Единственное окно пялилось в темноту. Стол качался, кровать поскрипывала, железные ребра сломанных пружин выпирали из-под тощего тюфяка. Впрочем, когда от печки пошло тепло, на конфорке запел чайник, а свеча, с которой Василий пальцами снял нагар, стала гореть ровнее и ярче, — новое жилище показалось Саше не таким уж плохим. Василий поровну разделил оставшееся вино. Они чокнулись и выпили за новую жизнь (обедать Саша отказался). Пока молодой Левченко предавался грустным размышлениям, Василий сидел против него за столом и с большим аппетитом ел сухую пшенную кашу, полученную на двоих. Изредка он посматривал на Сашу с одобряющей усмешкой.

— Папаша небось по-прежнему лютует?

— Да нет, меньше. Замкнулся в себе.

— Трудно Лексей Никитичу ломать свой характер, крутой он мужик. Ой, крутой! — без злобы сказал Василий и налил в кружку чаю. — А Софья Лексевна как, здорова?

— Здорова. Я бы из дому давно ушел, кабы не она. Жалко сестру. Хорошая она, добрая, — в голосе Саши зазвучала грустная нотка.

— Н-да... — раздумчиво протянул Василий, посмотрел на него и отставил кружку. Затем принялся рассказывать о преимуществах службы в корчемной страже.

— Дюже выгодное место было. Корчемные чины особняки себе в городе ставили. Самые завидные женихи считались. Да только теперь всех их по шапке, и нас на пост определили. Так-то, мил друг! Все меняется... — Он кочергой поворошил почерневшие угли в печке, прикрыл заслонку, докурил папиросу и сказал: — Ну, пора на боковую. Завтра рано вставать.

Но Саша еще долго ворочался с боку на бок: густой храп Ташлыкова мешал заснуть.

Со следующего дня жизнь Саши пошла таким стремительным ходом, что некогда стало грустить.

Хотя большая часть бойцов размещалась на частных квартирах, в отряде властвовал строгий военный распорядок. К семи утра всем полагалось быть в казарме. После завтрака шло распределение людей в наряды; с оставшимися командиры взводов проводили строевые занятия на прилегающем к казарме пустыре. Обедали в две смены, так как помещение столовой едва вмещало половину бойцов. Затем полагался часовой отдых — и занятия возобновлялись. В послеобеденные часы обычно проводились беседы по тактике борьбы с контрабандой, методике следствия или же на свободные общеобразовательные и политические темы. Лишь после вечерней поверки живущие вне казармы могли идти домой.

Саша втянулся в привычную лямку солдатской жизни. Ранний подъем, когда еще не брезжит рассвет, жесткие рамки дисциплины, постоянная забота об оружии, коне, которого он получил на третий день вступления в отряд, жизнь впроголодь, скрашенная соленой солдатской шуткой, — ему ли к этому привыкать! Больше всего хлопот доставлял Саше конь — серый рослый мерин, спокойный, но притом достаточно резвый. Коня ему порекомендовал Василий, сам ездивший на бывшем левченковском Нероне, возбуждавшем постоянную зависть у пограничников.

Как потом узнал Саша, их взводный хотел сперва забрать Нерона себе. Больно приглянулся ему конь с первого взгляда. Пользуясь командирской властью, он отвел все возражения Василия, но так и не сумел справиться с конем, не пожелавшим признать над собою волю чужого, незнакомого седока. Вылетев за какой-нибудь час дважды из седла, чертыхаясь, но и восхищаясь одновременно конем, взводный хмуро сказал Василию: «Экий черт!.. Стар я, видно. Ну, так и быть — владей!»

Нерон стоял в станке отдельно от остальных лошадей; он косил злым карим глазом на проходивших мимо дневальных и никого не подпускал к себе, кроме Ташлыкова. К лошадям он тоже относился с непонятной ревностью. Василию из-за него было много лишних хлопот, но он ни за что не променял бы Нерона на другого коня.
— Вот увидишь, — блестя помолодевшими глазами, говорил он Саше. — Нерон еще себя покажет. Такому коню цены нет.
Отобранного для Саши мерина Василий собственноручно перековал на все четыре ноги; попутно он объяснил молодому другу, как следует зачищать копыта коню, чтобы на них не образовалось трещин, и как надо вгонять ухнали. Работал он быстро, со сноровкой, не тревожил зря животное и умел подчинить его себе больше лаской, чем строгим окриком. Саша даже позавидовал Василию. А тот, угадав его мысли, сказал:
— Невелика мудрость. Научишься. Конь, брат, твою заботу видит и ценит, да только сказать не может — языка ему не дано.
Подковав мерина, Василий поставил его рядом со станком Нерона. И странное дело — оба коня сразу потянулись друг к другу, фыркнули негромко, обнюхались и морда к морде принялись теребить один и тот же клок сена.
— Ну, будут ходить в паре, ясное дело, — с облегчением сказал Василий и засмеялся. — Я же говорил тебе, конь все понимает, что его разумения касается. Все! — повторил он с убеждением.
Саша добродушно усмехнулся, но спорить не стал.
Отношения у них сложились так, что оба были довольны друг другом. Ташлыков больше не испытывал того чувства неловкости и связанности, которое было у него в первые дни. Саша повел себя так просто, искренне и дружелюбно, он был проникнут таким глубоким отвращением к жизни тех, от кого ушел, что Василий не мог не оценить этого. «Вот ведь как бывает», — сказал он себе, как в первый вечер, но уже с другим значением.
Василий знал жизнь не только с ее показной, поверхностной стороны, — знал и ее подоплеку. По складу ума он был склонен к философствованию и не раз поражал Сашу верностью и меткостью своих суждений. Саше было приятно, что такой положительный, бывалый человек стал его другом. В свою очередь Василий относился к Саше с той сердечной теплотой, какой пожилые одинокие люди редко кого одаривают.
Ташлыков был скуп на слова. Но иногда его будто прорывало, и тогда в темноте над его кроватью долго сновал красноватый огонек цигарки.
— Люди жить хотят, жить по-человечески, а тут их уговаривают: потерпите, мол, еще... Да до каких пор терпеть? Через то и отвернулся народ от эсеров, — говорил он своим глуховатым густым голосом. — Нагляделся я в доме вашего папаши на них вдосталь. Словами сыпят, как шелухой, и цена им та же — ломаный грош. А я вот не хочу дольше терпеть. Не хочу, и баста! Когда тебя сожмут, так норовишь расправиться, повести свободно плечом. Я себя теперь так понимаю, будто вывели меня на широкую, прямую дорогу. Иди, брат, говорят. Шагай навстречу заре прекрасной!
Саша лежал с открытыми глазами, глядел в потолок, думал, как, в сущности, схожи мысли Василия с его собственными. В такие минуты весь русский народ представлялся ему богатырем, порвавшим свои оковы. Ощущение было почти зримым, и сердце у Саши замирало от восторга. Он тоже чувствовал себя сильным и смелым.
— Раз человек стал думать, то до правды докопается. Быть иначе не может, — продолжал Василий.
«Да-да-а, — мысленно вторил Саша. — Вот и я ошибался. Но все-таки нашел свое место. Очень верно Василий это выразил. Ему бы образование. А сколько в народе скрытых талантов? Сколько?» — Глаза у Саши слипались, но он усилием воли прогнал сон, приподнялся, опершись на локоть.
— Учиться вам надо, Василий Максимович, — сказал он не совсем впопад, однако искренне.
— А кто о том прежде думал, чтобы нас учить?.. — помедлив, ответил Василий. — Прошло, парень, мое время.
— Нет, нет. Что вы! — горячо возразил Саша. — Да я вам помогу! — продолжал он, обрадованный тем, что может сделать нечто полезное для Василия. — Через месяц вы будете читать.

— Хотя бы через три, — Василий усмехнулся, не веря ни в серьезность Сашиного намерения, ни тем более в свою способность быстро овладеть грамотой.
— Вот увидите, через месяц! — убежденно настаивал Саша.
Он действительно с рвением принялся за дело. Обучать пришлось не только Василия: в отряде неграмотных оказалось человек десять. Занятия сблизили Сашу с бойцами. Нехватка педагогического опыта у него с лихвой окупалась редкостным прилежанием слушателей. Почти все они были люди пожилые, грамота давалась им нелегко. Надо было видеть, как они вырисовывали буквы негнущимися, заскорузлыми пальцами. Но все-таки продвигались вперед и вскоре начали читать по слогам.
Как-то ночью, когда Саша был дежурным, в казарму зашел Демьянов. Саша отдал рапорт. Демьянов посмотрел на длинный ряд коек. Бойцы спали. В дальнем углу кто-то звучно храпел.
— Подъем? — спросил Саша, перехватив взгляд Демьянова.
— Нет. Не надо, — так же тихо сказал Демьянов. Он чуть подбавил огня в лампе и сел за стол. — Садитесь, товарищ Левченко.
Свет падал прямо на лицо комиссара, вид у него был усталый.
— Вы знали старшего милиционера Силантьева? — спросил Демьянов.
— Да, знаю. Он учится в группе малограмотных. Очень способный человек. — Саша не обратил внимания на то, что комиссар почему-то упомянул о Силантьеве в прошедшем времени.
— Люди тянутся к свету, дело естественное, — сказал Демьянов. — Очень хорошо, что вы взялись учить бойцов грамоте... Что касается Силантьева, то его убили час назад на квартире.
— Уби-или? — Саша ахнул и растерянно посмотрел на Демьянова.
— Осталось четверо малышей. Жена год назад умерла после родов. Значит, круглые сироты, — с горечью и болью продолжал комиссар. — Детишек, конечно, пристроим. Советская власть о них позаботится. — Демьянов сжал кулак и поднял его над столом: — К сожалению, убийца не задержан. Он, вероятно, был не один. Но нас больше. Мы — народ. И нас нельзя истребить, нельзя запугать. Однако и нам урок. Надо научиться хватать мерзавцев за руку.
— Нелегко это, товарищ комиссар!
— А я разве говорю — легко? Я говорю — надо. — Демьянов усмехнулся. — Раз поставили нас к милицейскому делу, с нас и спросят. — Темные глаза его смотрели на Сашу по-прежнему открыто и прямо. — Скажите, кто был особенно близок с Силантьевым?
— Пожалуй, Ташлыков, — ответил Саша.
— Пошлите за ним. Пусть идет на квартиру к Силантьевым, — распорядился Демьянов. Сестра его там, дети... А ему всю голову размозжили выстрелами в упор. Ужас какой! — Демьянов отвернулся, махнул рукой и пошел к выходу.
...Силантьева хоронили на следующий день. Порошил снег. Холодный ветер метался по улицам. За гробом, кроме эскорта красногвардейцев и милиционеров, двигалась внушительная процессия. На траурном митинге выступали представители профсоюзов. Оркестровой медью зазвучал похоронный марш. Рванул сухой морозный воздух прощальный залп, и все разошлись.
Бывает, что под действием сильного впечатления человек в короткий миг постигает вещи, на понимание которых в других обстоятельствах ему понадобились бы месяцы и годы. Нечто подобное произошло и с Сашей, когда у разверзнутой могилы он увидел испуганно-недоумевающие лица детей Силантьева, услышал отчаянный крик его сестры при звуке удара первого кома мерзлой земли по крышке гроба. Со всей очевидностью представилась ему суровая беспощадность борьбы, начатой народом против угнетателей. Поздно вечером Саша вернулся к себе на квартиру.
Снег перестал, ветер унялся, и небо к ночи прояснилось. В окно смотрелись звезды и четвертушка луны. Луна казалась холодной и безучастной, что так не вязалось с настроением Саши. Он не стал зажигать лампу, лег, но долго еще не мог смежить глаз. А когда он уже начал подремывать, вернулся Василий.
— Не спишь? — спросил он, заметив, как Саша вскинул голову. — А я, брат, чаю хочу. Да и печь протопить не мешает. К утру ждать мороза.

Саша догадывался, что Ташлыков провел вечер у Силантьевых. Ему хотелось расспросить поподробнее об этой семье, однако что-то помешало задать вопрос. А Василий сегодня не был склонен к разговорам.
Пока грелся чайник, Саша попытался нарисовать себе ту тягостную картину, какую представляла квартира Силантьева. В его ушах зазвучала спокойная, рассудительная речь Ташлыкова; кто мог бы еще такими простыми словами выразить сочувствие, утешить горе? На самом деле Василий за весь вечер не сказал и двух слов. Он только взглянул на молча хлопотавшую у плиты пожилую женщину — сестру убитого товарища, на ребятишек, сгрудившихся на неубранной кровати, вздохнул и вышел. В сенях он снял с гвоздя пилу, которую сам же недавно наточил, собираясь помочь Силантьеву распилить на дрова лиственничные бревна, без всякой пользы лежащие у забора. Одному управляться с работой было, конечно, труднее. Однако Василий приспособился. Одно за другим он выкатил бревна на середину двора. Вскоре белый истоптанный снег покрылся ржавым налетом опилок, приятно запахло древесной смолой.
Василий работал, не обращая внимания на наступившую темноту, работал с ожесточением. Груда распиленных чурок росла и росла. Когда над крышей соседнего дома поднялась луна, Ташлыков взялся за топор. Вокруг со звоном разлетались пахучие смолистые поленья. Под горячими пальцами таял снег.
Хозяйка дважды выходила на крыльцо. Наконец свет в доме погас. Василий аккуратно сложил дрова в длинную поленницу, бросил сверху топор, пилу и пошел со двора.
Он устал и проголодался.
Василий попивал чай с таким удовольствием, что Саша не выдержал и тоже присоединился к нему.
— Такое, парень, деется на свете, что и во сне не снилось. Одни люди стали хуже гадюк, другим тех гадюк истреблять надо, иначе жизни народу нету, — заговорил наконец Василий, впадая в обычное для него философствование. — А в общем — целый кавардак! Не сразу поймешь — кто за кого и чего добивается, — заключил он, помолчал и продолжал раздумчиво и тихо: — Жизнь меняется, вот в чем причина. Время летит соколом. Каждому надо думать, куда пристать, — иначе посередке затопчут. Да. — Он хотел задуть лампу, посмотрел на часы-ходики и удивился: — Однако, парень, ложиться нам некогда. Утро!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Алексей Никитич не ожидал такого быстрого разрыва с сыном: слишком много значил для него Саша теперь, когда все явственнее ощущалось приближение старости и когда все вокруг так заколебалось. Левченко стал чаще обращаться мыслями к семье: ему хотелось устроить судьбу своих детей так, чтобы бедствия меньше отразились на них. Не раз он сопоставлял сына и дочь; в Саше Алексей Никитич угадывал твердость характера, и это радовало его, так как людей безвольных, бесхарактерных он не любил и презирал. Соня, по мнению отца, такого рода данными не обладала, но Левченко это особенно не тревожило, — став взрослыми, дочери выходят замуж, дело, следовательно, заключалось в том, чтобы подобрать подходящего жениха. Покойница жена — мать Сони — тоже не отличалась сильной волей, но прожили они жизнь не так уж плохо. Безропотность дочери в глазах Алексея Никитича являлась качеством скорее положительным. Иное дело — сын: он призван продолжать дело отца. Ему предстоит грудью встречать жизненные невзгоды. А Саша был не из тех, кто клонится под ветром. Левченко втайне гордился сыном. Кто знает, сколько честолюбивых замыслов было связано у него с Сашей?
Но была и другая сторона в отношении Алексея Никитича к детям; прочности и нерушимости семьи ему особенно хотелось потому, что ее можно было бы противопоставить тому неустройству и хаосу, который, по мнению Левченко, происходил вне дома. Он как бы потерял точку опоры и лихорадочно искал, за что теперь уцепиться, чтобы самому устоять перед бурей. Левченко видел только разрушения, будущее представлялось ему в мрачном, черном цвете. Но он знал также, что люди не могут жить, не производя средств своего существования; следовательно, рассуждал он, все постепенно затихнет, уляжется, войдет опять в привычное русло. Надо только переждать и не высовывать зря голову. Семья и представлялась ему таким убежищем.

При своем тяжелом характере Алексей Никитич сделал больше, чем мог, чтобы отдалить разрыв. Но когда Саша все-таки ушел, гнев охватил Алексея Никитича — и гнев не столько на сына, сколько на людей, которые совратили Сашу. Он сказал себе, что должен вычеркнуть имя сына из своей памяти (как будто это можно было сделать!). До глубокой ночи он мерил шагами кабинет. Ходил, пока не устал, и тогда, не снимая пиджака, повалился на диван. Алексей Никитич в конце концов отдал себе отчет в том, что нельзя попросту отмахнуться от революции, отгородиться от нее стенами или повернуться спиной и закрыть глаза. Нет! Она приходит в ваш собственный дом и властно ставит перед вами все тот же неизменный вопрос: с кем вы идете? Отвертеться от ответа нельзя. Но что ответить?..

То обстоятельство, что его сын открыто перешел на сторону революции, необычайно осложнило для Алексея Никитича его собственное отношение к ней; с одной стороны, он стал еще более ожесточенным и непримиримым (и в мыслях, и в речах, и в поступках), к этому Алексея Никитича толкали его связи, его положение, воспитание, наконец, привычки: но, с другой стороны, он уже не мог отделаться от тревожащего совесть вопроса: «Что повлекло Сашу к ним? Почему?»

Как ни покажется странным, но именно сейчас Алексей Никитич понял, как глубоко он любит сына. Он опасался, как бы они не оказались в противоположных лагерях, — теперь это случилось. Они — враги. «Что ж, об этом полезно помнить! Может случиться, что собственный сын поведет меня на расстрел. Я дал ему жизнь, он — отнимет мою. Вот благодарность! Вот плоды революции... — с горечью думал Левченко. Он уже знал, где устроился на службу Саша. — Но все-таки... с кем идти? — И, задавая себе в который раз этот вопрос, Алексей Никитич смутно, но все же понимал, что дело тут не только в сыне. — Да, конечно так! — ответил он после долгого раздумья. — Я люблю Россию, и потому я против большевиков. Я против них, хотя с ними мой сын. Мы — враги».

Алексей Никитич по натуре был человек деятельный. Безделье томило его. Акционерное общество фактически уже не владело прииском. После отказа Левченко завозить продовольствие на Незаметный за это дело взялась Продовольственная управа. Прииск продолжал держаться. Левченко отозвал управляющего и техников, выплатив им за полгода вперед жалованье. Ремонт драги не производился. Но по слухам, доходившим сюда, приисковый комитет намеревался с весны развернуть добычу золота старательским способом. Говорили, что произведено новое распределение участков между старательскими артелями. До сих пор администрация прииска предоставляла старателям участки со средним или невысоким содержанием золота, приберегая наиболее перспективные из них для себя. Сейчас старатели добились перевода их на самые золотоносные деляны. Помешать этому Алексей Никитич, конечно, не мог.

Помаявшись без дела неделю-другую, Левченко вспомнил об отложенной из-за отсутствия досуга научной работе о рудных и россыпных месторождениях золота на Дальнем Востоке. Он достал из шкафа папки с накопленными материалами, полистал пыльные страницы, припомнил интересные мысли, приходившие ранее в голову в связи с этим трудом, окинул еще раз взором общий план книги — широкий, с большими обобщениями — и... увлекся. Работал он подолгу. Что могло быть интереснее чудесного процесса, когда человеческая мысль, сопоставляя факты, пробирается среди них, как в лабиринте, ищет проявления общих законов и вдруг, точно озаренная светом, постигает скрытую до этого связь явлений! Левченко мог сидеть часами и не чувствовать усталости.

Мешал шум в гостиной. В дом сходились гости, болтали, спорили. Алексей Никитич крепился, потом с досадой откладывал работу. Ему не казалось странным, если у себя за столом он вдруг обнаруживал совершенно незнакомых людей.

Один из таких новичков — громадный растрепанный человек с рыжими запущенными бакенбардами, в светлом костюме, залитом вином, — держал Чукина за борт пиджака и угрюмо жаловался:

— Ты пойми, время какое — вся жизнь рушится. Для чего жил? Куда богатство ушло? Кто я теперь? Собака бездомная. — Он наклонился к столу и заплакал пьяными обильными слезами. — Грабители! Душегубы!.. Подумать только... в центре Москвы — собственный дом. Дворец!..

— Экой ты, брат, малодушный! — Чукин брезгливо поморщился, высвободил лацкан пиджака из его рук. — Не робей, воробей, — скоро зерно сыпать будут. В Томске, слышь, образовалось автономное сибирское правительство. Дербер какой-то. А должно быть, человек с башкой. Додумался. На наш век тут добра хватит, — утешил пьяного Чукин, хлопнув его панибратски по плечу.
Окинув присутствующих прищуренным взглядом, он достал из кармана свежую колоду карт.
— Что ж, в картишки перекинемся, а? — и начал быстро тасовать карты. — Между прочим, из забастовки служащих ни хрена не получается. Как в совдепе пригрозили увольнением, вернулись на работу. Жидка наша интеллигенция, прах ее побери!..
— Н-да!.. Умные больно все стали. — Бурмин откинулся назад и, скосив глаза, попытался заглянуть в карты соседа. — Будили самосознание свободной личности. А разбудили — зверя... Пуришкевича Владимира Митрофановича ревтребунал в Петрограде приговорил к четырем годам общественных принудительных работ. Каково, а?.. Пуришкевича!.. Кстати, Алексей Никитич, от верного человека слышал, — продолжал он, обернувшись к Левченко и приятно улыбаясь ему. — Посылают на твой прииск комиссара. Будет он там принимать намытое золотишко. Выходит, остаетесь вы, милый друг, при пиковом интересе...

Из японского консульства принесли приглашение на банкет по случаю какого-то национального праздника. Алексей Никитич повертел перед глазами красиво отпечатанный билет с золотым тиснением. «Победу под Мукденом отмечают, что ли? Нет, Мукден был в начале марта. Что-то другое, — и неожиданно решил: — Пойду».
Окна особняка на Лисуновской, где размещалось консульство, плотно прикрыты шторами. Только узкие полоски света пробивались наружу.
Секретарь консула — маленький, изящно одетый японец — встречал гостей на лестнице и провожал до дверей приемной. Двух-трех человек, в том числе и Алексея Никитича, Бурмина, он провел этажом выше в личные апартаменты консула.
Там на низкой тахте сидел Мавлютин и старательно опиливал ногти металлической пилочкой. Левченко нисколько не удивился, встретив его здесь.
Мавлютин похудел и осунулся. Скулы на его лице выдавались еще больше. К тому же у него разыгралась печень, он пожелтел и стал даже внешне походить на японца. А когда Мавлютин заговорил, Левченко понял, что приходить сюда не следовало.
— Вы же знаете, какое событие они сегодня отмечают — падение Порт-Артура. Но я без горечи встречаю этот день, господа, — веселым тоном говорил полковник, продолжая опиливать ногти. — Конечно, мы были врагами, дрались, ненавидели, но теперь — они первыми протянули нам руку.
— Зачем? — резко спросил Левченко.
— Руку помощи. Разве мы в ней не нуждаемся? — Мавлютин поднял голову и внимательно посмотрел на насупившегося Алексея Никитича, на Бурмина, безмятежно сиявшего лысиной.
— Но согласитесь, что бестактно устраивать торжество по такому поводу здесь и звать нас.
— Однако вы пришли! — Мавлютин нехорошо усмехнулся. — Ах, господа интеллигенты! Странные вы люди... Вы хотите по утрам получать кофе со сдобной булочкой? Конечно, хотите! Так не все ли равно вам — от кого придет помощь?
Бурмин слушал сочувственно. Откинув назад лысую массивную голову, он пялил глаза на стену, разглядывая изображение рыбака в соломенной шляпе, с удочкой. Хозяйственные дела Бурмина все более запутывались. Злобные речи Мавлютина были ему по душе.
— А вы слышали, господа, о новом указе священного синода? — спросил он. — Предписано: в первый день рождества молебна об изгнании из России «галлов и двунадесяти язык» не производить. Да-с! Симптоматично...
Левченко переводил суровый взор с одного на другого и хмурился все более. Подошел рыжий консульский пес, торкнулся влажным носом в его руку, лизнул языком. Алексей Никитич с неожиданным озлоблением больно щелкнул его пальцем по носу, пес взвизгнул и отскочил, потом принялся ожесточенно лаять на обидчика. На лай пришел консул, толстый, приземистый японец, тут же заулыбался и стал извиняться перед ними. Произошла небольшая задержка. Он просит их подождать еще десять минут. Что именно

случилось, понять было невозможно: консул прескверно говорил по-русски. Он ушел, а вслед за ним убралась и собака.
Алексей Никитич вышел на лестницу. На верхней площадке он носом к носу столкнулся со Сташевским. Тот, держа в руках небольшой фибровый чемодан, шептался о чем-то с консулом. Заметив Левченко, он страшно смутился.
— И вы на банкет? — не замечая его смущения, спросил Алексей Никитич.
— Нет, я по делу. Есть надобность, — сухо ответил Сташевский, пряча чемоданчик у себя за спиной. — Надеюсь, господин консул, все останется между нами, — продолжал он, обращаясь к японцу. Тот протянул руку и взял чемодан. Чемодан был крест-накрест перевязан белым шнуром, и по бокам его свисали большие сургучные печати. — Двести пятьдесят тысяч, господин консул, — сказал Сташевский и сделал такое движение, будто намеревался забрать чемодан обратно. Японец отодвинулся.
— Я буду похранить у себя порной сохранности, — сказал он, сильно напирая на букву «р», ногой открыл дверь позади себя и, не переставая улыбаться, пятясь, скрылся за дверью.
Сташевский поднял воротник, спрятал лицо. Он был не в обычной форменной шинели, а в просторном пальто свободного покроя.
— Прощайте! — глухим голосом сказал он Алексею Никитичу.
— Погодите, я тоже иду с вами.
Алексей Никитич попросил шубу у швейцара. Кто-то сбегал вниз по лестнице. Левченко не стал дожидаться, толкнул дверь и вышел на бодрящий морозный воздух.
Сташевский, пыхтя, поспешил за ним.
— Вы, конечно, не станете меня осуждать. Я отдал консулу на сохранение двести пятьдесят тысяч почтовых денег. Будет хуже, если большевики их растранжирят, — сказал он перед тем, как распрощаться.
Алексей Никитич молча протянул ему руку.

2

В характере Мавлютина одной из преобладающих черт было честолюбие. Оно, как потайная, туго заведенная пружина, двигало его, подталкивало на те или иные поступки. «Я не такой человек, как все, я — лучше», — сказал он себе однажды еще гимназистом. Это убеждение своей исключительности, раз появившись, со временем только усиливалось.
Сидя взаперти в здании японского консульства, Мавлютин с раздражением думал о тех, кто свободно ходил по улицам. Отогнув край занавески, он часами стоял у окна, смотрел на спешащих куда-то пешеходов, но ни разу не улыбнулся ни хорошенькому женскому лицу, ни невинной ребячьей шалости. В такие минуты он с особым удовольствием предавался мстительным мыслям.
В консульстве Мавлютина зачислили на должность драгомана — переводчика, хотя он не знал ни слова по-японски. Ему выдали официальное удостоверение личности, как сотруднику, но посоветовали не выходить за пределы двора. Охоты к этому у Мавлютина, признаться, и не было.
Хасимото частенько захаживал в консульство. Покончив с делами у консула, он приходил к Мавлютину, и они коротали время в разговорах.
На матово-желтом лице японца лежало выражение учтивости и сочувствия. Он так искусно перескакивал с одного предмета на другой, что Мавлютин порою терялся в догадках, не зная, к чему тот клонит. Впрочем он вскоре сообразил, что японец прощупывает его настроение, и не стал таиться перед ним.
— Я самолюбив. Незаметно жить — не в моем вкусе, — откровенно признался он как-то.
— Приятнее чувствовать себя тигром, чем зайцем.
— О да! — убежденно сказал Хасимото. И посоветовал: — Вы, пожалуйста, не теряйте связи с друзьями. Никто здесь не станет возражать, если вас придут проведать. Мы хотим, чтобы вы жили удобно, как дома.
Гостей к Мавлютину приходило немало. Тогда уже сам консул без обиняков спросил:
— Деньги над-до?
— Деньги и оружие, — лаконично ответил Мавлютин.
— О, хоросё! Оцень хоросё... японская винтовка «Арисака»? — Консул быстро зацокал языком.

— Нужны пулеметы и орудия, — поправил Мавлютин. — Сейчас не время крохоборничать. Иначе нам опять дадут по шапке.
— Шапка не надо, скоро лет-то, — сказал консул, довольный своим знанием русского языка, позволяющим обходиться без переводчика. Он придерживался правила: чем меньше людей посвящено в дела, тем лучше. — Вы — солдат, я — солдат. Оцень хоросё!..
Невысокий и коренастый, консул сильно располнел. Желтое скуластое лицо его почти всегда улыбалось, вокруг глазных щелочек при этом собирались веселые морщинки, но черные глаза глядели холодно. Мягкая вкрадчивость движений, редкие усики с сединой, воркующая речь делали его похожим на гладкого откормленного кота. Разговаривая, он временами закрывал глаза, будто дремал, но на самом деле ни одно сказанное слово не ускользало от его внимания.
У себя дома консул предпочитал европейской одежде просторное кимоно и мягкие дзори. Из-за этой его привычки в консульстве неимоверно жарко топили, а вдоль стен и на окнах ставили длинные корытца с водой, чтобы увлажнять сухой воздух. В личных апартаментах консула на полу были настланы толстые маты из рисовой соломы. Входя туда, нужно было снимать сапоги.
Мебель в консульстве была иранская, низкая, неудобная для Мавлютина. Поражало обилие всяких ширмочек, статуэток, лакированных ящичков, картин на шелке, изображавших диковинные деревья и цапель или морские сюжеты.
Консул легко и уверенно двигался среди многочисленных вещей, чувствовал себя хозяином.
— Орудия хоросё! — восклицал он, похлопывая себя по бедрам. — Я буду спросить Токио.
Хасимото часто заводил разговор о политике держав на Дальнем Востоке.
— О, эти американцы! Очень хитрый народ. Надо хорошенько подумать, прежде чем впустить их в дом. Вы посмотрите, сколько дельцов нахлынуло сюда из Соединенных Штатов, — говорил он, рассеянно посматривая по сторонам. — В Японии, однако, лучше понимают ваши интересы. Мы — соседи. В конце концов проще самим урегулировать спорные вопросы. Скажу откровенно: нам не очень нравится, когда кто-то у нас за спиной начинает точить нож. Американцы собираются убить двух зайцев сразу. Следовательно, мы должны действовать совместно. Забудем былые распри, и протянем друг другу руки. В другой раз он говорил:
— Вы должны понять. Для императорского правительства сложнейшая проблема — занять и прокормить людей. Японцы плодовитый народ. Мы ловим рыбу в ваших водах, рубим ваш лес. — Хасимото вздыхал и спрашивал: — Разве ввиду этого мы не обязаны позаботиться о надлежащих гарантиях?
— Разумеется, — поддакнул Мавлютин.
— Представьте себе, некоторые политические деятели придерживаются той точки зрения, что земли до Байкала должны стать протекторатом Японии, — продолжал беззаботно болтать Хасимото. — Но это крайность. Можно найти и другие формы...
— Идея протектората встретит много противников, — осторожно заметил Мавлютин.
Хасимото тотчас же согласился с ним.
— Я тоже так думаю. Особенно здесь, на Дальнем Востоке. Отголоски былой вражды. Но согласитесь, обстановка изменилась. Что сейчас для вас явится меньшим злом? Дилемма, не правда ли? — сказал он и сделал жест, означающий, что его самого эта дилемма мало занимает. Пройдя в глубину комнаты, Хасимото остановился перед стоявшей там вазой. — Отлично сделанная вещь! — и он легонько щелкнул по вазе пальцем. — У художника есть декоративное чутье. Но лаковые изделия у нас даже превосходят керамику. Вот неплохой образец. — Он повернулся с четкостью воспитанника военной академии и взял со стола небольшую, темного лака шкатулку. — Обратите внимание на тонкий штрих рисунка. Вот эти линии! Красиво, и чувствуется стиль. Видна рука настоящего киотского мастера. О, Киото!.. Из всех городов Японии — это самый японский город. Живая летопись нашей истории.
И Хасимото со знанием дела заговорил о работах японских художников-графиков Харунобу и Хокусаи, о различиях в стиле их рисунка, о новых веяниях в японской живописи и архитектуре.

— Перед нашими художниками сложная задача: сочетать традиционную японскую манеру изображения и тенденции европейского реализма. Необычайно трудная проблема. — Хасимото делал вид, что не замечает скучающего вида собеседника. — Национальный дух народа Ямато и его проявления настолько своеобразны, оригинальны, что постичь их возвышенный характер с точки зрения новых европейских философских течений просто невозможно. Механическое перенесение европейского реализма на японскую почву принесет непоправимый вред. Все возникает и умирает. Распространение таких взглядов опасно. Оно может поколебать веру японцев в божественное происхождение императорской власти. Я лично в вопросах искусства — приверженец старины. Романтик, если хотите...

«Рома-антик!.. Губа не дура, — с усмешкой подумал Мавлютин. Он отлично понимал, что в их разговоре является главным, а что — отвлеченными рассуждениям». Проблемы искусства нисколько не занимали его. — Дилемма, черт возьми! — рассуждал полковник, краем уха прислушиваясь к словам японца. — А что нам остается делать?» — ход его мыслей шел как раз по тому руслу, которое прокладывал Хасимото.

Обоих их очень занимал предстоящий вскоре в Имане Войсковой круг уссурийских казаков, где должны были избрать войскового атамана.

Не высказываясь пока ни перед кем открыто, Мавлютин исподволь подготовлял выдвижение своей кандидатуры. Пост войскового атамана был заманчивым и желанным. Но и охотников на это место нашлось немало. Пока Мавлютин заботился о том, чтобы уравнять шансы вероятных кандидатов я не дать кому-либо из них достичь перевеса. Хасимото я консул были в курсе предвыборных махинаций; судя по всему, они к его планам относились сочувственно.

Мавлютин решил начистоту объясниться с консулом. Откладывать дальше было нельзя: съезд в Имане приближался.

Разговор начался с пустяков. Хасимото рассказывал, что на улице потеплело, видно скоро весна. Консул сидел развалившись на низком диванчике, кивал головой.

— Будут еще морозы. Климат здесь переменчив, — сказал Мавлютин и заговорил о подготовке к Войсковому кругу. Станичные и поселковые атаманы оказались на высоте. Выборы прошли гладко. Интересы дела, однако, требуют его поездки в Иман.

— Оцень хоросё! — сказал консул и зажмурился. — Надо ехать.

За стеклами очков в роговой оправе — узкие щелочки глаз, быстро бегающие черные зрачки. Уловить их выражение Мавлютину никак не удавалось: они все время в движении, все ускользают.

— Приятно, что вы сочли нужным информировать нас о проделанной работе. Консул высоко ценит ваше доверие, — вежливо и почтительно сказал Хасимото. — Нам хотелось бы испросить вашего совета: что вы скажете о выставленных кандидатах? Ваше личное мнение хотелось знать.

Сердце у Мавлютина заколотилось. Он бросил быстрый взгляд на японцев. Консул по-прежнему кивал головой, Прикрыв глаза. Хасимото неопределенно улыбался.

— Я думаю, что ни один из кандидатов не соответствует такому важному посту, — четко и громко сказал Мавлютин. — Не думаю, чтобы кто-нибудь из них собрал хотя бы половину требующихся голосов. Нужен новый, бесспорный кандидат.

В глазах Хасимото мелькнуло нечто похожее на любопытство: он неплохо читал в душе Мавлютина. Консул что-то сказал по-японски и засмеялся.

— Да, вы правы. Нужен новый кандидат, — подтвердил Хасимото. — Что вы скажете относительно есаула Калмыкова? — и он ожидающе уставился на Мавлютина.

— Но он совершенное ничтожество! — воскликнул полковник.

Мавлютин встречал Калмыкова в Петрограде, когда тот вместе с есаулом Семеновым и другими казачьими офицерами был вызван Керенским для инструктажа по организации на местах антибольшевистских казачьих отрядов. Калмыков и Семенов выехали на Дальний Восток, опередив на несколько месяцев Мавлютина. То, что слышал Мавлютин о Калмыкове здесь, затмевало его скандальные петроградские похождения.

Хасимото тоже знал, с кем имеет дело. Он улыбнулся и с циничной прямотой подтвердил:

— Вы правы. Но у него твердая рука, а это сейчас лучшее качество. При атамане может быть умный советник, — и он опять посмотрел на Мавлютина.

«Советник — это я», — понял Мавлютин. Такой оборот его мало устраивал. Но вопрос, видимо, уже решен.
Консул открыл глаза и тоже пристально посмотрел на Мавлютина.
— Ладно, — после долгого молчания сказал Мавлютин хриплым голосом. — Но понадобятся деньги.
— Денег вы получите достаточно. Двести пятьдесят тысяч... в русской валюте. Консул как раз имеет в своем распоряжении такую сумму. Расходуйте вы эти средства по своему усмотрению.
— Тогда дайте хотя бы тысяч десять иенами, — сказал Мавлютин.
Они поторговались и сошлись на пяти тысячах.
Консул пригласил Мавлютина в свой кабинет. Полковник кряхтя принялся стаскивать сапоги, проклиная в душе японские обычаи и японскую политику.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Ночь в больничной палате беспокойная; тревожный, нездоровый сон больных часто прерывался стонами.
В воздухе держался стойкий запах лекарств.
За стеной бредила женщина, кого-то звала. Бубнил уговаривающий голос няни.
В конце коридора зазвонил колокольчик: его чистый, ясный звук легко проник сквозь стены, забрался под одеяло к Тебенькову. Архип Мартынович вскочил, как вскакивал дома при звоне будильника; кровать под ним тяжело заскрипела.
— Что?.. Болит? — участливо, слабым голосом спросил сосед, и Тебеньков услышал, как он шарил впотьмах рукой по тумбочке, разыскивая спички. — Огонь зажечь?
— Не надо, — сообразив наконец, где он находится, ответил Архип Мартынович. Он вытянулся опять в кровати, до самого носа натянул тоненькое, прохудившееся одеяло.
В окно палаты смотрела темная ночь. Одиноко мерцала далекая звезда. Гудел над крышей ветер.
— Теперь-то хоть тепло. Как большевики установились — сразу дров привезли. А прежде ужас, что было... За ночь, поверите, воду в стаканах ледком прихватывало. Лежали с воспалением легких. Представляете... — чуть слышно журчал сосед.
Тебеньков охотно придушил бы подушкой этот слабый голосок, чтобы он умолк навсегда. Его разбирала злость оттого, что безнадежно больной, обреченный на смерть человек, страдающий каким-то хроническим заболеванием сердца, радуется, как дитя, происшедшим в стране переменам и без конца говорит об этом с тихой, ясной улыбкой праведника на худом лице, высохшем от старости и болезни.
У соседа бессонница; он лежал тихо, покорно, с открытыми глазами и думал о чем-то, а днем — улыбался. Тебеньков за три недели пребывания в палате не помнил случая, чтобы хоть раз видел его спящим. Всегда с живейшим интересом он следил недремлющим оком за каждым движением в палате. Тебеньков порою начинал с раздражением думать, что соседа нарочно приставили к нему для неотступного наблюдения.
Другие больные тоже казались ему одержимыми. Не успевал человек, поступивший в палату, покончить с охами-вздохами, как уже торопился рассказать о чем-нибудь таком, от чего у Архипа Мартыновича на душе становилось еще более муторно. Было просто поразительно, как их всех тут радовало то, чему он, Тебеньков, противился всеми силами. И это наводило его на грустные размышления.
В палате Тебеньков чувствовал себя белой вороной, нечаянно попавшей в чужую стаю. Он, разумеется, поостерегся высказывать здесь свои взгляды. Даже прикрывался иногда фальшивой улыбочкой, притворным сочувствием. А чаще — с тоской глядел за окно на желтовато-белые столбы дыма над крышами, горестно вздыхал.
Ночь тянулась медленно, Архип Мартынович ворочался с боку на бок, но уснуть больше не мог. Угрюмо думал о хозяйстве, о новом подряде на поставку дров железной дороге, договор на который он не успел подписать, поспешив с Кауровым за легкой добычей. Все обернулось не так, как думалось. И сам он застрял в этой дурацкой палате!
В тот день, когда остатки сколоченного Кауровым казачьего отряда разбрелись кто куда, Архип Мартынович с сыном все-таки пробрались в город. Разведав, что план переворота провалился, Варсонофий скрылся. Он едва успел шепнуть отцу адрес.

Архип Мартынович зашел к Чукину посоветоваться; оба напились в стельку.
Среди ночи Тебенькова и хватили колики в боку, да так, что не только хмель выскочил — глаза на лоб полезли. Как началась боль в правом подреберье, резануло в животе, перекинулось в правое плечо да под лопатку — так и взвыл Архип Мартынович, заскулил, как больно побитый щенок, схватился за живот и пошел кататься по шкуре белого медведя, лежавшей возле дивана.
Чужая боль не болит. Чукин стоял над ним, хохотал, пьяно удивлялся: «Эк, тебя корчит! Умора глядеть...» У Архипа Мартыновича от обиды даже слезы из глаз брызнули. Пнул он в сердцах Чукина ногой и завыл пуще прежнего, рвал желчью, отплевывался.
Чукин от удара протрезвился, сообразил, что дело неладно, — послал за извозчиком. Завернули они вдвоем полураздетого Тебенькова в громадную волчью доху да так и доставили прямо в приемный покой больницы. Сделала сестра укол морфия, обложила ему живот грелками; отдышался Архип Мартынович, перевел дух.
Утром доктор Твердяков расспрашивал: «Жирное ели? Много?.. Нельзя вам. У вас — печень». Он назначил Тебенькову легкую диету. Архип Мартынович глотал протертые супы да протертые каши и скучал по говядине, тихонечко поохивал. А как поунялись, поутихли боли, стал присматриваться к соседям по палате, принюхиваться к новым веяниям, доносившимся в больницу, — и совсем затосковал, приуныл.
Ночь проходила, а думы у Тебенькова все те же — тревожные, беспокойные, черные.
С первым солнечным лучом в палате начинался оживленный разговор: радовались люди и солнцу, и выздоровлению своему, и — более всего — переменам в жизни. Тебеньков же хмурился.
Сосед, должно быть, догадывался о тайных думах Архипа Мартыновича. Он раздумчиво говорил ровным, тихим голосом очень больного человека, каждое дыхание которого заранее учтено, размерено, взвешено:
— Еще бывает так... живет человек, живет. Вдруг навалится на него черная тоска. Хоть в омут головой кидайся. А какая тому причина? Вот тут и подумать надо... К чему человек в жизни сердцем прилепился? Что ему дорого — люди или барахло нажитое? Хочешь жить — ставь новую избу, а помирать — и в старой домовине схоронят... Он не успел закончить мысль: начался утренний обход врача. Послышался веселый, бодрый голос Твердякова:
— Живы-здоровы, грешники?
— Живы! Живы... — откликнулся сосед Тебенькова.
— Ну, молодцы! Кажите языки, — доктор балагурил, знал цену шутке.
Твердякова в палате любили.
Архип Мартынович за это время тоже проникся уважением к доктору.
— Мне бы на выписку?.. Не могу больше здесь лежать, — сказал он, когда Твердяков остановился возле его койки.
— Посмотрим, посмотрим... — Твердяков подвижными, ловкими пальцами прощупывал печень. — Больно?.. А здесь?
Архип Мартынович крепился:
— Терпеть можно...
— Что ж, согласен! Идите на выписку, — заключил Твердяков, закончив осмотр. — Только имейте в виду... никаких излишеств. На первых порах диета.
В конце дня в больницу принесли одежду. Архип Мартынович попрощался с товарищами по палате.
— Бывай здоров, казак! Да выше ветра голову не носи, — посоветовал Тебенькову его сосед.
Архип Мартынович почувствовал себя задетым, ответил с мстительной жестокостью:
— А ведь тебе, мил человек, отсюда не выйти!..
В городе Тебеньков задерживаться не стал и в тот же вечер выехал домой, в Чернинскую. Забежал он только в аптеку, где долго и обстоятельно расспрашивал провизора о лечебных свойствах минеральной воды «Ессентуки», рекомендованной ему доктором. Справился о цепе.
— Вам ящик? — спросил провизор.
— Одну бутылку, — невозмутимо ответил Архип Мартынович.

В Чернинскую поезд пришел поздно ночью. Архип Мартынович первым спрыгнул с подножки вагона на захрустевший под ним снег, вдохнул морозного воздуху и почувствовал себя окончательно выздоровевшим.
На станции, кроме Тебенькова с сыном да заспанного дежурного с фонарем, не было ни души. Каменное здание станции, недавно построенное военнопленными австрийцами, мрачно глядело в темноту черными, слепыми окнами. Лишь в комнате дежурного тускло горел одинокий огонек.
Вдали замирал шум ушедшего поезда.
— Узнать надо у начальника станции... Как дело с подрядом на поставку дров. Когда можно подписать контракт, — озабоченно сказал Архип Мартынович.
— Завтра узна-аем. — Варсонофий зевнул.
— Да чего откладывать! Сейчас спросим.
— Что ты, батя! Четвертый час... Неудобно, — запротестовал Варсонофий.
— Я ему за беспокойство завтра кулек крупчатки пошлю, — сказал Архип Мартынович и решительно постучал согнутым твердым пальцем в оконную раму.
— Ба-атя!..
— Отстань, говорю, — Архип Мартынович стукнул уже кулаком, погромче.
Изнутри к стеклу прильнула белая длинная фигура.
— Цо то такое?
— Отвори, Казимир Станиславович! Дело есть, — крикнул Тебеньков.
В окнах квартиры начальника станции засветился огонь; хозяин в туфлях на босу ногу прошлепал в сенцы, отворил дверь.
— Прошу, панове, проходить до комнаты, — недовольно, заспанным голосом сказал он, пропуская вперед Тебеньковых. — Цо стряслось?
Архип Мартынович не спеша снял шапку, повесил ее, сел на стул.
— Насчет контракта я, Казимир Станиславович. Беспокоюсь. Да и времени нет расхаживать. Прямо с поезда к вам.
Начальник станции почесал пятерней свою сильно волосатую грудь; длинные мятые усы у него поникли.
— Не можно теперь помочь, Архип Мартынович! Никак не можно...
— Что, что? — Тебеньков так и подался вперед, так и впился в него недобрыми глазами.
— Контракт вже подписан, — сказал начальник станции и вздохнул. — По тридцать пять рублей сажень.
— Та-ак... — Архип Мартынович поднялся чернее тучи. — По тридцать пять рублей!.. Кто же это подмазал тебя, а?
— Цо подмазал!.. Ково подмазал? — Гонористый начальник станции грозно засверкал очами; усы у него сразу полезли вверх, сердито задвигались. — Приехал комиссар Коваль, собрал сход. На што вам, говорит, десятку с сажени задарма подрядчику отдавать. Ни за што ни про што... Ну и заставил заключить контракт с обществом... Артелью возят.
Архип Мартынович только зубами скрипнул.
— Опять хохлы мне дорогу забежали! — хмуро посетовал он, шагая с Варсонофием через рельсы, и погрозил куда-то в темноту кулаком. — Ну, погоди-и!..
Дома он тотчас же потребовал от жены полного отчета.
— Как хозяйство? За всем доглядела?.. В рождество от кабака сколько выручили?.. А Лысуха кого принесла — телку, бычка? — донимал он Егоровну расспросами. Тут же распорядился: — В лавке товару хохлам в кредит больше не отпускать. Пусть платят наличными... с подряда, — и горестно вздохнул: — Проворонили, черти косоротые!
Егоровна хлопотала возле плиты, тревожно посматривала на мужа.
— Похудел как, господи! Почернел... Что приключилось с тобой, Архип?
— С вами почернеешь... Болел я. Вот уж не ко времени.
Егоровна нарезала горку приятно пахнущего свежего хлеба. Поставила на стол яичницу-глазунью с салом. Сало шипело на сковороде и потрескивало.
Архип Мартынович с негодованием уставился на жену:
— Уморить меня хочешь, негодница?
— Что ты! Я и так... мигом.
— Нельзя мне такую пищу... Рвет меня с нее. Диет нужен.

— Ди-ет? — Егоровна всплеснула руками. — Да где я его возьму — диет твой!.. Ешь уж, яички свежие...
— Не могу. Зарок дал против жирного. Так меня корежило.
— Что за напасть такая?..
— Печень расшалилась. Желчью так и шибало, — пояснил Архип Мартынович, с завистью глядя, как уписывал глазунью проголодавшийся Варсонофий. — Ох, жестокая штука. А диет — это пища легкая, меню... Супчик постный с тертой морковкой либо кашка манная. Вот ты мне и сготовь.
Чуть свет Архип Мартынович был на ногах. Пока готовился завтрак, он обошел громадный баз, заглянул в конюшню, свинарник.
— Егоровна-а! — послышался со двора его крик.
— Ну, высмотрел чего-то. — Егоровна на полуслове прервала разговор с Варсонофием, накинула платок и помчалась на баз.
Архип Мартынович ходил вокруг прыгающего на трех ногах кабанчика-подростка. Сурово взглянул на жену.
— С чего это он... захромал?
— Ах, Архипушка! Перебили ногу третьего дня...
— Кто перебил?
— Из соседского двора бежал. От Микишки. Это он, злодей!.. Вперед, говорит, не будете распускать скотину.
— Кабанчика дорезать придется! Не будет с него толку. Загубили животное. — Тебеньков с мрачной угрозой посмотрел через забор на соседскую избенку.
Не заходя в дом, он отправился на мельницу. Обошел холодное тихое помещение, стены которого изнутри были густо припудрены мучной пылью.
Сквозь стену из машинного отделения доносились глухие голоса. Машинист — он же мастер-вальцовщик — ходил с разводным гаечным ключом вокруг локомобиля. Два пожилых казака, рано забредших на мельницу, лениво переговаривались.
— Привоз есть? — спросил Архип Мартынович, здороваясь с казаками.
— Неважный.
— Однако надо обмолотить остатний хлеб, — заметил один из казаков.
— Много осталось?
— Должно быть больше половины. Мышей... откуда взялись?.. прорва!
— Н-да... На наш хлеб — едоков... — Архип Мартынович скосил на казаков хитроватые глаза, посоветовал: — Не спешите с обмолотом, станичники. Не ровен час — нагрянут с реквизицией. Ну, предложите... снопы. Небось не схватятся. А цена той порой вскочит поболее — в накладе не останетесь.
— Это будто так... но черт его знает!
— Соображать надо, станичники, — веско сказал Архип Мартынович, присаживаясь рядом и доставая пачку папирос. — Дай большевикам хлеб — они, гляди, и укоренятся. Тогда вовсе волком взвоешь. Не будет казакам вольного житья. А подведет им с голодухи животы — так небось присмиреют.
— Чужой бедой сыт не будешь, — возразил казак и со странной усмешкой поглядел на Тебенькова.
— Все жадность человеческая, — вызывающе громко сказал машинист и сплюнул.
Архип Мартынович сверкнул на него глазами, но продолжал тем же спокойным тоном:
— О себе разве хлопочу, казаки? Даст бог, проживу. За вас, станичники, душой болею. Трудное подошло время. Ох, трудное...
Архип Мартынович осторожно погладил рукой бок, вздохнул, вспомнил, что его ждет дома завтрак, заторопился.
— Нельзя нам, станичники, врозь идти. Казакам надо крепче друг за дружку держаться. Сегодня ты мне помог, завтра — я тебе... так оно и пойдет — тихо, мирно... по старинному завету да обычаю. Бывайте здоровы, казаки!
Покряхтывая, он потоптался перед ними и тихонько ушел, с горечью думая, что и сюда, в казачью станицу, начал проникать дух непокорства.

За столом Архип Мартынович хмурился, что-то соображал, побалтывая ложкой жидкую кашицу — «диет». Вспомнил про «Ессентуки», послал жену за бутылкой, откупорил, понюхал, глотнул немного и тут же выплюнул.
— Вылей, Егоровна, в помойное ведро! Пущай скот ее пьет. Может, ему вода минеральная на пользу пойдет. Чай, за нее деньги плачены.
— В станичное правление пойдешь, батя? — спросил Варсонофий, когда Архип Мартынович решительно отстранил от себя миску с пресной кашицей.
— А черта я там не видал!
Три дня чернинский атаман не выходил со своего двора, наводил порядок на базу, костил батраков, перемерял товар в лавке. Он сам заколол охромевшего кабанчика, перековал на передние ноги жеребую кобылу Машку. Заставил Варсонофия хорошенько промять застоявшегося в станке жеребца.
На исходе третьего дня, когда работник погнал скот на водопой, Архип Мартынович тоже спустился по узкому проулку на берег.
Морозы отпустили, и на стремительной Чернушке уже появились полыньи. Над ними стоял туман; прибрежные деревья постепенно покрывались инеем.
В некоторых местах ветром начисто сдуло снег со льда. Зато возле берега понамело сугробы, особенно в тальниковых зарослях по галечниковым косам.
Из-за реки по дороге тянулся обоз с дровами. Передние возы, скрипя полозьями, поднимались на крутой берег и сворачивали на улицу, ведущую к станции. Возчики — знакомые Тебенькову крестьяне из соседней деревни Зоевки — подталкивали сзади тяжелые сани и криками подбадривали заморенных лошадок.
Архип Мартынович затрясся от злости. С суковатой палкой в руках он кинулся от проруби наперерез обозу.
— Куда прешь, мужичье! Нет вам проезда по казачьей земле!
— Да ведь тут улица.
— Улица есть, да не про вашу честь.
— Эй, атаман! Не вводи во грех...
Подвод пятнадцать сгрудилось на дороге. Возчики с хмурыми лицами обступили Тебенькова.
— Ну чего шумишь, Архип Мартынович? Дорога широка — разминемся, — урезонивал атамана подошедший Василий Приходько.
— Пошел, говорю, обратно! Ну... — Тебеньков угрожающе помахивал палкой перед мордой передней лошади. Лошадь всхрапывала и пятилась.
— Ты, казак, лай, да коней не пугай! — хозяин подводы одним ловким движением вышиб палку из рук Архипа Мартыновича и наступил на нее ногой.
Тебеньков запрыгал перед ним злым кочетом:
— Да как ты посмел... мерзавец!.. на казачьей земле!
— А вот так и посмел. Не больно-то испугались, — усмехнулся возчик. — Тоже умник нашелся — дорогу закрыть.
— Окунуть его разок в прорубь, ребята! Нехай остынет.
— Посторонись, атаман! Сомнем...
Приходько за руку оттащил Тебенькова. с дороги.
— Не маячь на пути, Архип Мартынович! А хочется власть показать, задержи весной лед на реке.
Он засмеялся и побежал догонять подводы. За лесом садилось огромное красное солнце.
— Ба-атя, домой иди! — кричал со двора Варсонофий.
Архип Мартынович медленно поднялся на гору. Шумнул на сына:
— Ты что же?.. Не видишь, как хохлы над отцом измывались? Кликнул бы казаков, так мы им холку бы намяли.
— Не видал, батя.
— Чего звал?
— Нарочный из округа с пакетом.
Сломав сургучную печать, Архип Мартынович дважды перечитал бумагу из войскового правления. Лицо его прояснилось.

— Войсковой круг, слышишь, собирают. В Имане, — сказал он Варсонофию. — Вот делегата велят выбрать. Тебя, что ли? — Тебеньков критически посмотрел на сына и отрицательно мотнул головой. — Нет, сам поеду!

За ужином Архип Мартынович потребовал водки, выпил, крякнул, послал ко всем чертям супчик «диет», поспешно поставленный перед ним Егоровной, и приналег на жареную кабанину с гречневой кашей.

Весь следующий день он носился по станице, гремел шашкой по ступеням, разбрасывал шутки и обещания. Егоровна на кухне парила и жарила. Варсонофий с работником отнес в школу, закрытую по случаю предстоящего собрания, три ведра водки.

Вечером со всей станицы потянулись туда старики.

— Гуляй, казаки, пей мое вино! Уж я такой человек — для общественного дела себя не пожалею, — говорил Архип Мартынович, прохаживаясь вдоль столов.

2

Четвертый Войсковой круг уссурийских казаков собирался в Имане. Делегатов от станиц по установившемуся обычаю выбирали старики. Это были главным образом зажиточные казаки: подрядчики, владельцы винных и бакалейных лавок, поселковые и станичные атаманы. Их политическая физиономия была достаточно ясна и не внушала опасений устроителям съезда.

Казаки-строевики только начали возвращаться с фронта. Основная масса казачьих эшелонов тянулась где-то через Сибирь. Передовые эшелоны застряли на Китайско-Восточной железной дороге. Там казаков усиленно обрабатывали сбежавшиеся в полосу отчуждения КВЖД эсеро-меньшевистские политиканы и офицеры-монархисты.

Фронтовиков больше всего волновало, как скоро смогут они приехать домой. Им говорили, что причина задержки кроется в политике дальневосточных Советов, не желающих возвращения казаков в родной Уссурийский край. Это будто бы связано с намерением переселить казаков из обжитой пограничной полосы в отдаленные районы края, как элемент политически неблагонадежный с точки зрения новой власти. Ходили слухи, что на казачьи земли начали массами сажать крестьян. Другие уверяли, что казачьи заимки целиком отойдут корейцам-арендаторам.

Казаки волновались.

В поселках же и станицах, наоборот, задержку с возвращением казаков объясняли тем, что по требованию немецкого военного командования казачьи полки якобы насильно отправляют с дороги обратно на запад, чтобы там разоружить их и выдать Германии в качестве военнопленных. Таков-де залог, ценою которого большевики упросили немцев согласиться на мирные переговоры в Бресте. Обычно к этому добавлялись лестные для казачьего самолюбия рассказы о том, как здорово казаки насолили немцам и как люто ненавидят их за это Людендорф и Гинденбург. Получалось, что по отношению к казакам совершенно невероятное вероломство.

Трудовое казачество, начавшее уже составлять свое определенное мнение о том, как относиться к Советской власти, из-за установленной процедуры выборов на большой Войсковой круг фактически на нем не было представлено.

Всем заправляла казачья верхушка.

Сам выбор города Имана в качестве места для работы Войскового круга достаточно ясно говорил о намерениях его организаторов.

Захолустный городишко, находившийся в трех верстах от границы, как нельзя более подходил для того, чтобы попытаться здесь открыто выступить против быстро укреплявшейся на Дальнем Востоке Советской власти. В Имане не было сколько-нибудь крупных рабочих коллективов, которые могли бы быстро и энергично вмешаться в события и сорвать планы заговорщиков. В обе стороны от города по Уссури тянулась цепь казачьих поселений, управляемых атаманами, оставшимися еще с царского времени. Войсковые старшины могли здесь чувствовать себя довольно самостоятельными. Сюда переехало и Войсковое правление из Никольск-Уссурийска, где слишком уж накаленной становилась обстановка.

Тебеньков с сыном приехали в Иман за день до открытия круга. Остановились они у знакомого казака Алексея Смолина, старший брат которого, Иннокентий, был сослуживцем

Архипа Мартыновича, а теперь исполнял должность атамана в ближайшей к Иману станице. Иннокентий был крестным отцом Варсонофия.
Смолин недавно перебрался в новый просторный дом городского типа, еще пахнувший свежей стружкой и краской. Два амбара под железной крышей, новая, прочно срубленная конюшня с узкими продольными окнами, высокий забор, окружавший усадьбу, говорили о зажиточности хозяина.
Старый дом, расположенный на этом же участке, Смолин давал внаем. Сейчас в нем квартировал есаул Калмыков — командир стоявшего в Имане казачьего полка.
Полк, если не считать офицеров, получавших жалованье по штатной ведомости, был почти не укомплектован личным составом. Состоял он из казаков старших возрастов, не замедливших разъехаться по домам, как только поослабла дисциплина.
Офицеры занимались непробудным пьянством и дебошами.
Пока Тебеньковы приводили себя в порядок после дороги, пока расспрашивали о местных новостях, подоспел Иннокентий. Он сам выпряг коня и вошел в дом с хомутом в руках.
— А, кум! Здорово!.. И крестник тут? — Иннокентий снял шубу, расцеловался с гостями, поздоровался с братом. — На круг прибыли?
Архип Мартынович мотнул головой:
— На круг.
— Говорят, большевики там поприжали вас, а? Сдрейфили вы... А теперь — всем хлопот.
— Смеху, кум, в этом мало, — мрачно заметил Архип Мартынович. — Они всю бедноту на ноги подняли.
— Ненажитое-то легко делить, — вздохнув, сказал хозяин и подал знак накрывать на стол.
Агаша — рослая смуглолицая девушка-казачка, батрачившая у Смолиных, — быстро расставила посуду. В комнате запахло жирным борщом.
— Хозяйка у меня расхворалась. Как бы не померла, — сказал Смолин, доставая из комода бутылку водки с белой головкой.
Иннокентий расправил рыжие усы, довольно крякнул:
— Значит, за здоровье Матрены Даниловны...
Недавно он по станичным делам ездил в Гродеково и теперь рассказывал о настроении в южных округах, сокрушался:
— Нет у казаков одного мнения. Вразброд идем.
— Стало быть, пути разные. Глаза тут закрывать нечего. — Архип Мартынович опасливо покосился на Агашу.
— Ты, девка, выдь пока. Нужна будешь — покличем, — распорядился хозяин.
Варсонофий с некоторым сожалением проводил взглядом красивую казачку. Он не совсем понимал намерения отца и довольно рассеянно прислушивался к разговору.
— Нужно свое войсковое правительство, свои порядки на казачьей земле. Хохлы нам не указ, — говорил Архип Мартынович. В глазах его светилась настороженная хитрость лисицы, видящей перед собой лакомый кусок.
Смолин улыбнулся в бороду, наполнил стопки, посоветовал:
— Войсковым атаманом надо избрать старшину Шестакова.
— Полковника Февралева, — сказал Иннокентий.
— Мендрина. Он профессор и с иностранными державами в ладах, — настаивал Архип Мартынович.
Рыжая с проседью большая борода Смолина затряслась.
— Эх, казаки, казаки! Трое между собой ладу не найдем. А ить свои.
— Сговоримся, кум. Не спеши, — заметил Архип Мартынович и прислушался к внезапному шуму и ругани на дворе.
Варсонофий поднялся со стула, поскрипывая сапогами, прошел к окну.
— Опять мой квартирант гуляет. Такой шалопут — сладу с ним нет, — сказал Смолин.
Варсонофия мало интересовал разговор стариков; он набросил шинель и вышел на улицу.
Возле калитки с конями в поводу стояли, вытянувшись во фронт, два рослых казака. Перед ними, подпрыгивая, как на шарнирах, металась невысокая фигура в мундирчике, казачьих шароварах с желтыми лампасами и сапогах-бутылках. Человек этот в ярости топтал ногами собственную шапку и на высоких визгливых нотах кричал:
— Молча-ать!

Казачьи кони, видно привыкшие к таким сценам, опустив головы, спокойно смотрели на беснующегося перед ними человека и, должно быть, удивлялись долготерпению своих хозяев.
Варсонофий молча прошел мимо. Но шагов через десять его остановил резкий, хрипловатый окрик:
— Хорунжий!
Казаки верхами уезжали прочь. Человек, распекавший их, держа шапку в руках, исподлобья, мрачным взглядом смотрел на Тебенькова, раздвинув широко ноги и слегка наклонив вперед голову.
— Есаул Калмыков, — буркнул он вместо приветствия, дыхнул винным перегаром и без всякого предисловия спросил: — Не одолжите десятку?
Варсонофий достал деньги.
Калмыков сгреб десятку лапой, с маху нахлобучил папаху на голову, еще раз царапнул по лицу Тебенькова неприветливым взглядом темных волчьих глаз и, высоко поднимая плечи, как цапля крылья, подпрыгивающей походкой пошел по двору.
Низкий лоб, черные жесткие волосы, тяжелая, немного отвисшая челюсть и угрюмый вороватый взгляд исподлобья — вот что запомнилось Варсонофию в Калмыкове.
В горнице Архип Мартынович рассказывал о своих злоключениях в городе:
— Большевики у меня вот где сидят... в печенках.
Смолин, задрав бороду, смотрел в потолок. Вдруг он свирепо грохнул по столу кулаком и матерно выругался:
— Эх, жизнь!..
Иннокентий воинственно топорщил усы, грозил:
— Доведут казаков до отчаянности, всех порубаем... Рука зудит.
В соседней комнате кашляла, задыхалась больная хозяйка.

...Войсковой круг открылся с опозданием на два дня. Два дня казацкие старшины сговаривались относительно общего кандидата на пост войскового атамана, но так и не могли столковаться. Наиболее вероятным кандидатом считался профессор-японист из Владивостока Мендрин. Затем как будто верх начали брать сторонники войскового старшины Шестакова. Но и февралевцы не сдавались. Ни одна из групп не могла рассчитывать на сколько-нибудь значительный перевес при голосовании.
Делегаты и на заседании круга уселись так, по группам: отдельно мендринцы, отдельно февралевцы. В тесном зале было жарко, дымно и шумно сверх всякой меры. Казаки громко переговаривались, курили, лузгали семечки, сплевывая шелуху под ноги на пол.
На возвышении впереди — отдельный стол, покрытый зеленым сукном, со стульями позади — это для председателя круга и секретаря. Другой такой же стол — для членов войскового правления.
Начальство в полной казачьей форме, сверкая желтыми лампасами, гурьбой вывалило из задней комнатки. В зале стихло. Делегаты из дальних станиц с любопытством глазели на правленцев, перешептывались.
Председатель круга — сотник с тремя Георгиями на груди и с бородой, достававшей до орденов, — размашистым крестом коснулся погон на плечах, густо откашлялся.
— С богом, станичники! Начнем...
Докладчик о политическом моменте — тоже сотник, но только лысый и бритый, в пенсне — патетически возвышая и понижая голос, скорбел о государственной разрухе, пугал пагубными последствиями большевистского сговора с немцами, призывал казаков-уссурийцев сплотиться вокруг войскового правительства и противостоять анархии. Он говорил, что казачество якобы искони питает отвращение к политическим партиям, не будет игрушкой в их руках, а, как всегда, явится надежной опорой властей предержащих.
— Заметьте, станичники, что предержащая власть теперь — Советы! — сказал в задних рядах чей-то насмешливый голос.
Докладчик запнулся, сбился, потерял нить рассуждений. Передние ряды зашумели, требуя призвать крикуна к порядку.
— Это Коренев однорукий из Хоперского. Скажи на милость, затесался-таки, — сказал Иннокентию Архип Мартынович.

Сотник на трибуне вспомнил Учредительное собрание, категорически высказался против переговоров о мире, поклялся в верности союзникам от имени всех казаков и сложил свои листочки.
На его месте уже мельтешила длинная, нескладная фигура в лихо сдвинутой набок фуражке с желтым околышем, с клоком рыжих волос, нависших над низким лбом. Оратор сразу понес такую околесицу, что председатель в досаде подергал себя за бороду и распорядился:
— Протрезвить!
Казака прямо с трибуны поволокли через запасной выход во двор остуживать снегом. Он упирался ногами, кричал в пьяном экстазе:
— Войсковому пр-равительству... ур-ра-а!
Архип Мартынович петушком проскочил вперед, подождал, пока унялся шум, посмотрел на ухмыляющиеся лица передних бородачей, подмигнул.
— Вот пьян казак, а что кричит?.. Ура войсковому правительству. Голос казачества, станичники, — и пошел хитрейший из станичных атаманов расписывать прелести свободной, независимой жизни казаков на казачьей земле под властью своего войскового правительства. Журчала быстрой говорливой струйкою его расчетливая, продуманная речь. Умел Архип Мартынович и польстить самолюбию зажиточного казака, и припугнуть его советскими порядками, и посулить ему златые горы и молочные реки с кисельными берегами.
— Молодец, кум! — орал с места Иннокентий и буйно топал ногами. — Вот кого надо в войсковое правительство.
— Кумовей? — опять спросил сзади Коренев и пошел вперед. В тесном проходе между скамьями он разминулся с Архипом Мартыновичем. Тот смерил его сердитым взглядом.
— Красиво тут расписал наше житье Тебеньков: рай земной, и умирать не надо, — с насмешкой начал Коренев. — Справный он казак. Хороший хозяин. У него и торговля, и мельница, и подряд большой. Может, сотни людей на него трудятся. Таких казаков у нас единицы. Им с их колокольни все прекрасно.
— А ты чего чужое добро считаешь?
— Считаю, — и моего пота там капля вложена, — спокойно возразил Коренев.
— Ограбить хочешь?
— Греха не будет.
— А свинцовую пульку едал?
— Я-то едал, — Коренев выразительно показал на свой пустой рукав, и голос у него зазвенел сталью. — Не пугайте меня. Я столько раз пуганый, что разучился пугаться. Тоже собрались ловкачи. Пьяный балбес кричит, а вы его голос хотите выдать за голос казачества. Казаку нужен мир. Казак ждет не дождется, когда избавится от самоуправства атаманов-мироедов. Все это ему дает Советская власть. А вы хотите столкнуть казака с нею. Да пошлет он вас к чертовой матери, плюнет и разотрет... Войсковая земля... правительство... Отрезанный ломоть от России, вот что значит ваша затея. Измена это.
Кто-то в зале взвизгнул:
— Большевистский агент!
Архип Мартынович тоже вскочил:
— Ты скажи... скажи, Коренев, сколько тебе заплачено?
— Да, должно быть, больше, чем ты своим батракам платишь, — с уничтожающим спокойствием ответил однорукий.
— Так, режь им правду-матку! — в общем шуме донеслось из зала, и Коренев улыбнулся, слыша чей-то дружеский голос на этом сборище.
Из-за стола старшин к нему подскочил толстомордый офицер, застучал шашкой в пол, свирепо заворочал глазами.
— Вон! Сию же минуту...
— Давай говорить спокойно. Не ори, — остановил его жестом Коренев.
— Убирайтесь! Или... вас растерзают.
— Ну, ну... полегче. — Коренев усмехнулся. — Или вы думаете, с вас за это не спросят?.. Я уйду — дольше тут оставаться не намерен. Мы, трудовые казаки, еще свое слово скажем. — И Коренев не торопясь, спокойно, будто и не слышал оскорбительных выкриков, свиста и гама, пошел к двери.

На китайской стороне за холмами догорала вечерняя заря; бледно-оранжевая полоска неба протянулась там вдоль границы. А вверху уже зажглись редкие первые звезды. И на станции тоже один за другим загорались желтые, красные и зеленые огоньки. Посвистывал и устало пыхтел маневровый паровоз.

3

На квартире Архипа Мартыновича дожидался Мавлютин. Прибыв поездом из Хабаровска, он успел переодеться из партикулярного платья в новенькую военную форму, сверкал погонами и, кажется, чувствовал себя великолепно. Полковник примирился с той ролью, какую отвел ему Хасимото, и был готов с присущей ему энергией взяться за дело.

— Слышал... слышал уже про вашу блестящую речь. Поздравляю! — такими словами полковник встретил чернинского делегата. — Так кого будем выдвигать на пост войскового атамана? Вы уж, конечно, надумали, Архип Мартынович?

Мавлютин спрашивал так, будто сам принадлежал к казачьему сословию. Тебеньков решил, что это неспроста.

— Разбиваются голоса, Всеволод Арсентьевич. Кто за Фому, кто за Ерему, — пожаловался он. — Мы уж прикидывали — нет ходу ни одному кандидату.

Мавлютин, прищурясь, посмотрел на Тебенькова, прищелкнул пальцами.

— Имеется простой выход из положения. Против всех трех кандидатов выставить четвертого.

— М-да... — Архип Мартынович быстро покосился на сына; тот подтверждающе кивнул головой. Вероятно, Варсонофий успел перекинуться с Мавлютиным словом-другим. И Архип Мартынович осторожно продолжал: — Выставить не штука: кого?

— Есаула Калмыкова, — сказал Мавлютин.

— Что, что? — Смолин даже подскочил. — Ведь он, прости господи, — недоносок. Хулиган... Я его с квартиры погнать хочу. А тут — в атаманы... Шутить изволите, ваше высокоблагородие. Не могу, извините, этого понять. Да у него и ума нет, одна нагайка в руках.

— Умом будет войсковое правление. А нагайка по нашему времени сгодится, — с циничной откровенностью ответил Мавлютин.

Тебеньков видел, что полковник не желает сразу раскрывать всех карт.

— Поддержка нужна атаману, — осторожно заметил он.

— Поддержка будет... от держав. С этим надо считаться, казаки. Нам одним с большевиками не управиться. Из двух зол надо выбирать меньшее.

Иннокентий Смолин посмотрел на него, удивленно приоткрыв рот.

— А ты не врешь это? — спросил он, позабыв про субординацию.

— Господа казаки, — голос Мавлютина зазвучал торжественно и строго. — Я говорю сущую правду. Крест поцеловать могу. Кроме того, я привез первую субсидию есаулу Калмыкову — двести тысяч рублей. А как расходовать деньги, вы уж подумайте. Вам виднее.

Архип Мартынович и братья Смолины выразительно переглянулись.

Может быть, если бы Калмыков не был здесь же, в Имане, не гонял с гиком по улицам тихого городка с головорезами из своего полка, агитация за него шла бы успешнее.

Съезд затягивался, а Мавлютин не был уверен в результатах голосования. Шла дискуссия о том, какими качествами должен обладать войсковой атаман.

Делегаты начали тяготиться бесконечным переливанием из пустого в порожнее. Они дружно проголосовали резолюции, требующие от казаков сплочения для борьбы с большевиками. Но в выборах атамана ни одна группа не хотела уступать. С этим были связаны разные материальные интересы, и тут единодушие старшин и атаманов кончалось.

А за кулисами продолжался отчаянный торг. Мавлютин отчасти убедил, отчасти припугнул войскового старшину Шестакова, и тот заколебался, заговорил о желании снять свою кандидатуру. С полковником Февралевым вздумали разделаться сами калмыковцы. Выждав темный час, когда он шел из войсковой канцелярии домой, они верхами наскочили на него и нещадно исполосовали ему спину плетьми, приговаривая:

— Задаток, Февралев! Задаток... А придет час — к стенке поставим. И Шестакова тоже [1]

Случилось, правда, так, что по ошибке пьяные экзекуторы отхлестали не самого Февралева, а одного из его приверженцев. Результат оказался совершенно обратным тому, на который рассчитывали. Не только февралевцы, но и их противники подняли страшный шум. Дело кое-как замяли. К счастью для партии калмыковцев, подоспела приветственная телеграмма от атамана амурских казаков Гамова. Гамов заверял, что не допустит передачи власти Советам в Благовещенске.
На другой день бородачи-уссурийцы были обрадованы предложением отложить выборы войскового атамана до следующего пятого круга, а пока утвердить исполняющим обязанности атамана командира казачьего полка есаула Калмыкова. Расчет Мавлютина оправдался: сторонников Калмыкова устраивала фактическая власть, противников — возможность утешить себя восклицанием: «Ну, поглядим! Поживем — увидим...»
Без особых проволочек выбрали войсковое правительство. Оно тут же назначило депутацию для вручения есаулу Калмыкову постановления круга.
Депутация, возглавляемая Тебеньковым — ныне членом войскового правления, — степенно прошествовала по главной улице городка. Архип Мартынович, сознавая значение момента, мысленно репетировал речь. Алексей Смолин в задумчивости теребил заиндевевшую бороду. Иннокентий похохатывал, слушая, как атаман соседней Графской станицы изображал в лицах императрицу Екатерину Вторую и графа Орлова. Атаман был известный сквернослов и похабник.
Пока хозяин привязывал на цепь рычавшего на чужих пса, Архип Мартынович отворил дверь в старый смолинский дом. Ставни в первой комнате были прикрыты, и в ней стоял полумрак. Дверь же во вторую половину, освещенную вечерним солнцем, была распахнута настежь. Оттуда доносились неожиданные звуки молчаливой борьбы, вздохи, сопенье. Архип Мартынович глянул туда да так и обомлел.
Сразу за дверью лежало опрокинутое ведро, грязная вода лужицей растекалась по полу. Тут же валялась брошенная тряпка для полов. Возле широкой кровати с горой взбитых подушек смолинская батрачка Агаша держала за шиворот низкорослого Калмыкова одной рукой, а другой, мокрой, отвешивала ему звонкие пощечины. Кирпично-красная голова есаула моталась от веских ударов то влево, то вправо.
— Ах, ты, гнида несчастная! Скажи, пожалуйста, чего надумал, а? — возмущенно говорила Агаша.
Высокая, на целую голову превосходившая Калмыкова ростом, раскрасневшаяся от гнева, гордая и сильная, Агаша действительно была прекрасна в этот момент. Это была настоящая вольная казачка, способная постоять за свою честь.
Депутация, теперь уже в полном составе, оторопело глядела из-за дверей.
— Ах, господи, вот шельма! Как она его хлещет. Ка-ак хлещет, — в совершенном восторге шептал атаман из Графской. — Ну, девка. Огонь!
Смолин из-за его спины делал Агаше устрашающие знаки. Но та не замечала.
Архип Мартынович еле сдерживал разбиравший его смех.
Все члены депутации отлично понимали щекотливость создавшегося положения. Трудно было сразу сообразить, как лучше выйти из него.
Агаша наконец сочла, что покушение на ее честь достаточно отомщено, и оставила есаула в покое.
— Застрелю-у! — вдруг страшным голосом закричал Калмыков, когда Агаша нагнулась, чтобы поднять с полу ведро.
— Вот я тебя стрельну — ведром по башке, — спокойно ответила она, не удостоив его даже взглядом.
Калмыков сразу притих и начал одергивать на себе шаровары.
Агаша тряпкой сгоняла разлившуюся на полу воду.
— Иди, подлая! Иди сюда, слышь, — шипел из-за двери хозяин, делая Агаше знаки обеими руками.
Агаша с досадой передернула плечом и с тряпкой в руках, как была босая, с подоткнутым подолом, вышла в горницу пред очи депутации.
— Али нагайки захотела, негодница? — грозным шепотом спросил Смолин.

— А пусть не лезет. Пусть не насильничает, — вызывающе громко сказала она. — В другой раз я его, мерзавца, в ведре утоплю.
— Ну, ты гляди...
Смолин явно не знал, как ему быть.
Атаман из Графской шептал на ухо Иннокентию:
— Ядреная девка, черт побери! Вот такую, паря, обратать — это да... С нею в воде не утонешь, в огне не сгоришь.
Видно было, что Агаша произвела на него сильное впечатление.
Архип Мартынович густо кашлянул.
— Вы ко мне, господа казаки? — спросил из-за двери несколько оправившийся Калмыков.
— Так точно, господин есаул! Дозвольте? — обрадованно и громко сказал Смолин.
Все делали вид, что ничего не заметили.
Калмыков поспешил перейти на затемненную половину дома.
— Черт знает, зуб б-болит, — хмуро пожаловался он, перешагнув порог и держась рукой за ту щеку, по которой Агаша била наотмашь.
— И что же он, зуб, ноет али стреляет? Который зуб?.. — ехидно справлялся атаман из Графской, не упуская случая лишний раз позубоскалить.
Калмыков лютым зверем посмотрел на него, но смолчал.
Архип Мартынович хотел начать речь по всей форме, как подготовился, да догадался, что это поставит его в смешное положение. Он хмуро буркнул:
— Докладываю: назначили вас исполняющим... войскового атамана.
Калмыков подпрыгнул, как резиновый мячик:
— Назначили, ну?.. Черт побери! Все-таки назначили... — Пробежался мелкими шажками вокруг депутации, точно собака, обнюхивающая след, радостно тявкнул: — Хлобыстнем по стаканчику, а? Есть четверть крепчайшего ханшину.
— Один момент, господин атаман! Сооружу закуску. — Смолин засуетился и выскочил в дверь.
Остальные стали усаживаться вокруг стола.
Неделю спустя Архип Мартынович, покончив с неотложными делами в войсковом правлении и оставив Варсонофия в иманском конвойном эскадроне, возвращался поездом домой, в Чернинскую. Был он теперь напыщенный и важный. Даже голос у него стал будто басовитее.
Он сидел на трясучей скамейке, стесненный с боков чужой рухлядью, и с удовлетворением перебирал в памяти события последней недели. Добрался наконец и до сцены, когда он пришел с депутацией к Калмыкову. Вспомнил — и плюнул.
За окном на склонах сопок маячили желтые кусты дубняка, убегали назад телеграфные столбы. Поезд прогрохотал по мосту. Архип Мартынович посмотрел в окно на застывшую, покрытую снегом речку, и мысли его отвлеклись к домашним заботам.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Предаваясь в пути приятным мечтаниям, Тебеньков не знал, что беднейшие казаки станицы Чернинской сходятся в этот час в дом его соседа, чтобы послушать однорукого хоперца Коренева. Тот не стал дожидаться окончания Войскового круга. В каждом поселке у Коренева находились сослуживцы-однополчане: было с кем потолковать по душам. И прежде чем сюда дошло воззвание Войскового круга, большая часть казаков низовых станиц решительно осудила попытку казачьей верхушки толкнуть уссурийцев на братоубийственную войну. Знай об этом Архип Мартынович, не стал бы он задерживаться в Имане ни одного лишнего дня. Да что мог изменить его приезд?
Со двора Тебеньковых видны освещенные соседские окна, В вечерней тишине слышатся скрип калитки, негромкое покашливание казаков.
«Опять булгачатся. Должно быть, насчет заездка», — с неприязнью подумала Егоровна, закрывая амбар на большой висячий замок. Она не могла простить соседу подбитого кабанчика.
На реке Чернушке, бегущей с отрогов далекого Сихотэ-Алиня к Уссури, жители станицы зимой ставили заездки. Работа обычно производилась на артельных началах. Соберется десяток соседей, облюбуют протоку, по чистым прозрачным водам которой идет на

нерестилища проходной ленок, и в пять-шесть дней перегородят ее. Рыба, наткнувшись на неожиданную преграду, долго ходит вдоль заездка, тычется носом в узкие щели и в конце концов, гонимая могучим инстинктом размножения, лезет в единственное оставленное открытым отверстие ловушки — «морды», сплетенной из тех же тальниковых прутьев. Артельщикам оставалось по очереди ходить на заездок (обязательно по нескольку человек, чтобы было без обману) и забирать улов. Чем ближе к весне, тем больше усиливался ход ленка. Иногда за день-два перед ледоходом вынимали рыбы больше, чем за все предыдущие месяцы.

Из-за проточек, удобных для постановки заездков, нередко возникали споры; станичники, случалось, доходили до драк. Каждая сложившаяся артель, если проточка оказывалась уловистой, стремилась закрепить ее за собой. На станичном майдане право первой заявки признавалось неоспоримым. Но его можно было перекупить, выставив артельщикам отступного — ведро или два водки. Таким путем лучшие заездки постепенно переходили в руки зажиточных казаков. Станичная же беднота оказалась оттесненной на самые дальние и неходовые протоки.

Архип Мартынович великолепно учитывал сложившуюся обстановку.

— Что ж, станичники! — говорил он соседям, поблескивая глазами, поглаживая аккуратно расчесанную бороду. — Потратился я, верно. Да, видно, нынче трех заездков самому не поднять. У меня хлопот знаете сколько?.. Общественные дела... Ни прибыли от них, ни корысти. А вас жалко, ей-богу! В такой одежде за десять верст по морозу ходить, и было бы из-за чего. Проточка мелка, поди, перемерзает. Ленок туда носа не кажет. Зря затеяли, зря...

— Да ведь хочется и нам ребятишек рыбкой побаловать, — возражали ему. — Не для продажи ловим.

— Эх, братцы! Труда своего ценить не умеете, — Архип Мартынович сокрушенно качал головой, задумывался. Потом он сдергивал шапку, швырял в угол и решительным тоном заявлял: — Так и быть, казаки! Поступаюсь своим интересом. Городите заездок на Домашней. Не ошибетесь. Вот ты, Микишка, артель сколоти... ты мастер, я тебе доверяю.

Об условиях, на которых соседям разрешалось ставить заездок на их же бывшей протоке, Тебеньков говорил коротко и кротко:

— Поделимся по-соседски, не чужие ведь. Половину улова — мне, остальное — делите на паи. Я в это не вмешиваюсь. Зато удобство какое... Из дому — рукой подать. Для променажу прошелся чуть, и тащи себе рыбку на уху. А самому недосуг, так и детишки вынут, им тоже приучаться к делу надобно.

При устройстве заездков существовало, однако, общее для всех правило: нельзя перегораживать фарватер. Архип Мартынович не раз прикидывал, сколько рыбы можно взять, если перекрыть ход по главному руслу. Он и место облюбовал — напротив своих окон. Но нарушить порядок не решался. Как станичный атаман, он боялся повредить себе слишком открытым проявлением алчности. Тебеньков был хапуга и хитрец одновременно.

Уезжая в Иман на Войсковой круг, Архип Мартынович решительно распорядился ставить заездок напротив своего дома. О намерении своем он объявил на собрании, после выборов, когда все станичные бородачи находились под хмельком. Тут же Тебеньков нанял мастеров, условился о цене и сроке окончания работы.

— Соображаете, казаки? — весело спрашивал он, потирая руки, довольный, что удалось устроить выгодное дельце. — Пущай теперь хохлы ленка ждут. На-ко, выкуси! Не пустим рыбу дальше казачьей земли. Научим хохлов уважать наши права. Казачьи привилегии...

К возвращению Тебенькова сооружение заездка закончили. Со двора Егоровне был виден на реке длинный ряд кольев, будто невысокий забор протянулся от ближнего берега к дальнему. Плескалась вода в широкой проруби.

В переулке заскрипели полозья: сани остановились возле соседского двора, и трое приезжих тоже прошли в дом.

«Званые гости у них, что ли? — Егоровна почувствовала смутное беспокойство, но посмотрела на заездок, и мысли ее отвлеклись. — Коптильню налаживать надо. В городе копченого ленка с руками оторвут», — хозяйственно подумала она, спустила собаку с цепи и пошла в дом.

Приезжими были Чагров и Савчук. Привез их из соседней деревни Василий Приходько. Они торопились к поезду, но хотели час-другой потолковать с казаками. Уже целую неделю друзья колесили по волости.
Василий отпустил чересседельник, привязал лошадь, положил на снег охапку сена.
— Ну, пошли! — сказал он затем. — Хозяина зовут Никитой Фомичом. Человек он порядочный. Собак опасаться не нужно, тут им стеречь нечего.
Своим приходом они прервали интересный для всех присутствующих разговор. В комнате было человек десять казаков, не считая детишек, головы которых виднелось во всех углах и на печке.
Савчук сразу приметил Коренева. Он сидел прямо под лампой, повешенной на гвоздь, вбитый в верхнюю часть оконного косяка. Свет падал на него сверху, лицо скрывалось в тени и казалось от этого резче, угловатое. Хорошо был виден пустой правый рукав. То, как Коренев держал голову, как повел на вошедших глазами, сухой горячий блеск которых был заметен даже в тени, обнаруживало в нем человека, знающего себе цену. Савчук сочувственно подумал: «Эге, брат-рубака, отмахался, знать!»
Хозяин — небольшой рыжеватый казак, проворный, ловкий — сидел на полу среди комнаты, по-китайски поджав ноги, и плел из прутьев внушительную по размеру ловушку — «морду». Его старший сынишка — мальчик лет тринадцати — распаривал в плите на жару прутья и подавал отцу. Дело привычное, судя по тому, как безошибочно угадывал он малейшее движение своего родителя. В комнате остро, по-весеннему, пахло красноталом и китайским лимонником.
— Садитесь, гостями будете, — приветливо сказал Никита Фомич, поздоровавшись с Василием и его спутниками. — У меня, видите, фабрика на полном ходу. Ты, Ваня, подавай прутья. Не задерживайся. Нам управиться надо, пока плита не выстыла.
Казаки на лавке потеснились. Двое молодых пересели на порожек. Гости уселись, и тут все взрослые сразу потянулись к кисетам — спасительная привычка.
Когда дым от цигарок смешался и поплыл широкой струей к раскрытой дверце плиты, один из казаков спросил:
— Городские, стало быть? Любопытствуете на наше житье?
— Помочь вам хотим, — ответил Чагров.
— Помо-очь, ну?..
— Что-то не видали мы таких охотников.
— Они помогут себе в карман!
— Да у вас самих в карманах один шиш, и выворачивать не надо, — смеясь, сказал Савчук.
Казаки загудели:
— Верно-о.
— Только счет, что хозяева. На три двора — один плуг, и тот без лемеха.
— Положеньице, хоть скачи, хоть плачь!
— Без лемеха в крестьянском деле действительно нельзя. А весна не за горами, — с чисто крестьянской степенностью сказал Чагров. — Что ж, дадим вам лемехи. В этом и будет наша помощь.
— Вот это дело, если не врете.
— Не приучены врать. Да и не к чему. — Мирон Сергеевич с доброжелательной улыбкой посмотрел на сидевшего ближе к нему рослого казака в желтом дубленом полушубке. Тот, прищурясь, выдержал его взгляд, спросил:
— Потом небось хлеба потребуете?
— А где нам взять хлеб-то? — вопросом же ответил Чагров. — На то у нас и есть союз рабочих и крестьян.
— Так то крестьян, а мы — казаки! — со смешком заметил парень с порожка, прекратив на минуту грызть семечки.
— Каза-аки... Знаем мы вашу вольную жизнь, — усмехнулся Савчук. — Если не считать атаманов.
Парень на порожке блеснул глазами.
— Вот у нас Тебеньков живет — всех в округе как липку дерет.
— Тебеньковых мы под корень срежем, дайте срок.

— Ага, так он и дается. — Коренев внимательно посмотрел на Савчука, на его шинель. — На Стоходе, случаем, не довелось добывать?
— Нет, мы на реке Стырь стояли, — ответил Савчук.
— Рядом. Был и я на Стыри, будь она проклята! — Коренев выразительно тряхнул пустым рукавом. — Выходит, мы — земляки. А Тебеньковых порода цепкая, это вам надо знать, — и он еще раз, но уже коротко рассказал о Войсковом круге в Имане.
Чагров нахмурился; слушал он внимательно, изредка поглядывал на казаков, пытаясь угадать, как те воспринимают сообщение однорукого. Его несколько смущало то обстоятельство, что Коренев лишь излагал факты, но не давал им своей оценки. Впрочем, казаки знали его отношение к событиям; об этом у них шел разговор перед приходом Савчука и Чагрова.
— Так что теперь у нас свое войсковое правительство, имейте в виду, — все с той же неясной усмешкой заключил Коренев. — Что, не по душе новость?
Савчук сердито отчеканил:
— Не было в тот час меня там с батальоном грузчиков. Я бы им прописал... правительство.
— Стрелять они умеют не хуже вашего...
— Выходит, брат на брата поднимают. Как это можно? — Приходько заметно волновался, ломал на мелкие кусочки подобранный с полу прутик.
— Да, брат на брата! В этом суть. — Чагров успел обдумать неожиданную и неприятную новость. — Хотят натравить казаков на крестьян и рабочих, чтобы богатым снова на шею народу сесть. На темноту вашу рассчитывают.
— Н-да... — задумчиво протянул казак в желтом полушубке. — Пороли мы вашего брата нагайками, пороли... а выходит, — сами себе вредили.
— Интерес у трудовых казаков и крестьян один, товарищ из городу правильно заметил. — Коренев ловко одной рукой свернул на столе цигарку, прикурил от лампы. — И насчет союза с рабочими сказано верно, — продолжал он, сделав одну за другой две глубокие затяжки. — Она, размежевка эта, по всей линии так и идет: богатые к одной стороне, а нам — в другую. Стеной друг против дружки. А там — чья возьмет.
— Тут, товарищи, в результатах сомневаться не приходится, — Чагров очень обрадовался поддержке, которую встретил у Коренева. — Главное — держаться дружно. Наша сила в организованности. Ленин так учит.
— От большевиков к нам представители, что ли? — спросил хозяин, прикручивая проволокой плетенную из прутьев крышку. — Вот и управились мы, Ваня! — Он поднялся, отряхнул со штанов мусор и ногой отодвинул готовую «морду» к стене.
— От большевиков! — подтвердил Савчук; шагнув через комнату, он деловито пощупал прутья ловушки, проверил крепость связок, усмехнулся: — Дурак, однако, ленок, если лезет в этакую вот штуку.
— Дураки не только ленки, — угрюмо отшутился хозяин и принялся мыть руки.
Приходько тоже подвигал «морду» взад-вперед, одобрил:
— В самый раз на фарватер ставить. Для Тебенькова смастерил, Никита Фомич? Широко размахнулся ваш атаман — через всю реку.
— Он и дальше пойдет, если не остановят, — язвительно заметил один из молодых казаков.
— Стало быть, дядю на помощь надо звать, сами не справитесь? — с нескрываемой насмешкой спросил Савчук, — Легко ему тут верховодить. Волк среди барашков.
— Ты, паря, казаков зря не задевай. У нас своя жизнь. Свои порядки. — Богатырь в желтом полушубке обиженно засопел, заворочал глазами.
— Вот и Тебеньков на Войсковом круге то же самое говорил. Вы с ним как спелись. — Коренев швырнул окурок в плиту и сел на прежнее место. — Беда, ей-богу! Казачьи привилегии нам вроде той «морды», что у стены стоит. Куда ни кинься — перед глазами прутья. Или канторы у лошади. Здорово придумали, едри их в корень!
— Сословие! Свое стойло для каждой скотины. По казарменному царскому распорядку, — живо подхватил хозяин, очень довольный, что разговор отошел от щекотливой и неприятной темы. Дело в том, что ловущку он действительно изготовил по заказу Тебенькова для нового заездка; дал уговорить себя и из-за этого все время испытывал неловкость.

Но Приходько тоже не лыком, шит. Известие о том, что чернинские казаки перегораживают главное русло реки, взбудоражило жителей верхних деревень. Горячие головы предлагали двинуться в Чернинскую и самим уничтожить заездок. При этом легко могло быть спровоцировано вооруженное столкновение, что было бы на руку лишь казачьей верхушке. Чагров не посоветовал сразу прибегать к крайним мерам. «Вот если бы казаки сами сломали заездок да поссорились при этом с атаманом — лучшего и желать не надо», — так он сформулировал линию их поведения, обнаружив тонкое и верное понимание остроты и сложности создавшейся обстановки. Действуя в соответствии с-этим. планом, Приходько счел момент для разговора о заездке самым подходящим.
— Однако вы с уловом будете. Гляжу, реку всю перехватили, — простодушно начал он, но не выдержал взятого тона и язвительно спросил: — Не жирно ли будет, а?
— Кому как. Нам — нет, — ответил с усмешкой молодой казак. — А Тебеньков у нас — человек поджарый, через него пища, как сквозь железную трубу, идет. Сам не съест — другому все равно не даст.
— Верно! У него рука от рождения в одном направлении действует — хватать, а чтобы разжать да выпустить — этого никто не видал.
— Стукнуть как следует по башке, вот и разожмет руки, — сказал Савчук.
— А ты, мил человек, то прими во внимание: ссориться с Архипом Мартыновичем нам расчету нет. Мы у него в долгу как в шелку, — неодобрительно заметил казак в желтом полушубке. — Да и время позднее, — продолжал он, потоптавшись нерешительно среди комнаты. — Утром за сеном ехать. Я уж пойду. — И он взялся за скобу двери.
— Вот такой у нас народ! — с досадой проговорил парень, первым начавший разговор о Тебенькове. — Соберемся, погуторим — и каждый в норку. Ну чисто суслики. Тьфу!
— Лиха беда — начать. Пяток-то смелых, наверно, найдется? — сказал Чагров; молодые парни ему определенно понравились.
— У казаков да не найтись!
— Вот сломайте Тебенькову заездок. Сами казаки. Пусть он беззаконие не творит.
— Да за такое дело при царе тоже по головке не погладили бы! Рыба-то переводится. Ей свободный ход нужен.
— Ох и взъерошится атаман! Крику будет, боже мой.
— Погодите, наши-то заездки ниже стоят, на проточках. Зачем нам ввязываться?
— А нам, значит, из-за вас и детишек ухой побаловать нельзя? — с нескрываемой обидой и раздражением спросил Приходько.
— Выходит, нельзя.
— А это справедливо?
— Н-нет. Но все-таки...
— Не по-соседски рассуждаете, казаки. Тогда с землей на бугру тоже.
— Да пашите вы эту землю, слова против не скажем! Бугор нам без надобности. Кто за реку потащится? Земли и здесь довольно, была бы горбушка крепкой.
— Тебеньков вам препятствует из принципа. Куражится.
— Это верно. А все же неприятности из-за вас наживать — охоты нет. Атаман у нас как-никак — начальник.
— Ну и целуйтесь с ним! — Приходько вскочил, позабыв свое намерение довести дело до конца мирным путем. — От вас справедливости, видно, не ждать. Завтра придем — сами тут все порушим, — и добавил угрожающе: — С оружием придем, если на то пошло.
— Ты сядь, пожалуйста, и не пори горячку, — одернул его Чагров. — Сядь. Можно спокойно с людьми договориться.
— Да что толковать! Они как собаки на сене.
— Кто собаки, мы?..
— Тихо, станичники! Ломать заездок — так непременно самим. Пусть Тебеньков знает: казаки его подлости не потатчики, — решительно вмешался Коренев. — Ведь как задумал, прохвост! Поссорить вас и ловить рыбку в мутной воде... А ты, Никита Фомич, чего притих? — продолжал он, обращаясь к хозяину, мрачный вид которого бросался в глаза. — Раньше будто похрабрее был?
— У меня, Антон Захарович, видишь — семь ртов. И каждый есть просит, да еще по три раза на дню, — хмуро сказал хозяин.

— Значит, для него «морду» смастерил? — без жалости спросил Коренев, не называя, впрочем, фамилии Тебенькова. — Не знал я, что нынче между вами дружба.
— Для него, — глухо подтвердил Никита Фомич, еще ниже опуская голову. Затем в какой-то неуловимый момент он весь преобразился: глаза у него засверкали, движения сделалась уверенными, быстрыми и голос посвежел. — Дружба между нами — только топором разрубить. Вот так!.. — Никита Фомич нагнулся, подхватил топор и несколько раз сильными меткими взмахами ударил по связкам только что изготовленной ловушки. На глазах у оторопевших зрителей все сооружение рассыпалось и осело на пол бесформенной кучей прутьев. — Ваня, поди сюда, — сказал Никита Фомич, заглянув за перегородку. — Выбрось-ка мусор во двор!
— Давайте утром соберемся часам к десяти. По дворам народ покличем, — предложил молодой казак, очень довольный таким оборотом дела. — Вы не думайте, у нас тебельковскую затею очень не одобряют, — сказал он затем Приходько.
— Вот и договорились. Вот и хорошо! — Чагров поднялся, посмотрел на часы-ходики. — А не пора ли нам, Иван Павлович, на станцию?
— Да поезд уже возле моста шумит. Опоздали вы, — сказал Ваня, вернувшись со двора, куда выносил прутья.
Действительно, с улицы донесся тонкий свисток локомотива и глухой шум: поезд шел по мосту.
— Придется вам у нас заночевать, — сказал хозяин. Теперь он чувствовал себя менее связанным. Неприятным было лишь предстоящее объяснение с женой; однако из-за гостей разговор с нею оттягивался. Все складывалось как нельзя лучше. — Чаю попьем и на боковую, — продолжал он таким тоном, будто предлагал бог знает какое угощение и сон в царских палатах. — Ты, Василий Иванович, задержись. Завтра поглядишь на ералаш. Пока Архип Мартынович дела государственные вершит — дома у него все вверх дном! Ловко, а? — И Никита Фомич в первый раз за вечер рассмеялся.
Казаки один за другим потянулись к выходу. Вышли и приезжие. Приходько распрягал лошадь и с помощью подоспевшего Вани устраивал ее на ночь. Савчук поглядел на реку, на небо, вспомнил Дарью и пожалел, что они так замешкались и не поспели на поезд. Чагров же думал: «Придется, однако, еще на сутки задержаться. Как бы они тут на попятный не пошли. Нет, не должны. Прошла и здесь плугом революция». Мирон Сергеевич поднял голову, посмотрел на звезды, и далекий Млечный Путь тоже показался ему гигантским следом невидимого плуга.

2

Архип Мартынович приехал утром. Вставало солнце, когда поезд шел по мосту через Чернушку. Тебеньков заметил протянувшийся через реку строгий пунктир кольев и удовлетворенно крякнул. «Молодец, Егоровна!» — похвалил он жену.
Поезд проскочил мост и пошел на подъем. Вместо широкой панорамы станицы перед глазами атамана замелькал рыжий глинистый откос глубокой выемки. Скорость движения сразу уменьшилась. Через минуту-другую состав еле тащился.
Архип Мартынович проводил глазами медленно уходящий назад верстовой столб, вспомнил, что от станции тащиться обратно целых две версты, и схватил с полки свой баул. Как прежде, в молодые годы, он решил спрыгнуть на ходу.
Но пока Тебеньков шел через вагон, расталкивая пассажиров, пока открыл пристывшую дверь, поезд перевалил высшую точку подъема и стал набирать ход. Вагон сильно потряхивало на стыках, внизу что-то скрипело, лязгало. С площадки бил встречный ветер. Открылся вид на расположенную в низине бурминскую лесопилку. Впереди показалась поднятая рука входного семафора.
«Эх, замешкался!» — с досадой подумал Тебеньков. В следующее мгновение — он не помнил, как это получилось, — его нога оттолкнулась от ступеньки вперед по ходу поезда, тело описало в воздухе некую дугу, и новоиспеченный член войскового правления уткнулся носом в сугроб. Прыжок, в общем, получился удачный. Тебеньков отряхнулся, подождал, пока промелькнет мимо последний вагон с не погашенным еще красным фонарем на задней площадке, подобрал баул и зашагал по шпалам до переезда.
Настроение у него было превосходное.

Домой он прошел переулком, что протянулся над самой рекой. Полюбовался заездком. Посмотрел, как вился дымок над железной трубой мельницы.
— Все живы-здоровы? Убытков не наделали? — спросил он, неожиданно для домашних открывая дверь своего дома.
— Архип Мартынович! — Егоровна так и присела. — Поезд ведь только прошел. Ты откуда взялся?
— Я в выемке соскочил. Договорился с машинистом, он тихий ход дал, — приврал Архип Мартынович, зная, что Егоровна будет по этому поводу целую неделю ахать и охать. — Микишка для заездка «морду» сготовил?
— Нет еще. Сегодня обещал закончить.
— Не беда. Ход сейчас так себе, — против ожидания Егоровны довольно миролюбиво заметил Тебеньков. — Муки по уговору дала им?
— Прибегала давеча Микишкина жена. Пришлось дать.
— То-то, — Архип Мартынович прошелся по горнице, расчесал у зеркала бороду. — Пока ты тут возишься с завтраком, я и Микишке схожу. Поторопить надо. Совесть у людей не больно велика.
И Архип Мартынович направился к соседу.
Никита Фомич, легко одетый, несмотря на морозец, как раз поил коня Приходько. Он вынес ему из избы целое ведро теплой воды; конь пил с жадностью, большими глотками. Его следовало бы напоить вечером, да Василий из-за позднего времени постеснялся спросить ведро, а хозяин не догадался предложить. Зато сейчас он без чувства собственного превосходства думал: «Что ни говори, а у крестьян нет казачьей сноровки. Разве ж казак позволит такое? Сам будет голоден, а коня накормит и напоит. Да еще укроет шинелкой от холода». Никита Фомич в эту минуту забыл, что на его дворе вот уже пять лет коней не бывало.
За такими мыслями его и застал неслышно подошедший сзади Архип Мартынович.
— С покупкой, Никита Фомич! Хозяйством, гляжу, обзаводишься. Давно пора, — не без иронии сказал атаман и взглядом знатока осмотрел коня. Он знал, что конь чужой. Но отчего не посмеяться над соседом? — Конишко-то староват, — безжалостно продолжал он, обойдя кругом и заглянув коню в зубы. — На задние ноги не припадает, не замечал?
— Резвый конек, по виду не скажешь, — сдержанно ответил хозяин двора и выжидательно уставился на Тебенькова. Вопрос о принадлежности коня он намеренно обошел.
— Егоровна говорит, «морду» ты закончить обещался. Надо поставить сегодня. И так задержались. Щиток верхний сделал? Или не догадался? — уже другим тоном осведомился Тебеньков и посмотрел на кучу тальниковых прутьев, лежавших в трех шагах от него.
— «Морду»?.. Сделал, как же. Вот она, забирайте, — ответил Никита Фомич и показал на прутья.
— Ты что, смеешься? — Архип Мартынович побагровел. — Я таких шуток не люблю, должен знать, Микишка.
— А я не шучу, Архип Мартынович. Я сущую правду говорю. — Никита Фомич настороженно следил за каждым движением Тебенькова; атаман был горяч и частенько давал волю рукам.
— Ах ты, сукин сын! Прощелыга! — завопил Тебеньков. — Муку небось не постеснялся — взял.
— Об этом жену мою спроси, почему она поторопилась. А у меня душа не лежала с самого начала. Незаконное дело затеял, Архип Мартынович, — с достоинством ответил Никита Фомич. И хотя Тебеньков, как задиристый петух, наскакивал на него, он не отступал ни шагу.
— Законное?.. Незаконное?.. Тебе, что ли, судить? Ты кто такой? Что за шишка на ровном месте? — хрипловатым тенорком выкрикивал атаман, смущенный, однако, спокойствием и твердостью соседа. — Я тебе этого не спущу, Микишка. Видит бог, не спущу.
— Да не в вашем обычае — спускать, я знаю, — спокойно согласился Никита Фомич и вдруг тоже озлился. — А ты чего орешь тут, на чужом базу? Чего кричишь, я ведь не глухой! — В свою очередь он стал наступать на Тебенькова, держа на отлете пустое ведро. — Вот турну тебя зараз, чтобы наперед потише был. Кончилась ваша власть!

Оторопев от неожиданности, Архип Мартынович попятился, отступая. Так друг за другом они прошли шагов десять и очутились у самого крыльца.
— Да ты что, Никита Фомич! Белены объелся? — Тебеньков уперся спиной в перильце и остановился. — Я ведь должностное лицо, — сказал он, обретая вновь подобающие ему осанку и достоинство. — Криком мы друг другу ничего не докажем. Разве нельзя по-хорошему договориться, по-соседски?
— По-хорошему? Ладно. — Никита Фомич поставил ведро на крыльцо. Он заметил, что атаман струсил, и это было приятно. — Не думай, что я сам по себе решил. Я ведь «морду» твою, будь она проклята, сделал. Сколько времени потратил. Да после топором порубил. Потому что справедливости на твоей стороне нет. Против общего интереса одному идти нельзя. Негоже это, Архип Мартынович, — и Никита Фомич довольно путано и бессвязно рассказал атаману о намерении казаков уничтожить заездок, — Да вот, кажется, вдут уже. Зараз твою городьбу поломают, — заметил он, услышав голоса и смех в переулке.
Архип Мартынович побледнел пуще свежевыпавшего снега, у него даже язык на некоторое время отнялся. Раскрыв рот, он жадно хватал губами холодный воздух.
— А-а-а!.. Разорить меня сговорились! Смутьяны! Большевики! — прорвался наконец из горла истошный крик, и он в бешенстве затопал ногами. — Ну, я же вам... Я вам!
На крик Тебенькова из избы вышли люди. Первым появился Ваня, затем жена Никиты Фомича, а за ней — Савчук, Чагров и Приходько. Тебеньков, оказавшись в окружении, сразу осекся. Щеки его после приступа бледности порозовели, кадык дергался, глаза лихорадочно бегали по лицам. Как ни был взвинчен Архип Мартынович, острый взгляд его примечал и военную осанку Савчука, и спокойно-насмешливое выражение глаз Мирона Сергеевича, и откровенное любопытство, написанное на простоватом, бесхитростном лице Приходько.
— Что за шум? — грубоватым тоном спросил Савчук, сверху вниз посмотрев на оторопевшего Тебенькова. Он возвышался перед атаманом как монумент.
— Мы с соседом тут поговорили. Да не сошлись по мелочам, — сказал Никита Фомич; в глазах у него заплескался смех.
Архип Мартынович воинственно задрал кверху бородку, внимательно посмотрел на Савчука.
— Что за люди? Откудова взялись? — спросил он привычным, начальственным тоном.
— А ты сам кто будешь? — дерзко ответил вопросом же Савчук, хотя Приходько успел шепнуть, что перед ним чернинский атаман собственной персоной.
— Я — станичный атаман, — с достоинством сказал оправившийся от замешательства Архип Мартынович. — Прошу предъявить документы!
— Пожалуйста! — Мирон Сергеевич сунул руку во внутренний карман замасленного пиджака и протянул Тебенькову свернутую осьмушкой бумагу — мандат от Хабаровского Совета. — Тут и цель поездки обозначена, — сказал он.
Пока Тебеньков сухими, желтыми от табака пальцами развертывал документ, Савчук грозным взглядом смотрел на него и легонечко барабанил пальцами по деревянному футляру маузера. Архип Мартынович прекрасно понял значение этого жеста. Сердце у него екнуло. Но у него все же хватило благоразумия не подать виду, как он перетрусил. Он нарочито долго читал бумагу, вернее, делал вид, что без очков плохо разбирает написанное. Тревожные мысли теснились в голове. «Значит, и сюда они добрались. Вот не было печали! Ага, по ремонту, стало быть. Ишь с какой стороны подъезжают...» Холодный пот выступил у него на лбу под папахой.
— Что ж, милости просим, граждане дорогие, — сказал он наконец, делая широкий приглашающий жест. — Плуги, бороны для починки у нас тоже сыщутся. Инвентаря, который в негодности, тут хватит. А от добра кто откажется? Будет вам полное содействие от станичного правления. — И Архип Мартынович повернулся к Никите Фомичу. — А ведь ты прав, сосед! Заездок придется сломать. Я против мнения казаков идти не могу. Ошибся, видать, спасибо людям — поправили. Так оно и должно быть. Так нашу новую жизню сообща и строить, — легко и быстро говорил Тебеньков, бегая взглядом от Савчука к Чагрову.

«Ну, хитер! Ну, изворотлив!» — думал Чагров, не без удивления наблюдая новый для него экземпляр человеческой породы. Тебеньков представлялся ему действительно опасным и сильным противником.
— Железных изделий нынче мало. Голод. А цена какая будет лемехам? — допытывался Архип Мартынович. — Вам в розницу торговать расчета не будет. Накладной расход. Убыток.
Снизу от реки донеслись удары пешней о лед. По переулку с криком и гамом неслись ребятишки.
— Однако оденемся да пойдем. А то без нас там скучно, поди, — откровенно смеясь над попыткой Тебенькова навязать себя арсенальцам в посредники, предложил Никита Фомич.
— Пойдем! Оно и сподручнее, ежели сам хозяин. Пойдемте, граждане, — не моргнув глазом, сказал Тебеньков, будто в горячую, страдную пору приглашал всех к себе на помощь.
Он забежал в свой двор, схватил железный ломик и рысцой потрусил по крутому спуску к реке. Его появление произвело как раз то самое впечатление, на которое он рассчитывал. Когда он показался из-за баньки с ломиком на плече и решительно зашагал к небольшой группе казаков, возившихся у края заездка, сверху раздался предостерегающий женский возглас:
— Ой, казаки, Тебенько-ов!
— Неужто драться станет? — неуверенно спросил кто-то.
Казаки делали вид, что не замечают приближения атамана. Архипу Мартыновичу это особенно не понравилось.
— Бог помощь, станичники! — крикнул он громче обычного, чтобы привлечь внимание. И упрекнул: — Вот ведь не могли меня дождаться!
— Да думали управиться сами, Архип Мартынович. Не затруждать, — насмешливо сказал молодой казак, который был одним из главных зачинщиков.
Атаман смерил его гневным взглядом.
— Не болтай, пришел ведь дело делать! — и яростно ударил ломиком об лед.
Архипу Мартыновичу казалось, что не ледяные осколки летят во все стороны из-под острия, а рушится вся его, тебеньковская, жизнь, сверкают радугой под солнцем его разбитые, несбывшиеся мечты. Но мало-помалу атаман поостыл, в голове у него прояснилось, и положение перестало казаться ему таким безнадежным. Он стал зорко присматриваться к казакам, примечать поведение каждого, даже порадовался тому, что подоспел вовремя. Для его планов надо было знать действительное настроение станичников. Стоило пожертвовать ради этого даже заездком.
Пока шло разрушение заездка, Архип Мартынович переходил от одной группы казаков к другой и в каждом месте терпеливо объяснял, почему он ошибся.
— Дела, общественные дела! Голову прямо как застило. Из-за того и убыток терплю. Да бог с ним! Зато с людьми не в ссоре. — Он был так кроток, выражал такую готовность подчиниться общему решению, что казаки только переглядывались. Никто не узнавал атамана. Все гадали, отчего это с ним приключилась такая перемена? А Тебеньков как ни в чем не бывало шутил, смеялся. Казалось, он больше других был доволен тем, что тут происходит. Он так вошел в роль, что опять начал командовать и покрикивать.
— Веревку сюда надо, колья расшатывать. Беги-ка, парень, во двор ко мне. Скажи Егоровне, — говорил он в одном месте. Через минуту в другом конце заездка слышалось:
— Фашинник под лед спускайте! На кой ему тут мусором лежать.
Вскоре с заездком было покончено, истоптанный снег покрылся разбросанными повсюду прутьями, кольями. Чернушка весело бурлила в свежих прорубях.
На душе у Архипа Мартыновича, несмотря на наигранную веселость, было мрачно. От голода и всего пережитого ломило под ложечкой. Перенести до конца свое унижение было нелегко.
Когда последняя группа казаков стала подниматься на яр, Архип Мартынович повернулся к ним спиной и сделал вид, что с интересом созерцает реку. Он знал, что люди будут оглядываться на него, и хотел еще раз продемонстрировать свою безучастность к случившемуся. Но в фигуре его, помимо желания, заметна была пришибленность. И это всем бросилось в глаза.

Подождав немного, Архип Мартынович поболтал для чего-то ломиком в проруби, вздохнул и устало поплелся по тропке на свой баз. Теперь уже не было нужды скрывать свои чувства. На перелазе, едва Тебеньков занес ногу над жердочкой, его чуть не сбил с ног дворовый пес Полкан, на всякий случай спущенный Егоровной с цепи. Архип Мартынович пинком отбросил его. Но пес опять забежал вперед и ошалело, с игривым повизгиванием кинулся ему на грудь. Архип Мартынович сдернул с плеча ломик, молча развернулся и наотмашь изо всех сил ударил собаку по передним лапам. Полкан сразу осел на снег, дикий собачий вой разнесся по двору.
Егоровна выбежала на крыльцо, когда Архип Мартынович с грозным видом поднимался по ступенькам. Он швырнул ей под ноги лом и молча прошел в дом. Егоровна поставила ломик в угол, подошла к собаке, ползавшей на снегу. На руках перенесла ее к конуре возле крыльца. Пес тихо скулил, лизал ей руки. Но он сразу зарычал, как только она попыталась ощупать повреждение. Впрочем, и так было ясно, что правая нога у собаки перебита начисто.
«Ах, изверг! Собака ему помешала, скажи на милость!..» — с давним раздражением подумала она. Полкан был отличным сторожем, и Егоровна ценила его.
— Покалечил Полкана, совести, видно, у тебя нет, — сказала она со слезами в голосе, вернувшись в горницу.
Архип Мартынович весь затрясся, лицо его так сильно исказилось, что Егоровна испуганно отшатнулась. Она подумала, что мужа хватил удар.
— Молчи! Я пса твоего изничтожу и тебя тоже, — рявкнул не своим голосом Тебеньков, сорвал со стены винтовку и выбежал во двор. Тотчас там один за другим грянули два выстрела. Собачий вой оборвался.
Архип Мартынович, не глядя на жену, притихший после внезапной вспышки, прошел в комнату и начал разбирать и чистить винтовку. И, странное дело, холодок металла, осязаемый пальцами, окончательно успокоил его не в меру расшалившиеся нервы. Архип Мартынович присел у стола и глубоко задумался.
А на кухне, в уголке, прижавшись лицом к стене, беззвучно плакала Егоровна.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

После отъезда Архипа Мартыновича у Смолина продолжалось гулянье. В обоих домах ночь напролет светились окна. На улицу вырывались разухабистые песни, топот, пьяная ругань. У изгороди позванивали уздечками оседланные кони.
Смолин был очень удивлен тем, что есаул Калмыков так неожиданно и быстро пошел в гору. Шутка ли, исполнять обязанности войскового атамана! И что такое есть в нем? Сколько, однако, Смолин ни ломал голову, никаких достоинств в своем квартиранте обнаружить не мог. Это смущало и раздражало одновременно. Затем практичный домовладелец сообразил, что из создавшегося положения можно извлечь выгоду: он сразу переменил свое отношение к квартиранту.
Смолин был ловок в делах, изворотлив и жаден; поговаривали, что его богатство нажито прямым преступлением. Когда-то, охотясь в тайге, он подстерег и убил удачливого искателя женьшеня. Да и позднее он не раз выходил с берданкой на потайные тропы. Этому охотно верили... и все же Смолина уважали и боялись, как человека сильного. Он никому не был, должен, но зато многие в маленьком городке были в долгу у него.
Не лебезя перед Калмыковым чрезмерно, Смолин разговаривал теперь с ним тоном самым почтительным, атаману ни в чем не перечил и пожелания его выполнял быстро. Смолин оказался незаменимым человеком. Неведомо каким путем он доставал запечатанные сургучом четверти со смирновской водкой, очищенный спирт, коньяк. На дворе у него резали гусей, кололи раскормленных кабанчиков.
Заметив однажды косой взгляд; брошенный Калмыковым на Агашу, Смолин счел за лучшее убрать пока строптивую батрачку с глаз атамана. Он разгадал мстительный и злобный характер Калмыкова. «Еще сотворит чего с девкой, дуракам закон не писан», — подумал он и тут же подал Агаше знак, чтобы она вышла из комнаты.
Смолин взял девушку в дом несколько лет назад, после смерти ее отца, одевал, кормил, нагрузил до отказа работой, но позабыл платить за нее. Агаша так и батрачила за еду и жилье; сперва она жаловалась соседям на свою судьбу, потом перестала — куда денешься?

Терять даровую работницу Смолину не хотелось.
— Ты, девка, поезжай к моему братану, Иннокентию. В молотьбе пособишь, что ли. Вертеться тебе тут не следует. Поняла? — сказал он, хмуро и неодобрительно глядя на Агашу.
— А я сказала: полезет он еще, так в поганом ведре прохвоста утоплю! — с вызывающей смелостью отозвалась девушка.
— Ду-ура, ты меня утопишь, не только его. — Смолин не знал, как вести себя в таком случае. Смелость и независимость батрачки вызывали у него какое-то сложное и противоречивое чувство. — Запрягай гнедого и поезжай. Я тебе сто раз говорить не буду. Да не болтай там, чего не положено.
Агаша собрала вещи, запрягла коня. Она несколько раз с вызывающим видом прошлась перед окнами Калмыкова и уехала.
А Смолин с отъездом Агаши забеспокоился: положение войскового правления перестало казаться ему прочным. Он подсчитал произведенные расходы, прикинул лишку и направился за расчетом в войсковую канцелярию.
Канцелярией управлял Мавлютин. По его указаниям писцы строчила множество бумаг, которые рассылались по округам и станицам с конными нарочными. Создавалась видимость напряженной работы. Но Мавлютин был достаточно трезв, чтобы видеть, как повсеместно строевые казаки уклоняются от явки в полк, хотя приказы об этом были изданы наистрожайшие. Более того, за одну последнюю ночь из полка и конвойного эскадрона дезертировало с десяток человек. Рядовые казаки открыто выражали недовольство действиями своей верхушки.
Особую те симпатию казаков вызывало стремление советского правительства покончить с войной. Четырехлетняя кровопролитная война принесла этим людям столько страданий, что никакая ложь не могла уже скрыть от них истинного значения декрета о мире, подписанного Лениным. К разноречивым сведениям о ходе мирных переговоров в Бресте казаки прислушивались с величайшим вниманием.
Мавлютин понимал опасность такого рода настроений.
— Скажите, полковник, вы в самом деле не верите, что большевики хотят мира? — прямо спросил его один из работавших в правлении войсковых старшин. Это был пожилой, рассудительный человек с солидным военным образованием.
— Нет, мира они добиваются искренне. Но я не хочу их мира, понимаете! Мир — это гибель для нас, — ответил Мавлютин, полагая, что в данном случае можно быть вполне откровенным.
Войсковой старшина покачал головой и ничего не сказал. На другой день стало известно, что он уехал к себе домой.
К тому же и местный Иманский Совет не терял времени даром. Иманские большевики вели агитацию не только среди железнодорожников и рабочих лесозавода, среди крестьян уезда, — их представители все чаще появлялись в казачьих станицах и в самом иманском конвойном эскадроне. Под боком у войского правления проходил обучение иманский отряд Красной гвардии. И с этим скрепя сердце приходилось мириться. Правленцы понимали, что попытка разоружить местных красногвардейцев завела бы их слишком далеко. Они не чувствовали себя достаточно сильными для того, чтобы первыми бросить вызов.
Приход Смолина за расчетом, как тот ни хитрил, ссылаясь на неотложный платеж, показал Мавлютину, что их шансы удержаться здесь расцениваются невысоко даже такими богатеями. Это его встревожило, и он решил серьезно поговорить с атаманом. Для разговора Мавлютин выбрал утренний час, чтобы застать Калмыкова трезвым.
Но уже подходя к воротам смолинского дома, Мавлютин понял, что расчет не оправдался. По меньшей мере десяток голосов горланило на всю улицу; в чьих-то неумелых руках коротко взвизгивала гармошка.
— Атаман давно встал? — хмуро спросил полковник у Варсонофия Тебенькова, который в это утро был дежурным офицером.
Тебеньков поднялся, козырнул.
— Да мы еще не ложились, — сказал он.
Два дня тому назад приказом Калмыкова Варсонофий был произведен в следующий офицерский чин. Несмотря на хмельную ночь, на дежурство он явился новенький,

отутюженный; на нем блестели ремни, пряжки. Щеки его горели румянцем. Он гордился положением доверенного человека при войсковом атамане. В его гордости было много смешного, но он этого не замечал. Даже прежнюю мальчишескую болтливость Варсонофий пытался уложить в рамки, усвоив себе новую манеру разговаривать — четко, коротко и командным тоном.
Накануне вечером Варсонофий и его дружок возвращались из разъезда. В железнодорожном поселке через улочку метнулась чья-то тень. Офицеры стегнули коней и погнались за убегающим. Человек попытался уйти от них огородом. Варсонофий первым подскакал к забору, прицелился из нагана. Они выпустили по пять пуль, пока попали в убегающего. Человек взмахнул руками и рухнул в снег.
Возбужденно переговариваясь, офицеры объехали кругом забор и приблизились к месту, где лежал упавший.
— Подержи, пожалуйста, повод, — сказал Варсонофию его спутник, спрыгнул на снег и повернул убитого вверх лицом.
Перед ними был мальчишка лет четырнадцати.
— Ошибочка вышла. Зря парня ухлопали.
— Нашел о чем жалеть. Мало ли что случается? — Варсонофий явно бравировал спокойствием.
— Постой. Может, он живой еще? — спутник Тебенькова взял у него обратно повод, но не решался сесть на коня.
— Живой, так скоро замерзнет, — ответил Варсонофий и поехал прочь.
Теперь, на дежурстве, это событие еще раз промелькнуло в его памяти, не потревожив особенно совести. Хуже было то, что вокруг инцидента поднялся шум. Калмыков, когда Варсонофий доложил об этом, пренебрежительно махнул рукой: «Ер-рунда! Не то будет...» Человеческая жизнь для него не представляла ценности.
Из горницы, где находился Калмыков, вдруг гурьбой повалили его собутыльники.
— Что такое? Куда уходите? — спросил Тебеньков у толстяка с обвисшими рыжими усами.
— Тсс! Совещание!.. — толстяк предостерегающе прижал палец к губам, гаркнул: — Братия-шатия, айда к Алешке Смолину! Пусть раскошеливается, сукин сын!.. После недавнего шума и крика в доме стало особенно тихо. Из-за двери доносился хриплый, испитой голос Калмыкова. Варсонофий насторожил уши.
— Ну что скажешь, полковник? Ты по какому это праву выпроводил их? Я здесь атаман, — недовольным голосом выкрикивал Калмыков, приподнимаясь на носки и покачиваясь перед Мавлютиным. Воздух с шумом и свистом вырывался у него из груди. С лица не сходило сумрачное выражение.
В последние дни окружающие наперебой заискивали перед ним. Калмыков пыжился, надувался, тянулся изо всех сил, чтобы казаться хоть чуточку повыше. Его малый рост, служивший мишенью для злых шуток однополчан, причинял ему немало огорчений. Мавлютин поморщился оттого, что Калмыков, бывший лишь в чине есаула, обращается к нему, полковнику, подчеркнуто на «ты».
— Обстановка осложняется, господин атаман. Нам следует посоветоваться о мерах защиты.
— Что?.. Ты думаешь тут удержаться?.. В этом паршивом городишке... Брось! — Калмыков покачал головой. — Да если большевики пришлют сюда хотя бы роту, придется дать тягу. За кордон! Я, брат, не дурак. Не-ет!.. Между прочим, советую тебе, полковник, приготовиться к эвакуации. Упакуй дела, ящик с казной, войсковую печать. Чтобы все было под рукой, — сказал он затем неожиданно трезвым голосом. И Мавлютин впервые подумал, что атаман, пожалуй, не такой уж дурак. Он решил внять совету Калмыкова, чтобы не оказаться застигнутым врасплох.
Калмыков, вероятно, догадывался об отношении Мавлютина к нему. Он посмотрел на полковника и сказал:
— Не будь умнее начальства, это — воз-бра-няется! — Качнулся, уставился опять на него ненавидящим взглядом. — Тебе, слышь, полковник, дороги потому и нет, что ты шибко умный. Ха-ха! Думаешь, я не знаю! Ты ведь шельма... — Погрозив Мавлютину пальцем, Калмыков опять протиснулся за стол. — К черту дела! Зови остальных.
Варсонофий Тебеньков, придерживая рукой шашку, побежал в новый дом Смолина.

К середине дня Калмыков, которого мутило от выпитого вина, выбрался на двор подышать свежим воздухом.
— Что за дьявол! — Он уставился на небо: в небе висело три солнца.
— Это к ветру, ваше превосходительство. Завтра ветер ждать. Должно быть, с утра подуст, — сказал оказавшийся рядом чернобородый казак с плутоватым, цыганского типа лицом. Он намеренно величал Калмыкова как персону генеральского звания.
— А, ветер!.. Ну ладно, братец, ступай, — Калмыков разрешающе махнул казаку рукой и громко икнул. — Ветер, ветер... — недовольно бормотал он, возвращаясь обратно в дом.
Но еще раньше ветра калмыковцев начисто вымела из Имана пулеметная стрельба, раздавшаяся перед рассветом со стороны вокзала. Это выступил по призыву Иманского Совета местный отряд Красной гвардии, поддержанный прибывшим со станции Муравьев-Амурской сводным отрядом матросов Сибирской флотилии и красногвардейцев-железнодорожников.
Машинист тихо, без огней, привел на станцию состав из нескольких платформ и пяти теплушек. Как обычно, у вспомогательных поездов передние платформы были завалены шпалами и рельсами. За ними и укрылись расчеты двух пулеметов «максим».
Когда казаки дежурного взвода, удивленные приходом поезда в неурочный час, высыпали из вокзального помещения на перрон, с платформ по ним ударили длинными очередями. Стреляли нарочно поверх голов. Этого, однако, оказалось достаточно: казаки бросились врассыпную. В железнодорожном поселке их встретили огнем местные красногвардейцы. Возле лесозавода в это время обстреляли казачий патруль.
Через пять минут стрельба подняла на ноги весь калмыковский гарнизон. Никто не помышлял о сопротивлении. Когда красногвардейцы, заняв вокзал, начали продвигаться к центру города, калмыковцы ринулись, в сторону границы. Атаман прежде других.
Утром редкая цепь красногвардейцев беспрепятственно прошла через Иман до станицы Графской, что расположена на самой границе.
...Варсонофий не слышал ни стрельбы, ни поднявшейся при этом паники: он спал крепким, безмятежным сном.
Смолин растолкал его самым бесцеремонным образом.
— Слышь, парень! Беда. Пришли большевики, — говорил он, сильно встряхивая Тебенькова за плечо.
— А?.. Что? — Варсонофий спросонья никак не мог понять, где он находится и что с ним.
— Я форму твою прибрал. Ты надень полушубок да спускайся в подвал, от греха подальше, — продолжал Смолин, еще раз встряхивая не ко времени разоспавшегося квартиранта. — Придется тебе день-другой посидеть взаперти. Под горячую руку попадаться не следует.
— Погоди. А наши где? Мне тут нельзя оставаться, — Варсонофий вдруг вспомнил про убитого мальчика, испугался за себя, затрясся.
— Эге, хватился! Поди уж в китайской харчевне сидят, ханшин пьют, — сказал Смолин. — Я сперва-то кое-что прятал, забыл про тебя. Думаю, задал и ты стрекача. Вернулся в избу, слышу: мычишь, будто телок. Давай будить. Надо же так случиться! Перед Архипом Мартыновичем я за тебя в ответе.
— Как все произошло?
— Да обыкновенно. Поднялась вдруг стрельба... — Дальше рассказывать Смолину не пришлось: послышался сильный стук в ворота. Собаки во дворе подняли лай. — Вот пришли и по мою душу! — заметил Смолин, впрочем, без особой робости.
Тебеньков поспешно нырнул в подполье и чуть не разбил себе лоб.
Днем Смолин на короткое время выпустил его наверх, сообщил с озабоченным видом:
— Скверная, парень, история получается. Ищут тебя. Мальчонку ты какого-то стрелил, что ли?
— Это не я, это другой убил, — поспешно сказал Варсонофий дрожащим, испуганным голосом. — Что же теперь делать? Что делать?
Смолин мрачно покачал головой.
— Вот уж не знаю, — изрек он, задумчиво пощипывая бороду. — Если тебя тут задержат, мне тоже несдобровать. Попробую распустить слух, что ты сбежал за границу. Тебе туда в самый раз было податься.
Дня через три Смолин сказал:

— Ну, будто улеглось. Калмыков с остальными подался в Пограничную и Гродеково. Там им действительно сподручнее. Думают, что и ты с ними. Слава богу... Вот тебе на выбор две дорожки: либо за границу уходи, либо к отцу езжай. Есть у меня знакомый главный кондуктор. Довезет.
Варсонофий выбрал второе.
2
В Черлинскую он прибыл со всеми предосторожностями: сошел с поезда не на своей, а на предыдущей станции и ночью пешком отмахал десять верст, отделявших его от дома. Он был рад, что никого не встретил на улице.
На стук дверь открыла Егоровна.
— Господи, дождалась-таки! — она всхлипнула у него на груди, посторонилась. — Проходи. Ты каким это поездом? — и чиркнула спичкой.
— Погоди, мать. Я ставни закрою, — сказал Архип Мартынович; по выражению лица сына он догадался, что тот предпочтет, чтобы его прибытие домой оставалось в тайне. — Значит, разбежались, ерои? — без насмешки спросил он, вернувшись в горницу.
Вести о финале иманских событий опередили Варсонофия.
— Ничего нельзя поделать, батя. Сила солому ломит.
— Ломит, ломит, — Архип Мартынович насупился. — Пьянствовали, поди, без просыпу?
— И это было, батя. Было, — улыбнулся Варсонофий. Впервые за последнюю неделю он почувствовал себя в относительной безопасности.
— Всыпать каждому по полсотне горячих. Небось поумнели бы, — Архип Мартынович сердито оборвал смех сына.
— А вы тут как живете? — помолчав, спросил Варсонофий.
— Живем... — неопределенно протянул Архип Мартынович, помолчал и крикнул: — Грабят нас, слышь! Грабят...
Он рассказал сыну о заездке, о новой беде, случившейся только вчера.
— Ездил я на ту сторону. Спирту привез банчков двадцать. Для продажи рабочим с лесопилки. А утром нагрянула корчемная стража как снег на голову. И шасть прямо в омшаник. Свой кто-то доказал.
— Микишкиных рук дело, — со злобой заметила Егоровна. Она собирала на стол; Варсонофий заметил, что руки у матери дрожат.
— Может — его, может — нет. У меня неприятелев тут много. Люди — завистники, — сказал Архип Мартынович, и глаза его сверкнули. — Знаешь, кто корчемниками командует? Васька Ташлыков — левченковский конюх. Этот здесь всю подноготную знает. А сынок Алексея Никитича у него в подручных.
— Саша?.. Не может быть! — усомнился Варсонофий.
— Я тебе точно говорю: он. Мы сперва с ним за руку поздоровались, потом он банчки штыком пороть начал. Все вино на снег вылили. До последней капли. — Архип Мартынович захлебнулся горестным вздохом. — А после Васька Ташлыков говорит: снег на этом месте с навозом смешать надо. Я было думал кое-что собрать. Как в мыслях у меня читал, сукин сын!
Они сели за стол, молча чокнулись стаканами и молча выпили. Варсонофий проголодался, ел с аппетитом.
— Алексей Смолин здоров? Жена у него не померла? — после паузы спросил Архип Мартынович. Он снова наполнил стаканы до краев.
— Болеет. Ее и не слыхать! — Варсонофий единым духом осущил посудину, закусил соленым огурцом. — А Смолин, батя, с другими за компанию в петлю не полезет.
— Я знаю, — Архип Мартынович мотнул головой. — Иннокентий — тот проще. Да будто я погорячее. Мы с ним на службе такое вытворяли... Эх, обидели меня, сынок! Кровно обидели.
— Вашу обиду, батя, я Сашке не прощу. — Варсонофий стукнул кулаком по столу, посуда задребезжала. Ему вспомнилась стычка с Сашей на встрече Нового года у Парицкой.
— Не связывайся ты с ними, ради бога. Сиди уж, — сказала Егоровна, переставляя чашки подальше от края стола. Она не любила и опасалась драк; боялась, чтобы не пострадал близкий человек.

— Нет, не прощу! — Варсонофий посмотрел на отца и в глазах у него прочел одобрение. — Они где квартируют, корчемники? Много их?
— На нашем участке три человека. Ездят больше по двое. — Архип Мартынович закурил папиросу, предложил курить сыну. — Живут у старовера на хуторе. На отшибе, значит, — тут он понизил голос, чтобы не услышала Егоровна: — Был насчет тебя телеграфный запрос.
— А-а!.. Я не жалею, батя. Нисколько, — сказал Варсонофий. Вино придало ему храбрости. Однако сообщение было не из приятных. Он коротко рассказал отцу о случае с мальчишкой.
Архип Мартынович задумчиво пожевал янтарный мундштук, которым всегда пользовался при курении.
— Все-таки дома тебе оставаться нельзя, — рассудительно заметил он. — Переберешься за кордон, будешь жить пока у купца. Я с ним на такой случай договорился. Потом свяжешься с Соловейчиком. Он тебя наставит, как дальше быть. Это мой старый знакомый, курсирует тут по границе. Ну, еще по одной! Когда теперь придется вместе сесть за один стол?..
Третий стакан разобрал и Архипа Мартыновича. Пьянея, он становился мягче, утрачивал обычную свою суровость.
— Ты не реви, дура-а-а, — Тебеньков ласково потрепал жену рукой по плечу. — Ну что теперь делать? Будет скоро переворот, Варсонофий вернется. Жив-здоров и с почетом. Служба перед ним откроется. — Архип Мартынович верил, что переворот неминуемо наступит, возвратятся прежние порядки, и уж тут-то он развернется! Эта вера поддерживала и питала его оптимизм.
Тебеньков умел при нужде стать добродушным, спрятать когти. После истории с заездкой его будто подменили. Но в своей семье Архип Мартынович не находил нужным таиться. Взволнованный предстоящим расставанием, подогретый винными парами, он принялся наставлять Варсонофия:
— Ты, сынок, одно пойми: чем отличается человек от зверя? Скажешь, тем, что на двух ногах ходит, разговаривает, книжки читает? Ерунда!.. Человек понимает пользу хозяйства, а зверь — нет. Хозяйство — это все!.. — сказал он с необычайной убежденностью. — Зверь без хозяйства живет, а человек — подохнет. Вот ты и держись за хозяйство, коли хочешь человеком быть. Тяни домой разное добро. В этом твоя человеческая сущность. Уразумел, а?..
...Утром совершенно неожиданно явился Кауров. На этот раз он был одет под мастерового: суконные брюкв, пиджак е чужого плеча, немудрящая облезлая шапчонка.
— Вот и свиделись мы, Варсонофий! — сказал он с кислой улыбкой, бросив на лавку мятое пальто. — Ты из Имана, я из Хабаровска: везде нашему брату худо. Взялись за нас большевики! Меня чуть не ухлопали, еле удрал... Ради бога, дай стакан водки! В горле страшная сушь...
Не закусывая, он завалился спать и проснулся поздно.
Узнав о намерении Варсонофия рассчитаться с Ташлыковым и Сашей Левченко, Кауров обещал свою помощь.
— Надо обоих живьем взять. Непременно. Устроим прощальный разговор. — Кауров хищно осклабился. — Однако киснуть в китайской лавчонке я тебе не советую. Будем пробираться в Харбин.
Пропели вторые петухи, и они выехали со двора, сопровождаемые Архипом Мартыновичем.

3

Старовер — вдовый старик неопределенных лет — жил на хуторе, возле самой границы. Место было открытое и веселое. Хутор с довольно многочисленными хозяйственными постройками располагался в излучине Уссури. Река и берег просматривались отсюда на большом расстоянии.
В полуверсте от хутора начинался поселок с единственной улицей, протянувшейся вдоль берега. В половодье река заливала низину между хутором и поселком; сообщение тогда поддерживалось на лодках, или надо было делать верст семь крюку. В поселке жили три сына владельца хутора; после женитьбы они один за другим выделились из отцовского двора. Двух дочерей старик незадолго перед войной тоже выдал замуж и остался один.

Батраки у него были из поселка и ночевать уходили домой. Старик жил на хуторе в полном одиночестве. Говорили о нем в округе разное.
Василию Ташлыкову хутор приглянулся как удобное место для наблюдения за прилегающим участком границы. Обзор тут был верст на восемь. Он знал также, что поблизости пролегают тропы контрабандистов. Да и сам старик казался ему подозрительным.
Неделю назад Василий побывал здесь, осмотрел участок и теперь в сопровождении двух молодых конников, одним из которых был Саша Левченко, направлялся сюда нести службу. Оба его товарища впервые выезжали на границу. Боясь пропустить что-либо важное, они вертели головами, глядели по сторонам.
Саша думал о так внезапно происшедшей перемене в его положении, подмечал и оценивал красоту пейзажей, открывавшихся перед ними по мере того, как дорога уходила все дальше и дальше от города.
Левый, китайский, берег на большом протяжении был низменный, изрезанный множеством проток и стариц. Высоко на кустах следы ила, песка и разного мелкого мусора, оставленного минувшим наводнением.
Дорога была занесена снегом, местами на нее вышла наледь, покрытая тонкой корочкой льда.
Впереди показалась большая полынья, следы полозьев обрывались как раз на краю ее. Василий взял палку и, прощупывая ею крепость льда, пошел искать дорогу в обход.
— Придется проехать над берегом, — сказал он, вернувшись. — Лед ненадежный. Видно, тут сильное течение.
Он взял коня за узду и, притаптывая снег, пошел вдоль береговой кромки. Повыше снега кора тальников была почти начисто обглодана — это потрудились зайцы, их следы встречались тут на каждом шагу. Кое-где яр, подмытый рекой, обвалился; обнажились корни деревьев.
Сажен через сто они снова выбрались на дорогу.
Долина расширилась. Большая часть ее была покрыта лесом.
Василий торопился поскорее добраться на свой участок. Он облегченно вздохнул, когда впереди показался хутор.
— Вот здесь, ребята, нам жить. Я договорился с хозяином, — с этими словами Василий повернул коня.
Саша с любопытством огляделся вокруг. Перед ним простиралась равнина, занесенная снегом. Кое-где торчали пучки буро-желтой травы, сухие стебли полыни или зонтичных растений. С другой стороны виднелась осиновая роща, а дальше чернел лес.
Солнце прошло большую часть пути и теперь низко плыло над безлесным китайским берегом.
Неизвестно, каким путем Василию удалось повлиять на хозяина, но он разрешил им занять под жилье давно пустовавшую старую избу. Он даже продал им стожок сена и кулей пять овса.
Старик был немного глуховат, а может, прикидывался таким. Если требовался топор или ломик разбить лед в проруби, приходилось два-три раза повторять просьбу.
— Ась?.. Что? — спрашивал он, а поняв наконец, о чем шла речь, молча указывал место, где лежала нужная вещь.
— Ну, выбрали местечко! Старик определенно шельма. Почему с ним никто из собственных детей не живет? — не скрывая своей неприязни к хозяину, говорил третий боец.
Саша был с ним согласен.
— Бог шельму метит. И нам зевать не надо, — посмеиваясь над опасениями своих товарищей, заметил Ташлыков. — Сюда, ребята, много разных концов тянется.
Ташлыков поразительно быстро установил связи с местными жителями, разузнал, кто чем дышит. Пока молодые бойцы ремонтировали избу, устраивали коновязь, пока печник из Чернинской перекладывал печь, Василий уже со многими в поселке был на короткой ноге.
Неразговорчивый, вечно хмурый хозяин тоже охотно беседовал с ним.
— Вы что, контрабанду здесь ищете? Нету тут ничего, — сказал он в первый вечер, понаблюдав, как устраиваются на житье его квартиранты.

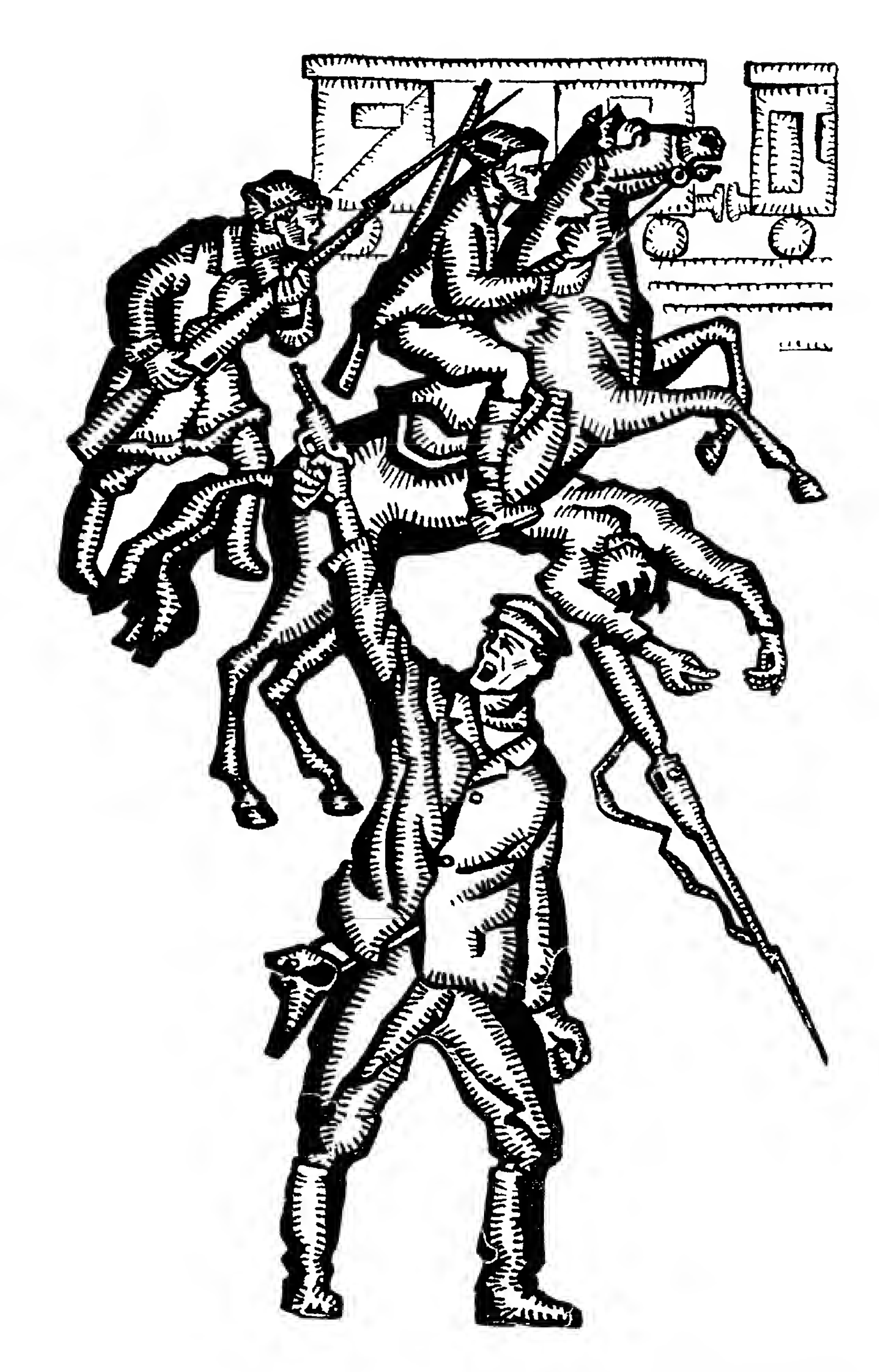
— А ты почем знаешь? — спросил Василий.
— Я, мил человек, на три аршина в землю вижу, — похвастал старик.
— В землю видишь, а что на земле делается — не разбираешь, — спокойно ответили ему.
У Саши создалось впечатление, что старик не без задней мысли присматривается к ним. Но о подозрениях своих он пока никому не стал говорить.
Отправляясь на границу, Саша думал, что время у них будет занято непрерывными разъездами, сидением в «секретах», погоней за контрабандистами. Но все оказалось гораздо проще.
Дней пять они безвыездно просидели на хуторе. Затем среди бела дня Василий устроил обыск во дворе одного из поселковых богачей. Владелец двора клялся и божился, что контрабанды у него нет. Пока Василий с завидным терпением слушал его, Саша через узкую отдушину полез под амбар: на сухой земле там аккуратными рядами стояли банчки со спиртом.
— Значит, не твое добро? Бог, видно, послал, — насмешливо сощурив глаза, спросил Василий. — Тогда, ребята, вылейте жидкость на снег. Пусть ею сам бог и пользуется.
Хозяин только зубами скрипнул.
Иногда Ташлыков с Сашей или Саша с третьим бойцом проезжали дозором по участку. Делалось это в разное время суток, без всякой видимой системы (в том и состояла хитрость Ташлыкова). Василий умудрялся совершенно неожиданно появляться там, где его никак не ждали. Этим он удачно компенсировал недостаток сил для охраны такого обширного и сложного по рельефу участка. Саша начал понимать, что куда чаще открытых действий на границе встречаются тайные, невидимые ходы, хитрость. Он удивлялся Василию: тот чувствовал себя здесь в родной стихии.
После обыска у Тебенькова Василий послал третьего бойца в город, наказав возвращаться как можно скорее. Они с Сашей остались вдвоем.
Саша подбросил коням сена и пошел в избу. Еще на крыльце он услышал громкий, насмешливый голос Василия.
— О чем это вы теперь? — спросил Саша.
— Да вот спорим: есть бог или нет, — усмехаясь, сказал Василий.
— И до чего дошли?
— Не порешили еще. Вроде бы и должен быть, хозяин так полагает. Но присмотришься — незаметно... И что за бог, когда зло терпит?
— Зло от диавола, — сердито перебил старик.
— От диавола? Допустим, — Ташлыков лукаво усмехнулся. — Бог всемогущ, а вот черта одолеть — не может. Не справится!.. Как же это понимать, а?
— Диавол допущен в наказание людям за грехи отцов, — возразил старик.
— Наказание?.. А попы говорят, бог добр. Добр и — наказание. Да еще за чьи грехи — ада-мо-вы!
— О попах спору нет, — старик насупился, сердито махнул рукой. — Попы — обманщики. Бога надо в душе чувствовать.
— А душа — что такое? Ее ведь тоже по-разному можно понимать.
Логика была сильной стороной Василия. Старик, чувствуя, что его начали прижимать к стене, рассердился, начал плеваться, вскочил и убежал.
— Я этого человека все-таки словлю. И бог ему не поможет, — сказал Василий, когда шаги старика перестали быть слышными.
Он развернул кисет и стал свертывать из газетной бумаги папиросу. Ему давно хотелось курить, но старик совершенно не терпел табачного дыма. С этим приходилось считаться.
— Утром мы с тобой в Чернинскую поедем. Пораньше надо встать, — продолжал Василий, прикуривая от уголька, захваченного рукой прямо из печки. — Там кончик один следует подхватить.
Рано поутру они встали, позавтракали и собрались ехать. Саша посмотрел на него.
— Кажется, погода начинает портиться. Как, Василий Максимович?
— Погода? — сказал хозяин, выйдя вслед за ними во двор. — Это я, парень, могу сказать. Ошибки не будет. Меня за это астрономом прозвали.
Он внимательно поглядел на небо, подумал, поморгал глазами, лениво произнес, как бы взвешивая каждое слово:

— Кто ж его знает? Если ветер подует, то, может, и разгонит тучи. Опять же и нагнать ненастье может... Я так насчет погоды полагаю: либо распогодится, либо снег пойдет.
— Да ты, папаша, на все случаи сразу загадываешь, — рассмеялся Саша.
— Так оно, парень, лучше. Не прошибешь, — невозмутимо ответил хитрый старик.
Он опять оглядел серое от туч небо, потянул ноздрями воздух, но так и не пришел к определенному заключению о прогнозе погоды на предстоящий день.
— Когда домой вернетесь? — спросил старик, закрывая за ними ворота.
— Да, должно быть, к обеду. Разве припозднимся чуть, — ответил Василий и повернул коня в сторону, противоположную той, куда они на самом деле намеревались ехать.
Лишь за рощей осинника, когда владелец хутора уже не мог их видеть, Василий пустил Нерона прямо по снежной целине. Час спустя они выбрались на торную дорогу в Чернинскую.
Дальше дорога шла лесом. Саша вертел головой, старался угадать породы деревьев и кустарников. Но это оказалось нелегким делом. Кусты, лишенные листвы, делаются похожими друг на друга; даже хорошо знающий местную флору человек не сразу разберет, с каким именно растением он имеет дело.
Среди ветвей Саша заметил поползня. Где-то в глубине леса усердно долбил кору дятел. Целая стая ворон вдруг с гамом и криком пронеслась над дорогой и скрылась за лесом. Поползни и снегири, занятые поисками пищи, не обращали внимания на конников.
У самого развилка дороги на дереве, точно сторож, сидел желтоногий сыч. При приближении людей он нахохлился и обеспокоенно заворочал головой. Саша крикнул, сыч сорвался с ветки и полетел против ветра, усиленно махая крыльями.
Показалась одинокая скалистая сопка. К дороге она подходила тремя отвесными обрывами, почти лишенными растительности. Снега на них не было, и среди господствующего кругом белого цвета скалы выделялись серо-желтыми цветными пятнами.
— Пять верст осталось до Чернинской, — сказал Василий.
Возвращались они затемно. Василий был доволен результатами поездки. Его Нерон и Сашин Серый шагали бок о бок по дороге; ноги всадников соприкасались.
Саша любил такие поездки. Хорошо покачиваться в седле, вдыхать морозный воздух и с легким волнением всматриваться в тени придорожных кустов. Чего только не нарисует твое воображение! Хорошо одновременно слушать спокойную речь Ташлыкова о предметах самых обыкновенных. Все, что Саша видел, давало богатую пищу для размышлений. Теперь в помине не осталось того гнетущего ощущения одиночества, оторванности от людей и собственной ненужности, которое порою овладевало им в доме отца.
Дорога была длинной; они о многом успели поговорить до той поры, как за лесом послышались лай собак и пение поздних петухов. Лошади, почуяв близость конюшни, прибавили шагу.
— А старик, выходит, промахнулся. Погода — ни то ни се. Без перемены, — с улыбкой, угаданной Василием, заметил Саша.
— Погоди. Снежок, кажется, начинает падать. — Василий снял рукавицу и повернул кверху открытую ладонь. — Точно, падает, — сказал он, видимо, очень довольный таким обстоятельством.
Навстречу с равнины потянуло чуть приметным ветерком. Сашин мерин вдруг встрепенулся, поднял голову и звонко заржал.
С хутора, постройки которого чернели в каких-нибудь двухстах саженях от них, донеслось ответное ржание.
— Значит, посыльный вернулся. Пора, — с облегчением сказал Василий. Он уже начал тревожиться из-за того, что тот задержался больше положенного срока.
Нерон рысью взял крутой пригорок и понесся к воротам. Саша ударил своего коня ногами в бока, побуждая его бежать вслед.
Все дальнейшее произошло прежде, чем кто-либо из них успел отдать отчет в том, что случилось.
Едва Василий поравнялся с бревенчатой постройкой, возле которой дорога делала последний поворот, как от стены отделились два человека и молча кинулись на него. Один забежал вперед коня, второй сильно рванул Василия за ногу. Еще двое подбегали с противоположной стороны.

Василий едва удержался в седле. Выпустив стремя, он коротким пинком в грудь отбросил нападавшего. В следующее мгновение он круто повернул коня, ударил его поводом. Нерон рванулся вперед, сшиб грудью человека, пытавшегося ухватить повод, и шибко поскакал обратно по дороге.
— Назад, Саша! — крикнул Василий.
Когда сзади грохнули выстрелы, Ташлыков уже сворачивал с открытого места в овражек. «Ну, спасся на этот раз. От неминуемой смерти ушел», — подумал он.
Саша, отставший несколько, не видел начала схватки. Этому мешал угол постройки. Он подоспел к повороту как раз в тот миг, когда Ташлыков с криком промчался мимо него в обратном направлении.
Не успел Саша ни подивиться, ни вскрикнуть, как перед глазами у него сверкнула молния, тупо ударило по голове, и сознание сразу померкло.
Василий понял, что с Сашей случилась беда. Он долго прислушивался, но хутор был тих, будто там вымерли все. «Убит или живого схватили?.. Как его выручать теперь?»
Что Сашу надо выручать и немедленно, в этом у Василия колебаний не было. Но он знал, что одному лезть на рожон бесполезно. Отправиться сейчас за подмогой — пройдет слишком много времени. «Эх, как это я промашку дал! Конь меня, видно, попутал. Дурак я, дурак!» — ругал себя Василий.
Снег тем временем как следует разошелся. С места, где за кустами черемушника стоял Василий, держа в поводу Нерона, жарко дышавшего ему на щеку, хутора не стало видно. Хуторские постройки как бы растворились в белесой мгле.
Недалеко в поселке начали перекличку петухи.
«Третий час. Ну, пойду! Двум смертям не бывать, а одной не миновать», — решил Ташлыков.
Он завел коня подальше в кусты и привязал его. Затем проверил карабин и напрямик, увязая в снегу, побрел к хутору. Когда сквозь падающий снег перед ним совсем близко возникли хуторские постройки, Василий лег на живот и пополз. Двигался он со всей возможной осторожностью. Он был почти у ограды, когда по ту сторону ее кто-то невидимый Ташлыкову громко сказал:
— К черту! Конечно, он не вернется.
— С перепугу до самого города побежал! — с веселым смешком откликнулся другой человек, судя по голосу, более молодой. — А холодно лежать, — продолжал он, звучными шлепками отряхивая со своей одежды снег. — В избе погреться бы перед дорогой.
— Можно, — согласился первый, видимо бывший за старшего. — Этот Левченко жив?
— Куда!.. Наповал убит. Чего с трупом делать теперь? Староверу оставить разве?..
— Самое разумное — в прорубь спустить.
Голоса удалялись.
«Эх, Саша, Саша!.. — горестно думал Василий. — Перестрелять разве этих? Да много их...»
Ташлыков послушался голоса благоразумия и отказался от намерения немедленно отомстить за смерть товарища. Сначала ползком, а затем быстрым шагом, почти бегом, он вернулся к тому месту, где оставил Нерона. Горько и больно было ему в эту минуту.
«Что же я Лексею Никитичу скажу?» — подумал он, садясь в седло и выезжая на дорогу.
...Было уже светло, когда Ташлыков в сопровождении понятых вернулся на хутор. Никаких следов Саши Левченко они не нашли. Только возле строения, где разыгралась схватка, Василий, разгребая руками свежий снег, обнаружил темные кровавые пятна.
К проруби и обратно вели человеческие и конские следы, присыпанные снегом.
Снег продолжал валить.
Ветер дул порывами, вздымал мягкий, неулежавшийся снег, кружил его над землей. Казалось, сам воздух был смешан со снежной пылью.
Старик старовер, которого они обогнали по дороге из поселка, ходил вслед за Василием, всплескивал руками, сокрушался.
— Меня на такой грех дома не было! В кои веки к сыну меньшому в гости собрался, с ночевкой. И вот — на тебе... Ах, господи! Господи-Сусе...
Василий, повернувшись к нему спиной, смотрел на реку. Сомнений в гибели Саши у него не было никаких. Гнев и ненависть тяжелым обручем сжимали ему сердце. Если бы старик

в эту минуту мог увидеть лицо Ташлыкова, оп постарался бы больше не попадаться ему на глаза.

А верст на семь выше по берегу в эту минуту к реке спускались два закутанных в башлыки всадника. Передний — Варсонофий Тебеньков — придержал коня на крутом спуске, оглянулся.
— Выходит, на родной земле нам места нет? — спросил он с жалкой блудливой улыбочкой.
Второй всадник, в котором нетрудно было узнать сотника Каурова, выругался, хлестнул коня плетью и поскакал к чернеющему вдали чужому берегу.
Варсонофий двинулся за ним.
Падающий густой снег тут же засыпал их следы.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Хотя Сашина гибель была очевидной, Василий Ташлыков не уезжал с хутора: искал какие-нибудь концы. Он вновь со всей тщательностью обследовал двор. Увязая по колени в снегу, пешком трижды обошел вокруг хутора.

Поразительно белая сверкающая пелена свежего снега отражала так много солнечных лучей, что смотреть было больно. На снегу никаких следов.

Тогда Ташлыков принялся за старика хозяина. Алиби у того было как будто полное. Василий и понятые сами видели, как он утром возвращался на хутор из деревни. По наведенным справкам, старовер действительно ночевал у своего сына. Пришел поздно, выпили малость, с устатку его разморило — прилег и уснул. С кем не случается. Но при всей правдоподобности объяснение это не удовлетворило Василия. Нюхом он почуял неладное.

— И часто ты в гости ходишь? — осторожно расспрашивал Василий, сидя на лавке напротив старика спиной к окну. Он нарочно выбрал такое положение, чтобы свет падал на лицо хозяина и легче было наблюдать за ним. — Говорят, не очень-то сынов жалуешь...

— Я не государь, чтобы их жаловать. Поставил на ноги, отделил — ну и живите, как бог велит! — хмуро отвечал старик. — А заходить — захожу. Надо. Я им все-таки отец.

— Н-да... Это верно, — согласился Василий. — С хутора уходил, никого не встречал?

— Я?.. Нет.

— А имущество проверил, все у тебя в сохранности? — допытывался Ташлыков.

— Да бог миловал. Ни я чужого, ни люди моего. — Старик усмехнулся, но тут же прикрыл усмешечку ладонью, будто усы погладил.

— К тебе они верно — добрые, ничего не скажешь. — Василий со вниманием рассматривал прочные скобы, вбитые в толстые половицы. Продетый в них большой ржавый замок запирал вход в подполье. Насколько помнил Василий, прежде замка тут не было. Вмятины возле скоб были свежие: на них еще не накопилась грязь.

— Так, так. — Василий с удовольствием перехватил косой взгляд старика, брошенный на те же половицы. Он с нескрываемой уже насмешкой, даже с торжеством посмотрел на сгорбившегося хозяина. «Вот я тебя и поймал! Не отвертишься, голубчик», — говорил его взгляд. — Гостей в дом пустил, а доверять, значит, поостерегся. Запор на подпол давно наладил?

— А нет, недавно, — охотно ответил старик. — Вчера в первый раз замкнул. Аккурат, выходит, подгадал под этот случай.
— Следовательно, заранее сговорились? Так, что ли? — и Василий опять скользнул взглядом по невозмутимо-спокойному лицу старика.
— Ну что ты, мил человек! Что ты, господь с тобой! — Старик в испуге замахал на него руками; выражение лица у него мгновенно изменилось. — Вот ведь как можно повернуть, скажи, пожалуйста, — добавил он с искренним удивлением.
Но Василия трудно было сбить с его линии; с той же усмешечкой он, прищурясь, смотрел на хозяина.
— Все-таки ты мне объясни, зачем, тут замок? От кота картошку прятать? В своей-то избе...
— Зачем от кота — от людей, — сказал старик после минутного колебания, и опять что-то похожее на насмешку промелькнуло на его тонких губах. — Раз вы меня вынуждаете, я скажу: очень обыкновенно это! Вот я, допустим, скотину напоить пошел, а вы с товарищем в горнице остались. Что вам стоит картошки на еду прихватить? Минутное дело, верно? И мне, стало быть, беспокойство, и вам — соблазн. А так — от греха подале, со спасением, значит, души. Вот как.
— Тьфу! — Василий плюнул и с любопытством посмотрел на старика. — Однако ты — свято-ой... не возьмешь голой рукой! — Он зажег спичку, лег на пол и еще раз осмотрел заинтересовавшие его половицы. «Позабивал скобы вкривь и вкось. Значит, перед самым уходом сделал, второпях», — решил он, укрепляясь в своем подозрении. Ташлыков был убежден, что старик действовал заодно с бандитами, устроившими засаду на хуторе, знает их и что они, должно быть, люди местные. А раз так — Василий должен до них добраться, посчитаться за Сашу. Василий считал себя виноватым в том, что случилось. Ведь держал же он на подозрении этого проклятого старовера. И поселились они на хуторе не случайно — в самом, можно сказать, логове. А вот вели себя неосмотрительно, глупо. И Василий корил себя и ругал, еще более растравляя свежую рану утраты. Только теперь он понял, как сильно привязался за это время к Саше и какими крепкими нитями оказались связаны их судьбы.
— Послушай, батя! Ты Варсонофия Тебенькова знаешь? — спросил Василий у старика, поразмыслив как следует над обстоятельствами дела. Накануне в Чернинской кто-то говорил ему о молодом Тебенькове, будто видели его в отцовском дворе. Василий тогда не придал этому значения, а сейчас вспомнил и как-то сразу поставил в связь приезд хорунжего и события минувшей ночи.
— Варсонофия?.. Архипа Мартыновича сынка? Знаю, знаю, — старик подтверждающе кивнул головой. — Останавливаются они у меня, а я у них, когда случается быть в станице. Давно знаю, давно, — и он с необычной словоохотливостью принялся рассказывать Василию, как Архип Мартынович ездил за товаром на китайскую сторону да дня по три гулял на хуторе. — И никто от этого не оставался в убытке. Власть раньше на такие дела смотрела сквозь пальцы. Сунет он красненькую кому следует. Хозяин!.. Сам начальник корчемной стражи бывал у меня. С солдатками как зальется гулять. Ну-ну. Такой лихой мужчина... — старик хихикнул, покосился на сурово внимавшего ему Ташлыкова и вздохнул. — Прежнее-то начальство — не чета вашему брату. Понимающие были люди. По-божески все делалось. Тогда и убийствов этих не слыхать было.
— Ага. Драли шкуру с молитвой — тихо и верно. Я эти дела, батя, не хуже тебя знаю. — Василий был несколько озадачен тем, что старовер не стал отрицать близкого знакомства с Тебеньковым. — А вчера Варсонофий тоже тут был? — неожиданно спросил он и впился острым взглядом в лицо старика.
— Да ну!.. У кого? — в свою очередь с поразительным простодушием спросил тот. Потом, нахмурившись, будто сейчас только догадался о скрытом смысле вопроса, подозрительно посмотрел на Ташлыкова. — Припутать меня хочешь, мил человек?.. А для чего? Я в деревне ночевал, свидетели есть. Видеть, следовательно, никого не мог: ни Ивана, ни Степана, ни Варсонофия. Конечно, без местного человека тут не обошлось. Проводник им нужен, — продолжал он рассуждать, показывая, что понимает и точку зрения Василия. — Однако Варсонофий?.. Нет, не должен он тут быть. — Старик не прятал глаз от Василия, а смотрел ему в лицо открыто и прямо. — Почему не должен? Да не такие люди Тебеньковы, чтобы первыми в драку полезть.

«Оба вы — одного поля ягода», — думал Василий, слушая его рассуждения и отдавая должное их логичности. Впрочем, это нисколько не ослабило его подозрений. Теперь старик казался ему еще более опасным и хитрым. «Будь ты проклят, лис старый. Не такой я дурак, чтобы сказкам твоим поверить». Василий злился, понимая, что и на этот раз старик ловко вывернулся. Он все же не стал прерывать разговор в слабой надежде, что недавний «глухой» что-нибудь да сболтнет. Настроившись слушать, Василий забылся и полез в карман за табаком.
— Ты погань эту брось. Либо на двор ступай, — строго заметил старик и неодобрительно посмотрел на Василия. — И мне пора скотину поить! — Кряхтя, он поднялся с лавки и стал надевать старую облезлую шубенку с заплатами.
Ташлыков тоже оделся. Он думал о Саше, тело которого, видно, бросили ночью в реку.
— Погоди, батя! Я тебе прорубь пробью в другом месте.
Захватив в сенях лопату и лом, он прошел к старой, застывшей за ночь проруби. Мела поземка, рядом с прорубью образовался высокий сугроб, как могильный холмик. Василий постоял возле него, затем под прямым углом отмерил в сторону полсотни шагов, разбросал лопатой снег и сильными точными ударами начал ломом скалывать лед. Подошел старик с другой лопатой и молча стал выгребать у него из-под ног ледяную, крошку и отбрасывать ее прочь. Потом они вместе расчистили дорожку к новой проруби, притоптали снег.
Хозяин ушел на баз, скрипел воротами, выгонял скот со двора. А Василий, воткнув лопату в снег, стоял на берегу. Однообразно холодная простиралась перед ним широкая Уссури, вся в снежных застругах, со струящейся по льду белой поземкой — равнодушная свидетельница разыгравшейся здесь трагедии. За рекой вдоль низкого берега тонкой строчкой протянулся реденький тальник. В снежном мареве чуть заметны дымки нескольких убогих китайских фанз. Да над самой границей вверху кружилась стая воронья. День был морозный, деревья сильно заиндевели.
«Ну ладно. Надо ехать в Чернинскую», — Василии вскинул на плечо лопату и лом.
Час спустя он уже выводил за ворота оседланного коня и по дороге обдумывал, как лучше подступиться к Архипу Мартыновичу. Допрос Тебенькова представлялся ему очень важным, могущим пролить свет на все это загадочное дело.
Однако застать дома чернинского атамана Василию не удалось: Архип Мартынович с вечерним поездом укатил в город. Варсонофий, по словам его матери, находился в Имане. Служил там в полку. Заплаканные глаза и убитый вид хозяйки насторожили Ташлыкова, но доискиваться причины ее слез он не стал — мало ли отчего плачут женщины. Василий купил табаку в тебеньковской лавке, потолкался среди казаков. Побывал он и на станции. Достоверных данных о пребывании Варсонофия в Чернинской он не нашел. Казак, который будто бы видел хорунжего в тебеньковском дворе, на прямой вопрос об этом поскреб затылок, помялся и сказал: «Ошибся, видно. Ночью каждая собака за волка сойдет».
Так ни с чем Ташлыков вернулся на хутор.
2
В это самое утро Алексей Никитич занимался текущими делами. Но что это были за дела? Просмотр старой отчетности, проекты переустройства прииска, которым не суждено осуществиться, переписка с бывшими клиентами, — тоже никому не нужная, бесполезная. О сыне, ушедшем из дома, Левченко старался не думать. Решительность, с которой Саша порвал с привычной для него средой, вызывала у Алексея Никитича двойственное чувство: с одной стороны — боль и уязвленное отцовское самолюбие, а с другой — невольное уважение к сыну. Были минуты, когда он в мыслях почти оправдывал Сашу, принимая во внимание свойственную молодости горячность и неумение серьезно подумать о последствиях. Но тут же начинал сердиться и сам опрокидывал свои доводы.
Человеку со стороны Алексей Никитич показался бы погруженным в глубокое раздумье. Он задумчиво постукивал карандашом, рассеянно чертил замысловатые фигуры. Но мысли его были далеко. Затем он перемогал себя и начинал вновь читать и перечитывать давно осточертевшие документы. Что могли изменить эти бумаги? И какой смысл заниматься ими теперь? Пожалуй, наиболее тягостным для Алексея Никитича было ощущение бесполезности его труда. Как аккумулятор электричеством, он заряжался в такие часы тяжелой и слепой ненавистью.

Потом появлялся кто-нибудь из знакомых и подливал масла в огонь. Каждый день приносил малоутешительные новости. Несмотря на прогнозы и предсказания тертых политиков, Советская власть не нала ни в прошлом месяце, ни на этой неделе; похоже было, что она и не собиралась рущиться, как этого ожидали Чукин, Бурмин, Парицкая, да и сам Левченко. Алексей Никитич не мог не видеть, что действия людей, руководивших Советом, были разумными и целесообразными действиями. Слова у них не расходились с делами: за счет имущего меньшинства они делали все возможное, чтоб облегчить положение народа. Были национализированы банки, предприятия, у торговцев реквизировались запасы продовольствия. Имущие люди лишались собственности — основы их могущества. А что такое Бурмин без его лесопильных заводов? Чукин без универсального магазина и оптовых складов? Парицкая без прииска Незаметного, тоже национализированного по требованию рабочих после того, как Левченко отказался завозить на прииск продовольствие на предстоящий сезон? Если бы Алексей Никитич предусмотрительно не перевел наличные капиталы общества в харбинское отделение Русско-Азиатского банка, у него на руках остались бы одни бумаги. Те самые бумаги, которые он перебирает теперь день за днем, создавая для себя видимость работы. Впрочем, кое-что осталось, оказалось надежно спрятанным и у Чукина, Бурмина... Но Левченко, пожалуй, лучше всех их понимал, что капитал, не приносящий прибыли, — мертвый капитал.

Частенько сверху к Алексею Никитичу спускался Джекобс. Журналист был человек осведомленный; его суждения бывали остроумны и не лишены меткости. Он умел в то же время не быть чересчур назойливым. А Левченко сейчас особенно не терпел в людях бесцеремонности. Он заметно охладел к тем, кто были завсегдатаями у него в доме. Говоря с Левченко о политике, Джекобс от него не скрывал своих опасений: многое шло теперь кувырком. Быть пророком в такое время — нет уж, увольте!

Нельзя сказать, чтобы высказывания журналиста успокаивающим образом действовали на Левченко. Алексей Никитич понимал, что старого не вернешь. Но с тем большим упорством он отстаивал свои взгляды, может быть, из-за желания идти наперекор новому, из старческого упрямства. Сложное и противоречивое явление — человеческий характер, и не гладкими, ровными путями идет человек к познанию истины.

Вдобавок ко всему у Левченко стало пошаливать сердце. Собственно, первые симптомы заболевания появились давно. Алексей Никитич просто не обратил тогда на них внимания. Когда-то он обладал железным здоровьем и в простоте душевной полагал, что износа ему не будет.

Иногда Алексея Никитича требовала к себе наверх Парицкая. Она нет-нет да и придумывала какой-нибудь совершенно нелепый проект. Левченко, хмурясь, выслушивал ее и коротко бросал: «Ер-рунда!» Тогда бывшая владелица Незаметного начинала плакать и упрекать его в том, что это именно он довел ее до разорения. Алексей Никитич поворачивался к ней спиной и уходил.

Юлия Борисовна вообразила, что у нее катар желудка и болезнь печени. Врачи не разделяли ее мнения: не было никаких объективных признаков заболевания. Но она не верила врачам, даже Твердякову, и неустанно говорила о том, что теперь никому верить нельзя. «Ах, почему я не умерла раньше, я бы не испытала столько мучений!» Все больше времени Парицкая проводила в постели, обложившись грелками. В спальне на туалетном столике выстроилась целая батарея пузырьков, склянок, баночек; во всем доме пахло лекарствами.

Все сочувствовали Юлии Борисовне; в доме ходили чуть ли не на цыпочках. Один Чукин говорил с усмешкой:

— Эх, милая! Да разве болезнью от них отгородишься. Терпи уж, а лекарства выбрось на помойку. Не в них дело.

Скептицизм Чукина усилился и носил подчеркнуто злобный характер. Да и внешне он изменился за эти два месяца: волосы на висках заметно побелели, весь он как-то осунулся, сгорбился, хотя и старался по-прежнему казаться бодрячком.

Матвей Гаврилович понимал мятущееся состояние души Левченко и по-своему воздействовал на него, раздувая в нем мстительное чувство обиды. Он завел немало знакомств среди выброшенных революцией из поместий и особняков бывших людей,

приводил их в дом к Алексею Никитичу и заставлял вновь и вновь рассказывать историю своего падения.
С людьми, потерпевшими крушение, невыгодно иметь дело. Это прежде всего бьет по карману. Но сейчас потерпели крушение все, кого знал Чукин. Приходилось и ему как-то по-новому прилаживаться к создавшейся обстановке. «Еще не все потеряно — авось кривая вывезет, — думал он, слушая рассказы беженцев из центральных губерний России. — Сколько людей задето, а? Да ежели мы все...»
Так тощие, худые волки сбиваются зимой в стаю, чтобы вместе накинуться на добычу, рвать и терзать ее зубами, жадно наверстывать период вынужденной голодовки. Потом они снова разбредутся каждый в свое логово.
«Это великое несчастье — не иметь возможности быть наедине с самим собой», — думал Алексей Никитич. Но выпроводить всех за дверь, как сделал бы прежде, — не мог. Ему было страшно оторваться от привычной обстановки, от людей, недостатки которых он слишком хорошо знал.
Вот уже несколько дней у него болела голова, стучало в висках. «Поехать отдохнуть в Японию, что ли?» — думал Левченко.
Днем у него были Поморцев и Лисанчанский. Капитан 2-го ранга после месячной отсидки был выпушен из тюрьмы под честное слово. Он с иронией рассказывал о днях, проведенных в общей камере, посмеивался над собственными страхами. Но глаза у него оставались холодными и злыми.
По решению рабочего собрания полковник Поморцев был восстановлен в должности начальника Арсенала. Он клятвенно обещал, что больше ничем не запятнает себя, и теперь старался поскорее сплавить куда-нибудь своего не примирившегося с поражением родственника. Поморцев просил Алексея Никитича дать Лисанчанскому рекомендательное письмо к кому-либо из благовещенских золотопромышленников. Левченко подумал и написал Золотову.
Появился румяный, как всегда, Судаков. За ним вошел сердитый с виду старик с надвое раскинутой бородой; стуча палкой о пол, он прошествовал мимо Алексея Никитича к дивану и мягко погрузился в него.
Судаков тоже собирался в Благовещенск. О цели поездки он говорил уклончиво.
— Будем надеяться, господа... час пробьет, — и многозначительно посматривал на безучастного ко всему Алексея Никитича.
— Да, а где теперь Мавлютин? Вот — человек твердых убеждений, — вспомнил Чукин.
— Вы так думаете? — сощурился Левченко.
— Что такое убеждение? Ловко составленные фразы. Сегодня одни, завтра — другие. Они так же старятся, как перчатки, — громко заявил сердитый старик. — Если вы хотите обратить на себя внимание, сделать карьеру, вам действительно нужны убеждения. Но именно те, которые сегодня в моде — и не слишком резкие. Чем и объясняется успех в нашем обществе господ умеренных социалистов.
— Позвольте, менять убеждения нелегко, — возразил Судаков, задетый упоминанием о социалистах. — Ведь это связано с душевным разладом... Может быть, только суровые уроки жизни...
Старик рассмеялся неприятным, скрипучим смехом, будто две сухие ветви потерлись на ветру друг о друга.
— Э-э, ерунда! При чем здесь душа?.. Не единым духом жив человек. Материальные блага прежде всего. Да-с. А убеждения — для досуга, язык чесать. Я, господа, материалист, — так же громко провозгласил он.
— С вашей философией самого себя продать можно.
— За приличную цену... почему бы и нет? Продал же Фауст свою душу... И вы не зарекайтесь, ибо душа ваша принадлежит золотому тельцу, сударь мой, — едко закончил старик.
Судаков пожал плечами, отвернулся и заговорил уже о другом — об ультиматуме, предъявленном недавно фон Кюльманом советской делегации в Бресте...
— Это надо было предвидеть. Надежды большевиков на возможность договориться с немцами рухнули окончательно. Мы, господа, тысячу раз были правы, когда возражали против похабного мира. Тысячу раз...

Другой сенсацией было решение местного Совета о предании революционному суду начальника почтово-телеграфной конторы Сташевского. Обнаружилось, что он, пользуясь служебным положением, передал на хранение японскому консулу двести пятьдесят тысяч рублей, присланных из Петрограда для нужд детских приютов.
Левченко только сейчас догадался, что это за деньги Сташевский передал при нем японскому консулу.
Голова у Алексея Никитича разболелась не на шутку. Он ушел в кабинет и лег на диван. Из передней доносилось шарканье ног и гул голосов: гости разбирали пальто и шапки. Кто-то громко топал, должно быть, надевал тесные калоши.
Судаков, рассчитывая поговорить с глазу на глаз с Алексеем Никитичем, задержался в гостиной.
— Ну-с, красавица моя, как живется? Замуж скоро? — с обычной фамильярностью спросил он, когда они с Соней остались вдвоем, и хотел рукой потрепать ее по щеке.
Соня поспешно отстранилась.
— Оставьте! — резко, с раздражением сказала она. — Терпеть не могу фамильярности!
Судаков снял очки, протер их, оседлал вновь свой нос и с удивлением воззрился на нее.
— Гм... Кхм!.. Собственно, я не давал повода... Вы, София Алексеевна, несправедливы ко мне.
Он впервые стал величать ее по имени и отчеству.
— Прощайте! — не глядя на него, сказала Соня.
Раньше пустопорожняя болтовня гостей мало задевала ее. Но сейчас Соня все злопыхательские шуточки и анекдоты воспринимала с позиции тех, против кого они были направлены. Здоровый ум и нравственная чистота позволили ей безошибочно угадывать, где правда, а где ложь. О, она начала понимать этих людей. Как это отец не видит, с кем имеет дело?
Когда гости разошлись, Алексей Никитич сел за стол. Взяться за работу — лучший способ преодолеть недомогание.
В голову лезли мысли о Сташевском. «Как он мог все-таки... Ведь это подлость». Алексей Никитич знал, как бедствовали детишки в приютах.
Было слышно, как в гостиной ходила Соня. Левченко подумал о дочери, о сыне, который скитается неизвестно где. «Ох, дети, дети!..»

> Неожиданно он почувствовал сильную боль в груди и едва дошел до дивана. Было такое ощущение, будто кто-то железной рукой захватил сердце и безжалостно сжимает, терзает его. Чувство страха, что он умрет здесь, беспомощный, одинокий, покинутый собственными детьми, внезапно с большой силой охватило Алексея Никитича. Но он обладал тренированной волей и справился со страхом. Боль не проходила, усиливалась. Онемели пальцы. Пульсировало в висках. Алексей Никитич с трудом поднял руку и обнаружил, что весь лоб у него покрылся испариной. «Плохо дело. Finita la comedia»
> [2]
> , — подумал он и тут же закричал громким, встревоженным голосом:

— Соня! Соня-а!..
Когда дочь прибежала на его зов, он устало откинул голову на подушку, пожаловался:
— Боже, целая вечность прошла!
Соня посмотрела на него и всплеснула руками. На короткий миг она испугалась. Но чутье женщины подсказало ей, что отец сейчас нуждается в ее поддержке.
— Папочка, тебе плохо, да? — она участливо нагнулась к нему, заглянула в глаза.
И оттого, что он почувствовал на своей щеке ее теплое, влажное дыхание, что она назвала его «папочкой», как в детстве, когда доверчиво взбиралась к нему на колени, Алексей Никитич испытал заметное облегчение.
— Не пугайся, ничего страшного. Переутомился, кажется, — спокойным тоном ответил он, но взгляд его говорил другое.
— Я пошлю за врачом. Кого лучше позвать? — Соня говорила решительно, не допускающим возражений тоном, и Алексей Никитич впервые подчинился ей. Он видел,

что дочь сильно встревожена. В конце концов она вправе здесь распоряжаться. Он ободряюще улыбнулся ей одними глазами.
— Пошли к Марку Осиповичу, — сказал он и закрыл глаза.
Соня скоро вернулась, села рядом с ним на стул. Алексею Никитичу страшно захотелось взять ее руки в свои ладони, прижать к губам. Но он не решился на такое открытое проявление нежности, а только сказал:
— Ничего, девочка. Отец тебя не оставит. Мне уже лучше.
Боль и в самом деле немного унялась. Вскоре пришел доктор Твердяков. Он пощупал пульс, послушал сердце, дал выпить лекарство.

> — Что, батенька, испугались, а? — спросил с улыбкою доктор и сел писать рецепты. — Симптомы неприятные, я знаю. Но страшного пока ничего нет. Говорю вам ex professo
> [3]
> .

Еще не очень старый, живой, остроумный доктор считался приятным собеседником.
— Вы напрасно принимаете все близко к сердцу, — уговаривал он Алексея Никитича. — Давно сказано: «объективность оскорбленного равна нулю».
Твердяков просидел долго. И он и Алексей Никитич принадлежали к тому поколению, которое вступало в сознательную жизнь как раз на рубеже двух веков. В молодости у них была коронация Николая Второго и ходынская катастрофа; в зрелые годы оба стали свидетелями полного крушения царизма. До октябрьских залпов «Авроры» они, вероятно, не разошлись бы во взглядах на настоящее и будущее страны. Теперь — другое дело. Но Твердяков был бы плохой доктор, если бы у постели больного не нашел нейтральной темы для разговора.
Часто замкнутые, угрюмые люди, из которых клещами слова не вытянуть, становятся удивительно откровенными в разговоре со своим врачом. Так и Алексей Никитич. Пожаловавшись на здоровье, он затем стал сетовать на жизнь, на застой в делах, наконец, на детей, которым становятся совершенно чужды интересы родителей. Пусть ушел сын. Ладно. Но дочь он убережет любой ценой.
Марк Осипович слушал, покачивал головой.
— Соня не ребенок. Вот увидите, ее характер проявит себя. Надеюсь, с самой хорошей стороны. Молодежь лучше нас понимает требования века. — Твердяков посмотрел на часы, еще раз проверил пульс. — А сердце, дорогой мой, придется лечить. Такое уж наше стариковское дело.
3
В конце следующей недели Василий Ташлыков сдал участок прибывшему на смену старшему милиционеру и выехал в Хабаровск.
Перед тем как хутору скрыться из глаз, Василий обернулся и долго смотрел назад.
К вечеру он достиг предгорий Хехцира. Когда-то, судя по пням, здесь был густой лес. Но затем пожары уничтожили богатый древостой. Место пожарища стало зарастать березняком и травой. Часть земли, освобожденной от леса, была распахана. Неподалеку на берегу реки приткнулся поселок.
Василий выбрал двор попроще и попросился ночевать.
Утром он поднялся с петухами. Сыпалась изморозь; дым от труб, смешиваясь с морозным туманом, окутал поселок. Отдохнувший конь цокал подковами по крепко прихваченной морозцем, накатанной дороге.
К концу дня Василий был в городе.
...К Алексею Никитичу Ташлыков шел с тяжелым сердцем. Как бы он ни относился к своему бывшему хозяину, нелегко было принести в дом такую весть. Но уклониться от печальной обязанности Василий не мог, не считал себя вправе.
Медленным шагом он пересек левченковский двор, отмахнулся от собаки, которая, приседая и повизгивая, виляла перед ним хвостом. Позвонил.
Дверь отворила Соня. Она, видно, была у плиты и не успела снять передник.
— Василий? — удивилась она и отступила немного, пропуская его вперед.

— Здравствуйте, барышня! — сказал Ташлыков, снимая шапку, и смущенно, даже е робостью посмотрел на нее. Он знал, какие нежные отношения были между братом и сестрой. Сказать сейчас ей о горе, с каким он пришел в дом, оказалось выше его сил. Он в замешательстве переступил с ноги на ногу, не зная, как выйти из положения.
— А где Саша? Почему он не пришел? — спросила Соня, и чувство неопределенной тревоги заставило сжаться ее сердце. Она интуитивно почуяла беду.
— Саша?.. Я потом скажу. Лексей Никитич дома? — горестно спросил Василий и, не дожидая ответа, пошел к двери. Он хорошо знал расположение комнат.
— Василий, ради бога! Скажите, что случилось? — воскликнула Соня, теперь уже убежденная в несчастье.
Ташлыков не ответил ей, открыл дверь и шагнул в кабинет.
Соня в ту же минуту подбежала к закрывшейся двери и прижалась ухом к холодной филенке. Сердце у нее отчаянно билось. Не видя происходившего за дверью, она слово в слово слышала весь разговор.
Алексей Никитич, когда Василий без стука вошел к нему, сидел за письменным столом и разбирал почту. Подняв голову, он увидел Ташлыкова и сперва даже удивился его появлению здесь, затем весь побагровел от гнева. В лице его бывшего конюха для Левченко отождествлялось все то, что он так возненавидел. Опять он в его доме! Зачем пришел? Да как он смеет, мерзавец! Алексей Никитич прямо-таки задохнулся от злости и в первое мгновение ничего не мог сказать. Он только глядел на Василия тяжелым ненавидящим взглядом.
— Лексей Никитич, с бедой я к вам. Горе такое случилось, избави бог, — начал Василий, прежде чем Левченко успел хоть слово сказать.
— Вон отсюда! Убирайся из моего дома сию же минуту! — крикнул наконец Левченко, поднимаясь и сжимая рукой пресс-папье с тяжелой латунной крышкой.
— Сын ваш Александр Алексеевич... в прошлую среду... убит, — тем же горестным тоном продолжал Василий, не слыша гневного выкрика хозяина.
Соня за дверью обмерла и чуть не упала. Она ухватилась за дверной косяк и с трудом удержала крик.
Алексей Никитич, пораженный известием, выронил пресс-папье, и оно со стуком упало на пол. Он медленным шагом отошел к окну. Широкая спина его заметно сгорбилась.
— Как это произошло? Расскажите мне, — спросил он затем, обойдя письменный стол и останавливаясь перед Ташлыковым. Боль то сжимала, то отпускала сердце.
Не перебивая, он молча дослушал рассказ Василия об обстоятельствах гибели сына. Это был уже совсем другой человек: горе пришибло его.
— Я думал Сашу вызволить. Да вот как получилось-то. Беда, — и Василий сокрушенно развел руками. У него у самого сердце стеснило болью. — Не судьба ему, значит. — Василий вздохнул, потоптался еще немного на месте и взялся за шапку. — Прощайте, однако, Лексей Никитич. Не обессудьте уж.
— Постой. Я тебе денег дам, — глухим, убитым голосом сказал Левченко, открывая ящик письменного стола.
— Эх, Лексей Никитич, не обижайте вы меня! — сказал Василий, и Левченко не посмел настаивать.
Провожая Ташлыкова, Левченко едва не столкнулся в дверях с дочерью. Завидев отца, Соня торопливо вышла в другую комнату. Алексей Никитич услышал, как она всхлипнула там. «Слышала. Знает», — подумал он с болью. Он хотел пойти к ней, но пересилил в себе это первое, естественное побуждение.
Круто повернувшись, Алексей Никитич зашагал по комнате взад и вперед; каждый раз, высоко поднимая йогу, он перешагивал через цветное пятно на ковре, пока весь ковер не показался ему сплошь залитым кровью. Тогда он бросился на диван лицом вниз и зарыдал, зарыдал судорожно, громко. Многое ему теперь хотелось бы взять назад, переменить. Да не в его это было власти.
А Соня тоже плакала. Плакала и думала об огромной потере, о пустоте, которая образовалась вокруг нее. Нет близкого друга, и опостылел ей свой дом. «Что же мне делать теперь? Что мне делать?» — одна эта мысль вертелась у нее в голове.

Все ее тело содрогалось от беззвучных рыданий. Она сидела у окна и упорно смотрела на улицу. Будто ждала, что появится тот, кого она уже оплакала.
Небо на западе порозовело, по снегу от строений протянулись синие тени: наступал вечер, морозный, ветреный.
В гостиной зазвонили часы: четверть седьмого.
Часы напомнили ей, что она бросила плиту на произвол судьбы. Соня вытерла платочком глаза и мокрые от слез щеки и пошла на кухню. Кастрюльки там все повыкипели, жаркое пережарилось, картофель на большой сковороде превратился в коричневые сухарики. Соню это мало огорчило. Она передвинула кастрюльки, поставила на конфорку кофейник, открыла форточку, чтобы выпустить чад. А думала о другом. Вся ее недолгая и до этого не очень трудная жизнь промелькнула перед нею в один час. Перебирая в памяти эпизоды своей затворнической жизни, она с раздражением думала о деспотическом характере отца. Ну зачем он выжил из дому Сашу? Не было бы и этой беды. Злится на всех, негодует, а разве сам он прав? Почему держит ее в окружении постылых, пошлых людей? И что за публика толчется у них в доме — прохвосты, жулики! Да гнать их надо прочь! Нет, тысячу раз был прав Саша, когда не захотел жить в этом омуте! Тысячу раз прав...
Соня представляла себе на все лады то, что услышала от Василия, и с каждым разом гордость за Сашу, который оказался таким самостоятельным, смелым и отважным, все более охватывала ее наряду с печалью горькой утраты. Образ брата вырастал перед нею, обретая новые, ранее скрытые от нее черты.
Совсем другие мысли были у Алексея Никитича. «Отняли сына, погубили, — думал он, каменея от боли и злости. — Нет, дочь не отдам! Надо всерьез заняться ее воспитанием. Непростительно мало я уделял внимания детям. Непростительно... Эх, Саша, Саша!» — и опять он скрипел зубами и слезы застилали ему глаза.
Ожесточенность — вот, пожалуй, точная характеристика состояния Левченко в эти первые часы. Он лежал, не замечая, что в комнате стало темно.
Соня неслышно открыла дверь, щелкнула над его головой выключателем.
— Ужинать будешь? — негромко спросила она.
Алексей Никитич посмотрел на часы: ровно девять. Обычное время ужина.
— У меня голова болит. Вообще ты меня не беспокой сегодня. Уйди, — сказал он с неожиданной резкостью.
Это задело Соню за живое. Ах, так! Ну так она тоже не бездушный манекен. Мог бы найти хоть слово для своей дочери. Вся пылающая и будто выросшая, с раздувающимися от напряжения ноздрями, она стояла перед ним, как Живое олицетворение бунта. Все случившееся сегодня привело Соню в такое волнение, вызвало такое смятение мыслей и чувств, что ни привычное преклонение перед суровой волей отца, ни детский страх перед его гневом уже не могли остановить ее. Она заметила слезы в глазах Алексея Никитича, и это почему-то еще больше обозлило ее.
— Плачешь?.. Теперь плачешь, — заговорила она безжалостно суровым тоном; голос ее дрожал, как сильно натянутая струна. — А ведь это ты виноват! Ты! Только ты...
— Нет, нет! — Алексей Никитич не вспылил, не обиделся даже; он хотел спокойно объяснить ей, что в их горе виноваты другие люди, — и вдруг с ужасом почувствовал, что у него нет таких слов. И тогда он ладонями закрыл лицо, словно мог этим защитить себя от тяжкого обвинения.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В то время как в доме Левченко происходили эти события, Саша действительно находился между жизнью и смертью. Он упорно боролся за свою жизнь, хотя и не сознавал этого. Лежа на спине с открытыми, невидящими глазами, он то беспокойно метался, стонал, грудь его поднималась прерывистыми неровными толчками, то, слабея от сделанных усилий, надолго затихал, и надо было внимательно приглядеться, чтобы обнаружить дыхание.
В такие минуты над ним склонялся человек, разжимал палочкой его стиснутые зубы и вливал в рот Саше несколько капель какой-то жидкости. Чаще это был старик китаец, иногда же молодой парень примерно Сашиного возраста. Время от времени они вдвоем меняли ему повязки, прикладывали к груди тряпочки, смоченные в отваре из трав. Старик сухими, костлявыми пальцами ощупывал его ребра.

Очнувшись, Саша долго не мог понять, где он находится и что с ним. Перед глазами плыли круги, мелькали цветные, радужные пятна. Они мешали сосредоточиться на чем-нибудь. Затем Саша разглядел низкий, закопченный потолок с грязными подтеками и толстой балкой посередине. Откуда-то со стороны падал скупой свет. Саша попытался повернуть голову к источнику света, но у него не хватило сил. Хотел пошевелить рукой — и тоже не смог.

«Ах да, я еще не проснулся!» — подумал Саша и открыл глаза пошире. Перед ним оказался тот же самый потолок.

«Где я? Как попал сюда?» Вчера — это Саша помнил отчетливо — он с Василием ездил в Чернинскую. Он начал восстанавливать события в их точной последовательности. Ночью они возвращались на хутор. Саша припомнил даже разговор, который они вели. Василий ехал впереди. Затем он опрометью поскакал назад и что-то крикнул. «А что он кричал? Что кричал? — Саша напряг память. — Что такое он мог сказать?.. Нет, не помню». Он все возвращался и возвращался к этому месту, чувствуя, как важно восстановить картину во всех деталях. Но в памяти у него оказался провал. Саша забеспокоился, попробовал рывком повернуться на бок и застонал от боли. Перед глазами снова замелькали мерцающие круги.

«Что с моей головой?» — Саша подумал это и тут же опять провалился в пустоту и мрак.

Когда он снова очнулся, была ночь.

В ноздри ему ударил сложный запах прогорклого бобового масла, чеснока, залежалых циновок и отстоявшегося дыма. Где-то рядом во тьме похрапывал спящий человек. С другой стороны доносилось сухое покашливание, кто-то там курил, и ко всем запахам примешался еще и запах крепкого табака.

— Где я? — спросил Саша. Голос его прозвучал тихо, но был услышан.

— Твоя си-пи. Си-пи, капитана. Моя потунда
[4]
, — сказал старческий голос, и ноги зашаркали по циновкам.

Саша почувствовал, как ему приподняли немного голову; у самых губ оказалась чашка с водой. Он сделал несколько глотков. Вода была горьковатой на вкус, но приятной.

Саша передохнул и сделал еще пять-шесть глотков.

— Шанго!
[5]
Си-пи, — стоявший над ним человек добавил еще несколько слов, которых Саша не понял, и отошел.

«Китаец. Однако куда меня занесло?» — Саша потянул носом воздух, ощущая тот же непривычный запах.

Перебирая события последнего дня (он считал, что все произошло не далее, как вчера), Саша наконец сообразил, что они с Василием попали в засаду. «Почему так адски болит голова?.. Ага... я ранен. А Василий?.. Жив он или нет?»

Вдруг в памяти явственно прозвучали чьи-то странно знакомые голоса. «Что с трупом делать теперь?» — спросил один. А другой ответил равнодушно, с хрипотцой: «Самое разумное — в прорубь спустить».

«Это меня — в прорубь. Ну нет! Не дамся», — подумал Саша. И тут он вспомнил, как поднялся со снега и побрел в деревню, выбрав кратчайший путь по реке. Пурга слепила ему глаза и мешала идти.

Но почему он в китайской фанзе? Ведь в деревне китайцев не было, там жили одни казаки. Саша не стал ломать голову над новой загадкой.

«Жив, и ладно! Главное, что жив», — подумал он с радостью. У него было такое ощущение, будто его качает на крутой волне. И от этого неудержимо хотелось спать, А сквозь шум и плеск тысячи серебряных колокольчиков вызванивают один удивительно бодрый мотив: жив, жив, жив, жив!..

Проснулся он от небольшого шума. За дверью слышались приглушенные голоса. В циновку, на которой он лежал, рядом с его лицом уткнулся косой солнечный луч. По лучу

Саша определил, что еще рано: солнце стояло низко, видно недавно взошло. На самом деле был конец дня: Саша проспал подряд почти шестнадцать часов.
Сон благотворно сказался на нем: боль поутихла, и голова была ясной. Саша с интересом стал осматривать помещение.
Он лежал на теплом кане в небольшой низкой фанзе в два окна. При дальнейшем рассмотрении одно из окон оказалось дверью, верхняя решетчатая часть которой была оклеена желтоватой промасленной бумагой. Такой же бумагой заделано и окно, лишь в нижнем углу косячком был вставлен маленький осколок стекла. Через него солнце просвечивало всю толщу пыли, взвешенной в воздухе. От потолочной балки к стенам протянуты оструганные шесты. На них висели связки лука, белые головки чеснока, стручки красного перца, раскрытые янтарно-желтые початки кукурузы и пучки какой-то травы. На кане лежали плетеные циновки. От круглого котла, вмазанного в низкий очаг, поднимался пар, и запах варева щекотал ноздри. Саша почувствовал голод и жажду.
— Эй, есть тут кто-нибудь? — спросил он, отказываясь от попыток рассмотреть заднюю часть фанзы. Для этого надо было повернуться на бок, а Саша боялся разбередить успокоившуюся рану.
Разговор за стеной оборвался. Тотчас приоткрылась дверь, и в помещение неслышно скользнул старик китаец в старом стеганом халате. Увидев, что Саша глядит на него, он приветливо закивал головой, заулыбался.

— Чифан, чифан!
[6]

Старик пододвинул широкую гладкую доску, заменявшую стол, принес две чашки — одну с бульоном, в котором плавали редкие блестки жира, другую — с мелко нарезанными овощами. Вместо хлеба подал сваренные на пару пампушки из белой муки.
Сашу он осторожно повернул на здоровый бок, подсунул ему под спину скатанное валиком ватное одеяло. Старик поддерживал и Сашину голову и чашку с бульоном. «Вот бы посмотрел кто на меня. Смех и грех», — думал Саша, попивая тепленький бульон. Затем старик кормил его овощами, ловко подхватывая еду палочками, и оба они смеялись — Саша несколько смущенно над своей беспомощностью, а старик над его разыгравшимся аппетитом. Старик говорил что-то по-китайски. Саша не знал слов, но воспринимал сказанное по-своему: дескать, ешь больше, парень, поправляйся. И он не заставил упрашивать себя.
Через несколько дней Саша уже садился на своей постели. Однажды, воспользовавшись отсутствием хозяев, он отважился спустить ноги с кана и попытался встать. Но у него так закружилась голова, что он опрокинулся на спину прежде, чем довел затею до конца. В таком положении его и застал старик, возвратившийся в фанзу с охапкой дров.
Уложив Сашу, китаец затем долго и сердито выговаривал ему, должно быть, за ребячество. Саша блаженно улыбался.
— Ладно, хозяин! Не ругайся. Буду лежать смирнехонько, — примирительно сказал он, вытянулся на кане во всю длину и сложил руки на грудь. — Когда же я, по-твоему, поднимусь — дня через три? — и Саша показал три пальца.
Старик в ответ поднял обе руки и растопырил все пальцы.
— Десять дней! — ужаснулся Саша. — Ну, это мне никак нельзя. Нельзя. Дезертиром сочтут. Пойми, милый человек. Нельзя, — взволнованно и бессвязно заговорил он. — Ты позови из русских кого-нибудь. Русского позови.
Саша не знал, где он находится. Его попытки расспросить об этом старика были безрезультатны. Он полагал, что в пургу сбился с пути и забрел на соседний участок, где на казачьих заимках жили китайцы-арендаторы. Удивляло только одно — ни Василий, ни кто другой из милиционеров до сих пор не заглянули в фанзу. Что там у них стряслось? Старик же, слушая Сашу, только качал головой и по-прежнему показывал ему десять пальцев.
«Вот беда, не понимает! Ну как растолковать?» Из-за невозможности объясниться Саша еще больше разволновался. «А вдруг меня нарочно упрятали, потом уволокут за границу?» — от такой мысли лоб его сразу покрылся испариной. Если до этого Саша испытывал к

старику самые теплые чувства, то теперь он с большим подозрением посмотрел на него. И как это лицо казалось ему добрым, привлекательным? Сейчас Саша видел на нем скорее хитрость, затаенную жестокость и тысячу других пороков. Разве не странно, что старик упорно не хочет позвать к нему русских? Тут у многих свои счеты с корчемниками. Ах, если бы сил побольше. Саша сумел бы постоять за себя.
Старик знаками показал, что ему нужно выпить приготовленное питье.
— Чифан, капитана. Си-пи.
— Не буду! — Саша отрицательно замотал головой. — Позови русских, слышь. Пусть отвезут меня в лазарет. — И он с враждебностью оттолкнул руку с питьем.
Тогда старик сзади обхватил его шею, нажал пальцами на подбородок. Саша невольно открыл рот, и тотчас туда было вылито питье из чашки. Саша поперхнулся, глотнул, во рту остался характерный горковатый вкус опиума. Слезы полились у него из глаз от досады, обиды и собственной беспомощности.
На другой день мысли о западне ему самому показались вздорными. Но беспокойство не проходило. После некоторого подъема у него наступил упадок сил. Апатия и безразличие ко всему овладели Сашей. Он лежал и с мрачным видом смотрел в потолок, молча глотал лекарства, отказывался от еды. Старик что-то говорил, в чем-то убеждал его, — Саша был глух ко всему.
Однажды в фанзу вместе с молодым хозяином зашел рослый китаец с рябым лицом. Он тотчас заговорил на ломаном русском языке, мешая русские и китайские слова.
— Тебе чего — больной? Кушай много надо. Кушай нету — ходи нету. Совсем тогда фангули, — весело блестя зубами, сказал он Саше. — Хабаровска еси?.. Моя раньше тоже Хабаровска ходи. Работай! Паяй-а-а-а! — вдруг пронзительно-громко завопил он, как раз так, как кричат паяльщики на улицах.
Саша рассмеялся.
С грехом пополам они объяснились. Саша узнал, что он вышел прямо на китайскую сторону (раньше это ему и в голову не приходило). Молодой китаец, который был сыном старика, подобрал его, истекающего кровью, на Уссури. Долго он не приходил в сознание, и хозяева опасались за его жизнь. Его лечили женьшенем, который старик давно тайно выкопал в горах и берег для себя. Если он будет послушным — через полмесяца вернется домой.
Из деликатности китайцы не задавали ему никаких вопросов. Но Саша сам рассказал о себе. Рябой сочувственно покивал головой, посоветовал без нужды не выходить из фанзы.
— Худой люди еси. Купеза.
— Ладно, это я понимаю, — сказал Саша.
Он проникся безграничным доверием к своим хозяевам-китайцам. И стыдно ему было за необоснованные подозрения, и радостно в то же время.
— Старику спасибо скажите, я его век не забуду. И женьшень оплачу, в долгу не останусь, — со слезами на глазах говорил Саша.
Старик долго говорил что-то рябому, посматривая то на Сашу, то на сына. Молодой китаец тоже поглядывал на кан и улыбался,
— Его старик еси — все равно скоро помирай. Деньги не надо, — перевел рябой. После некоторого раздумья он взял молодого китайца за руку и подтолкнул его к Саше. — Твоя, его — друга еси. Вот... То-ва-ли-са... — он соединил их руки.
Саша в искреннем порыве обнял молодого китайца.
Как рассказал рябой, здесь уже слышали о революции в России. Хорошо, что русские прогнали царя и плохих начальников. Старик и его сын очень обрадовались, узнав, что Саша есть новый русский капитан. Впрочем, об этом они догадывались и раньше.
Саше хотелось узнать, что происходит сейчас на родном берегу. К сожалению, китайцы ничего нового не могли сообщить ему. Он узнал только, что через Уссури по льду на эту сторону переправляются по ночам небольшими группами какие-то русские. В поселке они не задерживаются, а двигаются дальше в глубь страны. «Должно быть, господа офицеры в Харбин бегут, — весело подумал Саша. — Значит, все идет, как надо».
С этого дня у него пробудился интерес к окружающему. Появился волчий аппетит — верный признак того, что дела пошли на поправку.

В дни болезни Саша как бы углубился в себя; в его голове подверглись суммированию и переработке все те факты и впечатления, которые принесла жизнь в последние месяцы. Над многим он пораздумал теперь на досуге — о судьбе отца, Сони, Василия и о судьбе страны.
2
Настал наконец день, когда молодой китаец в первый раз вывел Сашу на улицу. Его посадили на дровяной чурбак; Саша спиной прислонился к стене и жадно вдыхал морозный, пьянящий воздух.
Был тихий зимний вечер. Саша глядел на звездное небо, припоминал созвездия, которые когда-то заучивал на уроках астрономии.
Китаец тронул его за плечо и показал рукой вдаль. За белесой неясной равниной Уссури, почти в ряд с нижними звездами, мерцали два-три желтых огонька. Саша сперва довольно равнодушно посмотрел на них, затем сердце у него забилось: он видел огни поселка на русской стороне. Пожалуй, это как раз та деревня, где они с Василием несли службу. Вот здорово!
Он смотрел не отрываясь, и мысли его унеслись далеко-далеко.
На другой день Саша получше рассмотрел противоположный берег и убедился, что это действительно тот самый поселок. Всего полторы — две версты отделяли его от родного берега. Но где-то посередине протянулась невидимая линия государственной границы. Саша не знал правил пограничного режима, принятых в Китае, но понимал, что бедному рыбаку не так-то просто перейти на другой берег.
Что ж, еще неделя, и он будет дома!
Саша отвернулся и стал рассматривать двор и фанзу своих хозяев. Незатейливым оказалось хозяйство полунищего китайца-рыбака: обмазанная глиной фанза, крытая камышом; узенький дворик с двумя клетьми — в одной помещался худой длинноногий поросенок, в другой — три курицы; небольшая поленница дров из плавника — вот и все. Забор из ивовых прутьев отделял двор от такого же соседнего дворика.
С другой стороны тянулась невысокая глинобитная стена, похожая на букву «с», открытые концы которой упирались в реку. Странно было видеть эту стену в небольшом поселке с его единственной узкой и кривой улочкой, протянувшейся от реки к западным воротам. Какую защиту могла дать она жителям? Стена скорее была данью потерявшей значение традиции, да, может быть, имела фискально-полицейское значение.
Пока Саша изучал расположение поселка, старик деревянной лопаточкой подбирал куриный помет и складывал его в ящик. Он всегда был чем-нибудь занят — мастерил из проволоки самодельные крючки, плел веревки из конопли, шил матерчатые туфли с двойной подошвой из толстого войлока. На нем же лежало домашнее хозяйство.
Питались хозяева скудно — чашечка вареной чумизы или бобов, немного овощей. Иногда кусочек вареной или вяленой рыбы. И неизменный зеленый чай. Сашу кормили отдельно и гораздо лучше (для него старик зарезал петуха и трех куриц), но он постоянно ощущал пустоту в желудке.
Молодой рыбак чуть свет уходил со двора, долбил на реке лунки, ставил снасти. Выкраивался свободный час, и он подбирал плавник на галечниковых косах. Согнувшись под тяжестью ноши, на рогульках тащил дрова в поселок. Ходил он быстро, почти бегом, поражая Сашу и неутомимостью своей и жизнерадостностью.
«Вот жизнь — не позавидуешь. А люди-то хорошие. Душевный народ, ей-богу», — думал Саша. С каждым днем он проникался все большей симпатией к старику и его сыну. Объяснялись они при помощи жестов и мимики.
Как понял Саша, старик жил на Уссури давно. Прежде у него была большая семья — четверо сыновей и дочь. Лет восемь тому назад двое мальчиков погибли во время большого наводнения, когда река разлилась на десятки ли вокруг. Затем от оспы умерли старший сын и жена. Старик плакал, рассказывая о постигших его несчастьях. Саша так и не понял, куда девалась дочь старика. Ее, видно, не было в поселке: за все время, что Саша провел здесь, женщина ни разу не переступала порог фанзы.
«Притесняют их все, кому не лень. А тоже, гляди, терпение истощится», — думал он, проходя первый раз по узкой и тесной улице.

Со стороны реки слышались крики. Пепельно-черный бычок с белой лысиной тащил одноосную арбу с двумя такими высокими колесами, что их спицы погружались в снег едва на треть своей длины.
Навстречу Саше от околицы, согнувшись, шли вереницей носильщики с грузом в рогожах из рисовой соломы. Шли они, видно, издалека: веревки рогулек глубоко врезались в ватники, а рогожки заиндевели от дыхания. Ступая след в след, носильщики свернули к одной из стоявших на яру лавок.
В поселке было всего полтора десятка фанз, одинаково обмазанных глиной и производящих самое жалкое впечатление. Четыре из них, побольше размером, — купеческие лавки. Они стояли на берегу все в один ряд.
На одной из лавок Саша увидел вывеску на русском языке: «Галантерейно-питейная торговля...» После имени хозяина стоял большой вопросительный знак. Художник, видно, был не силен в синтаксисе. А может, вывеска содержала определенный намек.
Самостоятельность торговцев в пограничной линии была чисто номинальной: под их маркой прибыльной контрабандной торговлей занимались крупные харбинские и цицикарские фирмы. А за ними в свою очередь стоял иностранный капитал — лондонские, нью-йоркские, токийские и парижские банки.
В лавках продавались мануфактура, чай, керосин, соль, спички, сигареты и, конечно, спирт в банках и плоских банчках из белой жести. Здесь можно было купить сортовую муку в аккуратно зашитых пудовых мешочках, сахар, арахис и разную мелочь — гуттаперчевые гребни, нитки всевозможных расцветок, подвязки, чулки. При надобности хозяин мог выложить на прилавок отрез первосортного китайского шелка, туфли парижской модели или маузер с патронами в фабричной упаковке. Здесь также принимали пушнину, скупали золото, меняли одну валюту на другую. Общая сумма торговых операций, видимо, была значительной, но не легко поддавалась учету.
Саша сперва подивился тому, что в маленькой нищей деревушке столько торговцев. «Да кто же у них покупатели? Кому здесь нужен такой товар? — думал он, рассматривая полки. Потом сообразил, что все это предназначено для контрабандной торговли. — Вот ведь пристроились, скажи, пожалуйста! Сколько денег таким манером перекачать можно? — Он представил себе число таких незаметных торговых пунктов вдоль всей тысячеверстной границы и ахнул. — Ну, тут крупное дело! И упаковка, видать, специальная... А что-то незаметно, чтобы купцы роскошествовали. Прибыль, наверно, большим тузам в карман идет — в Харбин или подальше», — размышлял он, суммируя свои наблюдения.
Саша не знал всей сложности существовавших здесь отношений, но понимал, что заинтересованность в контрабандной торговле простирается далеко. Он попытался расспросить об этом лавочников. Они охотно показывали свой товар, но делали вид, что не понимают вопросов.
— Моя так торгуй — покупай, продавай. Убытка нету — ладно. Хо! Убытка есть — пухоу. Шибико плёхо, — на русско-китайском жаргоне сказал владелец лавки со знаком вопроса на вывеске.
Это был плотный пожилой китаец в черном шелковом халате, в круглой черной же шапочке на голове. Ласково-добродушное выражение его лица располагало к разговору. Голос у него был размеренно-журчащий, приятный. В узких щелочках глаз застыла улыбка, в манерах так и сквозила готовность услужить.
Как же удивился Саша, когда, вернувшись в фанзу, застал там этого же лавочника в совсем другом настроении. Неприятным визгливым голосом он бранил хозяев и что-то требовал от них. Лицо у него было жестоким и высокомерным в то же время.
Старик оправдывался и униженно кланялся. Молодой рыбак стоял позади него и смотрел на лавочника таким ненавидящим взглядом, что Саша испугался, как бы дело не дошло до драки.
На кане, заложив ногу за ногу и болтая носком сапога, сидел невысокий скуластый человек с матово-желтым лицом и прищуренными глазами смотрел прямо перед собой. На нем был белый полушубок армейского образца и белая папаха с малиновым верхом.
Когда Саша попал в его поле зрения, он перестал болтать ногой и снисходительно кивнул ему.
— А я вас дожидаюсь, земляк. Какими судьбами сюда!

— Да вот... заболел, — неопределенно сказал Саша.
Лавочник выпалил еще несколько фраз и ушел, хлопнув дверью. Вслед за ним выбежал и старик, сильно расстроенный разговором.
— Что это он кричал на них? — спросил Саша, ничего не поняв в разыгравшейся перед его приходом сцене.
— Обычная тут история — долги, — сказал гость, отвернул полу и вытащил из кармана пачку японских сигарет. Закурив, он стал расспрашивать молодого рыбака. Говорил он по-китайски так бойко, что Саша не мог уловить разницы в произношении одного и другого.
— Оказывается, лавочник девку у них отнял, его сестру. Продал ее в другую деревню. А теперь поросенка хочет забрать. У такого из долгов не вывернешься, сколько ни плати, — закончил он равнодушным тоном, считая эту историю делом обычным и заурядным.
Он назвался служащим японо-китайской фирмы, прибывшим сюда по делу из соседнего городка.
— Услышал про вас и счел своим долгом... Вы из Хабаровска, видно?
Саша подтвердил. Он обрадовался приходу русского и в то же время не знал, как следует себя держать с ним. Что это за человек и каковы его намерения? Когда Саша назвал себя, гость вскричал:
— Те-те-те! Вот не ждал. Алексея Никитича сын?.. Ну рад, рад, — и он церемонно пожал Саше руку. — Папаша ваш человек известный. Вели мы с ним дела. Башка!
Говоря это, он извлекал из карманов запечатанную бутылку водки, копченую колбасу и хлеб, завернутые в серую оберточную бумагу. Ловким ударом в донышко бутылки вышиб пробку.
— Эй ты, давай сюда чашки. Живо!
Распоряжался он с бесцеремонностью человека, привыкшего не встречать отказа своим требованиям.
Саша только пригубил, а пить не стал. Гость из-за этого нисколько не огорчился. Под небольшими рыжеватыми усами у него появилась холодная усмешечка, которая в сочетании с настороженно-внимательным взглядом вызывала у Саши недоверие к нему и ответную настороженность.
— А я — Соловейчик, слышали, наверно? — с откровенностью подвыпившего человека похвалился он. — Тут про меня много историй рассказывают, да большей частью — вранье. Однако провести меня трудно. Не за всякое дело я берусь. Мелочишка разная, чулки, пудра — это не мой масштаб. Теперь, брат, такие грандиозные дела предвидятся... Антик, одним словом. Вальпургиева ночь! — Он захохотал, обнажив желтые, прокуренные зубы. Затем совершенно трезвыми глазами посмотрел на Сашу и спросил, кого еще из хабаровских коммерсантов он знает. Саша назвал Чукина.
— Жулик. Но талант, талант! — сказал Соловейчик, совершенно успокоившись. — Революция подрезала ему крылышки, да ведь это не надолго. Тут такая будет акция, — продолжал он доверительно. — Ожидаются большие транспорты оружия. Из Америки. Вот надо наладить переправочные пункты. Через границу, значит. Найти подходящих людей, склады. Дело спешное. А потом — трах, бах! — и нет ваших... Адью, господа большевики! — Он положил руку на Сашино колено и предложил:
— Знаешь, плюнь на свои дела и поедем со мной! Не прогадаешь. На таком деле крупно заработать можно. Ей-богу! По обе стороны границы шуровать будем.
Саша только присвистнул: граница неожиданно открылась ему еще одной стороной. Он был, однако, достаточно осторожен и виду не подал. Но очень встревожился. «Вот так фрукт! А попадись где-нибудь на дороге — не подумал бы даже. Нет, не знаем мы еще эту публику». Саша впервые так ясно увидел, какие сети плетутся здесь и сколькими бедствиями грозят они его стране. Он возненавидел Соловейчика, как самого заклятого врага.
Должно быть, Соловейчик уловил эту перемену в его настроении. Он опять настороженно посмотрел на Сашу и погрозил пальцем:
— Не хочешь? Дело твое. Только цыц! Шито-крыто и заметано. Как в проруби подо льдом. Понял?

«Завтра уйду на свою сторону, — решил Саша, когда Соловейчик, допив бутылку, убрался наконец из фанзы. Оп почувствовал, что уже в силах проделать такой путь. — Завтра, завтра...» — думал он, засыпая.
Но уходить пришлось раньше. Еще не пропели первые петухи, как кто-то в темноте осторожно постучал в дверь. Старик пошептался с пришедшим и тотчас разбудил сына и Сашу. Тревога, как понял Саша, была связана с намерениями Соловейчика. Ему каким-то образом стало известно о службе Левченко в милиции.
Молодой рыбак вывел Сашу со двора и все торопил его знаками поскорее уходить, видимо, боялся погони. Не менее часа шли они тропинкой по кустам тальника, и только потом проводник по снежной целине повернул к противоположному берегу. Холодный, резкий ветер дул в спину. Идти было трудно. Ноги скользили по мелким торосам, вязли в снежных застругах. Саша нет-нет и падал. Когда его силы совсем уже иссякли, молодой рыбак остановился и весело сказал:
— Ходи, ходи!
Под ногами у них была накатанная дорога. Рядом виднелся крутой яр русского берега, чернели кусты. А за небольшим мыском впереди приветливо мигал огонек.
«Вот я и дома!» — подумал Саша.
И точно камень с него свалился.
3
Извозчик, которого Саша подрядил с вокзала, высадил его возле «Чашки чая» на Муравьев-Амурской. Из кафе доносилась музыка. Была оттепель, капало с крыш. На тротуарах гуляла публика, слышались веселый говор и смех.
Саша улыбался оттого, что он опять здоров и что день выдался такой ясный и воздух чистый. Он представил себе, как забежит сейчас на минуту к Соне и обрадует ее (Саша и не подозревал, что в родном доме его оплакали, как покойника). Черная проталина на дороге, веселая возня воробьев, ледяные сосульки под застрехами — ничто не укрылось от его острого взгляда.
В самом прекрасном настроении он шел по улице к родному дому. Последний поворот. Вот и калитка. И тут грусть охватила его при мысли, что не может он, как прежде, весело и непринужденно взбежать на крыльцо и с беззаботностью юности застучать сапогами, обивая приставший к подошвам снег. Многое пережил Саша с тех пор, как в последний раз захлопнулась за ним массивная дверь с бронзовой ручкой. Невидимый, но прочный барьер отделил его от отца. Но в доме жила Соня — от нее Саша не мог так отстраниться. Теперь сестра была единственной нитью, которая еще связывала его с домом, где протекли его детство и юность. Он не мог не прийти к ней. Поколебавшись мгновение, Саша ступил на крыльцо и позвонил.
Никто, однако, не открыл ему дверь. Видно, никого не было дома. Саша вздохнул и, медленно ступая, сошел с крыльца.
Поселился он в казарме конного дивизиона. В рапорте Саша описал все случившееся с ним, не позабыл и разговора с Соловейчиком.
На другой день его вызвали в Совет к Потапову.
— А-а, это вы! Я так почему-то и думал, — сказал Михаил Юрьевич, поднимаясь и крепко пожимая Саше руку. — Садитесь пожалуйста. Здорово вы тогда эсеров проучили, в кинематографе. Не простят вам.
— Я ведь ушел из дому, совсем ушел, — сказал Саша, садясь на стул.
— С отцом не поладили? — Потапов чуть поднял левую бровь, лицо у него от этого стало совсем простецким.
У Саши и следа не осталось от той скованности, которую он обычно испытывал в общении с официальными лицами.
— Конечно, не поладил, — подтвердил он. — Если бы вы знали характер моего отца.
— А вот знаю. И представьте, нравится мне Левченко, честное слово, — сказал Потапов без тени улыбки. — Как думаете, отец пойдет служить к нам?
— Ну, нет! Не думаю...
— Пойдет. Обстоятельства принудят к этому. Впрочем, посмотрим. Посмотрим... Так что происходит у нас на границе? Что за Соловей-разбойник объявился там? — Глаза Потапова пытливо уставились на Сашу.

Сообщение о предстоящей переброске оружия из-за границы не могло не насторожить Михаила Юрьевича. В разговоре он несколько раз возвращался к этому.
— Интересный, видно, тип этот Соловейчик. В какой фирме он служит?.. Ага. Значит, тут уже внешние силы действуют. Как думаете, найдутся у них подходящие каналы, скажем, щели с нашей стороны, чтобы транспорты эти просунуть?
— Щелей много. Нам их сразу не закрыть, — сказал Саша, вспомнив старовера с хутора.
За последний месяц Саша сильно изменился. В углах рта образовались две глубокие складки, глаза впали, но горели ярче, лицо похудело, выступили скулы. Он стойко перенес тяжелое испытание, спина его не сгорбилась, характер — закалился. Держался он просто и с достоинством. Чувствовалось, что все, о чем он говорит, прежде тщательно обдумано им. Саша понравился Потапову. «Грамотный, думающий парень. Может, его в газету послать? Нет, пусть побудет там, где труднее. Ему полезнее», — решил он, присмотревшись к молодому Левченко.
В конце разговора Потапов позвонил Демьянову.
— Придется, товарищ Левченко, щели эти закрыть, как ни трудно, — продолжал он, положив трубку. — А врачам вы уже показались? Нет?.. Как же так, молодой человек! Нехорошо. Идите завтра в госпиталь. Я позвоню начальнику дивизиона.
В результате медицинского осмотра Сашу Левченко на две недели освободили от несения службы. Он действительно чувствовал себя слабым, больше лежал на койке. В солнечные часы посиживал на скамье во дворе казармы, ждал возвращения Ташлыкова. Дня за три перед Сашиным приездом Василия послали на станцию Вяземскую, где подозрительно зашевелились богатые казаки.
В дивизионе Саша встречался со знакомыми милиционерами, отвечал улыбкой на их удивленные восклицания. Все радовались, что слух о его гибели не подтвердился. И хорошо и тепло становилось Саше от дружеского участия.
В этом состоянии радостного возбуждения, опьянения возможностью снова двигаться, действовать Саша позабыл о том, что следовало известить родных о своем возвращении. Обида на отца несколько потускнела, отодвинулась, но была еще достаточно свежа, чтобы помешать ему запросто прийти в дом. Встречаться с отцом Саша не хотел. Поэтому и встречу с сестрой отложил до более удобного случая. В полном неведении о домашних делах Саша прожил еще неделю, пока не вернулся Василий.
Ташлыков бурей ворвался в помещение, обнял Сашу. Затем он зорко оглядел его худую, вытянувшуюся фигуру.
— А здорово тебе попало, парень! Могли ведь и убить.
— Могли, — подтвердил Саша с улыбкой, которая была самым решительным опровержением этому.
— Да-а. Выходит, поспешил я маленько. Не чаял живого-то тебя увидеть. — Василий сел на табурет и смущенно подергал себя за ухо. — Главное, следов никаких. Возле проруби как обрезало. Значит, думаю, — они тебя под лед. Обыкновенное дело в таких случаях.
— Я хотел в деревню уйти. Да сбился, попал на китайскую сторону, — пояснил Саша, не в силах сдержать улыбки. Он живо представил себе, как Василий шел по следу к проруби и что он думал при этом. — Снег падал. Хотя я ничего не помню. Ничего не помню, — повторил он, с удовольствием вслушиваясь в звуки собственного голоса. То, о чем они говорили сейчас, было чем-то далеким, сторонним, как сюжет интересного рассказа, который волнует воображение, а все-таки не вполне достоверен.
— Да, снегу за ночь выпало четверти на две, — подтвердил Василий. — Однако не в нем дело. Не чаял я тебя живого увидеть. Вот глаза мне и застило. — Василий коротко вздохнул, положил на колени загрубевшие от мороза и ветра руки с потолстевшими в суставах пальцами и крепко сцепил их. — Перед родителем твоим я виноват, выходит. Виноват...
— Постой, Василий Максимович! Ты о чем? — спросил Саша, гася улыбку, и в упор посмотрел на Ташлыкова. Сердце толчком ударило в грудь, и вместе с тем пришло ощущение неясной тревоги.
Василий, не мигнув, выдержал Сашин взгляд.
— Похудел, однако, ты — кожа да кости! Ну, жирок нагуляешь, был бы аппетит... А Лексею Никитичу я все сказал, как есть. То есть, как прежде сам насчет твоей судьбы

полагал, — тут же поправился он. — Скрывать-то зачем? Отец ведь. — Убрав руки с колен, Василий виновато потупил голову. — Дело сделано — хочешь ругай, хочешь нет.
У Саши вдруг похолодели пальцы, а щеки медленно стали наливаться краской. Только сейчас он понял, что произошло и как он виноват, откладывая со дня на день встречу с родными. Да, нехорошо получилось...
— Ты что же, Александр Лексеич? Стало быть, не показался еще? — спросил Василий и махнул рукой. — Одно, значит, к другому. Ну-у, дела-а...
— Боже мой, я и не знал! Не думал, — Саша в страшном волнении вскочил и забегал по пустому в этот час помещению. — Нет, мои обиды — сущая чепуха. Я кругом виноват. Что же мне делать?
— А ты, Александр Лексеич, ступай. Прямо отсюда и двигай, — мягко сказал Василий, подходя к Саше и кладя руку ему на плечо. — И не бойся. Не бойся. Уж коли горе не убило, радость — не покалечит. Ступай.

4

В это утро у Сони произошла новая стычка с отцом. Характер у нее, как и предсказывал доктор Твердяков, действительно начал проявляться. Вступив на путь самостоятельных суждений, она больше не хотела терпеть духовной опеки над собой.
Соня дала почувствовать гостям Левченко, как они ей неприятны. Кто-то пожаловался Алексею Никитичу. Дескать, смотри — дочь тоже от рук отбивается. Левченко сам видел, что с дочерью, с его точки зрения, происходит что-то неладное, но молчал. Молчал, пока об этом не заговорили совершенно посторонние люди. Тут он взорвался.
Соня нисколько не испугалась. Былой страх перед отцом прошел безвозвратно. Очень спокойно она объяснила ему, что вольна в своих симпатиях и антипатиях: она уже взрослый человек, и отец должен с этим считаться.
Алексей Никитич не нашелся, что сказать. Спокойствие дочери и ее почтительный в то же время тон обезоружили его. Взгляды Левченко на жизнь расходились все больше со взглядами детей. Когда он понял это, уже было поздно что-либо поправить. Дело быстро дошло до разрыва с сыном. Но теперь и дочь — его тихая и безропотная Соня, так похожая этими чертами на мать, его покойную жену, — она тоже восстала против него. Нет, это уж слишком! Алексей Никитич просто онемел от неожиданности. Он так ничего и не сказал ей, повернулся и вышел. Но за стеной еще долго слышались его тяжелые, грузные шаги.
За время, прошедшее после памятного ему визита Ташлыкова, Алексей Никитич заметно постарел. Между бровями у него пролегли резкие складки, и во всем его облике такого деятельного прежде человека теперь чувствовались усталость, вялость, апатия. Жизнь как-то шла мимо него; он сознавал это, мучился, злился — и был бессилен и вне дома и в своей собственной семье. Каково было ему при его властолюбивом характере мириться с этим?
Как ни странно, но его опять потянуло к таким же вышибленным из колеи людям. В их брани и диком озлоблении Алексей Никитич находил для себя какое-то удовлетворение. Но брань — слабое утешение.

Когда отец уходил из дому, Соня сидела у себя в комнате и не вышла закрыть дверь, как обычно делала. Она даже обрадовалась, что осталась одна. Их кухарка (другой прислуги Левченко теперь не держал) отпросилась в деревню к больной сестре и еще не вернулась. Соня эти дни сама вела хозяйство.
Накануне она заснула поздно и спала недолго: чуть посинели окна, как она проснулась и уж больше не смыкала глаз. Теперь она забралась на диван и отдыхала с книгой в руках. Роман был пустейший, однако с интригой. Соня бегала глазами по строчкам, что почти не мешало свободному течению ее мыслей.
Весть о смерти брата потрясла Соню до глубины души. Человека слабого такой удар мог надолго выбить из колеи, надломить; но Соня при всей ее кажущейся мягкости принадлежала к натурам сильным. Заботы по дому, работа отвлекали ее, и она уже спокойнее могла думать о случившемся. В первый момент она ощутила только ужасающую пустоту вокруг и растерялась. Такого ощущения полной безвыходности больше не было. Она начала пытливо приглядываться к окружавшим ее людям и сама стала более определенной в отношении к ним. Мысли ее получили новый толчок. Пусть Соня пока не пришла к решению, коренным образом меняющему весь образ жизни, — внутренне она

готовилась к этому. Все случившееся за последнее время оставило у нее глубокий след: она повзрослела.
Но странное дело! Думая теперь о брате, глубже понимая его характер, она верила и не верила в его смерть. Где-то жила все-таки надежда. Ведь Василий потом не видел Сашу (Соня в мыслях своих всячески избегала слова «труп»), никто его не хоронил. А если?.. И столько этих «если» вдруг возникало в ее голове, что для Сони брат все еще находился где-то на грани жизни и смерти.
Вдруг послышались шаги в квартире. Она слегка повернула голову. Да, кто-то шел по коридору; шаги были не отцовские, легкие, быстрые. Соня вспомнила, что не закрыла дверь, и испугалась. Кто это мог быть?
Человек подошел к двери и остановился, прислушиваясь. Какое-то мгновение оба они, Соня и тот, за дверью, задержав дыхание, с тревогой внимали тишине. Было слышно, как часы в столовой размеренно чеканили секунды. Затем время понеслось в невообразимо стремительном темпе.
— Сонечка, ты дома? — негромко и потому особенно слышно спросил Сашин голос за дверью.
Соня, будто ее сбросило пружиной, спрыгнула на пол, как была в чулках, и с радостным криком помчалась к дверям. Дверь растворилась, и Саша успел подхватить сестру в объятия прежде, чем она коснулась створок протянутыми вперед руками.
— Ах, я же ждала тебя! Ждала, — сказала обрадованно Соня.
Они держались за руки и глядели друг другу в лицо. Саша неохотно отпустил ее руку. Соня еще раз прижалась к его плечу.
Наконец они уселись рядком на диван, и Саша принялся рассказывать, что с ним случилось. Соня ахала, всплескивала руками, но ей уже не было страшно. Она большими радостными глазами смотрела на брата.
— Ой, ты же голоден! Я тебя покормлю. Только кухарки нет, — Соня стала повязывать голову платком. — Пойду сейчас за дровами.
— Ну нет, сестренка! Я принесу, — возразил Саша. — Ключ от дровяного сарая на старом месте?
— Да. — Соня соображала, что бы такое приготовить на скорую руку. — Ты кофе хочешь с гренками?
— Милая Соня, да я жареные гвозди могу съесть, — счастливо засмеялся Саша.
Он принес большую охапку дров, с грохотом свалил их возле плиты. Дрова разгорались плохо. Саша опустился на колени и, нагнувшись к дверце плиты, стал раздувать зажженную щепу. Вспыхнули, полетели искры, и скоро веселое, потрескивающее пламя принялось лизать кору березовых поленьев.
Пока Саша ел, Соня рассказывала ему о домашних делах. В ее изложении все выглядело благополучно. Об отце и его настроении она говорила сдержанно и так, будто смотрела на него со стороны. Зато болезнь Алексея Никитича была описана ею со всеми подробностями.
Часы пробили три раза. Саша вздохнул, подумав о том, что скоро вернется отец. Ему, следовательно, пора уходить. Они условились, что Соня сама сообщит отцу о его возвращении.
Но пока они об этом договаривались, в передней послышались шаги Алексея Никитича. Он пошаркал ногами, пошуршал за стеной, вешая пальто, остановился, должно быть заметил Сашину шинель, но не узнал, чья она, и прошел к себе в кабинет.
— Ты должен пойти к нему, я тебя прошу, — быстрым шепотом сказала Соня и дернула брата за руку. — Он очень тяжело воспримет, если через меня. Больное сердце, понимаешь.
— Что ж, так лучше, — согласился Саша. Он понимал, что при сложившихся обстоятельствах нельзя уйти из дому, не повидавшись с отцом.
Саша одернул гимнастерку, поправил ремень, постучался и с сильно бьющимся сердцем шагнул в кабинет.
— Отец, ты не должен винить нас, меня и Василия, — начал он заранее придуманной фразой, никак не выражавшей его действительных чувств.

Алексей Никитич шел навстречу ему, широко расставив руки, как слепой. В глазах у него были и радость, и страх, и растерянность. Обняв сына, он вдруг заплакал. Саша чувствовал, как содрогаются отцовские плечи и грудь. У него тоже глаза повлажнели.
— Ну что ты! Что ты, папа... живой ведь я... — смущенно бормотал Саша.
Алексей Никитич не любил слез и стыдился открытого проявления своих чувств.
— Вижу. Вижу, что живой. Рад: Мне больно было бы похоронить тебя. А за слезы извини старика, — сказал Алексей Никитич. — Стареть начал, извини.
Оба отступили чуть и некоторое время молча разглядывали друг друга. Затем они заговорили и в довольно мирных тонах.
— Теперь-то ты одумаешься, наверно? — Алексей Никитич с немой мольбой посмотрел на сына.
В глазах у Саши сверкнул огонек, лицо его приняло прежнее выражение отчужденности и упрямства.
— Напротив. Теперь-то уж я на попятный не пойду, — ответил он тоном более резким, чем хотел. — Как жаль, отец, что ты не понимаешь этого.
Алексей Никитич промолчал. Мрачно-суровое выражение его лица не располагало к разговору. Саша посидел еще немного и стал прощаться.
— Заходи. Буду рад тебя видеть, — сказал ему отец, как чужому.
Они встретились и разошлись по-прежнему непримиренные. Но зато и без недавнего озлобления друг против друга.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

У Чагровых в доме беда — заболел Николенька. Третий день мальчик метался в жару, кашлял, хватался ручонками за грудь. Жестокая простуда свалила его. И не удивительно. Ребятишки бегали по улице, одетые кое-как.
Пелагея с ног сбилась. С утра, как заведенная машина, она крутилась возле плиты, готовила пищу, мыла посуду, стирала, носила воду из колодца, колола дрова, бегала в лавку за хлебом и разной мелочью. Прежде часть этих работ выполнял Николенька. Он был покладистый ж послушный мальчик.
Мирон Сергеевич уже третью неделю находился в отъезде. «Затеял себе на голову эти ремонты. А мне разорваться тут», — думала Пелагея, слушая, как стонет Николенька. Каждый стон отзывался в ее материнском сердце. Случалось, что Николеньке попадало от нее под горячую руку. Пелагее некогда было предаваться нежностям. Детишек она держала в строгости, не баловала их, но любила безумно. Все ее старания были отданы им. В ее многотрудной жизни дети были почти единственной отрадой.
Двое меньших — Миша и Павлик — не понимали еще, как тяжело приходится матери. Они хныкали, ссорились, просились гулять. Но как могла Пелагея пустить их на улицу полураздетыми? Недоставало еще, чтобы и эти свалились. Напуганная болезнью старшего сына, она дрожала теперь и за младших.
— Мама, корочку. Ма-ма, хлебца-а, — просили они, глядя на нее голодными глазенками.
— Пи-ить! — чуть слышно проговорил Николенька.
Пелагея, наградив младших шлепками, спешила к больному с ковшиком воды.
После непродолжительной оттепели снова наступили холода. Подслеповатое низкое окошко заросло льдом и снежным инеем. Ветер дул прямо в дверь и выстуживал комнату. Николенька, метавшийся в бреду, часто сбрасывал с себя одеяло. Пелагея боялась, что он еще больше застудится, закрывала ему плечи. Она не отходила от него всю ночь и готова была свалиться от усталости.
— Ма-а-ма, корочку-у, — тянул шестилетний Павлик.
— Да чтоб вас разорвало! Чтоб вы лопнули! — закричала Пелагея.
Холодное отчаяние начало охватывать ее. За что же такие мучения? Но она не могла опускать руки. Кто тогда поставит малышей на ноги... Мирон?.. Пелагея горько улыбнулась. Ее Мирона будто подменили. Как началась революция, он и про дом забыл. И то сказать, взял на свои плечи обузу. Небось другие не поступали так. Пелагея, однако, в другое время не стала бы осуждать мужа. Но появись он вот в эту минуту, много горьких упреков высказала бы она ему.

Николенька бредил. Его открытые глаза смотрели на мать и не узнавали. Пот мелким бисером выступил у мальчика на лице.
Пелагея положила руку на его влажный лоб и ощутила сильный жар. Она с тревогой подумала, что мальчик может и умереть. Эта мысль поразила ее в самое сердце. Снова подумала она о Мироне Сергеевиче. Николенька был его любимцем. Что скажет он, если она не сбережет мальчишку.
В Арсенальской слободке не часто обращались к врачам. Какие там врачи — не по средствам. Здесь и рождались и умирали без вмешательства медицины. «Бог дал, бог и взял», — говорили в таких случаях. Но как могла Пелагея быть пассивной в такую минуту? «Надо позвать доктора, — решила она. Все ее мысли сосредоточились на этом. — Малышей отведу к соседям. Николеньку закрою на ключ, — думала она. — А если ему станет хуже? Если...» — она заколебалась, вся похолодела, не смея додумать мысль до конца.
— Мирон, Мирон! Где же ты ходишь? — стоном вырвалось у нее.
В эту минуту мучительных колебаний к ней и заглянул председатель завкома Алиференко. Он вошел вместе с клубом ворвавшегося морозного пара и не сразу разглядел, что происходит в доме.
— Здравствуйте! Давненько я не был у вас, — весело сказал он, снимая шапку и отряхивая у порога снег. — Живы-здоровы?..
Пелагея взглядом указала на кровать. Ее измученное лицо сказало ему больше, чем слова.
— Что же вы не послали сказать? Да и я хорош. Эх, какая неприятность! — воскликнул Алиференко, посмотрев сочувственно на нее и на Николеньку. — Давно парнишка заболел?
— Третьего дня.
— Врач был?
Пелагея покачала головой.
— Я только собралась. Одна. От них шагу отойти нельзя, — стала оправдываться она.
— Врача сейчас вызовем, — сказал председатель завкома. — Пошлем подводу в город. Что еще нужно?.. Продукты имеются? Может, младших пока к соседям определить, а? Что за болезнь у него? Карантин не потребуется?..
— Кашель. Кашлем он мается, — сказала Пелагея, прикрывая плечи Николеньки одеялом.
— Вот так и мечется в жару. Так и следи.
— Ладно. С ребятишками решим после того, как побудет врач. Это нам проще устроить, — сказал Алиференко. — Кстати, на днях должен приехать Мирон Сергеевич. Я, собственно, и забежал сказать. Вы уж держитесь, Пелагея Степановна.
Он взглянул еще раз на Николеньку и надел шапку.
— Дрова у меня кончились, — сказала Пелагея. — Мирон хотел выписать, да вот — уехал.
— Будут и дрова, — пообещал Алиференко. Пелагея уж так была ему благодарна.
Алиференко же прикрыл дверь и ругнул себя: «Эх, я — скотина!» Он чувствовал себя кругом виноватым. Пока Мирон Сергеевич был дома, Алиференко чуть ли не каждый день заходил к нему. Сколько вечеров они просидели вдвоем, покуривая по очереди у порога и обсуждая заводские дела. А уехал Чагров — и он ни разу не справился о его семье. Закрутился.
Дела в Арсенале как будто стали налаживаться. Были подписаны контракты с железной дорогой и пароходством. В Арсенале обтачивали вагонные скаты, отливали шестеренки для конных молотилок и жнеек; кузнецы ковали лемехи для плугов, изготовляли костыли и накладки к ним; в деревообделочном цехе делали мебель и бочки под рыбу. Местные заказы позволили занять рабочих и избежать сокращения персонала.
Полковник Поморцев, восстановленный по его просьбе в правах начальника Арсенала, держался вполне лояльно. Он не перечил больше воле рабочего коллектива и довольно охотно брался за проведение в жизнь предложений завкома. Глядя на него, подтянулись и остальные чины заводской администрации. Но недоверие к ним у рабочих осталось. Часто на этой почве происходили стычки. Алиференко приходилось вмешиваться во все эти дела: обещать поддержку одним, усовещать и стыдить других. Каждый день у него был заполнен до отказа. Дела, дела... конца и краю не видно.
Занятый с утра до ночи, Алиференко с нетерпением ожидал приезда Чагрова. Мирон Сергеевич со своей спокойной рассудительностью был просто незаменимым человеком.

Немало было и других арсенальцев, которым пришлось браться за незнакомое им вовсе дело. Было просто удивительно, как быстро втягивались рядовые рабочие в совершенно новую для них сферу деятельности и какое поразительное умение и сметку они обнаруживали при этом. «Великая сила — рабочий класс!» — эти вычитанные однажды слова Алиференко любил повторять при всяком удобном случае.

— Какой же ты к черту рабочий класс — мундштук с зажигалкой, — корил он какого-нибудь лодыря.

— Вот это ухнули... Ай да рабочий класс! — хвалил отличившихся в другом цехе.

Алиференко — человек среднего роста, склонный к полноте, но достаточно подвижный, чтобы эта полнота не бросалась в глаза. У него русые мягкие волосы с начинающейся залысиной и белая кожа с еле заметными веснушками. В больших серых, широко расставленных глазах светился ум. Он был лукав и добродушен, проницателен и доверчив в то же время.

Хороший токарь, довольно начитанный, грамотный, Алиференко как нельзя лучше подходил к той роли, какую ему сейчас приходилось играть. Он был настоящей душой заводского коллектива. В слободке он знал чуть ли не всех жителей поименно, знал, сколько у кого детей, когда в каком доме будут крестины, свадьба.

Личная жизнь у него сложилась неудачно: жена рано умерла, детей не было. Жил он бобылем. Всю свою неизрасходованную привязанность и жажду деятельности, всю великую любовь к людям Алиференко бескорыстно отдал жителям Арсенальской слободки. Ради них он был взыскательным, строгим и даже жестоким, если встречался с вором или разгильдяем. Мог стать и беспощадным.

Выйдя от Пелагеи, он помчался на конный двор, чтобы отправить подводу за доктором. Но, как назло, все лошади оказались в разгоне, кроме выездной начальника Арсенала. Тот сам собирался ехать в город.

— Когда подавать велел? — спросил Алиференко у конюха.

— Да минут через двадцать.

— Запрягай сейчас. Под мою ответственность.

Минут через пять Алиференко объяснял начальнику Арсенала положение дел.

Сложными были отношения между ними. Алиференко понимал, куда тянется душой Поморцев, и делал вид, что не замечает этого; был простоват в обращении, не шумел, не грозил, а всегда как бы советовался с ним. Поморцев знал, что председатель завкома не так прост, как кажется, считал его хитрецом и побаивался его проницательности. С ним он был корректен и сговорчив, но собственного достоинства не ронял.

В душе Поморцев очень удивлялся тому, что рабочие сумели обеспечить Арсенал заказами и проявляют столько усердия в делах. Он привык представлять себе рабочего существом забитым и равнодушным ко всему, что не касается прямо его заработков. Как же он был поражен, когда увидел хозяйскую заботу этих же самых людей, их стремление получше наладить производство. Поражала и готовность рабочих нести тяготы и лишения во имя проблематичного лучшего будущего. Поморцев объяснял это исключительно личным примером и влиянием таких незаурядных личностей, как Алиференко, Демьянов или Чагров — арсенальских большевиков. Не будь их, что значила бы вся эта пестрая, неоднородная толпа? Чтобы рабочие и крестьяне сами стали управлять государством? Бог мой! Когда это было? Где?..

Слушая Алиференко, начальник Арсенала не сразу понял, что тот от него хочет на этот раз. Больной ребенок? А при чем здесь он, Поморцев? Уж это, кажется, не входит в круг его обязанностей. Слава богу, хватает забот и без голопузых мальчишек.

— Гм... Случай действительно... — недовольно морщась, протянул он. — Чей ребенок, Чагрова?.. Так, так. — Он хотел сказать, чтобы взяли извозчика, но не решился. — Какого надо врача?

— Хорошего, — сказал Алиференко. — Самого лучшего, какого вы знаете...

— Н-да... Что же, мне самому за ним заехать? — спросил он, обескураженный тем, что приходится заботиться о каком-то неизвестном мальчишке.

— Я очень прошу вас. А лошадь мы сразу пришлем обратно. Вас не задержим.

— Ну хорошо. Хорошо. — Поморцев надел шинель.

Часа через полтора кучер начальника Арсенала привез доктора Твердякова. Он рысью промчал его по кривым улочкам слободки и осадил перед оврагом.

Когда Алиференко пришел к Чагровым — он сам привез дрова, — осмотр больного был закончен. Доктор мыл руки над тазом, а Пелагея из кружки поливала ему.

— Тесно живете, — говорил Марк Осипович, критически оглядывая помещение. — Детишкам необходим воздух. Как можно больше воздуха.

— Тесно. Тесно, — подтвердила Пелагея. — И то слава богу. Другие совсем без своего угла.

— Что с мальчиком? Болезнь опасная? — спросил Алиференко.

— А знаете, кризис миновал. Дела теперь пойдут на поправку, — сказал Твердяков, вытирая полотенцем руки. — Мое вмешательство не сыграет особенной роли. Но лекарства вы ему давайте, как я сказал. И не застудите снова парнишку. Одевайте получше, когда будете пускать гулять, — повернулся он к Пелагее.

Алиференко в словах доктора почудился упрек.

— Тогда извините. Оторвали вас от других больных, — глухо сказал он, глядя на то, как Марк Осипович прятал стетоскоп в дорожный чемоданчик.

— Другие тоже на поправку идут, — весело отозвался Твердяков. Он нисколько не был огорчен дальней поездкой. Случай был несложный, но наводил на некоторые интересные мысли. В отличие от Поморцева, доктор был склонен делать из своих наблюдений определенные выводы. — Да, батенька мой, повышается ценность человека — вот первый результат революции, — продолжал он, обращаясь к Алиференко. — «Кто был ничем, тот станет всем». Вот и прекрасно!

2

Дня через три после посещения доктора Николенька встал. За дни болезни он похудел, вытянулся. Пелагея так была рада, так довольна, что не знала, чем его и потчевать, Сбегала к соседке за мукой и затеяла печь оладьи.

Соловей, мой соловей,
Сизокрылый, молодой.
Чернобровый, веселой!
Ты не вей, не вей гнезда
Край дорожки, край пути,
На ракитовом кусту,
На малиновом листу... —

негромко, приятным голосом пела она, стоя у плиты, вся раскрасневшаяся от жары. Николенька с понимающей улыбкой глядел на мать. Миша и Павлик сидели у него на кровати и жадно вдыхали шедший от плиты запах разогретого масла. Оба плутовскими глазенками посматривали друг на друга и на Николеньку.

Пелагея подбросила в плиту дров, передвинула кастрюли и продолжала выводить тоскующим голосом:

Ах, кто бы мне, ах, мому горюшку
Да помог,
Кто бы мне, ах, со дороженьки
Дружка да воротил!
Воротися, мой дружочек миленький,
Да назад...

— А вот и я воротился! Здравствуйте, — сказал Мирон Сергеевич, открывая неожиданно дверь и пропуская вперед себя незнакомца в хорошем пальто заграничного покроя.

— Good morning! How are you, missis?
[7]
— приветливо произнес тот и одним быстрым взглядом осмотрел помещение.

— Принимай гостя, Пелагея. Из Америки, — продолжал Мирон Сергеевич таким тоном, будто это было для него самым заурядным делом. — Пальто сюда можете повесить, — обратился он затем к гостю и показал на гвоздь.

— Thank you, — сказал тот, поставил чемодан возле дверей и озябшими руками стал расстегивать пуговицы. — It is very cold today
[8]
, — пожаловался он, но Мирон Сергеевич его не понял.

— Сюда, сюда… — вот на этот гвоздь, — сказал он и хотел принять пальто.
Американец улыбнулся и жестом показал, что он и сам прекрасно справится.
Это был жизнерадостный человек лет тридцати пяти с худощавым продолговатым лицом и светлыми вьющимися волосами. Зубы у него ровные, белые. Глаза — голубые, взгляд открытый.
На нем был серый костюм, умело подобранный в тон галстук, коричневые ботинки.
Пелагея и дети смотрели на него, как на явление из другого мира. Уж очень необычно выглядел незнакомец на фоне убогой обстановки их комнатушки.
— Подай человеку стул. Что же ты, — напомнил Мирон Сергеевич, снимая с плеч котомку и ставя ее на скамью возле кадушки с водой.
Пелагея, раздосадованная тем, что муж не предупредил ее, и смущенная ералашем в квартире (она только собиралась взяться за уборку), кинулась освобождать стул.
— Садитесь. Садитесь, пожалуйста, — говорила она, вспомнив об обязанностях гостеприимства.
— Thank you! — еще раз сказал американец. Держался ой просто. Видно, что ему бедность была не в диковинку. Пока Пелагея пекла оладьи и рассказывала мужу о болезни Николеньки, гость опытным взглядом подметил все. Похудевшее лицо мальчика, аптечные склянки у изголовья, запах лекарств, — что еще требовалось, чтобы прочесть историю последних дней? Этим людям нечего скрывать, независимо от того, застигнуты они врасплох или нет. Зато и добрые чувства у них неподдельные, настоящие.
— Ставь-ка самовар, Пелагея. Попьем чайку, побеседуем, — предложил Мирон Сергеевич. — Я привез сала и яиц, можешь яичницу сготовить. И оладьи кстати. А вам, ребята, — гостинец. Лущите орехи, — продолжал он, доставая из котомки пахнущие смолой кедровые шишки. — Только ты, Мишутка, сперва сбегай к дяде Алиференко. Знаешь, где живет?
— У бабушки Степаниды, — пропел Мишутка. — Возле колодца.
— Правильно. Скажешь бабушке, как он придет, — пусть к нам поторопится. Алиференко заходил? — спросил он у Пелагеи.
— Был, спасибо ему. — Пелагея достала из сундука праздничную скатерть. Движением бровей показала на сидящего американца. — А он что, по-русски не говорит?
— Не говорит, — с сожалением сказал Мирон Сергеевич.
— А как же... разговаривать? — брови у Пелагеи удивленно поднялись. — Да ты хоть знаешь, кто он?..
— Да уж не буржуй. Хороший, видно, человек. Товарищ... комрад по-ихнему.

— Comrade! Comrade!..
[9]
— подтвердил американец, догадавшийся о сути разговора. С той же приветливой улыбкой он принялся помогать Пелагее стелить скатерть.

— Что вы!.. Я сама, — смутилась Пелагея, подумала: «Простой, видать... Комрад, ишь ты!..» — и ответно улыбнулась.

Пелагее хотелось как можно лучше принять гостя. Она быстро перемыла тарелки, достала вилки и столовые ножи, которые обычно не входили в сервировку стола.- Поставила для гостя серебряный подстаканник — дар одного из друзей Мирона Сергеевича.
На большой сковороде шипела яичница.
— Вам с дороги помыться надо. Мирон, помоги человеку. Вот не наладил ты умывальник, — с упреком заметила она, подала мыло и чистое полотенце.
За окном протяжно гудел арсенальский гудок.
Мирон Сергеевич подвел вперед отставшую стрелку часов-ходиков, подтянул гирю.
Пока гость умывался, Пелагея, улучив время, шмыгнула за занавеску и сменила кофту. Голову она повязала цветастым платком.
— Чем богаты, тем и рады, — сказала она нараспев и первую порцию подала гостю. — Мирон, вот выпить-то у нас нечего.
— Ладно. Это с утра не принято. — Мирон Сергеевич поставил рядом с собой еще одну табуретку и позвал Николеньку. — Садись. А похудел ты, брат! Да и вырос, кажется. Говоришь, сильно болел?
— Ой, натерпелась я страху! С ног сбилась, — сказала Пелагея. Теперь она сама удивлялась тому, как выдержала все эти трудные и бессонные ночи.
— Кашлять больно было. А так — ерунда. Не знаю, чего мамка боялась. Я ей говорил, — сообщил Николенька, коротко взглянув на отца. Ему хотелось прижаться к отцовскому плечу, но он не решался сделать это в присутствии чужого человека.
Гость с улыбкой посмотрел на Николеньку, на двух меньших, сидевших на полу и занятых добыванием орехов, Он что-то сказал, ткнул себя в грудь и поднял три пальца. По взгляду и по этому жесту Мирон Сергеевич догадался.
— Говорит, что у него тоже трое детишек. Бэби, бэби, слышишь, — пояснил он Пелагее.
— Ах, сердечный! Тоскует, поди. Они где у него — в Америке? — Пелагея с жалостливым сочувствием посмотрела на американца. И чего человек подался в такую даль? Должно быть, надо.
А тот засиял глазами, вынул из бумажника семейную фотографию и протянул хозяйке. Пелагея осторожно приняла ее двумя пальцами.
С фотографии, счастливо улыбаясь, смотрела худенькая женщина с коротко остриженными волосами. На руки она подняла малыша, видно, недавно научившегося держать головку. Выпячивая губы, он с уморительной серьезностью глядел прямо перед собой. Слева от матери на стуле стоял мальчик лет четырех, а с другой стороны — веселая озорная девочка в нарядном платьице, с двумя длинными косичками.
— Везде одна радость у людей — дети, — сказала Пелагея, поглядев на снимок и на гостя. Ее размышления о схожести людских интересов прервал приход Алиференко.
— Здорово, Мирон! С приездом. Вас, Пелагея Степановна, с радостью, — весело сказал он и посмотрел вопросительно на гостя.
— Вот, комрад, знакомься. Наш председатель завкома. — Мирон Сергеевич при этих словах подтолкнул Алиференко немного вперед и дружески похлопал его по плечу. Американец широко улыбнулся и первым протянул руку.
— Понимаешь какая история. Сажусь я в Чернинской в поезд. Народу — битком. Проталкиваюсь вперед и нахожу местечко рядом вот с ним, — рассказывал через минуту Чагров. — Ну, человек как человек. Одежда на нем хорошая, а народа, вижу, не чурается. Наоборот, интересуется очень. Я тоже полюбопытствовал: откуда, куда? Как это в дороге водится. Отвечает не по-нашему. Вот неудача! А тут мне объясняют — американец это. «Почему так думаете?» — спрашиваю. «Да с ним чех из соседнего вагона по-немецки разговаривал». — «А ну, давайте чеха сюда!» Приходит чех. Калякает с грехом пополам по-русски да, должно быть, и по-немецки не чище. Словом, разговор с одного языка на четвертый. Однако к общему понятию все же пришли.
Чагров многозначительно посмотрел на Алиференко.
— Думаешь, зачем человек приехал? Хочет понять, что в России происходит. Разобраться, значит. А коли так, говорю, вам в самый раз к нам, в Арсенал. Милости просим. Чех ему это растолковал, — и он так обрадовался... Гуд, гуд! Очень, стало быть, доволен. Так вместе и прибыли. Или я плохо придумал?

— Да нет, здорово. Молодец! — с жаром воскликнул Алиференко, весьма заинтересованный его рассказом. — Вон куда весть-то донеслась, — продолжал он с некоторым даже удивлением. — Это, брат, факт сам по себе замечательный. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — торжественно сказал он и дружески подмигнул американцу.

— American workers are your friends, — серьезно ответил тот. — They greet you, they sent their greetings to Lenin
[10]
.

— Ленин, Ленин... — повторил Алиференко. — А ничего, Мирон, понятно. Ей-богу! — засмеялся он.

— Your revolution is a turning point in the history of mankind
[11]
, — продолжал говорить американец.

Пелагея убрала со стола посуду, отошла к плите и посматривала оттуда на гостя. Странно и приятно в то же время было ей видеть такой интерес к их жизни.
— Так пошагали, Мирон. Пойдем, — предложил Алиференко, когда за окном в третий раз взревел гудок.
Чагров провел ладонью по щеке, заросшей щетиной более чем недельной давности. Американец тоже потянулся к своему чемодану. Попробовав пальцами лезвия бритв, направив их как следует на ремне, они побрились, заглядывая поочередно в надтреснутое зеркало, касаясь друг друга локтями. И это окончательно сблизило их, несмотря на отсутствие общего языка.

— Good luck to you and your children, missis! Good-bye!
[12]
— вежливо попрощался гость с Пелагеей.

Джемс Грейс — так звали гостя — был глубоко взволнован победой Октябрьской социалистической революции в России. Весть о ней окрылила его, как и многих честных людей за границей.

Уроженец Кливленда — одного из быстро развивавшихся промышленных городов, сын рабочего-сталевара с многодетной семьей, Грейс научился видеть не только панораму дымящих заводских труб, сутолоку уличного движения, нарядные витрины магазинов, роскошные особняки Матеров — владельцев «Кливленд-клиффс айрон компани», на которую гнули спину его отец и старшие братья, — он видел и оборотную сторону промышленного подъема — изнурительный труд рабочего, нужду, голод, болезни и постоянную боязнь остаться без работы. Он наблюдал наступление преждевременной старости у людей, отдавших лучшие свои годы труду на компанию, построивших ей заводы, дома, а затем безжалостно выброшенных на улицу. Ему было четырнадцать лет, когда произошла «чикагская трагедия»
[13]
.

Вскоре он сам начал зарабатывать на жизнь: был продавцом газет, мальчиком для посылок, типографским рабочим, наконец стал журналистом. Как репортер он узнал, может, и не больше своих коллег, но не прошел равнодушно мимо горя и слез. «Ты выбился в люди, Джеме, но не забывай, что был рабочим. Помни, как мы живем», — говорил ему отец.
И Грейс — честный, правдивый журналист — пришел туда, куда и должен был прийти, — в социалистическую печать. Этому способствовала встреча с ветераном социалистического движения в США Юджином Дебсом.

Он был в числе тех, кто летом 1916 года кропотливо собирал доказательства абсолютной невиновности Тома Муни, приговоренного окружным судом в Сан-Франциско к смертной казни по ложному, подстроенному провокаторами обвинению. Борьбе за спасение жизни Тома Муни Грейс отдал многие месяцы. Он неутомимо разыскивал новых свидетелей, писал статьи, был одним из организаторов митингов протеста, прокатившихся по всей стране. В своем родном городе Кливленде он услышал о победе Октябрьской революции в России, о создании рабоче-крестьянского правительства. «Вот за что русских надо уважать!» — воскликнул отец, и глаза у него по-молодому заблестели. Джемс подумал и сказал: «Я должен увидеть это собственными глазами».
...И вот он в России. Он уже толковал с грузчиками Эгершельда во Владивостоке, с моряками Добровольного флота, пожимал сотни дружеских рук. Рукопожатие да улыбка часто были единственным способом выразить свои чувства. Грейс был на пленарном заседании Владивостокского Совета, встречался с его председателем Константином Сухановым. Он видел солдат и матросов на митингах вместе с рабочими, пел с ними «Интернационал». А рядом, соединив руки, стояли китаец и мадьяр. Вот действительное братство трудящихся!
Теперь он шагал по узкой улочке Арсенальской слободки. С обеих сторон тянулись хибары, за ними овраг, дальше гора с рыжим бесснежным склоном, — и все это удивительно напоминало горняцкий поселок где-нибудь в штате Юта или Колорадо.
— Скверно живем. Но будет лучше, — убежденно сказал Алиференко, показывая на лачуги.
В этот день они не расставались. Заходили в дома, бродили по цехам, сидели, оживленно жестикулируя, в тесной комнатушке завкома с таким же литографским портретом Карла Маркса, какой Грейс видел в помещении социалистической партии в Окленде. Арсенальцы назвали имя Тома Муни. Гость понял и оценил это выражение пролетарской солидарности. Чутким ухом он ловил интонации, когда люди прямо обращались к нему, и страшно досадовал, что не знает языка. Но и без того он понял главное — эти простые рабочие действительно стали хозяевами своей страны. То, о чем мечтали лучшие люди многих стран, здесь осуществилось. Россия оказалась впереди всех. Та самая Россия, об отсталости которой и темноте ее населения столько писалось и говорилось. Как же это произошло? Где та сила, которая подняла на бой гигантов и позволила им бросить вызов миру угнетателей и насильников? — вот вопросы, на которые он искал ответа.
Грейс среди арсенальцев чувствовал себя в своей среде, пока не попал к начальнику Арсенала. Здесь потянуло другим ветром.
— Рабочий контроль?.. Как вам сказать. Все дело в том, насколько компетентны люди... — с паузами говорил по-немецки Поморцев.
— Но люди учатся.
— Да-а, — Поморцев повернулся, взял со стола сводку о ходе работ за прошлую неделю, просмотрел ее, вздохнул. — Вот, пожалуйста! Цифры говорят, что мы идем вниз, падаем, валимся.
— И все-таки рабочие проявляют энтузиазм. Этого нельзя отрицать, — возразил Грейс.
— Эмоции. Мы быстро загораемся и... остываем. Месяц-другой, и верх возьмет российская лень, — с усмешкой сказал Поморцев. — Я пессимистически смотрю на возможности организации производства в новых условиях. Ох, эти контролеры! Дерганье одно. — Говоря это, полковник искоса следил за выражением лица американского журналиста. Что-то он не очень охотно шел навстречу в этом щекотливом разговоре за спиной у ничего не подозревающих Алиференко и Чагрова. Поморцев вел на глазах у них двойную игру и понимал, что может быть пойман на этом. — Я чувствую себя связанным по рукам и ногам, — с простодушным видом пожаловался он. — Не могу, знаете, привыкнуть...
— Кажется, вам не нравится революция? Будьте откровенны, — холодно сказал Грейс.
Рука полковника поднялась к подбородку, скользнула по кромке воротника. Это заняло ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы убедиться, что там все в безупречном порядке. Тогда рука таким же непринужденным движением поднялась к вискам, пригладила реденькие волосы с серебром седины и снова легла на стол.
Поморцев напряженно думал над тем, кто же такой этот американец и почему он так необычно откликается на его откровенность? Кажется, с ним он попал впросак.

Алиференко не придавал сперва значения словоохотливости Поморцева, затем уловил недоуменный взгляд Грейса и насторожился. А что он такое ему напевает?
Он стал внимательно вслушиваться в незнакомые слова чужого языка, пытался догадаться об их смысле.
Но Поморцев теперь изо всех сил старался замять неприятный разговор.
Грейс поблагодарил начальника Арсенала за беседу.
День близился к концу. В кабинете начало темнеть; за окном протянулись багровые полосы вечерних облаков.
Когда они вышли на улицу, Грейс сказал:
— За два месяца вы разворошили весь мир — этот миллионный муравейник. Все трутни мира против вас — значит, вы делаете доброе дело! О, я в этом убежден.
— Да, да, — кивнул головой Мирон Сергеевич, хотя не понял ни одного слова. Он отвечал собственным мыслям. — Плохо, брат... Языков не знаем. Теперь бы расспросить человека... как у них?
— Один, видно, леший! Михаил Юрьевич рассказывал... А что, — спохватился вдруг Алиференко, — сведем его с Потаповым. Он же поговорит с ним запросто.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Джекобс сидел в публичной библиотеке. Перед ним стопки запыленных книг. Он рылся в статистических справочниках, листал выпуски «Вестника Приамурского отдела Российского географического общества», копался в печатных служебных отчетах и иллюстрированных юбилейных изданиях.
Днем в читальном зале посетителей почти не было, и занятиям Джекобса никто не мешал. Тихо шелестели страницы. От книг попахивало сухой пылью, должно быть, это был запах времени. В большие окна смотрело солнце; сквозь ветви деревьев проглядывала амурская ширь.
Круг знакомств у Джекобса расширился. Этому способствовало его умение одинаково повести себя и в равной мере сочувственно отнестись к людям самых, казалось, противоположных взглядов. Он был консерватором, либералом или почти социалистом в зависимости от того, кто являлся его собеседником. Но мог, если случай сводил его с представителями обоих враждующих лагерей сразу, так же мастерски прикинуться нейтральным простаком-американцем, которому непонятны раздоры русских.
Покончив с делами, он шел в кафе обедать. Джекобс облюбовал себе отдельный столик, наполовину скрытый от взоров посетителей разросшимся лимонным деревцем в большой кадке, поставленной прямо на пол. Угол был темноват, но это неудобство искупалось наличием двери в небольшой кабинет с крохотным столиком, широким диваном и вышитыми шелком подушечками. Устраивая в своем заведении такие укромные уголки, владелец кафе простер свою заботу о клиентах до устройства задвижек на дверях. Джекобс давал хорошо на чай, и за час до его прихода официант ставил на стол табличку «занято».
Кафе помещалось на главной улице в красивом по архитектуре здании. До поздней ночи оно сияло освещенными окнами. Прежде сюда собиралась отменная публика — промышленники и негоцианты с женами и дочерьми, офицеры местного гарнизона, чиновники, адвокаты, коммивояжеры и разного рода авантюристы. Здесь играл довольно приличный квартет, и по субботам выступали заезжие вокалисты.
Теперь кафе пустовало. Но все же нет-нет да и забредет сюда кто-нибудь из бывших господ. Тянулись сюда, чтобы услышать сказанную шепотом новость. Здесь рождались слухи, сеялась паника, возникали те почти неуловимые настроения, которые при известном повороте событий проявлялись потом в самых неожиданных и неприятных формах. В кафе шла своя жизнь, скрытая от постороннего глаза.
Когда пришел Джекобс, за столиками сидели компании по три-четыре человека. Группа, расположившаяся у окна, находилась в том градусе, когда уже не стесняются говорить громко, особенно о чужих делах.
— Прохвост, жулик, но, поверьте, он и тут выйдет сухим из воды. Артист! — с увлечением рассказывал плотный по сложению человек, сидевший спиной к Джекобсу. Когда он поднимал голову, на затылке у него образовывались жирные складки.

— Н-ну, не-ет!.. Подсекут, — хмуро возразил тощий собеседник. — Как, Леонид Борисович, верно я говорю?
Молодой человек в сером костюме и широком цветном галстуке лишь неопределенно мотнул головой.
— Зелен ты, брат. Зелен, — с обидным сожалением продолжал тощий. — Но запомни, юноша: прохвоста чехвостят! Такое на Руси не часто встречалось.
— Вот уж нашел чему радоваться, — толстяк пожал плечами. — Подумай только, что происходит.
— Гм... Общая нивелировка состояний и... ума. Одни стали разумнее, берут обратно награбленное, а другие — ха-ха! — оказались в глупом положении. Отчего же не посмеяться над ними, а? Я, брат, и над собой смеюсь. Да... — Он стукнул ребром ладони по столу и предложил: — Выпьем!
— Выпьем! — с готовностью откликнулся толстяк.
Развалившись на стуле, Джекобс отдыхал перед обедом, что, по его наблюдениям, улучшало аппетит. На столе лежала пачка газет из последней владивостокской почты. Снимки Джекобса были опубликованы на первой странице под кричащими заголовками. В тот же день хмурая физиономия сотника Каурова, сдавленная снизу воротником чужого немецкого мундира, глядела на читателя-американца со страниц вечерних изданий других нью-йоркских газет. Затем сенсацию подхватили газеты Чикаго, Балтиморы, Сан-Франциско. Лживая газетная утка переметнулась по телеграфному кабелю из Америки в Западную Европу. Солидная лондонская печать обстоятельно прокомментировала сообщение Джекобса и предупредила британское правительство об опасности создавшегося положения на Дальнем Востоке. И сразу громче других забили тревогу фабриканты общественного мнения в Токио. Многочисленные «майници» и «хоци» в один голос завопили о «германской угрозе со стороны Сибири». «Джапан таймс» настойчиво рекомендовала союзным державам возложить задачу «поддержания мира» на японскую императорскую армию.
В январе-феврале 1918 года капиталистическая пресса Америки, Англии, Франции, Японии была полна самых фантастических вымыслов о тайном сговоре большевиков с германским империализмом. Газеты наперебой кричали о том, что большевики вооружают немецких и австрийских военнопленных в лагерях Сибири и Дальнего Востока. Корреспонденции Джекобса сеяли тревогу. Ссылаясь на собственные наблюдения, он утверждал, что на Дальнем Востоке для загадочных целей формируется грозная германская армия. Обвиняя большевиков в пособничестве немцам, Джекобс требовал от союзного командования немедленных превентивных мер. Надо действовать, пока не поздно. Не слишком поздно! Ошарашенный сенсационными «разоблачениями», рядовой читатель должен был забыть о мирных предложениях советского правительства — предложениях, на которые ни одно из капиталистических правительств не пожелало даже ответить.
Обстановка все более накалялась. Американский посол в Токио Моррис недвусмысленно давал понять, что в Вашингтоне сочувственно отнесутся к идее оккупации русского Дальнего Востока японскими войсками, если при этом будут надежно гарантированы американские интересы. Но каковы эти интересы? Как далеко простираются аппетиты американских дельцов? Какого рода гарантии потребуются? — было пока неясно. На рейде Иокогамы в ожидании приказа идти во Владивосток стоял американский крейсер «Бруклин» — флагманский корабль азиатской эскадры Соединенных Штатов. Командующий эскадрой адмирал Найт, рослый, широкоплечий человек с седыми усами, несмотря на свои почтенные годы, проявлял энергию и любознательность завзятого туриста: с целой свитой морских офицеров он посещал приморские курорты, поднимался на вершины живописных гор, осматривал достопримечательности японской столицы. Молодые американские лейтенанты громко восхищались видами и на глазах у японских шпиков щелкали затворами фотоаппаратов.
Кабинет министров Японии решил форсировать события. Выступая в верхней палате японского парламента, премьер-министр генерал Терауци в угрожающих тонах заявил о готовности Японии принять решительные меры для «охраны порядка» в Восточной Азии. Терауци не скрывал, что он имеет в виду не только оккупацию Владивостока, но и занятие японскими войсками Сибирской железной дороги вплоть до Иркутска.

Джекобс прочел сообщение о выступлении японского премьера, нахмурился: ему не понравилось, что инициативу как будто опять перехватывали японцы. «Я бы не стал посылать волка охотиться за оленем. Нет, убей меня бог, не стал бы!»
Перед лимонным кустом кто-то с шумом усаживался за столик, говорил приятным баритоном:
— Пора заморить червячка, как вы думаете?.. У вас, милейший, найдется что-нибудь, кроме этого скучного перечня постных блюд? — За зелеными листьями мелькнула рука с белой манжеткой, небрежно отбросившая карточку меню.
— Для вас непременно-с! — отвечал подоспевший официант.
— Так запиши, голубчик: икры паюсной две порции, графинчик смирновки, солянку сборную... Что еще?
— Грибочков не желаете? Последние из московской партии.
— Отлично, подай грибков... Так, говоришь, поприжали и вас господа-товарищи?
— Так точно-с! Только мы из-под земли достанем, если прикажете-с, — официант взмахнул салфеткой, исчез, будто в воздухе растворился.
— Да, был здесь совсем европейский шик, — продолжал баритон. — Целые состояния проматывались в неделю-другую. А какие обворожительные женщины встречались, боже мой! Гибнет культура. Гибнет...
—А вы, сударь, читали заявление господина Терауци? Как прикажете понимать? — спросил второй из пришедших.
Джекобс навострил уши.
— А понимать так, дражайший, что впредь суждено нам быть под эгидой Японии, — ответил баритон. — И слава богу! Не с большевиками жить.
— Но что скажет Америка?
— Пошумит, пошумит да и отступится. Японцы ее в свой тыл ни за что не пустят, дураками надо быть. Между прочим, открываются интересные перспективы. Имеется у меня прожект... — тут они оба понизили голос, и Джекобс уже больше ничего не мог разобрать.
Компания возле окна, повернув головы, также с любопытством глазела на вновь пришедших.
— Вот он, господа, собственной персоной! Видите каков, — говорил толстяк таким тоном, будто радовался возможности показать приятелям этакий редкостный экземпляр.
— Н-да... лакированный субъект, — раздумчиво протянул тощий и веско заключил: — А все ж — прохвост!
— Глядите — японец, — сказал одновременно молодой человек.
В зал вошел Хасимото. Он быстро огляделся и сразу направился к столику, где продолжали перешептываться баритон и его компаньон. На лице у японца появилась та радостная улыбка, которая заранее говорит, что хотя встреча и неожиданна, но приятна. Должно быть, у обладателя баритона, который сразу же положил нож и вилку и поспешил подняться, на лице тоже было написано нечто похожее; японец улыбнулся еще приятнее, и губы у него шевельнулись, готовые произнести слова привета.
Но в этот миг Джекобс высунулся из-за лимонного куста и громко завопил:
— Хэлло, мистер Хасимото! Чертовски рад видеть вас... Подыхаю от скуки.
Хасимото вильнул глазами и, не меняя улыбки, будто она предназначалась Джекобсу, прошел мимо столика. Обладатель баритона и его компаньон так и остались стоять с недоумевающим и глупым выражением на лицах.
Джекобс понял, что встреча была заранее обусловлена. Злорадное чувство шевельнулось в нем. Осклабившись, он крепко тиснул японцу руку.
Они познакомились несколько лет назад в Китае, куда одного забросила беспокойная профессия журналиста, а другого — «коммерческие» дела.
Заказав официанту обед, они перешли в кабинет, так как компания у окна стала уделять им много внимания.
Разговаривали на английском языке, которым Хасимото владел так же хорошо, как и русским. Говорил больше Джекобс; он и в самом деле ощутил скуку и теперь спешил выговориться.
— Россия, собственно, весьма искусственное образование. Достаточно было толчка, чтобы в ней развились неодолимые центробежные силы, — разглагольствовал Джекобс. — При

создавшейся ситуации совершенно неизбежен процесс отпадения окраин. Вот вам факт новейшего времени — образование «временного правительства автономной Сибири».
— Да, после поездки мистера Стивенса в Ново-Николаевск и Омск.
Официант принес поднос с едой, поставил судки на стол. Перекинув салфетку через локоть и почтительно наклонив голову, он ожидал дальнейших приказаний.
Журналист жестом отпустил его. Оба на время отвлеклись от разговора, занявшись едой.
В кабинете было жарко. Мелкие капельки пота все обильнее проступали на лбу Джекобса.
— Помните Циндао? Вы ловко тогда поработали, — продолжал он фамильярным тоном и даже подмигнул собеседнику. — Китайцы оглянуться не успели, как ваша пехота уже маршировала по дорогам Шаньдуна... Черт побери, кое у кого из ваших тогда здорово закружилась голова! Но мы с вами трезвые люди, мистер Хасимото. Мы знаем, как делаются дела. Кстати, война в Европе подходит к концу. Это развяжет кое-кому руки. Ситуация в Китае может существенно измениться.
Хасимото чуть приметно вздохнул. Увы, о политике его страны судят превратно. Само географическое положение Японии накладывает на нее особые обязательства.
«Те-те, старая песня! — думал Джекобс, с благодушным видом подвыпившего человека посматривая на японца. — Пользуясь соседством, хотите первыми поспеть на пожар. Пока из дома вытаскивают вещи...»
Он знал скрытые пружины, приводящие в действие и дипломатов и военных.
Рассуждали о заявлении премьера Терауци и тех возможных последствиях, которые оно вызовет в политическом положении края.
Вдруг в дверь без стука протиснулся господин с бородкой «буланже», похожий на товарища министра или директора акционерной компании.
— Простите, господа, за неожиданное вторжение, В зале проверка документов, — сказал он знакомым Джекобсу баритоном.
— Нас это не касается, — отрезал журналист, недовольный, что его прерывают.
Хасимото холодно посмотрел на вошедшего, безучастно спросил:
— Надеюсь, с вами ничего не случится?
— Да, конечно, господа! Конечно... Только все произошло так неожиданно. Со мной бумаги... — растерянно пролепетал он. — Очень неприятно затруднять, но если вы... если вы позволите...
— Хорошо. Оставьте портфель, — сказал Хасимото.
— Ах, господа, вы спасаете меня! Благодарю, сердечно благодарю!
Пятясь и кланяясь, господин с бородкой моментально исчез за дверью.
Документы проверял смешанный наряд красногвардейцев и матросов Амурской флотилии. Свое дело они делали без излишней сутолоки, быстро и споро, видимо достаточно понаторели в нем.
Публика в зале сперва заволновалась, но старший наряда — черноусый веселый матрос — гаркнул: «Тихо, граждане, честных людей не обидим!» — и шум стих.
Задержали троих: господина е бородкой, его компаньона и сухощавого человека средних лет в гражданском костюме, но с обличающей выправкой кадрового военного.
— А я говорил: подсекут — вот и подсекли! — громко заметил худой человек у окна, оставшийся теперь вдвоем с юношей (толстяк куда-то скрылся).
Перед тем как увести арестованных, охрана пропустила к выходу Джекобса в Хасимото. Японец, помахивая портфелем, учтиво поблагодарил матроса за оказанную любезность.

2

— Чарльз, а у вас го-ость. Давно дожидается, — такими словами встретила Джекобса дома Катя Парицкая.
Подставив щеку для поцелуя, она тотчас убежала. Пока Джекобс вешал шляпу, снимал пальто, из гостиной вырвались звуки бравурной музыки, так же внезапно оборвавшейся. Послышался женский смех и чей-то незнакомый мужской голос.
Гостем оказался человек средних лет, светловолосый, сухощавый, в светлом, свободного покроя костюме. Он легко, как спортсмен, поднялся с кресла и зашагал навстречу Джекобсу с открытой улыбкой и, протянутой рукой,
— Я так рад, что вижу своего соотечественника и коллегу! — Гость назвал себя: — Джемс Грейс.

Название газеты, которую представлял Грейс, Джекобс тут же позабыл: газета, видно, была не из очень распространенных; владельцы ее, несомненно, желали повысить тираж, иначе на кой черт им понадобилось посылать корреспондента на край света. А людей инициативных Джекобс уважал, и к Грейсу поэтому он отнесся с несвойственной ему сердечностью.
— Черт побери, тут не часто встречаешь человека из Штатов! Китти, две бутылки коньяку и закуску! Сегодня у меня — дорогой гость. — Последние две фразы Джекобс произнес по-русски, помня, что молодая хозяйка не понимает его языка. Впрочем, тут же выяснилось, что в такой же мере русский язык незнаком Грейсу. Джекобс захохотал: — Представляю, как вы тут объяснялись... Вот истинный американский характер! Плевать на такую мелочь, как язык страны, куда едешь. Правильно, дружище!
— А я жалею, что не предусмотрел революции в России, непременно бы выучился по-русски, — серьезно сказал Грейс.
— Не горюйте, Джемс! — Джекобс подал коробку с сигарами. — Стоит ли учить все тарабарские языки.
Джекобс засвистел, принялся составлять на поднос бутылки, тарелочки с икрой, холодной рыбой, ветчиной. Не стесняясь Грейса, он обнял Катю, чмокнул ее в щеку, в губы, весело сказал:
— Вы, конечно, успели спеться. Теперь мой черед. Не сердись, девочка, я похищаю вашего гостя. У нас уйма тем для серьезного разговора. Ты все равно не поймешь. Мы закроемся у меня в комнате, пока не прикончим все это. Договорились? Ну, будь умницей!
Потрепав Катин подбородок, он взялся за поднос. В дверях сказал Грейсу:
— Девчонки здесь податливы, надо только уметь обращаться с ними. Чего не делаешь со скуки, — и тут же откупорил обе бутылки. — За звезды и полосы, дружище Джемс!
Грейс выпил, но заявил, что на этом он ставит точку.
— Глупо, ей-богу! — разочарованно пробормотал Джекобс. — Шекспир пил. Впрочем, черт с ним! Вы, Джемс, наверно, из тех, кто добивается введения в Штатах «сухого закона»? Говорят, билль уже разработан и скоро его внесут в сенат. Откроется новый бизнес: контрабандный ввоз спиртного из Канады и Мексики. Такую штуку могли придумать только в Штатах. Вы давно оттуда? Фриско — Гонолулу — Владивосток? Прямой рейс, не так ли? Океанский лайнер...
— Нет, — Грейс покачал головой и улыбнулся. — Лайнеры или яхта Гарримана не для меня. Предпочитаю крепкую грузовую посудину с хорошей подвесной койкой, с покладистым капитаном, со стоянками в портах по пять-десять дней — чего не посмотришь. Ванкувер — Сидней — Сурабайя — Шанхай. Из Шанхая — сюда. Три месяца пути. Возможно, что в Штатах уже принят «сухой закон». Не знаю. Меня не интересует бизнес контрабандистов. Но я мог бы рассказать вам, как встретили весть о русской революции овцеводы Австралии и кули Шанхая.
Джекобс отодвинул бутылки и стал повнимательнее присматриваться к гостю. Что-то в нем не понравилось ему. Он насторожился, как пес, почуявший чужого. Но, с другой стороны, никто еще не запрещал американскому журналисту колесить по свету каким угодно способом, посещать любые трущобы, пить с матросами во всех кабачках мира. Вернется, глядишь, такой парень в Штаты и хлопнет на стол авантюрный роман, которым станут зачитываться бездельники на пляжах Род-Айлэнда. И будет потом брать лучшие каюты на лайнерах. «Австралийские овцеводы и китайские кули — это тоже бизнес», — думал Джекобс, фамильярно похлопывая Грейса по колену и дружеским тоном излагая ему историю своего знакомства с Хасимото.
— Уж если этот тип появился здесь — будьте покойны, не заставят себя ждать и японские солдаты. Недавно я наблюдал такую же штуку в Шаньдуне. Я, конечно, не против солдат. Но пусть это будут наши американские парни. Иначе джапы слизнут тут все начисто. Подумайте, такой огромный край... колоссальные возможности!..
— А русские? Вы забыли о них, — сказал Грейс.
— Русских не следует принимать в расчет. Их песенка спета.
— О, как бы они не заставили и нас подтягивать им! — Грейс усмехнулся. — Вы сколько времени здесь, Чарльз?
— Три месяца.

— А я — неделю. И, кажется, все мои прежние представления об этой стране полетели вверх тормашками.
Джекобс помолчал, сосредоточенно разглядывая ногти. Поскреб пятнышко на мизинце.
— Что вы думаете о русских, Джемс? — спросил он, не поднимая головы.
Грейс, видимо, хорошо понимал состояние хозяина. Он спокойно смотрел на Джекобса своими задумчивыми глазами, и только у краешков губ таилась скрытая усмешка. Не бог знает какая психологическая загадка — Джекобс.
— Что я думаю о русских? — повторил он. — К сожалению, я не знаю языка, мне трудно во всем разобраться. Но эти парни знают, чего они хотят. Будет по меньшей мере странно, если они не добьются своего. Их сто пятьдесят миллионов.

«Ого, он тоже красный! Должно быть, агитатор из ИРМ»
[14]
, — подумал Джекобс. Но сразу обострять отношения с Грейсом ему не хотелось.

— Джемс, послушайте совет друга: не спешите с выводами, — мягко и убежденно заговорил он. — Я тоже не противник русских. Как люди они мне нравятся. Но они беспомощны перед лицом хаоса. Им необходимо руководство. Вы должны это понять. Существующий здесь режим долго не продержится. Русские не успеют даже поблагодарить вас.
Грейс усмехнулся.
— Если я не ошибаюсь, ваша газета уже раз двадцать предсказывала падение Советов, Сколько из них по вашей информации?
— Пять, — честно признался Джекобс. — События развиваются несколько медленнее, но исход их совершенно ясен.
— Однако пока что большевики смеются над вашими пророчествами.
— Знаете, Джемс, я начинаю подозревать в вас красного. Берегитесь! — полушутя-полусерьезно сказал Джекобс. — Вы недостаточно критически настроены. Это плохо, — продолжал он тем же миролюбивым тоном. — В России, чтобы добраться до истины, нельзя слушать представителей крайних групп — монархистов и большевиков. Надо объективно оценивать положение. Я готов помочь — быть вашим гидом, переводчиком.
— Благодарю. — Грейс посмотрел на часы и поднялся. — Постараюсь справиться сам. Но вы правы: мне нужно во многом разобраться, многое понять. Даже не столько ради России — ради Америки.
3
В следующие дни Джекобс не видел Грейса, Услышав, что тот посетил отделение Американского Красного Креста, он отправился к Марчу.
Марч ворчал:
— Мальчишка!.. А те, кто его послал, — идиоты. Он вздумал допрашивать меня, почему наш Красный Крест не кормит русских детей? Я отнюдь не хочу вмешиваться в политику, но, по-моему, потворствовать беззаконию есть величайший грех. Короче, я посоветовал ему не совать нос в чужие дела.
— Да, странный человек! — сказал Джекобс.
Миссис Джулия позвала их наверх, чтобы показать новое платье. Марч грузным, медленным шагом затопал к двери, досадуя, что из-за прихотей супруги он вынужден делать лишние движения.
— Уф! Проклятая одышка. — Он остановился посреди лестницы. — Здешний климат губительно действует на меня. Катастрофически начал прибавлять в весе.
— Ты слишком мало двигаешься, — снисходительно заметил Джекобс, тоже останавливаясь; он шел сзади, и пройти по лестнице мимо Марча не представлялось возможным.
Миссис Джулия была под стать Марчу; новое платье нисколько не скрывало ее пышных форм. Джекобсу в доме Марчей все казалось немножечко смешным, старомодным, но милым. Все-таки это была настоящая американская семья. И если сам Марч и его жена, по мнению Джекобса, не во всем отвечали современным требованиям, то этого он не мог сказать об их племяннице мисс Хатчисон.

— А где Вероника? — спросил он, оглядевшись.
— Боже мой, если бы я знала! — простонала миссис Джулия. — Бродит на лыжах где-нибудь в окрестностях города. Не хочет понять, что подвергает себя смертельной опасности. А я должна переживать за нее, — она сделала страдальческое лицо, заломила пальцы и звучно похрустела ими.
— Без воли бога не падет на землю ни единый волос с нашей головы, — поучающим тоном заметил Марч и сунул себе в рот зажженную сигару; дым от нее потянулся через комнату к неплотно прикрытой двери.
Марч отличался страстью к коллекционированию. Комната была заставлена самыми неожиданными предметами. Было удивительно, когда он успел нахватать столько вещей.

> — Вы знаете, у Фрэнка неприятности, — рассказывала тем временем миссис Джулия. — Получено письмо от доктора Теуслера
> [15]
> . Фрэнка обвиняют в бездействии. Вы представляете?.. Вот награда за то, что мы сидим в этой дыре!

Вернулась с прогулки мисс Хатчисон — румяная, пышущая здоровьем.
— Хелло, Чарли! Какие страхи вы еще раскопали? — Она крепко, по-мужски, тряхнула руку Джекобсу, миссис Джулию поцеловала в щеку.
Вероника выросла в доме Марчей, и миссис Джулия, не имевшая собственных детей, была к ней по-матерински привязана. Она мечтала о хорошей партии для Вероники, баловала и опекала ее, не замечая, что та давно встала на собственные ноги.
Марч тоже благоволил к племяннице — единственной своей наследнице. Он, как ему казалось, лепил характер девушки по образу и подобию своему. Взгляды и навыки, какие он ей прививал, Марч считал абсолютно необходимыми для «пловца в море житейском». Если бы ему сказали, что он калечит душу девушки, Марч удивился бы самым искренним образом... Разве в колледже ассоциации христианских молодых людей, куда с наступлением срока он послал племянницу, не продолжалось воспитание тех же качеств, начало которым было заложено им?
Вероника переоделась, уселась напротив Джекобса на диване, прикрыла колени бархатной подушечкой.
Одевалась она просто, но со вкусом, так что нередко подмечала завистливо-ревнивые взгляды женщин. Это ей нравилось, и она всегда много времени уделяла своему туалету, кроила и перекраивала платья до тех пор, пока не находила ту трудно уловимую грань, когда платье подчеркивает все достоинства фигуры женщины и, наоборот, прячет недостатки. В этом отношении она обладала чутьем художника.
— Скажите, Чарли, когда вернется Дуглас? Я начинаю скучать без него.
Перкинс укатил в Харбин, чтобы повидаться там с главой американской железнодорожной миссии в России Джоном Стивенсом.
...Когда Джекобс вернулся домой, позвонил Марч. Задыхаясь, он прохрипел в телефонную трубку:
— Чарли, потрясающая новость! Грейс — красный! Я так и предполагал.
— Откуда это известно? — спросил Джекобс, но сам сразу и бесповоротно поверил.
— Его видели с большевиком Потаповым, — кричал Марч. — Он ездил на собрание в Арсенал. Говорят, он учит русских делать бомбы. Вы только подумайте!
— Нет, он скорее учится у них, — усмехнувшись, сказал Джекобс и повесил трубку.
Засыпая, он долго думал о том, как заставить Грейса поскорее убраться в Штаты. Ему даже приснился Грейс. Он стоял на краю кровати с бомбой, похожей на глобус средних размеров, размахивал ею и кричал: «Да здравствует мировая революция!»
Джекобс проснулся и уже наяву услышал стук в дверь и громкий, звучный голос настоящего, живого Грейса.
— Чарльз, откройте!
Было светло. Солнце заглядывало в окна.
— Какого черта вы не даете людям спать, — проворчал Джекобс, прошлепав в пижаме через комнату и открывая дверь. — Надеюсь, пожара в доме нет?

— Хуже! Гораздо хуже. — Грейс бросил пальто на диван и вытащил из кармана скомканную газету. — Вот ваш желтый листок! Вы только посмотрите, какую гнусность они напечатали. Вы должны немедленно протестовать. Это го ведь не было? Нет. Вот этого типа в мундире немецкого полковника, — он ткнул пальцем в напечатанный снимок, где на первом плане, выпятив грудь, красовался Кауров, — этого типа здесь знают как облупленного. Мне рассказывали, что он жил в этом доме. Это подтвердила дочь вашей хозяйки. Он такой же немец, как я негр. И вы это прекрасно знаете.
— Ну разумеется, — ухмыльнулся Джекобс. Он понимал, что невозможно отрицать очевидное.
— Тогда как вы терпите, чтобы ваша подпись стояла под этой стряпней? Вы прочтите... Прочтите, — он сунул Джекобсу в постель газету, пододвинул к кровати стул и сел на него верхом. Глаза его сверкали.
— Ну, ну! Полегче, коллега... — Джекобс пробежал глазами заметку, хотя помнил ее и сейчас слово в слово. — Ничего особенного. Я действительно что-то писал в этом роде, — спокойно признался он.
— А снимок?
— Типаж показался мне подходящим. Сотни тысяч читателей не отличат их от доподлинных немцев, даже в дворянском звании. Готов держать пари.
— Подите вы к черту с вашим пари!
— Вы белая ворона, Джемс, — добродушно и без обиды заметил Джекобс. — Такие вещи всегда делались и делаются в Штатах, все это знают, никто не удивляется. Вы будто с луны свалились.
— В Штатах — да. Но этого нельзя делать в России!
— Почему? — Джекобс поднял голову и с любопытством уставился на Грейса.
— Да хотя бы потому, — Грейс заметно волновался, на щеках у него выступил румянец. — Хотя бы потому, Чарльз, что не пойдете же вы с руками в навозе в комнату, где рожает ваша жена, — принимать ребенка. Может, я плохо выразился, но есть нечто священное в том, что здесь, в России, происходит. Важное и светлое, как рождение человека. Кто знает, не есть ли это будущее мира. Здесь можно ходить только с чистыми руками, вы понимаете, Чарльз? С чистой совестью...
Джекобс захохотал.
— Джемс, у вас талант, ей-богу! — вскричал он и похлопал себя руками по жирному животу. — Не зарывайте его в землю. Пишите сентиментальный роман. У вас получится, честное слово.
Грейс с гневом посмотрел на Джекобса.
Вид у него был не ахти какой: лицо со щетиной, опухшее от сна, волосы всклокочены, глаза маленькие, пижама расстегнута, и на груди курчавилась густая рыжая поросль.
— Значит, вы сознательно вводите читателей в заблуждение?
— Они могут не верить, если не хотят. Я не настаиваю, — возразил Джекобс и притворно зевнул.
— Чарльз! Это гнусно, то, что вы пишете, и то, что говорите... Чудовищно играть такими вещами, как мир! Вы забываете о жизнях солдат... американских парней!
— Все относительно, Джемс, — Джекобс подобрал под себя ноги, прикрыл их одеялом, утвердился посреди кровати, как буддийский божок. — Ценность человеческой жизни тоже весьма относительна. Будьте философом, Джемс. Умейте взвесить добро и зло, не поддаваясь ненужным эмоциям.
Грейс, прищурясь, молча посмотрел на него. Ну и циник!
— Вы такая паршивая свинья, Джекобс, что мне чудится запах мертвечины. От вас пахнет, честное слово, — с презрением сказал он, и Джекобса передернуло от этих слов. — Теперь вы по крайней мере знаете мое мнение. Гуд бай!
И ушел, хлопнув дверью. Скомканный номер газеты остался на кровати. Джекобс смял его и бросил в корзину. Долго еще он злился и не мог приняться за дела: чувствовал себя обиженным.
Потом к нему зашла Катя Парицкая. Она принесла с собой раздражающий запах духов, шелест платья, беспричинный смех.

Джекобс с усмешкой наблюдал, как она двигалась по комнате, переставляла вещи по-своему, рисовалась перед ним с откровенным желанием нравиться.
Он усадил Катю на диван, принялся расспрашивать ее о девичьих секретах, наконец, о прииске Незаметном. Катя оказалась не так уж плохо осведомлена о денежных делах семьи. На Джекобса нахлынуло лирическое настроение. Задумчиво перебирая пальцами распустившиеся волосы Кати, он заговорил о своем тяготении к тихой, спокойной жизни. Ему надоело скитаться по свету. Есть в Штатах на океанском побережье чудесные уголки. Да и много ли человеку надо — удобный загородный дом, сад, собственный автомобиль, собственную яхту, приличную городскую квартиру. Все обойдется не очень дорого. Во всяком случае, Кате и ее матери это по средствам, — Джекобс тут же подсчитал на листке бумаги примерную сумму с переводом нынешнего курса рубля на доллары. Они в состоянии обеспечить себе такое безбедное существование. Может быть, и с поездкой за границу, скажем, в Париж, когда закончится война.
Катя увлеклась, вносила дополнения, спорила; Джекобс благодушно посмеивался и уступал. Рука его покоилась на Катиной талии. Он не убрал ее и тогда, когда Юлия Борисовна вошла в комнату, чтобы справиться о его самочувствии.
— Ах, мама, я так счастлива! — зардевшись, воскликнула Катя и зарылась головой в подушку.
За обедом Катя пересказала матери план Джекобса. Юлия Борисовна озабоченно заметила, что нужно сперва посоветоваться с Алексеем Никитичем. Джекобс возразил: незачем вмешивать чужих в семейные дела. Если тут все быстро наладится, будет смысл расширить прииск, повести дело с американским размахом. Придется привлечь дополнительный капитал. Джекобс берется устроить это, у него имеются связи в банковских кругах. Необходимые бумаги можно составить у американского консула. Колдуэлл для Джекобса все устроит, в два счета. И прежде всего американские визы для Китти и ее матери.
Юлия Борисовна украдкой утирала слезы. Вот что значит, когда в доме появляется мужчина! Есть на кого опереться...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Перкинс вернулся из Харбина дня через три. Юлия Борисовна сообщила ему о своей радости. Катя помолвлена с Джекобсом. «Что ж, хорошо все, что хорошо кончается!» — философически заметил Перкинс, засвистел, пощупал щетину на щеке и пошел бриться.
— Я слышал, ты женишься, Чарли? Непременно позабочусь о свадебном подарке, — сказал он, входя к Джекобсу, и уж больше не касался этой темы.
Перкинс был человеком дела. Предстояло, как он выразился, чертовски много работы. Джон Стивене настойчиво проводил свой план захвата американцами железных дорог Сибири и Дальнего Востока. Он требовал искать подходящих людей, завязывать знакомства, прощупывать настроения, быть готовым взять дело в свои руки по первому же сигналу.
В Харбине, когда туда прибыл Перкинс, шла лихорадка совещаний. Совещались Хорват и офицеры-монархисты, бежавшие от Советов; совещались разного рода дельцы, бывшие директора акционерных обществ и оказавшиеся не у дел концессионеры; совещались кадеты, меньшевики, эсеры—все эти партии, делавшие ставку на Учредительное собрание, также оказавшуюся битой; совещались, наконец, консулы союзных держав, представители генеральных штабов, и где-то за кулисами умело дергали за веревочки дирижеры из иностранных разведок. Раз! — есаул Семенов выскакивает из безвестности; два! — и на восточном горизонте появляется сухопарый адмирал Колчак.
Сновали курьеры между Харбином и Пекином, где столь же лихорадочно совещались послы Америки, Англии, Франции и Японии, куда один за другим устремились японские генералы, английские полковники, американские майоры. Одна дорожка свела там вместе петроградского заводчика Путилова, лидера партии октябристов Гучкова и кандидата во всероссийские диктаторы Колчака. Решение Верховного Совета Антанты о проведении интервенции в России принимало совершенно конкретные очертания. Момент для вооруженного нападения считался подходящим: молодая Советская республика, подавив контрреволюционные мятежи Каледина и Дутова, вела теперь неравную борьбу с

перешедшими вероломно в наступление армиями германского империализма. Смертельная угроза нависла над колыбелью революции — Петроградом.
Рассказывая бегло о своей поездке, Перкинс в то же время посматривал на Джекобса, который вышагивал по комнате на своих журавлиных ногах.
— Я бы не стал пускать японцев сюда. Они хотят укрепиться здесь прежде других, — сказал Джекобс.
— Сейчас нам нужны их солдаты, — спокойно заметил Перкинс. — Не воображай, пожалуйста, что ты здесь можешь самостоятельно вести политику. В два счета получишь по башке. В Вашингтоне люди поумнее тебя. Железные дороги Стивенса — это разве не хорошая американская узда на любую армию, которая может появиться в Сибири.
Тут Перкинс хлопнул себя по лбу, как человек, который вспомнил нечто важное, полез в карман и достал распечатанное письмо.
— Пожалуй, это касается тебя, Чарли. Большевики хотят вывести вас на чистую воду. А дурень Робинс из Красного Креста согласился принять предложение Советов о посылке в Сибирь специальной комиссии для проверки положения в лагерях немецких военнопленных.
— Чепуха! В Вашингтоне прекрасно осведомлены, в чем тут дело, — отмахнулся Джекобс и не взял письма. — А кто едет?
— Капитан Вебстер да какой-то англичанин. А из Пекина в Иркутск отправляется Вальтер Дрисдейл, наш военный атташе.
— А, Дрисдейл! — протянул Джекобс и, закинув ногу на другое колено, принялся беззаботно болтать ею.

2

Алеша Дронов вез Джекобса в лагерь военнопленных на Красной Речке. Хабаровский Совет организовал поездку для того, чтобы опровергнуть распространившиеся вздорные слухи о формировании на территории края немецких вооруженных отрядов.
Журналист задумчиво поглядывал на удалявшийся город, думал о том, что поездка ничего не даст ему. Но не мог же он отказаться, черт побери!
Алеша первое время дичился, односложно отвечал на вопросы. Джекобс тоже приглядывался к провожатому.
— Ваша революция — естественная реакция на царский деспотизм. Но в демократической стране она просто была бы невозможна. Уверяю вас, молодой человек, — говорил Джекобс, предлагая Алеше сигареты.
— Будто у вас нет богатых и бедных, — горячо возражал Алеша. — Небось и у вас рабочие живут скверно. Возьмут и не станут мириться.
— У нас это не привьется, — заметил Джекобс.
«За буржуев стоит. Факт, — подумал Алеша, но виду не подал. — Пусть смотрит, нам прятать нечего. Раз соврет, два соврет, а на третий, может, и правду скажет».
Будучи сам человеком большой душевной чистоты и порядочности, Алеша и в других людях прежде всего хотел видеть хорошее. Он и в мыслях не допускал, что могут быть люди, которые лгут во всем, лгут злостно и преднамеренно, лгут всегда. Ему казалось, что достаточно только убедить такого человека, раскрыть ему правду, как он откажется от заблуждений.
Проехав рысью по улице поселка, Алеша свернул влево. Дорога поднималась в гору, и лошадь пошла шагом. Еще поворот, и сани остановились перед закрытыми воротами лагеря, возле которых не было никакой охраны.
Алеша сам распахнул ворота, широким жестом указал на невысокие кирпичные строения, окружавшие двор.
— Прошу смотреть. Беседовать можете с кем угодно. Переводчик нужен? — спросил он, останавливая сани среди двора, и приветственно помахал рукой группе солдат, пиливших неподалеку дрова.
— Я немного болтаю по-немецки, — сказал Джекобс, выбираясь из саней и разминая ноги.
Осмотревшись, он пересек двор и подошел к солдатам. Здесь были одни немцы, хотя в лагере преобладали австрийцы и мадьяры. Военнопленные использовались на работах по возведению новых зданий и заготовке дров.

Солдаты охотно разобрали у Джекобса сигареты, но к сообщению, что перед ними находится американский журналист, отнеслись с обидным равнодушием. Длинный верзила артиллерист, не глядя на Джекобса, спросил:
— За каким чертом американцы ввязались в войну?
— Очень жаль, что мы не можем как следует накостылять им! — вставил бойкий чернявый пехотинец. Остальные одобрительно засмеялись.
Джекобс сделал вид, что не понял их слов, и стал расспрашивать о принятом в лагере распорядке дня. Строгая ли охрана и не обижают ли пленных русские?
Отвечали ему сперва не очень охотно. Порядками в лагере пленные в общем были довольны. В конце концов здесь не санаторий. Жаловались лишь на то, что редко получают письма из дому.
Когда Джекобс пустил по рукам еще одну пачку сигарет, солдаты стали более разговорчивы. Журналист счел, что настала подходящая минута для выяснения единственно интересовавшего его вопроса.
— Ребята, а оружие у вас в лагере имеется? — спросил он тихо.
— О, конечно! — ответило сразу несколько голосов.
Джекобс опасливо оглянулся на Алешу Дронова, но тот в другом конце двора разговаривал с группой мадьяр.
— Пулеметы? — торопливо допытывался Джекобс.
— Нет, герр журналист, только винтовки.
— Винтовки — это тоже хорошо! — Джекобс подмигнул солдатам. — Сколько?
— Двенадцать штук, хоть не трудитесь считать.
— А где они хранятся у вас, ребята? — понизив голос, спросил журналист. Он походил на гончую, напавшую на верный след.
— Да в казарме... у русской охраны, — громко ответил чернявый пехотинец.
Лицо у Джекобса вытянулось. Немцы дружно захохотали.
Алеша услышал взрыв смеха и тоже подошел сюда.
— Вчера тут, оказывается, был митинг военнопленных, — сообщил он Джекобсу. — Они опровергают слухи, будто кто-то собирается их вооружать. Воевать больше не хотят, требуют мира. Я принес для вас резолюцию. Вот, — и он протянул бумагу журналисту.
Джекобс расспросил солдат о митинге. Они подтвердили сказанное Алешей.
— Мы приветствуем русскую революцию, — сказал высокий артиллерист. — Дело теперь за немецкими и австрийскими рабочими.
— Мадьяры не хотят власти Габсбургов, — заявил один из подошедших венгерских пехотинцев.
— Чехи поддержат русских братьев! — крикнул солдат в синей австрийской шинели.
Настроение солдат не вызывало сомнений. «Да они тут все большевики», — подумал Джекобс.
Затем его свели с офицерами. Помещались они в отдельной казарме, в работах не участвовали и время проводили как кто хотел. Запрещалось им только отлучаться из лагеря. Офицеры были настроены враждебно к революции. Тем не менее и они заверили Джекобса, что нет оснований для распространившихся в европейской печати слухов. Худощавый рыжеусый майор — типичный пруссак — обратил внимание журналиста на то, что среди солдат ведется большевистская пропаганда. Джекобс пожал плечами.
— Что же вы хотите? — сказал он.
Алеша водил Джекобса по помещениям лагеря, открывал перед ним настежь двери, кладовые, предложил слазить на чердак.
— Я вижу: тут хорошо подготовились к нашему посещению, — сказал Джекобс с кислой улыбкой и от дальнейшего осмотра лагеря отказался.
— Вот это вы зря... Никто не готовился, — обиделся Алеша.
— О, я удовлетворен! Я верю... — примирительно сказал Джекобс. — Вы не обижайтесь, молодой человек. Журналист должен быть немножко... немножко недоверчив. Профессия...
— Ладно. Вы теперь знаете, как обстоит дело. Можете дать информацию, — заметил Алеша, провожая Джекобса в канцелярию лагеря.
— Просто сообщить информацию! Бог мой! — возразил журналист. — Я же творческая личность. Собственно, я все время стою на почве фактов, — продолжал он рассуждать,

пока они шли по двору. — Событие дает толчок моему уму. Я соображаю, как его поинтереснее подать, как повернуть. Здесь действует моя интуиция, мой интеллект. В конце концов даже фотограф выбирает определенный ракурс для снимка.
«Мудрит он что-то», — подумал Алеша, первым взбежал на ступеньки крыльца и открыл дверь.
...Когда они уезжали, день клонился к вечеру, работы в лагере были закончены. Возле кладовой за хлебом выстроилась очередь военнопленных. Немецкие солдаты, увидев Джекобса, опять загомонили и принялись хохотать.
Джекобс вынул из футляра фотоаппарат и запечатлел их смеющиеся, веселые лица.
— Теперь-то вы убедились, что никакого оружия у пленных нет? — спросил Алеша.
— А я в этом никогда не сомневался, — ответил Джекобс.
Сани пошли под раскат, и он поспешно ухватился за противоположный отвод, чтобы не вылететь в сугроб.
— Держись, американец, я покажу вам русскую езду! — сверкнув по-озорному глазами, крикнул Алеша.
Концом вожжей он хлестнул лошадь, гикнул... И они понеслись под гору так стремительно, что только ветер засвистал навстречу да снежная пыль взвилась позади.
Сани бешено кидало из одной стороны в другую, что-то скрипело, потрескивало. Комья твердого слежавшегося снега летели из-под копыт прямо в лицо Джекобсу.
Журналист, привстав на коленях, обнял Алешу за плечи и тоже что-то кричал, весело скаля зубы.
«Да он совсем компанейский парень. Тоже, поди, не сладко мотаться по чужим странам», — подумал Алеша и ободряюще крикнул:
— Ничего, брат! Давай шевели своих буржуев... Во как жить будем!
— О'кей!.. Революшен... — в совершенном восторге от быстрой езды и Алешиной наивности заорал Джекобс.
...Отправляя в редакцию отчет о посещении лагеря военнопленных, Джекобс вспомнил слова Алеши Дронова, усмехнулся и размашистым почерком написал внизу снимка: «Взгляните на эти довольные лица немцев. Они стоят в очереди за оружием».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

К марту признаки наступающей весны становятся общезримыми и торопят даже тех, кто до сих пор спокойно дремал. Два месяца, оставшихся до навигации, — небольшой срок. Так уж повелось, что в эту пору на флотилии начиналась самая горячка: унтер-офицеры и боцманы каждый по своей части прикидывали, что еще не пригнано, не перебрано; командиры соображали, где и как достать необходимый материал: поршневые кольца, запасные лопасти для винтов, электропровод; интенданты затевали особо интенсивную переписку; в вышестоящих штабах готовились к проверке.
Нечто подобное происходило в последние дни февраля 1918 года. Из Владивостока Центральный комитет Сибирской флотилии затребовал сведения о ходе судоремонта и основные данные по механической и всем прочим частям. Чего только не следовало описать: «Система главных машин и их мощность. Завод и год постройки. Наибольшие: давление пара, число оборотов и скорость судна. Диаметры цилиндра и ход поршня. Система золотников и их размерение. Пусковой привод и его элементы...» Далее с такой же детализацией перечислялись воздушные насосы, помпы, холодильники, рулевые и шпилевые машины, динамо-машины, котлы, питательные средства и устройства к ним. Авторы запроса интересовались вместимостью грузовых трюмов, запасами угля, масел, расходованием их при разных скоростях хода. Требовались копии актов, диаграмм, машинные формуляторы...
Кому-то, видно, хотелось занять людей ненужной перепиской, осложнить и без того трудную работу по возрождению боевых кораблей.
Над затоном свирепствовали ветры. Снег, как погребальный саван, ложился на палубы и надстройки разоруженных мертвых кораблей.
Днем маленькие фигурки людей копошились возле двух башенных лодок и стоявшей поодаль канонерки.

Кормовая часть «Шквала» выморожена из воды; вырубленная во льду траншея открывала доступ к поврежденной части донной обшивки. Измятые при посадке на камень стальные листы решили править при помощи домкратов.
С того момента, как приступили к работам, мастер Спаре и старший помощник «Шквала» не покидали отсека. Предоставив действовать механику, старпом ни во что не вмешивался. Спаре сосал погасшую трубку. Оба глядели на обнаженное днище с заметной выпучиной между шпангоутами, на установленные в отсеке опорные брусья.
За стеной басовито гудела форсунка нефтяной лампы, бушевало пламя. На черном металлическом листе появился светящийся розоватый кружок.
— Внимание! Начнем! — Механик подал знак, и гидравлический домкрат пришел в действие.
Под давлением поверхность металла стала как бы шелушиться: отстал слой краски и ржавчины.
— Пошло. Будет порядок. — Спаре облегченно вздохнул.
— Пусть там получше смотрят за лампой. Не пережгли бы лист, — сказал старпом.
— Есть! — Ботинки прогрохотали по трапу.
После бегства Лисанчанского латышу Спаре пришлось принять мастерские порта. На этот пост мастера выдвинули сами рабочие.
Уравновешенный, неторопливый, с неизменной трубкой в зубах, он поспевал всюду. Подойдет незаметно, послушает перебранку и скажет:
«Зачем шум?.. Дело надо делать. Язык рукам не всегда помощник».
Не раз приходилось мигать глазами корабельным специалистам, когда начальник мастерских уличал кого-нибудь в намерении втереть очки. Он умел быстро прикинуть необходимые затраты труда и материалов. Черкнет два-три раза карандашом и скажет, тая усмешку в умных серых глазах:
«С запасцем посчитали. Половины за глаза хватит».
«Ян Эрнестович!» — взмолится седоусый служака.
«Больше ни грамма. Точка».
Спорить с ним бесполезно. Потом обнаруживалось, что материалов действительно не хватало. Но самую малость. Всегда находилась возможность покрыть недостачу за счет корабельных ресурсов. Спаре, видно, на это и рассчитывал. Зная, как трудно теперь с материалами, он был скуп до крайности.
Надо было удивляться, как в условиях общей разрухи, ужасающей нехватки материалов и недостатка квалифицированных рабочих мастерские ухитрялись выполнять заказы.

Логунов уважал этого спокойного, рассудительного человека. Спаре в свою очередь видел в энергичном и развитом матросе представителя того нового поколения революционеров, которому суждено завершить дело, начатое ими. Мало-помалу между ними возникла настоящая дружба.
Логунов, днем занятый службой, вечерами — проверкой патрулей, облавами, захваченный горячими спорами на митингах и собраниях, редко виделся с Дашей. Обстановка в доме Ельневых не понравилась ему. Но его все же тянуло туда, и нужно было усилие воли, чтобы не уступить. С каждой встречей его влечение к девушке возрастало; он сам пугался этого, смеялся над собой. Выкраивался, однако, свободный вечер, и он, ругая себя, одевался, приглаживал у зеркала непокорные вихры и топал за двенадцать верст в город в тайной надежде встретиться с Дашей.
Ему нравился открытый взгляд ее глаз и задумчивое, мечтательное выражение лица, чуть пухлые, еще детские губы. Как-то он заметил, что при встрече с ним Даша опускает глаза. Когда их взгляды встречались, щеки у нее заливались румянцем. Логунов не знал, как это истолковать.
Разве он для нее подходящая пара? А почему бы и нет? Если бы удалось совершить такое, чтобы молва о нем, как о герое, докатилась до ушей Даши! Как все могло бы перемениться!
Олимпиада Клавдиевна, кажется, заметила новое в отношениях Даши и Логунова и отнеслась неодобрительно. Логунов вообще недолюбливал ворчливую тетушку. Если бы не Вера Павловна, которая относилась к нему с неизменной симпатией, и не Даша, — ноги его

не было бы больше в доме Ельневых, Что Олимпиада Клавдиевна добрый, в сущности, человек, он только начинал догадываться.

2

Будь Логунов менее предубежден, оп заметил бы, конечно, что сама Олимпиада Клавдиевна переменилась. Революционные события заставили и ее над многим призадуматься.

Не без удивления внимала она политическим спорам. Эсеры, меньшевики, какие-то интернационалисты... Олимпиада Клавдиевна не понимала горячности противников. Ну что стоит хорошим людям по-хорошему договориться?

Заблуждаясь сама во многом, она, однако, восприняла предметный урок, преподанный ей Анфисой Петровной, — стала более критически относиться к призывам заправил городского Союза учителей. Тем более что назвать «невеждой» молодого способного учителя Сергея Щепетнова, назначенного краевым комиссаром народного просвещения, она никак не могла. Раз уж такие люди пришли к большевикам, то дело, видно, не только в немецком золоте.

Было много предметов, мимо которых не могла пройти Олимпиада Клавдиевна; эта сердобольная женщина умела душевно и просто откликнуться на любое горе, чужую беду, и уж в равнодушии к человеку ее упрекать не приходилось.

Она видела общую тягу к знаниям, пробудившуюся в народе. Жадное любопытство солдат и рабочих больше не удивляло ее. Если эти люди порою не знали, кто такой Модест Петрович Мусоргский, то это, право, нисколько не мешало им наслаждаться ариями из «Бориса Годунова». Точно так же незнание теоретических основ мелодии, ритма, темпа, полифонии не препятствовало восприятию ими сложных музыкальных образов — стоило лишь посмотреть на лица, на гамму чувств, выраженных на них.

Из всех композиторов «Могучей кучки» Мусоргский казался Олимпиаде Клавдиевне наиболее созвучным наступившей революционной эпохе. Музыкальные образы «Хованщины», народные сцены «Бориса Годунова» чем-то напоминали ей волнующуюся, бурлящую толпу демонстрантов.

В памяти всплывали собственные гимназические годы, молодежные вечеринки, тихие тоскующие песни:

Медленно движется время,
Веруй, надейся и жди...
Зрей, наше юное племя!
Путь твой широк впереди.
Молнии нас осветили,
Мы на распутье стоим...
Мертвые в мире почили,
Дело настало живым.

Ее поколение действительно стояло на распутье. Но избавило ли это их от выбора пути сейчас?.. Она все чаще задумывалась над этим.

Думы ее, о которых не знали ни Даша, ни Вера Павловна, исподволь и подготовили тот поступок, каким она вскоре удивила и племянниц своих и знакомых.

Олимпиада Клавдиевна узнала от Веры Павловны о преступлении Сташевского — передаче им приютских денег японскому консулу. Двести пятьдесят тысяч рублей... шутка сказать! Будь это какие-нибудь другие средства, Олимпиада Клавдиевна, может быть, и не спешила бы осудить своего родственника. Но взять деньги у детишек!.. Это не укладывалось в ее голове.

Никому ничего не сказав, она оделась и пошла к Сташевскому.

— Батенька мой, Станислав Робертович, что же вы натворили с приютскими деньгами?.. Вы были хорошим человеком, — сказала она, когда Сташевский провел ее в свой домашний кабинет и закрыл дверь. — Конечно, вы уладите это неприятное дело.

— Я?.. Но в чем я виноват? Помилуй бог, не знаю! — Сташевский наигранно улыбнулся и развел руками. Затем спокойно принялся объяснять ей мотивы своего поступка.
— Ах, вот как! — пробормотала Олимпиада Клавдиевна и с изумлением уставилась на него. — Однако вы меня удивляете, Станислав Робертович. Я вас считала порядочным человеком. Это, простите меня, гнусно. Гнусно и подло, — сказала она.
— Олимпиада Клавдиевна! — Лицо Сташевского приняло обиженное выражение. — Я поступил сообразно моим политическим убеждениям. Вы не должны...
— Сударь! Ну какая же это политика... просто мелкое жульничество. Вы отняли хлеб у детей. И не оправдывайтесь, ради бога, — перебила Олимпиада Клавдиевна, с живостью оборачиваясь к нему. — Верните деньги, Станислав Робертович.
Сташевский покачал головой:
— Это невозможно. Мой долг...
— Странное же у вас понятие о долге. Ну, я вижу, нам больше не о чем разговаривать. Прощайте! — холодно сказала Олимпиада Клавдиевна и не подала ему руки.
Сташевский кисло улыбнулся, попытался все обернуть в шутку.
— Надеюсь, вы не пойдете по моему пути, — с нехорошим смешком заметил он.
— Вы имеете в виду ценности, которые оставили на сохранение у меня? — остановившись в дверях, спокойным голосом спросила Ельнева. — Так вы их не получите.
— Шутить изволите, матушка?..
— Не по-лу-чи-те, — повторила она весьма решительно. — Я ваше золото отнесу в Совет. Да что вы такое вообразили о своей персоне, сударь? Законов для вас нет? — закричала она, давая выход своему гневу.
Если уж Олимпиада Клавдиевна разойдется, она переставала считаться с тем, что скажут или подумают другие. Она могла быть резкой и язвительной.
Сташевский не думал, что дело может так обернуться. Вид у него был жалкий и растерянный.
— Надеюсь, ноги вашей больше не будет у меня в доме... — Олимпиада Клавдиевна посмотрела на него с уничтожающим презрением. — И я когда-то уважала этого человека! — воскликнула она, выйдя на улицу.
Все в ней кипело и клокотало.
Зайдя домой, она забрала чемоданчик Сташевского и снесла в милицию.
Лишь после того, как по всей форме был составлен протокол и Демьянов пожал ей руку, Олимпиада Клавдиевна сообразила, что она наделала сгоряча. Теперь ее имя начнут склонять на всех перекрестках. Ну и пусть!
На следующий день было воскресенье.
Олимпиада Клавдиевна жаловалась на головную боль, кряхтела и дольше обычного не вставала с постели.
— Да лежите вы, ради бога, тетя. Мы с Дашей сами все сделаем, — пыталась уговорить ее Вера Павловна.
— Вот еще. Буду я валяться до полудня, — возразила тетушка и решительно спустила босые ноги на пол.
Даша подала ей халат и теплые туфли.
Вера Павловна любила эти поздние завтраки в воскресные дни. Можно было подольше поваляться в постели. А в столовой уже шумел самовар, расставлялись стаканы в серебряных подстаканниках, подавалась большая ваза с домашним печеньем.
Работа в приюте отнимала уйму времени. Даже в воскресенье Вера Павловна не могла совсем отделаться от приютских забот — просматривала тетрадки, готовилась к занятиям.
Даша возилась с малышом. В ней неожиданно проявился интерес ко всему, что было связано с уходом за детьми.
— Будут свои — еще наплачешься, — заметила как-то Олимпиада Клавдиевна.
Даша смутилась, густо покраснела.
Тогда тетушка с подозрением уставилась на нее.
— Ну, милочка, я-то уж вижу, кто тебе нравится! Меня не проведешь... Но ты еще ребенок. Тебе экзамены сдавать...
Часа через два, когда Даша, отложив учебники, собралась идти на улицу, тетушка была уже в другом настроении.

— Ленту на шляпе нужно сменить, — решительно сказала она, критически оглядев Дашин головной убор. — Темно-синяя лента лучше оттенит твои глаза. Как можно не обращать внимания на такие вещи!

Даша удивленно подняла брови, посмотрела на нее и рассмеялась. Что ни говорите, а у тетушки покладистый характер.

Даша теперь дружила с Соней Левченко. Они сходили в кинематограф, с трудом высидели сеанс в душном, переполненном зале и затем долго бродили по улице.

Соня рассказывала о Саше и его приключениях. Была в ее словах гордость за брата и легкая грусть.

Потом девушек догнал Разгонов. Ходил он теперь с высоко поднятой головой. Был щегольски одет: новенькая шинель, хрустящей свежести ремни, глянец на сапогах. Он подхватил их обеих под руки и принялся с важным видом рассказывать новости.

Разгонов считал себя знатоком в мировых вопросах и охотно распространялся об этом, правда в самых общих выражениях. Говорил он по-особому внушительно, веско, эрудированно, так, что, слушая его впервые, каждый думал: «Экий умница!»

Девушек, однако, мировые проблемы не очень увлекали. Даже Разгонов в конце концов заметил это.

— Знаете, разговор принял скучный оборот, — сказал он, — Но не судите меня строго, пожалуйста. Все это меня волнует, я живу этим... — Он еще долго продолжал рисоваться перед ними.

Вернувшись вечером домой, Даша поужинала, ушла в свою комнату и стала думать о Логунове. Только вчера он был у них. Вера Павловна поила его чаем. Даша сперва дичилась, а затем тоже вступила в разговор.

В пристальном взгляде Логунова было что-то совершенно незнакомое ей, то, что пугало ее и в то же время делало безмерно счастливой.

— Сегодня хороший день, хочется, чтобы все были счастливы. Особенно — вы! — сказал Логунов.

Лицо у Даши посветлело. Если бы Логунов попристальнее взглянул на нее, радостный блеск ее глаз сказал бы ему многое.

Но тут как раз вошла Олимпиада Клавдиевна...

Когда Логунов ушел, Даша смотрела вслед ему из окна. И невдомек было обоим, что одно и то же чувство заставило сильнее биться их сердца.

Припомнив до мелочей все, что было вчера, Даша взяла со стола маленькое овальное зеркальце и долго при свете лампы рассматривала в нем свое лицо; сама себе она не понравилась, вздохнула, погасила лампу.

Уличный фонарь за окном бросал лучи через замерзшее стекло; рассеянные полосы света ложились на потолок. От ветра фонарь на улице раскачивался, и световые блики на потолке тоже двигались, меняли очертания. Даша лежала с открытыми глазами, смотрела на эти колеблющиеся, неверные, исчезающие временами световые пятна.

3

Отношение тетушки к Логунову в известной мере затрудняло их встречи. Логунов не знал, как Даша отнесется к его признанию. Ему жаль было бы разрушить крепко завязавшуюся между ними дружбу. А что, если она его не любит?

«Что же это со мной такое? Я люблю его, — неожиданно заключила она, и сердце у нее забилось радостно и тревожно. — Да, я люблю. Но любит ли он меня?»

И вот все решилось в один день. Решилось просто, совершенно необычно, даже без слов. О главном они действительно ничего не сказали друг другу, не успели сказать. Но все стало ясно, и не осталось ничего недоговоренного.

Центральный комитет флотилии решил командировать Логунова в Благовещенск. На Главной базе меньше всего знали о том, что делается в Астрахановском затоне. И «Орочанин» и «Пика», зазимовавшие там, были в числе кораблей, которым с открытием навигации предстояло нести вахту на Амуре.

Получение инструкций и документов заняло много времени. Поезд отходил вечером. Логунов уже отказался от мысли проститься с Дашей. Но тут ему неожиданно повезло: председатель Центрального комитета флотилии ехал на заседание в Совет; в санях нашлось

место и для Логунова. Он сэкономил таким образом целый час. Оставив свой сундучок у военного коменданта станции, Логунов поспешил к Ельневым.

Дашу он застал одетой, у калитки. Она торопилась куда-то со двора. Всю оживленность с него как рукой сняло. «Ну вот... поговорили. Вечно так», — с досадой подумал он.

— Знаете, я уезжаю, — сообщил он безразличным тоном, глядя на ее высокие зашнурованные ботинки.

— Уезжаете? — брови Даши взметнулись, как два крыла. Выражение испуга появилось в ее широко раскрытых глазах.

— В Благовещенск. По делам службы.

Она не шепнула, выдохнула:

— Надолго, Федор Петрович?

— Не знаю. На месяц, наверно.

Не признаваясь себе в том, он хотел, чтобы Даша проводила его на вокзал. Логунов нарисовал уже в своем воображении картину, как это будет: что скажет он, как она поглядит на него и как они потом поцелуются. Даша будет стоять на перроне и махать платочком вслед поезду. Но с самого начала все, кажется, пошло наперекос.

— Да вам-то что! — воскликнул он вдруг с каким-то лихим отчаянием. — Плакать не будете.

— Зачем же вы меня обижаете? — со слезами спросила Даша.

Ей стало холодно, и она потеплее запахнула шубку, спрятала подбородок в воротник.

Логунов замолчал. «Что я, в самом деле, на нее набросился?» — подумал он.

— Думайте, что хотите, но мне будет скучно, если вы уедете! Я буду ждать вас, Федор Петрович, — сказала Даша очень серьезно.

Он стоял спиной к калитке и смотрел на ее лицо, в ее большие глаза, выражение которых ему трудно было разгадать, но оно очень волновало его. Поколебавшись немного, Логунов осмелился взять Дашу под руку. Она не отстранилась, только щеки и даже шея у нее вдруг сделались пунцовыми.

— Вы когда уезжаете? — робко спросила Даша, когда они немного отошли от дома, и заглянула сбоку ему в лицо.

— Наверно, через полчаса. Если не опоздаю на поезд, — сказал Логунов, чуточку сильнее прижимая к себе ее локоть.

— Так надо бежать! Или извозчика, извозчика возьмем, — заторопилась Даша, мигом позабыв, куда она шла и зачем.

Извозчика они не стали брать, а побежали к вокзалу ближним путем, через «барахолку». Логунов старался несколько умерить шаг, а Даша все забегала вперед и торопила его.

— А вы ничего не забыли, Федор Петрович? Где ваши вещи? — спрашивала она, оглядываясь на него.

Так они добрались до вокзала минут за пять до отхода поезда. Логунов только успел забрать свой сундучок, как дали второй звонок. Отставшие пассажиры бежали по перрону к вагонам.

Даша в эти последние минуты избегала встречаться с ним глазами, словно боялась, что он прочтет в них все невысказанное. Логунов мял шапку в руках и тоже не смел поднять на нее глаз. Потом он неожиданно коснулся ее руки. Даша посмотрела на него. В это время раздался третий звонок, оглушительно загудел паровоз. И вдруг, будто кто-то подтолкнул их навстречу друг другу, счастливо улыбаясь, они взялись за руки.

Последнее, что запомнил Логунов, было крепкое пожатие руки и Дашины глаза, полные любви. Затем он во всю прыть помчался вслед за поездом и сел в один из последних вагонов, рискуя очутиться под колесами.

Было темно, и на небе одна за другой загорались звезды, когда Даша вернулась с вокзала домой. Просунув руку в узкую щель, она нащупала и сняла крючок, толкнула калитку, но, не переступая порожка, остановилась. Грудь ее высоко вздымалась, смятенные мысли мчались одна за другой.

Любовь! Хотя ни одного слова об этом не было сказано между ними, Логунов стал для Даши самым близким и дорогим человеком. В девичьих своих грезах Даша прежде не раз спрашивала себя, каков же он будет — ее суженый. А теперь она просто сказала себе: «Он». И с этим повернулась и пошла от калитки в глубь двора такой плавной, легкой походкой,

точно боялась расплескать то, что сразу до краев наполнило грудь и составило ее, Дашино, счастье.
Логунов тоже понял, что отныне его судьба неразрывно связана с Дашиной судьбой. При одной мысли о ней он чувствовал себя способным своротить горы. Он вспоминал ее лицо, взгляд, который так много открыл ему, ее слова. Все время стоял перед глазами милый его сердцу образ девушки.
Высмотрев на верхней полке свободное место, он укрылся шинелью и долго лежал, устремив свой взгляд в темный потолок, предаваясь мечтам.
Когда начало светать, сквозь замерзшее окно Логунов увидел горы, придвинувшиеся вплотную к железной дороге, снег, черные стволы деревьев, рыжие пятна глины и серьге камни на крутых склонах. «Должно быть, к Облучью подъезжаем», — подумал он. Но тут поезд влетел в длинный туннель; в вагоне сразу наступила кромешная тьма, и Логунов сообразил, что та станция, на которой они недавно стояли, и была Облучье.
Он подумал о цели своей поездки, повернулся на бок и уснул крепко, уверенный, что все обойдется как надо.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Верстах в семи от Благовещенска, в деревне Астрахановка, расположилась Зейская база военной флотилии. В небольшом затончике стояли зазимовавшие здесь канонерская лодка «Орочанин» и посыльное судно «Пика». Команды обоих кораблей жили на берегу в одноэтажной казарме. Рядом находилась мастерская затона — так громко называлось похожее на длинный сарай строение, в одном конце которого разместилась закопченная дочерна кузница на два горна с ручными мехами, а в другом помещении чуть попросторнее, с окнами, стояли токарный и сверлильный станочки и слесарные тиски. Под потолком устроена хитроумная система блоков, позволявших перемещать с одного места на другое громоздкие машинные части. В пристройке имелся еще так называемый столярный цех, в нем выполнялись и такелажные работы.
База выглядела бедно, и если бы не золотые руки корабельных специалистов, вряд ли тут возможен был серьезный ремонт. Но такой ремонт производился из года в год. Шел он и в зиму 1918 года, может быть одну из самых трудных зим для нашего флота.
Дела в Астрахановке оказались в лучшем положении, чем думали на Главной базе. Команды обоих кораблей не теряли зря времени. Душою маленького гарнизона были матрос-комендор Марк Варягин и артиллерийский кондуктор Макаров. Один — веселый, порывистый и горячий, другой — несколько медлительный, осторожный. Они прекрасно дополняли друг друга.
Посыльное судно «Пика», вымороженное изо льда, стояло с зияющей дырой в носовой части, окруженное со всех сторон подпорками. Осенью по мелководью «Пика» поцарапала днище на каменной банке. Сейчас на корабле меняли поврежденные листы обшивки. Работой руководил пожилой мастер-клепальщик из Министерского затона в Благовещенске. Рядом стоял небольшой переносный горн; матросы в рабочих робах ловко выхватывали раскаленные докрасна заклепки и подавали клепальщикам. Стучали кувалды. Работа продвигалась споро, и дыра в днище на глазах у Логунова закрылась последним листом.
«Орочанин» стоял дальше от берега, прочно вмерзнув в гладкий лед. Снег, постоянно сметаемый с палубы, неровным валиком лежал вокруг борта; от этого осадка канонерки казалась более низкой, чем была на самом деле. Впрочем, надводная часть речных судов вообще невысока. Орудия «Орочанина» были зачехлены, но они придавали кораблю боевой вид.
— Который раз запрашивают, а вы помалкиваете. Непорядок это, — выговаривал Логунов, когда астрахановские товарищи рассказали ему о положении дел и познакомились с привезенными им вопросниками.
Макаров почесал голову, придал своему лицу простоватое выражение.
— Понимаешь, Федор, покурили ребята бумагу. Писать не на чем.
— Так я вам и поверил, — засмеялся Логунов.
— Ну верь не верь, а писать нам некогда. Нету такой способности.

— Вот свалился ты на нашу голову, — с неудовольствием заметил Варягин. На бумажных полях вопросников предвиделось столько подводных мелей и рифов, что он предпочел сразу отвернуть в сторону. — Давай так: бумаги побоку. Я сейчас еду на завод Чепурина продвигать заказ. Подброшу тебя до города. Посмотришь, чем тут дышат. Зайдешь в Совет — к Федору Никаноровичу.
— А там наш боцман, — подхватил Макаров. — Он в канцелярии маракует получше нас с тобой.
«Ну, братва! Нашли способ сплавить ревизора», — усмехнулся Логунов. Но предложение принял охотно.
В последнюю минуту к Марку Варягину подошел молодой красивый матрос в рабочей робе с письмом в руках.
— Марк, я тебя попрошу...
— Давай, давай, — сказал Варягин, взял письмо и хлестнул лошадь.
— Беда. Сохнет парень, — сочувственно заметил он, когда выехали за ворота. — Да что же я, мне заезжать туда сегодня не с руки, — спохватился он, повертев письмо в руках. — Послушай, Федор: не в службу, а в дружбу. Тебе сподручнее. Амурская улица, дом Зотова. Его в городе каждая собака знает. Насте в собственные руки. — И он, не ожидая согласия, вручил письмо Логунову.
Письмо было аккуратно сложено треугольничком. От него пахло машинным маслом. Логунов прочел адрес и усмехнулся: «Однако искурили не всю бумагу».
2
Судаков вторую неделю жил в Благовещенске. Еще в первый приезд, после провала русановской затеи с передачей власти в руки Бюро земств и городов, он завел здесь знакомства. Буржуазные круги Благовещенска — золотопромышленники, пароходовладельцы, мукомолы — немало надежд возлагали на это бюро. Однако непопулярное среди трудящихся края учреждение просуществовало недолго.
За месяц с небольшим обстановка в Благовещенске, по мнению Судакова, катастрофически ухудшилась. Только что закончился 4-й областной крестьянский съезд: крестьяне Амурской области безоговорочно пошли за большевиками. И это — несмотря на чрезвычайно обострившееся внешнее положение страны в связи с наступлением немцев на Петроград.
Судаков брел по Амурской улице к дому золотопромышленника Зотова, у которого он жил. Все происшедшее на съезде казалось ему результатом какой-то интриги.
Конечно, если потакать толпе, если разжигать дурные инстинкты и наклонности... Но логика вещей?.. железные экономические законы?.. исторический прогресс?.. Занятый такими мыслями, — а они несколько возвышали его в собственном мнении, — Судаков едва не проскочил мимо зотовского особняка.
— Куда же вы помчались, батенька? — окликнул его Зотов. Он стоял возле парадной двери, монументально важный, самодовольный. — Вижу, вы следуете, решил подождать. На дворе-то капель.
Судаков только сейчас заметил, что день и в самом деле хорош. Светило солнце, голубело небо, и в воздухе держалось непередаваемое ощущение весенней свежести. Сверху на каменные ступени падали звонкие капли.
— Действительно, — удивился он, оглядываясь кругом, как человек, попавший в совершенно незнакомое место.
— Дожили до марта месяца. И слава богу. Не будем дальше загадывать, — продолжал Зотов тем же тоненьким голосом. — Весна-то хороша, да забот сколько. На приисках — сезон, на реках — навигация. Мужик потянется на поля. А я вот — вертись. И туда и сюда — везде поспевай. И тебя все клянут на все корки. Господи! Вот гляжу на Сахалян, знаете, что-то мне китайская сторона милее. Не отправить, думаю, загодя туда кое-какое имущество?.. Да, что же наши амурские мужички? — спохватился он.
Судаков только рукой махнул.
Зотов уперся животом в дверь и стал рыться в карманах, ища ключ.
— Значит, за Мухиным подались? — повесив шубу, спросил он уже без прежнего оживления.
— Судите сами, Иван Артамонович, — Судаков извлек из внутреннего кармана помятые бумажки, приблизил к глазам и стал читать прерывающимся голосом: — «Шлем крепкое

рукопожатие мужика-переселенца далекой окраины вождю всемирного пролетариата Владимиру Ильичу Ленину...» Вот, пожалуйста!

— Голытьба! На чужое зарятся, — бросил Зотов, однако бумаги взял и осторожно понес их впереди себя в дальние комнаты.

Особняк у Зотова большой; комнаты уставлены зеркалами, мягкими диванами, пуфами, креслами на точеных ножках, столиками различных размеров и разного назначения. В больших старомодных буфетах выставлено напоказ серебро и хрусталь. Везде, где можно что-нибудь приткнуть, стояли антикварные вещи и безделушки — традиционные семь слонов, статуэтки, птичьи чучела с распластанными крыльями. В доме много изделий искусных японских мастеров. Одна из комнат так и называлась «японской». В ней стояли японские черные столики, а в углах — ширмочки тонкой работы. На столиках лежали альбомы в бархатных переплетах, в лакированных деревянных обложках, украшенные фигурками гейш или веточками цветущей вишни. Со стен смотрели разукрашенные японки со странно удлиненными лицами и пышными прическами.

Когда бывали званые гости, все двери особняка распахивались настежь. Зотов любил бродить по анфиладе комнат, ловить завистливые взгляды и приглушенный шепоток. «А это я приобрел там-то, за такую-то цену» или «Это я выписал оттуда-то, по каталогу такой-то фирмы», — сообщал он мимоходом и шествовал дальше. Вещи для Зотова были внешним выражением благополучия фирмы, показателем процветания. Он не пропускал случая приобрести еще что-нибудь. Было приятно думать, что где-то в заморских городах, куда ему так и не доехать, какие-то неизвестные люди трудятся, портят зрение, чтобы сделать тончайшую резьбу или отлить из бронзы крохотную фигурку, которую он сунет куда-нибудь в угол и забудет о ней. Вероятно, многим людям собранные здесь шедевры доставили бы эстетическое наслаждение, радость; Зотов знал лишь чувство обладания, пустое тщеславие собственника. Он не умел отличить творения подлинно художественного от подделки, ибо ценность вещи для него раз и навсегда определялась заплаченной за нее суммой.

Зато Зотов звал, как выжать копейку. Его десятники обвешивали старателей, выгадывая для хозяина неоплаченные золотники и доли. Управляющие приисками, капитаны пароходов, конторщики до крайности урезали заработки рабочих и матросов; в компанейских лавках им втридорога продавали гнилье и тухлятину; заболевшего или изувеченного в штольне человека безжалостно выкидывали из барака — иди на все четыре стороны. Были на его приисках люди, которым только мигни — проломят непокорному добытчику голову в случайной драке либо утопят где-нибудь в лесном болоте. И все сходило с рук: знал Зотов, как и кому сунуть «барашка в бумажке». Служащих-либералов Зотов у себя не терпел, но охотно поощрял разных шкур и пройдох, зная, что не останется от этого в накладе.

Требование закона, что все добытое золото сдается казне, Зотов в лучшем случае выполнял наполовину: имел он не один ход на ту сторону, за границу. Причалит, скажем, где-нибудь на плесе к его пароходу лодка с той стороны: мало ли зачем — соли купить или спичек. Или зайдет во двор особняка мастеровой-лудильщик: «Паяй-йя!» В конце концов и сам Зотов мог поехать покататься на тройках по зимнему Амуру, а там, по внезапной прихоти, свернуть в Сахалян — благо до него рукой подать — и до утра кутить со всей компанией в китайском ресторанчике или в японском чайном домике у гейш. В компании найдется и член городской думы и какой-нибудь полицейский чин: все подтвердят, что Иван Артамонович ни на секунду не отлучался. Так оно и было. Угощал, швырял деньгами — по широте своей купеческой натуры. Даже по надобности ходил не один. А что там было в кошевке, под персидским ковром, кто мог знать. Стояла она всю ночь где-то в закрытом дворе. Ну, найдут потом корчемники в полозьях вместительный тайничок, что ж тут предосудительного. Зотов — хозяин. И по тайге приходится с крупными суммами ездить, среди разного темного люда. Обычная мера предосторожности — и только. Тайничок-то пуст.

Так и уплывали пуды золота на черный рынок, обогащая Зотова. Среди золотопромышленников Благовещенска, получивших меткое прозвище «амурских волков», он был одним из самых матерых.

Зотов прошагал в библиотеку — угловую комнату с высокими стрельчатыми окнами. Достав очки в простой железной оправе, он заправил обе оглобельки себе за уши и внимательно стал читать резолюции крестьянского съезда.
Судаков задержался в гостиной. Здесь в ожидании обеда расположились священник городского прихода, благообразный, дородный мужчина в лиловом подряснике, худощавый брюнет в инженерской тужурке, пожилой солидный господин в пенсне — доверенный крупнейшей на Дальнем Востоке торговой фирмы «Кунст и Альберс», управляющий местным отделением Сибирского банка и два молодых человека — один скромно одетый, второй — щеголь.
— Читать евангелие? Ну, это скука, — говорил щеголь, рассеянно посматривая по сторонам.
— Вам бы «Метаморфозы» дать, — усмехнулся управляющий банком.
— Читал я оную книжицу. Прелюбопытна. Однако далека от благочестия, — без осуждения, спокойно сказал священник сильным, звучным голосом. — У человека же, кроме чувств плотских, есть потребность поразмышлять серьезно. Тут — евангелие. Откровение господа нашего.
— Вы-то сами в бога верите? — спросил человек в инженерской тужурке.
Священник посмотрел на него, потрогал рукой серебряный крест, лежавший на животе, сказал внушительно:
— Долгом почитаю исполнять всенародно обряды церкви Христовой.
— Всенародно?
— Именно всенародно, в назидание другим. В сем вижу святую обязанность человека культурного, да-с. Народ в дикости своей не разумеет истину, образованному человеку известную: спокойствие — основа благополучия государственного. Страсти человеческие, корысть, прелюбодейство угрожают затопить культуру, веками созданную. Во имя спасения оной мы сообразовать дела и поступки свои с теологией, как философией, понятной народу, обязаны-с. — Он погладил длинными пальцами седеющую бороду и проглаголил: — Уважение — главное в мире сем, убери его — хаос, смятение всеобщее. Уважая бога, легче уважать власть предержащую. Ибо сказано: «Нет власти, аще не от бога».
— В газетах писали, какой-то поп в деревне отрекся от своего сана, — запинаясь и краснея, вставил скромно одетый юноша.
— Сего священника надо судить.
— Вам бы, отец, инквизитором быть, — с усмешкой заметил человек в инженерской тужурке.
— Не смейтесь, сила церкви — именно в ее нетерпимости.
— Что верно, то верно, — сказал управляющий банком и посмотрел на Судакова, как бы приглашая и его вступить в разговор. — Что может быть проще и здоровее старообрядческой семьи? Здоровые мужики — кряжи; бабы — им под стать, только двойни рожать. Живут, работают, спят, детей плодят, богу молятся и, слава богу, революцией не занимаются. Право, жаль, что наши никонианцы загнали последователей Аввакума Петровича в таежную глушь, в скиты.
— Э-э, батенька, иначе они тоже бы подпортились. Поветрие такое в воздухе. Что сейчас надобно народу?
— Нужна, с одной стороны, заботливость, а с другой — твердая власть, — поиграв шнурочком пенсне, сказал представитель «Кунста и Альберса». — Сейчас народ поддался пагубной агитации большевиков, значит, главное — дать ему почувствовать твердость власти.
— Именно. Вот именно, сын мой, — поп сочно зевнул и прикрыл зевок широкой ладонью.
— Взбунтовалось море человеческое, — сказал управляющий банком. — А все вы, интеллигенты, виноваты, да-с! — злобно выкрикнул он. — Учили народ. А чему?.. Вот вы, господин социалист. — Он повернулся к Судакову, уколол его сердитым взглядом. — Небось тоже звали. «Пойдем вперед!», «Отречемся и отряхнем прах», а?.. Звали? А мне, например, перемены не нужны, плевать я хотел на всякий там исторический прогресс. Даст наш банк уважаемому Ивану Артамоновичу хорошую ссуду — вот и прогресс. Новый прииск в тайге. Пуды золота. Жратва для господ интеллигентов. Что, нет?

Кунстовский доверенный попытался смягчить резкость его слов.
— Экономическая основа современного общества не терпит ломки, она может развиваться лишь эволюционным путем, — произнес он с легким немецким акцентом.
— Да я не спорю, не спорю, — сказал Судаков.
Священник, теребя крест, с любопытством посматривал на них. В гостиную входили дамы.
— Ну конечно, опять политика. Опять большевики, — капризным голосом сказала дама с глубоким декольте.
— Да куда же от них деться, вы скажите. Я с удовольствием сбегу, — с улыбкой ответил священник, протянул крест для поцелуя и скосил глаза на ее обнаженные полные руки.
Вышел наконец к гостям и сам хозяин.
Зотов был толст, низок ростом, неповоротлив; он притирал своим телом косяки дверей и весь был начинен злостью. Злясь, он страшно краснел, шея у него делалась толще, на лбу выступали выпуклые синие жилы, казалось еще слово, и он, как начиненный лиддитом снаряд, — взорвется. Но взрыва не следовало. Только голос Зотова делался еще более пронзительным, по-бабьи визгливым. В сочетании на редкость толстой фигуры и тоненького, как у девочки-подростка, голоса было что-то комическое, и — ничего грозного.
Окружающие спокойно выслушивали ругань Зотова; лишь его жена — маленькая, крикливо одетая женщина — время от времени дергала его за рукав и просила:
— Ваня, Ванечка, успокойся. Тебе вредно волноваться.
— Ах, оставь, — отмахивался Зотов. — Ты же знаешь, они меня разорят. Они всех разорят, если... — Тут он глянул на застенчивого юношу и прикусил язык. «Вот дурак, — подумал он о молодом щеголе, — тащит с собой, кого ни встретит». Но удержаться от выражения своих чувств Зотов не мог. — Рабочий контроль, слыхали? «Заем свободы» аннулировали. Национализация банков... Еще жен у нас отобрать, да под общее одеяло, всех, — кричал он, все более распаляясь.
— Что касается декрета о национализации банков, с вашего разрешения, — блеф чистейший, — возразил управляющий. — Ну где им взять людей, способных разобраться в дисконтных книгах? И что такое вообще вексель?.. Ха-ха! Воображаю, что за вакханалия будет. Ха-ха!
— Хи-хи! Хи-хи-хи! — начал истерично вторить Зотов. Весь сотрясаясь, он минут пять закатывался от смеха. — Как, ка-ак? — восклицал он, хлопая себя руками по колыхавшемуся от смеха жирному животу. — Что такое вексель? Хи-хи!.. Ты меня уморишь, — заявил он, несколько успокоившись.
В гостиной появился один из зотовских приказчиков. Стоя у дверей, он знаками старался привлечь внимание хозяина.
— Ну что? Что у тебя? — Зотов отошел с приказчиком в угол, пошептался с ним, поводил возле его носа пальцем: — Гляди! Чтоб ни одна живая душа...
Декольтированная дама решила показать, что политика и ей не чужда.
— Господа, — сказала она, — нам безусловно необходимо покровительство сильной державы.
Человек в инженерской тужурке покосился на нее, буркнул хмуро:
— Сударыня, покровительство сильного для женщины, ищущей его, и для государства — две весьма разные вещи.
— Но почему? — она удивленно подняла брови.
— В первом случае покровитель платит, во втором — берет, — пояснил он с едва приметной усмешкой.
— Ну нет: берет он, положим, в обоих случаях, — не согласился управляющий банком.
Поп первым громко захохотал:
— Воистину так! Воистину.
Зотов просеменил ножками к окну, посмотрел на улицу; он сразу сделался озабоченным и деловитым.
Перемена в настроении Зотова была связана с тем, что приказчик сообщил ему о предстоящем визите Соловейчика. Дело, которое приведет этого пограничного авантюриста в зотовский особняк, особо щекотливое. Тут в случае провала не отделаешься только потерями и убытками. Управляющий конторой Сибирского банка и доверенный фирмы «Кунст и Альберс» прекрасно поняли, что за новость принес Зотову приказчик.

В прошлом месяце они порядочно перетрусили, когда Благовещенский Совет раскрыл созданную в городе контрреволюционную организацию «Союз борьбы с анархией». При обысках были изъяты винтовки, револьверы, ящики с ручными гранатами. Двадцать два арестованных офицера до сих пор находились в тюрьме, их допрашивали следователи-большевики, и неизвестно еще, до чего они успеют докопаться.
В комнату вошел еще один зотовский квартирант — капитан 2-го ранга Лисанчанский. Его сопровождал казачий сотник Суматохин — мужчина огромного роста.
— Одну минуту, батюшка. На два слова, — перехватил он в дверях собравшегося уходить священника, увлек его к оконной нише и стал о чем-то шептаться с ним.
Гримаса неудовольствия мелькнула на хитроватом лице попа.
— Гм... Как сказать... Да вы обратитесь к церковному старосте, это его компетенция, — сказал он смущенно. — К старосте, к старосте, — повторил он, делая рукой жест, словно отпихивал что-то от себя, и, шелестя рясой, быстро пошел к выходу.
Судаков завершил цепь своих логических построений таким выводом:
— Нам действительно пора брать оружие в руки.
— А вы умеете с ним обращаться? — спросил Лисанчанский.
— К сожалению, нет. Но ведь имеются люди военные, опытные. Им и карты в руки. Современное цивилизованное общество слишком сложно устроено, чтобы обойтись без специализации и общественного разделения труда. Армия существует для того, чтобы воевать и подавлять бунты, если полиция бессильна; чиновники — чтобы управлять; мы, интеллигенты, — двигать умственную жизнь. Чего же вы удивляетесь, если я предлагаю сейчас выдвинуть на первый план военных?
Декольтированная дама пододвинулась к Лисанчанскому, шепнула, показав глазами на Судакова:
— О, он осторожен; он даже в флирте... заходит далеко, но всегда вовремя останавливается, — и, заливаясь звонким смехом, встала и пошла к роялю.

Очи черные-е, очи жгучие.
Как люблю я ва-ас.
И бою-усь я вас...

Зотов под звуки музыки проковылял к окну, уперся лбом в холодное стекло: то ли он хотел охладить разгоряченную голову, то ли боялся пропустить незамеченным приход Соловейчика.
3
Гости отобедали и разошлись.
В «японской комнате» у Зотова сидел пришедший с визитом Такеда-сан — коммерсант, старый житель Благовещенска и глава местных японских резидентов.
Это был невысокий японец с маленькими черными усиками, в штатском, безукоризненно отглаженном костюме с галстуком-бабочкой. Сидел он прямо, развернув плечи и не касаясь спиной стула, как сидят старики военные, начавшие службу еще с кадетов.
— Я желаю, чтобы, пользуясь этим случаем, мы слились между собой и образовали одно дружное общество, — отчетливо по-русски говорил японец, положив кисти рук на край круглого полированного стола. — Не будем гоняться за наживой денег.
— Не будем, — вздохнув, согласился Зотов.
Взор гостя скользнул по стенам, по лицам разукрашенных в традиционной манере японок. Чуть приметная усмешка тронула его губы; дрогнула, поползла вверх черная нитка усов.
— Когда я в первый раз приехал в Сибирь, я так растерялся, что абсолютно ничего не мог разобрать, — продолжал Такеда-сан размеренно-тихим голосом. — Очень морозная страна, очень богатая. Так холодно, что можно без ушей остаться. И совсем мало людей. Золотое дно, так, кажется, говорят? Японцы тут могут сделать массу разных дел, полезных себе и русским. То есть вам, — уточнил он, наклонив голову в сторону Зотова. — Дерево простирает ветви во все стороны. Сыны Японии едут в Сибирь, горя желанием прославить отечество.

Зотов старательно вслушивался в ровно журчащую речь Такеды; мешало несколько непривычное построение фраз, но общий смысл он уловил неплохо. «Пользуются случаем, сукины дети!» Он хлопнул в ладоши, и хорошенькая горничная Настя, служившая у Зотова третий год, принесла печенье и четыре фарфоровые чашечки с чаем. Чай был цветочный, китайский.
Такеда придал лицу приличествующее выражение.
— Я не могу отделаться от прискорбного чувства по поводу современного печального положения России, — сказал он, поставив чашечку обратно на стол. — Настроение умов обострилось против состоятельных людей. Государство может погибнуть из-за нарушения порядка в управлении им.
— Да, да. Довели нас товарищи большевики. Продали Россию! — Зотов тяжело повернулся, задышал, как откормленный боров.
Такеда-сан, расстегнув портфель, выкладывал на стол рядом с недопитой чашкой чая обандероленные пачки банкнот Чосен-банка. Всю кучку денег он пододвинул потом Лисанчанскому, который вместе с Суматохиным сидел здесь же за столиком.
— Прошу принять это от меня в знак искреннего поздравления по случаю предстоящего выздоровления вашего отечества, — весьма витиевато и церемонно сказал он.
Сотник Суматохин забрал деньги и пачками стал запихивать в необъятные карманы своих штанов. Затем он принялся рассказывать о настроении в казачьих частях. По его словам выходило, что казаки настроены против Советов, так как боятся утратить свои сословные привилегии. Некоторые казачьи сотни лишь в последние дни были подтянуты к городу и размещены так, чтобы избегнуть контакта с распропагандированными большевиками частями гарнизона.
— Атаримае! Понятно, — Такеда-сан улыбнулся во все лицо, показал неровные, но крепкие зубы. — Казаки так ободрены, что их воинственное настроение не дает возможности их остановить. Я понял правильно? Следует еще прибегнуть к хитрым мерам посредством пропаганды, — посоветовал он.
— Настя, а где сейчас господин Судаков? — спросил Зотов. Ему не хотелось, чтобы тот забрел сюда ненароком.
— Они у себя на диване лежат, — сообщила бойкая Настя, стрельнув глазами в Такеду. — С книжкой занимаются...
— Вот уж типчик! Валяется на диване, мерзавец, в такой день, — с неожиданным раздражением брякнул Суматохин.
— Бог с вами, Илья Данилович! Человек как человек. — Зотов счел нужным вступиться за Судакова. Такеда-сан заметил с улыбкой:
— Для своей пользы он быстро меняет свое мнение. Аноне, послушайте! — продолжал он, обращаясь то к Зотову, то к Лисанчанскому. — Атаман Гамов?.. Он недавно выдвинулся порядочно. Если он не отступит, события могут вознести его дальше. Аратомару! Все должно принять острый характер. Стоит только немного продержаться против неприятельского нападения, и победа будет на нашей стороне.
Зотов слушал, склонив чуть набок круглую голову с венчиком реденьких желтоватых волос на затылке.
В дверях послышался голос Соловейчика. Он скандалил с камердинером.
— Чего ты меня держишь? Отцепись. Будто я дороги не знаю. — Соловейчик толкнул дверь и стремительно вошел в комнату. — Мое почтение, господа! Солнце на ту сторону, я — на эту. Ходим, пока ноги носят. Так, что ли, Иван Артамонович? — и, не ожидая приглашения, сел напротив Зотова.
Зотов любезно, но и несколько небрежно поклонился ему.
— Эти господа в курсе дела.
— Ну, я сразу сообразил, как вошел, — в рыжеватых коротких усиках Соловейчика зазмеилась улыбка. — Потребители товара, стало быть? — А товар — первый сорт. Антик.
— Большая партия? Как собираетесь доставить? — деловито спросил капитан 2-го ранга.
— Двести винтовок «арисака» и сто тысяч патронов к ним. Пулеметы «гочкиса». Погрузим ящики на сани и привезем, когда прикажете. — Соловейчик, прищурясь, посмотрел на Такеду.
Оба отлично знали друг друга, но делали вид, что незнакомы.

— Часа через три к Набережной доставить можете? Вот и отлично! — Суматохин назвал пароль. — Вас встретит начальник гражданской милиции господин Языков.
— С шиком, значит, — усмехнулся Соловейчик. — Дай бог! Дай бог... — Он посмотрел на стены и свистнул: — Скажи, какие сте-ервы... А расчетец попрошу сейчас. В кредит не работаю. Между двумя державами я человек небольшой.
Такеда-сан, не глядя на Соловейчика, сказал что-то по-японски, поднялся, поклонился Зотову, поклонился Лисанчанскому и Суматохину. Кланяясь, он складывал вместе обе ладони и покачивал ими.

> — Мне нужно побывать по делам, — сообщил он хозяину. — Покорнейше прошу удостаивать меня вашими почтенными заказами. Аригато! Сайонара!
> [16]

— Была бы нора, а ты влезешь, — сказал Соловейчик вслед ему без всякого почтения и стал досматривать живопись на стенах. — Таких баб, однако, не бывает, — заключил он и потерял к ним всякий интерес.
Суматохин вышел вместе с японцем. Зотов забежал вперед, открыл дверь.
Лисанчанский, пока Соловейчик изучал комнату, отошел к окну, поглядел на открывшийся из него вид.
Поверх крыш вдали синели горы чистейшего ультрамаринового цвета. По улице шагом ехал извозчик и глядел на окна домов. Навстречу по дороге шли два парня, один лузгал семечки, другой поддерживал рукой гармонь, ремень которой был перекинут через плечо. По расчищенной от снега части тротуара прошла старуха с девочкой. Прошагал озабоченно какой-то мужчина в черном пальто. С криком промчалась стайка ребятишек, кидая снежки.
Зотов вернулся в прекрасном настроении.
— Сейчас так сейчас, — сказал он, рассчитывая, что казначейство вернет ему с лихвой все затраченные суммы.
— Не забудьте пятнадцать процентов комиссионных.
— Позвольте! Уговора не было.
— Мало ли что не было, — возразил Соловейчик, чувствуя себя хозяином положения. — За срочность. За риск.
— Да какой же риск... нету риска, — вмешался Лисанчанский. — Всю ответственность мы берем на себя.
— Извините, товар мой. Я повышаю цену.
— На каком основании?
— Учитывая конъюнктуру рынка, — нагло улыбаясь, сказал Соловейчик.
— Как вы можете! — Лисанчанский был возмущен. — В такой критический момент вы примешиваете грязные расчеты. Или вам интересы отечества безразличны?
— Момент подходящий. Верно, — согласился Соловейчик. — Так что, господа, выкладывайте денежки. Считай, считай, Иван Артамонович!
— Хапуга ты, — со злостью крикнул Зотов. — Случаем пользуешься...
Голос у него сорвался, последние слова он прокричал сердитым фальцетом.
— А то ты бы меня не обобрал? Ты бы на отечество скидку дал? Ха! А на каком оно берегу? — издевался Соловейчик, болтая закинутой на колено ногой. — Все козыри сегодня у меня, Иван Артамонович.
— Вот что, сударь! — Лисанчанский поднялся, грозно сдвинул брови. — Извольте оставить этот тон и неуместные требования. Иначе я... Вста-ать! — бешено гаркнул он, окончательно потеряв терпение.
Соловейчик снизу невозмутимо поглядел на него и по-прежнему болтал ногой.
— Те-те-те! Нервы, нервы, — сказал он сожалительно. — Вот дадут вам большевики по загривку, куда подаваться будете? В Сахалян. То есть к Соловейчику. Да я зла не помню. Крик — от бессилия. Ребенок махонький — он больше всех кричит.
Лисанчанский как вскочил, так и стоял столбом посреди комнаты, тараща глаза на небольшого скуластого человека, который, как говорят, и ухом не повел.
— Вы ступайте, ступайте, — с досадой сказал Зотов, понимая уже, что придется добавить.
— Бери десять, — предложил он, когда Лисанчанский с треском захлопнул собой дверь.

— Двадцать пять. Упустил ты время, Иван Артамонович. Время — деньги, слыхал небось? — Соловейчик смотрел в угол, где стояло скульптурное изображение Фудоо Мёо-оо — бога гнева. Воинственный и свирепый вид японского божка пришелся ему по душе. Он подошел ближе, прочел надпись: «Этот мир полон зла, которое должно быть сдерживаемо гневом». Потрогал бога за голую пятку. — Ладно, Иван Артамонович. Оставшиеся поделим пополам. Семнадцать с половиною комиссионных и бутылку коньяку. Когда же у вас назначен переворот?
Проводив наконец беспокойного гостя, Зотов вздохнул с облегчением.
— Уф, денек!.. Чего тебе? — спросил он у облаченного в парадную ливрею старичка камердинера.
— Тут матрос пришел. Матро-ос, — сказал он испуганно-свистящим шепотом.
— Что?.. З-зачем?..
— На кухне он... с Настей.
Зотов охнул и схватился за сердце...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Матрос, приход которого так напугал Зотова, был Логунов. В зотовский особняк он попал совершенно случайно: надо было передать письмо Насте от одного из моряков.
Логунов в незнакомом городе не сразу нашел нужную улицу. Сейчас Настя поила его чаем и расспрашивала про житье-бытье в Астрахановке.
Логунов собирался вручить письмо и уйти. Но Настя так обрадовалась, так была с ним мила, что он уступил настойчивым просьбам. Настя чем-то отдаленно напомнила ему Дашу Ельневу.
У нее такая же стройная фигурка, здоровое лицо с румянцем на щеках и ровные белые зубки. По типу это все же скорее была деревенская красавица, чем городская барышня. Собственно, что в ней было от Даши? Сердечность! — решил Логунов, поразмыслив.
В особняк Логунова впустили не через парадный ход, а через дверь, предназначенную для прислуги. Хозяйских роскошно обставленных комнат он не видел, однако сразу понял, что попал в дом крупного капиталиста. В таких домах Логунову приходилось бывать только с обыском, и он с интересом расспрашивал симпатичную и словоохотливую Настю о жизни ее хозяев.
Зная хорошо нужду народа, Логунов с удивлением и даже недоверием слушал Настин рассказ о том, что двух человек — Зотова и его супругу — обслуживает ни много ни мало как двадцать человек домашней прислуги. В его голове совершенно не вмещалось, как и чем можно занять стольких людей.
— А едят-то они сами? — спросил он, покачав головой.
— Да уж только! Разжуй и в рот положи, — сказала Настя. — За столом все деликатесы. Жрут, как боровы. Живых слизняков глотают, ей-богу. Устрицы. Вы поглядели бы на нашего. Во — туша, — показала она, разведя руки насколько могла. — Ходит — пыхтит, ляжет — кряхтит, плитки паркета под ним выскакивают. И все мало... загребает, загребает. Ух, жадный! Ненасытные глаза.
Настя выпалила все это быстрой и звонкой скороговоркой, точно боялась, что Логунов не дослушает и уйдет. Ей, видно, до того осточертело в зотовском доме, столько натерпелась она здесь от мелкой придирчивости, от высокомерия и заносчивости хозяев, что раз уж попался человек, готовый слушать, она не могла не высказаться.
— А барыне, видно, не в коня корм. Худущая, — продолжала она, заглянув в зеркальце и поправив выбившуюся из-под косынки прядку волос. — Нами-то больше она помыкает. Как начнет примерять платья, начнет вертеться! — ну, пропасть мне! Внизу складок тыща, хвост на три аршина, а сверху — одна срамота. Что одета, что нет. И было бы хоть что показать, а то — мощи высохшие. Мода. Ради моды удавиться готовы. Правда, сами в петлю не лезут — других загоняют. Вон у Буяновых горничная повесилась. До того затуркали бедную, что руки на себя наложила. Это им можно простить? Это разве не кровопийцы?
Логунову Настя сразу понравилась. Письмо, которое он передал, тронуло ее до глубины души. Не замечая взгляда Логунова, она прижала письмо к груди. И столько девичьей чистоты было в этом непроизвольном жесте, что сердце Логунова дрогнуло: он сам любил.

— Не обижают вас здесь? — спросил он.
— Обижают? — переспросила она с некоторым даже удивлением: для нее сама жизнь в этом доме была постоянной и нестерпимой обидой. Но Логунов имел в виду другое: не пристают ли к ней пресытившиеся бездельники как к женщине, и Настя поняла его. — А пусть попробует кто! — сказала она с гордым вызовом. — Уж я не посмотрю. Я прямо в харю, в бесстыжие глаза наплюю. Вообще-то нашей сестре горько приходится. Хозяин тискает, гости лапают, щенок хозяйский, молоко на губах не обсохло, — тоже тянется, пристает... Кто характером послабже — беда. Трудно прислуге-девушке себя соблюсти. Конечно, в какой дом попадет. Есть хорошие люди. Только не среди богатых, — сказала она убежденно.
В этом Логунов был согласен с нею. Он пил чай и слушал Настин быстрый говорок.
— Теперь они хвосты-то поджали маленько, — с усмешкой заметила она и глянула на Логунова живыми, прищуренными глазами. — А уж шипят, шипят. Клубок змей. Как сойдутся, как почнут языками молоть — чего только не выдумают! Комиссары — то, комиссары — это. И Россию они немцам продали, и чего-то там загубили, и бога не признают, а только одного черта. И все так серьезно говорится, будто в театре представляют. Ой, я же должна вам рассказать! — воскликнула Настя, оглянулась на дверь, пододвинулась поближе к Логунову и зашептала: — Ведь они чего-то строят. Чего-то колготятся.
Сбивчиво, поминутно оглядываясь, она рассказала ему о визите японца Такеды и, главное, о Соловейчике, одна репутация и профессия которого уже говорили о многом.
— Ах они контры, контры! — сказал возмущенный Логунов.
Впрочем, особого значения Настиному предупреждению он не придал. Мало ли что говорят в буржуазных домах; они и в газетах открыто гадости пишут, не стесняются. И публики подозрительной в Благовещенске хоть лопатой греби. Логунов постарался рассеять Настину тревогу.
— Пусть шипят, а кусаться не дадим. По зубам сразу схватят, — заметил он и беспечно улыбнулся. — У вас тут, в каменных стенах, одно, а мир-то широк. Там таким свежим ветром дует — всякую вонь унесет.
— Ой, матросик, матросик! Попомни мои слова. У них деньги, — сказала Настя, нисколько не разубежденная.

2

В Благовещенске Логунов впервые. Город, расположенный у места впадения многоводной Зеи в Амур, отличался хорошей планировкой улиц. Одни из них — Большая, Зейская, Амурская, Иркутская — широкими прямыми проспектами тянулись параллельно Амуру через весь город, вплоть до Загородной, за ней возвышалось мрачное кирпичное здание тюрьмы; другие улицы, как Садовая, Мастерская или Торговая, шли от Амура в глубь равнины к вокзалу и слободке Забурхановке. Ориентироваться здесь не составляло труда.
В городе немало красивых по архитектуре зданий: учительская и духовная семинарии, реальное и речное училище, Алексеевская женская гимназия, Общественное собрание, магазины Чурина, Кунста и Альберса. Некоторые особняки напомнили Логунову такие же частные дома в Петрограде или Москве.
Резким контрастом буржуазным кварталам была Забурхановка с ее узкими улочками, на которые со всех дворов смотрела нищета.
На улицах встречались вооруженные штатские, которых Логунов затруднился бы причислить к красногвардейцам: это гражданская милиция Благовещенска, своего рода буржуазное ополчение. Разъезжали казаки в полном вооружении на сытых конях, веселые и нахальные. Но мелькали и рабочие куртки, красные повязки на рукавах, простые, симпатичные лица.
«Да-а, обстановочка», — подумал Логунов, останавливаясь послушать уличного оратора, собравшего с полсотни слушателей.
— Граждане! Дамы и господа! Гибнет Россия! — патетически восклицал хорошо одетый господин. — Не сегодня-завтра немцы возьмут Петроград. Сто тысяч военнопленных на Дальнем Востоке получат оружие. Что будет, вы подумайте?..
— Вре-ешь, немцев побили! Под Псковом, слыхал? — крикнули ему сзади.
— Господа, дайте же человеку говорить. У нас свобода слова.

Тот же звонкий веселый голос:
— Вношу предложение: лишить свободы слова тех, кто звонит впустую!
— Го-го-го! Правильно-о!
Логунов протолкался вперед и дернул, оратора за рукав:
— Кати-ись отсюда! Ну?..
— Позво-ольте...
— Без разговоров, — сказал Логунов.
Рядом с ним уже стояли трое солдат и два красногвардейца — подошедший патруль. Оратор поспешил затеряться в толпе.
— И что за люди! — сказал солдат. — Он тебе, парень, все так распишет — и реки молочные, и берега кисельные, и пряники медовые, — уши развесишь. А вот вникни — в тех речах смыслу нет. И то и се, а больше — вокруг да около. Нет у него, сердечного, ни ума великого, ни понятия настоящего об интересе людском. Слова одни. И не разберешь, что ему надо.
— Захомутать тебя снова, вот что, — сказал красногвардеец.
— Ну это... я не дамся. Мне Ленин глаза-то открыл.
Лицо у солдата суровое, с резкими чертами, чуть асимметричное. Но, когда он улыбался, выражение его смягчалось и было приятным.
Логунов с ними дошел до здания, где помещался Благовещенский Совет. Спросив одного, другого, он попал наконец в комнату, где за большим канцелярским столом по-хозяйски расположился боцман.
— А дальше что? Что вы хотите? — нетерпеливо спрашивал он у стоявшего перед ним человека, желая поскорее добраться до сути дела. Но тот говорил так витиевато, что терпение у боцмана лопнуло. — Ты что мне голову морочишь? — рявкнул он. — Закрыли винный склад? Правильно, что закрыли. Пошлем к тебе наряд, чтобы бутылки поразбивали. А что?.. По-твоему, надо народ спаивать? Советская власть этого не позволит. Советская власть...
Лицо боцмана — круглое и рябоватое, с прямым подбородком — показалось Логунову знакомым. Подумав, он вспомнил, что видел боцмана в Гельсингфорсе, когда миноносец «Решительный» стоял там у стенки. Два или три раза они сидели за кружкой пива в портовом кабачке.
Дождавшись ухода лавочника, Логунов подошел к боцману и поздоровался.
— Привет, Балтика! Не узнаешь?
Боцман окинул его взглядом.
— Здравствуй!.. Что-то не могу признать, — ответил он, подозрительно оглядывая Логунова. Очевидно, уловив в лице матроса смутно знакомые черты, он все больше и больше морщил лоб, но так не узнал его, пока Логунов сам не напомнил обстоятельства их первой встречи.
— Ну-ну. Ах, черт! Так это ты? — лицо боцмана расплылось в широчайшей улыбке. — Здорово, браток! Вот Балтика, куда ее штормом не кинет! Нет, ты видал этого гуся? Сукин сын. Вином ему торговать на пользу народу. Тоже радетель. Тьфу!
Свою речь боцман пересыпал забористыми словечками. Он с жадностью расспрашивал о новостях, о положении дел в Главной базе.
Логунов рассказал, как восстанавливаются башенные лодки «Смерч» и «Шквал», что сормовки «Бурят» и «Монгол» уже укомплектованы командами и с началом навигации выйдут в плавание.
— Ого! Неплохо. Да нашего «Орочанина» прибавить. Совсем неплохо, — шумно порадовался боцман. — Послушай, ты не знаешь, что это за фигуры? Оставить их или выбросить? — вдруг спросил он, показывая на свой стол.
Сбоку массивного письменного прибора из красноватого мрамора с белыми прожилками стояли две изящные бронзовые фигурки. Логунов не знал, что они представляют собой, но обратил внимание на удивительную гармонию в изображении человеческого тела.
— А ловко закручено. Как живые. Надо же так сообразить, — продолжал боцман заметно потеплевшим голосом. — Революция эти штучки не отменила, как думаешь? Ну, пусть стоят. Пусть. Только, знаешь, ругаться при них неловко, — смушенно рассмеялся он и повернулся к вошедшей в комнату робкой, бедно одетой старушке. — Вам кого, бабушка?

Садитесь вот сюда на диван, на мягкое. Рассказывайте, как живете. Какая нужда?.. — Лицо у боцмана такое, будто никакие другие дела, ничто на свете больше не интересовало его.

3

Мухина в Совете не было. Одни говорили, что он на митинге в Министерском затоне; другие — будто он на заводе Чепурина и налаживает там рабочий контроль; третьи сами видели его недавно среди солдат 2-й батареи. Популярность Мухина в народе была велика. В Благовещенске многие помнили его с 1906 года как Яковлева или Чижикова — по нелегальной работе. В Благовещенске он был арестован царскими жандармами, сидел в тюрьме. Здесь он громил на диспутах меньшевиков и эсеров. Мухин обладал незаурядным талантом агитатора и пропагандиста. Пожилые рабочие называли его запросто — Никанорыч.

К Мухину шли посоветоваться, были жалобщики, надеющиеся на скорое и справедливое решение их просьб и требований, находились и просто любопытные люди, которым хотелось послушать известного большевика или хотя бы взглянуть на него. Здесь же можно было видеть делегатов только что закрывшегося областного крестьянского съезда. Готовясь ехать домой, каждый считал необходимым посоветоваться с ним. Наконец среди посетителей встречались и явные враги новой власти.

— Все врут; из разных, конечно, побуждений, а врут. Уж я людей, поверьте, знаю, — разглагольствовал один из таких посетителей. — На словах — за всех, а хапают — только для себя. Поскорей бы мошну набить. Хватает больше всего тот, кто только дорвался до пирога.

— Позвольте, что за вздор! Вы на что намекаете?

— Я? Избави меня бог!.. — и человек переходил к другой группе ожидающих.

— Да это же чуринский приказчик. Хозяйский холуй, — сказала пожилая женщина, сидевшая недалеко от Логунова. Она держала на руках ребенка и кормила его грудью. — Вы, мужики, не дымили бы, а? — попросила она.

Логунов пальцами загасил папиросу.

— Вот ведь тоже человек! Тоже своего требует, — весело сказал шустрый старик — делегат крестьянского съезда и покосился на малыша, деловито сосавшего материнскую грудь.

— Человеком пренебрегать нельзя, шут его знает, что из него впоследствии получится, — наставительно заметил знакомый Логунову солдат и засмеялся. — Я, как прочитал это, — верно, думаю. Сущая правда.

Завязался разговор о переменах в жизни; разговор горячий и пристрастный, поскольку каждого он близко касался.

— Имущество надо у всех отобрать, свалить в одну кучу, а потом разделить поровну. Чтоб, значит, полное равенство и справедливость, — предложил чубатый парень с нагловатыми, чуть выкаченными глазами. Он невозмутимо продолжал курить, пуская дым и свысока поглядывая на остальных.

— Как отобрать?.. И коровенку мою? — живо повернулся к нему старик.

— Все отобрать начисто, — подтвердил парень и бросил окурок прямо под ноги женщине.

— У тебя вот корова, а у меня ее сроду не было. Я молока не пью.

— Одну водку хлещешь, — неодобрительно сказала женщина, укладывая рядом, с собой насытившегося ребенка. — Когда их, таких вот, пятеро — молоку радуешься не знаю как. Спросил бы у своей матери.

— Что мне мать! — Парень мотнул головой, отчего свисающий низко чуб передвинулся у него на лбу. — Может, у самого имеются дети, я разве знаю...

— Ты, стало быть, как кукушка: кладешь в чужие гнезда, — с осуждением заметил солдат.

— Тогда тебе об этом и рассуждать нечего.

— Может, вот они получше жить будут. Хоть бы уж! — женщина бережно, чтобы не разбудить ребенка, поправила одеяльце.

Лицо у нее простое и симпатичное. Под глазами густо залегли морщинки, свидетельствующие о нелегко прожитой жизни.

— Но имущество поделить все-таки придется. Так? — воспользовался паузой чубатый парень.

— Допустим, — сказал Логунов со скрытой усмешкой. — Тебе отвалят колесо от маховика, ему вот — машинный вал... то-то фабрика у вас завертится! Наработаете товару.
Все засмеялись, и парень в том числе.
Мухина Логунов заметил не сразу: его обступили со всех сторон, загородили спинами. Логунов подошел ближе.
— Ты что же хочешь... мира с капиталистами? — услышал он слова, сказанные приятным густым голосом. — Пока сами крепко на ноги не станем, они нас задушить готовы с превеликим удовольствием.
Сверкнули удивительно живые, выразительные глаза.
Одет Мухин в неизменную кожаную куртку, из-под нее выглядывала застегнутая доверху рубаха-косоворотка; простого покроя брюки заправлены в сапоги. Держался он очень естественно, без тени рисовки. На разговор реагировал быстро, подкрепляя слова жестом и мимикой. Кто-то позади Мухина тоненьким голосом скопца сказал:
— Зачем же сеять недоверие? И без того жизнь сложна. Нужно учиться забывать.
Мухин живо повернулся.
— Э-э, батенька, — громко возразил он. — Этой философии две тысячи лет. Стара, как миф о Христе. Но также служит имущим. Учиться забывать? — повторил он с негодованием. — Не скажете, что именно? Как нас обирали до нитки? Как плетьми секли? Как на каторгу гнали? Это забывать?.. Нет. Слуга покорный.
— Но собственность ее нами выдумана. Это старейший институт, — продолжал тот же голос.
Мухин вдруг хорошо и с хитрецой улыбнулся:
— Знаете, есть такой афоризм: добро, которое украл и хранил много лет, — трижды священная собственность. Уместно вспомнить, не правда ли?..
В городе упорно распространялись слухи о том, что в наступившем году американские фирмы откажутся завозить плуги и шпагат для сноповязалок. В Амурской области зажиточные крестьяне и кулаки-стодесятинники довольно широко применяли уборочные машины — жатки, сноповязалки. В страдную пору машины позволяли восполнить острую нехватку рабочих рук. Поставку сельскохозяйственных машин на Дальний Восток еще с начала девятисотых годов монополизировали американские фирмы — «Международная компания жатвенных машин в России» с правлением в Чикаго и синдикат «Интернейшнл Харвестер и К°». В Благовещенске, Ивановке, Тамбовке и других крупных пунктах области они имели свои отделения, склады сельскохозяйственных машин, своих доверенных и уполномоченных.
Слух о намерении американских фирм волновал крестьян. Об этом заговорили делегаты крестьянского съезда.
— Да, грозят, — сказал Мухин. — Вот вам еще одно свидетельство, как международный капитал относится к нам. На словах в Вашингтоне приветствуют революционную Россию, на деле нам чинят препятствия во всем. Закрыли по настоянию консулов маньчжурскую границу, чтобы мы не могли вывезти с КВЖД закупленный нами хлеб. Сейчас предупредили, что не будет шпагата. Заранее предупредили. До сева. Теперь зажиточный амурский мужик соображает: нет шпагата — не пойдут сноповязалки. Рук в деревне мало — война забрала. Значит, надо меньше сеять. Так? — И он, слегка щурясь, посмотрел на обступивших его крестьян.
— Так, так, — подтвердили сразу несколько голосов.
— Меньше посеем, меньше и хлеба соберем, — продолжал Мухин, внимательно следя за тем, доходят ли его слова. — В конечном счете это ударит по всем. И в первую очередь по рабочим — по главной силе революции. Нас хотят задушить костлявой рукой голода. Нет, не задушат! — воскликнул он. — Трудящиеся крестьяне — надежный союзник рабочего класса. Надо приложить все старания, чтобы посеять как можно больше. Сообща подумаем, как убрать урожай.
— Понятно, Федор Никанорович. Не сумлевайся, — веско сказал старик делегат.
— Нет, какая, однако, подлость! Что эти фирмы затеяли, а?
Старательно набивая трубку табаком, Мухин с насмешливой улыбкой наблюдал за оппонентами. Столько ума и живого юмора было в его глазах, так выразительно весело он смеялся, таким был остроумным и находчивым в разговоре, что каждый невольно

поддавался его обаянию. Мухин был человеком, которого знали и любили тысячи людей, ненавидели сотни, но считались с ним все без исключения.
Федор Никанорович пригласил Логунова в кабинет. Сам уселся за небольшим столом, на котором почти не было бумаг. Свой рабочий день он проводил большей частью на предприятиях, в солдатских казармах, там на месте и решал возникавшие вопросы.
Логунов рассказал о нуждах флотского отряда. Мухин слушал, чуть склонив голову набок.
— Поможем. Обязательно поможем, — твердо пообещал он. И сам стал расспрашивать о делах в Хабаровске. — У нас положение более сложное, — продолжал он, просмотрев и подписав какие-то бумаги. — Буржуазия, казачья верхушка, меньшевики и эсеры — все объединились сейчас против нас. Подозреваю, что не без участия японцев. — Он оглядел еще раз Логунова своими карими глазами, и чуть заметная усмешка тронула его полные губы. — Но мы поджимаем их снизу. Знаете, как река весною подтачивает лед? Кажется, все надежно, прочно, неподвижно — вдруг кряк! — и пошло ломать. Никакими силами не остановишь вешней воды.
В кабинет заглянула чья-то голова с длинными, запорожскими, свисающими вниз усами. Показавшись, хотела скрыться.
— Заходи, заходи, — поманил пальцем Мухин.
Вошли три красногвардейца с винтовками: двое молодых парней и обладатель великолепных усов — высокий худой человек.
— Что за драку вы учинили? — спросил строго Мухин.
Усатый выдвинулся немного вперед, виновато развел руками.
— Мы и не хотели, Федор Никанорович. Так вышло.
— Не могли разве словами убедить?
— Ну да. Убедишь, — скептически заметил парнишка с расцарапанной щекой. Пальто у него держалось на одной-единственной пуговице. — Встанет эсер — язык в четверть, ворочается легко в любую сторону. Попробуй переговори.
Мухин громко захохотал.
— В четверть, говоришь... в любую сторону? А ведь метко. Метко. Да не поверю я, товарищи, чтобы вы их к стене не могли прижать. Просто не хватило выдержки. Так?
— Выходит, так, — согласился старший. — Ошиблись маленько. Ты не взыскивай строго, Никанорыч.
— На первый раз ограничусь замечанием, — сказал Мухин и предупреждающе поднял палец.
Глаза его смеялись.

4

Разговор с Мухиным запомнился Логунову. Плохо зная обстановку в городе, он, как, впрочем, и другие советские работники, не ожидал такого быстрого разворота событий, которые последовали вечером того же дня.
Выйдя со двора Зотова и направляясь к Набережной, Логунов не придал значения тому факту, что на улицах заметно прибавилось вооруженных казаков и милиционеров. Они ходили группами среди публики, перемигивались, нарочно заступали дорогу шедшим с работы рабочим. Видно было, что искали повода для скандала. Куда-то спешили великовозрастные семинаристы.
В домах зажигались огни, но на улицах было еще достаточно светло. Над Сахаляном догорала вечерняя заря, и невысокие холмы на китайской стороне четко обрисовывались на светлом фоне заката.
Вдруг крики и брань привлекли внимание Логунова. На улице показался обоз подвод в пятнадцать, сопровождаемый десятком красногвардейцев. Следом, постепенно оттесняя бойцов в сторону, валила толпа оруших и улюлюкающих людей. Со смежных улиц подбегали милиционеры, но отнюдь не для того, чтобы установить порядок.
Впереди под конвоем красногвардейцев шагали начальник гражданской милиции Благовещенска штабс-капитан Языков и несколько японских резидентов в гражданской одежде. Языков с усмешкой поглядывал на сбегавшуюся к месту происшествия толпу, в которой преобладали его сторонники.
— Граждане, до каких пор терпеть самоуправство! — громко взывал он, рассчитывая на сочувствие обывателей.

Вскоре нахлынувшая толпа остановила обоз. Публика, арестованные, конвоиры-красногвардейцы, вооруженные милиционеры — все смешалось.
Пользуясь сумерками и суматохой, какие-то неизвестные личности прямо на глазах у красногвардейцев стали растаскивать из саней груз — японские винтовки и пачки патронов. В возникшей давке конвоиры не решились и не могли пустить в ход оружие. Да этому воспрепятствовала бы гражданская милиция, которая только ждала сигнала Языкова.
К счастью, подоспела еще горсточка красногвардейцев, и порядок был восстановлен. Публику оттеснили. На передних санях, возвышаясь над толпой на целую голову, стоял знакомый Логунову боцман и зычно распоряжался.
— Так их — в печенку, селезенку, деву Марию... — Он продолжал виртуозно ругаться, а вокруг восхищенно замирали знатоки жанра.
— Ну и кроет, стервец! — сказал кто-то.
Ругань боцмана остудила чрезмерно разгорячившиеся головы. Он, видно, на это и рассчитывал.
— С дороги. Прочь с дороги! — кричали ободрившиеся конвойные.
Арестованные, а за ними и обоз двинулись дальше.
— Что это у вас происходит? Я ничего не пойму, — спросил Логунов, шагая рядом с боцманом.
— Да вот контрам здешним дружки с той стороны подкинули обоз. А наши перехватили его. Арестовали субчиков, — стал рассказывать боцман, одновременно зорко поглядывая по сторонам. — Видал, какие тут штуковины? — Он на ходу нагнулся к саням, выхватил из ящика винтовку, мягко клацнул затвором. — Обрати внимание, густая фабричная смазка. Значит, прямым рейсом сюда доставили.
— А при чем здесь японцы?
— Вот это я и хотел бы знать! Чего они лезут? — Последовал так называемый «малый боцманский загиб». Отведя душу, он продолжал: — Ловить рыбку в мутной воде хотят. Языкова допросить, так небось скажет. Хотя — нет. Он сегодня нахальный. Послушай, Языков, какого черта ради затеяли вы канитель? — прибавив шагу, спросил он у арестованного.
Тот с веселой наглостью бросил:
— Доживешь до утра — узнаешь.
— Ты сам доживи, курва! — и к удовольствию конвоиров моряк с ритуальной точностью без запинки выпалил «большой боцманский загиб».
— Ну ты и матерщинник! — уже серьезно сказал Языков.
— Отдали бы тебя мне в науку — научил бы... — мрачно пообещал боцман. — Ладно. Теперь сами доведем. Ступайте, ребята! Спасибо.
Присоединившийся к конвоирам красногвардейский отряд скорым шагом двинулся к телеграфу. Логунов пошел с ними.
В аппаратной скучали три дежурных телеграфиста, стрекотал «морзе» и ползла бесконечная лента тире и точек.
— С Хабаровском работаете? — спросил Логунов.
— Вся связь на Приморье идет через нас, — охотно ответил молодой телеграфист.
Два других косо поглядывали на Логунова и на красногвардейцев, занявших места у окон.
— Ребята, ведь вас с улицы прекрасно видно. Пальнет еще кто, — сказал Логунов. — Что за новости передавали сегодня? — продолжал он затем свой разговор с телеграфистом.
Тот бегло посмотрел записи.
— Пожалуй, вас это мало обрадует, — с усмешкой заметил он. — В Бресте подписан мир с немцами. Принят их ультиматум. Позавчера кайзеровские войска заняли Киев. Через станцию Куэнга проследовал экспресс, которым едут из Петрограда во Владивосток миссии иностранных держав. — Продолжая листать дальше записи, он говорил: — Дутов бежал из Оренбурга, но это было на прошлой неделе... А вот как раз для вас!.. Избран Сибирский Совет Народных Комиссаров. Председатель — Шумяцкий. Комиссар по военным делам — Лазо.
— Извините, — перебил подошедший пожилой телеграфист. — По правилам мы не можем знакомить посторонних лиц с перепиской.

Логунов спустился вниз и на лестнице встретил солдата, того самого, с которым они днем разгоняли эсеровский митинг.
— Вот что, дружок. Дело-то плохо, — сказал тот встревоженным голосом. — На улицах казачня. Подняли их по тревоге. Собираются возле войскового правления. Потребовали отпустить Языкова и задержанных японцев.
— Ну и что?..
— Отпустили. Говорят, не стоит гусей дразнить, — солдат махнул рукой.
— Тогда я побежал в Совет, — сказал Логунов.
Чувство тревоги еще больше охватило его, когда он вышел на улицу. Возбуждение заметно усилилось. В свете редких уличных фонарей мелькали фигуры вооруженных людей. На рукавах у них белые повязки, хорошо заметные в темноте. По улице во всех направлениях скакали конные. «Эге, да тут все делается по расписанию», — подумал Логунов, прибавляя шагу и стараясь держаться в тени домов.
Было около девяти вечера, когда раздался первый выстрел. Народу на улицах сразу поубавилось.
Где-то недалеко во дворе отчетливо звучала команда на чужом, нерусском языке. Знакомо звякнули примкнутые штыки.
«Полундра!» — сказал себе Логунов и сунул наган в карман шинели, грея ладонью шершавую рукоятку.
К счастью, было темно, и на Логунова не обратили внимания. В пять минут он пробежал расстояние до поворота к зданию Совета. Оттуда доносился гул голосов.
Вдруг кто-то дернул его за руку и увлек к калитке.
— Тихо, браток! Не шуми, — сказал над ухом знакомый голос боцмана. — Гляжу, топаешь... прямо чертям в лапы.
— Я в Совет.
— Поздно, браток! Эх, разрази меня японский бог с царскими жандармами! Куда глядел, старый дурак? Сотню линьков по николаевской плепорции за это, — шепотом корил он сам себя, прислушиваясь к выстрелам.
— Значит, мятеж? — сообразил Логунов. Он был ошеломлен таким неожиданным развитием событий.
— Да, захватили нас, как кур на насесте. — Боцман выругался свистящим шепотом. — Похватали работников Совета. Арестовывают делегатов крестьянского съезда.
— А Мухин? — спросил Логунов.
— Взяли и его, — продолжал боцман. — Да есть в городе пролетариат! Он Советскую власть в обиду не даст. Что, наши еще на телеграфе? — быстро спросил он, осененный какой-то новой мыслью.
— Я уходил, были там.
— Добро. Слушай, — сказал он тоном приказа. — Тут в соседнем дворе пара коней в санках. Должно быть, в случае неустойки хозяин в Сахалян собрался мотнуть. Ну, разумеешь? Надо наших предупредить в Астрахановке. С утра пусть двинут как следует по затылку этой сволочи. И как бы казачня сама туда не кинулась, — тут же высказал он свое опасение. Привлек Логунова поближе к себе и стал шепотом объяснять ему, как следует ехать, чтобы избежать казачьих застав.
— Скажешь Марку Варягину: пусть действует по обстановке. В оба глядеть. Еще запомни: хотели мы с Никанорычем в последнюю минуту поднять 2-ю батарею, провод казаки оборвали. Не исключено, возьмут они пушки. Тогда вся надежда на «Орочанина».
— Про вас спросят... что сказать?
— Скажи, что дерусь, — ответил боцман без промедления. — Тут к утру заваруха начнется. Вот телеграмму отбить бы в Хабаровск, — добавил он озабоченно и двинулся в темноту. — Пошли. Некогда прохлаждаться...
Через короткое время ворота распахнулись, и Логунов на доброй парной упряжке вихрем вылетел из двора на улицу. Санки на повороте сильно качнуло; Логунов ногой оттолкнулся от земли и выровнял возок.
Кони распластались над темной, едва мелькающей внизу дорогой.
— Стой! Стоо-ой! — послышалось сзади.

Вдогонку за санями кинулся подвернувшийся, как на грех, казачий патруль. Из дверей особняка выбегали во двор вооруженные милиционеры.
Боцман оказался между теми и другими. Ему не составило бы труда скрыться, но он в эту минуту не думал о своей безопасности.
Едва передний казак, низко пригнувшись в луке седла, поравнялся с воротами, как боцман поднял маузер и выстрелил в коня. Всадник кубарем полетел через голову. Боцман двумя выстрелами подряд ссадил еще одного казака и, петляя, побежал по тротуару.
Казаки и выскочившие со двора милиционеры открыли по нему огонь. Пули сердитым роем свистели вокруг боцмана, но он был как заговоренный. Он кидался из стороны в сторону, чтобы помешать прицельной стрельбе, и быстро подвигался к перекрестку, за которым думал найти спасение.
Привлеченные выстрелами, его многочисленные противники с трех сторон сбегались к этому же перекрестку. Едва боцман показался в неверном свете уличного фонаря на углу, как по нему с близкого расстояния ударили залпом. Ему прострелили ногу.
Превозмогая боль, боцман добрался до дверной ниши, прислонился спиной к настывшему камню и, понимая, что ему уже не уйти от преследователей, стал отстреливаться. Трудно было рассчитывать, что в этом буржуазном квартале кто-то придет ему на помощь. Он все же оттянул время и еще добрую четверть часа держал казаков на почтительном расстоянии, пока не расстрелял последнюю обойму. Боцман знал, что Логунову удалось уйти, и это доставило ему ту единственную маленькую радость, какую он мог еще испытать в своем очень трудном, безнадежном положении.
Еще несколько пуль попало в него. Он рухнул боком на каменные ступени.
Его били прикладами, пинали коваными сапогами, хлестали плетью по рукам и лицу. Он не издал ни звука, ни стона, только старался прикрыть холодеющими уже пальцами свои глаза, чтобы уберечь их и до последнего вздоха глядеть на белый свет. Нет, не думал он умирать, когда только начиналась настоящая жизнь! Да что поделаешь...
Очнувшись, боцман услышал разговор, будто за стеной. Потом он понял, что говорили над ним. Его оттащили с крыльца на самый перекресток, под фонарь. Боцман не хотел расставаться с жизнью, трудно умирал, и эти люди, его убийцы, с жадным любопытством хищных зверей забавлялись его страданиями и терпеливо ждали конца.
Есть в агонии минута, когда жизнь делает последнее усилие в борьбе со смертью. Сознание умирающего на короткий миг проясняется. Наступила такая минута и для боцмана. Будто свежим морским соленым ветром повеяло над ним и где-то далеко на рейде четыре раза пробили склянки.
Прямо перед ним громоздились широко расставленные ноги в армейских обмотках, повыше виднелась склоненная немного голова с косым разрезом глаз и черными острыми зрачками. Это лицо он видел ясно, а вот другие лица, их было много, — плавали в тумане. «Японец, а те — казаки», — догадался боцман, испытывая сейчас единственное желание повернуться на бок.
Что-то мешало ему лежать, будто подсунули под него булыжник-кругляк. Подобрав перебитые ноги, боцман медленно опустил к поясу руку и, напрягаясь станом, повернулся. Лица исчезли с поля зрения и остались лишь ноги — в обмотках, хромовых сапогах и гимназических брючках навыпуск. Целый лес ног.
Глухо гудели над ним голоса: так плещется за бортом корабля портовая зыбь.
Да, пора ему отчаливать в дальнее плавание.
И тут боцман догадался, что так мешало ему. «Ага! Ждете конца... Будет конец», — подумал он почти весело. И снова задвигал руками, поворачиваясь ничком к земле, будто надоели ему до крайности начищенные до нестерпимого блеска офицерские сапоги.
— Эк его корчит, — сказал кто-то над ним.
— Сейчас подохнет, — заметил другой.
Эти слова боцман услышал явственно.
«Сейчас. Сейчас», — рука его сделала последнее усилие и выскользнула из кармана. Громко стукнул о зубы металл. Боцман повернулся и, прежде чем стоявшие над ним его враги успели сообразить, что происходит, — рванул зубами кольцо мильсовской гранаты.
— Полундра! — торжествующе крикнул он, а может быть, только подумал.
И все исчезло в ослепительном взрыве.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Савчук вернулся поздно, усталый, и сразу повалился на кровать. Засыпал он по фронтовой привычке мгновенно. Однако вскоре его разбудила мать. Кто-то тяжелым кулаком нетерпеливо дубасил в дверь.
— Ваня, к тебе, должно быть. Только ты дверь-то сразу не открывай. Спроси, кто. Слышишь, Ваня... спроси, — встревоженным шепотом говорила Федосья Карповна. Ей сразу вспомнилось, что недавно вот также среди ночи постучались к старшему милиционеру Силантьеву, и, когда тот открыл дверь, его уложили возле порога тремя выстрелами в упор.
— Зажгла бы ты, мать, свет, — сонно сказал Савчук, ощупью разыскивая валенки, прислоненные для просушки к печке.
Он вышел, не спрашивая отодвинул засов.
— Это я, Супрунов. — Стучавшийся вошел в темные сенцы и, понизив голос, продолжал:
— Беда, Иван Павлович! Казаки восстали... в Благовещенске. Заарестовали Совет.
— Эх, черт! — С Савчука мигом слетели остатки сна. В неотапливаемых сенцах было морозно, и он, поеживаясь от холода, открыл дверь в комнату. — Проходи, Гордей Федорович. Как это случилось?
Федосья Карповна чиркнула спичкой, зажгла лампу. Супрунов у порога веником обмел снег с валенок, снял шапку, поздоровался с хозяйкой.
— Подробностей не знаю. Сказали в двух словах и послали к тебе. Чтобы сию минуту, говорят, был в штабе.
Савчук одевался с той четкой быстротой, которая обнаруживала кадрового военного, привыкшего ко всяким неожиданностям.
— Значит так, Гордей Федорович: я побегу в штаб, а ты по квартирам подымай народ. Чтобы к утру батальон был в полной походной форме. Сдается мне, надо выручать благовещенцев.
— Да уж если такая оказия, как не выручить.
— Господи, опять война, что ли? — сказала Федосья Карповна, с возраставшей тревогой глядевшая на сборы сына.
— Ну какая там война! Покажем казачишкам кулак, они и разбегутся по станицам, как суслики в норы, — с деланной веселостью заметил Савчук. Но тут же понял, что мать этим не успокоить. Уже другим тоном он добавил: — Конечно, ничего серьезного там нет. А пару бельишка ты мне собери. Может, в баньке попаримся.
— Соберу, Ваня, соберу, — с тихой покорностью сказала Федосья Карповна.
— Я еще забегу, — Савчук заправил шинель и вышел следом за Супруновым.
Федосья Карповна метнулась за ними, но услышала, как со стуком отворилась дверь из квартиры Петровых, и остановилась. Дарья о чем-то спросила Савчука, он коротко ответил. Затем, поскрипывая снегом, он торопливо прошел мимо окна. Федосья Карповна пошатнулась, ухватилась рукой за косяк, да так и осталась стоять, пока не затих скрип его шагов.
В краевом военном комиссариате светились все окна. У подъезда фыркали оседланные кони. По тротуару вдоль здания ходил часовой.
Дежурный, увидев Савчука, коротко бросил:
— В пятую комнату, Иван Павлович.
Савчук лихо взбежал по лестнице. Перед самой дверью он замедлил шаг, вздохнул поглубже, не глядя, привычным движением руки проверил, в порядке ли шинель, ремень, как делал это на фронте перед тем, как войти в блиндаж к командиру полка.
Первое, что он увидел, отворив дверь, были спокойные, внимательные глаза Потапова. Савчук знал, что Михаил Юрьевич в последние дни хворал, лежал дома, но нисколько не удивился, встретив его сейчас здесь.
— Командир батальона грузчиков Савчук! — громко, по уставной форме отрапортовал он.
— Здравствуйте! Сбор батальону объявили? — спросил Потапов.
— Так точно.
— Хорошо. Садитесь пока, с вами займемся позднее. Имейте в виду, товарищи, от быстроты движения эшелонов зависит многое, — продолжал он прерванный разговор с

двумя железнодорожниками. — Так, паровозы есть?.. Ладно. А дрова? С водоснабжением как?.. Я бы на вашем месте послал телеграмму на линию. Надо обратиться к рабочим прежде всего.
Савчук отошел к группе командиров, собравшихся в углу возле незнакомого ему бородатого человека в кожаной куртке. Все слушали его с большим вниманием.
— Гамов, конечно, демагог, но демагог опасный. Раз он решился на такое дело, путь ему один. Придется драться, товарищи, — говорил он, постукивая пальцем по футляру маузера, лежавшего на коленях. — За него кто? Эсеры и меньшевики, золотопромышленники безусловно, казаки-стодесятинники. А область в целом за Советы, это крестьянский съезд показал. Выходит, кашу они заварили, да им же и расхлебывать.
— Выходит, проморгали вы там. Факт! — сказал Савчук, не разделявший чрезмерного оптимизма благовещенского товарища.
Человек в кожанке усталыми от бессонницы глазами посмотрел на Савчука.
— Возможно и так. Когда я уезжал, трудно было предположить, что дело примет такой оборот. Но что спорить об этом сейчас? Теперь там крови прольется не знаю сколько, — тихо сказал он и вздохнул, подумав о своей семье. — Мухин в Совете вел правильную политику, я нисколько не сомневаюсь. Отчего казачье и взбесилось. Почувствовали, что их к рукам прибирают.
Он не докончил, так как его в это время позвали к военному комиссару. Туда же ушел и Потапов, отпустив железнодорожников.
Сведения из Благовещенска пока были отрывочные и очень неполные. Видно, штаб принимал меры, чтобы поскорее выяснить обстановку и затем действовать в соответствии с нею. Было известно, что в городе продолжается бой. На его улицах рабочие-красногвардейцы дрались с казаками. Кто-то высказал предположение, что, может, благовещенцам самим удастся подавить мятеж.
— Да-а, хорошо бы! А нам — по домам. Спать хочется, черт побери, — сказал с зевком сосед Савчука. — Ага, вот кто нас, грешных, просветит! Что нового, товарищ Разгонов? — продолжал он, поворачиваясь вместе со стулом к дверям.
— Хорошего мало. А где Михаил Юрьевич, не скажете? — Разгонов зашел с бумагами, вид у него был строгий и озабоченный. Среди работников комиссариата он выделялся своей подтянутой фигурой и щегольской выправкой. Зеленый английский френч с карманами был пригнан по нему, синие брюки-галифе умеренно широки, а зеркально-черные сапоги чуть поскрипывали. Он был побрит, свеж и бодр. — Какие новости? Наконец удалось наладить связь с Астрахановкой, — продолжал он тем же озабоченно-деловым тоном, поколебавшись между желанием уйти и остаться. — Но город нам придется оставить, ничего не поделаешь. Перевес сил у Гамова. Наши отходят к этой деревне, к Астрахановке. Канонерская лодка оттуда бьет по Благовещенску. Но что особенно неожиданно: в рядах повстанцев действует рота японцев. Каково, а? — и Разгонов со значительным видом посмотрел на Савчука.
— Что за чушь? Откуда там японцы?
— Должно быть, вооружили резидентов. Их ведь полно в наших городах, — снисходительно пояснил Разгонов, довольный произведенным впечатлением. Сам он мало задумывался над значением сообщенных им фактов. — Или резиденты, или перебросили воинскую часть через Маньчжурию.
— Да нет, не может быть. Поднапутали там со страху.
— А резидентов тут у них действительно чертова уйма. Неспроста такой наплыв японцев в наш край. Вспомните, товарищи, недавнее прошлое... Порт-Артур.
— Позвольте! Тогда мы стоим перед фактом интервенции?..
— А какое они имеют право вмешиваться?.. Вот уж наглость!
— Насчет японцев запросили вторично. Ждем подтверждения. Это самая неприятная новость. Но пока — секрет, имейте в виду, — сказал Разгонов и удалился, солидно поскрипывая сапогами.
Пока они обсуждали новость, подошло еще несколько командиров. Прибыла группа моряков с Амурской флотилии.
— Эге! Подбирается солидный народ, — заметил Потапов, появляясь наконец в комнате. Он окинул взглядом собравшихся. — Все здесь? Тогда, товарищи, проходите в зал, на

совещание. А ты, Алеша, — обратился он к вошедшему за ним Дронову, — ты, Алеша, садись за телефон и достань сюда живым манером интендантов. Ладно? — и он тоже вышел вслед за Савчуком и другими командирами.
Савчук так и не выкроил времени, чтобы забежать домой — попрощаться. Утро и первая половина дня прошли в непрерывных хлопотах, сборах. Надо было проследить за получением снаряжения и боеприпасов, вырвать у интендантов несколько полушубков для тех, чья собственная одежонка окончательно прохудилась. Подготовить к отправке батальон оказалось куда труднее, чем поднять по тревоге находящуюся на казарменном положении воинскую часть. Вдобавок Савчука задержали на оперативном совещании в штабе; на вокзал он прибыл почти перед самой посадкой в эшелон.
На перрон Савчук прошел не через здание вокзала, куда в это время валом валили подошедшие в строю моряки-амурцы, а через калитку, которой обычно пользовались весовщики товарного двора. Тут, в закоулке, на него едва не налетел высокий, франтоватый с виду боец из его батальона. Он буквально остолбенел, увидя Савчука.
— Ты куда? Сейчас посадка будет.
— Я... я... Я по... по нужде, — выдавил из себя наконец боец, растерянно моргая и стараясь не смотреть на командира.
Савчуку сразу все стало ясно.
— Вот ты как! В кусты... — сказал он, посмотрев на него с недоброй усмешкой. — Ну валяй, парень. Только гляди — не падай. Упадешь — стопчут.
— Да я... господи! Кабы не один в дому... мать-старушка.
— Молчи, гад! Молчи. Мать не знает, какого сукиного сына родила. — Савчук сильной рукой ухватил бойца за ворот пальто и притянул к себе. — Запомни: за дезертирство расстрел. Могу сейчас поставить тебя к стенке. Понял? Ну? — И он опять рванул его за ворот так, что затрещали и полетели прочь пуговицы. — Эх ты, хлюпик! — сказал он затем с бесконечным презрением и оттолкнул парня от себя. — Давай сюда винтовку! Сымай пояс... Та-ак. И катись к чертовой матери! Уходи с моих глаз, пока я не передумал...
Так, с отобранной винтовкой и поясом с подсумками, Савчук вышел на перрон. Инцидент с дезертиром сильно расстроил его и огорчил. Савчук с беспокойством подумал о том, что за хлопотами сборов не успел поговорить с людьми и что впереди, наверно, его ждет еще не одна такая неприятность.
— Гордей Федорович, забери это в вагон. — Савчук, ничего не объясняя, сунул в руки подбежавшему с рапортом Супрунову подсумки и винтовку. — Списки наличного состава у тебя?
— Э, списки... Кто есть, тот — здесь. Разве что для учета трусливых? Так не больно нужны, — Супрунов пренебрежительно махнул рукой.
— Порядок должен быть. Понял? Списки составь сейчас же, как тронемся, — сурово оборвал его Савчук и пошел дальше, зорко примечая все: и как обуты, одеты бойцы, и сколько подсумков с патронами у каждого, и как кто глядит, как держится в эти последние минуты перед посадкой в вагоны.
Красногвардейцы его батальона и других частей, отправляющихся с первым эшелоном, стояли в шеренгах спиной к вагонам. Ждали начала митинга и посадки. С короткой речью выступил Потапов. Он сжато обрисовал обстановку в крае, где к этому времени Советская власть установилась повсеместно. Охарактеризовав Гамова и его программу восстановления власти буржуазии, Потапов призвал одним ударом покончить с поднявшей голову контрреволюцией. Несколько слов от грузчиков сказал Игнатов, перепоясанный крест-накрест пулеметными лентами. Затем на бочку, с которой говорили ораторы, вскочил матрос из подошедшей команды.
— Товарищи красногвардейцы... даешь Благовещенск! — прокричал он с молодым задором и взмахнул зажатой в руке бескозыркой. В шеренгах откликнулись дружным «ура».
— Батальон, кру-гом! По ва-го-нам! — гаркнул Савчук.
Посадкой распоряжался Супрунов. Савчук проследил немного за его действиями и отошел к Потапову.
— Через десять-пятнадцать минут двинемся, Михаил Юрьевич. Не было бы задержек в пути, — сказал он, присматривая все же одним глазом за посадкой. — А что, японцы в самом деле там выступили?

— Да-а, черт бы их побрал! Тем быстрее надо кончать с канителью, с Гамовым, — ответил Потапов; ему в его легком пальто было зябко. — За вами через час пойдет эшелон моряков. Потом отправим батарею, как подвезут снаряды. А ночью проследует состав из Владивостока. В Астрахановку едет представитель областного комитета — за ним общее руководство.
— Ладно. Это мы учтем, — сказал Савчук.
Потапов заговорил о том, что очень волновало его, — о судьбе благовещенских товарищей, жизнь которых находилась в крайней опасности.
— Федора Никаноровича надо вызволить. Вы это продумайте. В случае неустойки они могут ликвидировать тюрьму. А там почти весь областной исполком. Значит, операцию надо провести так, чтобы времени для таких дел не осталось. Вы меня поняли? — спросил он, приблизив свое лицо к Савчуку. — А задержек в пути я сам боюсь. Попрошу телеграфировать о таких случаях в краевой Совет. Вне всякой очереди.
— Пробьемся! Далеко ли тут?
Савчук зашагал к составу, давая знак старшему кондуктору, что можно отправлять эшелон. Но они простояли еще минут двадцать: что-то не ладилось с жезловым аппаратом.
2
Когда эшелон тронулся, Савчук забрался в головной вагон, попросил закурить; за куревом легко наладился разговор. Настроение у бойцов было хорошее, и у него постепенно отлегло от сердца.
На остановке он перебрался в следующий вагон. Там его и разыскал Супрунов, принесший списки.
— Пятерых я сам отпустил. Трое не явились на вокзал по неизвестной причине, — доложил он, смущенный несколько таким обстоятельством.
— Причина, положим, известная — труса празднуют, — усмехнувшись, сказал Савчук. — Запиши еще четвертого... Сукин сын, чуть винтовку не уволок.
Супрунов только головой покачал, — боец этот считался в числе самых надежных.
— Вот не подумал бы. На кого — грешил бы, а на него нет, — сказал он огорченно. — Какая это зараза, однако, — трусость. Надо было вернуть да постыдить перед всеми-то.
— Пес с ним! А вот морду ему зря не набил.
— Что ты, Иван Павлович?!
— А то... Очень даже круто буду расправляться за подобные дела. Пусть все знают, — повысил голос Савчук, в сознании которого дезертирство было едва ли не худшим из всех смертных грехов.
Супрунов тактично помолчал.
— Вижу, что ты закрутился, послал к Федосье Карповне, — сообщил он потом уже другим тоном. — Вот тебе от нее бельишко, с родительским благословением!
— За это спасибо, Гордей Федорович! Милый ты человек... Знаешь, давай поужинаем — и спать.
Савчук только сейчас почувствовал, как он измотался за день. Да и Супрунову досталось не меньше.
При свете огарка они съели по куску хлеба с вяленой рыбой, очень сухой и соленой, выпили по кружке чуть тепловатого чая. Чай им нацедил из своего чайника пожилой бородатый красногвардеец. Супрунов ушел сразу после ужина. Савчук не захотел искать лучшего пристанища, пересел на освободившееся место возле окна и прислонился боком к подрагивающей стенке.
Большинство бойцов в вагоне спало. Красногвардеец, угощавший Савчука чаем, забрал свечной огарок и поставил его обратно в фонарь. Стало почти темно. Савчук закрыл глаза. Но сон не шел к нему.
Вагон, в котором ехал Савчук, был старый, изъезженный; он скрипел, трещал, словно разваливался на части. Иногда его начинало так подбрасывать, что можно было подумать, будто на участке по ошибке шпалы положили поверх рельсов. Тем не менее поезд — дребезжа, скрипя, шатаясь — бойко бежал вперед, покрикивая у семафоров.
На разъездах к ним подсаживались поодиночке и группами вооруженные железнодорожники, солдаты-фронтовики из ближних деревень, приискатели, охотники.

Ночью людей в вагоне набралось столько, что Савчуку уже трудно было разобрать, где свои, грузчики, а где — «чужие».
Вся область поднялась. Все, кто мог держать оружие, кто имел его, устремились в Благовещенск — туда, где выявилась опасность для Советской власти. Молодая, только что возникшая народная власть оказалась такими тесными узами связанной с этими простыми людьми, рабочими и крестьянами, что ради нее они без колебаний готовы были идти на нелегкое ратное дело, на смерть.
Кто-то из красногвардейцев на очередной остановке безуспешно попытался задержать этот неожиданный и грозный поток.
— Куда прешь? Тут воинская часть, не видишь?
— Воинская?.. Это нам в самый раз. Принимайте пополнение! — весело сказал кто-то на перроне и распорядился: — Сюда, хлопцы. Залезайте.
Вагон заметно качнуло: видно, несколько человек сразу полезли на подножку.
— Места нет, говорю. Ступайте в другой вагон!
— Пусть входят. Не мешайте там, — крикнул Савчук.
В вагон протиснулись высокий старик с рыжей бородой и четыре парня, одинаково рослых, широкоплечих и чем-то неуловимо похожих друг на друга.
— Размещайся, ребята. В тесноте, да не в обиде, — сказал старик. Красногвардейцы потеснились, и он присел на краешек скамейки. Савчуку с места были видны лишь борода старика да его руки с узловатыми пальцами, крепко державшие берданку. — Все мое семейство здесь, мужчины то есть. Трое — солдаты, Меньшой — не успел, да Митя у нас парень ловкий. Чего ему дома с бабами сидеть? В два счета собрались — едем. Одна беда — ружья у Мити нет. Крепкие руки да голова с соображением, — продолжал старик, хотя его об этом пока никто не спрашивал. — А вы из города?.. Вот оно ка-ак... Громада! Двинулась Россия-матушка...
А поезд уже катил дальше. За шумом и скрипом Савчук больше не мог следить за разговором. До него долетали лишь отдельные слова. Скоро его начало опять клонить в сон. Поезд дергался, качался; в такт ему качались и люди, наваливались один на другого. На дремлющего Савчука наваливался здоровенный боец. Он спал, посвистывая носом, клевал им в плечо Савчука и изредка невнятно бормотал что-то. Савчук отодвигался сколько мог в угол, но парень снова приваливался к нему и сладко-сладко всхрапывал. Савчук еще некоторое время боролся со сном: думал о своем батальоне, прикидывал, где и как разместить людей, когда они прибудут на место, и кто из необстрелянных бойцов может плохо повести себя в бою. С этими мыслями он незаметно уснул.
Проснулся Савчук оттого, что кто-то неосторожно наступил ему на ногу.
Поезд стоял; голоса людей слышались явственнее, не было все заглушающего шума и лязга. За стеной вагона кто-то торопливо бежал вдоль состава, громко топая коваными сапогами по перронному настилу.
— Завитая. Воду будем брать, — негромко заметил старик.
Чиркнула зажигалка. Колеблющееся пламя осветило задумчивые серьезные лица. В вагонной полутьме огни цигарок похожи на летящие за окном искры.
«Да, молодцы железнодорожники. Ходко идем!» — подумал Савчук и вспомнил, как недавно по этой же дороге он возвращался с фронта и как медленно тащился тогда поезд. Он стал прислушиваться к разговору в соседнем купе.
— Порознь, в одиночку, мы ничто, но все вместе уже многое. Сто малых — один большой, — убеждающе говорил бойкий тенорок за стеной.
— Верно. Согласен я, — густым басом откликнулся кто-то другой.
— Тише, Осип. Людей побудишь, — вмешался третий.
— Ладно. Голос у меня такой, — извиняющимся тоном пророкотал бас. — Всем заодно. Против этого не спорю. А с чем не согласен, так не согласен. Говоришь, учиться у господ? Чему? Как людей обманывать? Нет, уж я лучше неучен буду — своим умом проживу.
— Да зря ты, зря фыркаешь. Есть чему — учись хоть у самого черта. Отчего же не поучиться и у буржуя: хорошее бери, плохое — в сторону. Наука, в сущности, создана для облегчения жизни человеку. Только они приспособили ее по-своему.
Кто-то зашуршал бумагой, чиркнул спичкой. В вагоне плавал густой табачный дым, присутствие которого ощущалось по горечи во рту.

— А что, Викентий Александрович, загробный мир есть или нет? — спросил затем тот человек, что недавно призывал к тишине. — Или то поповская выдумка?
— Выдумка. А также от незнания действительных законов жизни и происхождения ее, — убежденно, но несколько туманно ответил тенорок. — Рай мы сами построим на земле, а ад был в прошлом — он никому не нужен. И суеверия нам теперь ни к чему. Попы поддерживают версию о загробной жизни чисто из корыстных интересов. Требы разные, службы — вот копейка к ладоням и липнет.
— Липнет, густо липнет, — подтвердил бас. — Я одно лето в монастыре сено косил. Ну, это братия... Эти обдерут тебя яко липку. В Шмаковке монастырь-то.
— А я и плохую земную жизнь на загробный мир не променяю. К чему? — засмеялся тот, кто начал разговор. — Или девок на свете мало? Жить, братцы, хорошо! Только жениться не надо лет, скажем, до тридцати.
— Почему? — спросил тенорок. — Женятся в ранние годы и тоже бывают счастливы... Встретится хорошая женщина...
— Да как ее угадать! Женщина в девках чисто ангел, а замуж выскочит — ведьмой становится. Отчего так, а?
— От нелегкой жизни и мужской подлости, — отрубил бас, будто поставил точку.
За окном в третий раз ударил колокол. Вдали загудел паровоз, дернул вагоны, не взял, дернул снова и, словно озлившись, рванул так, что с верхних полок сразу посыпались вниз дремавшие там люди, ругаясь и кляня машиниста. Человек, лежавший на полке над Савчуком, удержался на месте, так как успел упереться рукой в противоположную полку, его борода свесилась над проходом.
— Поизносились паровозики... — беззлобно произнес он.
Савчук хотел пройти по вагону, да жаль стало крепко уснувшего у него на плече парня. Во сне тот потянулся, зачмокал губами. «Эх ты, намаялся! — с сочувствием подумал Савчук. — Ну, спи. Может, в последний раз». И самому стало неприятно от этой мысли.
Он вспомнил о Дарье. В последние недели Савчуку некогда было по-настоящему задуматься над их отношениями. Все у них как будто определилось и все по-прежнему было неопределенным. Петров у себя совсем не показывался, видно, Дарья, как обещала, все рассказала ему. Но и открытого разрыва между ними еще не было. Савчук из-за этого чувствовал себя в очень двусмысленном положении. Хуже всего было то, что ходить к Дарье ему приходилось почти что на глазах у матери. Федосья Карповна, которая не знала, как глубоки и чисты их отношения, стала заметно суше обращаться с соседкой; сыну она ничего не говорила, но он часто ловил в ее глазах осуждение и страдал от этого.
«Видно, я сам виноват. Хожу, милуюсь, вздыхаю, а надо твердо ей сказать: «Вот, милая, прибивайся окончательно к моему берегу. Переходи к нам жить». Ведь Дарья сама этого не скажет, не может сказать, — думал Савчук, проникая сейчас в суть их так ненужно осложнившихся отношений. — А будем вместе жить — и мать поймет. Люблю ли я Дарью? — спросил он себя и ответил: — Никто мне не нужен, кроме нее».
Савчук решил, что, как вернется из Благовещенска, первым делом урегулирует свои отношения с Дарьей.
— Женюсь, и баста! — сказал он вслух и сконфузился от этого. Но в грохоте движущегося поезда никто его слов не расслышал.
Солнце смотрело в окна вагона, когда пулеметчик Игнатов разбудил Савчука.
— А здоров же ты спать, Иван Павлович! Али сны хороши?
— С вечера долго не спалось. — Савчук продрал глаза, потянулся так, что хрустнули суставы. — Ото! Вот так храпанул...
Он чувствовал себя отдохнувшим, бодрым и готовым к действию.
Игнатов на скамье складным ножом открывал заржавевшую сверху банку консервов. Китаец Ван, весело поблескивая черными глазами, разливал в кружки горячий чай.
— Что, Василий, машина работает? — улыбаясь, спросил Савчук.
— Лаботай, лаботай, — ответил китаец, смягчая непривычный для него звук «р». — Моя казака не боись.
— За первого номера работает. Чисто, как бритва, — сказал Игнатов.
— Вот и добро. Спасибо, Василий. — Савчук принял из рук Вана кружку с чаем, не удержал, поспешно поставил на скамью и подул на пальцы. — Ч-черт! Горяч, оказывается.

Кто-то подал ему свой сахар; откусывая его мелкими кусочками, Савчук громко прихлебывал чай из кружки и наслаждался.
Почаевав как следует, он прошелся по вагону, осмотрел внимательно подсевших к ним ночью людей. Это был народ крепкий, бывалый. Преобладали солдаты-фронтовики. Савчук выделил среди них светловолосого румяного юношу с чистым, почти женским лицом, но широкого в плечах и груди.
— Что же, Митя, ружья-то нет? Как воевать будешь? — спросил он, догадавшись, что это и есть четвертый, младший сын рыжебородого таежника.
— А как придется. Я за другими следом, следом. Глядишь, и подберу ружье-то. Говорят, на войне ружья так запросто валяются, — простодушно и без тени смущения ответил парень.
— Ружья-то валяются, да и головы тоже, — пробормотал Савчук. Ему вдруг жалко стало, что вот такой молодой парнишка пойдет под пули. «А пойдет, не струсит», — подумал он, проникаясь уважением и к старику и к его сынам.
Вырвав листок из записной книжки, он нацарапал карандашом несколько слов.
— На остановке ступай в пятый вагон, спросишь Супрунова Гордея Федоровича. Получишь винтовку.
Парень с жадностью схватил записку, даже забыл поблагодарить.
Савчука же обступили другие, потянулись к нему со всех сторон.
— И что мне делать с вами, не знаю? — сказал он в раздумье. — Давайте решим так. Вы формируйтесь в отдельный взвод, а вольетесь в наш батальон. Ладно?
На том и порешили. Посоветовавшись с людьми, Савчук назначил взводным сельского учителя Черенкова, оказавшегося обладателем того самого тенорка, что еще ночью привлек внимание Ивана Павловича. Черенков показал себя человеком дельным и расторопным. Он в два счета составил списки, подсчитал наличное оружие, патроны. В 1915 году он был вольноопределяющимся в саперном полку, но затем по ранению вышел в белобилетники.
Себе в помощники Черенков выбрал старшего сына старика — Пахома Ивановича Крученых, молчаливого, но, видно, хозяйственного мужика и бывалого солдата. Его отец — Иван Васильевич — заметно был польщен таким выбором. Он давал дельные советы и довольно поглаживал бороду.
— Эх, жаль. Негде тут построиться по ранжиру. Куда мне стать? — громко сокрушался бас, тоже знакомый Савчуку с ночи.
Как же удивился Иван Павлович, когда увидел, что обладатель этого феноменального голоса — человек самой тщедушной внешности.
— Да вы ступайте на левый фланг. Крайним будете, без ошибки.
— Днем. А ночью меня на правый ставить. Казаков голосом пугать, — и он без натуги рявкнул на весь вагон: «Чел-ло-век он был такой, со святыми упоко-ой!»
— Го-го-го! Ха-ха-ха!
С верхней полки свесилась красивая чубатая голова с черными как смола волосами, удивленно поморгала глазами.
— А, жизнелюбец! Вон куда ты забрался, — сказал Черенков и поманил молодого человека пальцем. — Слазь, дружок, дело есть.
— А что, Викентий Александрович, разве подъезжаем? — лениво спросил тот и громко зевнул. Потом он, спружинив ногами, ловко спрыгнул в проход. — Эх, Осип, Осип, есть талант, да не тому достался!
— Вот неуемный, ей-богу! Минуту можешь помолчать? — заметил Черенков, с улыбкой глядя на парня. Видно, он давно знал его и любил, но сейчас говорил с ним строго официально: — У тебя, Афоничкин, какое оружие? Карабин?.. Патронов сколько?.. Еще имеется граната Мильса? Очень хорошо. Можешь теперь быть свободным.
Афоничкин пожал плечами и сел на скамью напротив Савчука.
— С приисков, что ли, ребята? — спросил Савчук.
— Ага. С каторги — старатели.
Среди приискателей учитель, видно, пользовался непререкаемым авторитетом. Савчук заметил это и был доволен, что остановил на нем свой выбор.
«Надо по другим вагонам людей тоже организовать. Вот и подмога нам будет», — подумал он и стал дожидаться остановки.

На маленьком полустанке он отдал необходимые распоряжения Супрунову и уже на ходу поезда заскочил в одну из последних теплушек. Здесь ехали бойцы других отрядов, и ему хотелось еще до боев познакомиться с ними.
— Привет, товарищи! — сказал Савчук, протискиваясь в узкую щель чуть откатившейся по пазам двери.
— Здорово, коли не шутишь.
— Закрой двери, вояка! — крикнули из глубины вагона.
Ближе к печурке, вокруг поставленного плашмя патронного ящика, сидела группа по-разному одетых людей и резалась в карты. Что-то в фигуре банкомета показалось Савчуку знакомым; он подошел ближе, и на него в упор уставились светлые, немигающие глаза Петрова.
— А, это ты, сосед? — холодно сказал он и прикупил себе карту.
Савчуку встреча с ним была вдвойне неприятна. Окинув взглядом теплушку, он сразу заметил, что людей в ней немного. Видно, не пускали сюда никого и ехали обособленной группой. А что это за компания, было нетрудно понять. «Вот чудеса! И анархисты, оказывается, с нами», — подумал Савчук с удивлением. Потом, поразмыслив, он уже не знал, радоваться или печалиться такому обстоятельству.
Петров выиграл и пододвинул к себе кучу серебра.
— Вот видишь, Иван Павлович, мне в карты везет, тебе — в любви. Каждому свое, — заметил он с тонкой насмешкой.
Возле них на разостланной газете лежали ломти хлеба, кусок надрезанной колбасы, стояли открытые консервы и две начатые бутылки с водкой. Петров налил полстакана, отрезал колбасы и протянул Савчуку:
— Пей!
— Спасибо. Не хочу.
— Пей! Или ты брезгуешь пить со мной? В начальство вышел... — Петров зло глянул на Савчука, но не выдержал его прямого, открытого взгляда.
— Ладно. Я выпью, — примирительно сказал Савчук.
Водка на него никак не подействовала. Петров же заметно хмелел, под хмельком была и вся компания.
«Эх, будет с ними мороки. И как ваши проморгали? Надо было сразу завернуть их обратно», — думал Савчук, ловя на себе любопытствующие, косые взгляды анархистов.
Трое самых дюжих боевиков расположились будто невзначай позади Савчука, у дверей.
— Еще выпьешь? Водки мне для тебя не жалко, — сказал Петров, посмотрел на Савчука и подумал: «Пули я тоже не пожалел бы».
Савчук во взгляде Петрова прочел скрытую угрозу. Мелькнула опасливая мыслишка: «Выбросят под откос, и никто не услышит». Потом он рассердился на себя за это: «Вот еще, стану я бояться всякой шушеры!» И так властно посмотрел на ощерившихся боевиков, что те как-то сразу стушевались.
— Загордился ты, видать, Иван Павлович. Больно высоко голову носишь, — продолжал Петров.
— Ты что же, ссоры ищешь? — спокойно спросил Савчук. — Так время неподходящее.
— Как там моя женушка поживает? Не скучает? — прищурясь, с нехорошей двусмысленной улыбочкой спросил Петров, не обратив внимания на слова Савчука.
Савчук отодвинул налитый снова стакан.
— Пить я больше не буду, — решительно сказал он. — И вам не советую. А будете безобразничать, отцепим вагон на первом разъезде.
— Ой, круто как берешь, — насмешливо протянул Петров. — А ходишь один, без охраны.
— Уж не вас ли бояться? — Савчук усмехнулся; он и в самом деле ни капельки не боялся, только презирал этих бахвалов и пакостников.
Перестук колес становился более редким, вагон покачивало на стрелках; поезд подходил к станции.
— Мелко вы плаваете, ребята. Сидеть вам в луже, коли за ум не возьметесь, — сказал Савчук, еще раз окидывая вагон внимательным взглядом. — Теперь можете открыть дверь.
На перроне он увидел новую группу вооруженных людей и тут же направил всех в вагон к анархистам.

— А вы не мешайте! — прикрикнул он на боевиков, и те расступились, освобождая проход.
Вечером эшелон с главной магистрали перевели на благовещенскую ветку. Пока стояли на узловой станции Бочкарево, Савчук узнал, что Благовещенск уже целиком находится в руках казачьих банд атамана Гамова. Отошедшие революционные отряды сосредоточивались в деревне Астрахановке, верстах в семи от города. Туда Савчуку надлежало привести и свой отряд.
Прицепили еще три вагона с каким-то снаряжением.
Ожидая отправления эшелона, Савчук ходил с Супруновым вдоль состава. Гордей Федорович жаловался, что у него ломит поясницу, к непогоде следовательно.
Небо действительно с трех сторон обложило тучами. Только там, откуда прибыл состав, над горизонтом еще мерцали две-три звезды.
Около полуночи повалил снег. Когда поезд тихо прошел по зейскому мосту и остановился на предпоследнем от Благовещенска полустанке, все вокруг тонуло в белесой мгле. Крупные белые хлопья снега медленно кружились в пространстве, освещенном тусклым светом одинокого фонаря; снег мягким пластом ложился на станционные пути, на крышу небольшого цинкового пакгауза и ветви деревьев. Ветра не было. На станции стояла удивительная тишина.
Спрыгнув с подножки еще до остановки поезда, Савчук зашагал по мягкому снегу к маячившему впереди на путях дежурному железнодорожнику. Вдруг глухой неясный шум пронесся в тишине над станцией. Савчук остановился, поднял голову и стал слушать. И опять тот же звук пронесся над его головой; Иван Павлович уже безошибочно привычным ухом различил звук далекого орудийного выстрела. Затем громыхнуло чуть посильнее. Звуки выстрелов чередовались почти с равными промежутками
Теперь выстрелы слушал не один Савчук; многие бойцы стояли возле вагонов и, подставив лица падающему снегу, прислушивались к далекой канонаде.
— Из трехдюймовых садят, — сказал подошедший Черенков.
— Гаубицы. Четыре с половиной дюйма, — поправил Савчук. — А это — морская пушка Канэ. Из Астрахановки отвечают.
Железнодорожник впереди замахал фонарем; паровоз без гудка тронул вагоны. Эшелон, набирая скорость, помчался сквозь ночь и пургу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Лошади бойко бежали по темным улицам Астрахановки мимо чернеющих за заборами домов. Кое-где в окнах светились огни. Снег перестал идти, небо понемногу стало очищаться от туч, засияло холодным блеском далеких звезд. Большая Медведица передвинулась, предвещая близкий рассвет.
По невнятному говору, скрипу ворот, хлопанью дверей в этот неурочный час и по десятку других почти неуловимых признаков Савчук понял, что село не спит, что оно и сейчас живет сложной, напряженной жизнью. Сразу дохнуло на него привычной фронтовой обстановкой.
Сколько недель и месяцев провел он в таких вот затаившихся в ночной темноте, насторожившихся деревушках — польских, литовских, белорусских, украинских; деревушках, где каждый дом, каждый двор переполнен дремлющими вповалку усталыми солдатами; где одинокая старушка хозяйка или обремененная детьми солдатка, не смыкая глаз, слушает разноголосый храп, стоны, ругань, вздыхает, думая о своем сыне или муже, который вот так же коротает где-нибудь недолгую солдатскую ночь. А утром сунет она кому-либо из ночевавших в избе солдат последнюю кринку молока и незаметно осенит уходящих крестным знамением. Кто-кто, а уж Савчук знал, как глубоко затрагивает война жизнь народа.
— О Мухине что-нибудь известно вам? Как он сейчас? — спросил Савчук у едущего с ним в санях представителя астрахановского штаба. То был расторопный парень из фронтовиков. Он встретил эшелон на полустанке и дал указание, куда двигаться после выгрузки. Измученный за трое бессонных суток, убаюканный монотонным скрипом полозьев и покачиванием саней на раскатах, парень незаметно для себя начал дремать. Савчуку пришлось толкнуть его в бок и повторить вопрос.
— А! Что?.. Мухин в тюрьме, — сказал он, поняв наконец, что хотел узнать его спутник.

— А другие члены исполкома?
— Тоже в тюрьме, — хмуро отвечал тот, недовольный, что его разбудили. — Кто уцелел, тот здесь. Многих ведь убили прямо на улицах. Это же зверье. Осатанели...
Последние слова он договаривал уже сквозь сон, не в силах противиться ему. Савчук понял его состояние и не стал тревожить вопросами. Он поглядел на темную спину сидевшего впереди возчика, затем подумал о том, что батальон теперь, наверно, тоже подходит к околице села. Савчук лишь ненамного опередил бойцов, намереваясь осмотреть отведенные им помещения.
Пока эшелон разгружался да строился, артиллерийская канонада внезапно оборвалась, будто обе стороны одновременно израсходовали весь боекомплект. Кругом опять стояли мрак и тишина.
Улица повернула и вышла на берег Зеи; справа с некоторыми разрывами еще тянулись дома Астрахановки, с левой же стороны чернели редкие тальники. Далее, за небольшим островком, простиралась ровная гладь реки. В ночной темноте широкая, покрытая снегом Зея совершенно незаметно переходила в знаменитые амурские степи — в простирающуюся отсюда на сотни верст плодородную равнину со многими десятками богатых хлебных сел. Сейчас ничто не выдавало их присутствия: ни накатанная дорога, ни чернеющие среди снегов постройки, ни огонек. Может, он где-нибудь и горел на краю этой беспредельной заснеженной степи, но как его отличить среди множества тихо мерцавших над нею звезд?
— Тпру! Стой!.. Приехали. — Возчик остановил лошадь у какого-то длинного строения. Рядом виднелось еще два-три дома с хозяйственными постройками. Где-то загремел цепью, залаял дворовый пес.
Толчок при остановке и громкий голос возчика прервали сон спутника Савчука. Он открыл глаза и почти одновременно с Савчуком выпрыгнул из саней.
— Вот эти дома и занимайте! Тесновато, но зато все вместе будете, — сказал он неожиданно свежим и бодрым голосом, будто и впрямь успел выспаться за эти несколько минут. — Впрочем, сарай тоже можно приспособить под жилье. Днем посмотрите. А скотину — на баз, черт ее не возьмет. Живут тут молокане, мужики крепкие. У них и снегу зимой даром не выпросишь. Вы с ними не очень-то церемоньтесь. Это та же контра, — продолжал он, понизив голос. — Они, как видите, и поселились отдельно. Хуторком.
Приминая мягкий мартовский снег, они прошли немного по дороге. Постояли на крутом яру. К этому времени небо очистилось. Четвертинка луны бледно озаряла снег, дорогу, кусты.
— Имейте в виду: впереди только застава. Вон в тех домиках, — показал в заключение представитель штаба. Но как Савчук ни напрягал зрение, никаких домиков не увидел. Он постарался, однако, запомнить направление. — У нас с ними телефонная связь. Моряки провод протянули. У них там артиллерийский наблюдательный пункт. Если казаки нагрянут, вам первыми драться. Так что будьте начеку.
— Ладно. Я это приму во внимание, — сказал Савчук. Он решил, как только подойдет батальон, выставить свое охранение. Как раз в утренние часы, когда морозный туман стоит над землей, самое удобное время для неожиданного налета.
Сопровождающий поглядел на небо, подавил зевок и сказал:
— Видите, туман садится. Через полчаса начнет светать. Пожалуй, я двинусь в штаб. А вы — размещайтесь и тоже приходите.
Он пожал Савчуку руку, сел в сани и уехал. Савчук постоял еще несколько минут, послушал, как затихает скрип полозьев. Затем решительным шагом направился к ближайшему двору.

Из штаба Иван Павлович вернулся, когда солнце уже поднялось над снежной степью. С устья Зеи тянул пронизывающий ветерок.
Батальон получил дневку для отдыха и переформирования.
Остаток ночи прошел спокойно, если не считать перестрелки на заставе с конным дозором противника да короткого огневого налета в самый момент восхода солнца. Перестрелка шла верстах в полутора от Астрахановки, даже шальные пули не залетали сюда. Снаряды дали перелет и разорвались на Зее; один снаряд упал на льду недалеко от берега, и теперь

бойцы черпали там ведрами воду и похваливали белых пушкарей за своевременную подготовку проруби.
Берег здесь похож на отрезок громадной дуги, довольно глубоко врезавшейся в сушу. Ниже деревни Зея поворачивала и под небольшим углом устремлялась к Амуру. Сам Амур не был виден, но определить, где пролегала река, не составляло труда: на правом, китайском, берегу высились небольшие синие холмы.
Солнце освещало недалекие строения спирто-водочного завода, мельницы, высокие трубы судоремонтных мастерских — это уже окраина Благовещенска, его основной рабочий район. В момент белогвардейского мятежа рабочие-красногвардейцы оказали там мятежникам-казакам упорное сопротивление. Оттуда с боями они отступили потом к Астрахановке и не дали гамовцам возможности распространить свою власть на область. Зона, контролируемая мятежниками, с самого начала была ограничена пределами города. Беспрепятственно сообщаться они могли только с Сахаляном — китайским городом, расположенным как раз напротив Благовещенска.
Савчук прикинул на глаз расстояние. Подумал о том, что у казаков, засевших в городе с его каменными строениями, более выгодная позиция. Интересно, как они там расположились?..
Грузчики обживали молоканский хуторок с поразительной быстротой. Одни кололи дрова, другие таскали воду, третьи сколачивали из черной жести печурки-времянки. Приспосабливали под временное жилье сарай, сложенный из толстого накатника. Позади сеновала свежевали тушу только что забитого бычка. В воздухе вкусно запахло ржаным хлебом.
«Эге, прочно устраиваются!» — усмехнулся Савчук, поглядев на всю эту деловитую хозяйственную суету.
Он молча прошел мимо часового, увидев Супрунова, который среди двора толковал о чем-то со стариком Крученых, заметил спешившего навстречу Черенкова и, неожиданно для себя самого, гаркнул:
— Батальон — в ружье!

Вечером Савчук, усталый, но довольный поведением бойцов, сидел за столом в хозяйской горнице и с аппетитом ел жирный, дымящийся борщ. Ел и прислушивался к разговору, начавшемуся до его прихода.
— Неужели тебя, папаша, так ничто и не интересует? — спрашивал Игнатов, обращаясь к хозяину — высокому широкоплечему мужику, видно, одаренному редкой физической силой. Небольшая русая бородка, голубые глаза придавали ему добродушно-ласковый вид; на самом деле он был человек хитрый и расчетливый.
— Почему же... Своя хата, например, интересует.
Он поблескивал глазами, хитровато щурясь, немного с опаской посматривал на Савчука.
— Политикой пусть грамотные люди занимаются. А наше мужицкое дело — хлеб сеять, убирать, молотить, коли будет что. Да кормить всяких добрых людей. Слава богу, густо они на мужицкой шее сидят.
Хорошо заправленная лампа с металлическим эмалированным абажуром освещала лица бойцов, чинно сидевших на лавках вдоль стен (все поужинали еще до возвращения Савчука), намытые до блеска полы, застланные чистыми половиками. Время от времени кто-нибудь вставал и выходил на крыльцо покурить.
— Ну, ежели нужно выбирать, так я подожду, — сказал хозяин и степенно погладил свою бородку.
— Чего же ждать?
— Да надо посмотреть, чья сила больше: ваша или Гамова.
Савчук положил ложку и внимательно посмотрел на него.
— Вот возьмут вас, христосиков, в оборот. Давно следует, — сказал он.
— А мне-то что. Я к вам в подпевалы не нанимался, — ответил хозяин, ласково улыбаясь.
Савчук крякнул, но больше ничего не сказал. Выпив еще кружку чаю с молоком, он взял планшет, накинул на плечи шинель и тоже вышел на крыльцо.
— И просторно у них и чисто, а вот не лежит душа. Ей-богу, — с досадой проговорил один из куривших.
Савчук попросил огоньку, жадно затянулся. Докурив, швырнул окурок.

— А ну их к черту, этих молокан! — и зашагал через двор к сараю, откуда доносились взрывы смеха.
Еще утром в сарае разгородили стойла: образовалось довольно просторное, хотя и мрачноватое на вид помещение. В двух концах его пылал огонь; бока печурок от жара стали красными. Трещали смолистые дрова, на полу и на лицах бойцов играли румяные блики.
Возле ближней печурки сгрудились молодые бойцы. Прямо против открытой дверки, весь озаренный светом, сидел Митя и восторженными, сияющими глазами смотрел на увешанного оружием парнишку из Забурхановки — городского предместья в Благовещенске. Тот рассказывал не столько о недавних боях, сколько о своем собственном геройстве.
— Стрельба. Залпы, залпы... Пулеметы так и косят! — частил он, сопровождая свои слова мимикой и жестами. — Люди валятся, как снопы в молотилку. А я — бегу. Штык вперед — и бегу. Ур-ра-а! Пули. Пули градом по земле прыгают.
— Постой, — перебил Савчук. — А эти пули ты не сам отливал?
Грянул хохот.
— Все. Сгорел ты, брат, на корню, — веско сказал Афоничкин и тронул за плечо гармониста. — Сыпь, дружок, да почаще! Ребята, освобождай круг...
В хромовых сапогах гармошкой, в вышитой сатиновой рубахе, подпоясанный тонким шелковым пояском, Афоничкин выглядел лихим малым. Он рывком вскочил, одернул рубаху, подбоченился, топнул раз-другой каблуком — и пошел. Потряхивая головой, поводя плечами, он выкрикивал что-то бесконечно озорное, веселое.
Когда Афоничкин прошелся несколько раз по кругу, выкидывая разные коленца, вслед за ним, с такой же лихостью пустился в пляс парень из Забухановки.
«Ну, эти друг друга стоят», — одобрительно подумал Савчук. Знакомый плясовой мотив, общее веселье захватили и его, ноги сами просились в пляс. Но Савчук подумал о неотложных делах и прошел ко второму камельку.
Там Пахом Иванович и Черенков расспрашивали хозяйского батрака о прилегающей к городу местности. Черенков у себя на коленях разложил карту, водил по ней пальцем.
— Это, что ли, архиерейская дача?.. Ну как не знаешь!
— Дачу знаю. Я по три раза на дню мимо езжу. Молоко в город вожу.
— Вот и расскажите подробнее, что там есть по дороге. Какие постройки и прочее, — предложил Савчук, подсаживаясь к ним.
Все курили крепчайший самосад. В помещении нельзя было продохнуть от дыма.
— Дурной я был, работал, пил водку, дрался с парнями из-за девок. Думать не думал, — откровенничал кто-то за спиной у Савчука.
В дверях показалась знакомая фигура члена астрахановского штаба. Утром Савчук рапортовал ему о прибытии.
— Ну, Иван Павлович, вижу: неплохо устроились!
Лицо у него сухощавое, подвижное и энергичное. Из-под очков спокойно и пытливо смотрели карие глаза. Три дня назад он был ранен в бою; правая рука висела на перевязи. Рассказывали, что мужеству и хладнокровию этого человека многие обязаны жизнью.
— Что нас в штабе беспокоит: мало знаем о противнике. До обидного мало, — говорил он минутой спустя. — Еще три-четыре дня — и мы будем в состоянии наступать. Удар должен быть сокрушительным. То есть хорошо рассчитан. А для этого...
— Для этого надо вести разведку, — сказал Савчук.
— Вот-вот. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нужен опытный в военном отношении человек. Что, если вы лично займетесь этим? — предложил представитель штаба.
Он кашлянул и улыбнулся, отчего лицо его стало удивительно простым и симпатичным.
Савчук поискал глазами, кого взять завтра с собой.

2

Утро выдалось морозное. В Астрахановке топили печи; дым из труб столбами поднимался в небо. Только что взошедшее солнце окрашивало эти расплывающиеся вверху дымные столбы в золотисто-розовые тона.
Савчук, Афоничкин и Митя уже более часа брели по снежной целине под покровом морозного тумана. Глубина слега доходила почти до колен. Местами ветры сдули снег,

обнажив мелкий кочкарник с космами прошлогодней сухой осоки. Зато возле кустов намело сугробы. Идти по такому снегу было трудно.
Ко времени, когда туман начал расходиться, они достигли намеченного пункта на опушке небольшого лесочка. Отсюда открывался вид на дорогу и на городскую окраину. Савчук долго рассматривал местность в бинокль, чертыхался.
Справа от них, за рощей, чуть в стороне от дороги, виднелась красная крыша архиерейской усадьбы. Там располагалась застава белых. Между рощей и усадьбой, ближе к разведчикам, стояли отдельно еще две-три избы. Казаки вряд ли выбрали их для постоя.
Это соображение и побудило Савчука двинуться в том направлении.
Тропка вывела их прямо к ближней избе. Ничто не указывало на присутствие посторонних. Из трубы мирно вился дымок. У ворот стояла тощая пегая собака и, лениво помахивая хвостом, смотрела на подходившего Савчука.
«К усадьбе идти не стоит. Расспросим жителей», — подумал Савчук, без опаски направляясь к дому.
Он был уже рядом, когда со двора, застегивая на ходу шинель, выскочил ледащий казачишко в лохматой черной папахе с желтым верхом, с закинутым за спину карабином.
— Кто такие? Что за люди? — спросил он оторопело, чуть не столкнувшись с Савчуком, и хотел схватиться за оружие. Но Савчук, соображавший быстрее, не дал ему времени.
— Ты что, холера? Не видишь, кто идет? — начальственно заорал он.
Казак завилял глазами и попятился от него. Он боялся повернуться спиной к Савчуку, чтобы не оказаться в невыгодном положении, так и отступал перед ним, пятясь задом. Лицо его сильно побледнело; на худой, тонкой шее от напряжения заметно дергался мускул. Захваченный врасплох, он вряд ли был способен на сопротивление.
«Сейчас заверну его в проулок, там и возьмем, — решил Савчук, слыша, как шедшие за ним Афоничкин и Митя прибавили шагу. — Экая, однако, ворона — этот казак! Без шуму возьмем».
Медленно наступая, Савчук прошел за перепугавшимся воякой до угла и только тут заметил, что за стеной угловой избы, хоронясь от них, стояло еще человек десять вооруженных казаков.
«Ну, влопались!» — мелькнуло у него в голове.
Но прежде чем Савчук успел на что-нибудь решиться, прежде чем казаки набросились на него, Афоничкина и Митю (а схватка была бы неравной и совершенно безнадежной), прежде чем это произошло, раздался властный командный голос:
— Отставить! Свои это.
С крыльца, придерживая шашку, сбежал вниз высокий черноусый офицер. Савчук не без удивления узнал в нем есаула Макотинского, которого он встречал однажды в канцелярии окружного Интендантского управления.
— А, екатерино-николец! Сам в гости звал, а встречает западней, — стараясь улыбнуться как можно приятнее, сказал Савчук. Кто знал, какого труда стоили ему и эта улыбка и небрежно-спокойный тон!
Ничего не подозревавший есаул дружески протянул ему руку.
— Вот черт! Думаю: захвачу «языка». Ан нет. Ну рад, очень рад, — сказал он весьма приветливо и еще раз тиснул Савчуку руку. — Какими судьбами, однако? К атаману Гамову под знамена, а?.. Еще миг, и мои казачки посчитали бы вам ребра. Могли ведь и ухлопать сгоряча.
— Н-да... — Савчук хмуро посмотрел на обступивших его дюжих казаков, кажется недовольных таким оборотом дела, и повернулся к своим растерявшимся бойцам. — Ничего, ребята, все обошлось... Знаете, мне просто повезло, что я натолкнулся на вас, — сказал он затем совершенно искренне. — Действительно могло произойти побоище.
— Вот-вот! Своя своих не познаша, — засмеялся есаул. — Вообще-то у нас разговор короткий. Допрос — и на осину.
Он отдал какое-то распоряжение; казаки разбрелись по двору. Двое побежали к архиерейской усадьбе за лошадьми.
— Вы сейчас из Астрахановки, да? Какая там обстановка? — спросил Макотинский и, прищурясь, посмотрел сперва на Митю, затем на Афоничкина. — Эти-то с вами или так... увязались?

— Со мной, со мной, — поспешно сказал Савчук.

Есаул, как видно, принял их за перебежчиков. Разубеждать его в этом было не в интересах Савчука. «Только бы хлопцы не подвели. Митя-то на меня зверем смотрит...» В голове у Савчука уже зарождался новый план. Но как согласовать его с остальными, когда даже словом нельзя перемолвиться?

— Прибыли поездом этой ночью. В деревню не заходили. Подальше, знаете, от греха. Так что дать сведения я затрудняюсь. Хотя слышал кое-что, — говорил Савчук, отвечая на вопрос есаула и наблюдая одновременно за поведением своих товарищей.

Митя упорно не глядел на него. Губы у него дрожали, как у обиженного ребенка. Афоничкин же при словах Савчука быстро поднял глаза, но тут же с деланным равнодушием перевел взгляд на офицеров, на казаков. «Ага, соображаешь, значит», — с удовлетворением подумал Савчук.

Макотинский раскрыл портсигар, предложил Савчуку папиросу, закурил сам.

— Сейчас подадут лошадей, поедем в город, — сказал он, с наслаждением вдыхая морозный воздух с табачным дымом пополам. — Вам надо определиться. У меня тоже есть дела. Люди ваши пока останутся здесь.

Полчаса спустя есаул и Савчук, сопровождаемые казаком-ординарцем, мирно беседуя, ехали по дороге в город.

Афоничкин и Митя сидели вместе с казаками в жарко натопленной избе и пили чай. Мите все случившееся казалось дурным сном. Хотя Афоничкин успел кое о чем шепнуть ему, Митя все же сильно сомневался в Савчуке. Жалел, что не поддался первому побуждению и не выпустил в него всю обойму из винтовки. «Офицер — это у них одна компания». Он хмурился, бледнел, краснел и почти не вникал в смысл разговора.

Зато его товарищ чувствовал себя как рыба в воде. Несмотря на свою молодость, Афоничкин был калач тертый, повидал людей и мог легко к ним приспосабливаться. Он резал перочинным ножом мерзлое сало, накладывал белые ломтики на ржаной, вкусно пахнущий хлеб, старательно двигал челюстями и ухитрялся в то же время без задержек выпускать изо рта слова, за которыми, видно, не лазил в карман.

— Приискатели — народ фартовый. Пофартит, так и из воды сухим выйдешь, — говорил он не столько для казаков, сколько для Мити. — А золото — песок. Протечет между пальцев, только его и видел. И ладно. Чего нам горевать? С какой стати, — продолжал он подчеркнуто небрежным тоном. — Сегодня ты в силе, а завтра в могиле. Сегодня пляшешь, а завтра плачешь. Всяко бывает. На то и жизнь.

Две смешливые хозяйские девчонки, забравшись на печку, разинув рты, глядели оттуда на него, то пугаясь то смеясь.

— Ох и девки, до чего хороши! — Афоничкин, заметив их, стрельнул озорными карими глазами. Обе головенки моментально спрятались. Послышался смех.

Казаки сдержанно улыбались.

— Вот, Митя, ехали мы с тобой, не знали, где счастья искать. А оно, оказывается, на печи лежит, — смеясь, заметил Афоничкин, потряхивая черной кудлатой головой. Его самого, признаться, начинало беспокоить очень уж мирное течение беседы. Эх, кабы знали эти бородачи, как он им арапа заправляет!

— Тут пальба поднимется, от счастья-то — мокрые брызги останутся, — словно угадав мысли Афоничкина, сказал чернявый урядник. — Послушай, Ефим! Ступай на сеновал, смени Гарусева.

Вскоре в избу, снимая сосульки с жиденьких усов, ввалился тот самый казачишко, которого Савчук чуть было не захватил в плен. Он недобро покосился на Афоничкина и сел сбоку от него за стол.

— Никого не видать? — озабоченно спросил чернявый.

— Не видать.

— Как же ты, Гарусев, этих-то просмотрел? Ну и фигура у тебя была, — хохотнул молодой казак.

— Чего фигура? Я нарочно заманивал, чтобы они по сторонам не глядели, — сказал Гарусев, стараясь представить теперь свое поведение в самом выгодном свете.

— На-роч-но. Штаны только позабыл подтянуть.

Гарусев отодвинул кружку и свирепо уставился на обидчика. Но вмешался урядник и предотвратил ссору.
— Ладно, ладно. Петухи. Одевайтесь-ка лучше. Ты и ты, — он ткнул пальцем в молодого казака; тот оделся и вышел вслед за чернявым.
«А боятся они нас. Боятся», — подметил Афоничкин и многозначительно посмотрел на Митю.
Гарусев, ни на кого не глядя, торопливо глотал чай.
— Командир у вас как, ничего? — спросил Афоничкин.
Рыжий казак, ковыряя в носу, сказал:
— Он строгий. Чуть не так, как хлобыстнет по физиономии. И жаловаться не смей.
— А архиерей богато живет?
— Кто ж его знает, — задумчиво протянул рыжий. — В горницах я не был. Не положено. А двор справный. И, видать, понимает по женской части: бабы там смазливые.
— Самого-то преосвященного здесь нет, — вставил Гарусев. — Служба у него в городе.
— Может, служба, может, нет. Но там, конечно, безопаснее, — возразил рыжий. — А тут у него под окнами поставили батарею — и давай лупить. Матросы из Астрахановки видят такое дело — и пошли крыть в свою очередь. А владыка — он только словом может: «Оборони бог», «Заступись, святая дева Мария!», «Спаси, Иисус Христос!» Смотрит — никакого действия. Ну смекнул, конечно: «Бог-то бог, да и сам не будь плох». Велит запрячь тройку коней, и только снег за ним завился.
— Эх, богохульник ты, богохульник! — сказал Гарусев и укоризненно покачал головой.
Афоничкин же от рассказа пришел в совершенный восторг. Он хлопал себя по ляжкам и все повторял:
— Значит, молитва не помогает?.. Хоть лоб разбей. Ты слышишь, Митя?
— Тут, паря, видно, все перепуталось, — наклоняясь ближе, доверительно сказал рыжий. — Молятся о ниспослании победы одни и другие. Можно сказать, на всех языках. И все это чада божьи. А кого слушать? Кому внимать? Это задача. Повернешь так — одному интересно, а другой обижается: «За что караешь, господи!» Переиначишь — первый вопит: «Отвернул ты от меня лик свой!» Глядел, глядел Саваоф: «Да ну вас, говорит, к лешему! Разбирайтесь как-нибудь сами...»
Гарусев покосился на дверь, заметил неодобрительно:
— И охота тебе трепать языком. Вот услышит его благородие.
— Пока разберемся, ребер-то поломаем, господи! Несть числа, — сказал рыжий и умолк, как-то странно посмотрев на Гарусева.
— А вы, стало быть, из Астрахановки. Что там много хохлов собралось? Уж зададим им жару, — сказал Гарусев после паузы, перестал жевать и уставился на Митю сощуренными глазками.
— Ох и много! — сказал Митя в простоте душевной; весь предыдущий разговор оказался совсем не таким, какого он ожидал от казаков, и это усыпило его подозрительность. Спохватился он, когда Афоничкин наступил ему под столом на ногу.
— Шум там такой, как на ярмарке, — поспешно вставил Афоничкин. — Мы, когда эту Астрахановку обходили, дивились даже. Галдеж, песни, будто не ночь на дворе. Я говорил: двинем прямо через село. На лбу не написано, кто мы такие. А их благородие, господин прапорщик, не согласился.
— Да уж схватили бы вас большевики — там вы чаи не стали бы вот так запросто распивать, — самодовольно сказал Гарусев и подмигнул Мите. — Старших будешь слушаться, не прогадаешь.
— Я что... Я как другие, — пробормотал Митя. Впервые за это тревожное утро широкая улыбка озарила его лицо. Уж очень занятной показалась ему сложившаяся ситуация.
Рыжий достал кисет и стал свертывать себе самокрутку. Отсыпал махорки Афоничкину.
Гарусев пододвинулся ближе и тоже протянул ладонь.
— Дай-ка и мне, станичник, на закрутку, — сказал он, глядя на кисет с каким-то ласковым умилением. Весь табак он бережно ссыпал в мятую бумажку и спрятал в карман. — Ничего. Бунтовщиков усмирим. Они, паря, скоро такое узнают, что на век зарекутся.
— А что?.. — выпустив колечками дым, равнодушно спросил Афоничкин.

— А то... Слыхали небось, как тут началось? Как мы со своими комиссарами расправились?.. Нет? Тогда слушайте. Только допреж ты мне свой окурок дай. Не бросай. Чуток горло прочищу.

Гарусев перехватил «бычок», жадно затянулся раз за разом, придерживая заглотанный табачный дым. Затем принялся рассказывать о том, как в первый день гамовского восстания хватали рабочих и тут же на улицах чинили суд и расправу. Говорил он об этих вещах со смешком, с циничной откровенностью закоренелого убийцы.

— А чего их вести в тюрьму? Один конец. Жаль, что Мухина сразу не шлепнули. Сто десятин, говорит, — это грабительство. А три аршина не хошь?..

3

В те дни центр мятежников находился в Кондрашевской гостинице — двухэтажном каменном здании на центральной улице. Многие из съехавшихся к этому времени в Благовещенск офицеров жили тут же в номерах или квартировали по соседству в купеческих особняках. В день восстания они извлекли из чемоданов военные мундиры, нацепили погоны, вооружились и по заранее составленному расписанию двинулись к намеченным объектам. Захватив власть в городе, они тем более почувствовали себя хозяевами положения,

В гостиницу и особенно в ресторацию при ней, помещавшуюся в этом же здании, но с отдельным входом, тянулся теперь весь буржуазный Благовещенск. Тут ложно было видеть городских воротил в богатых шубах, в бобровых дорогих шапках и их долговязых сынков в новеньких, с иголочки, шинелях, в зеленых, английского покроя френчах; сюда забредали безусые, но воинственно настроенные добровольцы-гимназисты, воспитанники духовной семинарии, «взявшие меч, чтобы утвердить слово божие»; осторожно, как пескари среди щук, кружились около обыватели, охочие до сплетен и новостей, готовые и рукоплескать и ретироваться, — смотря по обстоятельствам. Что касается господ офицеров, то они в этой атмосфере общего поклонения чувствовали себя до некоторой степени именинниками: перед ними изливали души и, главное, — открывали кошельки. Впрочем, наиболее умные из них понимали, что радоваться пока нечему.

Вот в эту Кондрашевскую гостиницу и привел Савчука есаул Макотинский. Неожиданно для себя Савчук оказался в самом средоточии контрреволюционных сил. Собираясь в разведку, он и в мыслях не имел что-либо подобного. Случайность, каких много на войне, переломала и перекорежила весь его первоначальный план. Но можно ли предусмотреть все случайности? Слишком бы просто тогда все было.

У Савчука была хладнокровная, трезвая голова, он не терялся в трудных обстоятельствах. В первые минуты, когда случай так неожиданно свел его с Макотинским, Савчуку не оставалось ничего другого, как поддержать выдвинутую самим же есаулом версию. Да, он прибыл для того, чтобы при первом же случае перейти к Гамову. К чему другому еще может стремиться офицер? Есаул и сам так думал. Ни тени сомнения не зародилось у него. Савчук же лихорадочно соображал, как половчее вывернуться из этого дурацкого положения. Затем новая дерзкая мысль зародилась у него. Да ведь такой редкий случай! Что, собственно, могло грозить ему? Натолкнуться на кого-либо из офицеров, которых он сам разоружал в Хабаровске? Случай вероятный. Но зато какие сведения можно получить! Нет, игра стоит свеч. И Савчук уже совершенно спокойно болтал по пути с есаулом о разных пустяках, зорко поглядывал в то же время по сторонам и все примечал.

Пока они ехали по предместью, город казался Савчуку вымершим. Кроме многочисленных патрулей, на улицах — ни души. Жители рабочей слободки старались не показываться на глаза своим «освободителям». Везде следы прошедших боев: изрешеченные пулями стены, разбитые окна, поваленные изгороди: в ряду домов торчали черные остовы сгоревших строений; еще не выветрился острый запах пожарища.

Бежавшие из города люди рассказывали, что в первые дни тут везде лежали трупы убитых в бою жителей. Но сейчас трупы поубирали; выпавший в последние дни снег скрыл следы крови. Лишь при повороте на главную улицу, протянувшуюся параллельно Амуру через весь город и обсаженную двумя рядами тополей, Савчук увидел повешенных. Двое были пожилыми людьми, третий — почти ребенок. Его вздернули высоко на сук, и лошадь Савчука, испуганно всхрапывая, прошла под ним. Савчук невольно пригнул голову. Только мельком взглянув наверх, он успел охватить взглядом все подробности страшной картины:

посиневшее лицо мальчика, блестящие морские пуговицы его пальто, должно быть перешитого из отцовской шинели, протоптанные почти насквозь подошвы ботинок. По немногим этим приметам Савчук мог с закрытыми глазами представить себе жизнь мальчика и его семьи.

Но не это поразило его. Поразило Савчука то, что рядом на панели стояла кучка таких же подростков-мальчишек из богатых семей и хохотала, глядя на стоптанные ботинки повешенного парнишки. Двое дылд с винтовками — один в студенческой шинели, другой в гимназической форме — деловито объясняли обступившим их сосункам, как это делается, то есть как вешают людей.

Савчук скрипнул зубами, ударил каблуками коня.

— Тяжелые обязанности, очень тяжелые. Но необходима строгость, — сказал есаул, догнав вырвавшегося вперед Савчука.

На плацу, мимо которого они проезжали, выстроились две сотни казаков. Невысокий офицер в черном полушубке с серебряными погонами, придерживая за повод неспокойно стоявшего коня, держал перед ними речь. Вот он выкрикнул что-то и взмахнул рукой. Ближайшие казаки заревели во всю мощь своих глоток:

— Ур-ра-а-а!

— Атаман Гамов, — сказал есаул, кивнув головой в сторону плаца. — Придется нам подождать. Впрочем, хорошо: пообедаем, отдохнем. Я устал от этой собачьей жизни.

Оставив лошадей ординарцу, они прошли мимо наружного часового в гостиницу. В вестибюле за столом сидел дежурный. На голове у него красовалась фуражка с желтым околышем, которая ему была мала и только чудом держалась на макушке, над чубом. Макотинскому он улыбнулся, как хорошему знакомому.

— Что, мои сожители дома? — спросил есаул, мельком взглянув на ящик с ключами. Получив утвердительный ответ, он повернулся к Савчуку. — Ступайте наверх, прапорщик. В самый конец, тринадцатый номер. А я на минуту забегу в ресторацию.

Савчук, поглядывая на таблички на дверях номеров, прошел в глубь коридора. Ноги неслышно ступали по мягкой дорожке. Постояв у окна, выходившего во двор, Савчук потоптался в нерешительности перед дверью без таблички, которая по всем предположениям вела в искомый номер. Постучался негромко. Не дождавшись ответа, но слыша за дверью голоса, он толкнул створку и вошел.

Номер был просторный и светлый. Два окна выходили на Амур; близко за окнами поднимались крыши пристанских строений, дальше можно было различить в морозной дымке китайский берег и город Сахалян. В номере стояли четыре кровати; две, видно, были поставлены здесь недавно.

На одной из кроватей сидел и курил молоденький черноволосый юнкер. Другой жилец — казачий офицер в чине войскового старшины — был вдвое старше. Его сапоги стояли возле дверей, чуть сбоку от входа; он ходил по комнате в носках и что-то рассказывал.

Савчук прервал молчание, водворившееся при его внезапном появлении.

— Я не ошибся дверью? Это тринадцатый номер?

— Надо знать, что в порядочных гостиницах тринадцатых номеров не бывает, — сказал юнкер.

Войсковой старшина очень пристально посмотрел на вошедшего; Савчук ответил таким же пристальным настороженным взглядом.

Но тут появился отставший есаул и громко сказал:

— Знакомьтесь, господа. Прапорщик Савчук.

Войсковой старшина натянул сапоги и принялся расспрашивать Савчука о положении дел в Хабаровске. Картина, нарисованная Савчуком, отнюдь не могла его порадовать.

— И никто к вам не приставал?

— Абсолютно. Два раза собака залаяла, да гусь шипел... вот и все, — ответил Савчук с тонкой усмешкой.

Войсковой старшина недоверчиво покачал головой.

— Странно, странно, — протянул он. — Впрочем, и у нас та же беспечность. Правила гражданской войны еще не написаны.

— Войны? — удивился юнкер. — Боже мой, какие громкие слова! Усмирение бунта...

— В масштабах целого государства, заметьте. А это не так просто. Не так просто, — повторил войсковой старшина. — Что не мешало бы понять и господину Гамову.
— Гамов всем показал пример. За это я его уважаю. Не смейтесь, пожалуйста, — запальчиво возразил юнкер. — Ваш скепсис удивительно неуместен.
Видимо, они продолжали ранее начатый спор.
— Ну уважайте, уважайте. А мне-то с какой стати целоваться с ним? Красная девица он, что ли? — Войсковой старшина пожал плечами и пренебрежительно фыркнул. Затем обратился к Савчуку, считая его более серьезным и достойным собеседником. — Ох уж эти болтуны-политиканы! Удивительная переоценка сил и возможностей, даже с чисто военной точки зрения. Надо было нам наступать на Астрахановку. Установить связь с областью. Проявить максимум решимости. А мы попусту теряем драгоценное время. Произносим митинговые речи перед казаками. Обучаем сосунков стрелять из винтовки, будто можно человека сделать солдатом в три дня. Чепуха!
— Вы же знаете, что наступление на Астрахановку только отложено. Необходима перегруппировка сил, — опять вмешался юнкер.
— Ну хорошо. Перетасуем заново, согласен. Пополнимся еще одним наскоро сформированным батальоном добровольцев. Так они же, сукины дети, разбегутся при первом выстреле!
— Простите. Зачем же оскорблять патриотические чувства людей, — сказал юнкер, и красные пятна показались у него на щеках. — Как вы можете...
— Могу, — сказал войсковой старшина с усмешкой. — Знаю эту публику. Да вы не смотрите на меня такими глазами: я не большевик. Я — монархист, если хотите. Но дело надо делать умеючи. В этом суть моих расхождений с господином Гамовым. Его выступление преждевременно. Слишком локально, если вам угодно знать. И слава богу, что Сахалян у нас под боком. Слава богу. — Он посмотрел в окно на дымки недалекого китайского города и повернулся к Савчуку. — А вы что думаете по этому поводу?
— Я слышал, что вас поддержали японцы? — вопросом же ответил Савчук.
— Японцы?.. О да! — войсковой старшина грустно улыбнулся. — Такеда сформировал отряд в сотню штыков. Парикмахеры и прачки оказались прекрасно обученными солдатами. Этого и следовало ожидать, если учесть опыт прошлого... Но их участие, если вам угодно знать, рассчитано больше на политический эффект.
— В самом деле? А какой же результат? — поинтересовался Савчук.
— Двоякий. Одних эта открытая поддержка японцев ободрила. Если хотите, подтолкнула к выступлению. Других, я бы сказал, обескуражила. Да, — продолжал войсковой старшина очень серьезно, — нельзя не задуматься над тем, ради чего они полезли в свалку. Ведь мы недавно уже столкнулись с ними на поле брани. Не хотят ли японцы вновь воспользоваться ослаблением России в собственных интересах?
— Да уж наверно, — сказал Савчук.
— И вот что симптоматично, — продолжал войсковой старшина — Наш серятина-казак нашел способ высказаться по поводу участия союзников. Два дня назад повели мы совместно с ними наступление от вокзала к Астрахановке. Японцы вырвались вперед. Но тут их накрыла снарядами наша собственная артиллерия. Сразу ухлопали двоих, нескольких ранили — и они побежали назад, под укрытие.
— Это результат плохой взаимосвязи. Дело расследовалось, — возразил юнкер.
— Гм... Не думаю, — возразил войсковой старшина и в сомнении покачал головой. — Казак — продувная бестия. Схитрит... и сам руками разведет. Промашка...
«Ага. Значит, не все у вас гладко», — подумал Савчук с удовлетворением.
В эту минуту вновь появился есаул Макотинский.
— Пойдемте представиться начальству, прапорщик, — сказал он, считая долгом опекать Савчука.
Канцелярия штаба помещалась в так называемых парадных номерах гостиницы. В коридорчике их встретил дежурный офицер с хмурым, озабоченным лицом. Два хрустящих желтых ремня крест-накрест, маленький пистолет в желтой кобуре, в тон ремням, походили на сбрую, в которую его запрягли и пустили тянуть лямку.
— Прошу предъявить документы.

— Какие документы! Человек сегодня из рук большевиков вырвался, — вмешался есаул, видя некоторое замешательство Савчука.
Представительный усатый полковник заканчивал разговор с каким-то нескладным, высокого роста штатским. Тот стоял сбоку стола, почтительно наклонив голову. Скосив глаза, он внимательно посмотрел на Савчука.
Лицо у него самое обыкновенное: слегка приплюснутый нос, невысокий лоб, рыжеватые усики, водянистые глаза. Он был очень худ; мятый серый пиджак висел на нем, как на спинке стула.
— Так я надеюсь на вас. Будьте здоровы! — и полковник повернулся к Савчуку. — Это вы прибыли из Астрахановки?
— Из Хабаровска, — поправил Савчук.
Он стоял навытяжку и ел глазами начальство. Пожалуй, он несколько переборщил в своем старании.
— Прапорщик?
— Так точно.
— Прапорщик военного времени? Из вольноопределяющихся?
— По производству... за храбрость. Четыре Георгия.
— А-а! Ну рассказывайте, — полковник откинулся на спинку стула и еще раз окинул Савчука взглядом. Затем он обрушил на него град неожиданных вопросов.
— Н-да... Не наблюдательны вы, прапорщик, — сказал он тоном строгого выговора. И тут же стремительно поднялся из-за стола.
Савчук сделал пол-оборота налево и увидел шедшего от дверей невысокого офицера с черными усиками. Остриженные под ежик волосы придавали ему немного мальчишеский вид. На нем были мундир, широкие штаны с желтыми лампасами и высокие сапоги с маленькими шпорами.
— Запишите в завтрашний приказ, полковник, — начал он немного охрипшим голосом, не взглянув даже на Савчука. И стал диктовать свои замечания, связанные с сегодняшним объездом частей.
«Что за тип? Неужели Гамов?» — подумал Савчук. Он слушал, стараясь ничем не выдать своего интереса.
На какое-то время Гамов замолчал, и до Савчука донеслось тиканье карманных часов, лежавших на столе у полковника. Слух его был обострен до крайности.
— Да, особо выразить мою благодарность командиру вспомогательного японского отряда. За образцовое несение караульной службы, — сказал Гамов и в первый раз посмотрел на Савчука. Наморщил лоб, что-то вспоминая. Из-под нахмуренных бровей он метнул еще один взгляд и пошел к двери.
Полковник крякнул, покрутил усы, опять уставился подозрительно на Савчука. Он задал еще несколько вопросов. Савчук с простодушным видом объяснил, что он не имел времени интересоваться такими вещами, так как спешил и боялся оказаться задержанным.
Выражение лица полковника ясно показывало, что объяснение Савчука не удовлетворяло его.
— Вы где остановились, прапорщик?.. За назначением зайдите дня через два.
В номере, куда вернулся Савчук, стало тесно и шумно. Кроме постоянных жильцов, пришли еще пять-шесть офицеров, среди них — щеголеватый казачий сотник в черкеске с нашитыми газырями, с кинжалом у пояса и тонкой талией и два капитана-антипода: один непомерно худой, с надменным выражением лица, другой невообразимо толстый, с абсолютно лысой головой, лоснящимися щеками, шумный и болтливый.
На столе стояли графины с водкой, бутылки с коньяком, открытые банки со шпротами, тарелки с паюсной икрой, селедочка с гарниром.
Савчук присел на краешек кровати. Макотинский подал ему стакан водки.
— Ну, определились? — спросил он участливо.
Савчук неопределенно пожал плечами.
— Миловидная женщина, господа, — рассказывал тем временем сотник, слегка грассируя и рисуясь, — Миндалевидные глаза. Рот только для поцелуев и создан. Красивый высокий бюст. Бюст, господа! — и он сделал округлое движение рукой и улыбнулся своей жесткой циничной улыбкой. — Сама, шельма, стройна. Грация.

Савчук чувствовал себя отвратительно. Когда на фронте его произвели в прапорщики, он не раз в офицерской среде ощущал такой же точно холодок. Существовала неуловимая грань, которой эти люди умели отделить себя от других.
— И что же вы тогда предприняли? — блестя глазами, щеками и лысиной, спросил толстый капитан.
— Позвал урядника. Эта дамочка, говорю, офицером брезгует. Может, казаки ей больше подойдут. Отдаю всему взводу. Вот так, господа, была наказана строптивость.
Сотник рассказывал об этом без всякой неловкости и стеснения, как о деле самом заурядном.
Толстый капитан скрипнул стулом, протянул разочарованно:
— Лично вы спасовали, значит. Жа-аль... — Опустив глаза на стопку с коньяком, он взял ее пухлыми пальцами и медленно поднял до уровня глаз. — Поехали, господа! — и вылил коньяк себе в рот. Взгляд у него немного осоловел.
— А знаете, какую шутку н-надумали в штабе, — продолжал он, выловив после некоторых усилий из банки шпротину и сочно жуя. — Хи-хи! Если красные станут напирать, наша батарея запустит десяток снарядов в Сахалян. Под марку большевиков. Ну, китайцы заявят протест... начнется конфликт между ними и красными. Не дурно, а?
При этих словах Савчук быстро покосился на него: капитан медленно стал соображать, что сболтнул лишнее.
Заговорили о красных в Астрахановке, о предстоящих боях. Глаза подгулявших офицеров озлобились.
«Хотят войны — ну, будет им война, черт их побери!» — думал Савчук.
Солнце, заканчивая свой путь, заглянуло в окна; навстречу его лучам от стола синеватыми космами плыл табачный дым.
Толстый капитан с трудом оторвался от стула, неверным движением повернулся кругом, побрел к двери; было видно, что он основательно накачался и вряд ли годен на что-нибудь, пока не проспится.
— А заметили вы, как войсковой старшина брюзжит? Обошли его при распределении постов, — сказал с усмешкой Макотинский, когда они с Савчуком двинулись по вечерним улицам в обратный путь.
За двойными рамами изредка мерцали желтые огоньки, большинство окон было наглухо завешено или закрыто ставнями. Жители прятали свою жизнь от улицы, на которой хозяйничали гамовцы.
На перекрестке — три странные неподвижные фигуры в тулупах и непривычного покроя меховых шапках. В свете уличного фонаря блеснули широкие штыки.
Савчук повернул голову и со смешанным чувством ненависти и острого любопытства поглядел на них. Это были японские солдаты-резервисты; первые, которых он увидел на своей родной земле.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Как и предполагала Настя, Зотов пережил несколько неприятных минут. Лисанчанского и Суматохина в доме уже не было; они быстро собрались и куда-то ушли. Судаков дремал на диване. Зотов хотел разбудить его, но потом махнул рукой и пошел в библиотеку. Здесь он и сидел, не зажигая света, затаившись, как мышь. Наконец пришел камердинер и сообщил, что матрос покинул дом.
— Ушел? Ну, слава богу! — Рука хозяина заученным жестом потянулась ко лбу, коснулась живота и задержалась на полдороге к плечу. — Может, он за патрулем отправился?
— Непохоже, ваше степенство. Он мирный, — прошамкал слуга. — Прикажете свет в библиотеке зажечь?
— Не надо. Ступай. — Зотов выпроводил старика и подошел к окну.
Прохожие изредка появлялись в свете фонаря у ворот и тут же пропадали в темноте. Мучительно долгими показались Зотову эти минуты ожидания.
Но вот неподалеку загремели выстрелы, будто там, за окнами, кто-то рвал полотно. В доме захлопали двери.
«Началось!» — подумал Зотов с радостью и страхом. Стоя сбоку у окна, он часто и мелко крестился.

Когда мимо особняка прошла сотня казаков, Зотов вдруг заторопился, схватил винчестер и тоже выбежал на улицу.
Стрельба удалялась к окраинам. В центре города казаки-гамовцы охотились за одиночками красногвардейцами.
Зотов, нацепив белую повязку, примкнул к отряду гражданской милиции. Пыхтя и отдуваясь, он бегал вслед за сынками своих компаньонов, палил куда-то из винчестера и чувствовал себя героем.
Недалеко от особняка они насмерть забили прикладами пожилого рабочего. Зотов первым ударил его сзади, а потом с остервенением пинал упавшего человека короткими ногами.
— Кончилась ваша власть. Кон-чи-лась... — фальцетом выкрикивал он, распаляя себя и других.
Жажда крови влекла его дальше.
— Господа, там матроса схватили! — сообщил пробегавший мимо человек с белой повязкой.
— Ага, матро-ос... — зарычал Зотов. — Ребята, дадим и ему отведать красной юшки!
В конце переулка группа людей образовала круг под уличным фонарем. Зотов прибавил шагу, а затем, подстегиваемый мстительным чувством, затрусил рысцой.
Шумно дыша, Зотов выбежал на перекресток. И в это время там, где столпились казаки и милиционеры, полыхнуло пламя.
У Зотова ноги сразу приросли к земле. Скрежет осколков над головой и звон посыпавшихся из окон стекол в один миг отрезвили его.
Фонарь погасило взрывом. Стараясь не смотреть на то, что осталось внизу, Зотов повернул обратно.
— Господи, благодарю, что оборонил, — шептал он застывшими губами.
Весь его пыл пропал бесследно.
Утро и большую часть следующего дня он просидел дома, с тревогой прислушивался к звукам боя, отодвинувшегося к этому времени в район затона.
Многие соседи Зотова эвакуировались в Сахалян. Туда же отправилась его супруга, захватив добрую половину своего гардероба.
Когда канонерская лодка «Орочанин» из Астрахановки открыла огонь по городу, по местам скопления казаков и белой милиции, Зотов тоже поддался панике.
— Запрягайте лошадей! Пакуйте чемоданы... живо, живо! — кричал он, бегая по комнатам, не зная толком, что брать с собой, теряясь среди массы вещей.
В разгар сборов вернулся Лисанчанский. Он с усмешкой посмотрел на суетящегося без толку хозяина и сообщил, что красногвардейцев вытеснили из района мастерских на остров затона. Оттуда они переходят на противоположный берег Зеи. Другие отряды рабочих отступили к речке Чигири.
— Ну, обрадовали вы меня, Станислав Генрихович. Слава тебе, господи! — Зотов захлопнул крышку чемодана и сел на него. — Не знаете, пароходы там не повредили? Что-то дым большой, — озабоченно сказал он.
— Ерунда. Халупы горят. Пожалуй, я перекушу немного да лягу спать. — Лисанчанский потянулся, захрустел пальцами.

В соборе служили благодарственный молебен. Высокие стрельчатые окна были бледно озарены мерцающим светом, доносился торжественный хор.
Священник в шитой золотом ризе говорил о христолюбивом воинстве и мирянах, во славу божью взявших оружие.
Зотов в распахнутой тяжелой шубе стоял впереди и со слезами умиления внимал проповеди.
Честолюбивые мысли плыли одна за другой, как ладанный дым из кадильниц.
Снова грянули колокола.
Бомм! Бомм! — Старались звонари благовещенских церквей: тугой медный звон висел над городом, покрывая звуки далекой стрельбы.
Из собора Иван Артамонович возвращался полный новых планов и забот.
Сам себе он казался фигурой очень значительной.

Атаман Гамов, обедая у Зотова, обещал в скором времени послать на прииски казачьи отряды для наведения порядка. Приглашенных было немного, и разговор носил конфиденциальный характер.
Все было как в доброе старое время. Подкрахмаленные скатерти, серебро, хрусталь... Вина и коньяки. Шампанское.
Посреди стола на длинном блюде красовался аппетитно зажаренный, подрумяненный поросенок, искусно обложенный со всех сторон свежей зеленью из собственной теплицы.
— Немцы у стен Петрограда. Боже мой, — говорил затянутый ремнями адъютант и сердито сопел. — Демобилизовали русскую армию, разогнали ее костяк — офицерство; теперь пожинают плоды своей безумной политики. Возможно, господа, что именно здесь, у нас, начинается движение за возрождение России.
— Вы скажите, много у вас арестованных? Где их содержите? — прервал его рассуждения управляющий отделением Сибирского банка.
— Пятьсот тридцать солдат заперты в реальном училище. Несколько сот человек в тюрьме. Мухин с помощниками тоже там, — весьма предупредительно ответил адъютант.
— Что вы намерены с ними делать?
Гамов управился с порцией поросенка, потрогал молодцевато черные усики, сказал:
— Рассортируем... — и жестко усмехнулся.
— Уж будьте добры, господин атаман, уймите смутьянов. Повесьте их, что ли, — воскликнул Зотов.
— Господа, я все сделаю для восстановления порядка и законности.
Разговор велся под звуки недалекой канонады: шла артиллерийская дуэль между казачьей батареей и красной канонеркой «Орочанин». К пушечной пальбе в Благовещенске попривыкли и уже не пугались, как в первые дни.
— Я отклонил попытку красных вступить в переговоры. Мое требование одно: безоговорочная капитуляция. Я не страшусь призрачных сил Астрахановки, — заговорил вдруг Гамов, и было непонятно: хотел он уверить в этом других или же самого себя.
— А я думал к жене в Сахалян перебраться, пока тут идут бои, — признался Зотов.
— Милейший Иван Артамонович, в этом нет необходимости.
К концу обеда вернулся Судаков, оживленный, посвежевший. Он хлопотал об общественной поддержке вновь образовавшемуся правительству.
— Господа, я счастлив, что во главе пас стал человек, которому близки и дороги идеалы демократии, идеалы социализма, — воскликнул он, когда хозяин представил его почетному гостю.
Гамов, не вставая, чуть наклонил голову.
2
К одиннадцатому марта — на исходе первой недели мятежа — в Астрахановке сосредоточилось более семи тысяч красных бойцов. Пополнения прибывали непрерывно. По всем дорогам Амурской области тянулись сюда вооруженные отряды Красной гвардии и отдельные группы демобилизованных солдат. Прислали свои боевые батальоны рабочие Хабаровска, Владивостока, Никольск-Уссурийска, Свободного. Из Приморья прибыл эшелон с артиллерией.
В Астрахановке не было двора, где не стояли бы на постое красногвардейцы. Бойцы посменно спали в избах, а остальное время проводили во дворах, греясь у костров. Из уст в уста передавались последние новости. Происходили самые неожиданные встречи. Вспоминали бои в Карпатах, восстание минеров во Владивостоке, каторжные тюрьмы Забайкалья. Говорили о тех, кому не суждено было дожить до победы революции. Находились люди, которые лично знали соратников В. И. Ленина, организаторов читинского вооруженного восстания в 1906 году Ивана Васильевича Бабушкина и Виктора Константиновича Курнатовского.
Митя и Афоничкин затаив дыхание слушали рассказ об этих славных революционерах. Вот где настоящая жизнь! Вот геройство...
Благополучно выбравшись из переделки, оба считали свою роль в разведке до обидного незначительной. Хвалиться было нечем. Другое дело — Иван Павлович. Савчук сразу вырос в Митиных глазах. За ним он пошел бы сейчас хоть в пекло.

Их приключение окончилось весьма обыденно. Они так и просидели дотемна в избе с казаками. Даже распили вместе бутылку водки, после чего Афоничкин начал врать столь беззастенчиво, что Митя в свою очередь несколько раз наступал ему на ногу. Казаки похохатывали, отдавая должное его ловко привешенному языку. Состязаться в таких вещах с Афоничкиным безнадежно.
Вечером вернулись есаул и Иван Павлович. Для Савчука запрягли пару коней с архиерейской дачи, попутно доложили в сани несколько мешков с кружками замороженного молока. В город их сопровождал Гарусев — тот самый плюгавый казак, из-за которого начались все злоключения. Доставив Савчука и его людей, Гарусев должен был завезти молоко на подворье к архиерею и там заночевать.
Заметно повеселев, он бодро покрикивал на лошадей:
— Но, каурые! Но!..
Савчук, отъехав с полверсты, хладнокровно взял вожжи и свернул на другую, чуть черневшую в ночи дорогу.
— Ваше благородие, не сюда, — сказал Гарусев, хватаясь за вожжи.
— Цыц! Помалкивай. — Иван Павлович показал возчику дуло нагана.
Афоничкин в два счета обезоружил Гарусева.
После этого в полном молчании, прерываемом лишь неудержимой икотой Гарусева, они еще добрый час крутились среди перелесков, пока из-за кустов не донесся грозный окрик:
— Сто-ой! Кто идет?..
Если кто теперь спрашивал о подробностях пребывания у гамовцев, Афоничкин, посмеиваясь, говорил:
— Ничего особенного. Ездили к архиерею за молоком.

Небо с утра было низким и хмурым. Медленно, большими хлопьями падал мокрый снег. К полудню, однако, метель прекратилась, и затем небо очистилось от туч.
Над городом тревожными багровыми красками пылал закат.
Савчук возвращался с совещания командного состава, на котором обсуждался план предстоящей операции.
Все понимали, что дольше оставлять Благовещенск в руках гамовцев нельзя: каждый день от руки палачей гибли товарищи. Страшная угроза нависла над теми, кто находился в тюрьме.
В распоряжении Астрахановского штаба к этому времени находились двадцать три роты, морской отряд, четырехорудийная конная батарея, две пушки, установленные моряками на железнодорожных платформах, и морские орудия «Орочанина», артиллеристы которого уже зарекомендовали себя в боях.
Гамовцы не ожидали такого быстрого сосредоточения сил. Зачинщики мятежа полагали, что фактор времени будет на их стороне. Они рассчитывали на общую растерянность.
Губельман — представитель областного комитета — после совещания задержал Савчука и стал расспрашивать о настроении офицеров в Благовещенске. Он жадно впитывал все, что могло оказаться полезным и нужным.
— Да, снаряды к батарее доставили? Надо, чтобы был полный комплект, — сказал он, прерывая разговор с Савчуком.
Вперед выступил молодцеватый парень в кавалерийском коротком полушубке и черной папахе с красной лентой. Красный бант красовался у него и на груди.
— Разрешите, я проверю, — предложил он, выбежал на улицу, и мгновение спустя послышался быстро удаляющийся конский топот.
А Губельман опять повернулся к Савчуку.
— Постойте. Что-то мне говорили... очень важное. Что там они затевают против китайцев? — вспомнил он.
Иван Павлович рассказал о плане артиллерийского обстрела казаками Сахаляна.
— Ах, подлецы! Возмутительная провокация... Сейчас же надо отправить наших представителей в Сахалян, — сказал Губельман. — Советская Россия — единственная страна, которая протягивает руку помощи угнетенным нациям. И вот нас хотят опорочить в глазах соседнего, дружественного народа. Нет, какая мерзость, — продолжал он возмущаться, ища в то же время глазами, кого бы послать с такой серьезной миссией.

Во дворе Савчука догнал Логунов.
— Ба! Ты здесь? Как я рад тебя видеть, — сказал Иван Павлович, с чувством пожимая руку Логунова. — Побывал в бою? — спросил он, заметив, что у матроса из-под шапки выглядывает край загрязнившегося бинта.
— Царапина, — отмахнулся Логунов и стал рассказывать, как он ускакал из охваченного мятежом Благовещенска.
За эти дни Логунов был и комендором и пулеметчиком, в тесных дворах Забурхановки ходил в штыковые атаки, а сейчас командовал штурмовым отрядом моряков.
Пули косили товарищей, но Логунов, охваченный гневом и ненавистью к врагу, пренебрегал опасностью. Однажды пуля задела и его, чиркнула повыше уха по кости, оставив добрую заметину. Его наскоро забинтовал кок с «Орочанина», и, лежа рядом в снегу, они продолжали ловить казаков на мушку. Вечером фельдшер обработал рану йодом — на том лечение и кончилось.
Рана побаливала, но Логунов ни за что не признался бы в этом.
Шагая рядом с Савчуком, чуть морщась, когда боль начинала отдавать в ухо, он спешил согласовать с Иваном Павловичем свои будущие действия. В наступлении им предстояло быть соседями.
В казарме моряков теснота. Амурцы приютили у себя красногвардейцев-железнодорожников. Весть о скором наступлении уже облетела всех. Кто проверял подсумок с патронами, кто чистил оружие.
— Последняя новость, Федор: во Владивостоке арестовали Циммермана, Свидерского, Синкевича — членов биржевого комитета. На квартирах взяли. Видать, тоже подняли голову, — сказал моряк в тельняшке.
Он чинил бушлат, распоротый недавно вражеским штыком; не переставая орудовать иглой, подвинулся немного, освобождая место для пришедших.
Командир взвода железнодорожников — молодой белолицый парень, бывший телеграфист — допрашивал задержанного.
Худой человек в коротком пальто назвал себя агентом-закупщиком, возвращающимся из области в город. Документы кооператора оказались в порядке.
— Я же не знал. Господи! Всегда через Астрахановку ходим. К ночи рассчитывал быть дома, — вяло оправдывался он, скользя равнодушным взглядом по лицам.
— А почему вы интересовались сроком наступления?
— Да чтобы вслед за вами идти без опаски. Голову терять мне, чай, тоже не хочется.
— Я вас все же не отпущу до утра, — сказал взводный. — Что с вами? — тут же спросил он, заметив, как задержанный вдруг изменился в лице.
Тот увидел Савчука, его насмешливую улыбку. От неожиданности он не мог вымолвить ни слова, только уставился на Ивана Павловича испуганным взглядом.
Два дня тому назад они встречались в Кондрашевской гостинице, у полковника из штаба атамана Гамова.
— Ну не зря я зашел к тебе. Не зря, — сказал Савчук, когда матросы с посуровевшими лицами окружили и увели разоблаченного шпиона.
3
Около шести утра, в предутреннем тумане, красногвардейские цепи повели наступление на город. Орудия «Орочанина» и конной батареи вели беглый огонь по расположению противника. Вскоре вступила в дело и артиллерия казаков. Били они по Астрахановке, почти опустевшей к этому времени, и по городской бойне.
С рассветом почти на всех направлениях красногвардейцы ворвались на улицы Благовещенска. Мятежники оказались вынужденными рассредоточить своп силы, но повсюду оказывали упорное сопротивление.
Батальон Савчука и отряд моряков ворвались в расположение вокзала, но вынуждены были залечь под огнем пулеметов. У мятежников была связь с батареей. Минут через пять-семь снаряды начали ложиться прямо среди красногвардейских цепей. Была разбита кирпичная казарма возле переезда, с чердака которой Савчук только что рассматривал местность. Осколком кирпича задело Супрунова; докладывая комбату о замеченном со стороны города движении крупного отряда казаков, он пальцами стирал со щеки кровь.
— Поди к санитару. Перевяжись, — распорядился Савчук.

Подоспевшее подкрепление мятежников с ходу атаковало батальон. Ивану Павловичу показалось, что среди казаков мелькнула поджарая фигура есаула Макотинского. Но ему некогда было следить за ним: батальон попал в трудное положение.
— По бандита-ам... пачками, ого-онь!
Из ближних улочек на пустырь выплеснулось сотни две казаков вперемежку с юнкерами и японскими резидентами.
— Банза-ай!..
Афоничкин привстал на колено, щелкал затвором. Казаки и японцы, не пройдя и половины расстояния до железнодорожной насыпи, стали падать один за другим, смешались и побежали назад. Пулемет Игнатова бил им во фланг из-за штабеля шпал на той стороне пути. Когда он только успел туда перебраться?
— За мно-ой! — Савчук, не теряя времени, ринулся вперед.
На плечах у противника красногвардейцы ворвались в прилегающие к вокзалу улицы.
— Теперь будем гнать их дальше. Остальных моряки выкурят, — сказал возбужденный боем Савчук. — Ну что, Митя, страшны японцы?
Митя, еще трудно дыша от бега, улыбался.
— Ерунда. У меня винтовка в руках.
Во дворе на шинели лежал принесенный расчетом пулеметчик Игнатов. Красивый, строгий, он широко открытыми глазами глядел в небо. Вражья пуля пробила ему навылет голову.
— Когда убили? — спросил помрачневший Савчук.
— Еще до казачьей атаки.
— Кто за пулеметом был?
— Товарищ Ван. Он сейчас у нас за первого номера, — доложил подносчик патронов.
Китаец стоял рядом, горестно опустив голову, глядел на убитого друга.
— Ладно. Двигайтесь вот этой стороной, — Савчук показал направление. — Я вас сейчас догоню.
Он взглянул еще раз на мертвого Прохора Денисовича, подумал о его больной жене, детишках, стиснул зубы и пошел со двора.
Дольше всех держалась группа офицеров, запершихся в каменном здании в конце перрона. Они отвергли предложение сдаться и стреляли в каждого, кто пытался приблизиться. Под огнем несколько отчаянных моряков все же пробрались к дверям и залегли у каменного крыльца. Но дальше дело застопорилось.
— Осы в гнезде: пусть там и остаются! — сказал Логунов.
Прижимаясь вплотную к стене, он продвинулся до уровня окна и одну за другой бросил через плечо две гранаты. Внутри помещения ахнул взрыв. Послышались крики. Второй взрыв. И сразу тишина. Стало слышно, как с другой стороны дома застучали по двери прикладами.
Логунов, немного оглушенный близким взрывом, помотал головой, как ныряльщик, когда ему в уши наберется вода, и тоже побежал вокруг здания, ища ближайший вход в него.
В середине дня наступающие заняли реальное училище и освободили запертых там солдат. Они тоже взялись за оружие, подбирая его тут же на улицах и дворах. Вышли на свободу Мухин и другие комиссары, томившиеся в тюрьме. Освобожденные делегаты областного крестьянского съезда с удивлением и радостью узнавали среди штурмовавших тюрьму красногвардейцев своих сынов и односельчан.
Упорные бои продолжались и на Амурской улице, вдоль которой, очищая дворы от противника, продвигался поредевший батальон Савчука.
Митя, идя вслед за комбатом, заметил, как из верхнего окна соседнего особняка высунулось дуло ружья. Прежде чем раздался выстрел, он кинулся вперед и своим телом заслонил Савчука.
— Что с тобой, ранен? — Савчук нагнулся над ним.
Парень был мертв. Иван Павлович на руках вынес его тело из зоны обстрела.
— Да-а, — сказал с жалостью подошедший Черенков. — Обидно помирать в молодых годах.
— Жаль парня!
Савчук стал распоряжаться штурмом особняка.
— Чей это дом? — спросил он.

— Зотова Ивана Артамоновича. Он и брательника моего сгубил. Вот ведь как получилось.
— У старика Крученых по щеке катилась слеза. Он тяжелым ненавидящим взглядом посмотрел на особняк, спросил: — Из которого окна стреляли?..
4
Наступление красных явилось для Зотова полной неожиданностью. Накануне была пирушка и затянулась до поздней ночи. Никто и намека не делал на возможность подобного поворота событий. Иван Артамонович был не дурак выпить и хлебнул как следует.
На заре его едва разбудили, хотя стекла дрожали от близкой стрельбы. Вряд ли в городе был еще один человек, который спал так же спокойно и безмятежно.
Охваченный тревогой, Иван Артамонович бегал по комнатам особняка, не зная, на что решиться. Жадность, боязнь потерять вещи приковали его здесь. Он рассчитывал, правда, что в крайнем случае Лисанчанский предупредит его об опасности.
А капитан 2-го ранга, хмурый и озабоченный, шагал по опустевшей улице к штабу. В глаза бросалось множество японских флагов, вывешенных на домах.
Недалеко от Кондрашевской гостиницы прямо на виду у всех юнкера избивали каких-то людей в штатском.
— Послушайте, вы, олухи! — сказал Лисанчанский, уничтожающе поглядев на развоевавшихся юнцов. — Надо же соблюдать приличие, — и повернулся к арестованным:
— За что задержаны?
— Господин офицер, я случайно проходил. Меня толкнули, стали бить, — пожаловался человек, похожий на приказчика.
— Отойдите в сторону. Вы?..
Лисанчанский отпустил еще человек трех. Остальные были по виду рабочими. Он прекратил дальнейший опрос.
— Господин офицер, зазря взяли! Вот крест святой...
— За что людей терзаете?
— Сами виноваты, — строго сказал Лисанчанский.
— Без вины виноватые, — возразил пожилой рабочий, хмуро посмотрев на офицера.
— Ну-ну, знаем... В городе осадное положение. Отведите их, — Лисанчанский махнул рукой, и юнкера, подталкивая рабочих прикладами, погнали их через площадь к длинному каменному забору. Через минуту раздался недружный залп.
В штабе суматоха и растерянность. Спешно упаковывали дела, жгли какие-то бумаги. У коновязи стояли оседланные кони, прядали ушами, когда близко рвался снаряд.
Гамов, громко топая сапогами, метался взад-вперед по комнате. Он отдавал распоряжения и тут же отменял их. Что теперь можно сделать, атаман сам не знал.
Полковник, у которого побывал Савчук, внешне держался спокойнее. Увидев Лисанчанского, он кисло улыбнулся.
— Кажется, это конец. Будем думать об эвакуации, — сказал он, нервно барабаня пальцами по столу. — Хотел поручить вам ликвидировать тюрьму. Но поздно — не доберетесь. Берите конвой, — продолжал полковник. — В государственном банке тридцать семь пудов золота — доставите в Сахалян. Лично будете сопровождать.
К тому времени, когда Зотов потерял надежду дождаться Лисанчанского, район оказался отрезанным.
Грохот стрельбы то стихал, то вновь усиливался, приближаясь к особняку. Два-три стекла были разбиты шальными пулями.
Сотник Суматохин с десятком офицеров и несколькими казаками готовил особняк к обороне.
— Ничего, Иван Артамонович. До ночи посидим за этими стенами. Их пушкой не прошибить. А там — уйдем, — утешал он сразу скисшего хозяина.
Безвыходность положения придала Зотову храбрости. Он взял винчестер и тоже стал на пост возле углового окна библиотеки.
Со злобой и остервенением он стрелял в каждого, кто появлялся в поле зрения.
— А-а, за моим добром... На, получай!
Вдруг клуб дыма поднялся вдали над крышами. Вспыхнул дом духовного ведомства.
Зотов выглянул в окно и чуть дольше помаячил в нем. Тут и вошла ему между глаз меткая пуля охотника-таежника.

Некоторое время спустя в библиотеку заглянул прихрамывающий сотник Суматохин. Глянул в окно, прикинул зону обстрела.
— Ага. Вот сюда и поставим пулемет, — сказал он, и мертвого хозяина бесцеремонно сбросили на пол.
...Настя все это время находилась внизу, на кухне, вход в которую охраняли два казака.
— Дяденьки, отпустите меня. Мне-то зачем погибать? — спросила она.
— Нельзя. Разболтаешь, сколько нас. Мало ли что.
Кутаясь в шубку, Настя поглубже втиснулась в угол между печью и капитальной стеной. Первый страх у нее прошел, и она теперь размышляла над своим положением.
Казаки хоронились от пуль за простенками, стреляли редко. Но сверху, из окон второго этажа, палили беспрестанно.
Красногвардейцы несколько раз пытались проникнуть в дом. Как поняла Настя, эти попытки стоили жертв.
«Вот погибают люди... из-за иродов», — думала она. Все в ней бурно протестовало против того, что делали Зотов и Суматохин. Она не знала, что хозяина уже не было в живых.
— Гляди-ка, чего-то они соображают, — выглянув в окно, сообщил казак помоложе.
Второй чертыхнулся и зарядил винтовку новой обоймой.
— Как бы не подожгли, — озабоченно сказал он. — Надо патронов еще принести, — и ушел, наказав первому следить за двором.
«Да, да... поджечь гнездо. Пусть горит! Пусть...» — Мысли Насти сразу приняли определенное направление. Она быстро оглядела помещение и незаметным движением схватила с полки коробок спичек.
— Послушай, барышня, водочки тут нет? — просительно улыбаясь, сказал оставшийся казак.
— Водки?.. Ах, да, да. В той комнате, в буфете, — быстро сказала Настя.
Едва казак скрылся, как Настя метнулась в противоположный угол, в мгновение ока отвинтила крышку полутораведерного бидона с керосином. Опрокинув посудину, она проследила, как керосин потек через кухню, спокойно перешагнула лужу и сняла с двери засов.
Обернувшись, она увидела настороженные, злые глаза казака, наблюдавшего за ней.
— Ты куда... бежать? От пули не уйдешь.
Настя, не отводя взгляда, машинально чиркнула спичкой. Спичка сломалась. Она ощупью достала другую, зажгла и бросила на пол. Сразу огненная стена выросла между ними. Настя закрыла руками лицо и выбежала во двор.
Рев, треск, гул пламени, вихри багрово-черного дыма, пепел, уносимый ветром, — вот чем в конце концов обернулось зотовское стяжательство.

5

К ночи стрельба почти затихла. Большая часть казаков и офицеров бежала через Амур за границу. Красногвардейцы помогали тушить пожары. Вылавливали разбежавшихся гамовцев и уголовников, выпущенных ими из тюрьмы. В городе устанавливался твердый революционный порядок.
Лишь анархисты буянили в одном из брошенных особняков. Горланили песни, бранились; шум разносился на два квартала.
Случай снова свел Савчука с Петровым.
— Эге-ей, братцы, гуляй! Свое пьем, завоеванное...
— Грабленое пьете! — жестко сказал Савчук, появляясь внезапно среди пирующих. — А ну, хлопцы, бей посуду!
Десять прикладов, одновременно пущенных в ход, в мгновение ока превратили ящики с напитками в месиво из щепы, осколков стекла и растекающейся по паркету бурой жидкости. В помещении остро запахло спиртом.
— Ма-ать честная, добра-то пропадает! — сожалеющее ахнул кто-то.
Теперь все анархисты вскочили на ноги. Стояли друг против друга двумя враждебными стенами.
Петров до сих пор сидел в стороне, делая вид, что не замечает Савчука. Сейчас он поднялся, медленно прошел через комнату и некоторое время молча сверлил Савчука глазами.

— Ну, Иван Павлович. Это тебе не пройдет. Терпение у меня кончилось, — просипел он, задыхаясь от ярости, и потянулся рукой к пистолету.
— Обезоружить! — не поворачивая головы, коротко бросил Савчук.
Кто-то из бойцов, опередив Петрова, рванул за кобуру, ремень портупеи лопнул. Петров пошатнулся и лапнул рукой уже по пустому месту. Должно быть, это отрезвило его. Он постоял еще секунду-другую в угрожающей позе, затем, не зная, что предпринять, переступил с ноги на ногу.
— Чтобы больше не безобразничали. Иначе в трибунал, — веско сказал Савчук.
Лицо Петрова исказилось. Злобно ощерясь, он закричал:
— Так ты спишь с моей женой, а меня хочешь с пути убрать, — и рванул на себе ворот. — Стреляй! Вот моя грудь!
— Дура-ак! — сказал Савчук, повернулся и пошел прочь.

Здание почтово-телеграфной конторы охранял отряд моряков. Часовой мерял шагами площадку перед главным входом.
Часть матросов разместилась в глубоких оконных нишах, дремала. Другие пытались разобраться в путанице проводов и смонтировать из уцелевших частей хотя бы один исправный аппарат.
Им помогал молодой телеграфист.
Мухин, зайдя на телеграф, некоторое время молча смотрел на разрушения. Потом стал набивать табаком трубку.
— Здравствуйте! — сказал он простуженным баском и подошел ближе, чтобы попросить огонька. — Вот забыл в тюрьме спички. Дайте прикурить, ребята.
Обгорелые строения без оконных рам, без крыш, остатки печей и труб среди черных пожарищ, опаленные огнем деревья, разломанные заборы — такова была картина многих улиц Благовещенска утром.
Город возвращался к мирной жизни, израненный, истерзанный, с горем во многих домах и с великой надеждой.
Кто знал тогда, что пронесся лишь первый короткий шквал? Что грянет скоро буря, куда посуровее?
Люди, покончившие с мятежом, показали, что они умеют постоять за родную Советскую власть. И здесь, на самой границе, она прочно встала на берегу многоводного красавца Амура.
Они — единственные хозяева этой прекрасной, еще дремлющей под снегами земли, готовой принять новые семена и дать дружные всходы. Где-то впереди, скрытая во времени, была и пора жатвы.
...Логунов медленно поднимался по лестнице в аппаратную телеграфа. Как старому знакомому, улыбнулся молодому телеграфисту.
В тишине зала вдруг ожил, бойко застрекотал старенький «морзе». Точка, тире, тире, три точки, одна... «Всем, всем, всем...» — читал Логунов.
Он подошел к окну и стал смотреть на утреннее розовеющее небо, на город, дымки которого говорили о жизни.
Первый луч взошедшего солнца мягко коснулся его щеки и радужными блестками заиграл на покрытом ледком холодном стекле.

1948-1958
г. Хабаровск

Примечания

1

Позднее калмыковцами действительно были расстреляны и Февралев и Шестаков. (Прим. автора.)

2

Конец комедии
(итал.).

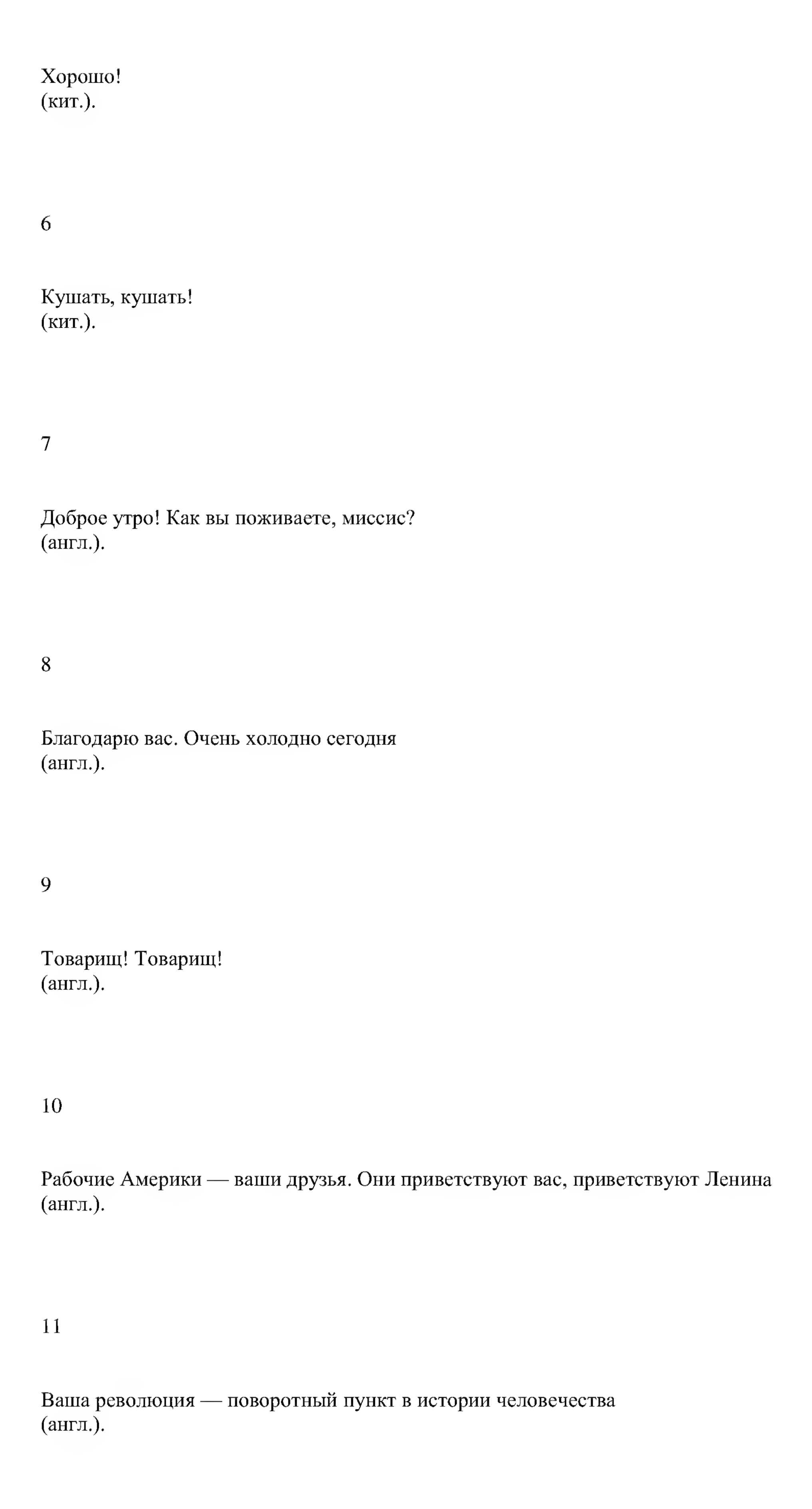
3

Вполне компетентно
(лат.).

4

Не понимаю
(кит.).

5



Хорошо!
(кит.).

6

Кушать, кушать!
(кит.).

7

Доброе утро! Как вы поживаете, миссис?
(англ.).

8

Благодарю вас. Очень холодно сегодня
(англ.).

9

Товарищ! Товарищ!
(англ.).

10

Рабочие Америки — ваши друзья. Они приветствуют вас, приветствуют Ленина
(англ.).

11

Ваша революция — поворотный пункт в истории человечества
(англ.).

12

Желаю счастья вам и вашим детям, миссис! До свидания!
(англ.).

13

4 мая 1886 г. в Чикаго полицейский провокатор бросил бомбу в толпу, собравшуюся на митинг. Это преступление полиция приписала рабочим лидерам, и на сфабрикованном процессе несколько человек были безвинно осуждены и казнены. Приговор суда вызвал массовые протесты рабочих.

14

Индустриальные Рабочие Мира — профсоюзное объединение в США.

15

Теуслер в те годы руководил Американским Красным Крестом на Дальнем Востоке.

16

Благодарю вас. До свидания!
(япон.).